ПОЭЗИЯ США

БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУРЫ США

Annotation

В книгу входят произведения поэтов США, начиная о XVII века, времени зарождения американской нации, и до настоящего времени.

- Поэзия США
  - ПОЭТЫ И ПОЭЗИЯ АМЕРИКИ
  - АННА БРЭДСТРИТ
    - ИЗ «СОЗЕРЦАНИЙ»
    - ВЗЫСКУЯ НЕБЕС
    - МОЕМУ ДОРОГОМУ И ЛЮБЯЩЕМУ МУЖУ
    - ЭПИТАФИЯ
    - СТИХИ МУЖУ НАКАНУНЕ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ЕЕ ДЕТЕЙ
    - ПАМЯТИ МОЕЙ ДОРОГОЙ ВНУЧКИ ЭЛИЗАБЕТ БРЭДСТРИТ, СКОНЧАВШЕЙСЯ В АВГУСТЕ 1665 ГОДА, В ВОЗРАСТЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ
  - ЭДВАРД ТЭЙЛОР
    - ПРОЛОГ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ СОРОКОВОЕ
    - РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ
    - ИЗ «РЕШЕНИИ БОГА КАСАТЕЛЬНО ЕГО ИЗБРАННИКОВ»
    - СЛАВА И МИЛОСТЬ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ ЗРИМЫЕ
    - ПАУКУ, УЛОВЛЯЮЩЕМУ МУХУ
    - ДОМОВОДСТВО ГОСПОДНЕ
  - ТИМОТИ ДУАЙТ
    - КОЛУМБИЯ

    - ИЗ ПОЭМЫ «ГОРА ГРИНФИЛД»
- ДЖОН ТРАМБУЛЛ
    - ИЗ ПОЭМЫ «РАЗВИТИЕ ТУПОСТИ»
- ДЖОЭЛ БАРЛОУ
    - СКОРЫЙ ПУДИНГ
    - СОВЕТ ВОРОНУ В РОССИИ
- ФИЛИС УИТЛИ
    - О ВООБРАЖЕНИИ
    - ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРАЛУ ВАШИНГТОНУ
- ФИЛИП ФРЕНО
    - АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ
    - ПОЭТУ
    - ВЛАСТЬ ФАНТАЗИИ
    - ПАМЯТИ ХРАБРЫХ АМЕРИКАНЦЕВ,
    - ВСКАРМЛИВАНИЕ ДИКИМ МЕДОМ
    - ПЕСНЯ ТИРСА
    - СТАНСЫ ПРИ ВИДЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ГОСТИНИЦЫ, РАЗРУШЕННОЙ БУРЕЙ
    - ОДА
    - ЦИКАДЕ ПО ПРОЗВАНЬЮ КЭТИ-ДИД
    - РЕЛИГИЯ ПРИРОДЫ
- УИЛЬЯМ КАЛЛЕН БРАЙАНТ
    - ТАНАТОПСИС
    - К ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЕ
    - ПРЕРИИ
    - ДРЕВНОСТЬ СВОБОДЫ
    - СМЕРТЬ ЦВЕТОВ
    - НАДПИСЬ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЛЕС
    - ПЕСНЯ ЗВЕЗД
    - СНЕЖИНКИ
    - ПОСЛЕ БУРИ
    - НА БЕРЕГАХ ГУДЗОНА
- РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН
    - ВСЕ И КАЖДЫЙ
    - УРИИЛ

        - КОНКОРДСКИЙ ГИМН, ИСПОЛНЕННЫЙ 4 ИЮЛЯ 1837 ГОДА НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА В ЧЕСТЬ БИТВЫ
        - СНЕЖНАЯ БУРЯ
        - СФИНКС
        - ОДА
        - МЕРЛИН
        - СТОЙКОСТЬ
        - ЖИЗНЬ ПОСВЯТИ ЛЮБВИ
        - ДНИ
        - БРАМА
        - ДВЕ РЕКИ
    - ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО
        - НЕЗАВИСИМОСТЬ
        - ВЗДОХИ ЭОЛОВОЙ АРФЫ
        - «Природа дарит нам свою…»
        - ДЫМ
        - ПОЛДНЕВНАЯ ДЫМКА
        - «Твердим, что знаем много…»
        - «Уважаемый народец…»
        - «Что мне в железной дороге?..»
        - «Туманный дух заповедных зон…»
        - CARPE DIEM[19]
        - «Я готовлюсь, я готовлюсь, я заутро уплыву…»
        - ЗИМНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
        - Я СВЯЗАН ТОРОПЛИВОЮ РУКОЙ
        - КОГДА В ДУШЕ РАССВЕТАЕТ
        - ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
        - ВДОХНОВЕНИЕ
        - СОВЕСТЬ
    - ДЖОНС ВЕРИ
        - ДЕРЕВО
        - ПУТЬ
        - ДЕНЬ
        - ЧУЖИЕ

- ЭДГАР АЛЛАН ПО
  - ПЕСНЯ («Я помню: ты, в день брачный твой…»)
  - СОНЕТ К НАУКЕ
  - К*** («Я не скорблю, что мой земной удел…»)
  - К ЕЛЕНЕ
  - ИЗРАФЕЛ
  - ГОРОД СРЕДИ МОРЯ
  - ТОЙ, КОТОРАЯ В РАЮ
  - ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК
  - МОЛЧАНИЕ
  - ВОРОН
  - ЕВЛАЛИЯ — ПЕСНЯ
  - УЛЯЛЮМ
  - ЭЛЬДОРАДО
  - К АННИ
  - СНОВИДЕНЬЕ В СНОВИДЕНЬЕ
  - СОНЕТ К МОЕЙ МАТЕРИ
  - АННАБЕЛЬ ЛИ
  - КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА
- ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ
  - ЗНАК
  - ОПАСЕНИЯ
  - ШИЛОУ
  - МАЛВЕРНСКИЙ ХОЛМ
  - ГЕНЕРАЛ ШЕРИДАН[22] В СРАЖЕНИИ ПОД СЕДАР-КРИКОМ
  - ПАВШИМ В СРАЖЕНИИ ПРИ ЧИКАМАГУА[23]
  - МАЛЬДИВСКАЯ АКУЛА
  - ПУТЬ ЧЕРЕЗ ТРОПИКИ
  - РАЙСКИЕ ОСТРОВА
  - НОЧНОЙ ПЕРЕХОД
  - ИСКУССТВО
- ГЕНРИ УОДСВОРТ ЛОНГФЕЛЛО
  - ПСАЛОМ ЖИЗНИ
  - ГИМН НОЧИ

- EXCÉLSIOR![25]
- К УИЛЬЯМУ ЧАННИНГУ
- ОЧЕВИДЦЫ
- MEZZO CAMMIN [27]
- ДНЯ НЕТ УЖ...
- СТРЕЛА И ПЕСНЯ
- ВОДОРОСЛИ
- ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
- МОЯ УТРАЧЕННАЯ ЮНОСТЬ
- «КАМБЕРЛЕНД»
- ЧОСЕР
- ШЕКСПИР
- КИТС
- ВЕНЕЦИЯ
- ТОМЛЕНИЕ
- СЛОМАННОЕ ВЕСЛО

◦ ДЖОН ГРИНЛИФ УИТТЬЕР
- ПЕСНЯ СВОБОДНЫХ
- ИКАБОД[30]
- ОХОТНИКИ НА ЛЮДЕЙ
- В КОРОЛЕВСКОМ ПОРТУ
- ПЕСНЯ НЕГРОВ-ГРЕБЦОВ
- БАРБАРА ФРИТЧИ
- ВЪЕЗД ШКИПЕРА АЙРСОНА
- РАССКАЗ О ПЧЕЛАХ

◦ ОЛИВЕР УЭНДЕЛЛ ХОЛМС
- ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
- РАКОВИНА НАУТИЛУСА
- ДОВОЛЬСТВО МАЛЫМ
- БЕЗГЛАСНЫЕ
- ПОД ВАШИНГТОНОВСКИМ ВЯЗОМ, В КЕМБРИДЖЕ, 27 АПРЕЛЯ 1861 ГОДА
- ВОЕННАЯ ПЕСНЬ ПУРИТАН
- ДОРОТИ К.
- АМЕРИКА — РОССИИ

◦ ДЖЕЙМС РАССЕЛ ЛОУЭЛЛ

- УЛИЦА
- ХОЗЯИН
- ОНА БЫЛА, ЕЕ УЖ НЕТ
- КОШУТ[34]
- НАРУЖИ И ВНУТРИ
- «Не нужно, чтоб любви прекрасной цвет…»
- ИСПЫТАНИЕ
- ПОЛОЩУЩИЕ САВАН
- ШАТРЫ ОКТЯБРЬСКИХ КЛЕНОВ
- АУСПИЦИИ

- УОЛТ УИТМЕН
  - ОДНОГО Я ПОЮ
  - ШТАТАМ
  - СЛЫШУ, ПОЕТ АМЕРИКА
  - НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЕЙ
  - ПОЭТАМ, КОТОРЫЕ БУДУТ
  - ИЗ БУРЛЯЩЕГО ОКЕАНА ТОЛПЫ
  - ОДНАЖДЫ, КОГДА Я ПРОХОДИЛ ГОРОДОМ
  - ДЛЯ ТЕБЯ, ДЕМОКРАТИЯ
  - Я ВИДЕЛ ДУБ В ЛУИЗИАНЕ
  - В ТОСКЕ И В РАЗДУМЬЕ
  - ПРИСНИЛСЯ МНЕ ГОРОД
  - ПЕСНЯ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
  - НОЧЬЮ У МОРЯ ОДИН
  - ЕВРОПА
  - Я СИЖУ И СМОТРЮ
  - БЕЙ! БЕЙ! БАРАБАН! — ТРУБИ! ТРУБА! ТРУБИ!
  - ИДИ С ПОЛЯ, ОТЕЦ
  - ДОЛГО, СЛИШКОМ ДОЛГО, АМЕРИКА
  - ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО СОЛДАТУ
  - КОГДА ВО ДВОРЕ ПЕРЕД ДОМОМ ЦВЕЛА ЭТОЙ ВЕСНОЮ СИРЕНЬ
  - О КАПИТАН, МОЙ КАПИТАН!
  - ГОРОДСКАЯ МЕРТВЕЦКАЯ
  - УЛИЧНОЙ ПРОСТИТУТКЕ
  - О ФРАНЦИИ ЗВЕЗДА (1870–1871)

- ТАИНСТВЕННЫЙ ТРУБАЧ
- ЛОКОМОТИВ ЗИМОЙ
- НА БЕРЕГАХ ШИРОКОГО ПОТОМАКА
- СТАРИКОВСКОЕ СПАСИБО

- ЭМИЛИ ДИКИНСОН
  - «Вот все — что я тебе принесла!..»
  - «День! Здравствуй — День очередной!..»
  - «Я все потеряла дважды...»
  - «Успех всего заманчивей...»
  - «Ликование Свободы...»
  - «Полет их неудержим...»
  - «Склонить — подчеркнуто — голову...»
  - «Есть что-то в долгом Летнем дне...»
  - «Как изменился каждый холм!..»
  - «Дарят мне песни пчел...»
  - «Я узна́ю — зачем? — когда кончится Время...»
  - «Укрыта в покоях из алебастра...»
  - «Она метет многоцветной метлой...»
  - «Вспыхнет золотом...»
  - «У света есть один наклон...»
  - «Два Заката...»
  - «Он сеет — сквозь свинцовое сито...»
  - «Бьет в меня каждый день...»
  - «Это — письмо мое Миру...»
  - «Наш Мир — не завершенье...»
  - «Мне — написать картину?..»
  - «Я вызвала целый мир на бой...»
  - «Я голодала — столько лет...»
  - «Я для каждой мысли нашла слова...»
  - «Я не могу быть с тобой...»
  - «Мой дом зовется — Возможность...»
  - «Говорят — Время смягчает...»
  - «Публикация постыдна...»
  - «Моя душа — осудила меня — я содрогнулась...»

- «Стояла Жизнь моя в углу…»
- «Из Тупика — в Тупик…»
- «Истина — неколебима!..»
- «Бог каждой птице дал ломоть…»
- «Невозможность — словно вино…»
- «Вскройте Жаворонка! Там Музыка скрыта…»
- «Я ступала с доски на доску…»
- «Когда вижу — как Солнце встает…»
- «Если сердцу — хоть одному…»
- «Запел сверчок…»
- «День смаху бросила навзничь…»
- «Прошлое — нет существа странней…»
- «Нарастать до отказа — как Гром…»
- «Колодец полон тайны!..»
- «Здесь лето замерло мое…»

- ЖОАКИН МИЛЛЕР
  - СКАЧКА КИТА КАРСОНА
  - ЧЕРЕЗ ПРЕРИИ
  - У ТИХОГО ОКЕАНА
  - НА ЗАПАД
- СИДНИ ЛАНИР
  - ЧЕРНЫЕ ДНИ
  - ВЕСЕЛЬЕ В СЕНАТЕ
  - КОЛОСЬЕВ СПЕЛЫХ ШУМ…
  - ПЕСНЯ РЕКИ ЧАТТАХУЧИ
  - БОЛОТА ГЛИННА
- ЭДВИН МАРКЕМ
  - ЧЕЛОВЕК С МОТЫГОЙ
  - ЛИНКОЛЬН, ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
- УИЛЬЯМ ВОАН МОУДИ
  - ВЕРЕСКОВЫЕ ПУСТОШИ ГЛОЧЕСТЕРА
  - ОДА ВО ВРЕМЕНА СОМНЕНИЯ
  - О СОЛДАТЕ, ПАВШЕМ В БОЮ НА ФИЛИППИНАХ
- СТИВЕН КРЕЙН

- ЧЕРНЫЕ ВСАДНИКИ
- СЕРДЦЕ
- «Господь построил корабль мирозданья тщательно...»
- ТРАВИНКИ
- «Звучал багряный гул войны...»
- «Предо мною...»
- ЧЕЛОВЕК ГНАЛСЯ ЗА ГОРИЗОНТОМ
- МНОГИЕ КАМЕНЩИКИ
- ЧЕЛОВЕК УВИДАЛ В НЕБЕ ЗОЛОТОЙ ШАР
- «Я блуждал в пустыне...»
- «Думай, как думаю я, — сказал человек...»
- «Друг, твоя белая борода уже до земли...»
- КНИГА МУДРОСТИ
- ВОЙНА ДОБРАЯ
- Я ОБЪЯСНЯЮ
- ГАЗЕТА
- ПУТНИК
- «Для девушки...»
- «Солнечный луч, скользящий вдоль мрачных стен...»
- «Жил-был человек — деревянный язык...»
- «Если ты ищешь друга среди людей...»
- «Серая, бурливая улица...»

- ПОЛ ЛОРЕНС ДАНБАР
  - КРУГОМ ЛИЧИНЫ
  - УЧАСТЬЕ
  - МОЙ ИДЕАЛ
  - ДОЛГ
  - УТРЕННЯЯ ЗАРЯ
  - ВОЗДАЯНИЕ
  - ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ НЕГРА
- ЭДВИН АРЛИНГТОН РОБИНСОН
  - СОНЕТ («О, где Поэт — чтоб светочем для нас...»)
  - КРЕДО

- УОЛТ УИТМЕН
- ЛЮК ГАВЕРГОЛ
- РИЧАРД КОРИ
- МИНИВЕР ЧИВИ
- ДЖОН ГОРЭМ
- БЬЮИК ФИНЗЕР
- EPOS TYPANNOS[39]
- ПАМЯТИ ОДНОЙ ДАМЫ
- ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
- ТЕМНЫЕ ХОЛМЫ
- ДОМ
- НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ
- ВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА
- НОВАЯ АНГЛИЯ
- СНОПЫ
- ДЖЕЙМС УЭЗЕРЕЛЛ

◦ РОБЕРТ ФРОСТ
- ПАСТБИЩЕ
- НОЯБРЬСКАЯ ГОСТЬЯ
- ОКТЯБРЬ
- ПОЧИНКА СТЕНЫ
- БЕРЕЗЫ
- ШУМ ДЕРЕВЬЕВ
- ОГОНЬ И ЛЕД
- В ЛЕСУ СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ
- ОДНАЖДЫ ЧТО-ТО ДА БЫЛО
- ВЕСЕННИЕ ОЗЕРА
- С НОЧЬЮ Я ЗНАКОМ
- ДЕРЕВО В ОКНЕ
- НИ ДАЛЕКО, НИ ГЛУБОКО
- ДАР НАВСЕГДА
- ОТСТУПЛЕНИЕ НА ШАГ
- ИЗБРАВШИ ЧТО-ТО, КАК ЗВЕЗДУ…

◦ КАРЛ СЭНДБЕРГ
- ЧИКАГО
- ПОТЕРЯН

- ТУМАН
- ВЫБОР
- НОЧНОЙ НЬЮ-ЙОРК
- БРОДВЕЙ
- Я — НАРОД, Я — ЧЕРНЬ
- ДИНАМИТЧИК
- ТРАВА
- МИЛЛИОН МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
- ТРИ СЛОВА
- ОМАХА
- ШУМНАЯ ЖИЗНЬ НА ОДИННАДЦАТОЙ АВЕНЮ
- ЛЕПЕСТКИ ДИКОЙ ЯБЛОНИ
- ТРАВА ЛЕТОМ
- МОЖЕТ БЫТЬ
- МИСТЕР АТТИЛА
- ГОРОДСКОЙ ЭТЮД
- УРОК
- УБЕГАЮЩИЕ КРАСКИ
- ДВЕ РЫБКИ
- ВЕЧНЫЙ ИСКАТЕЛЬ

- ЭДГАР ЛИ МАСТЕРС
  - ХОЛМ
  - РОБЕРТ ФУЛЬТОН ТАННЕР
  - КИНСЕЙ КИН
  - МИНЕРВА ДЖОНС
  - ФРЭНК ДРАММЕР
  - ДЖУЛИЯ МИЛЛЕР
  - «ТУЗ» ШОУ
  - ДЖОРДЖ ГРЭЙ
  - СЭМ ХОУКИ
  - ВАШИНГТОН МАК-НИЛИ
  - ЭЛЬЗА ВЕРТМАН
  - ГАМИЛЬТОН ГРИН
  - НЕИЗВЕСТНЫЙ
  - РЕДАКТОР УЭДОН
  - МИССИС КЕССЛЕР

    - ДЖОНАТАН ХАУТОН
    - ЭНН РАТЛЕДЖ
    - ЛЮСИНДА МЭТЛОК
    - ГЕРМАН АЛЬТМАН
    - ИНГЛИШ ТОРНТОН
- ВЭЧЕЛ ЛИНДСЕЙ
    - ПУСТЫЕ КОРАБЛИКИ
    - ЛОВИТЬ НА НЕБЕ ЛУННЫЙ СВЕТ
    - АВРААМ ЛИНКОЛЬН БРОДИТ В ПОЛНОЧЬ
    - ПРИЗРАКИ БИЗОНОВ
    - КАНЗАС
    - ЖЕРЕБЕНОК, НЕ ПЕРЕСТАВШИЙ ПЛЯСАТЬ
    - КОНГО
    - ДЕНЬ БАБЬЕГО ЛЕТА В ПРЕРИИ
    - СТЕКЛА ФАБРИЧНЫЕ ВЕЧНО БИТЫ
    - ВСКОРМЛЕННЫЕ ЦВЕТАМИ БИЗОНЫ
- ХИЛЬДА ДУЛИТЛ
    - ЗНОЙ
    - ОРЕАДА
    - САД
    - ПЕСНЯ («Ты такой золотой…»)
    - НА ИТАКЕ
- ЭЗРА ПАУНД
    - PORTRAIT D’UNE FEMME[43]
    - НЬЮ-ЙОРК
    - ПРИВЕТСТВИЕ
    - ВТОРОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
    - ПИСЬМО ЖЕНЫ КУПЦА
    - ХЬЮ СЕЛВИН МОБЕРЛИ
- ТОМАС СТЕРНС ЭЛИОТ
    - ПРЕЛЮДИЯ
    - ШЕПОТКИ О БЕССМЕРТИИ
    - ГИППОПОТАМ
    - БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ
- УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС
    - АПОЛОГИЯ

- ВЕСНА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
- КРАСНАЯ ТАЧКА
- МОРСКОЙ СЛОН
- ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ АМЕРИКИ
- НЕГРИТЯНКА
- ЯХТЫ
- МОЛОДАЯ ХОЗЯЙКА
- ПРЕДЕЛ
- ОБРАЗЫ БРЕЙГЕЛЯ

- ДЖО ХИЛЛ
  - БРОДЯГА
  - КЭЙСИ ДЖОНС — СКЭБ[95]
  - ЗАВЕЩАНИЕ ДЖО ХИЛЛА
- ДЖОН РИД
  - ИЗ ПОЭМЫ «АМЕРИКА, 1918»
- РАЛЬФ ЧАПЛИН
  - ДЖО ХИЛЛ
  - МОЕМУ МАЛЕНЬКОМУ СЫНУ
  - НЕ ПЛАЧЬТЕ О МЕРТВЫХ
  - ТЮРЕМНЫЙ НОКТЮРН
  - ВЕСЛИ ЭВЕРЕСТ
- АРТУРО ДЖОВАННИТИ
  - ШАГИ
- ЭДВАРД ЭСТЛИН КАММИНГС
  - «в Разгаре…»
  - «навязчивые кембриджские дамы…»
  - ОДА
  - «видишь вот это…»
  - «первый Джок он…»
  - «моя добрая старая и так далее…»
  - «но если жизнь танцует на могилах…»
  - «пОлнОлунье ночь пОлнОлунье…»
  - «кто-то жил в славном считай городке…»
  - «не сострадай больному бизнесмонстру…»
  - «дождь ли град…»
  - «невежество съезжает с горки в знанье…»

- «приходит наш точильщик…»
- «окт…»
- «меланхоличный малый…»
- «2 маленьких кто…»

- ЭДНА СЕНТ-ВИНСЕНТ МИЛЛЭЙ
  - ГРУША
  - К ВЕЧЕРУ НА ГОРЕ
  - PASSER MORTUUS EST [98]
  - ПРИЛИВ
  - RECUERDO[99]
  - МИЛОСТЫНЯ
  - ВЕСНА И ОСЕНЬ
  - ПРАВОСУДИЕ, ПОПРАННОЕ В МАССАЧУСЕТСЕ
  - ПОГРЕБАЛЬНАЯ БЕЗ МУЗЫКИ
  - «Ложь! Время боли не смягчит такой…»
  - «Ты — в памяти оттаявшей земли…»
  - «Чьи губы целовала, где, когда…»
  - «Обеты я не слишком свято чту…»
  - «Жалей меня не оттого, что свет…»
  - «Разъятье рук твоих подобно смерти…»
  - «О нет, не допусти, чтоб разум твой…»
  - «О нет, ты не любил меня ничуть…»
  - «От воскрешенных утром сновидений…»
  - «Любовь еще не все: не хлеб и не вода…»
  - «Сдержать Хаос уздой четырнадцати строк…»
  - «Под лунным светом Всемогущей Плоти…»
  - «Не умирать от жалости, а жить…»
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ
  - ДЕТСТВО — ЭТО ЦАРСТВО, ГДЕ НИКТО НЕ УМИРАЕТ
- МАРИАННА МУР
  - ОБЕЗЬЯНЫ
  - ГЕРКУЛЕСОВЫ ТРУДЫ
  - ЧТО ЕСТЬ ВРЕМЯ?
  - ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

- УОЛЛЕС СТИВЕНС
  - КОРОЛЬ ПЛОМБИРА
  - РАЗОЧАРОВАНИЕ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ
  - ПИТЕР КВИНС ЗА ФОРТЕПЬЯНО
  - ВОСКРЕСНОЕ УТРО
  - В ДОМЕ БЫЛ МИР, В МИРЕ — ПОКОЙ
  - ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПОГИБАЮТ
  - РИТМЫ ВОЙНЫ
- ДЖОН КРОУ РЭНСОМ
  - ГОЛУБЫЕ ДЕВУШКИ
  - СТАРЫЙ ОСОБНЯК
  - КОНРАД В СУМЕРКАХ
  - АНТИЧНАЯ ЖАТВА
  - ЧЕЛОВЕК, ЛИШЕННЫЙ ЧУВСТВА НАПРАВЛЕНИЯ
- АЛЛЕН ТЕЙТ
  - ПЛОВЦЫ
  - ОСЕНЬ
  - ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АЛИСЫ[100]
- РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН
  - БОРОДАТЫЕ ДУБЫ
  - СОСЕДСКИЙ РЕБЕНОК
  - ЧТО ОБЕЩАЛОСЬ, ЧТО УЛЫБАЛОСЬ ВЕЧЕРОМ С КЛЕНА?
  - ПОСТИГАЯ ОТЦОВ, СТИЛЬ XIX СТОЛЕТИЯ, ЮГО-ВОСТОК США
  - ЛИСТ ОРЕХА
  - «Когда мир будто ось в колесе, — недвижимее нет…»
  - ПРОГУЛКА ПО ГОРОДИШКУ В ЛУННОМ СВЕТЕ
  - МЕСТО, ГДЕ НИЧЕГО НЕТ
  - НОЧЬ: МОТЕЛЬ НА ЗАПРУДЕ
  - МИР — ЭТО ПРИТЧА
- РОБИНСОН ДЖЕФФЕРС
  - БОЖЕСТВЕННЫЙ ИЗБЫТОК КРАСОТЫ
  - НАУКА

        - МАЙ — ИЮНЬ 1940
        - УБИВАТЬ НА ВОЙНЕ НЕ УБИЙСТВО
        - ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
        - КОШЕЛЬКОВЫЙ НЕВОД
        - ОРЛИНАЯ ДОБЛЕСТЬ, КУРИНЫЕ МОЗГИ
        - КАССАНДРА
        - ГЛУБОКАЯ РАНА
        - ЧТО ОСТАЛОСЬ
    - ХАРТ КРЕЙН
        - ЧАПЛИНЕСКА
        - БЕСТИАРИЙ СПИРТНОГО
        - НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ ФАУСТА И ЕЛЕНЫ
        - БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ
        - РЕКА
    - КЛОД МАККЕЙ
        - КРЕЩЕНИЕ
        - ТРОПИКИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
        - ЕСЛИ МЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ
        - ИЗГНАННИК
        - ТРАГЕДИЯ НЕГРА
        - АМЕРИКА
        - ГАРЛЕМСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА
        - БЕЛЫЙ ГОРОД
    - КАУНТИ КАЛЛЕН
        - И ВСЕ-ТАКИ МЕНЯ ПОРАЖАЕТ
        - ТЕМНАЯ ДЕВУШКА МЕРТВА
        - ИЗ ТЕМНОЙ БАШНИ
        - СЛУЧАЙ
        - КАРТИНКА
        - СКОТСБОРО[104] ТОЖЕ СТОИТ СВОЕЙ ПЕСНИ
    - ДЖИН ТУМЕР
        - КОСЦЫ
        - ХЛОПОК, РАСЦВЕТШИЙ В НОЯБРЕ
        - СЫНОВНЯЯ ПЕСНЬ
        - ХЛОПКОВАЯ ПЕСНЯ
        - ВЕЧЕР В ДЖОРДЖИИ

- СТЕРЛИНГ БРАУН
  - МЕМФИССКИЙ БЛЮЗ
  - СЛИМ В АДУ
  - ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ЮЖНЫХ ШТАТОВ
- ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ
  - МНЕ СНИТСЯ МИР
  - МУЛАТ
  - ЧЕРНЫЙ ПЬЕРО
  - БЛЮЗ ТОСКИ ПО ДОМУ
  - ПОРТЬЕ
  - МЕЧТА
  - ПЕСНЯ АПРЕЛЬСКОГО ДОЖДЯ
  - ИСТОРИЯ
  - ПЕСНЯ ИСПАНИИ
  - ЗАВТРАШНИЕ ВСХОДЫ
  - ГЕРОИ ИНТЕРБРИГАДЫ
  - НЕГРИТЯНСКОЕ ГЕТТО
  - ВРЕМЯ УЖИНА
  - ПРОЩАЛЬНЫЙ БЛЮЗ
  - ВОЗДУШНЫЙ БЛЮЗ
  - ИЗДОЛЬЩИКИ
  - КУ-КЛУКС
  - «ЧЕРНАЯ МАРИЯ»
  - БРОДЯГИ
  - ГОРЕ
  - ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
  - ТЕМ, КТО ИЗБИЛ РОЛАНДА ХЕЙСА[109]
  - НЕ СПЕШИ
- ЖЕНЕВЬЕВА ТАГГАРД
  - СССР
  - С РЕБЕНКОМ
  - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
  - О СПОСОБНОСТИ ПРИРОДЫ ИЗЛЕЧИВАТЬ НЕДУГ
  - В ХВОСТЕ СКОРПИОНА
  - АНДАЛУСИЯ

    - ВЕТЕРАНАМ БРИГАДЫ АВРААМА ЛИНКОЛЬНА
- КЕННЕТ ПЭТЧЕН
    - ДЖО ХИЛЛ СЛУШАЕТ МОЛИТВУ
- МАЙКЛ ГОЛД
    - НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОРОНЫ В БРЕДДОКЕ
    - ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ[116]
    - СТО ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ
- КЕННЕТ ФИРИНГ
    - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
    - НЕКРОЛОГ
    - ПАМЯТНОЕ
    - В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ МИСТЕРА ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА НЕ СТАНЕТ...
- АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ
    - МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
    - ARS POETICA [122]
    - ТЫ, ЭНДРЮ МАРВЕЛЛ
    - СЛОВО К ТЕМ, КТО ГОВОРИТ: ТОВАРИЩ
    - КЛАДБИЩЕ У ШПАЛ
    - БЕССМЕРТНАЯ ОСЕНЬ
    - СТАРИКИ И ДЫМ ЛИСТВЫ
- КАРЛ РЭКОЗИ
    - ПОСВЯЩЕНИЕ
    - ФЛОРИДА
    - КОРАБЛИ
    - УЧРЕЖДЕНИЯ
    - КРЕСТЬЯНЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ
    - ВИТАГРАФ
    - АМЕРИКАНА IV
    - АМЕРИКАНА V
    - АМЕРИКАНА VII
    - АМЕРИКАНА IX
    - АМЕРИКАНА X
    - АМЕРИКАНА XVII
    - АМЕРИКАНА XVIII
- КОНРАД ЭЙКЕН

- ЭТО ПОХОЖЕ НА ЛИСТ...
- ИЗ ЦИКЛА «ОКАМЕНЕВШЕЕ ВРЕМЯ»
- РЕЧЬ ГАТТЕРАСА

- ДЕЛМОР ШВАРЦ
  - В ПОИСКАХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
  - МАСКИ ШУТОВ
  - ВРЕМЯ
  - БОДЛЕР
- УИСТАН ХЬЮ ОДЕН
  - В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
  - НАШИ НАКЛОННОСТИ
  - БАРД
  - КУЛЬТУРА ПЛЕМЕНИ ЛИМБО
  - 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА
  - В ДРУГОЕ ВРЕМЯ
  - ХВАЛА ИЗВЕСТНЯКУ
  - ЭПИТАФИЯ ТИРАНУ
  - НЕИЗВЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН
  - ЩИТ АХИЛЛА
- СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ
  - ПРО ВСЕХ НЕЧЕСТИВЦЕВ
  - АМЕРИКАНСКИЕ НАЗВАНИЯ
  - ЛИТАНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИКТАТУР
  - РОССИИ
- КАРЛ ШАПИРО
  - ПОД КУПОЛОМ ВОСКРЕСЕНЬЯ
  - ГОЛЛИВУД
  - НОСТАЛЬГИЯ
  - ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ
  - ЗИМА В КАЛИФОРНИИ
- РЭНДАЛЛ ДЖАРЕЛЛ
  - ЗАБОЛЕВШИЙ МАЛЬЧИШКА
  - ИГРА В ЗАЛЬЦБУРГЕ
  - ПОЛЮС
  - ВОСЬМАЯ ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ

        - ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
        - ПОЧЕМУ, СКАЖИ…
        - ПОТЕРИ
        - СВИДЕТЕЛЬСТВА
        - ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ЖИЗНИ
        - ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
        - КОНЬКОБЕЖЦЫ
        - СНЕЖНЫЙ ЛЕОПАРД
    - ДЖОН БЕРРИМЕН
        - 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА
        - ЛУНА И НОЧЬ И ЛЮДИ
        - ПОЕЗДКА НА ЮГ
        - ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
        - ИЗ КНИГИ «СОНЕТЫ БЕРРИМЕНА»
            - СОНЕТ 8
            - СОНЕТ 13
            - СОНЕТ 17
            - СОНЕТ 29
        - ИЗ КНИГИ «ПЕСНИ-ФАНТАЗИИ»
            - ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 133
            - ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 197
            - ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 280
    - КЕННЕТ РЕКСРОТ
        - НЕДОБРЫЕ СТАРЫЕ ВРЕМЕНА
        - СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ
        - БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА
        - СМУЩЕНЬЕ ЧУВСТВ
        - ВОСПИТАНИЕ
        - УЕДИНЕНИЕ
        - КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ КЛЕНА
        - ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ В КАЛИФОРНИЙСКИХ ГОРАХ
    - СТЭНЛИ КЬЮНИЦ
        - ОТЕЦ И СЫН
        - КОНЕЦ ЛЕТА
        - ПРИГЛАШЕНИЕ К ГНЕВУ

- НОЧНОЕ ПИСЬМО
- РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ
  - ТРУПЫ ЕВРОПЫ
  - ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
  - НА ПРОДАЖУ
  - ПАВШИМ ЗА СОЮЗ
  - ОСЕНЬ 1961
  - НОЧНАЯ ГОРЯЧКА
  - В СОРОК ПЯТЬ
  - ИЮЛЬ В ВАШИНГТОНЕ
  - ИСТОРИЯ
  - АТТИЛА, ГИТЛЕР
  - БЕТХОВЕН
  - ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
  - ТРИДЦАТЫЕ
  - В НАЧАЛЕ
  - ОКНО
  - ПОСЛЕ 1939
- ТЕОДОР РЕТКЕ
  - МЕЛЬЧАЙШЕЕ
  - ВСЯ ЗЕМЛЯ, ВЕСЬ ВОЗДУХ
  - ВАЛЬС МОЕГО ПАПЫ
  - ЭЛЕГИЯ ПАМЯТИ ДЖЕЙН,
  - РАСПАХНУТЫЙ НАСТЕЖЬ
  - ПРОБУЖДЕНИЕ
  - ОНА БЫЛА
  - ФРАУ БАУМАН, ФРАУ ШМИДТ И ФРАУ ШВАРЦЕ
  - ЧЕТЫРЕ СЛОВА ВЕТРУ
  - ВПОТЬМАХ
  - ГОЛОС
- ЭЛИЗАБЕТ БИШОП
  - БОЛЕЕ 2000 ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОНЫХ
  - АРМАДИЛЛ
- ГВЕНДОЛИН БРУКС
  - ЕДОКИ БОБОВ

        - «ЧИКАГО ДИФЕНДЕР» ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЛ-РОК
        - МЫ В ДРУЖБЕ СО ЗЛОМ
        - ПЕСЕНКА ВОСПИТАННОЙ ДЕВОЧКИ
        - СЕЙДИ И МОД
    - РОБЕРТ ХЕЙДЕН
        - ФРЕДЕРИК ДУГЛАС
        - НЕГРИТЯНСКОЙ ПЕВИЦЕ
        - РЕЧЬ
        - ГЭБРИЭЛ
        - МОЛОДОМУ НЕГРИТЯНСКОМУ ПОЭТУ
        - ЛУННЫЙ СВЕТ НА ЮГЕ
        - ЭТА БОЛЬ
    - УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС
        - ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ ВСЕ НЕВОЗМОЖНЫМ
        - КОЛЫБЕЛЬНАЯ РОЗЕ ЛЮКСЕМБУРГ
        - ГОВОРИТ ПАТРИС ЛУМУМБА
        - НОВОЛУНЬЕ
        - ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СУДЕ
    - ТОМАС МАКГРАТ
        - НА МОТИВ ДЖИГИ. НЕ ПРО ЛЮБОВЬ
        - СМЕРТЬ МРАЧНОМУ ЧУЖАКУ
        - ОДА АМЕРИКАНЦАМ, ПОГИБШИМ В КОРЕЕ
    - РИЧАРД УИЛБЕР
        - СОВЕТ ПРОРОКУ
        - ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ
        - ОКТЯБРЬСКИЕ КЛЕНЫ В ПОРТЛЕНДЕ
        - СОНЕТ («Зима настала; собрано зерно…»)
        - МАЯК
        - СТАТУИ
        - ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
        - ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
        - МЕЛЬНИЦА
        - ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ [137]
        - КОТТЕДЖ-СТРИТ, 1953[138]
        - ПИСАТЕЛЬНИЦА

- СНЕГ В АПРЕЛЕ
- 5 АПРЕЛЯ 1974
- ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА
- ДЖОН ЧЕПМЕН[139]

- АЛЛЕН ГИНСБЕРГ
  - АМЕРИКА[140]
  - СУПЕРМАРКЕТ В КАЛИФОРНИИ
  - СУТРА[144] ПОДСОЛНУХА
  - МОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ Я
  - ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КАЛЬКУТТЕ
- ЛОРЕНС ФЕРЛИНГЕТТИ
  - «Мир превосходное место…»
  - «У Гойи на офортах гениальных род людской…»
  - «Рискуя впасть в абсурд...»
  - «По рощам где реки бегут…»
  - «В лавчонке дешевых сластей около Эл…»
- СИЛЬВИЯ ПЛАТ
  - ВЕСТНИКИ
  - ТЮЛЬПАНЫ
  - РОЙ
  - ПАПОЧКА
  - ЛИХОРАДКА ПРИ 103°
- РОБЕРТ ДАНКЕН
  - АТЛАНТИДА
  - НОЧЬ
  - ПИЩА ДЛЯ ПЛАМЕНИ, ПИЩА ДЛЯ ПОМЫСЛОВ
  - АВГУСТОВСКОЕ СОЛНЦЕ
  - ПЕСНЯ ПОГРАНИЧНОГО СТРАЖНИКА
  - ПУТЬ НАД БЕЗДНОЙ
  - ПЕРСЕФОНА[151]
- ДЖЕЙМС РАЙТ
  - ПОТЕРЯВ СЫНОВЕЙ, Я СПОТЫКАЮСЬ НА ОБЛОМКАХ ЛУНЫ, РОЖДЕСТВО, 1960
  - ШАХТЕРЫ
  - БЛАЖЕНСТВО

    - ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ
        - МЕРРИТ-АЛЛЕЯ
        - ЧАС НОЧИ: МЕКСИКА
        - НЕОТВЯЗНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
        - ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ
        - ПРОЩАЯСЬ НАВСЕГДА
        - СЕДОЙ ТУМАН
        - РОМАН
        - ДЫХАНЬЕ
        - ПОПЕЧЕНЬЕ О ДУШАХ
        - ПОДСЛУШАНО
        - ВЕТХИЙ АДАМ
    - ДЖЕЙМС ДИККИ
        - РАЙ ЗВЕРЕЙ
        - ПИСЬМО
        - ВОЗВРАЩЕНИЕ В АМЕРИКУ
        - ВОДИТЕЛЬ
        - ОГНИСТОЕ ПРАЗДНЕСТВО
    - КОММЕНТАРИИ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88

- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124

- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152

Поэзия США

ПОЭТЫ И ПОЭЗИЯ АМЕРИКИ
Вступительная статья

С поэтических произведений, созданных в середине XVII века, началось формирование американской литературы как самостоятельного художественного явления.

Авторы этих текстов не осознавали себя поэтами в современном значении слова. Первая книга, отпечатанная в колониях на другом берегу Атлантики, называлась «Полное собрание псалмов, достоверно переложенных английским стихом». Она вышла в 1640 году тиражом по тому времени очень большим — видимо, приобрести ее почитал своим долгом каждый ревностный пуританин. Миропонимание тогдашних американцев, их духовное кредо, их этика — все это определялось пуританской доктриной. А для нее, строго говоря, не существовало никакой литературы, помимо богословской.

Образ мира, угадываемый в архаичных, полных библеизмов, неуклюже построенных виршах той поры, конечно, нельзя понять вне пуританской теологии и идеологии. Обычно контекст здесь важнее самого текста. И все-таки это определенный образ мира, не просто рифмованное изложение того или иного тезиса, существенного для кальвинизма. Через броню ригористических запретов, через богословскую схоластику пробивается живое человеческое чувство. И хотя оно почти неизменно облечено в форму религиозной медитации, произведения Эдварда Джонсона, Роджера Уильямса и других стихотворцев донесли гамму чувств человека тех далеких дней.

Крупнейшим поэтом США XVII века был Эдвард Тэйлор, пастор из Массачусетса, чьи стихи увидели свет лишь через два с лишним столетия после смерти автора. К счастью, наследники сохранили рукопись, которую он тщательно прятал от посторонних глаз. Священнослужителю не подобало сочинять ничего, кроме проповедей. Прихожанам Тэйлора уж тем более показалось бы странным, что дидактика в его стихотворениях вовсе не главное. Впрочем, они не знали, что Тэйлор пишет стихи.

Человек своей эпохи, он как истовый пуританин воспринимал повседневное в свете вечного, отыскивая свидетельства высокого промысла и откровения в окружавшей его жизни крохотного поселка на самом краю цивилизованного мира. Для пуритан греховным было все земное бытие, а всякий смертный был ничтожен и лишь непоколебимостью веры в самых тягостных испытаниях обретал единственную и высшую награду — духовное спасение. Тэйлор множество раз возвращался к этой мысли, однако она принимала оттенки, на пуританский взгляд, едва ли не еретические, потому что предметом его исступленных размышлений было не будущее воздаяние, а крестный путь к нему — как раз не награда, а испытания, которых она требует.

В его стихах переданы неподдельный драматизм и неповторимая индивидуальность реального духовного опыта. Быть может, незаметно для самого Тэйлора этот драматизм ослаблял, расшатывал теологическую догму, которой вдохновлялся поэт. Она перестала быть абстракцией. За нею обозначилась живая жизнь, не вмещающаяся в жесткие установления пуританства. Это был центральный конфликт того времени. Поэзия Тэйлора осталась высшим художественным выражением идей, побуждений, противоречий пуританской Америки.

По глубине содержания, по своеобразию и многосложности символов, по прихотливой, изощренной образности и отточенности шестистрочной строфы — словом, по всему своему эстетическому богатству стихи Тэйлора принадлежат к числу значительных достижений англоязычного поэтического барокко. Сам факт, что колонии Нового Света сумели выдвинуть писателя такого творческого диапазона, казался необъяснимым даже издателям первой книги Тэйлора, появившейся в 1939 году. Еще давала себя чувствовать инерция упрощенных представлений о художественном бесплодии первых полутора столетий американской истории. Ссылались на то, что Тэйлор был американцем в первом поколении и до переезда в Новую Англию успел получить европейское образование, — так, он, несомненно, знал стихи Герберта, а возможно, и Донна. Но сопоставления с английскими «метафизическими поэтами» только усиливали впечатление самобытности дарования их младшего современника и, что особенно важно, — его американской характерности.

Америку считали культурной провинцией еще и в конце XIX века, а для европейцев эпохи Тэйлора это была аксиома. Когда в Лондоне вышла первая американская книга — сборник стихов Анны Брэдстрит, напечатанный в 1650 году без ее ведома, — на титульном листе стояло: «Десятая муза, только что явившаяся в Америке». Наивный рекламный трюк сработал, книгу покупали, не сомневаясь, что это мистификация. Какая муза могла явиться на диком континенте, куда ехали кто с единственной целью разбогатеть, кто — спасаясь от английской Немезиды и от религиозной нетерпимости, заставившей тысячи сектантов грузить свои скудные пожитки на корабли в Бостон и в Новый Амстердам? И те и другие были людьми практической складки, им требовались оружие

и рабочий инструмент, а для духовной-пищи вполне хватало молитвенника.

Но выяснилось, что стихи действительно написаны в Америке. И более того, представляют собой не сплошь псалмы да перепевы библейских мотивов. Пятистопный ямб Брэдстрит напоминал английскому читателю многие знакомые образцы, в особенности сэра Уолтера Рэли, которого потом выдавали за «истинного» Шекспира. А сетования на тщету всех человеческих устремлений, исключая покаяние и самообуздание, попадались чуть не на каждой странице. Жена губернатора одной из колоний, разумеется, мыслила понятиями своего времени и своего круга. Но в сборнике нашлись и безыскусные описания домашнего быта переселенцев. И первые, набросанные еще очень робкой рукой картины американской природы. И что совсем удивительно — любовные стихотворения. При всем своем пуризме они все же выглядели явным нарушением канонов благочестия.

Приоткрылся уголок совсем незнакомого европейцам мира. О книге тепло отозвались в двух-трех лондонских журналах, не забыв отметить, что впервые за всю историю английской поэзии свои стихи осмелилась представить на суд публики женщина. Об этом не позабудут и многочисленные наследницы, с благодарностью упоминавшие уже в наш век о «Десятой Музе», которая доказала, что и для женщин должно найтись место на Парнасе. Творческое содержание и литературное значение ее поэзии вспоминается куда реже. Потребовалось исследование поэта и критика Джона Берримена (1956), чтобы всерьез заговорили и о Брэдстрит, и обо всей той поэтической эпохе.

Сегодня вряд ли кому-нибудь покажется, что эта поэзия принадлежит только профессорам истории литературы. Многое, конечно, устарело, но многое и

вошло в традиции, продолжающие развиваться. Пуританское воображение с его обостренной восприимчивостью к духовным и этическим конфликтам, развертывающимся в глубинах сознания, смогло — несмотря на ригоризм, моралистичность, абстрактность категорий и оппозиций — открыть в человеке Нового Света нравственные противоречия, к которым вернутся и некоторые крупнейшие американские поэты прошлого века (Герман Мелвилл, Эмили Дикинсон), и наши современники: тот же Берримен, Роберт Лоуэлл и другие. Сюда, в эту почву, уходит своими корнями традиция серьезного этического размышления и бескомпромиссного искания духовной истины — одна из лучших традиций американской поэзии. Сюда, к несмелым и еще чисто интуитивным догадкам Анны Брэдстрит, восходит нить последующих долгих поэтических споров о своеобразии Америки и американцев, о прежнем, европейском, и новом, заокеанском, «доме», о сущности американского мироощущения и национального характера.

В поэзии XVII века наметились некоторые художественные проблемы, в будущем оказавшиеся узловыми для американской литературы. Конечно, они наметились только слабым пунктиром — историческое развитие, сообщившее этим проблемам непреходящую актуальность, было еще впереди, да и самой поэзии еще предстоял немалый путь, прежде чем она станет бесспорным и значительным эстетическим фактом — в США это произойдет лишь в эпоху романтизма. Выдающийся талант Тэйлора и даже куда более скромное дарование Брэдстрит выглядят исключениями на современном им литературном фоне — в целом достаточно тусклом. Поэзия пока что воспринимается главным образом как средство наставления в добродетелях, которыми должен обладать пуританин. Во множестве пишутся духовные стихи, поучительные

истории, густо начиненные моральными сентенциями, сатирические поэмы, бичующие своекорыстие и разврат, а также эпитафии. Суровые условия непрерывных войн с индейцами, голод, эпидемии усилили потребность в таком жанре.

Культура коренных жителей континента, в том числе и их богатейший поэтический фольклор, первым американским литераторам остались неизвестными. Правда, уже в 1643 году, составляя описание индейских языков, Роджер Уильямс заключил каждую главу своей книжки небольшим стихотворением, выказывающим знакомство с преданиями аборигенов. Однако понадобятся еще полтора столетия, чтобы жизнь индейцев была осознана как художественная тема. Впоследствии американская поэзия будет ей обязана «Песнью о Гайавате» и еще многими прекрасными произведениями, включая и стихи поэтов-индейцев, все активнее о себе заявляющих в самые последние годы.

Политикой колонистов по отношению к истинным хозяевам американской земли был геноцид. Его осуществляли уже первые переселенцы и с еще большей жестокостью — их внуки и правнуки. В результате исчезли целые племена. Были искоренены большие пласты индейской культуры — это тоже входит в счет, предъявленный белой Америке нынешним поколением коренных американцев.

В подобной ситуации, разумеется, было затруднено, искусственно заторможено культурное общение, и все-таки оно происходило — индейская мифология, поэтические сюжеты и образы начали проникать в литературу задолго до Лонгфелло. Трагедия индейцев уже просветителям внушала чувство исторической вины Америки. А у романтиков она вызывала горечь и гнев, побуждая с особым усердием собирать остатки погибших художественных сокровищ и широко вводить в свои стихотворения индейские мотивы. В становлении

американской поэзии как национально самобытного явления наследие индейцев сыграло огромную роль.

Негритянской художественной культуре принадлежит в этом процессе роль поначалу не столь заметная, но тем не менее существенная. Корабли с черными невольниками плыли через Атлантику в кильватере кораблей с колонистами. С первых же десятилетий американской истории завязался расовый конфликт, и сегодня еще очень далекий, — может быть, даже особенно далекий — от разрешения. Африканские легенды, притчи, песни, вся эта глубоко своеобразная и яркая устная литература за океаном продолжала жить в бараках для рабов, а потом в «цветных» предместьях больших и малых городов, обогащаясь новыми темами и образами, но при этом не утрачивая своей специфической духовной и художественной сущности.

Уже в конце XVIII века из этой среды стали появляться первые литераторы, первые печатавшиеся поэты — и в их числе Филис Уитли, о которой теперь говорят как о прямой предшественнице романтического поколения. Вопреки всей атмосфере расизма, насаждавшего представление о чернокожих как о рабочей скотине, пригодной лишь для самого элементарного и тяжелого труда, даже на Юге, в условиях рабовладельческого общества, создавались произведения, выражавшие драмы и надежды «другой страны», как станут называть негритянскую Америку в наши дни. А фольклор черных американцев своей эстетической необычностью и красочностью поражал воображение писателей, соприкоснувшихся с ним в годы движения за отмену рабства, предшествовавшего Гражданской войне 1861–1865 годов.

Правда, следы непосредственного воздействия этой фольклорной поэтики обнаруживаются сравнительно поздно — отчасти у Лонгфелло в «Стихах о рабстве» (1842), заметнее в «Листьях травы» (1855) Уитмена.

Однако существовало и воздействие подспудное — воздействие на самый характер мироощущения американских поэтов, оказываемое накалявшимися год от года расовыми антагонизмами и в конечном счете сказавшееся на творческом видении и Мелвилла, и Торо, и Джеймса Рассела Лоуэлла. Существовала — на протяжении всего XIX века — и литература самих черных американцев, к концу столетия выдвинувшая самобытную поэтическую личность Пола Лоренса Данбара. Расцвет негритянской поэзии в 20-е годы нашего века, когда дебютировал выдающийся поэт черной Америки Ленгстон Хьюз и началось литературное движение, названное «гарлемским ренессансом», был неожиданностью лишь для тех, кто высокомерно не замечал культуру, хранимую и созидаемую в гарлемах с самого их появления на американской земле. В поэзию США эта культура вошла широко и многогранно и помогла ей обрести свое необщее лицо.

Фольклор самих колонистов тоже долгое время почти не соприкасался с письменной литературой. А ведь в фольклоре всего раньше выступили приметы национальной самобытности. Особенно в фольклоре фронтира — так называлась граница между освоенными переселенцами и еще принадлежавшими индейцам землями. Она двигалась к Западу, пока в середине XIX века не достигла тихоокеанских берегов. Быт и нравы фронтира хорошо известны из романов Купера, рассказов Брета Гарта и молодого Твена. Меньше знают сложенные пионерами легенды и баллады, которые они пели, — Роберт Фрост скажет, что это золотой фонд американской поэзии. Сюжеты многих баллад по европейским источникам известны еще со средневековья, однако жизнь на фронтире вносила в них настолько существенные поправки, что перед нами фактически новые произведения.

Быть может, самое в них примечательное — чувство удивления перед необыкновенной, щедрой, полной чудес природой и почти всегда примешивающееся к нему острое чувство опасности, грозящей человеку за каждым поворотом свежей дороги, которая тянется через бесконечные американские просторы. Никем не утвержденный, но державшийся еще очень прочно кодекс взаимовыручки и товарищества опоэтизирован в этих балладах с их гротескной образностью, немыслимыми гиперболами, сказочной героикой и — в то же время — обилием жизненно достоверных подробностей, простым и органичным демократизмом этического содержания.

Но в сознании людей фронтира уже зародилось сомнение в том, что равенство, всеобщее благоденствие, безоблачное счастье и впрямь ожидают каждого переселенца, который, не страшась тягот пути и индейских стрел, упрямо пробивается к своему эльдорадо, обязательно его ждущего где-то за ближним ли, дальним ли горизонтом. Действительность, где властвовал закон конкуренции и кипела битва за миллион, оказывалась явно не в ладу с этими прекраснодушными иллюзиями. Фольклор фронтира засвидетельствовал это противоречие. Как и возникший к концу XVIII века городской фольклор, и прежде всего рабочие песни, чьи безвестные создатели рассказывали о социальном гнете, о бесправии, о полуголодном житье обитателей первых наспех построенных фабричных и портовых поселков.

И эти темы, и образы, найденные творцами баллад и рабочих песен, с XIX века начнут вливаться в американскую поэзию все более широким потоком. Крупнейшие поэты США — и Лонгфелло, и Уитмен, и Фрост — обращались к этой россыпи, и каждый находил в ней крупицы высокого искусства. Через всю свою долгую жизнь пронес увлечение фольклором Карл

Сэндберг, в 1927 году опубликовавший «Американский песенник», куда вошли собранные им образцы народной поэзии, порой относящиеся еще к колониальным временам.

Фольклор привлекал своими яркими поэтическими достоинствами. И вместе с тем все они чувствовали, что в фольклоре раньше, чем в литературе, — а в чем-то и непосредственнее — были постигнуты и выражены некоторые важнейшие стороны, некоторые ключевые конфликты исторического опыта Америки. Литература подойдет к этим конфликтам лишь в эпоху романтизма. Фольклор начал их осмыслять еще до 1776 года, — хотя, конечно, и в наивной форме, без той глубины, которая отличает творчество По и Мелвилла, Уитмена и Торо.

Ранние американцы — и высокопросвещенные, как Бенджамин Франклин, и едва читавшие по складам, как пионеры, в разваливающейся повозке пробивавшиеся через прерию и на ночь клавшие рядом с собой заряженное ружье, — воспринимали свою новую родину страной справедливости и демократии, какой она мыслилась «мелким буржуа и крестьянам, бежавшим от европейского феодализма с целью учредить чисто буржуазное общество»[1]. Даже неудачник здесь мог если и не ощутить себя счастливым, то хотя бы утешиться надеждой: сколько еще вокруг незаселенных территорий, сколько никем не тронутых природных богатств. И кажется, ничто не мешает человеку проявить себя: ведь за океаном не было ни сословной иерархии, ни религиозных гонений, ни культурных цензов. Как будто и впрямь «свободная земля миллионов безземельных Европы», их «обетованная земля»[2].

Потом такие представления об Америке назовут «американской мечтой», иногда — «американской

легендой». Другое дело, что сразу же произошла очень существенная корректировка реальностью. При всем демократизме мышления ранних американцев никто из них не покушался на буржуазное право собственности. Даже истреблению индейских племен, смущавшему совесть лучших людей Нового Света, пытались найти рационалистическое оправдание, как и рабству чернокожих.

Нужен был исторический опыт, чтобы противоречия строившегося за океаном государства начали осознаваться всерьез: не как преходящее, а как коренное. В литературу это пришло с романтиками. Тогда она и стала действительно американской литературой. Она нашла проблематику, характерную прежде всего для Америки. Сложился художественный язык, уже вполне самостоятельный по сравнению с английскими эстетическими традициями и устремлениями.

В поэзии это истинное «открытие Америки» подготавливалось на протяжении всего долгого периода, предшествующего романтизму. О национальной поэтической школе не приходится говорить примерно до 30-х годов прошлого века, когда на сцену выступило поколение Эдгара По и Лонгфелло. Но к обретению литературной независимости логика художественного движения вела уже с XVII столетия, с Брэдстрит и Тэйлора, с первых негритянских песен, сложенных в неволе, с первых народных баллад, с первых контактов между нарождающейся американской и уничтожаемой индейской культурой. С первых попыток передать необычность мира, открывшегося переселенцу и налаживаемого самим переселенцем на другом берегу Атлантики.

Вывезенный из Англии классицизм меньше всего мог способствовать успеху подобных усилий. Это была эстетическая система, чужеродная американскому

жизненному содержанию, стучавшемуся в пока еще наглухо закрытые двери литературы. Для Америки неизбежно вторичный, творчески бесперспективный, классицистский стиль, однако, господствовал в поэзии столетие с лишним. Исторически это закономерно. Художественный авторитет англичан оставался подавляюще высоким. Утечет много воды, прежде чем Мелвилл в 1849 году уверенно скажет: «нам не нужны никакие американские Томпкинсы и даже американские Мильтоны». Он говорил от имени своего блестящего литературного поколения. В устах поэтов XVIII века такое утверждение выглядело бы ничтожной похвальбой.

Да и сознанию этих поэтов было вовсе не тесно в классицистских рамках. Напротив. Высокая патетика и обильные античные реминисценции, торжественность слога и величавость стиха — все это вполне отвечало их творческим задачам. Они хотели воспеть Америку. Они верили в ее будущую славу. Идея высокой американской миссии уже оформилась. Действительность еще не успела ее поколебать.

На какое-то время такого рода оптимизм совпал с преобладающим общественным настроением, и классицистская поэзия пережила свою лучшую пору. Это годы революции и Войны за независимость. Тогда Джоэл Барлоу написал «Видение Колумба» (1787), преобразованное затем, на манер Вергилиевой «Энеиды», в «Колумбиаду» (1807), огромную эпическую поэму, мертвыми пентаметрами славящую, как сказано в авторском предисловии, настоящее и грядущее «республиканских институтов, являющихся основой общественного блага и счастья каждого гражданина». Тогда Джон Трамбулл в подражание Свифту написал «Макфингала» (1776–1782), бичуя приспешников английской короны и высмеивая пустые словопрения заокеанских вигов и тори, чтобы перейти затем к

патриотическим гимнам в честь побеждающей американской Свободы. Тогда появилось множество анонимных стихотворных сатир, од, памфлетов, прокламаций, и в потоке этой рифмованной публицистики порой попадались вещи, отмеченные недюжинным талантом.

Тогда выдвинулась, привлекая общее внимание, и самая примечательная поэтическая индивидуальность той эпохи — Филип Френо. Прежде с него и начинали историю поэзии США. Это неверно, однако значение Френо в самом деле очень велико. По складу дарования он был скорее поэтом природы и философским лириком, а не трибуном и полемистом, каким его сделала эпоха. Англофоб и франкофил, капитан шхуны, доставлявшей повстанцам порох из Вест-Индии, и узник британской плавучей тюрьмы, газетчик, непоколебимый приверженец Джефферсона и враг всякой тирании, он и после войны остался человеком 1776 года, со скорбью и возмущением писавшим о коррупции, которая воцарилась в Америке, и о героях, вынужденных протягивать руку за милостыней:

Где ж то оружье, что он брал в походы,
Где сила, что британцев прочь гнала?
Солдату завоеванной Свободы
Даны в награду — *голод* и *хвала!*

Пока шла война, сатиры и политические стихи Френо гремели по всей Америке. Это типичная классицистская поэзия, постоянно оглядывающаяся на античные образцы, выспренняя и перегруженная абстрактной символикой, но подчас добивающаяся неподдельной страстности — и в утверждении, и в отрицании.

Высшими авторитетами Френо признавал Мильтона и Попа. Однако гораздо больше дало ему чтение Голдсмита. Под явным его влиянием появились поэтические интонации и мотивы, не укладывающиеся в жесткое ложе классицистской нормы. Френо увлекла прихотливая игра творческой фантазии. Он создал «Американскую деревню», «Покинутую ферму», «Дом ночи» — меланхоличные, отмеченные лиризмом и гротескной образностью стихи, каких немало писалось в Европе на исходе XVIII столетия, в предчувствии близящейся романтической эпохи. Некоторые стихотворения 80-х годов побуждают назвать Френо предшественником романтиков.

Конечно, от вдохновлявшей Френо «фантазии» еще довольно далеко до боготворимого романтиками «воображения» — за этим понятием скрывалась целая философия жизни и творчества, которую едва ли понял бы и принял лучший поэт американской революции. Классицизм обрел в нем своего самого значительного художника. И в нем же завершился. После Френо, оставившего поэтическое поприще сравнительно молодым, наступило затишье, благодатное для совсем уж бесталанных эпигонов.

Но длиться затишью было недолго. Умирая в 1832 году, Френо мог убедиться, что брошенные им первые зерна дают обильные всходы. Романтическое движение вступило в свои права, чтобы сохранить в поэзии ведущую роль вплоть до XX века.

Формально рождение романтизма в американской поэзии можно датировать с образцовой точностью — 1817 год, публикация раннего варианта поэмы Уильяма Каллена Брайанта «Танатопсис» (год спустя появилось и его самое известное стихотворение «К перелетной птице»). Но проку от такой точности немного. Первая ласточка не делает весны. Романтическая весна наступила в Америке где-то в конце 20-х годов.

Романтизм стал тогда художественным движением, объединившим лучшие поэтические силы. Брайанту — по хронологии основоположнику — суждено было остаться рядовым его представителем.

Лидерами оказались другие. К 1830 году Эдгар По успел напечатать «Тамерлана» и «Аль Аараф». Лонгфелло завершил годы своих европейских странствий, вернувшись на родину под сильнейшим впечатлением от бесед с Августом Шлегелем и Карлейлем, от книг Тика, Гофмана и Жан-Поля. Первый сборник Лонгфелло «Голоса ночи», правда, выйдет лишь в 1839 году, когда уже приобретут известность — как поэты — Эмерсон и Торо, раскроется талант Уиттьера. Впрочем, и имя Лонгфелло было знакомо любому любителю поэзии в Америке задолго до «Голосов ночи». А его «Псалом жизни» (1838) стал своего рода манифестом поколения ранних романтиков:

> Нет, не Будущим манящим
> И не Прошлым, что мертво,
> Жить должны мы Настоящим,
> В нем лишь — жизни торжество![3]

Уже по этим строкам можно почувствовать своеобразие американского романтизма на фоне родственных явлений в поэзии Старого Света. Никакой ностальгии по временам давно ушедшим и никаких патетических пророчеств идеального миропорядка грядущего. Как это не похоже на характерные настроения тогдашней Европы: «Сердце в будущем живет; настоящее уныло». Словно бы американцам этот разлад с действительностью был вообще не знаком.

На самом деле это, разумеется, вовсе не так. При всех своих отличительных особенностях американский романтизм, как и европейский, тоже вырос из

неприятия буржуазной повседневности и точно так же выразил ощущение трагизма начавшегося «железного века». К нему в полной мере приложима характеристика, которую дал «романтической форме искусства» еще Гегель, писавший, что в этой своей форме «искусство отбрасывает от себя всякое прочное ограничение определенным кругом содержания и постижения и делает своим новым святым Человека... глубины и высоты человеческой души как таковой».

Само это представление о суверенности и самоценности человеческого «я» не могло не порождать глубочайшего конфликта романтиков с окружающим миром буржуазной пошлости. В Америке с ее рано обнаружившимся культом практицизма и сопутствующим ему обезличиванием подобные конфликты бывали особенно остры — до безысходности.

История американского романтизма сохранила немало свидетельств подобных столкновений поэта и «толпы». Самое яркое — жизнь и поэзия Эдгара По. Плоские принципы утилитарного мышления были ему тем ненавистнее, что он и сам должен был им подчиняться, когда нужда заставляла менять перо поэта на карандаш редактора недолговечных еженедельников. Тирании меркантилизма и его «рациональных» норм он сопротивлялся отчаянно, не останавливаясь перед крайностями. Он решительно отделил Поэзию от Правды, отождествив Правду с филистерским морализмом преуспевающего лавочника. Он признал Поэзию не меньше, но и не больше чем «созиданием Красоты в ритмах», не подозревая, конечно, что столетие спустя его заветной мыслью попробуют оправдать формализм и эстетство.

Для самого По такого рода декларации, бросающие вызов убогим понятиям «толпы», были еще одной попыткой хотя бы в искусстве осуществить идеал

свободного и богоравного человека, «духовного царства, завершенного в себе» (Гегель), — мечту, совершенно неосуществимую в действительности. Невоплотимость этой мечты и драма безгранично ей доверившегося романтического сознания были сущностью его поэзии. Бодлер, его европейский первооткрыватель, назовет По предтечей «проклятых поэтов», самым ранним из «бунтарей» против ханжества и ничтожества буржуазного общества.

Его поэзия полна муки и боли, исступленных порывов и мистических озарений. Вместе с автором мы как будто оказываемся «вне Пространств и вне Времен», а подчас реальность словно вообще исчезает, уступая место воображению и памяти с ее навязчивыми, неотступными образами — Линор в «Во́роне» или Аннабель Ли в одноименном стихотворении:

И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — любовью моей,—
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

Русским символистам, ценившим По необычайно высоко, он часто виделся певцом грезы, а его самые знаменитые стихотворения воспринимались прежде всего с формальной стороны, как триумф «чистой» образности, созданной смелыми метафорами, смысловыми и эмоциональными повторами и блистательной звукописью. Поражало, что и в «стране снов», куда раз за разом уносила «безумного Эдгара» его богатая фантазия, выступали со скрупулезной точностью выписанные приметы будничности, а вдохновение не препятствовало чуть ли не математической рассчитанности композиции и выверенности каждого ритмического хода. Здесь

находили противоречие, которого, строго говоря, на самом деле не было. Было стремление сблизить идеальное с действительным, как бы подвергая их взаимной проверке. Это черта, вообще характерная для поэзии американского романтизма. Почти неизменно она «жила Настоящим», разными способами напоминающим о себе даже в произведениях как будто совсем далеких и от реальной жизни Америки прошлого столетия, и от ее духовных проблем, которыми определялось самосознание молодой заокеанской нации.

Та же бросающаяся в глаза двойственность По, до сухости трезвого в самом своем исступлении, в этом смысле очень показательна. В его творчестве, помимо типично романтической антиномии возвышенного и земного, уже выразился, причем с неподдельной трагичностью, и кризис веры в американский идеал бесконечно свободного индивида, не выдержавший первой же проверки истинами буржуазного мироустройства. Чем яснее становился для По разрыв высокой мечты и этих низких истин, тем неистовее хотелось ему предаться «возвышенному обману», отрицая даже самоочевидные законы физического бытия — тот же закон бренности каждого существования — во имя освобождения нетленного, целостного и гармоничного начала, которое олицетворено в Психее, символе абсолютной суверенности души. Но обретение такой свободы оказывалось иллюзорным, истина предъявляла свои неоспоримые права, и ее невозможно было преодолеть хотя бы и готовностью к саморазрушению. Перед Настоящим приходилось склониться — пусть не в смирении, а в отчаянии, приходившем на смену бунтарству.

Иронией судьбы, а точнее, эстетической глухотой соотечественников было предопределено, чтобы По

умер непризнанным и нечитаемым и был «открыт» Европой за много лет до того, как к нему переменила свою немилость Америка. Теперь понято наконец, что он был самым американским из всех поэтов своего поколения.

Другие еще боязливо посматривали в сторону культурных столиц Старого Света. Следов европейского воздействия, прямых перекличек, подражаний — всего этого на первых порах предостаточно в стихах американских романтиков. Тот же Брайант страстно увлекался Вордсвортом и даже под старость, почти цитируя английского мэтра, говорил, что дело поэзии — изображать «прелесть природы, превратности судьбы и наклонности сердца». За исключением «Стихов о рабстве» и «Гайаваты» в эту простодушную эстетику вполне укладывается и творчество Лонгфелло. Никто из американских литераторов XIX столетия не вкусил столь громкой славы: в США Лонгфелло почитали подлинно национальным художником, в Европе — ставили рядом с Гюго. Даже в Китае перевели «Псалом жизни» и изготовили веер, поместив текст на пластинах.

Современного читателя, пожалуй, удивит такой энтузиазм. Лонгфелло ему покажется поэтом хотя и значительным, но не слишком оригинальным. Как раз этим и объяснялся его прижизненный успех. Его стихи были узнаваемы, они естественно вливались в традицию, освященную большими европейскими именами, а для американцев, остро чувствовавших свою провинциальность, было лестно сознавать себя идущими вровень с Европой не только в коммерции, но еще и в культуре. Достоинство усматривали в том, что было коренным недостатком Лонгфелло, — в его вторичности, в анемичной литературности его тем и образов.

Двадцатый век отнесся к нему по-иному, выделив в его наследии «Гайавату», стихи против рабовладения, несколько стихотворений периода Гражданской войны и предав забвению все остальное. Это несправедливо — не только на взгляд историка. Лирика Лонгфелло, в особенности цикл «Перелетные птицы», созданный им в расцвете сил, сохранила живое обаяние и до наших дней. Элегичность, созерцательность, мечтательная гармония многих его стихотворений не понапрасну увлекали читателей прошлого века — здесь есть и своя поэтическая интонация, и отточенное мастерство. Лучшая пора Лонгфелло пришлась на 40-е годы. В его камерный мир ворвались отзвуки политических событий, приближавших войну Севера и Юга. Его уравновешенная лира зазвучала с непривычной резкостью, появились публицистические краски, да и пейзажные стихи приобрели ясность, строгость, драматизм, мало им свойственные прежде.

Второй раз подлинное вдохновение посетило его в 1854 году, когда в распоряжении Лонгфелло оказалось огромное собрание материалов по индейской истории и фольклору. «Гайавату», написанного на едином дыхании, теперь часто воспринимают как красивую легенду, в духе руссоистских утопий живописующую добродетельного туземца и обходящую острые углы истории. Еще одна несправедливость: Лонгфелло действительно недостает исторического знания, и тем не менее его поэма художественно достоверна в главном — в понимании гуманной сути индейского характера и духовного братства всех людей доброй воли.

Это была высшая точка на пути Лонгфелло. Потом начался спад, хотя поэт продолжал выпускать книгу за книгой. Стилизации быта и нравов далеких эпох, заполнившие сборник стихотворных новелл «Рассказы придорожной гостиницы», порою были виртуозны, а

сонеты из позднего сборника «Маска Пандоры» демонстрировали замечательное владение формой. Однако новых творческих горизонтов уже не открывалось. Да и с американской жизнью эти произведения почти не связаны. Прожив долгую жизнь, Лонгфелло фактически остался поэтом раннего романтического периода, в поэзии завершенного к середине 40-х годов.

Для поколения Лонгфелло такая судьба была не исключением, скорее правилом. Ее повторили Джеймс Рассел Лоуэлл, Холмс, да во многом и Уиттьер. Все это были поэты, не находившие противоречия в том, что национальный материал они пытались воплотить средствами поэтики, которая сложилась на другом океанском берегу. Все они отличались кто умеренным, кто довольно радикальным демократизмом, и в преддверии Гражданской войны все трое выказали себя твердыми сторонниками Севера, создав произведения, обличающие рабство. А когда умолкли пушки, всем им оказалось не по силам справиться с новым жизненным содержанием, которое принес «позолоченный век» — так, не без оттенка презрения, назвал эту эпоху Марк Твен.

Лоуэлл и Холмс, питомцы Бостона — тогдашнего интеллектуального центра Америки, и смолоду больше имитировали дух и стиль английских шедевров, чем сочиняли сами. После войны это стремление перещеголять друг друга в подражаниях англичанам сделалось для них чуть ли не главным занятием. За ученость и бесстрастность бостонских литераторов их кружка окрестили браминами — почтительности в этом прозвище было не меньше, чем насмешки.

Вскоре кружок получил пополнение. Явились ревнители «благопристойности» во главе с критиком и версификатором Э. Стедменом. Они насаждали в литературе худосочное «изящество», молились на

Теннисона и других викторианцев, а первых отечественных реалистов (как, впрочем, и переводных, особенно Толстого), позабыв об изысканности, осыпали бранью за их «вульгарность». Духу эпигонства, воцарившемуся в американской поэзии к концу века, они способствовали далеко не в последнюю очередь. Новое поколение, выступившее перед первой мировой войной, начало с единодушного бунта против этих паладинов Идеальной Поэзии. Были отвергнуты и их наставники — брамины. Уиттьера попросту успели забыть — и напрасно: стихи против рабства обогащали демократическую традицию, а поэма «Занесенные снегом», содержащая прекрасные картины природы и сельской жизни в Америке старого времени, местами предвещает лирику Фроста. Однако репутацию этой поэтической школы в глазах дебютантов 10-х годов, вероятно, не спас бы и Уиттьер.

Будущее принадлежало другому направлению. Оно начало заявлять о себе на втором этапе романтического движения в США, охватывающем примерно полтора десятилетия перед 1861 годом, который расколол страну на два непримиримых лагеря.

Начало этому направлению положили поэты-трансценденталисты. Крупнейшие из них — Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо — гораздо больше известны своими философскими эссе и лирической прозой, чем стихами. Это естественно: оба видели в поэзии по преимуществу еще одну область философствования, не придавая особой ценности иным ее возможностям. На американской почве идеализм трансценденталистов — как философская система несостоятельный — приобретал прихотливые оттенки. Доктрина индивидуализма, пустившая в США такие глубокие корни, была основана не кем иным, как Эмерсоном, выдвинувшим знаменитый лозунг «Верь себе!». А с другой стороны, и Эмерсон, и особенно Торо

были настроены резко критически в отношении господствующего порядка и подчас оказывались близки к утопическому социализму.

Эти противоречия затронули и поэтическое их творчество, но не они здесь главное. Уже в первом сборнике Эмерсона, вышедшем в 1846 году, различались устремления, необычные для американской лирики. Поэтическое слово приобретало осознанную идейную емкость, оказываясь своего рода словом-сигналом, философской метафорой. Обманчиво простые и безыскусные, стихи Эмерсона, как и Торо, заключали в себе продуманную концепцию: и философскую, и поэтическую.

В природе Эмерсон находил высокую органику, обладающую нравственным законом. Художника он называл читателем этого шифра, скрытого в мироздании. Лирике нужно было стать естественной, преодолев условности вроде обязательной рифмы или какого-то особого поэтического словаря. А вместе с тем она должна обладать мыслью и символикой, столь же непосредственной и правдивой, как природа, которая, по мнению Эмерсона, «сама символ — и в целом, и в каждом своем проявлении». Беда современных поэтов, по мнению Эмерсона, в том, что они рабски следуют формальным правилам, разучившись «видеть тесную зависимость формы от души».

Воплотить эти глубокие идеи в творчестве не удалось до конца ни Эмерсону, слишком редко добивавшемуся непринужденной символичности, ни Торо, чьи образы порою необыкновенно выразительны при всем своем смелом прозаизме.

Однако наметившееся новое понимание поэзии и подкрепившие его первые опыты подготовили такое явление, как Уитмен.

Конечно, Уитмен сам по себе эпоха в истории поэтического искусства. XX век обязан ему бесконечно

многим. Его свободный стих оказался одним из магистральных путей, на которых происходило становление реалистической поэтики, — достаточно вспомнить таких продолжателей, как Верхарн или Сэндберг. То, что К. И. Чуковский назвал его «экстазом широты», его космически масштабные образы, его «каталоги», перевернувшие все представления о «поэтичном», его урбанизм — все это десятками отголосков отзовется в мировой поэзии от Маяковского до Неруды.

Рядом с современниками Уитмен кажется представителем иной, гораздо более поздней художественной эпохи. Он и в самом деле намного опередил свое время, и поэтому его значение было по-настоящему осознано лишь через полстолетие после того, как в 1855 году мало кому известный журналист выпустил «Листья травы» — быть может, самую новаторскую и уж, во всяком случае, самую необычную поэтическую книгу XIX века. Читателям первого издания в причудливых ритмах и образах Уитмена ясно слышался пульс времени. Все передовые силы Америки сплачивались для решающей схватки с плантатора ми-рабовладельцами. Повсюду в стране чувствовался демократический подъем. И он вызвал к жизни творение Уитмена.

Единственным, кто сразу его оценил почти по достоинству, был Эмерсон. И это не случайность. Линии движения американской поэзии вели к Уитмену. Линия, обозначенная Эмерсоном и его друзьями, лежит к нему всего ближе.

Автор предпослал книге большое вступление. Не за горами была Гражданская война, и Уитмен — демократ из демократов — видел будущее своей страны в радужном свете. Многие его иллюзии впоследствии развеются. Торжествующая олигархия приобретет в нем непримиримого критика. Он поклянется в верности

Народу и Демократии и пронесет эту верность через все испытания:

> Жизнь, безмерную в страсти, в биении, в силе,
> Радостную, созданную чудесным законом для самых
> свободных деяний,
> Человека Новых Времен я пою.

По сей день не утихли споры о том, как возник уитменовский свободный стих. Ни в предисловии к «Листьям», ни в других статьях Уитмен об этом не говорит. Но свои мысли об искусстве он высказывал не раз, и в них много общего с идеями эстетики Эмерсона. А ритмика эмерсоновских эссе — «Природы», «Американского ученого» — подчас близко соприкасается с движением свободного стиха «Листьев травы», хотя, возможно, это лишь объективное сходство.

Другими источниками, несомненно, послужили ритмы английской Библии, синтаксический параллелизм, отличавший речь бродячих проповедников и ораторов на уличных митингах, поэтические приемы индейского фольклора. В последнее время все чаще отмечают родственность Уитмена Блейку, каким он предстает в «Пророческих книгах». Указывают еще на его стойкий интерес к великим литературным памятникам Индии. Такого рода параллели могут умножаться и дальше. Но в конечном счете свободный стих, как и выросшая из него поэтика своеобразного монтажа и спонтанно возникающих образов, точно бы поэма создавалась на глазах читателя, — все это остается завоеванием самого Уитмена. Содержание, выразившееся в его книге, потребовало совершенно особых поэтических средств.

Во многом оно уже выходит за пределы романтического образа мира. Пристальный интерес к повседневности, вторжение в «недостойные» художника области бытия, богатство конкретных деталей, а главное, широко распахнутый поэтический горизонт, чувство бесконечной изменчивости и напряженной динамики жизни — вот что было особенно дорого в Уитмене его последователям-реалистам. Не будет натяжкой назвать «Песню большой дороги» прологом американской поэзии XX века:

> Ты, дорога, иду по тебе и гляжу, но мне думается,
> я вижу не все,
> Мне думается, в тебе много такого, чего не увидишь
> глазами.
> Здесь глубокий урок: все принять, никого не отвергнуть,
> никому не отдать предпочтенья...

В уитменовских «каталогах» скульптурно четкими контурами была намечена широкая панорама Времени и Страны, решена задача, которую Уитмен считал важнейшей. Открытия Уитмена далеко уводили от некоторых эстетических канонов романтизма. Но все же в историю литературы он вошел как великий романтик. Его стихи, в которых, кажется, звучат все голоса земли — голоса прерии, города, океана, голоса сапожника, лодочника, каменщика, плотника, — в действительности еще не стали полифоническими, потому что эти «голоса» почти неизменно оказывались модуляциями голоса самого Уитмена. Еще не возникло органичное слияние индивидуальной и народной

судьбы, которое является фундаментальным принципом реалистического видения.

Впоследствии Кнут Гамсун, посвятивший Уитмену несколько уничижительных страниц, не без высокомерия и иронии назовет это условное «многоголосие» проповедью обезличенности. И сегодня приходится читать, что «я» Уитмена — это общеличность, лишенная примет неповторимого в каждом человеке духовного облика. Уитмена в таких случаях судят по законам реализма, им самим над собою не признанным. «Я, Уолт Уитмен» разных редакций «Листьев травы» — романтический герой, находящийся в самом центре мироздания и несущий на своих плечах все заботы, тревоги, радости и надежды настоящего, которое Лонгфелло провозгласил, а Уитмен и впрямь сделал бесценным достоянием поэзии. Этот персонаж в известном смысле условен, как во всяком произведении романтика. Но в нем воплощены существенные черты людей героической эпохи 1861 года. Он исповедует доктрину «доверия к себе», божественности человеческого «я», природного равенства людей, пантеистического приятия жизни. В нем нашли глубокий отклик идеи утопистов, он ненавидит рабство, насилие, несправедливость, его приверженность Демократии — не той, что на бумаге, а той, что в сознании и мечте народа, — непоколебима, как непоколебима и ненависть ко всему, что унизительно для личности и отчуждает человека от других людей.

Та «сверхдуша», которая живет в «Уолте Уитмене», побуждая его «принимать реальность без оговорок», все неуютнее себя чувствовала в Америке после Гражданской войны, открывшей простор не для Демократии, а для плутократов. Жизнелюбие не покинуло Уитмена до конца, но все-таки в его поздних произведениях все больше горечи, недоуменных

вопросов и яростных обличений. Последние издания «Листьев» выходили практически без новых стихов — Уитмен уже почти не писал. И его настигла судьба всего романтического поколения, в условиях «позолоченного века» пережившего крах своих высоких идеалов. Теперь романтики один за другим покидали литературную сцену. Герман Мелвилл, великий современник Уитмена, был вытеснен из литературы еще раньше, а его «Военные стихотворения», порой на удивление глубокие, затрагивающие моральные коллизии огромной сложности, пылились в книжных лавках, пока за бесценок не пошли торговцам бумагой.

В поэзии наступил застой. Период от конца Гражданской войны до XX века называют то «междуцарствием», то «сумеречным промежутком». Он и в самом деле почти бесплоден. Были, правда, первые очень поверхностные попытки вслед за Уитменом осваивать заведомо «непоэтичный» материал: Маркем посвятил два-три стихотворения людям труда, Моуди уже в начале нашего века торжественным одическим стихом выразил возмущение агрессией США на Филиппинах. Было несколько ярких талантов, впрочем, быстро себя растративших. Сидни Ланир создал цикл о «реконструкции» Юга, представлявшей собой неприкрытый пир спекулянтов, и сам испугался обличительного пафоса «Дней стервятников», спрятав рукопись в дальний ящик стола. Стивен Крейн за свою недолгую жизнь успел подготовить два импрессионистских по духу сборника, отмеченных и свежими образами, и небанальностью стиха. По преобладало эпигонство. Вяло доцветали запоздалые цветы другой, отшумевшей литературной эпохи.

И все-таки искра романтического гения еще раз вспыхнула в Америке и разгорелась в чистое пламя высокой поэзии.

Пока в Бостоне сокрушались по поводу «вульгарности», торжествующей и в жизни и в искусстве, пока вздыхали по невозвратным временам, когда поэзия еще служила Красоте, неподалеку, в Амхерсте, дочь казначея местного колледжа Эмили Дикинсон писала стихи, теперь признанные одним из самых глубоких и сложных явлений американского романтизма. Лишь восемь ее стихотворений были анонимно напечатаны при жизни автора. Никто не обратил на них внимания. Слава пришла уже в XX веке.

Пуританское воспитание, которое получила Дикинсон, сильно сказалось на ее творчестве. Она верила, что только признанием муки бытия и искуплением собственной греховности в постоянной изнурительной борьбе с самим собой обретает человек истинную свободу. Компромиссов она не признавала, и с годами у нее усиливалось стремление уйти от мира, где моральные заповеди давно сделались пустой формой и господствуют практицизм и бездуховность. Она вела затворническую, аскетическую жизнь, но стихи, скрываемые даже от близких, впоследствии открыли, какой напряженной духовной работой были заполнены ее однообразные будни, какие сложные конфликты и противоречия не переставали ее тревожить.

По сути, это беспримесно романтические конфликты. Главным из них был непоправимый разлад между духом и бытием, кризис сознания, больше не находящего хотя бы внешнего единства с миром. Несмотря на свою добровольную изоляцию, Дикинсон поразительно точно чувствовала драматизм исторического времени, разрушающего связи личности с естественной жизнью и поколебавшего в человеке ощущение необходимости и незаменимости среди тысяч других людей, уникальности каждого жизненного пути и преемственности поколений.

Этот драматизм и был истинной «причиной и зачином» той боли, которая с беспредельной откровенностью передана в ее стихах. Действительность, развороченная и перевернутая Гражданской войной, уже не оставляла места для мечты о гармонии хотя бы в отношениях личности с природой, и повсюду у Дикинсон мы встречаем честное свидетельство об отчужденности человека и всеобщей разделенности людей. Она не принимала такого положения вещей, но не признать его реальности она не могла. И поэтому в ее поэзии страстное воодушевление то и дело сменяется подавленностью, а приливы надежд — горечью разочарований, хотя «амхерстская затворница» никогда не позволит себе приступов безнадежности:

Наш мир — не завершенье —
Там — дальше — новый Круг —
Невидимый — как Музыка —
Вещественный — как Звук,

Всматриваясь в этот калейдоскоп противоборствующих настроений, нельзя не различить за ними биения пульса эпохи, пусть ее самоочевидные приметы почти отсутствуют в поэтической вселенной, созданной воображением Эмили Дикинсон. Драма пуританского сознания, столкнувшегося с резким противоречием идеального и действительного в Америке той эпохи и воспринявшего это противоречие как собственную неизбежную судьбу, осмыслена Дикинсон так глубоко, что ее стихи приобретают значение общечеловеческое — при всей специфичности исходных понятий, которыми она мыслила. В ее сдержанных по тону, лаконичных строфах с их неповторимыми метафорами и новаторскими ритмами

чувствуются страстные борения духа, и речь идет о непреходящих коллизиях — о способности или бессилии личности достичь единства убеждения, этики и поступка, о вечном стремлении человека обрести истинную гуманность своего бытия и тех неисчислимых препятствиях, которые ему приходится преодолевать.

«Это — письмо мое Миру — Ему — от кого ни письма» — так сказала о своих стихотворениях сама Дикинсон. Письмо всерьез прочтут через много лет после смерти отправителя. Тогда выяснится, что и в 80-е годы еще не иссякли жизненные соки, питавшие романтическую художественную систему. Факт существенный для установления хронологических границ романтизма в американской поэзии. Практически они совпадают с границами XIX столетия.

Испано-американская война 1898 года возвестила новый период, на языке исторической науки именуемый периодом империализма. И поэзия вскоре откликнется на те социальные перемены, которые он принес.

Начало нового поэтического века как будто поддается столь же строгой датировке, как и начало романтической эпохи. В октябре 1912 года на стендах киосков появился первый номер только что основанного в Чикаго журнала «Поэтри». Издательнице журнала Гарриет Монро удалось объединить многих одаренных молодых поэтов, которых ожидало большое будущее. С «Поэтри» тесно связаны творческие биографии Фроста и Сэндберга, Эдгара Ли Мастерса и Вэчела Линдсея. Здесь зародились традиции, которые прослеживаются в американской поэзии вплоть до современности. На первых порах история «Поэтри» словно бы целиком совпадает с историей «новой поэзии», как стали называть стихи молодых и — по возрасту — уже не очень молодых дебютантов 10-х годов, с историей «поэтического ренессанса», как теперь называют в США весь тот период.

На самом деле совпадение далеко не абсолютно, датировка условна, а термины неточны. «Ренессанс» — слово слишком обязывающее даже и для этого действительно яркого времени, пусть имеется в виду только возвращение поэзии к активной и плодотворной жизни. 1912 год стал определенным рубежом, но скорее волею случайности, чем логикой художественного развития: взлет подготавливался по меньшей мере с начала века. Наконец, были явления, не отразившиеся на страницах «Поэтри».

Прежде всего — творчество революционных поэтов. Почти все они в те годы были активистами боевой пролетарской организации «Индустриальные Рабочие Мира». И все без исключения изведали, что такое полицейская дубинка и ярость обывателя, неправый суд и тюрьма. Джо Хилл, самый из них талантливый, был казнен в штате Юта по сфабрикованному доносу. Накануне расстрела он обратился к друзьям с призывом, который стал крылатым: «Не оплакивайте меня — объединяйтесь!» Песни Джо Хилла знал каждый рабочий, они живут и по сей день. Это поэзия высокого мужества, поэзия простых и весомых социальных истин. Отчасти она предвосхищает знаменитые зонги Брехта.

Через те же университеты прошли Ральф Чаплин, Артуро Джованнити и другие поэты ИРМ. Традиция революционной поэзии возникла не на пустом месте — она восходит к фольклорной рабочей песне, чья история прослеживается еще с XVIII столетия. Упорно замалчиваемая в США, эта поэзия обогащалась от десятилетия к десятилетию. Истинный масштаб и значение этого явления выступили лишь сейчас, когда передовыми историками обследована социалистическая периодика и подготовлены добротные антологии. В них вошли и стихи Джона Рида. Его поэтическое наследие невелико, но бесценно, как каждая страница автора «Десяти дней, которые потрясли мир». Отблеск этих

дней, быть может, всего четче проступил в поэме Рида «Америка, 1918». Потом он будет ясно различаться в стихах таких крупных американских поэтов, как Сэндберг и Ленгстон Хьюз, в страстной поэтической публицистике Майкла Голда и Женевьевы Таггард, в творчестве пролетарских поэтов 30-х годов — Кеннета Фиринга, Кеннета Пэтчена. «Красное десятилетие» было эпохой невиданно резких социальных антагонизмов, эпохой Испании и массовой антифашистской борьбы. Для революционной литературы США это был звездный час. Поэзия 30-х годов отмечена неподдельной остротой социального содержания, публицистичностью и гражданственностью. Тогда произошел перелом в творчестве Уолтера Лоуэнфелса, преодолевшего настроения безнадежности и посвятившего свою жизнь борьбе пролетариата. Демократическая поэзия нашего времени вдохновляется идейным и художественным наследием 30-х годов.

Читателям «Поэтри» оставались незнакомы и стихи негритянских поэтов. Между тем с начала века наметился подъем, скоро побудивший заговорить о новой поэтической школе. Она заявила о себе сборником Клода Маккея «Гарлемские тени» (1922). Блистательно дебютировал Хьюз. Оба они — как пришедшие чуть позже Каунти Каллен и Джин Тумер и поэты 30-х годов Стерлинг Браун, Ричард Райт — говорили от имени миллионов черных американцев, поднимавшихся на борьбу против расизма и не смирившихся с бесправием, которое им было уготовано. История этой борьбы, полная трагизма и величия, составляет неотъемлемую и важную главу американской истории XX века.

Гарлемские поэты 10–20-х годов отразили самую раннюю стадию этого большого социального процесса. Пробуждалось национальное самосознание,

пробуждалось и чувство особой духовной сущности, особого типа культуры, отличающей черную Америку. У раннего Хьюза, Маккея, Тумера все это нашло для себя выход и в острой социальной тематике, и в резко специфичном художественном мышлении: в необычных ассоциациях, преображающих условные библейские метафоры сближениями с живой образностью фольклора, в лексике, навеянной речью негритянского гетто, в музыкальности, в причудливости ритмов и яркости красок. Их стихи воспринимались как художественное открытие, и американская поэзия еще не раз вернется к этим экспериментам.

Хьюз навсегда сохранит верность поэтике, найденной в его гарлемский период. Его творчество — это летопись негритянской жизни без малого за полвека, свидетельство трудного, но неуклонного роста движения за гражданское равенство. Он знал, что подлинное освобождение может принести черным американцам только революция. И эта мысль проходит через многие его книги. Особенно настойчиво она звучит у Хьюза в 30-е годы, в книгах «Здравствуй, революция» и «Новая песня», тесно связанных с уитменовскими традициями.

Так вне сферы интересов «Поэтри» оказались некоторые направления развития, без которых нельзя себе представить поэзию США XX века. По-своему это понятно: к 10-м годам поэтический кризис еще не завершился, авторам «Поэтри» казалось, что они начинают на пустом месте. Но все же они заблуждались. Даже среди старших современников нашелся прямой творческий предшественник.

Им был Эдвин Арлингтон Робинсон, чье творчество соединило в американской поэзии век нынешний и век минувший. Свои первые книги он выпустил еще в 90-е годы. Когда их перечитывали лет двадцать спустя, они поражали близостью интересам и поискам «новой

поэзии». В лучших его сборниках создан в целом реалистический образ американской провинциальной жизни. Захолустный Тильбюри-таун, где разыгрываются невидимые миру человеческие драмы и глохнут в монотонности будней устремления к добру и красоте, казался знакомым читателям Шервуда Андерсона, вместе с автором бродившим по улицам Уайнсбурга, штат Огайо. Как — еще раньше — и читателям Мастерса, в чьей «Антологии Спун-Ривер» двести пятьдесят поэтических эпитафий жителям такого же затерянного на карте городка создавали многогранную картину быта и нравов «одноэтажной Америки».

А проторил тропу Робинсон. У него впервые наметился синтез жизненной достоверности и символической обобщенности, когда за человеческими типами провинции, обрисованными лаконичным, точным штрихом, виден целый пласт американской действительности, целая историческая эпоха, схваченная в ее сущности, — глубоко драматичной, пусть это и не бросается в глаза. У него впервые осуществлены важнейшие принципы реалистической поэтики.

Реализм и стал для американской поэзии той магистральной дорогой, которую нашло поколение 10-х годов.

Это было на редкость талантливое поколение. Лишь поначалу его представителей объединял пафос поиска художественных средств, отвечающих содержанию, которое принес XX век. Очень быстро начали выступать различия: не только определились творческие индивидуальности, но завязались принципиальные споры — эстетические, а потом и идейные. Роберт Фрост избрал для себя «старомодный способ быть новым», отверг свободный стих и урбанистическую образность, которыми так увлекались тогдашние дебютанты, и обратился к осмеиваемой романтической

традиции от Лонгфелло до Дикинсон, доказав ее плодотворность и для самой современной поэзии. Творческий путь Фроста охватывает полвека, и вплоть до последней своей книги «На вырубке» (1962) ему приходилось выслушивать упреки в архаичности и консерватизме. Он никогда не считал новаторство самоцелью, и конфликт с доминирующими поэтическими веяниями эпохи оказался для него неизбежным. Не только литературный конфликт, «любовная размолвка с бытием» — так определил Фрост свою позицию. Его называли конформистом, как бы не замечая сдержанного, но всегда ощутимого драматизма тональности его стихотворений.

В действительности он был поэтом философского склада, неспешно и добротно создававшим подлинно самобытную картину мироздания, в котором слиты до нераздельности природа — личность — человечество. Его классический белый ямб традиционен лишь по внешности, в нем множество необычных оттенков, которые, по словам самого Фроста, «обогащают мелодию драматическими тонами смысла, ломающими железные рамки скупого метра». В его поэтике очень старые традиции, идущие еще от фольклора, обрели новую жизнь, впитав в себя все лучшее, что было сделано романтиками. И возник синтез, доказавший свою жизнеспособность и важность, — достижениями не одного лишь Фроста, но и многих других поэтов, избравших, порою этого не сознавая, ту же дорогу или близко к ней подошедших: речь идет об Эдне Сент-Винсент Миллэй, о Берримене, о Ретке, о Роберте Лоуэлле.

В стихах Фроста неизменен выношенный, глубокий взгляд на стремительно меняющуюся, полную жестоких конфликтов американскую реальность нашего столетия. Он выразил свое время во всем сложнейшем его содержании — идейном, нравственном,

общественном, духовном, психологическом, он стал подлинно национальным поэтом. Растущее отчуждение между людьми, распад патриархального мира сельской Америки, еще такого целостного и такого человечного в ранних книгах Фроста, безысходность духовных тупиков личности, утратившей этические опоры, а с ними и сознание небесцельности своей жизни, — все эти мучительные коллизии эпохи отразились в его стихотворениях. Но не поколебалась вера Фроста в нравственные силы человека и не ослабло вдохновлявшее его чувство истории, через трудные перевалы движущейся к конечному торжеству подлинно гуманного миропорядка. О самом Фросте можно сказать собственными строками поэта:

Вся жизнь его — искание исканий.
Он будущее видит в настоящем.
Он весь — цепь бесконечная стремлений.

На исходе века ясно видна непрерывность и значительность поэтической традиции, берущей начало в сборниках Фроста 10-х годов. От этого же периода ведут свою родословную другие важнейшие направления. Одно из них связано с творчеством чикагских поэтов Мастерса, Линдсея и в особенности Сэндберга. Все трое были последователями Уитмена. Сэндберг воспринял его уроки всего глубже. В каждой его книге различимы уитменовские темы и интонации. Вместе с тем он немало почерпнул из опыта экспериментальных школ начала века. Сэндберг не разделял их авангардистских установок, но и ему передалось увлечение лаконичным и точным поэтическим словом, гротескной образностью, публицистичностью, резкими контрастами — той новой изобразительной гаммой, которая по-разному заявляла

о себе у приверженцев имажизма, футуризма, экспрессионизма.

Все решали, разумеется, не сами по себе поэтические средства, а творческие задачи, которым они подчинялись. Задачей Сэндберга был реалистический образ эпохи, уитменовское Здесь и сейчас оставалось определяющим принципом и для него. Поэтому отдельные находки поэтов-авангардистов, пожалуй, именно у Сэндберга выявили свою истинную ценность, и все формальное им было отброшено, а все существенное пошло в дело, помогая создавать действительно многогранную и динамичную картину американской жизни.

Маяковский, назвав его «большим индустриальным поэтом Америки», точно определил сущность творчества Карла Сэндберга. Это поэзия трудовой окраины города, поэзия заросших грязью приземистых рабочих кварталов и улиц, поэзия «дыма и стали», как озаглавил он свой сборник 1920 года. Поэзия «круто посоленного хлеба» и «усталых, пустых лиц» в трамвае у заводских ворот, поэзия вызывающе прозаичная, нескрываемо газетная и в то же время полная символики, как правило, навеянной буднями громадного современного города, неизменно вещественной, прочно привязанной к реальному, пишет ли Сэндберг о Чикаго с его опустошающими ритмами и социальными полярностями или о прерии с ее бескрайними полями кукурузы и спаленными солнцем солончаками.

Путь Сэндберга не назовешь прямым. В юности он увлекался идеями социализма, и десять петроградских дней оставили пусть не самоочевидный, но неизгладимый след в его поэзии 20-х годов, усиливая радикальные общественные настроения поэта. Своего апогея эти настроения достигли в «красное десятилетие», когда Сэндберг создал книгу «Народ —

да» (1936), мыслившуюся как своего рода «Листья травы» нашего времени. Потом наступил кризис — духовный и творческий. Он длился много лет, и лишь в последней книге «Мед и соль» (1963) вновь появились та масштабность мысли и та пластика образа, которые так характерны для его лучших стихотворений.

В этих подъемах и спадах, конечно, сказались не только противоречия позиции Сэндберга: певец пролетариата, он в целом не поднялся, однако, выше идеалов линкольновской демократии. В них запечатлены те исторические приливы и отливы, которые довелось испытать в наш век Америке. Ими в конечном счете определялся и ритм развития американской поэзии, знавшей и времена настоящего расцвета, и времена оскудения, как, например, десятилетие после 1945 года. Лишь немногим поэтам удавалось пройти дорогу, пролегшую через социальные потрясения XX века, не растеряв передовых убеждений и творческих сил. Так, как это удалось близким Сэндбергу — и по идейной направленности, и по особенностям художественного видения — Арчибальду Маклишу, поэту-революционеру Уолтеру Лоуэнфелсу. Так, как это удалось и самому Сэндбергу, поэту демократической Америки, той, которая

ищет и обретает, скорее ищет,
чем обретает, в вечных поисках
пути меж грозой и мечтой.

В 10-е годы Сэндберга считали одним из авангардистских поэтов, тогда впервые — и шумно — заявивших о себе. Его имя называлось в спорах об имажизме, недолговечном поэтическом объединении, стремившемся лабораторными формальными экспериментами добиться ясности поэтического языка,

«точности изображения», «чистоты» образа и выдвинувшем лишь одного талантливого поэта — Хильду Дулитл. Чуть позднее, когда кружок имажистов прекратил свое существование, Сэндберга похвалил Эзра Паунд, нашедший у него приметы современного стиля. Впрочем, тон таких отзывов вскоре переменился. «Лущильщики кукурузы» (1918) продемонстрировали устремления Сэндберга к реализму даже тем, кто в этом еще сомневался, читая его «Стихи о Чикаго» (1916). А из пестроты авангардистских школ к этому времени уже выделилось определенное направление с собственным пониманием искусства и собственной поэтикой, весьма далекой от традиционной.

Паунд был лидером этого направления, его теоретиком и на первых порах его самым крупным поэтом. Два побуждения руководили им в упорных попытках привить американской поэзии традиции, сложившиеся под иными небесами и в иные времена — в Древнем Китае и в античном Риме, в итальянском средневековье и у французских «проклятых поэтов». Он считал весь этот разнородный поэтический опыт действенным противоядием от рифмованного пустословия и ходульной метафоричности, доставшихся новому поколению в наследство от «сумеречного промежутка». Но главное — у Вийона, у Кавальканти, Верлена он обнаруживал нечто созвучное умонастроению людей XX века, остро ощутивших убожество буржуазных норм жизни и распад культуры, выхолощенной «ростовщичеством», которое повсюду насаждает свои понятия и вкусы, и одиночество личности на холодных ветрах истории, и банкротство либеральных иллюзий, развеянных на Сомме и под Верденом.

Пока это умонастроение, при всей своей болезненной ущербности неотделимое от тогдашней духовной атмосферы на Западе, да и впрямь

заключавшее в себе известный вызов «ростовщичеству», находило в стихах Паунда и поэтов его круга объективное, подчас трагическое художественное свидетельство, поэзия авангардистов могла восприниматься как серьезное и заметное явление искусства. Поэма Паунда «Хью Селвин Моберли» и в еще большей степени «Бесплодная земля» Элиота передали глубину вынесенного из катаклизмов той поры разочарования в буржуазных идеалах и чувство мертвенности всей капиталистической цивилизации, которая привела к мировой бойне. Не случайность, что оба эти произведения нашли такой сочувственный отклик у послевоенной западной молодежи, грезившей о близкой революции как единственной развязке до предела напрягшихся антагонизмов, как единственной возможности на обломках обанкротившегося общества создать гуманный мир. И может быть, последующий поворот авангардистов 10-х годов от резкой, порой очень резкой, критики буржуазных установлений к примирению с ними и к реакционности, принявшей со временем характер крайне опасный, если не гибельный для ее новообращенных приверженцев, — может быть, все это объяснялось тем, что объективно и Паунд и Элиот коснулись коренных вопросов времени, и надо было делать решающий выбор: либо стать на сторону революционных сил, либо оказаться на стороне сил регресса и тоталитаризма. Третьего дано не было.

Элиот сделал свой выбор в конце 20-х годов, объявив себя поборником католицизма, монархизма и классицизма. Иного вряд ли можно было ожидать — мысль о революции была для Элиота неприемлема и в его самую радикальную пору. Тем не менее переход на новые позиции дался ему трудно. Еще и в поздних произведениях — «Пепельной среде», «Четырех квартетах» — чувствуется не до конца остывший накал

духовных конфликтов, на которых лежит след исторических гроз, пронесшихся над миром в первые два десятилетия нашего века. Отблески этого пламени, а не холодное поэтическое мастерство Элиота, как оно ни виртуозно, прежде всего и придают художественную значимость произведениям поэта, бесспорно остающегося самой примечательной фигурой в истории американского авангардизма, который так сильно обмелел в последнее время.

Творческая судьба Паунда оказалась намного горше — и поучительнее. Прошив, подобно Элиоту, почти всю жизнь в Европе, он все яростнее нападал на свою былую родину, видел в ней царство торжествующего «ростовщичества», и ничего больше, и не сразу заметил, что его инвективы явственно совпадают с демагогическими речами Муссолини, готовившегося к войне. А когда заметил, принял это совпадение как должное.

После «Хью Селвина Моберли» он не создал почти ничего значительного, утрачивая авторитет по мере того, как нескрываемо реакционные идеологические концепции занимали все больше места в его творчестве — и в поэзии и в публицистике. Кончилось отказом вернуться из Италии в США после объявления войны, печально знаменитыми речами по радио Рима и запоздалым раскаянием в «Пизанских песнях» (1945).

Таким финалом увенчалось «бунтарство» молодых лет. Разумеется, тенденция развития авангардизма предстала здесь в своем крайнем выражении. Другие развязки более благополучны. Но и они не отменяют общего закона, который от настоящего поэта рано или поздно требует разрыва с формалистическими новациями, с эстетством, да и с индивидуалистическими побуждениями к «бунту» и отрицанию каких бы то ни было здоровых элементов

культуры, очень легко сменяющемуся критикой первооснов гуманизма и всего созданного им искусства.

Этот закон был осознан некоторыми крупными американскими поэтами, заплатившими ту или иную дань художественным установкам авангардистских школ. Было бы наивно полагать, будто пребывание в этих школах, пусть даже краткое, но сказалось на их последующем творчестве или сказалось только негативно. Не следует в таких случаях уравнивать общие принципы, неприемлемые для реализма, и поэтическую практику, подчас далеко отклоняющуюся от исходных постулатов. Подобный конфликт сопутствовал истории авангардизма на всем ее протяжении. Он ясно просматривается, например, в истории футуризма, в Америке выдвинувшего столь яркую — и противоречивую — творческую индивидуальность, как Каммингс, чьи стихи 20-х годов напомнят и о молодом Маяковском, и об Аполлинере, и о писателях «потерянного поколения». Он отчетливо виден и в исканиях экспрессионизма, оказавшего сильное воздействие на Уильяма Карлоса Уильямса, чья долгая и трудная эволюция в итоге привела к уитменовским традициям и к реалистической поэтике, из которой в наши дни щедро черпают самые одаренные представители сегодняшнего поколения.

Пути реализма многообразны, а потребность в реализме неиссякаема для искусства, и она обостряется всякий раз, когда конфликты эпохи настойчиво врываются в поэтические лаборатории, требуя решения прямого и недвусмысленного. В Америке — и не только в Америке — таким временем были 30-е годы. И характерно, что в «красное десятилетие» даже столь равнодушный к «текущему» художник, каким был Уоллес Стивенс, отходит от экспериментаторства, замкнутого областью формы, и создает свои лучшие стихотворения, в которых время опознаваемо, реально,

весомо — как неотъемлемый компонент лирического «сюжета». А Уильямс в то же десятилетие возвращается к старому замыслу создать поэтическую летопись жизни городка под Нью-Йорком, показав на этом конкретном материале судьбы всей Америки. Так родился его «Патерсон» — пятичастный цикл, пожалуй, единственная в США удавшаяся попытка современного поэтического эпоса.

Так возникла и поэтика современного верлибра, предельно простого и с виду безыскусного. Он словно бы требует лишь самого минимума формальных приемов, однако на поверку обладает строгим, сложным ритмом и внутренней организацией. Он, собственно, представляет собой нечто большее, чем поэтическую форму, — это определенный способ видеть и запечатлевать мир, дорожа непосредственностью контакта и достоверностью свидетельства, а вместе с тем жестко контролируя поток образов рамками стиховой конструкции. Он стал основным поэтическим средством для поколения, пришедшего после 1945 года.

Уильямса это поколение открыло для себя не сразу. Элиот, который был антагонистом Уильямса во всем, говорил послевоенным поэтам больше, да небезразлична была и его репутация живого классика. Атмосфера «холодной войны», свежая память о Хиросиме, тирания «молчаливого большинства» с его конформизмом и ненавистью к любым проявлениям свободы духа — все это вызывало настроения обреченности, широко отразившиеся в поэзии той поры. Преобладала медитативная лирика, лишь отдаленно связанная с тогдашней злобой дня, а если и откликавшаяся на нее, то однопланово — обостренным ощущением многоликого и невидимого зла и предчувствием новых катастроф, ожидающих и личность и человечество.

Впоследствии Роберт Лоуэлл, самый значительный из этих поэтов, скажет о своем поколении, что ему «осталось недоступно постижение жизни во всей ее полноте». Он констатирует «разрыв между поэтическим творчеством и культурой», признав необходимость в «радикальных средствах, чтобы прорваться к действительности». Это прозвучит жестоко и не совсем справедливо — во всяком случае, по отношению к некоторым незаурядно одаренным послевоенным дебютантам: Джареллу, Уилберу, не говоря уже о самом Лоуэлле. Но в целом ситуация, сложившаяся в поэзии США к середине 50-х годов, была охарактеризована безошибочно. Прорыв к действительности был жизненной необходимостью. Опыт Уильямса помог отыскать выход из кризиса.

Решающее значение имел здесь, конечно, не выбор эстетических ориентиров, а менявшийся социальный климат страны. Это очевидно, скажем, на примере негритянской поэзии, которая росла вместе с ширившимся и крепнувшим движением за равноправие и — при всех экстремистских крайностях этого движения, проступивших и в связанной с ним литературе, — выдвинула несколько крупных имен: Гвендолин Брукс, Роберта Хейдена. Это очевидно и на примере поэзии 60-х годов с ее гражданственностью, пробужденной прежде всего чувством вины за агрессию во Вьетнаме и передавшейся творчеству таких, казалось, уже сложившихся поэтов, как тот же Роберт Лоуэлл.

Уильямс сыграл важную роль не только как мастер современного верлибра, но главным образом как художник, указавший единственный путь воссоединения поэзии и культуры в широком смысле слова, — путь, определяющийся прямой причастностью поэта к тревогам и заботам мира, который его окружает. Под знаком поиска такого пути и его

обретения прошли три послевоенные десятилетия в американской поэзии.

Это были трудные поиски. Без заблуждений, без творческих срывов не обходилось и в тех случаях, когда общее направление было избрано верно. Так, «битники» — молодые поэты середины 50-х годов, едва ли не первыми обратившиеся к конфликтам «массового общества» и заговорившие о его механистичности, нравственном ничтожестве, духовной спячке, — создали впечатляющий образ своего времени, но сколько было в их стихах поверхностного, декларативного, подчас попросту безвкусного, и сколько кричащих противоречий обнаруживается чуть ли не в каждой книге талантливых Гинсберга и Ферлингетти. Так и поэзия протеста — антивоенного, антирасистского, антиконформистского — была явлением достаточно разноликим, свидетельствуя и о накале политических коллизий в Америке 60-х годов, и об анархических ультралевых тенденциях, сопутствовавших тогда общественным движениям и сильно затронувших всю область художественной культуры.

Даже творчество таких видных современных поэтов, как Джон Берримен или Роберт Пенн Уоррен, с их большой этической проблематикой, с их едким скепсисом относительно разного рода социальных мифов, с их неустанным стремлением достичь эстетической гармонии вопреки господствующему вокруг хаосу и отчужденности, — даже оно не лишено налета суховатой академичности, чрезмерной формальной сложности, в конечном счете затемняющей и сам создаваемый ими образ реального бытия.

Истинные завоевания достигаются нелегко. Нужно было многое преодолевать, чтобы появилась та высокая простота и реалистическая емкость содержания, которая присуща лучшим американским поэтам наших

дней. Нужно было преодолеть искус бесстрастной виртуозности, блистательного, но внутренне пустого совершенства образного языка, нужно было преодолеть и другую крайность — той иллюзорной, в самой своей безграничности, ложной свободы самовыражения, которая превращает стихи в сумбурную исповедь и грозит полным разрушением формы, распадом поэтической ткани. Нужно было отвергнуть бескрайний пессимизм, который внушала окружающая жизнь и ею же питаемые устремления к «бунту», отдающему нигилизмом, нужно было обрести стойкость гуманистической веры, социальную зоркость и духовное мужество, чтобы пришла неподдельная причастность к движущейся истории, а с нею — бескомпромиссность нравственной позиции и многомерность освоенного поэзией художественного пространства.

Прорыв к действительному осуществился. Окрепла традиция, созданная выдающимися мастерами прошлого, — реалистическая традиция, традиция гуманизма, традиция социальной и этической насыщенности поэтического текста. При всей разноликости современной панорамы эта доминанта обозначилась четко — факт неоспоримый и важный. В нем сегодняшний итог трех столетий развития американской поэзии. И в нем ее надежда на будущее.

А. Зверев

АННА БРЭДСТРИТ
© Перевод Г. Русаков

ИЗ «СОЗЕРЦАНИЙ»

29

Исполненный греха, без разума и воли,
Непрочен и тщеславен человек.
Куда ни погляди — одни утраты, боли
Ему терзают плоть и душу целый век.
Едва уйдут одни — на смену им иные.
Всё в мире для него страдания сплошные:
Его друзья, враги, любимые, родные.

30

И сей приют греха, без разума и волн,
Вместилище тщеты, пороков и утрат,
Сей ненадежный челн, кренящийся от боли, —
Он вечности, ему обещанной, не рад!
Не жизнь — беда к беде, утрата на утрате.
Все чаще, все больней он за греховность платит.
Но, как и прежде, глух к господней благодати.

31

Бывалый капитан, скользящий по волнам,
Поет себе в пути у верного штурвала.
И впрямь немудрено, что он помнится нам
Самим владыкой вод и властелином шквала.
Но завтра грянет шторм — и кончена игра:

Скорей вернуться в порт, покинутый вчера, —
У пирса в затишке пережидать ветра.

32

Вот так беспечный мот, охочий до утех,
В компании друзей, в довольстве и почете,
Привыкнув пировать и пожинать успех,
Бахвалится казной, смазлив и беззаботен.
Но, немощью сражен, он видит: все тщета —
Богатство и почет, друзья и красота.
Без милости небес земная жизнь пуста.

33

О Время, для тебя века — единый миг!
Забвение — удел властительных владык:
Забыты их дела, развеян самый след
И даже их имен давно в помине нет.
Их царства, их дворцы рассыпались, в пыли.
Ни золото, ни ум, ни стены не спасли.
Лишь тех, чьи имена Господь вписал в гранит,
Он волею своей навеки сохранит.

ВЗЫСКУЯ НЕБЕС

Усталый пилигрим, закончив дальний путь,
Под тихим кровом хочет отдохнуть,
Чтоб наконец, отмерив полземли,
Покой и негу ноги обрели.
Он на досуге подведет итог
Опасностей и пройденных дорог:
Теперь ему уже не страшен зной,
Его не мочит дождик проливной,
Не жгут в кустах колючки да шипы,
Голодный волк не бродит у тропы;
Не надо вслед дороге поспевать,
Пригоршней ягод голод утолять.
И, как бывало, жажда не сожжет
Его безводьем высушенный рот.
Он на ухабах не замедлит шаг,
Не поскользнется в спешке на камнях —
Он кончил путь, сказал всему «прости»
И лишь покоя хочет обрести.
А я поныне странник на земле,
Живу в грехах, лишениях и зле.
Давно болезни плоть мою гнетут,
Она скудельный треснувший сосуд.
О, как бы мне хотелось отдохнуть,
В небесный сад к избранникам вспорхнуть!
Пускай задремлет тело в тишине —
Тогда слеза глаза не выест мне,
Я позабуду обморока тьму,
Не будет больно телу моему.
Уйдут заботы, и отступит страх,
Моя печаль развеется во прах.
И утолится плоть дыханьем роз,
Что мне на ложе высыпал Христос.

А там пройдет совсем немного лет,
И я опять вернусь на этот свет:
Где был костяк, источенный дотла, —
Восстанет плоть, прекрасней, чем была.
Вчера в стыду и сраме сражена,
Как нынче ослепительна она!
Тогда в одно сольются дух и плоть,
Чтоб увидать твое лицо, Господь!
Но нету слов на языках людских
Для пересказа ликованья их.
О, дай мне сил для радостного дня,
Чтоб крикнуть: «Смерть, отыди от меня!»

МОЕМУ ДОРОГОМУ И ЛЮБЯЩЕМУ МУЖУ

Две наших жизни прожиты в одной.
Бывал ли кто, как ты, любим женой?
Найдется ли счастливее жена?
Не ровня мне средь женщин ни одна.
Я не хочу от жизни гор златых —
Твоей любовью я богаче их.
Моя любовь полнее полных рек,
Мне за нее твоя дана навек.
И я, в долгу за эту благодать,
Молю творца стократ тебе воздать.
Еще мы живы — так давай любить!
В любви и смерть не страшно пережить.

ЭПИТАФИЯ

моей дорогой и досточтимой матери миссис Дороти Дауди, скончавшейся 27 декабря 1643 года, в возрасте 61 года

Здесь спит,
При жизни добродетельна, нежна,
Хозяйка, мать, покорная жена,
Соседка, друг, опора бедняков,
Что находила им и хлеб и кров.
Гроза для слуг, по в строгости добра,
Она была с достойными щедра,
В семье скора на помощь и совет
И заправляла домом много лет,
Не выбрав часа от своих забот,
Чтоб хоть разок наведаться на сход.
Заветов веры ревностно держась,
Всегда готова встретить смертный час,
Она до малых внуков дожила
И, всей семьей оплакана, ушла.

СТИХИ МУЖУ НАКАНУНЕ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ЕЕ ДЕТЕЙ

Всему конец на свете настает.
И в счастье боль забыться не дает.
Союз любви, нежнейшей дружбы связь
Разрубит смерть, нежданно заявясь.
У ней для всех привычный приговор.
Один для всех, и страшен он и скор.
Не угадать, когда придет черед
И смерть меня, любимый, заберет.
Но я хочу, прощаясь и любя,
Хотя б в стихе остаться для тебя:
Вдруг оборвется нить судьбы и я —
Вчера с тобой, а нынче — не твоя?
Но если я уйду на полпути,
Суди Господь тебе его пройти.
Моим несовершенствам нет числа,
Хочу, чтоб их могила унесла,
Чтоб ты меня, родимый, вспоминал
Одним добром, что сам во мне узнал.
Люби меня, когда затихнет боль:
Пусть я мертва, но я была с тобой!
А как утрату сменишь на доход,
Не оставляй, прошу, моих сирот!
Во имя дней, когда ты был мне рад, —
Оберегай от мачехи ребят!
А невзначай заметишь этот стих —
Вздохни по мне хотя б на малый миг,
Прижми к губам исписанный листок,
Что весь насквозь от слез моих промок.

ПАМЯТИ МОЕЙ ДОРОГОЙ ВНУЧКИ ЭЛИЗАБЕТ БРЭДСТРИТ, СКОНЧАВШЕЙСЯ В АВГУСТЕ 1665 ГОДА, В ВОЗРАСТЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ

1

Прощай, дитя, прощай, моя услада,
Прощай, малыш, отдохновенье глаз.
Прощай, цветок, похищенный из сада
И Вечностью отобранный у нас.
К чему мне плакать над твоей судьбою,
Считая дни, прожитые тобою?
Тебя бессмертье увело с собою.

2

Прожив свой срок, деревья умирают.
Наливом слив и яблок сыплет сад.
В страду хлеба и сено убирают —
Все бренно, нет для времени преград.
Но из-под пней ростки спешат гурьбою,
Цветут сады, не зная перебоя, —
Господь вершит природой и судьбою.

ЭДВАРД ТЭЙЛОР
© Перевод А. Эппель

ПРОЛОГ

Пылинке ль, Боже, мир перетягчить,
И круче туч и горней неба стать?
И ей ли Божий Промысел вместить
И Необъятность Божию объять?
Ей, умакнув перо в златой состав,
Покрыть ли вечной славой Славу Слав?

Хоть будь перо из ангеловых крыл,
Хоть отточись об адаманта грань,
Хоть пусть бы даровитейший покрыл
Золотобуквенно хрустальну ткань —
Скребло б, скрипело б, дрызгало б оно,
Раз не Тобой, Господь, сотворено.

Пылинка есмь, и будь я сотворен
Своим пером прославить Твой чертог,
О драгоценный адамант — Сион,
Ликуя, отточил бы тусклый слог
И златом бы на Имени Похвал,
Твоея славы ради, я писал.

Молю — се на мольбу дерзает персть! —
Помилуй, призри, только не презри.
Своей пылинке дай уста отверзть
И тем ей жизнь для гимнов подари,
И не считай ее огрехов. В них
Она не вся же, в упущеньях сих.

Лиши, Господь, пылинку немоты,
Води ее пером и дай сказать,
Что сущий — Ты, что дивносущий — Ты
И — чтó в Тебе ни есть — всё Благодать.

Дабы вся тварь, ликуя о Творце,
Сияла, точно яхонт на ларце.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Что за Любовь к Тебе, какой не стать
Твою же Бесконечность счесть своей,
Пусть даже зрит — себе самой под стать —
Конечность в Бесконечности Твоей?
Как? Божеству ли пребывать в плену,
Взяв человечество Себе в жену?

Любовь безмерна! Небеса залив,
Их преполняя, через край течет;
Спасаемым явив надежд прилив,
Ад затопляющу волну влечет,
Где чрез Тебя ж кровоточеньем вен
Мы гасим огнь, что нам уготовлен.

О! Я в Любви бы сердце потопил!
Зажег Любовью б — да в Любви живет!
Но нет! Устал я, и угас мой пыл,
Мой огнь не огнен, а Любовь — что лед!
Ничтожна мерой, сутью холодна.
Господь, раздуй ее! В Тебе она.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Я… лилия долин.

Песн. 11, 1

Твое ль я злато? Твой ли кошелек?
Монетный ль двор мне жизнь судил иметь?
Старателем отыскан ли в свой срок?
А вдруг под позолотой — просто медь?
А ну как мягок пробный камень Твой,
Не распознавший ложный золотой?
Ужель на мне божественный чекан —
«Аз есмь!» оттиснул Ты и облик Свой?
Не разгляжу; глаза замглил туман —
Будь мне стекло и зрение утрой!
Коль отлит образ Твой в моих чертах,
Я — ангел золотой[4] в Твоих перстах.

Господь, соделай душу мне доской —
Да просверкнет подобие Твоё
И Слово на поверхности мирской,
На ждущей Бога плоскости ее.
Ты — клад мой, я — Твой вклад. Сему итог:
Тебе я ангел стану. Ты мне — Бог!

РАЗМЫШЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Я — хлеб живый.

Иоан. 6, 51

Я зрел, благодаря зодейству сфер,
Как вне земли злаченый путь пролег,
Соединив, прямой черте в пример,
Златой Чертог и низкий мой порог.
Светла стезя златая, и на ней
Хлеб жизни зрел я у своих дверей.

Певала птица райская в раю,
Посаженная в клетку (мню свой труп!),
И пищу вдруг отринула свою,
Поскольку плод запретный стал ей люб,
И в небесах она узнала глад,
Сбирая жалки крохи невпопад.

Увы, о птица бедная! Беда!
В твоих полях душе ли пища есть?
Стучись хоть в двери ангелов — всегда
Пуста посуда, хлеба душам несть.
Увы! Прельстительного мира корм
Не даст тебе ни крошки на прокорм.

Уныла участь! Но пресек Господь
Клубленье алчных и мирских потреб.
Решил пшеницу чистую смолоть,
И Божий Сын дарован нам, как хлеб!
Се жизни хлеб из ангеловых рук
На твой голодный стол был явлен вдруг.

Замес ли Божий и Его ль припёк
На стол тебе с благих небес пришел?
«Прииди и яди! — не он ли рек? —
Се хлеб твоей душе я произвел.
Сей нежен даже ангелам десерт,
Но вниждь, бери и ешь. Бог милосерд!»

О! Божья каравая Благодать!
Но душ греховных мал к ней интерес.
На помощь, ангелы, — переполнять
Она способна чашу и небес.
Се жизни хлеб воззвал в моих устах:
«Ешь, ешь, душа, и не умрешь в веках!»

РАЗМЫШЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Бог превознес Его.

Фил. 2, 9

Воззритесь, взор подъяв в небесну марь,
На Вознесенье — диво в небесах;
Скудельный прах и он же Славы Царь
Вознесся в славу и отринул прах!
Персть обрела бессмертье — всякий зрит —
И ангелов стремительней летит.

Был небосвод лазурен и высок,
Когда на крыльях ветра Он вспарил
И унести в блистающий чертог
Себя лазурну облаку рядил.
Князь Тьмы пустить поостерегся стрел,
Когда Он пролетал его предел.

Не в колеснице по-над суетой,
Не во громах, как Илия-пророк,
Но лестница в зенит была златой,
И каждый яшмою блистал виток;
Под каждый шаг ложился камень-злат
И вел в пречуднейшую из палат.

Мне чудится, я зрю, как райский сонм
Во славе сил стремится встречь Ему
Под ликованье труб, музыки стон,
Сопутствуя Взнесению сему,
Мешая пенье с музыкою сфер —
И в каждом гласе сладость выше мер.

Хвалимо вознеслося Божество
Во славе труб к златому алтарю.
Так славьте, славьте, славьте же Его,
Осанну пойте нашему Царю,
Вздымайте притолоку, шире дверь —
Се Славы Царь восшествовал теперь.

Высоко ль Ты, Господь, реки мне сам,
И быть ли тут внизу мне без Тебя,
И правда ли, Ты — сладость небесам.
О! Быть бы мне с Тобой! Тебя любя,
На перьях даже ангеловых крыл
К Тебе я, Боже, разве б не вспарил?

Дай мне Твои крыла, и полечу,
Пером Твоим и верой упасен.
Я перья оперить свои хочу,
Господня Слова ветром вознесен.
К Тебе в чертоги вознесусь сии
На мощных крыльях, перья их — Твои.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Ходатай пред Отцем.

1 Иоан. 2, 1

О, что есть человек? И что есть я,
Кому Ты дал закон — златую нить
Для мыслей, слов и дел? О Судия!
И по нему ж Тебе меня судить.
На небеси Твой суд честной идет,
Взыскуя с тех, кто на земле живет.

Как день мой каждый ангелы, Господь,
Тебе представят — скверным ли, благим?
В присяжных кто? И правомочна ль плоть
Как жалобщик? Давай определим.
Виновен я иль прав? Как скор разбор?
И разве существует приговор?

Тут снисхожденьем места не скверняТ,
Мздоимства же и крючкотворства несть,
Лжецы, сутяжцы дела не темнят —
Суд правый судоговорится здесь!
Закон безгрешный грешные дела
Рядит без предпочтения и зла.

Судья тут — Бог. В защитниках — Христос.
Дух Святый же — в секретарях суда.
Во стряпчих — ангелы. И всяк принес
На Библии присягу. Тут всегда
Дела вершит божественный закон.

Строг приговор тут и не предрешен.

Смутись, душа! Гляди — приговорят!
Взяла ли ты в ходатаи Христа?
Не ошибается сей адвокат,
Чиста его защита и проста.
Он вступится, печальник всех людей,
Хоть в подзащитных гнусный греходей.

В том не бесчестье — честь! Он благ и прав!
И не в ходу Habeas Corpus[5] тут.
Он сам, коль надо, должный вносит штраф.
А бес — в истцах — проигрывает суд.
Тут платы не берут, а возлюбя,
Sub forma pauperis [6] за тебя.

Грозит мне кара! Господи, воззри!
Будь мне защитник! Умоли Судью —
Ты мастер умолять! — и отвори
Темницу арестантскую мою!
Когда б Ты Славодержца упросил,
Тебе б всю жизнь хвалы я возносил.

РАЗМЫШЛЕНИЕ СОРОКОВОЕ

Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

1 Иоан. 2, 2

Опять ропщу я! Я ропщу опять!
О, горе мне! Есть сердце ли грязней?
Се смрадный хлев, помоечная кадь,
Навозна куча, выплодок слепней,
Грязь подноготная, гнездо гадюк,
Сосуд с отравой и грехов сундук.

Есть ли чернее? злей? подлей? скверней?
Мерзей ли Сатана? И в силе ль ад
Создать такую почву для корней
Диаволовых, что соблазн творят?
Оно — содельник Сатанинских дел;
Железка, зернь, картеж — его удел.

Оно — потешный сад его дворца,
Ларец, куда любой его клеврет,
Уверенный в надежности ларца,
Как драгоценность, прячет свой секрет.
Здесь — бойня, здесь убойщиком он сам.
Здесь школа, где обучат всем грехам.

Ну есть ли сердце гаже, чем мое?
Афейство, блуд, гордыня, хульный слог
Вершат в нем неподобие свое,
Тут — пляс, чревоугодие, порок,

Азарт, чет-нечет, банк, тарок, кит-кэт,
Чижи, пари — чего здесь только нет!

Терпенье — прочь! Благоугодье — вон!
Чтоб не совались больше до поры.
Тут веру затоптали — портит кон!
Тут совесть вышвырнули из игры.
И добродетель травят. Прочь ее!
Ну есть ли сердце гаже, чем мое?

Но вдруг примнится головой змеи
Шар на кону, — и в миг за ум возьмусь
И Славу мира славлю. Но сии
Опять набросятся, и я согнусь.
Кусают злее хищных барсучат;
А я считал — беззубым был распад.

Мой ум сильней, чем слабый разум мой.
Я вижу более, чем мыслю, мню.
И хлещет луч меня, не прут стальной,
И дух мой мертвен, тускл семь раз на дню.
Молюсь, но не молю. Мольба мертва.
Мелю же скудно, скверны жернова.

Ну есть ли сердце гаже, чем мое?
Что делать мне, Создатель Бытия?
Как вынесу отчаянье свое?
Не милосердья ль чудо жизнь моя?
Пускай Ты всеобширно милосерд,
В грехах обширней Твой негодный смерд.

Свет мне, клопу, — Твой Сын Христос, ведь Он —
Расплата за грехи. Пускай же, Бог,
И за мои. Так погаси свой огнь

В потоке сем, Его пробившем бок!
Покой ли обрету, пока, кляня,
Лиют гордыню бесы на меня?

Меч, Господи, возьми — их порази,
А душу брось мою в Сиона кадь;
В свячено мыло, в щелок погрузи,
Чтоб скверну оттереть и отстирать,
И отожми, пока с меня вода
Не потечет, прозрачней, чем слюда.

Да освятит главу мою Твой свет;
Омой в лучах мне сердце, Благий Бог!
Твой пусть Христос даст за меня ответ,
И грудь моя взнесет хвалы поток.
И сей поток, как Иисуса кровь,
Твой гнев пресуществит в Твою любовь.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал...

Иоан. 15, 24

Киркой ли мне серебряной копать,
Мысль ищучи, Андийских глубь верхов,
Чтоб я, Господь, искусно мог соткать
Сеть аксамитну пурпурных стихов,
Дабы украсить творчество Твое?
Увы! Ветшает вмиг мое тканье.

Твои творенья хороши стократ,
Что украшать их? Лучших нет плодов,
Чем те, что искупительно тягчат
Ветвь праведности ангельских садов.
Земная роща спеющих олив
С Твоей в сравненье — заросль диких слив.

Гвоздично дерево когда в цвету,
Иной сочтет — благоуханней нет.
Но обонял кто ароматность ту,
Что с древа жизни истекает в свет?
Саронска роза, лилия долин —
Ты, Господи, садовник наш един!

Ты — древо, совершенней всех иных
Под кроною златой Своих щедрот;
И Божества благоуханье — в них
Из милосердья порождает плод.

Бутон Твой, цвет Твой, плод Твой — гимн тройной
Тебе и сотворенному Тобой.

Искусство создало природе вслед
Чудес немало: Архимеда винт,
Висячие сады, Фаросский свет,
Премудрый Псамметиха лабиринт,
Цирк Флавиев, златой Нерона дом
И плещущий Меридов водоем.

Вид Дрездена и Страсбургский курант,
Болван, поверженный святым Фомой,
И муха, кою сделал Реджимант[7],
И Туррианов воробей живой[8],
И Скалиоты с ключиком замок[9],
Влекомый мухой, изощрен быть мог.

Но опиши Господни чудеса —
И все творенья смертного ума
Посрамлены; их бренная краса,
Их суемудрость немощны весьма.
Они — греховных радостей итог,
Потеря сил они. И мал их срок.

Искусство пред природой — нуль. Но Ты —
Творец, куда превосходящий их;
Никем не превзойденные черты
Съединены в созданиях Твоих.
Твое Творенье, Слово, Промысл Твой —
Греху попрание и с Сатаной.

Ты — древо жизни, коему процвесть,
Чьи ветви гроздами отягчены;
Твоих плодов желанней в мире несть —

Сияй же ярче солнца с вышины!
Восторжен Богом человек и рад;
В Твоем саду он — лучший виноград.

Твореньями зренье мне насыть,
Плодами сими сердце накорми,
Укрась мне жизнь, не преставай творить,
И стать мою и душу распрями;
Плодоносящ да буду от Творца,
Хвалы Тебе слагая без конца!

ИЗ «РЕШЕНИИ БОГА КАСАТЕЛЬНО ЕГО ИЗБРАННИКОВ»

ВСТУПЛЕНИЕ

Коль бесконечность — первомысль всего,
Построившая все из ничего,
На чем токарни зиждился станок,
Когда Он шар земной точил в свой срок?
Кто лепщик формы, в коей отлит мир?
Мехи качал кто и вдувал эфир?
Кем был краеугольный камень врыт?
И где столпы, на коих мир стоит?
Кто землю тщательно оплел навек
Лазурными бечевочками рек?
Кто замкнутых в брега морей творец?
Кто шар сокрыл в серебряный ларец?
Кто сень раскинул? Занавеси сшил?
Кто по лотку светило покатил?
Закат ему кто создал и восход —
И вот оно садится и встает?
Кто выгнул чаши голубым морям?
Вменил мерцать на небе фонарям?
Кто этому причиной? Кто виной?
Се — Вседержитель, и никто иной.
Его руки ты созерцаешь тут
Нерукотворный вдохновенный труд.
Все вызвал Он из ничего, и Он
Обратно все вернуть в ничто волён.
Пошевелит мизинцем, и миры
Возникнут или сгинут до поры.
Его могущественный полувзгляд
Качает горы, и они дрожат.

Он мир сей гордый может днесь и впредь
Встряхнуть, что прутик тонкий или плеть.
Нахмурит лоб — и вздрогнет свод небес,
Как от порыва бури кроткий лес.
О, что за мощь! Вид недовольный чей
Столь грозно потрясает мир, как сей, —
Того, кто создал все через ничто,
И на ничто опер, и твердо то?
Но смертный все в ничто поверг, меж тем
Мог чрез ничто Того прославить, кем
В ничто светлейший вправлен из камней,
Всех драгоценных ярче и ценней.
Но смертный во ничтожестве посмел
Отринуть дар, и камень потускнел.
И стал ярчайший бриллиант Того
Чернее даже угля самого.

СЛАВА И МИЛОСТЬ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ ЗРИМЫЕ

Взирайте все,
Какой цветник вокруг цветет!
В златой росе
Он ароматы всяки льет!
Оттенков столь, что их не перечесть,
Благоухающих. Но все ль в том есть?

Вперяйте взор —
И впрямь ковер со всех сторон!
Его узор
От херувимов изощрен!
Хоть в грудах жемчугу цены и несть,
Нанизанный — милей. Но все ль в том есть?

А дух Христов
В святых дарах — словах Его
На сонм цветов
Лиется вниз, как смысл всего.
И жизнедательна небесна весть,
И расцветает все. Но все ль в том есть?

Еще вглядись —
В черед цветы цветут. И вон —
Смотри, дивись —
Там рдяный лист, а тут бутон.
И во цветке взыскует он процвесть
Надеждой доброю. Но все ль в том есть?

К цветку цветок
Благоухают и цветут.
К себе в чертог

Господни силы их взнесут,
Дабы смогли сладчайшую вознесть
Осанну Господу. Тут все и есть!

ПАУКУ, УЛОВЛЯЮЩЕМУ МУХУ

О гнусный черный дух!
Кто дал ти сметь
Плести для обреченных мух
Густую сеть,
Ответь?

Оса, себя губя,
В тот ввергласъ ад.
Но медлил ты — сильней тебя
Осиный яд
Стократ.

С нее ты в стороне
Глаз не сводил
И нежно лапкой по спине
Промеж ей крыл
Водил.

А нежен был ты с ней,
Чтобы рывок
Осиной пляски в сети сей
Раздрать не мог
Силок.

Но с мухою простой
Тут ты не трус;
Схватил, и смертоносен твой,
Коварный гнус,
Укус.

Желаешь — разберешь
Мораль сию:

Не тщись превыше сил — найдешь
Ты смерть свою
В бою.

Нам схватки смысл не скрыт:
Соткатель Тьмы
Канаты натянуть спешит
Своей тюрьмы.
В ней — мы.

Чтоб гнесть Адамов род
В своих силках,
Поскольку удержу неймет
Скудельный прах
В грехах.

Но Ты, что Благодать
Несешь в Себе,
Дай вервие сие порвать,
Припасть в мольбе
К Тебе.

Подобно соловьям,
Чтоб восхвалять
Тебя — ведь не скупишься нам
Ты Благодать
Подать.

ДОМОВОДСТВО ГОСПОДНЕ

Господь, меня Ты в прялку обрати,
А в донце — Слово, вещее досель.
Мои пристрастия — колесом вскрути,
Катушкой — душу. И скорей кудель,
Мою веретеном соделав речь,
В пить спрядывай, Создатель, бесперечь.

Меня же сделай кроснамп потом.
Основа — Ты, а Дух Святой — уток.
Тки, Господи, склонися над холстом,
Одежу мне сотки в защиту, Бог!
В цвета небес потом возьми окрась
И цветиками райскими укрась.

В нее мой разум, волю, честь одень,
Привязанности, мненья, совесть, пыл,
Слова мои, дела — чтоб всякий день
И Твой Престол прославлен мною был.
Хвале и Славе Божией стократ
Свидетельством да служит сей наряд.

ТИМОТИ ДУАЙТ
© Перевод А. Шарапова

КОЛУМБИЯ

Колумбия, родина славных чудес,
Земли королева и дочерь небес, —
Твой разум растет на глазах поколений,
И каждым из нас управляет твой гений.
Колумбия, край благородной мечты,
Всех в мире земель плодороднее ты.
Тебе, чье былое не залито кровью,
Дано быть надеждой земли и любовью.

В те дни, как Европа стремится к войне
И нивы ее погибают в огне,
Свободу герои твои защищают,
И слава лишь добрая их посещает.
Ты мир покоришь, но не земли поправ,
А став проповедницей мира и прав,
Расширишь пределы державы могучей
Далеко за море, высоко за тучи.

Сынам ты откроешь познанья исток,
И ранней звездой тебя встретит восток.
И древних затмят твои барды и саги,
И те, чьей высокой души и отваги
Не ценят покуда в родном им краю, —
Слетятся они под эгиду твою.
И дым ты вдохнешь благовонных курений,
Душистый, как утренний воздух весенний.

Не меньше, чем встарь, очарует наш вкус
Красы и величия вечный союз.
Чист будет наш взгляд на предмет совершенный
И в чарах души не усмотрит измены,
Пребудет изысканность чувств и манер,

И нежности женственной яркий пример
С восторгом и миром нас в жизни наставит
И в горькие дни улыбнуться заставит.

Всем нациям мощь свою явит твой флот —
Народов восторг, океанов оплот.
И юг и восток как законную плату
Дадут тебе пряности, жемчуг и злато.
Все малые царства пребудут верны
Заветам твоей миротворной весны,
Знамена твои будут реять спокойно,
И грозы утихнут, и кончатся войны.
И мы удалимся во власть наших дум,
В долины, где кедров раскидистых шум.

ИЗ ПОЭМЫ «ГОРА ГРИНФИЛД»

О музы, баловницы славы древней,
Что чтимы городами и деревней,
Ее визита выдам вам секрет,
Тем более для вас в том тайны нет.
Скажите, досточтимые, на милость, —
Зачем она к отчизне устремилась?

Не потому, что, шар оплыв земной,
Она за чудом приплыла домой,
Не для того, чтоб адресов на тридцать
Направить гордо карточки и скрыться,
Остановиться, сделать ручкой жест
И прошуршать парчой на весь подъезд,
Привлечь вниманье щеголей банальных
И дурочек затмить провинциальных,
На скачках местных первенства достичь,
Потом произнести жеманный спич
И веер взять, показывая руки,
И выйти в круг, заслышав танца звуки, —
Или сидеть с тоскующим лицом,

Но всякий промах подмечать тайком,
Или беседу повести о нравах,
О зле, добре, о правых и неправых,
Об обществе, об общем и своем,
Все перебрать: обеды, мебель, дом,
Покуда с возмущением не глянут
Все те, кто не был ею упомянут,
Дар гордого Нанкина чай глотнуть,
Уйти и на прощанье подмигнуть…
Жаль тратить годы и открыток ворох
Вот так, начав молчаньем, кончив в ссорах,

И наконец оставить дружбы пир
С досадою на небеса и мир.

У нас в привычке — дни или минуты
С веселым сердцем посвящать кому-то,
В содружестве сердца соединять
И вид всегда небрежный сохранять,
Касаться лишь доступных всем реалий —
Как-то вопрос супружества, морали,
Всех оделять симпатией своей,
Облагородив дерзкий пыл страстей,
Забавиться и быть забавным — то есть
Строй привносить в общественную совесть,
Смеяться и с достоинством пройти
Все рытвины на жизненном пути,
За стол гостеприимный сесть обедать,
Манящих лакомств родины отведать,
Всем отвечать с акцентом добродушным,
Не огорчать уходом нерадушным,
С людьми поладишь — жизнь пойдет на лад,
Год проведешь среди земных услад.

О, трижды эта жизнь благословенна
В довольствии и тишине блаженной,
Где вещь любая светит и цветет
И лишь порой придет волна невзгод —
В родном краю, где нежно смотрят весны
На землю молодости плодоносной,
Где чувствуешь тепло со всех сторон
И всякий путь огнями озарен,
Где даже в час, как буря завывает
И белый парус нежно надувает,
Спокоен мир, и полная луна
Над цепью островов наклонена,
И серебристым лунным светом полны
Чуть видные на синей глади волны.

И в час, когда над родиной покой
Или когда бушует вал морской,
Взгляд узнает знакомые пунктиры —
Родимых берегов ориентиры.

ДЖОН ТРАМБУЛЛ
© Перевод А. Эппель

ИЗ ПОЭМЫ «РАЗВИТИЕ ТУПОСТИ»

Том Болвэйн

«Наш Том развился в крепыша —
Нарадуется ли душа?
Послушен он, прилежен он,
Сообразителен, смышлен.
Учитель уверял к сему,
Что Том — первейший по уму! —
Читает, пишет, в счете скор,
В Законе Божием остер
И каждый вытвердил учебник:
Равно букварь, псалтирь и требник.
Он сотворен для высших дел,
Недаром низкий труд презрел,
И, верю, будет наш наследник
В свой час изрядный проповедник.
Пошлем, жена, мальчишку в колледж
Ведь где наука — в доброй школе ж!»
Так мать-отец совет держали,
Поскольку сына обожали.
А где? За ужином? На ложе?
Такое уточнять негоже.
И вот мальцу почет и честь,
Забот же и печалей несть;
Ему не надо на заре
Гнать скот по утренней поре;
Не надо, взмокнув до портов,
Спускать на жатве семь потов;
Ни бить цепами на току,
Ни в снег брести по большаку.
Хозяйству на прощанье он

Отвесил до земли поклон,
И вот уж праздность с ним сам-друг,
Считай — неприложенье рук.
Вот у священника в дому
Учиться стал он кой-чему.
А тот и сам проспал науку
В младые лета, как докуку,
И, знавший не один язык,
От таковых давно отвык,
Поскольку главной из забот
Считает дом свой и доход.

* * *

Два года длился сбор познаний.
Пора и в колледж — Мекку знаний.
Священник с помощью отца
Туда вдвоем везут мальца.
Не примут — с помощью письма
Представят (хоть и туп весьма),
Что он умен, что он учен,
Что он в науках отличен;
Упорен столь, что не одну
Готов пересидеть луну,
Усидчив столько, что нет-нет
Перекорпит закат планет;
А скуп в ответах — ну и что ж?
Экзамен же ввергает в дрожь!
А мальчик между тем всезнающ,
Пытлив и многообещающ.
Примите! — он обгонит всех
Без промедлений и помех!
Опять же и доход отца
Так мал, что не вскормить мальца.

За словом — дело. Бравый Том
Был принят. Как? Молчок о том.
Сперва дивится он всему,
Но праздность снова — стук к нему!
Нельзя ж себя приговорить
Башкой по целым дням варить
И, помирая от зевоты,
Удвоить прежние заботы,
В короткий постигая срок,
Что адских мук страшней урок.
Дрема долит, а значит, вправе
Он извиниться non paravi[10]
И, бывши egresses[11] и tardes [12],
Не опечалиться о парте-с.
Ведь книги (провиант ума)
Вредны здоровью, и весьма;
Своими буковками греки
Терзают зренье. Брякнут веки,
Как все равно что от вина,
Тому еще латынь вина;
В геометрический ж чертеж
Вникая, все мозги свернешь…
Хворает всетелесно Том.
Ах, дело в чем? Ах, дело в том,
Что спазмы, фебра, истощенье
Плюс флюс — суть минус страсть к ученью.

* * *

Хвати нас приступ хоть мигрени,
Пособник праздности и лени!
В унылых колледжа стенах,
Печалясь о его сынах,

Ты — в пику здравому уму —
Сильней порядка посему.
Освободитель от уроков,
Слуга безделья и пороков,
Ленивцев ты сберегатель
И нерадивцев покрыватель,
Глухих к взысканьям и приказам,
Плюющих на высокий разум.
Меж тем прилежный — так бывает! —
Одну лишь тупость усвояет,
Презрев, как чернь аристократ,
Родимой речи слог и склад;
И отрицатель он искусств,
Патронов языка и чувств;
И древних авторов листы
Долбя, не зрит в них красоты;
На веру смысл чужой приемлет,
Живому слову же не внемлет,
Всяк термин выверяя в стах
Энциклопедьях-словарях,
Он, древний бормоча язык,
Свой собственный терять привык,
Обхаживая в царстве скуки,
Как дéвицу, скелет науки.

О! Мне б хотелось дотянуть
До дня, когда укажет путь
На посрамленье волхвованья,
Во торжество образованья
Сквозь дебрь наук подростку разум
Всеопекающим подсказом.
Наследье древних разобрав,
Все лучшее от оных взяв,
Ни худшее не станет брать,
Ни глупостям не подражать.
Тут философия взликует

И этика восторжествует,
Искусств возжаждет молодежь,
Сердца им отворятся тож,
Из речи древних в нашу речь
Красы польются бесперечь,
Через посредство вещих муз
Умы постигнут лад и вкус,
И станет не для школьных мук,
А всем для пользы свод наук,
И удивим собой Восток
Мы — нового огня исток.
Пока в мечтах мы возносились,
Дела домашние вершились.
Но там все то ж — герой наш, Том,
Умней не сделался. Притом
Четыре года, как сурок,
Проспал и нет чтобы в порок
Он ввергся, где там! — совесть чистой
Сумел сберечь тупица истый.
Непуганы бродили тут
С бессмыслицей напрасный труд,
Но все же в срок экзамен сдан,
И степень получил болван.
Се стал ученым ученик
Без помощи ума и книг,
Ведь колледж всем нам лечит мозг,
Шлифует вид, наводит лоск;
Взять мантию — он сим нарядом
Польщен. Admitto te ad gradum[13].
Жизнь возле мысли как-никак,
Дурацкий освятив колпак,
Сподобит паре языков,
Умом обяжет дураков, —
Ну точно царские короны!
В тех — блеск придворных, лесть, поклоны,

Ум, гений, доблесть, добродетель,
Премудрость, мудрость. Бог свидетель! —
Накроют плешь, улучшат вид —
Колпак дурацкий и сокрыт!
Герой наш отягчен умом,
Чему свидетельство — диплом,
Где текста каждый оборот
Он вам прочтет и не соврет, —
Се пропуск, дабы поучать,
На нем и колледжа печать;
И в свет с обдуманной ноги
Гордыней сделаны шаги.
Прошло полгода. Тугодум
Зрит свой кошель, пустой, как ум.
Отец, поняв, что сын — балласт,
Его отторгнул. Бог подаст!
Но дал совет — детей учить,
А с проповедью погодить.
Что ж, рассуждаешь ты умно,
Не годен к делу все равно
Твой первородный. Вора встарь
От петли выручал алтарь,
А ныне — тупость от позора
Спасается в тени притвора;
Там ей поклоны и хвалы,
Там — ни насмешек, ни хулы,
Там и сатира — злющий враг! —
Не подберется к ней никак,

Там божий текст в опору дан
Безмозглости. В защиту — сан.
И вот герой наш в школе занят.
Он в год за сорок фунтов нанят.
Вокруг юнцы, как битый полк,
Не в книжках, в порке зная толк,
Сидят, трепещущи и робки

От предвкушенья новой трепки.
Во кресла он свои воссев,
Осанкой, взором чистый лев,
Лениво, безразлично там
Вещает. Что? — не знает сам.
Законодатель и учитель,
Судья, крючок и кар вершитель,
Чем жестче, мнит он, наказанье,
Тем лучше и образованье,
А назидательная розга
Есть возбудитель качеств мозга.
От порки — несомненный прок:
Всяк ревностней зубрит урок.
Поря же нерадивых вволю, —
Сломаешь прут, но сломишь волю…
И вот к собрату он стучится,
Чтоб проповеди поучиться.
А поучиться хочет — страсть!
А не научится — украсть!
И, чтоб раздуть угасший пыл,
Он на полгода мир забыл.
Но вот — готов. Стиль отработан.
Служитель Божий, в мир идет он.
Ряд встреч затем, весьма детальных,
Со пастыри приходов дальних,
Где неофит наш, с чувством меры,
Толкует им свой символ веры
И, одобренье получив,
Служить идет, поклон отбив.
И что же, что его мозги
В томах не видели ни зги?
И что ж, что слаб он, и весьма,
По части чтенья и письма?
И что же, что ни то ни се?
Он — ортодокс. А это — все!

Гарриет Чванли

Судья атласов и шелков,
Шнурков знаток и башмаков,
Провидица, посколь провидит,
Когда и что из моды выйдет,
И знает, из каких сторон
Получен лиф или роброн,
И угадает до минуты,
Когда укоротишь длину ты
Согласно моде. Все бы рад
Ее дотошный узрить взгляд.
(Так муха видит каждый атом
Особым зренья аппаратом).
Не жаль труда ей посвятить,
Дабы товарок просветить
О том, чтó модно; переписка
Ведется ею в части сыска
Всех сведений о всех балах,
О том, что носят при дворах
И что предпочитает свет:
Какой корсаж, какой корсет,
Каких шелков ввезли купцы?
И — как с чепцами? Что чепцы?
А стиль? А что насчет манер?
Чем обольщаем кавалер?
Насколь жеманен нынче взгляд?
Как белятся? Что говорят?
Как поощрять? Как трепетать?
Как чувства нежные питать?
Вот в воскресенье наша дева,
Одета — что там королева! —
(Приехал в город гость как раз),
Весь день воскресный напоказ
Проводит в церкви без забот,

Ведь молится во храме тот,
Кто ищет господа в приделе, —
Красотки же при ратном деле;
Соперничеству и кокетству
Местечко есть и по соседству
С благочестивостью, и нам
Корить негоже прытких дам,
Поскольку в воскресенье тут
Венчается недельный труд.
Здесь — штурм. А крепостью стоят
Напротив кавалеры в ряд.
И входит женский эскадрон
Во храм, весьма вооружен
Оружием любви. Как шлемы,
Чепцы на них любой системы,
Шелка штандартами горят,
Вуали, как значки, летят,
И тяжкие мортиры шарма
Повыкачены вдоль плацдарма.
Как в годы оны европейцы,
Боясь, что их прибьют индейцы,
С собой таскали ружья, так
Псалтирь, тавлинка и табак —
Оружьем стали церкви грозной,
Сейчас, как встарь, победоносной,
Где богослов, как дикобраз,
В коллегу мечет иглы фраз.
Но что нам в том! Пообличаем
Мы обольстительниц за чаем;
Жеманство сплетню тут сластит,
Злословье же — что твой бисквиту
— Ах, новость! — слышен пылкий вздор. —
В три фута шляпы носит двор;
Внутри там проволока! Кисти
Свисают вниз, Исусе Христе!
Чудесно! Грация сама!

Весь город просто без ума!
Вы были на балу вчера?
Как Хлоя вам? Страшна, стара!
Прошли ее семнадцать лет.
Еще бы! Этакий скелет!
А Фанни? В нынешнем сезоне
Вот-вот из Бостона. В бонтоне
Она — хи-хи! — узнала толк,
Ведь там же квартирует полк!
А Селия! Мила собой,
Когда бы не была рябой;
Схватила оспу и — ряба!
Увы, жестокая судьба!
А Долли! Дику шлет посланья,
Но — без взаимопониманья!
Однако это под секретом, —
Ни слова никому об этом!
А Сильвия? Не знает меры!
И что в ней видят кавалеры?!
Вот разве, — если верить Гарри, —
Она прелестна в будуаре!..
Но отвлечемся хоть на миг,
Ведь наши дамы — чтицы книг.
Мозгам же их вредит, как яд,
То, что читают и что чтят.
Хоть в сочинениях блистает
Мир, какового не бывает,
Хоть пылко читанный роман —
Прельстительной любви дурман,
Но все мечты пустых франтих
В аркадских долах бродят сих.
Любая, начитавшись, ныне
Себя равняет к героине —
Столь одинаковы — мой бог! —
Их взгляд, улыбка и кивок,
Что всякий повергайся ниц

Пред идеальной из девиц!
Так Гарриет, прочтя немало,
Себя Памелой представляла,
Чья нежность черт, чей стиль причуд
Ее дурманят и влекут.
Она, взирая в зеркала,
Себя с ней схожею сочла;
А буде так, то, значит, он —
Ловлас ли или Грандисон —
Нигде, как в свете. Там тотчас
Поклоны пудреных пролаз,
Рой жаждущих любви мужчин,
Глупцов, спесивцев, дурачин…
Нет, даже лампа в час ночной
Такой не привлекала рой,
Ни даже трубка, где разряд
Соломинки сбирает в ряд
(Одно с другим я все ж сравню
По электрическу огню).
О, как дурацки колпаки
Толпятся у ее руки,
Какие тут поклоны бьют!
Обеты нежные дают!
Какие сделки тет-а-тет!
Каких тут только вздохов нет!
Как надобно интриговать,
Чтоб с нею раз протанцевать!
Записок пылких сколько! В них
Что ни записка — акростих.
А комплименты, где Елена
С Венерой вкупе посрамленна!
Что за умы сглупели ныне
От общих мест про «лик богини»!
А слов игра про «страсти пламя»,
Сравненья с солнцем и звездами!
Как мстят, вздыхают, пылко врут,

Как чахнут от любви и мрут!
Но дивных лет пропал и след,
И кавалеров больше нет!
Старенье повергает в дрожь,
Красавиц новых сколько хошь.
Не взглянешь в зеркало — морщин
Поболе стало, чем мужчин;
Так Сатана, по утвержденьям,
Своим чурался отраженьем.
И вот уж наша чаровница
Колпаконосцами не чтится,
Из списка граций и богинь
Она изъята, как ни кинь,
И всех поклонников — мой бог! —
Зрит у соперницыных ног.
Стал суетой (с ее же слов)
Обряд собраний и балов,
Блеск раскрасавиц расписных,
Лоск кавалеров записных.
Одеждой не надеясь скрыть
То, что сумели годы взрыть,
В ночном чепце, страшна как бес,
Весь день, презревши политес,
Она проводит. Лохмы, космы
Зрим вместо прибранных волос мы,
Корсет в отставке — он теснит,
Фуляр куда-то набок сбит,
А прочий стыд и прочий срам
Вообрази, читатель, сам;
Вид — словно год, как вышла замуж,
Неприбранность такая там уж.
И нет себя бы поберечь,
Она злословит бесперечь,
Весь мир бранит, всех дам порочит
И кары за грехи пророчит.

Брачная сделка

Наш Том Болвэйн о прошлый год
Шесть полных лет, как вел приход,
И понял вдруг, — как ни вертись,
Пора женой обзавестись.
Все ближние, обдумав трезво,
Мисс Чванли указуют резво,
Ту, что, господний чтя завет,
Младых презрела живость лет
И посему годна в подруги —
Суть в христианские супруги.
Том что получше облачив,
Парик повыбив и подвив,
Пыль с пудрой сдунувши с манжет,
Весь в черное стоит одет —
Сиречь костюм и облик Тома
Как в день вручения диплома.
Коня изрядного достал он,
Со стремени садиться стал он
И уговаривать предмет
Поехал. С ним и дьякон сед.
И преторжественно рядком,
Ошую дьякон, справа Том,
Точь-в-точь с оруженосцем рыцарь,
В любови трюхают открыться.
А по приезде, поклонясь,
В высоком штиле обратясь,
Наш пастырь вывел — несть причин
Для одиночества мужчин,
И видит долг его служенье
В пложении и размноженье;
И — со смирением к судьбе —
Здесь Еву зрит он по себе
И рад помощницу найти,

Чтоб на юдольном на пути
С ней искупить елико можно
Адамов грех нечужеложно.
Короче — съединил в одно
Их пастор. Так и суждено.
И вот приходский весь народ
Участье в торжестве берет,
И по решенью всех подряд,
Посколь священник стал женат,
Ему, порассуждав, приход
Пять фунтов набавляет в год.
Для встречи пастырской супруги
Собрался цвет всея округи,
Желают счастья и добра
И молодой кричат «ура».
В собранье, дома и в гостях
Она на первых на местах,
А в храме вовсе уж почет —
Скамья пред кафедрою ждет.

ДЖОЭЛ БАРЛОУ
© Перевод А. Эппель

СКОРЫЙ ПУДИНГ

ПЕСНЬ I

Вы, дерзки Альпы, кои без препон
Тесните день и тмите неба склон,
Ты, галльский флаг, несущий с этих круч
Смерть королям, а нам свободы луч, —
Не вас пою. Мой понежней предмет.
Не знавший муз, досель он не воспет,
Хотя достоин, несравненный, он
Жарчайших поэтических пламен.
Воспой его, пиит, поправший страх,
Метавший гром в эпических полях!
И ты, поющий за полночь певец,
О влаге, веселильщице сердец!
И ты, что дамы ради тратишь пыл,
Поя восторг, который не испил!
И я восславлю в назиданье всем,
Что́ поутру и всякий вечер ем —
Драгой мой Пудинг! Миска, приходи,
Порадуй нёбо, вздуй огонь в груди!
Тут с молоком, еще струящим пар,
Смешался тот без помощи опар,
Чей гордый норов молоко уймет,
Дабы потом не пучило живот!
Так потеки же, песнь, сладка, гладка,
Как сок живой, по взгорку языка!
Коль мягки крошки, слог мой возлюбя,
Вззвенят, катаясь, как внутри тебя,
То даже имя грубое твое
Кастальски девы примут как свое —
Ему, кому доселе славы несть,

Воздаст поэт и все окажут честь.
Но в первости — времен увяжем нить,
Дабы твой род и предков проследить.
О, что за скво прелестна и в кой век
(Пока Колумб свой не провидел брег)
Тебя открыла миру? Славный труд
Был безымян. Но имя нарекут.
Церера смуглая в тумане дней
Смолоть маис решилась меж камней,
Сквозь сито дождь просеять золотой,
Муку смешать затем с водой крутой
И эту смесь — проворно ну тереть!
И смесь разбухла, начала пыхтеть,
Потом расти, вздыматься, воркотать,
Комки сухие внутрь себя глотать,
И ложкой каждый был растерт комок,
И вот состав густой возникнуть смог.
Когда б неведомое имя скво
Всплыло к певцу, — столь дивно мастерство
Восславил я б и восхвалил замес
И пудинг бы поднялся до небес.
И если Иллу я воспел доднесь,
Ей нову добродетель ставлю здесь, —
Нет, — не в Перу́ лишь — восхвалять теперь
Пристало миловидну солнца дщерь,
Но всюду, где лиет лучи оно,
Ей всё и вся воздать хвалы должно.
Драгой мой Пудинг, ну не в дивный ль миг
В Савойе ты передо мной возник?!
Хоть избродил я мир витым путем
И всяк мне край — свой, каждый дом мне — дом,
Я отскитался, дух пришел в себя.
Мой давний друг, приветствую тебя!
Вотще я происка́л и невпопад
Тебя в Париже! О развратный град!
Там Вакх бесстыжий, пьяных орд кумир,

Чуть из пещеры, а уже за пир.
Копченый Лондон вымочен в чаю,
Там янки не найдет и тень твою,
Названием и тем бы был задет
Сей город. Королевский бы декрет
Последовал. Ведь бьет сырая дрожь
Края полночны, ты туда не вхож;
Ты, друг, хотя роскошен и могуч,
Взыскуешь мягкий дождь и теплый луч.
А здесь, пусть и от дома удалясь,
Мы встретились, ликуя и смеясь;
И ты тут! Чуть мелькнул твой желтый лик —
Индейской кожи цвет признал я вмиг!
Ни век тебе, ни почва не вредят,
Ни снег альпийский, ни турецкий смрад —
Везде, где кукуруза прорастет,
Ты царствовать рожден из рода в род.
Но человек изменчив, он посмел
Тебя именовать, где как хотел:
Polanta левантинец, а француз
Polante, конечно же, на галльский вкус.
Да и у нас — о, стыд мне в свой черед! —
«Затиркой» пенсильванец тя зовет,
А где Гудзон, бельгийцы где живут,
Тебя suppawn, съедая, обзовут.
Все это наглость — истины тут нет,
Уж я-то знаю это с юных лет.
Ты — Hasty Pudding *скорый,* заварной,
Тебя отец, бывало, с пылу мой,
Сторонник твой неистовый, снимал
И так твое названье понимал:
«Кипящий *скоро* на жару котел
Маисовый в себя берет помол,
И тот мягчает *скоро,* а потом
К столу хладится *скоро* молоком.
Разрезать — боже упаси! И нож

Скрежещущий в такую плоть не вхож;
Лишь ложке гладкой, пригнанной по рту,
Дано приятну черпать густоту
Из полной миски, выше всех похвал
Обеденный свершая ритуал».
Да! это имя, мой прекрасный друг,
Для слуха янки — гордый ясный звук.
Но нёбо с сердцем чистые мои
Всё ж боле ценят качества твои.
О! Есть хулители, и клевету
Они возводят, мол, ты — корм скоту.
Двусмысленная шуточка — бог с ней! —
Мол, человеки вроде бы свиней.
Паскудно слово мне ль не презирать? —
С животным благ не стыдно разделять;
Вот молоком корова для питья
Доится мне — теленок разве я?
И выше ль гений взбалмошных свиней,
Ядущих пудинг, мудрости моей,
Коль стих мой в похвалу щедрот твоих
Куда складней похрюкиванья их?
За песнь не жду награды от тебя,
В тебе ведь восхваляю и себя;
Тебя любил отец, и пользы для
Он кукурузой засевал поля,
И, здоровущий от щедрот твоих,
Он граждан породил десятерых —
Рожден и я был под твоей звездой,
Костяк зерном индейским крепок мой.
Прелестны зерна, всяко вы сладки!
Вари вас, жарь, туши или пеки —
Любое блюдо сладостным почту,
Но Скорый Пудинг все же предпочту.
С тобой бороться succotash готов,
Смесь недоспелых зерен и бобов.
И хоть он маслом желтым умащен,

И хоть округ него лежит бекон,
И хоть сие прославлено молвой,
Мне лучше миска, полная тобой.
Лепешку кукурузну я снедал
В Виргинии. Маисову — едал.
Вкусны и та и та — в обеих сих
Похоже вещество и слава их;
А в Новой Англии в последню класть
Привыкли тыкву — этак часть на часть,
Что вкусу лучше, добавляя сласть.
Но ставьте предо мною горячи
Хоть круглы клецки прямо из печи,
Хоть «в торбе» пудинг, чью палящу грудь,
Обильну жиром, янки любят — жуть!
Шарлотку, где, под корочкой светя,
Спит яблоко, как в матери дитя,
Хлеб желтый, чье лицо точь-в-точь янтарь,
Всю снедь индейску, что едали встарь, —
Бог с ним со всем. Мне Пудинг — фаворит.
И ложка лишь к нему моя летит.

ПЕСНЬ II

Мешать еду и хитры смеси есть —
Желудок убивать и сердце гнесть,
В гражданских доблестях ослабить люд,
Обжорой стать, а равно тем, что жрут.
Поварни Муза сочинила свод,
Чтобы с кухарок лил ручьями пот,
Чтоб дети не резвились там и тут —
Дивя друзей рицины тем, что мрут.
Не так у янки: стол богатый здесь
Простыми блюдами уставлен весь,
Сбирает домочадцев он и чад,

Его обильности хозяин рад;
Тут — голод честен, аппетит — велик,
Тут на здоровье всё съедают вмиг.
Пока в подойник льется молоко,
Мать от котла с едой недалеко,
Мешалкой надо шевелить в котле,
Расставить полны миски на столе,
Остынет — домочадцев накормить.
Тех — в школу, тех — работать проводить.
Но есть законы и простейших блюд —
Природа изощрилася и тут.
Хоть скор наш Пудинг, а капризен все ж —
Бывает плох, изряден и хорош.
Здесь нужен опыт, как во всем всегда,
Умения толика и труда.
Кто хочет разузнать про то — сиречь
Взрастить дитя и взрослого сберечь,
И добродетель охранить, пока
Еда вздымает жаркие бока,
Урок усвойте — Музы глас моей —
И, ложки опустив, внемлите ей:
Желаешь быть здоров и бодр всегда? —
Любя еду, не избегай труда.
Сперва под солнцем в поле помолись,
Мол, мать-земля, взрасти нам впрок маис;
Для тех, кто за землей привык ходить,
В ее привычках милости родить.
И вот послушливый и добрый вол
Долг отдает тебе за зимний стол;
За ним по свежей борозде иди,
Зерно златое в ровный ряд клади;
Когда ж оно, набухнув, прорастет
И всходом изумрудным в рост пойдет,
Тогда питомцу обеспечь призор
От червяка и от ворон-обжор.
Насыпь золы по горсти у стеблей —

Пройдут дожди, и червь сползет с полей;
Пернатый ж вор ударится в побег,
Соломенный лишь сделан человек,
Как тот, что школяры выносят для
Сожженья папы, казни короля.
В сезон же каждый кукурузный ряд
Ты пропаши и промотыжь трикрат.
Двойной ведет мотыга пользе счет —
Мотыжит летом, а зимой — печет.
Холодный дождь листу б мешал расти,
Когда б до Рака солнцу не дойти;
Но вот — дошло, и жгуч свирепый луч,
Разросся корень, сок бежит, текуч,
И ордера коринфского столпом
Воздвигся стебель, обрастя листом.
Пошли побеги пышны по межам,
Сплетался, взбегая по холмам, —
Тут им не помогай — твой кончен труд.
Пускай под солнцем сами впредь растут;
Препоручив его лучам призор,
По осени возьмешь великий сбор.
Теперь листва крепка и в высоте
Штандартом шевелится на шесте,
Млады початки, бахрому клоня,
Беременеют, пухнут день от дня;
И бремя это стебли клонит вниз,
И каждый стебель над межой навис.
Качается лесок, он — верный страж
Любовных незначительных покраж,
Он девушку укрыл под свой шатер,
Где истомился жадный ухажер.
Холм облегчит рукою тот своей,
Початками набьет корзину ей;
Довольства ж обоюдного итог —
Здесь — поцелуй, а свадебка — в свой срок.
Покража ль тут? Но вот луна взошла,

Енот проворный вышел из дупла.
Что за ночь своровать ему не лень,
То белка ловкая сворует в день;
Воруют оба, но — в урочный час,
Се добродетель редкая сейчас.
Пусть крадут малость от трудов людских,
Ну много ль надо для запасов их?
Хоть и хитры они умом своим,
За нами — сила, ибо не по ним
Состряпать пудинг. Мы в том мастаки,
В уменье сем беспомощны зверки,
И знанье это только с нами впредь —
Не разделить его им, не воспеть.
Но, дол окрасив в карий цвет, идет
Октябрь и урожай с полей берет;
В амбар возы влекутся нелегки,
Ждет мельник тяжеленные мешки,
Поскрипывает мельница слегка,
Из жерновов ссыпается мука —
Наш Пудинг будущий. Хозяйке в дом
Мешки привозят с золотым добром;
Нет, не воспеть, хоть положи труды,
Восторг, входящий в дом с мешком еды.
Ликуют все, куда ни поглядишь:
Детишки, взрослые и всяка мышь.

ПЕСНЬ III

Короче дни. Верша светило круг,
Хоть и сулит нам отдых, но не вдруг.
Ночная тень работу денну длит
И темой новой песнь мою дарит.
Кто в поле кончил урожай сбирать,
Соседей ждет — початки обдирать.

Вид радостный: работа что игра
Вершится тут, хоть поздняя пора.
Гора огромна горницы середь,
На стенках лампы, чтоб вовсю гореть,
И нимфы деревенские вокруг,
И парни тож не покладают рук.
Всё дети кукурузных ед и яств —
Работают они не без приятств;
Листвой шуршат, дурачатся, поют,
Веселый сидр по очереди пьют.
Обдирки правила тут знает всяк:
Початки — розны, ну а ежли так —
Коль крив попался — слушай общий смех,
А красный — поцелуй тебе от всех;
А деве попадет початок сей,
Стройней, чем стан ее, и губ красней, —
Она в кругу счастливца изберет,
И живо вскочит целоваться тот.
Забав и выдумок не перечесть,
Им просто удержу и счету несть;
За шутками и сладят с той горой.
А кто последний схватит — тот герой.
Меж тем хозяйка не жалеет сил,
Чтобы на славу пир и в пору был.
Ее рукой просеяна еда,
Тут — молоко, тут — мисок череда;
Ревя, бурля, бесясь, котел кипит —
Поток вот так, что мельницу вертит,
Преград не зная и не ждя наград,
Кипит, ревущ, бурлив и бесноват.
Но вот хозяйка сыплет чисту соль,
Потом — муку; густеть, мол, соизволь,
На медленном огне попрей, постой,
Мешаема неслабою рукой;
Тут пособляет муж: мешалкой он
Ворочает, и труд вознагражден.

Все, кто початки чистил, вкруг стола
Садятся, и застолица пошла.
Оставим их, поскольку есть для нас
Предмет полезней, дабы длить рассказ.
Ведь существует строгих правил ряд
Про то, как Пудинг правильно едят.
Есть можно, скажем, патокой полив,
Как бард, со сластью пользу съединив.
Благая снедь! Толк преизрядный в ней,
Когда пора настанет зимних дней
И во хлеву корове нелегко
И злой Борей в ней сушит молоко.
Благословенная корова! Ты —
Исток здоровья, пользы, доброты;
Мать идола в Египте ты. И я —
Покинь я бога — верил бы в тебя!
Бывало, я не раз тебя доил!
Бывало, золотым зерном кормил!
Бывало, я оплакивал с тобой
Детей твоих, ведомых на убой!
Вы, парни, знайте цену ей всегда,
Накрыть не поленитесь в холода,
Давайте тыкву в корм, когда грустна,
Пивного сусла тоже и зерна.
Весна придет — долги она отдаст;
Своим и вашим детям пищу даст.
Итак, вливаю в Пудинг молока
И Музу этим укрощу пока.
Пока она не даст совета нам,
Полезного юнцам и старикам:
Сперва, мол, влейте в миску молока
И погрузите в озерцо слегка
Кусочки Пудинга. Они пойдут
Как бы на дно, но вскорости всплывут.
А коль разбухшим им на дне не быть —
Плавучий пухлый остров должен всплыть;

Он — порция тебе, дабы поесть.
Так учат нас отцы, и так и есть.
К сему о ложках. Хороша ль, худа —
Не разберешь ты, я же — завсегда.
Глубь галльской ложки недостойна губ,
Ты ею черпай тощий жидкий суп.
Я б за нее там и гроша не дал,
Где в сходе вязка масса и металл,
Где должно мускулам губным объять
Изгиб спокойный и еду изъять, —
То бишь ловчее вкусный груз сгрузить.
А миске шире и поплоще быть
Под Пудинг надо б. Форма и объем
Неведомы всем тем, кто ни при чем.
Едок натасканный, — и только он, —
Сего искусства превзошел закон;
Лишь музыкальны губы без труда
Точнейшу ложку выберут всегда.
Хоть и не в строфах — Музам вряд ли люб
Мир геометра — конус там иль куб,
Но формы верной ведомы тропы:
Се меньша часть гусиной скорлупы;
От бока до средины пополам
Ее разделим — вот образчик вам.
А обслюнявился ты — не беда!
Как у француза, пусть висит всегда
Салфетка с подбородка. Иль, как я,
Ставь миску на коленку — все ж своя;
А мудру голову вздери в зенит,
И ложка, вверх идя, не обронит
Ни капли. Буде все же капнет что,
Широка миска сразу словит то.

СОВЕТ ВОРОНУ В РОССИИ
Декабрь 1812 года

О черный дурень! Что крылами трешь
Студены небеса и в крик орешь?
День с ночью теплых стран — не хлад и мраз —
Тебе приятней были бы как раз.
Уж не боишься ль там оголодать,
Всласть человечины не поглодать,
За коей во студену даль земли
С великим Бонапартом вы пришли,
А с вами все народы тесный юг
На север стоязыко двинул вдруг?
Баварец, австрияк, и По кто пьет,
И люд, живущий у тосканских вод,
Германец, невстриец, фламанд и галл
Пришли сюда, чтоб гибнуть наповал;
И в страхе ты — мол, нет в тылах войны
И гладу там птенцы обречены!
Не бойся, каннибал! Своих скликай,
Назад лети, спеши в испанский край, —
Там легионы храбрые его
Радеют для питанья твоего,
Там кровь Европы льется, солона,
Там доблестью земля наводнена:
Мрет иберием, невстриец, мрет бритт
И галл щедрей всех прочих кровь струит.
К Калабрии, к Элладе, к Мальте мчи,
В Египте славы доблестной лучи,
Доминго-остров, Индския страны
Из галльских вен с лихвой очервлены.
Какому ж ворону достанет крыл
То облететь, что этот покорил?
Он для тебя прольет, где хочешь, кровь, —

Ищи же поуютней край и кров,
А голода не бойся! Ведь людей,
Их сколько хоть, хоть миллион убей,
И всюду пожинает свой побор
С людского поля воинский набор.
А если кто себя и упасет
От этой жатвы — трижды проклят тот
Тройным проклятьем, в чью тройную пасть,
Как в Керберову, гибельно попасть.
Не беспокойся ж! Алчных воронят
Учи кричать венчанному «виват» —
Порода ваша у него в чести,
Ей милости всех легче обрести;
А коль широк услуг взаимных круг —
Тогда отзывчив и надежен друг.
Твой корм — тела погубленных вояк,
Ты — мертвых клюешь, чистя тем бивак,
Имперский мусорщик! Но тут, где хлад,
Поживе твой умелый клюв не рад;
Мраз в мрамор обратил тут каждый труп,
В хрусталь одел твердейшей из скорлуп.
Тем, кто недавно пылко жить желал,
Лед тулова и члены тел сковал.
Из плоти сей ни куса не урвать,
Тут смрада смерти даже не слыхать,
А из глазниц — холодный, как топаз, —
Ты клювом страшным не добудешь глаз,
И коготь твой скребет как бы гранит…
А зрак промерзлый — вид живой хранит
И Господа пытает, глядя вверх,
В чьи хищные объятья мир он вверг…
Умри же с голоду иль прочь лети!
И хоть меж Минском и Москвой пути
Забиты мертвецами, их не стать
Тебя под стылым небом пропитать.
Спеши уж зимовать в Испанский край,

Там откормись, а после дожидай,
Когда сиятельный хозяин твой
Для новой бойни новый сонм людской
В грома оденет ратей боевых,
Бушуя, буйный, средь ничтожных сих.
Войн вожделеет алчная душа,
Грядет он, огнем царства сокруша,
Других Испаний жертвы воссожжет,
Замглит других Московии небосвод.
В зловонье тленья — странам впредь лежать,
Потокам рдяным в странах тех бежать,
Покамест люди не обрушат месть
На зверя, чем позор побоищ несть,
И супостата с трона на крови
Сметут, чтоб жить в покое и любви.

ФИЛИС УИТЛИ
© Перевод М. Яснов

О ВООБРАЖЕНИИ

О Королева! Все на свете зрят
Твой пышный, твой изысканный наряд.
Сумеет ли воспеть мой бедный стих
Терпение волшебных рук твоих?

Геликониды[14] славят, что ни миг,
Твои деянья. Пусть и мой язык
Поведает легко и без затей
О славе и о грации твоей.

То здесь, то там Фантазия парит,
Пока ее случайно не пленит
Какой-нибудь предмет, — а сладких снов
Так много в звоне шелковых оков!

Воображенье! Ты сильнее всех,
Ты землю облетаешь без помех,
Нет для тебя покровов и завес,
Твой дом — Олимп, слуга тебе — Зевес.

На крылья нас быстрее посади —
Вселенную оставив позади,
Мы вслед за мыслью полетим вперед,
Узрев миров и звезд круговорот,
И, мирозданье взглядом охватив,
В твоей душе прочтем грядущий миф.

Пускай зима от ясных глаз твоих
Не прячется в пещерах ледяных.
Ты травами поля наполнишь вмиг,
В любой пустыне оживишь родник
И Флоре дашь пленительную власть,

А Паркам — нить: свивать ее и прясть.
Чтоб солнце разливало жизнь и свет,
Чтоб лес был снова листьями одет
И шли дожди, сверкая на лету,
Благословляя эту красоту.

Нет твоему могуществу границ,
Весь мир перед тобой простерся ниц,
И мысли независимый полет
Беспрекословно дань тебе несет.
Любой порыв, любой огонь и пыл
К твоим стопам колени преклонил,
И ждут приказов сердце и душа,
Твои желанья выполнить спеша.

Воображенье! Только повели, —
Как птица, оторвусь я от земли
Туда, где на зеленый небосклон
Спешит Аврора, — и закон времен
Бессилен изменить старик Титон[15],
Туда, откуда повелитель дня
С незримых круч приветствует меня...
Но, Муза, восхищение умерь:
Воображенье прикрывает дверь —
И гаснет пламя жаркое, и вот
Зима дожди холодные несет.
Все глуше море, все быстрей отлив, —
Смолкайте, звуки!.. Затихай, мотив!..

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРАЛУ ВАШИНГТОНУ

Нижеследующее письмо и стихи были написаны известной африканской поэтессой Филис Уитли и подарены Его Превосходительству генералу Вашингтону

Сэр,

Я позволила себе обратиться к Вашему Превосходительству в прилагаемом стихотворении и умоляю принять его, хотя я ощущаю его несовершенства. Нелегко подавить восхищение, возбуждаемое тем, что Великий Континентальный Совет назначил Вас благодаря славе Ваших добродетелей Генералиссимусом армий Северной Америки. Поэтому я надеюсь, что Ваше великодушие простит эту попытку. Желаю Вашему Превосходительству всевозможных успехов в великом деле, которому Вы так щедро себя отдаете. Остаюсь самой покорной и смиренной слугой Вашего Превосходительства

Филис Уитли

Провиденс, окт. 26, 1775.

Небесный хор! Сияет надо мной
Мир лучезарный, образ неземной.
Грядет богиня — свет в ее глазах
И лавр душистый в пышных волосах,
В душе — свобода, в нежной длани — меч.
О, как бедна моя простая речь!
Когда бы так воспеть она могла
Сцен колумбийских славные дела, —
Чтоб мать-земля, узрев господний свет,

Оплакала судьбу печальных лет,
Но, видя милосердие небес,
Воспряла, оттого что мир — воскрес!

Будь благосклонна, Муза! Мне стократ
Трудней вести перо, чем сотни врат
Преодолеть спешащим на войну
Полкам небесным. Если я начну
Изображать, как штормовая ночь,
Гремя, валы морские гонит прочь,
Как ропщет потрясенный океан,
Как рвет листву с деревьев ураган
И как поля воздушные полны
Воинственными криками войны, —
Смогу ли Вашингтону передать
Ниспосланную небом благодать!
Да, он с мирскою славою знаком, —
Но всяк ему посильным языком
Потребует наград — и их не счесть! —
За благородство, доблесть, ум и честь.

Едва денница вещая взошла,
Как ярость колумбийская зажгла
Сердца народа, — поднят грозный щит
И землю наций небо защитит!
Сегодня видит даже тот, кто слеп!
Колумбия! Ты на весах судеб!
Покуда размышляет в стороне
Британия, растут по всей стране
Холмы и горы мертвых — вот цена
Слепой алчбы, оплаченной сполна!

Великий вождь! Пускай же в свой черед
Не гнев, а доброта тебя ведет.
Будь милосерден, и великий трон

Навек твоим пребудет, Вашингтон!

ФИЛИП ФРЕНО

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ
(Картинка с натуры)
© Перевод М. Зенкевич

Не для гостиных вид его убогий,
Просить, как нищий, гордость не велит,
Сражался раньше он под Саратогой,
Теперь — на деревяшках инвалид.

Он вспоминает битвы, кровь и пламя,
Другим — награды за его труды,
Его же кормят только похвалами
Среди лишений горьких и нужды.

Благ не добыл он доблестью похвальной,
И в залах в блеске множества свечей
Его не встретить в сутолоке бальной
И на больших приемах богачей.

Где ж то оружье, что он брал в походы,
Где сила, что британцев прочь гнала?
Солдату завоеванной Свободы
Даны в награду — *голод* и *хвала!*

ПОЭТУ
© Перевод Г. Кружков

Вот наконец из переплетной
Твой том, увесистый и плотный,
Готов явиться пред толпой —
На час ее развлечь собой.
Грози ему лишь небреженье
Политиков иль поношенье
Глупцов — Бог им один ответ;
Но то-то и беда, что нет
Способных разобраться дельно
И нанести удар прицельно.
А там уже, глядишь, твой труд
На полку, в угол запихнут.
Появится другой на сцене —
Все будут рады перемене.
А мысль, свершив печальный путь,
Со света сгинет как-нибудь,
И в память мертвому кумиру
Невежа сочинит сатиру.

Счастливый Драйден! он в толпе
Мог встретить равного себе;
Когда вокруг стихи плодятся,
Почетно чем-то выделяться.
Счастливый Драйден! У него
Был Мильбурн критик — для того,
Чтобы браниться на забаву;
И счастлив Поп, чью в свете славу
Сварливый Денниса запал
Лишь только больше раздувал.

Но здесь, средь гибельного края,

Где правит Польза ледяная,
Где цепью скована мечта,
И в униженье — Красота,
И все повержены святыни, —
Что делать Музе в сей пустыне?

Век занят прозой, и ему
Восторги бардов — ни к чему;
Ни одинокие печали,
Ни снов загадочные дали,
Ни плеск ручья, ни шум сосны
Стальной эпохе не нужны.

Любовь и страсть в цене упали.
Какая ж муза не в опале?
Какую же из девяти
К безумствам века отнести?

Конечно, ту — с угрюмым взором,
С неумолимым приговором
В лице, с внушающею страх
Усмешкой злобной на устах;
Мертвящая и роковая —
Вот муза нам под стать какая!

ВЛАСТЬ ФАНТАЗИИ
© Перевод А. Шарапова

Вся в движении, в работе,
В изменении, в полете —
О Фантазия, кто б мог
Указать, где твой исток?
Искра божья, чувств свобода, —
Тайна тайн твоя природа.

Ты — священная заря
Неземного алтаря,
Знак, что человек во многом
Схож с неистребимым богом.

Блеск твой мощный свет затмил
Солнца и ночных светил,
Все равно, с какой бы силой
Ни сияли те светила;
Что Земля, сей темный шар,
Море, суша, холод, жар,
Зверь, и человек, и время,
Помыкающее всеми, —
Пред тобой? Твой ум живой —
Он есть Разум мировой.

Ночь за ночью ты незримо
Труд вершишь неизмеримый,
Мозг воспитуя людской,
Строя на волне морской,
На скале остроконечной,
Там, где волны с песней вечной
Бьются в берег все века,
Где над бездной облака.

Чу! В пыли луны холодной
Слышится ей благородный
Хор расчисленных орбит,
Песня ангелов звучит.
И земля с другой планеты
Кажется ей каплей света;
Вот она меня ведет
Под величественный свод,
Там живет, чиста, сурова,
Нареченная Христова.

В глубь Земли она стремится,
Где нечистых сил темница,
Слушает цепей их звон,
Непрерывной муки стон,
Но и ей найти сравненья
Не дано для их мученья.

Путеводных скал гранит,
Где пастух стада хранит,
Под крылом ее блистал
И ночных озер кристалл.
В бездну ей дано спуститься,
В страшной пропасти ютиться,
Ночью проникать в леса,
Постигая чудеса
Или на зеленом ложе
Деву спящую тревожа;
Над морской волной парит,
Над туманами Гебрид;
Паруса на мачте тонкой
Тщетно ей спешат вдогонку,
Даже быстрого орла
Смелая обогнала.

Вот она ступает твердо
На скалистый берег фьорда.
О богиня, мчись туда,
Где зима царит всегда,
Бродит, хмурясь, дико воя
Над полярной глубиною,
Где полярный ураган
Плачет: «Мертв мой Оссиан!»

Так перенесись в те страны,
Где могила Оссиана;
Уведи на дальний юг,
Где зима нам нежный друг,
Покажи на миг Бермуды,
Демерару, а оттуда
Понеси меня в Капштадт,
Где за смелость смертью мстят,
Там когда-то Ансон смелый
Поднимал свой парус белый.

И туда хочу попасть,
Где теряет Разум власть;
Дай мне жить с тобою в мире,
Научи парить в эфире,
Над утесом меловым,
И над рифом роковым,
И над пеной океанской,
Где владычит лев британский,
Или обернись назад:
Цезаря увидишь взгляд.

В Средиземноморском крае
Укажи мне древо Рая,
Там, над гладью голубой,
Сафо говорит с тобой.
Где он, век Эллады бурный?

Все, чей прах запрятан в урны, —
После долгих дней обид
Память их живет и мстит.
Возродись из пепла, Троя,
Вспомни о твоем герое,
Вновь величья дай пример,
Чтобы новый пел Гомер.

Вниз сведи с вершины Иды,
Новые открой мне виды,
Чудотворен твой полет…
Лавр там больше не растет,
Но неси меня к могиле,
Где покоится Вергилий,
Дай на миг глазам моим
Видеть то, что видел Рим.
Унеси в былые лета
Над водой встречать рассветы,
Ганга пусть с тобой придет,
Матерь утр и быстрых вод.

Рей над бездной океана,
Продвигайся неустанно,
Глубже, глубже на восток —
Запад там берет исток.
Унесемся к дальним странам,
К простодушным таитянам,
Вспять неси меня стрелой
Над морями, над землей,
В Калифорнию златую —
Полно нам бродить впустую,
Дом нас ждет. Но по пути
Лишь Белинду навести.

Знаю, под плитой замшелой
Саван лишь найду истлелый,

Но сквозь тлен яви мне ту
Истину и красоту!
Озаришь ли мрак темницы,
Скажешь ли мне, что ей снится?

Не разбудит деву гром,
Не разгонит вечных дрем
Буря зимняя суровым,
Душу мучающим ревом.
Только ей ли кануть в тень,
Той, что затмевала день?
Ныне век ее заката,
Но она взойдет когда-то!

Ты — волшебных муз кумир,
Чудно так твой полон мир
Образов золотокрылых,
Все их удержать не в силах,
Я раздам их. Кто богат,
Должен разделить свой клад.

О фантазия! Мне счастье
Обладанье этой властью!
Сад Элизиума твой,
И Орфей с его игрой,
И Плутон, что в упоенье
Любовался бедной тенью…
Облети же мир со мной,
Тайны чудные открой!

ПАМЯТИ ХРАБРЫХ АМЕРИКАНЦЕВ, бойцов генерала Грина, погибших в Южной Каролине в сражении 8 сентября 1781 года
© Перевод Г. Кружков

При Уто-Спрингз они легли;
Покрыты прахом их тела;
Прохожий, плачу струй внемли —
Как много храбрых смерть взяла!

Но если крепок мертвых сон
И если долг пред ними свят,
Промолвь, печалью полонен:
Друзья свободы здесь лежат!

И если сердцем ты не зол
И чувство вживе сохранил,
Оплачь сей разоренный дол
И сон пастушеских могил!

И ты бы мог вот так лежать
И о слезе молить живых;
Как на заре предугадать,
Что вечер будет свеж и тих?

Они увидели, как враг
Жжет их дома, их скарб влачит;
Рванулись в бой за свой очаг!
Но, взяв копье, забыли щит.

Их вел в атаку славный Грин,
И вражья сила поддалась;

Про смерть не думал ни один,
Победой воодушевясь.

Но как парфянские полки
Метали стрелы, отходя,
Так и британские стрелки
Бежали, но бежали мстя.

Покой вам, родины сыны!
Мы верим, что в краю ином
Счастливей вы награждены
И ярким солнцем, и теплом.

ВСКАРМЛИВАНИЕ ДИКИМ МЕДОМ
© Перевод В. Лунин

Цветок прекрасный, белоснежный,
Таишься ты в глуши лесной.
Пчелой не тронут венчик нежный
Под вязью веток кружевной.
Стоишь не сорванный рукою,
Ногой не попранный людскою.

Тебя природа попросила
Остерегаться глаз дурных
И в тень под вязы посадила,
Где ручеек журчащий тих.
И ты живешь спокойно лето,
Но позади — пора расцвета.

Уже в твоем очарованье
Невольно замечает взгляд
Приметы злого увяданья
И с жизнью ясною разлад.
Когда мороз придет победно,
Исчезнешь ты с земли бесследно.

Да, впереди — пора заката.
Миг оборвется жития.
Но миг — ничто. И нет утраты.
Вновь ты во сне небытия.
Твой век земной — лишь час короткий.
Всего лишь час, цветок мой кроткий!

ПЕСНЯ ТИРСА
© Перевод В. Лунин

Горюет в роще голубица:
Убили мужа-голубка.
Но день прошел — и вновь стремится
Найти себе дружка!
Она в тиши мечтает снова
У своего гнезда лесного
Дружка увидеть молодого.

А если это зов природы —
От жизни снова счастья ждать,
Должны и мы забыть невзгоды.
Не пустишь время вспять.
И если я нежданно где-то
Уйду из жизни до рассвета,
Прошу, скорей забудь про это
И полюби опять.

СТАНСЫ ПРИ ВИДЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ГОСТИНИЦЫ, РАЗРУШЕННОЙ БУРЕЙ
© Перевод А. Шарапова

Где ныне жалкие руины,
Вакхический был прежде храм;
Туда стремился гость чужбины,
Тревоги забывал он там.

Там купол высился хрустальный,
Приют покоя все века,
А ныне ворон там печальный,
Мышей летучих облака.

И жрица мертвого ковчега
Над славой рухнувшей скорбит;
Ее фарфор белее снега
Разбит, бокал с вином разбит.

Хозяин доброго приюта,
Гостей встречавший много лет,
Не шлет сегодня почему-то
Усталым путникам привет.

Последний столб твердыни древней
Во прах низвергнуться готов —
Падет и крепость и харчевня
Под страшным натиском годов.

Там нимфы нежные блистали
И виночерпий молодой,
Уж нет их — и следы пропали,
Не видно чаши круговой.

Давно ли мы в заздравном гимне
Здесь коротали вечера?
Где ты, король беседы зимней?
Где ты, что пела нам вчера?

Увы! Не дремлет больше Хлоя
На мшистом ложе меж камней,
Холодных стражей леса хвоя
Не возвышается над ней.

Где Хлоя? Все прошло, что было,
Глухая тишина царит,
И никогда очаг остылый
Радушьем нас не одарит.

Вы, бури, вволю бушевали,
Срывали крыши вы с домов,
Из петель двери вырывали,
За кровом сокрушали кров.

Так наконец смирите ярость,
Пусть заново отстроят храм,
Чтобы в стенах его под старость
Испить хмельную чашу нам.

ОДА
© Перевод А. Шарапова

Права людей, о Боже,
То, что всего дороже,
Ты нам даруй.
Везде, где жизнь гнездится,
Дай им распространиться,
Напевом вольной птицы
Слух очаруй!

Дай нам сплотиться с галлом,
Свободным идеалом
Мир увлеки!
Тиранов легионы
Вербуют миллионы,
Но будем непреклонны
Им вопреки.

Торгующих рабами
Страшит Парижа пламя,
Но не дано
Изменническим ротам
Владеть любви оплотом —
Вернется к патриотам
Он все равно!

Пусть смелость изменила
Тому, чье имя было
У всех в устах,
Пусть мир тираны давят
И на колени ставят —
Он равенство прославит
Во всех концах!

Под лозунгом свободы
Сплотятся все народы
Когда-нибудь!
В российский край холодный,
В песок пустынь бесплодный
Сей пламень благородный
Проложит путь.

Пересечет он берег
Двух молодых Америк,
Зажжет сердца —
Пусть небосклон счастливый
Не омрачают взрывы,
Пусть будет справедливой
Жизнь до конца!

Свободны наши страны,
И пусть теперь тираны
Острят свой меч!
Пусть шлет нам деспот грубый
Дар, самодержцам любый, —
Не может ветка дуба
Весь мир увлечь.

ЦИКАДЕ ПО ПРОЗВАНЬЮ КЭТИ-ДИД
© Перевод Э. Шустер

Прозванная Кэти-дид,
По ночам она не спит,
Эта звонкая цикада,
И под пышной кроной сада
Все поет, сыта росой,
Плащ надев зеленый свой, —
Кэти-дид, кэти-дид, кэти-дид.

Под листом ты дремлешь день
Иль обследуешь, как тень,
Свой дневной приют ветвистый,
Но зато как голосиста
Ты в ночи, когда поешь
Весело одно и то ж —
Кэти-дид, кэти-дид, кэти-дид.

Песенка твоя звонка,
Что в ней — радость иль тоска?
Или ты себе пророчишь —
Счастья лета не воротишь,
Скоро, хочешь иль не хочешь,
Станет прахом Кэти-дид —
О, бедняжка Кэти-дид!

Но, сумев природе внять,
Ты могла б не унывать,
Ибо разве не природа
Говорит на склоне года,
В час, когда ты чуть жива,
Мудрые свои слова —
Здравствуй снова, Кэти-дид!

Продолжайся, Кэти-дид!

Что случилось, Кэти-дид?
Камнем кто тебе грозит?
Ну конечно, это — Кэти,
Озорная, как все дети!
Ах, не стыдно ль — никогда
Нам ты не чинишь вреда,
Распевая — кэти-дид.

Неужель ты плачешь снова?
Ведь дала мне Кэти слово
Твоего не трогать крова;
Кэти не пойдет в кровать
До тех пор, пока опять
Не начнешь ты напевать —
Кэти-дид, кэти-дид, кэти-дид.

Ты поешь, но погляди,
Сколько бедствий впереди:
Близко осени прохлада,
В хлев вернется скоро стадо,
Там зима — и зелень сада
Не порадует уж взгляда, —
И конец, о Кэти-дид!

Доживай пока свой срок,
Кэти мне дала зарок
Не дразнить тебя, дружок;
Но от нас ты убежала,
Ведь природа наказала:
В людях помощи нимало
Не ищи, о Кэти-дид;
Как увянувшее лето,
Скоро ты исчезнешь где-то, —
Ты уйдешь, мы знаем это,

Напевая — кэти-дид.

РЕЛИГИЯ ПРИРОДЫ
© Перевод Э. Шустер

Ниспосылая благодать
На этом свете человеку,
Привыкнув землю оделять
Плодами разными от веку,
Природа, преисполнясь силы,
Религию нам подарила.

С рожденья нашего она
Увлечь несмелых нас стремится
На путь добра, чтоб мы сполна
Сумели счастьем насладиться.
Подобный путь открыт и ясен
И мистикою не опасен.

Божественна по всем делам
Религия благой природы;
О чем бы спорить мудрецам,
Проникнись ею все народы;
Сумей они ее усвоить,
Могли бы рай и здесь устроить.

Она не ждет проклясть людей,
Предать навеки их печали,
И нет ничуть желанья в ней,
Чтоб за безверье осуждали;
Любя возвышенно любого,
Природа обещать готова —

Всем людям радости, когда
Они одной достигнут веры
И утвердятся навсегда

Добра и высшей правды сферы,
Когда не будет, без сомненья,
Нужды карать за преступленья.

УИЛЬЯМ КАЛЛЕН БРАЙАНТ

ТАНАТОПСИС
© Перевод Г. Симанович

Тот, кто любовью наделен к Природе,
Кто, созерцая, внемлет — для того
Она красноречива. Если весел —
Она ликует, свежести полна,
Ее волшебный голос проникает
В тайницы душ людских и, проливая
Целительный бальзам, предупреждает
Сознанье боли. А когда душа
Заражена предощущеньем часа
Последнего, горчайшего, и взору
Рисуется картина увяданья,
Агония и душный мрак могилы,
Когда охватит дрожь и в сердце боль —
Иди к Природе, затаись и слушай
Ее урок, и да услышишь ты,
Как из земли и от глубин эфира
Исходит голос! Близится тот день,
Когда исчезнет для тебя сиянье
Изменчивого солнца и когда,
Оплаканный, опущенный в могилу,
Ты перестанешь быть и образ твой
Уйдет в небытие. Дитя земли,
Землей вскормленный, в ней и растворишься,
Всему людскому чуждый, потеряешь
Неповторимый облик свой, уйдешь
И станешь смесью элементов в почве,
Войдёшь в родство с бесчувственной скалою,
С булыжником, что лемехом отброшен
И попран грубым башмаком. И дуб
Пронзит насквозь твое корнями тело.
Еще в земле ты места не обрел,

Где ляжешь, одинокий, но запомни:
Оно великолепно. Где-то рядом
Покоятся останки королей,
Владык земли и мудрецов античных,
Пророков древних, пастырей добра:
Одна у всех гробница. Гор вершины,
Извечные, как солнце, и долины,
Что распростерты в скорбной тишине,
Деревья вековые, и потоки
Могучие, и жалкие ручьи,
Питающие луг, и беспредельность
Безжизненной пустыни океана —
Все это только пышное убранство
Могилы человечества. А солнце,
Неведомые звезды и планеты
Свое сиянье щедро проливают
На древнее вместилище смертей
Сквозь толщу лет. Нас мало на земле
В сравнении со множеством племен,
В ней опочивших. На крыле рассвета
Ты облети Барканскую пустыню
Иль затеряйся меж высоких сосен,
Где, заглушая громы, Орегон
Стремительно змеится — что увидишь?!
Все те же миллионы одиноких
Спокон веков покоящихся тел
И смерть, над ними правящую властно.
Исчезнешь ты, и, может быть, друзья
Твой переход из бытия в безмолвье
И не заметят! Что ж, у всех живых
Один исход! И смех не оборвется
С твоей кончиной, и не станет меньше
Людских забот, и каждый, как и прежде,
Стремиться будет к иллюзорной цели,
Пока, оставив суетность и радость,
Не канет в бесконечность. Долгий поезд

Летит в века, и завтрашние люди —
От юноши до сильного мужчины,
От девочки до женщины замужней,
От крошки до седого старика —
Придут к тебе, оплаканные теми,
Кто вслед за ними завершит свой путь!

Живи же так, чтоб в вечной веренице
Бредущих в сокровенную обитель,
Где каждый сыщет в лабиринтах мрачных
Ему предуготовленную нишу,
Ты шел бы не как пойманный воришка,
Ведомый в заточенье, а как тот,
Кто в ожиданье праведной развязки
Готов задернуть полог у постели
И погрузиться в безмятежный сон.

К ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЕ
© Перевод Ш. Борим

В огне небесный свод,
К последним метам дня легла роса…
Зачем сквозь пурпур длишь ты свой полет,
Тревожа небеса?
Охотнику едва ль
Тебя на фоне алом различить,
Хотя свой взор он устремляет вдаль,
Стремясь добычу сбить.
Что ищешь ты вдали:
Речную отмель, заросли пруда
Иль пенный вал на краешке земли
Влечет тебя туда?
Кто помогает там,
В воздушном океане без дорог,
Путь отыскать к намеченным местам
В назначенный им срок?
На горней высоте,
В безбрежии прохлады неземной,
Весь день летишь, не помня о еде,
Забыв про мрак ночной.
Но завершится труд,
Найдешь радушный дом, друзей, покой,
И будет сладостен гнезда уют
И кров над головой.
Тебя давно уж нет,
Растаял облик в храме высоты,
Но твой урок оставил в сердце след,
Во мне остался ты.
Когда плыву один
В бескрайнем мире жизненных тревог,
Мне помогает верный путь найти

Тот, кто тебе помог.

ПРЕРИИ
© Перевод М. Зенкевич

Вот где приволье дикое: на этих
Лугах некошеных и безграничных,
В английском языке им нет названья, —
То прерии. Я в первый раз их вижу,
Свободней дышит грудь, и взор парит
В просторах бесконечных. Словно волны
Холмы зеленые стремятся вдаль,
Как океан, в своей нежнейшей зыби
Остановившийся и отвердевший
Навеки неподвижно. Неподвижно?
Нет, он раскован снова. Облака
Проносятся над ним, скользя тенями,
Волнистая поверхность всколыхнулась,
Ложбины темные скользят вослед
За светлыми гребнями. Ветры Юга!
Вы золотые, алые цветы
Колышете и сокола в паренье
Ширококрылого несете в небе.
Резвились вы средь мексиканских пальм
И лоз Техаса, серебрили рябью
Источники Соноры, что стекают
В Великий океан, — вы овевали ль
Такой, как этот, благодатный край?
Он создан не трудами человека —
Та сила, что воздвигла небосвод,
Вспахала зыбь холмов, посеяв травы,
И насадила островками рощи
С живою изгородью перелесков,
А пол в величественном храме неба
Усыпала несметными цветами,
Соперниками звезд! Здесь небеса

Склоняются к земле как будто ближе,
Нежнее и любовнее, чем там,
Над нашими восточными холмами.
Когда мой конь среди травы высокой
Ступает, раздвигая стебли грудью,
То стук глухой его копыт кощунством
Мне кажется. Я думаю о тех,
Чей прах он попирает. Где могилы
Народа древнего? Быть может, прах
Степных лугов одушевлен был жизнью,
Горел страстями? Пусть дадут ответ
Курганы, озирающие реки
И темные дубовые леса.
Давно исчезнувший народ когда-то
Воздвиг их; медленно в труде упорном
Он кропотливо землю насыпал,
А в это время греки вырубали
Пентеликонский мрамор, воздвигая
Блестящий Парфенон. Просторы прерий
Давали жатву, здесь стада паслись,
И может быть, как буйвол, и бизон
Склонялся под ярмом мохнатой выей.
Журчал в пустыне гул трудолюбивый,
А вечером влюбленных воркованье
На языке исчезнувшем и звуки
Причудливых и древних инструментов
По ветру разносились. Но пришел
Воинственный охотник краснокожий —
И сгинули строители курганов.
Безмолвие столетий водворилось
На месте их селений. Волк койот
Охотится в лугах, его нора
В траве зияет. Землю роет суслик
На месте шумных улиц. Все исчезло.
Все — кроме их курганов надмогильных,
Их алтарей неведомым богам

И насыпей высоких для защиты
От вражеских набегов, но валы
Свирепый враг телами осажденных
Усеивал и брал их города.
На груды трупов бурой стаей грифы
Садились и, пируя без боязни,
Никем не вспугнутые, отъедались.
И лишь случайно спасшийся беглец,
Скрывавшийся по зарослям в болотах,
Смерть одиночеству предпочитая,
Сдавался наконец своим врагам.
Великодушие торжествовало,
И пленника с приветствием сажали
С вождями рядом, и себе жену
Средь девушек он выбирал и скоро
Как будто забывал, но втайне помнил
Жену любимую, детей-малюток,
Погибших средь резни со всем народом.
Так все живущее меняет формы,
Они рождаются, цветут и гибнут,
Когда божественное дуновенье
Коснется их, наполнит и покинет.
И краснокожие ушли отсюда,
Отыскивая у Скалистых гор
Приволье для охот. Бобры плотин
Не строят здесь, но там, у вод зеркальных,
Где человека белого лицо
Еще не отразилось, у истоков
Миссури, Орегона, воздвигают
Свои Венеции. Уже бизоны
Здесь не пасутся. За десятки миль
От дыма самой дальней из стоянок
Многоголовые стада их бродят,
Копытным громом сотрясая землю, —
Я видел у воды их давний след.

Но все ж кишит повсюду жизнь в пустыне.
Летают над цветами мириады
Таких же разноцветных насекомых,
И птицы не боятся человека,
И ящерицы пестрые скользят.
При приближении моем олень
Рогами рассекает чащу. Пчелы,
Опередившие переселенцев,
Их перевезших через океан,
Гуденьем наполняют знойный воздух
И прячут дикий мед в дупле дубовом,
Как в золотой далекий век. Внимая
Их шуму домовитому, я слышу
Гул отдаленный многолюдных толп,
Спешащих заселить пустыни прерий.
Я слышу смех детей, и перекличку
Девичьих голосов, и гимн субботний
Торжественный, мычанье тучных стад,
И шелест шелковый колосьев спелых
На бурых бороздах. Но вдруг подул
Горячий ветер и спугнул виденье,
И снова я в пустыне одинок.

ДРЕВНОСТЬ СВОБОДЫ
© Перевод Э. Шапиро

Здесь мир дубрав и сучковатых сосен,
Поросших мхом зеленовато-серым;
Здесь в землю не вгрызались лезвия
Лопат. Никем не сеяны, цветы
Не сорванными гибнут здесь. И сладко
Мне тут бродить, следя за стайкой птиц,
Игрою белок, быстрыми ручьями
И ветерком, порхающим в листве
И доносящим запах кедров, густо
Усеянных плодами голубыми…
В той мирной сени — первозданной, древней —
Дорогой лет мои уходят мысли
К тем дням, когда свобода родилась.

О вольность! Вовсе непохожа ты
На юную, мечтательную деву
С волной кудрей, струящихся на плечи
Из-под фригийской шапочки. Венчал
Хозяин ею римского раба,
Даря ему свободу. Ты воитель,
Вооруженный до зубов, держащий
В одной руке широкий щит, в другой —
Тяжелый меч. И все же так прекрасен
Твой лоб крутой, отмеченный следами
Минувших войн! В твоих могучих мышцах
Кипенье силы. Молнией и громом
Тебя испепелить пыталась власть;
Но жизни, данной небом, не убить;
Власть вырыла сырые подземелья,
И сотни прокопченных кузнецов
Тебе ковали цепь. Когда ж победу

Враг предвкушал, оковы содрогнулись —
И рухнула темница; ввысь тогда
Взметнулась ты, как пламя над соломой,
Бросая клич народам, и ответный
Их слышишь крик — и враг бежит, бледнея.

Ты не созданье рук людских, Свобода:
Была с людьми ты вместе рождена.
Когда еще их мало было в мире,
Ты им пасла стада, открыла звезды,
Ты научила петь простой тростник.
С людьми бок о бок в непролазных чащах
Ты воевала против их врагов:
Волков и рысей; и на горном склоне,
Размякшем от потопа, с ними ты
Взрыхляла борозду. И тирания,
Твой гнусный враг, хотя почтенный с виду,
Сединами давно посеребренный,
Поздней тебя рожден, и потому,
Встречая вызов мудрых глаз твоих,
Дрожит в своей твердыне узурпатор.
С годами ты становишься сильней,
А враг, дряхлея, будет все коварней:
Тебе, беспечной, сотни западней
Расставит он и в дряхлые ладони
Захлопает, сзывая из засады
Орду врагов твоих. Пошлет он также
Коварных обольстителей пленять
Твой чистый взор; он им внушит слова,
Чтоб чаровать твой слух; его холопы
Меж тем украдкою стальные петли
Накинут на тебя — и ты в оковах;
Иль на руки твои наденут цепи,
Запрятанные в четки. Нет, Свобода,
Еще не пробил час сложить доспехи
И меч отбросить твой; еще не время

Забыться сном; в засаде хитрый враг.
Стой до конца, рази его, покуда
Не будет новой тверди и небес.
Но ты могла б немного отдохнуть
От грохота, от алчности людской;
Тебя зовут задумчивые рощи,
Что были молоды в те дни, когда
Еще никто земли не осквернял,
И даже мох на скалах был зеленым,
И мир благословлял твое рожденье.

СМЕРТЬ ЦВЕТОВ
© Перевод Э. Шапиро

Приходит осени пора, печальней нет в году,
Когда луга черны, когда ветра сулят беду.
Засыпан до краев овраг умершею листвой,
Разносит ветер по полям свой безутешный вой.
Давно покинули дрозды лесов густую сень,
Лишь вороны с ветвей нагих в тоске кричат весь день.

Где россыпь нежная цветов, душистых, золотых?
Где капли утренней росы, сверкавшие на них?
Теперь в сырых могилах спят увядшие цветы,
В постелях траурных, где сон найдем и я и ты.
Дождь поливает ледяной их много дней подряд,
Но не вернет ноябрьский дождь цветов полей назад.

Давно нет ландышей в лесу, фиалки отцвели,
Шиповник, зноем истомлен, давно лежит в пыли.
А нежных астр и хризантем печальные цветы
Стоят в сиянии своей осенней красоты,
Пока, как саван, белый снег не упадет с небес, —
И безутешная печаль оденет дол и лес.

Но солнце принесет с собой дыхание тепла,
Покинут зимние жилье и белка и пчела.
Орехов падающих звук услышим мы сквозь сон,
И будет дымным светом пруд уснувший озарен.
Напрасно станет ветерок из теплых южных

стран
Искать цветы, чей аромат в жару был слишком прян.

И вновь я думаю о ней, умершей так давно,
И ветви голые, грустя, кивают мне в окно.
С деревьев падала листва в осенней полумгле,
Когда могилу мы в сырой ей вырыли земле.
Но о подруге юных дней не надо нам скорбеть:
Ей было суждено судьбой с цветами умереть.

НАДПИСЬ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЛЕС
© Перевод С. Таск

Прохожий, если истина, чью суть
Весьма легко постичь, тебе открылась
О том, что грешен мир и полон скорби,
Печали, треволнений и злодейств,
И ты измучился, — войди в обитель
Природы, в этот лес. В тени покойной
К тебе покой вернется; легкий бриз,
Качнувший лист, покажется бальзамом
Измученному сердцу, и оно
Свою тоску в обители людской
Забудет разом. Нет, земля в грехе,
Том, первородном, неповинна: кару
Свою Господь обрушил не на землю —
На бедствия ее. Взгляни, все так же
Тень упоительна; густой навес
Из крон зеленых ходит, как живой,
От щебета пернатых, беззаботно
Порхающих в ветвях; внизу же белка
Расщелкалась на радостях, привстав
На задних лапах. Крылышки расправив,
Заводит танец стайка мотыльков
В столбце луча, что жизнь им дал. Нисходит
И на деревья благодать, верха
От дуновенья ветра гнутся, солнце
Из синевы им шлет благословенье.
Цветок в расселине, похоже, счастлив
Не меньше, чем крылатый мародер,
Похитивший нектар. Замшелый камень
И рухнувшие древние стволы,
Где проложившие в низине гать,
Где легшие через ручей мостками,

Вздымая корни с комьями земли, —
Все дышит умиротвореньем. Ключ
Журчит беспечно и, то мчась по руслу
Из галечника, то со скал срываясь,
Заходится от смеха, рад тому,
Что он живет на свете. На опушку
Ступи неслышно, не спугни вьюрка,
Припавшего к ручью. Прохладный ветер,
Играющий поверхностью воды,
Тебя, как стародавний друг твой, встретит
И в лес введет, за плечи приобняв.

ПЕСНЯ ЗВЕЗД
© Перевод Э. Шапиро

Когда утром Творенья был мир озарен
И улыбкою Божьей от сна пробужден,
И пустынные царства застывших светил
Бог могучим дыханьем своим оживил,
И горящие сферы, как будто цветы,
Поднимались из мертвой, немой пустоты
И кружились, играя, беспечно-легки,
В расходящихся безднах межзвездной тоски, —
Там серебряным звоном звучал звездный хор
И лилась эта песня в бескрайний простор:

«Далеко, далеко, там, за Млечным Путем,
Голубые поля так же спят мирным сном,
Где палящие солнца галактик зажглись,
Где планеты глядятся в бездонную высь;
Там туман облаков, зелень свежих полян,
Как расплавленный свет, там блестит океан.

Вечный славы источник являет свой лик,
И сияющий луч в бездны мрака проник.
И, к высотам плывя лучезарным путем,
Пламенеющий воздух мы с жадностью пьем.
Посмотри, как искрится лучей хоровод;
Так вперед, в путь веселый, о звезды, вперед!

Посмотри, как мы кружим в пыли золотой,
В бесконечной лазури звезда за звездой.
Вихри яркого света плывут мимо нас!
И змеится огонь вкруг клубящихся масс!
Путь поющих ветров виден там, вдалеке,
И танцует волна на прибрежном песке.

Посмотри, как играет лучей водопад
Там, где радуги в солнечных нитях висят;
И с небес многоцветных закат и рассвет
Льют росу на зеленые дали планет.
И затем до рассвета над золотом нив
Ночь блуждает, свой призрачный парус раскрыв.

Там вдали, там вдали наш цветущий приют,
В ореоле воздушном там сферы плывут.
Спят в предутреннем свете озер зеркала
Там, где зреет Любовь, там, где Жизнь расцвела.
Звезд живых мириады, туман разорвав,
Наслаждаются светом средь вихря забав.

Так плывите же, юные сферы, сюда,
Тките кружево танца, что длится года;
Так плывите же, звезды, в бездонную синь
К отдаленнейшим сводам небесных твердынь, —
Где безбрежность улыбки на светлом челе,
В чьей сени вы лишь искры в космической мгле».

СНЕЖИНКИ
© Перевод Ш.Борим

Со мною рядом стань, взгляни вокруг
Своим неспешным, тихим взглядом:
Вот озера недвижный круг,
Там тучи серые, что рядом
Из мглы морозной сеют сверху снег,
Пушинок непрестанный бег;
Одна снежинка за другой
Мгновенно тают все в воде немой.

Смотри — летит живой пушистый рой
Из пустоты, из-под вуали,
Снежинки будто бы замрут порой,
То снова градом замелькали.
На диво одинаково белы,
Все дети их родившей мглы,
Одна снежинка за другой
В воде исчезнут темной и немой.

Снежинки-звезды падают из туч,
Как блестки, в воздухе играют,
Они слетают с белоснежных круч,
Где Млечный Путь в ночи сверкает;
А там пушинки собрались толпой,
Они внизу найдут покой:
Одна снежинка за другой
В воде погибнут темной и немой.

Иные как на крылышках парят
Из материнской серой тучи,
И белый одинаковый наряд
Сближает хоровод летучий.

А эти сходны с мужем и женой,
Живущими судьбой одной:
Так, рядышком летя вдвоем,
Они растают в озере немом.

Подумай только! Так стремятся вниз,
Как будто гонятся за ними!
Тут мириады мимо пронеслись,
Безумной скоростью гонимы,
Пока мы созерцали их полет.
Посланцы нежные высот,
Одна снежинка за другой
Нашли могилу здесь, в воде немой!

Печаль взошла в глазах твоих слезой:
Друзья, что были сердцу милы,
Делили с нами краткий миг земной,
Исчезли за чертой могилы,
Как эти дети тучи и зимы,
Блеснув, ушли в обитель тьмы.
Одна снежинка за другой
В воде пропали темной и немой.

Но погляди опять: просвет меж туч,
Голубизна легла на воду;
На склоны гор веселый луч
Проник в разломы небосвода,
И сонм, спешивший только что с небес,
Из тучи к озеру, исчез.
Снежинок больше ни одной
В воде не видно темной и немой.

ПОСЛЕ БУРИ
© Перевод Э. Шапиро

Был мрачный день, день бури и ветров,
Но стихли ветры, и смолкает гром,
И солнце поднялось из-за холмов,
Всех одаряя светом и теплом.
И я, согретый ласковым лучом,
Стою один, как властелин земли.
Мир окаймляя радужным кольцом,
Заснули горы в золотой пыли.
Белеют хижины, и слышен рог вдали…

Слепит глаза блеск капель дождевых.
Застыли тени на траве густой,
Пока покой не потревожит их
Испуганных птенцов пернатый рой.
Кружится над ромашкой золотой
Мохнатый шмель… Чему-то очень рад,
Журчит ручей, стремясь в простор морской.
В ветвях мелькает беличий наряд,
И весело в траве кузнечики звенят.

Из-под сырого вороха листвы
Ползут букашки греться на песок,
И бабочка вспорхнула из травы,
Как сказочный блуждающий цветок.
Плетется стадо вдоль лесных дорог…
Степенный фермер, в думу погружен,
Граблями ворошит намокший стог.
Раскинул ветви придорожный клен,
И звонкий смех детей звучит со всех сторон.

Потоки золотые с высоты

Бесшумно льются на недвижный бор,
На пропасти и снежные хребты,
На водопад и зеркала озер.
Так безмятежен голубой простор!
Здесь жизнь течет без горестей и бед.
И там, за дальней цепью синих гор,
Такой же дымкой спящий лес одет
И тот же золотой в долины льется свет.

В картине этой мирной вижу я
Прообраз тех грядущих ясных дней,
Когда народов дружная семья,
Забыв о распрях и вражде своей,
С далеких берегов седых морей
Сойдется на счастливый братский пир,
Чтоб отсвет ку-клукс-клановских огней,
Несущих смерть, не осквернил весь мир,
Чтоб жизнь не проклял тот, кто немощен и сир.

Из года в год тонул в людской крови
Мир, брошенный на острия штыков,
Прекрасный мир, рожденный для любви,
Чтоб пламенеть от фруктов и цветов.
Но солнце выплывет из-за холмов;
В листве уснувшей заблестит роса,
И грозы заглушит хор птичьих голосов,
Когда на горы, реки и леса
Прольют счастливую улыбку небеса.

НА БЕРЕГАХ ГУДЗОНА
© Перевод Г. Симанович

Прохладны тени вкруг меня;
Безмолвие, начало дня.
Меж мрачных скал сторожевых
Блестит Гудзон, широк и тих;
В него лишь изредка кусты
Росу уронят с высоты,
Да воспарит над гладью вод
Воскресный звон под небосвод.

О благодатные места!
Здесь голубая пустота
Обволокла окрестный лес,
И мнится, будто бы с небес
Холмы свисают до земли;
Я вижу облако вдали
И ощущаю под собой
Бесплотность бездны голубой.

Есть красота, что лишь на миг
Являет нам свой дивный лик,
Но розу тленную ты все ж
Лепным узорам предпочтешь.
Так на исходе лучших дней
Любовь и крепче и нежней
В предвестье ненасытной тьмы,
Пред коей беззащитны мы.

Река! Лазурью сонных вод
Ты затмеваешь небосвод!
Надолго ль замерли твои,
Как небо, дивные струи!

Нет, безмятежность нам с тобой
Не уготована судьбой:
Твоя волна вскипит опять,
А я уйду тревог искать.

РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН

ВСЕ И КАЖДЫЙ
© Перевод А. Шарапова

Так думал я в поле, где красный наряд
Мелькал деревенского парня смешного:
Я слушать люблю, как коровы мычат,
Но, право, об этом не знают коровы.
Звонарь, совершая положенный звон,
Не знал, что прославленный Наполеон
Пришпорит коня ради этого звона,
И мальчик из конницы Наполеона
Не мыслил себя как одну из причин
Победной войны у альпийских вершин.
Что значишь ты сам по себе, неизвестно —
Одно без всего некрасиво, нечестно…
Люблю воробьиную песнь на заре,
Когда они в небе чирикают мило,
Но раз я поймал воробья во дворе,
И так его песня меня утомила!
Верну его снова реке, небесам,
Чтоб уху он пел, а природа глазам.
Как я любовался на гальках прибрежных
Раскрытыми створками раковин нежных!
Они розовей, перламутровей стали
От мелких пузырчатых брызг на эмали,
И море ревело, когда на волне
В ладони они приплывали ко мне.
Я смыл с них любовно травинки и пену,
Я взял их как дар океана бесценный,
У ветра и солнца я отнял их чудо,
И что предо мною? — зловонная груда…
Любовник следит за подругой тайком,
Он словно толпой херувимов влеком;
Но лучшее в мире ее украшенье

Соткали снежинки в блестящем круженье, —
Она попадет к нему скоро под кров,
Как в клетку певунья зеленых лесов,
И чудо развеется: нежной женой
Пребудет она, но не феей лесной.
Я думал: «Я правду теперь возлюбил,
А ты, красота, ты игрушка ребенка,
Тобой я утешился и позабыл!»
В тот миг под ногой моей мягко и тонко
Скользнул, содрогнулся плаун голубой,
Лишайников шапки повсюду серели,
Я чувствовал запах фиалки лесной,
Навстречу дубы поднимались и ели,
И шишки, и желуди всюду пестрели.
Высокий стоял надо мной небосвод —
Где солнце горит и Создатель живет.
И снова открылись для слуха и зренья
Журчанье ручьев, соловьиное пенье.
И вновь Красота диктовала уму
И вновь приобщала меня ко Всему.

УРИИЛ
© Перевод А. Шарапова

Те дни Земля уж забывает,
Хотя мечтатели их чтят
И время в слитки отливает
Великих календарных дат.

В те дни оплошность роковая
Лишила Уриила Рая.
Один хитрец бродил среди Плеяд
И выведать решил, что боги говорят.
Тут до него дошла случайно
Преступная и роковая тайна.
Божественные дети спор вели
О форме и строении Земли,
О Солнце, о движении планет
И что бывает на Земле, что нет.
Был среди них один, чьи прорицанья
Казались полны духом отрицанья:
Он презирал священный ритуал
И демонов всех поименно знал,
И звал судьбу он вещью бесполезной,
И все законы логики железной
Он выставлял, чтоб доказать другим,
Что этот мир судьбе не подчиним,
Что будет день — и снег сгорит мгновенно…
Воспламенились спорщика глаза —
И небо потрясла ужасная гроза.
Был гневен алый Марс,
И серафимы тоже
В смятении на миртовом поднялись ложе.
И стало необдуманное слово
Дурным предвестием в день праздника святого.

Судьбы тогда склонилось коромысло,
Понятия добра и зла лишились смысла.
Был вне себя воинственный Гадес —
Порядок в мире с той поры исчез.

Самопознание, лишив безумца силы,
Убило навсегда красу у Уриила,
И от людей, казалось, на века
Бог отошел, укрывшись в облака.

Что ж лучше? Пылью быть в цепи вращенья,
Забыться на исходе поколенья —
Или, рассудка дряблый нерв порвав,
Явиться в ореоле высших прав?..

Под бурями забвенья
Склонился сын бессмертных в то мгновенье.
Уста сомкнулись, тайну сохраня,
Как в груде пепла искорку огня.
Но перед правдой ангельские крылья
Тогда и ныне падают в бессилье.

И, боль терпя от солнечных лучей,
От жара, что живет в огне вещей,
От шествия души сквозь неживое,
От бурь, мутящих море мировое,
От знанья, что добро — гнездилище злых сил, —
Кляня богов, кричит мятежный Уриил.
И пурпур красит горизонты мира,
И властные тогда дрожат кумиры.

КОНКОРДСКИЙ ГИМН, ИСПОЛНЕННЫЙ 4 ИЮЛЯ 1837 ГОДА НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА В ЧЕСТЬ БИТВЫ

© Перевод И. Копостинская

Здесь наши предки в ранний час
Из бревен мост когда-то сбили
И сотни ружей, грянув враз,
Весь мир в апреле разбудили.

Наш враг с тех пор обрел покой,
Но не в победе, данной богом,
А Время темною волной
Снесло сей мост к морским дорогам.

Струится в зелени поток,
И рядом памятник героям.
Пусть слава им плетет венок,
Сыны гордятся их покоем.

Да будет вечен дух бойцов,
Завещанная нам свобода.
Пусть знамя дерзкое отцов
Щадит и Время и Природа.

СНЕЖНАЯ БУРЯ
© Перевод М. Зенкевич

Предвозвещенный трубным ревом неба,
Приходит снег и, словно не снижаясь,
Летает над землей, и белый воздух
Скрывает даль, реку, леса, холмы,
Завесил домик фермера за садом.
Пути нет в ноле, нарочный задержан,
Разлучены друзья, лишь домочадцы
Сидят перед огнем, заключены
В уединенье буйством снежной бури.
Пойдем посмотрим, что построил ветер.
Добывши мрамор из каменоломен
Невидимых, неистовый искусник,
Воздвиг он сотни белых бастионов
Вокруг столбов, деревьев, у дверей.
Так быстро мириадом рук рабочих
Волшебные постройки он воздвиг,
О цифрах и расчетах не заботясь;
Отделал белым мрамором курятник,
И в лебедя преобразил терновник,
И фермеру назло между двух стен
Проход замуровал, а у ворот
Вознес на вышке стрельчатую башню.
Потом, игрой пресытясь, он исчезнет,
Как будто не был, и под ярким солнцем
Оставит изумленному искусству
Для подражанья в камне на века
Ночное зодчество своих безумств,
Причудливую лепку снежной бури.

СФИНКС
© Перевод А. Шарапова

Сфинкс дремлет,
Спокойно сомкулись крыла;
В уме его
Планы людей и дела:
«Кто тайну мою
Разгадает сейчас?
Вы спите, меж тем
Вопрошаю я вас!»

Кто возрастом мальчик,
Но мыслью титан?
Кто ведал
Дедала безумного план?
Сон — в жизни затишье,
Явь вылечит сны,
Жизнь — смерти превыше,
И глубь — глубины.

Ствол пальмы прямее,
Чем солнечный луч, —
Слон гложет побеги,
Красив и могуч,
И, нежные крылья
Сложив за спиною,
Дрозды воспевают
Величье земное.

Волна, как дитя,
Вдохновляясь капризом,
Играет
С лукавым изменчивым бризом.

Закону подвластна
Частица простая,
И бродит меж полюсов
Атомов стая.

Звук, пауза, воздух,
И море, и суша,
Зверь, птица —
Имеют единую душу.
Защитник и спутник
От бога всем дан:
Ночь утро скрывает,
А гору туман.

Хохочет дитя
В материнской купели —
Игрушка ему
Дни, часы и недели.
В очах его ясных
Сияет покой,
Они — миньятюры
С картины мирской.

А взрослый познал
Осторожность и страсть,
Он начал краснеть,
Пресмыкаться и красть.
Насмешлив и желчен,
Всех оргий душа,
Он землю свою
Отравляет, дыша.

И, страх его чувствуя,
Мать человечья
Пугает миры
Негодующей речью:

«Кто в вино и хлеб ребенка
Сонной подмешал отравы?
Кто душил во сне ребенка,
Одержимый буйством нрава?»

«О Сфинкс мой прелестный, —
Я слышал ответ, —
Загадок твоих
Не страшится поэт.
С любовью начертан
Рисунок времен,
Хоть выцвел
В лучах многозначности он.

Что Демон,
Когда не любовь к совершенству?
И пропасть Дракона
Сулит нам блаженство.
Страх гибели
Менее мучает нас
При мысли, что дух
Видит больше, чем глаз.
Дом Духа не здесь,
Но в бездонном ущелье.
Вращенье планеты
Чревато ли целью?
Высокое небо
Извергнет свой гром
На мир — и минувшее
Мы проклянем.

Изведали
Падшие ангелы стыд,
И лира раскаянья
Дивно звучит.
Найдется ль

Великая духом жена?
О, если б меня
Полюбила она!

Вся жизнь —
Разнородных начал череда:
За скорбью
Сокрыта услада всегда.
Любовь учащает
Биенье сердец,
Встречая
Рождение дня и конец».

Бедный глупый Сфинкс! Ключи
Тайн твоих Зевес хранит.
Пусть же рута, кумм и мирр
Смутный взор твой прояснит.

Старый Сфинкс кусает губы:
«Знать мое не должно имя,
Я жена твоя, я дух твой,
Ты очами зришь моими!»

«Вопрос твой безответен.
Твой взор как правды свет.
Ты спрашиваешь вечно —
Но ложь любой ответ.

Наедине с Природой
Оставь гостей твоих:
Тысячелетий тайну
Не разгадаешь вмиг».

И Сфинкс преобразился,
Отныне он — жена,
И розовая тучка,

И ясная луна,

Она в огне сгорела,
И розой зацвела,
И поднялась волною,
И берегом легла.

«Я сто имен имею.
Кто вспомнит хоть одно,
Тот властен надо мною
И все тому дано!»

ОДА
© Перевод А. Шарапова

Посвящается В.-Э. Чаннингу[16]

Жаль оскорбить
Мне патриота чувство —
Но грех забыть
Свое искусство
Для ханжества попов
И тупости столпов.

Коль оторвусь
От творчества политике в угоду,
Для дел я обрету свободу,
Но гнева муз
Страшусь, что учинят мне суд
И в мозг сумятицу внесут.

...Но кто ты, чьи трактаты
О красоте грядущей
Читает молодежь?
Ты червь слепоживущий,
Не видящий, как Штаты
Над Мексикой цветущей
Заносят штык и нож[17].

Кто все мы, что, бывало,
Живописали наш свободный мир:
«Я твой избранник, бурный Контокук!
Я друг твоих долин, Агиохук!»
Мы все рабовладеличьи шакалы!
И наш господь, создавший Нью-Хэмпшир,
Смеется над страной,

Где дали небывалы,
Да больно люди малы:
«Какой просторный дом
Для мышки с хомяком!»
Когда бы пламень охватил
Всю Мексику и погубил народ,
У нас рыдал бы разве крокодил.

Честь, справедливость — все долой,
Свобода схвачена в оковы,
У гроба траурное слово
Лишь воздух потрясло пустой.

Зачем разгорячен
Мой пылкий друг?
От Севера он Юг
Стремится оторвать.
Но для чего же вдруг?
И Банкер и Бостон
До нынешних времен
Гнетет один дракон!

Всяк друг при своей работе:
Ковбои служат быку,
Мошенники кошельку,
Обжоры собственной плоти.
Вещь — под солнцем, люди — в тени.
Ткется ткань, дробится мука,
Вещи — в седле, и пока
Людьми управляют они.

Два закона звучат зловеще
И непримиримо. Вот
Для человека — а вон
Для вещи. Но именно вещи
Построили город и флот;

И вещь восстала; и человек побежден.

Лесам под пилой дрожать,
Горам покоряться равнине,
В горах туннелям бежать,
Не знавшей тени пустыне
В оазисах утопать,
Возделываться полям,
Прериям отступать,
Строиться кораблям.

А человеку во все времена
Жить для дружбы, любви и веры,
Для закона, для чувства меры, —
И да подчинится ему страна,
Как Громовержцу Олимп и Гера.

Но счетов на шелест листвы
Не зову обменять купцов;
Ради бога, сенатор, и вы
Не ходите слушать дроздов.

Всяк — слуга при своем уме.
Глупым — портить, путать, ломать.
Мудрым — думать и понимать.

Время драться за свет во тьме,
За право женщины — пусть не твоей.
Пусть доброта людей
Обвенчает долг и свободу,
Да не будет отныне
Народа и ненарода,
Высших и низших рас.
Смелый меда найдет запас
В львином трупе в пустыне.
Пусть отныне взойдет заря

В душе янычара и дикаря.

…Казак пирует на Польше[18] —
Вкусен краденый плод.
Нет благородства больше,
Последняя лира уже не поет.
Но распались на два союза
Победившие в этой войне,
И тысячи удивленная Муза
Найдет на своей стороне!

МЕРЛИН
© Перевод Г. Кружков

Не утолить моих тревог
Твоею арфой скучной,
Что веет, словно ветерок,
Легко и благозвучно.
Как струны бедные ни рви,
Как клавиши ни мучай,
Они не пробудят в крови
Таинственных отзвучий.
Но древний бард своей рукой,
Как молотом иль булавой,
Ударит по дрожащим струнам! —
Словно знак подаст громам,
Звездным проливням-дождям,
Ураганам и перунам.
В песне Мерлина — Судьбы
Потрясенное звучанье;
Клич воинственной трубы;
Тяжкий стон и задыханье
Рек, зажатых подо льдом;
Голос площадей ревущих;
Стук сердец и пушек гром;
Поступь воинов идущих;
И пустынника в глуши
Вопль о крепости души.

Если духом бард велик,
Пусть и его язык
Будет также величавым,
Чуждым правилам лукавым,
Мелочному счету строк;
Пусть карабкается вечно

По тропинке бесконечной.
«Выше! выше! — говорят
Ангелы, — взбирайся смело,
К небу устреми свой взгляд;
Без боязни, без сомненья —
По ступеням удивленья!»
Царь и властелин игры,
Той, которой нет чудесней,
Он раздарит все дары,
Скрытые в извивах песни.
Легче и бодрей идти,
Когда над нами громогласно
Музыка звучит в пути
С надеждою согласно
И сердца стучат
С ней в лад.

Не изнеженный пиит —
Все, что жизнь ему велит,
Бард исполнит без обмана;
Слово Мерлина смирит
Волю грозную тирана;
Песня, вырвавшись из уст,
Злую бурю укрощает,
Льва в ягненка превращает,
Удлиняет лета срок,
Мир приводит на порог.
В дни бесславья и бессилья
Он не станет в изобилье
Сочинять бравурных од;
Но с терпеньем переждет.
Как птица, дольный мир покинув,
Устремляется в зенит,
Так и муза воспарит,
Низменное все отринув,
К высочайшей из орбит.

И пусть не силятся профаны,
Зудом рифмы обуяны,
Рассужденьями достичь
Того, что лишь высокий гений
Может выразить сполна
В час счастливых откровений.
Но приходят времена,
Когда промысел господний
Проявляется свободней,
Так что даже идиот
Может видеть невозбранно
Судеб и веков полет.
Так негаданно-нежданно
Тайна нас заворожит,
Но никто не обнажит
Смысла, что под ней лежит
Непостижно и сохранно.

СТОЙКОСТЬ
© Перевод И. Копостинская

Ты не стрелял в летящих мимо птиц?
Шиповник полюбив, цвести оставил?
Ел на пиру роскошном хлеб с водой?
Шел безоружный с верою на смерть?
Чтил бескорыстие высоких душ
В мужчинах, женщинах, ценя поступки,
Чье благородство превзойти нельзя?
Так дай мне руку. — Научи быть другом!

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИ ЛЮБВИ
© Перевод И. Копостинская

Жизнь посвяти любви,
Лишь сердцу верь.
Забудь родство, друзей, происхожденье,
Известность добрую, ход времени,
Призванье, даже Музу…
Любви достойней узы.

Она творец отважный,
Ее пространство — нежность.
Взмывай за нею вслед
С надеждой в безнадежность.
Она летит стрелой
Все выше в полдень, выше,
Не расплескав крыла,
Божественно-смела.
Ее не объяснишь, —
У ней свой путь земной,
Свои дороги в бездны голубые.

И не для мелких душ она.
Нужны ей благородство, прямота
И непокорная мечта
Без тени отреченья.
Все, что возьмет у нас,
Воздаст в свой час. —
Лишь в ней спасенье.

Всю жизнь отдай любимой,
Но все ж послушай, все же…
Пусть слово, что в душе неопалимо,
И предначертанный судьбою путь —

Хранят тебя незримо.
В плену любви свободен будь,
Как бедуин в пустыне,
Всегда и ныне.

Прильни с любовью к деве.
Но если вдруг ее черты
Осветит грусть несбывшейся мечты
Иль проблеск счастья,
А твоего в том нет участья, —
Не связывай, не угнетай ее надежд.
Не твой теперь и край ее одежд,
И бледной розы лепесток,
Что обронил ее венок.

Пусть всей душой она любима
И вышних ангелов затмит,
И без нее день сумраком повит,
Нет в жизни прелести былой.
Поверь мне, сердцем знаю, —
Когда нас полубоги покидают,
Находят боги нас порой.

ДНИ
© Перевод И. Копостинская

Дни лицемерные, как дочери Фортуны,
Закутавшись, безмолвной вереницей
Идете, словно дервиши босые,
Держа в руках венки, сухие прутья.
Для всех у вас достойные дары —
Хлеб, королевства, звезды, свод небесный.
Набрел и я в заглохших кущах сада
На торжество… Забыв желанья утра,
Взял трав и сладких яблок. Дочь Фортуны
Безмолвно удалилась… Слишком поздно
Насмешку я прочел на сумрачном челе.

БРАМА
© Перевод М. Зенкевич

Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что пал в крови, —
Ни тот и ни другой не знает,
Куда ведут пути мои.

Забвенье, даль — мои дороги,
Мне безразличны тьма и свет;
Во мне — отверженные боги,
Величий и падений след.

Кто прочь стремится в самомненье,
Тому я сам даю полет;
Я искуситель, и сомненье
Тот гимн, что мне брамин поет.

Ко мне стремятся боги тщетно,
Священных Семь, — но в тишине
Добро творящий незаметно
Придет и без небес ко мне!

ДВЕ РЕКИ
© Перевод М. Зенкевич

Мне голос твой, Маскетаквит,
Звучит как музыка дождей,
Но сквозь тебя свой бег стремит
Иной поток, всех вод светлей.

Ты в узких берегах стеснен,
А безграничный тот поток
Сквозь все моря, сквозь небосклон,
Сквозь свет и жизнь течет, глубок.

Я вижу ясно вечный свет,
Я слышу бесконечный плеск
Сквозь смену и людей и лет,
Сквозь сон любви, сквозь власть и блеск.

Маскетаквит, как добрый гном,
Ты камни золотишь, граня,
А в том потоке золотом
Всегда сияет солнце дня.

Кто выпьет из него глоток,
Тот жажду утолит навек.
Века уносит тот поток,
Как ты весною — лед и снег.

ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО
© Перевод В. Топоров

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Не государственным указам
Своей свободой я обязан.

За власть цепляются цари,
Свои владенья ширя,
А я — свободен изнутри,
В своем духовном мире.

Что бесконечней, чем моя мечта?
Что защищеннее, чем нагота?
Что полновластней вдохновенья?
Пред ним — бессильны притесненья!

Чем власть заманит — или устрашит —
Того, кто с мирозданьем слит?
Тиранов время сточит,
А выслушает — лишь того,
Кто лишнего не хочет.

Держись всегда особняком,
Особняков не строя,
Не будь холопом и льстецом,
Польстят — считай: пустое.

Расшиты роскошью ковры —
Но к людям не добры.
Невольно подлости полна
Любая честная война.

Но не твое сраженье
За самоотделенье.

Ту жизнь, которую вести
Желаю, я веду,
И в искушенье не ввести
Меня в земном аду.

ВЗДОХИ ЭОЛОВОЙ АРФЫ

Есть кроткий дол, возбранный нам,
Никто из смертных не был там,
Никто из нас, никто из тех,
Кто обречен на труд и грех.

Там доблесть прежде рождена,
Чем в здешний мир вошла она,
Туда деянья наши все
Вернутся в подлинной красе.

Там юность истинна и страсть,
Поэзии ж святая власть
В словах не чувствует нужды —
Поет простор на все лады.

А если слух твой изощрен,
Ты различишь вечерний звон,
Лиющийся оттуда к нам,
Чьи души внемлют небесам.

«Природа дарит нам свою...»

Природа дарит нам свою
Зарю по расписанью.
Когда ж увижу я — мою! —
В неслыханном сиянье!

Едва взойдет она — о нет, —
Едва забрезжит слабо,
Померкнет и полдневный свет
В лучах вселенской славы.

Подчас, с природой примирясь,
Толкую с ней степенно,
Но луч ее и луч из глаз,
Скрестись, сгорят мгновенно.

Ее рассветы в радость мне
И жар ее светила;
Но свет, довлеющий вполне,
Пролить она не в силах.

Вот если б день ее — и мой, —
Два летних дня слились бы,
Настало б утро над землей,
Печали унеслись бы!

ДЫМ

Дым, легкий дым, крылатый друг Икара,
Стремящийся туда, где ты растаешь,
Скворец безгласый, вестник ранней зорьки,
Кружащий над своим домком — деревней;
А и́наче — сон спугнутый, тенистый
Полночный призрак в длинном одеянье,
При свете звезд и ярком свете дня
Чуть омрачающий сияние светила,
Взойди от очага моей молитвой —
Просить прощенья у богов за пламя.

ПОЛДНЕВНАЯ ДЫМКА

Ткань солнечная, газ воздушный,
Природой выведенный шелк,
Жар, ставший видимым, сухая
Волна, воздушная вода,
Последняя добыча зренья,
Игрушка зноя, прах небес,
Прибой, катящийся на землю,
Эфиров устье, шлюз лучей,
Девятый вал дневной истомы,
Твердь пенная над морем суши,
Полуденная птица, крылья
Простершая над целым миром, —
Но не поющая, а тихо
Баюкающая все кругом.

«Твердим, что знаем много…»

Твердим, что знаем много.
Увы!.. Берем в подмогу
Искусства и науки
И всяческие трюки.
А ветерок подует —
Все знанья наши сдует.

«Уважаемый народец...»

Уважаемый народец —
Где же он живет?
Он в ветвях дубовых бродит,
Он в стогу поет,
Он поет зимой и летом, дни и ночи напролет,
Он живет в лесу и в поле, на лугу живет.
Он не плачет,
Не судачит
О смерти скорой,
Не шлет нам укора,
Он в хаос звуков вносит Лад,
Он знает, что принадлежат:
Океану — безбрежность,
Лугу — нежность,
Времени — длительность,
Рекам — медлительность,
Скалам — твердость,
Звездам — гордость,
Светилу — небосклон,
Усталым — сон,
Упорным — день,
А вздорным — лень.
Весть о щедрости народца разнеслась во все края:
Должники его с ним дружат, и в долгу пред ним друзья.

«Что мне в железной дороге?..»

Что мне в железной дороге?
Устанут ноги
Дойти туда, куда поезд мчится.
Прорыли туннели
И для птичьей артели
Столбов наставили вереницы.
В округе пыль клубится
И ягода родится.

«Туманный дух заповедных зон…»

Туманный дух заповедных зон,
Птица первовремен,
Чертящая путь одинокий свой
Метеором в июльский зной,
С холма на холм, из леса в лес,
Среди полей, ручьев, древес,
О чем твой щебет?
Зачем ты в небе?
Зачем несешь, несома
Воздухом, в наши домы
Свой дерзостный порыв,
Превыше тучи взмыв?
А мы живем поныне
В беспесенной низине.

CARPE DIEM[19]

О завтра не думай!
Плати веселей
Сегодняшней суммой —
Не суй векселей.

Не жди, что случится,
Что знак подадут, —
До боли в ключицах
Вработайся в труд.

Не нянчись с печалью —
На плечи взвали
И двигайся дале —
И сгинет вдали.

Сегодняшней жизнью
Будь полон полней,
И праздник и тризну
Обрящешь лишь в ней!

Веленье Господне —
Скорбя, уповать,
Погибнуть сегодня
И завтра восстать.

«Я готовлюсь, я готовлюсь, я заутро уплыву...»

Я готовлюсь, я готовлюсь, я заутро уплыву.
На Азорском, иль безвестней, буду жить я острову.
Там — и только, там — и только, там — и только мой

Грааль,
И песок сырой повсюду, и кругом немая даль.

ЗИМНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

В круговращенье мимолетных дней
Мгновенья выпадают — столь чисты
И ярки, как фиалка, анемон
Или другой цветок, весной влекомый
Вниз по теченью горного ручья,
Играя, верх берущего над нашей
Доктриной философскою, гласящей,
Что только в ней — лекарство от тоски.
Припоминаю зимнею порой
В каморке, опечатанной морозом,
Покуда лунный свет лежит вокруг —
На ветках, водостоке и заборе, —
И копья ледяные восстают,
Пока их не подкосят стрелы солнца, —
Припоминаю, как в июльский день
Бессчетные лучи скользили вдоль
Тех пастбищ, где темнеет зверобой,
И слышу пчел, кружащихся, жужжащих
Над синеватой травкой, или звон
Ручья, теперь промерзшего насквозь
И ставшего надгробием себе,
Ну, а тогда поившего луга
И пастбища — от горных до низинных,
И вижу блестки света в борозде
И на меже, идущей к горизонту…
Теперь пустая праздная земля
Знай стынет в тонком снежном одеянье, —
Но что с того! Великий эконом,
Господь зимой нас кормит лишь похлебкой
Из памяти с надеждой пополам.

Я СВЯЗАН ТОРОПЛИВОЮ РУКОЙ

Я связан торопливою рукой
В случайный сверток
И скорой почтой послан далеко.
О, будь на небесах покой!..
А то любой предмет во мне так верток,
Что я могу рассыпаться легко.

Возьми щавель, фиалки без стеблей,
С соломой вперемешку,
Себе в букет — такой букет не в счет!
О, будь прочнее связь вещей,
Намешанных в меня!.. А то, в насмешку,
Они в меня накиданы вразброд.

Пусть с Елисейских собраны полей
Цветы в моем букете,
Но череда их разве что смешна.
Пирушка пьяниц и вралей,
Которые сожгут, смеясь, как дети,
Все, что сулила щедрая весна!

Я знаю: увядает вешний цвет.
И ни листочка.
И если я и пью — то пью свой сок:
Ведь корня подо мною нет.
Вся жизнь моя — недолгая отсрочка:
Погибнет в вашей чашке мой цветок.

Еще найдут один-другой бутон —
Попытку жизни —
На мне. Но детям будет невдомек,
Какой здесь стон глубокий затаен

И каково на этой вечной тризне
Мечтать о том, чтоб расцвести в свой срок,

Но понял я, что сорван был не зря.
В стеклянной чашке, —
Перенесенный доброю рукой
Оттуда, где моя заря
Прошла, — я благодарен и оттяжке,
Я жизни счастлив даже и такой.

Мой стебель, истонченный и сухой,
Еще, быть может,
Дождется в этой чашке лучших дней —
И расцветет. И цвет иной,
Чем тот, что мать-земля бездумно множит,
Чем выстраданней будет, тем верней.

КОГДА В ДУШЕ РАССВЕТАЕТ

Весь гардероб живой Природы
В моем сознанье сохранен,
И пусть она меняет моды —
Ветшая, не стареет он.

Я сам, ревнитель и хранитель
Старья, взыскую новизны —
И брызнул луч в мою обитель,
И чувства преображены.

Так что ж златит и лес, и тучу,
И самую изнанку туч?
Что неизменней, легче, лучше,
Чем льющийся сквозь вечность луч?

Зима оденет снегом хвою,
Но солнце, встав, прогонит прочь
Своею россыпью златою
Не зиму, так хотя бы ночь.

Как соснам утреннюю сырость
Без солнца было б перенесть?
И пчел рабочую настырность —
Цветам, решившимся расцвесть?

И целые леса, что стыли
Под зыбким маревом луны,
С утра на розовые мили
И вширь и вдаль озарены.

И как же сердцу не очнуться,
Когда от солнечных вестей

Цветы счастливые качнутся
Восточной роскошью своей,

Когда, смеясь, проснутся птицы,
Но зная, кто их рассмешил,
И песня будет торопиться
Благовестить, что мрак почил, —

Да что там солнце! первый вестник —
Луч, обогнавший остальных, —
Себя узнает в птичьих песнях
И в мыслях утренних моих.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Я бросил чтенье, я бегу от книг,
Рассеянно скользит по строчкам взгляд,
За миром строк встает его двойник:
Гляжу в окно и вижу ближний сад.

Хорош Плутарх, и величав Гомер,
В любом стихе Шекспира все цветет,
Но не хочу ни правды, ни химер,
Ни щедрых, но искусственных красот.

Какое дело мне, что Илион
Ахейцами был взят в конце концов?
Орешником тенистым осенен,
Я наблюдаю битву муравьев.

Угоден олимпийцам алый цвет
Иль черного значенье предпочтут?
Врагов Аякс осилит или нет?
Мне дела нет, ведь жизнь не там, а тут.

Захваченный паденьем триумвира,
Могу я, замечтавшись, пропустить,
Что тучи как подвижники Шекспира
Уже спешат в сражение вступить.

Пока не вступят в схватку роковую,
Пока лишь втайне стиснут кулаки,
Под изголовье клевера нарву я
И спрячу меж фиалок башмаки.

Но вот уж и начало рукопашной!
И ветерок, суфлирующий им,

Разносит капли первые над пашней,
Над садом, над Уолденом моим.

И ливень грянул! Я промок насквозь.
Но солнце, как в трагедии — надежда,
Пробилось из-за туч и принялось
Сушить — еще под струями — одежду.

И словно бы финальная свирель
Дождя, уже унесшегося вдаль,
С деревьев наземь брызнула капель —
И в чашах листьев засверкал хрусталь.

И все же солнце в полузабытьи
И светит, увлажненное, вполсилы, —
И вот как эльфы волосы мои,
Когда росою эльфов окатило.

ВДОХНОВЕНИЕ

Положась на волю Божью, знаем:
Не в забвенье дело оставляем.
Избирая дело по призванью,
Уповаем на свое дерзанье.

Когда поется мне легко,
Без напряжения и без мук,
Взлетает звук невысоко
И разливается вокруг.

Но если я спускаюсь вглубь
Себя, минуя ту черту,
Где, знаю подлинно: я глуп,
И каждый шаг невмоготу,

И, глупый, становлюсь умен;
И, сердцем дух воспламенив, —
Скорее верой вдохновлен,
Надеждой нежели, — не лжив,

Но жив, и навсегда, мой стих,
Как все, что начертал Господь, —
В косноязычье строк моих
Душа уж брезжит, а не плоть.

Но это — не последний шаг
К божественному (сил достанет) —
Оденет Видимое мрак
И Невиди́мое проглянет.

Я стану Зренье, стану Слух,
Над немотой и темнотой

Столетья проживет мой дух
В мгновенья истины святой.

Так разрастется окоем
И область слышимого мной,
Что мир предстанет незнаком —
Волшебный будет он, иной.

Твердь, суша и вода — и свет,
Их пронизавший, — все на свете,
Чему прибавится примет, —
Доподлиннее в этом свете.

Все будет нежно и светло,
Яснее солнца, громче грома,
Чтоб существо мое вошло
В жизнь мирозданья без надлома.

Я стану частью бытия,
Волненья голосу внимая,
И время, словно чешуя,
Сойдет, мне Вечность открывая.

Главенства полон этот час,
В нем жизни подлинный расцвет —
Цвет доблести не напоказ,
Залог замышленных побед.

Он настигает нас врасплох,
Когда и где угодно; он
Земных не хочет жалких крох —
И день июньский оскорблен

Забвеньем; и растет душа
И тело, гением объяты,
Как в темном царстве гашиша,

Но чище и сильней трикраты.

Восходит Муза — дщерь Небес,
Звезда над миром, надо мною —
В ее свету полно чудес
Простое празднество земное.

Ее дыханье — трепет сфер
И сердца моего биенье,
Она пускает жизнь в карьер
И время — вскачь до исступленья.

Все, что дано, — дано навек.
Крушенье ли земного шара
Лишит тебя, о человек,
Словес — божественного дара?

Любовь, ты с Музою сестра,
В одной вы ношены утробе, —
Мое сегодня, и вчера,
И завтра, и всегда — вы обе.

Тебя, о Память, я взращу,
Чтоб тьму веков ты пронизала,
В пещеры пращуров пущу
И в Золотого Века залы.

С тобой, о Вдохновенье, сгину,
Любую боль прияв, пускай я
Хоть в Ада черные глубины,
Любви из рук не выпуская.

Тщеславья нет в Певце.
Не жаждет он Венца.
Он славен во Творце,

И славит он Творца.

СОВЕСТЬ

Сама собой в душе родится Совесть;
А Чувство с Мыслью порождают Грех
Путем противусовестных утех.
Я говорю: их надо за ворота,
Пинком, в болота.
Я жизнь люблю, рисунок коей прям,
Не покороблен там и сям,
Подобно гноем налитым прыщам.
Ведь если совесть нарывает,
Душа ее оковы разрывает.
Я души строгие люблю,
Огнеупорные на радость и страданье
И стойкие, подобно кораблю, —
Будь буря в океане иль в стакане.
Переживет та совесть, что чиста,
Одну трагедию,
Нечистая — полста.
От отчаянья
Совесть удержит,
В испытаньях путь свой держит,
Не чуткая к лести
С нападками вместе.
Там, где все отступятся в сомнении,
Совесть стоит в полунощном бдении.
Но мне нежеланна и
Душа деревянная,
Соблазнов лишенная,
Неискушенная
И тем вознесенная.
Наша совесть нам залогом.
Дело, начатое Богом,
Завершиться в нас должно —

А не быть погребено.
Нам Христос оставил право
Идти налево или направо,
Творить на выбор добро и зло,
Коли уж на то пошло.
Боже! ты приял страданье
Не за сонные созданья.
Прожил жизнь свою Исус
Не как совестливый трус.
Честный выбор, честный труд —
Я с тобою, честный люд.
Время косу править.
Время Бога славить.

ДЖОНС ВЕРИ
© Перевод А. Парин

ДЕРЕВО

Ты любо мне, когда набрякли почки
И листья лопнуть разом все спешат,
Отвергнув в бегстве от зимы отсрочки
И мчась стремглав под вешний солнцепад.
А после зеленью укроют темной
Гнездо малиновки твои листы,
И любо мне лежать в тени укромной,
Всласть разомлев от летней теплоты.
А после стылый ветр тебя разденет,
И ляжет пышный снег на кутерьму,
И сгинет все, что взор в тебе так ценит,
И тень твою я взором обойму,
Сквозь сеть ветвей всмотрюсь во вспышки звезд —
Их ярче свет, когда наш дольний путь непрост.

ПУТЬ

Несуетливые стопа и длань
Быстрей иных найдут свой путь законный —
Легки в движеньях ныне, словно лань,
А были медленней улитки сонной.
Они в трудах исправных день-деньской,
Движения покойны и степенны.
С пути не сбить их суете мирской,
Им труден путь, но дни благословенны.
Не отыскать зверью их скрытый след,
Ни нюх, ни хитрость сыску не поможет.
Душе на сем пути запретов нет —
Свободна вечно, но свернуть не может.
Сей путь означен тем, чья мощь без меры
С любовью движет атомы и сферы.

ДЕНЬ

День! Я пеняю, что тебе во славу
Достойные стихи нам невподъем.
В твоих лучах мы пишем их в забаву,
Но зрим Творец их в лике лишь твоем.
О моего житья собрат великий!
Закутав тело в солнечный лоскут,
Ты ввысь идешь с востока, ясноликий,
Чтоб чад своих спасти от черных пут.
Привет тебе, о сирый пилигрим,
Чьи равно всех благословляют взоры!
Я, как и ты, иду путем своим
И в мир блаженный скроюсь, верно, скоро.
Твой новый свет, который не узрю,
На вечном западе узрит мою зарю.

ЧУЖИЕ

Лицо, изрытое заботой, —
Реестр покупок и продаж
Иль книга, где в словах без счета —
Заемных мыслей ералаш.

Мне чужды люди, ибо всуе
Глядят на вещи вкривь и вкось
И, вежливо со мной толкуя,
Иных суждений ждут небось.

Мой слух не выловит ни слова,
Где проступил бы смысл прямой,
Они хитрят столь бестолково,
Что лжи простор дают самой.

Хочу туда, где речь правдива,
Где око видит то, что зрит, —
Здесь редки люди, чьи порывы
Лишь истина животворит.

ЭДГАР АЛЛАН ПО

ПЕСНЯ («Я помню: ты, в день брачный твой…»)
© Перевод В. Брюсов

Я помню: ты, в день брачный твой,
Как от стыда, зарделась вдруг,
Хоть счастье было пред тобой
И, весь любовь, мир цвел вокруг.

Лучистый блеск в твоих очах
(Чтó ни таила ты)
Был — все, что на земле, в мечтах,
Есть выше красоты!

Быть может, девичьим стыдом
Румянец был — как знать! —
Но пламенем он вспыхнул в том,
Кто мог его понять,

Кто знал тебя в день брачный твой,
Когда *могла* ты вспыхнуть вдруг,
Хоть счастье было пред тобой
И, весь любовь, мир цвел вокруг.

СОНЕТ К НАУКЕ
© Перевод В. Брюсов

Наука! ты — дитя Седых Времен!
Меняя все вниманьем глаз прозрачных,
Зачем тревожишь ты поэта сон,
О коршун! крылья чьи — взмах истин мрачных!

Тебя любить? и мудрой счесть тебя?
Зачем же ты мертвишь его усилья,
Когда, алмазы неба возлюбя,
Он мчится ввысь, раскинув смело крылья!

Дианы ко́ней кто остановил?
Кто из леса изгнал Гамадриаду,
Устав искать приюта меж светил?

Кто выхватил из лона вод Наяду?
Из веток Эльфа? Кто бред летних грез,
Меж тамарисов, от меня унес?

К*** («Я не скорблю, что мой земной удел…»)
© Перевод К. Бальмонт

Я не скорблю, что мой земной удел
Земного мало знал самозабвенья,
Что сон любви давнишней отлетел
Перед враждой единого мгновенья.
Скорблю я не о том, что в блеске дня
Меня счастливей нищий и убогий,
Но что жалеешь *ты,* мой друг, *меня,*
Идущего пустынною дорогой.

К ЕЛЕНЕ
© Перевод Г. Кружков

Елена, красота твоя
Мне — словно парус морякам,
Скитальцам, древним, как земля,
Ведущим корабли в Пергам,
К фригийским берегам.

Как зов Наяд, мне голос твой
Звучит за ропотом глухим
Морей, ведя меня домой,
К сиянью Греции святой
И славе, чье имя — Рим.

В алмазной раме у окна
Вот ты стоишь, стройна, как взмах
Крыла, с лампадою в руках —
Психея! — не оставь меня
В заветных снах!

ИЗРАФЕЛ
© Перевод В. Топоров

...И ангел Израфел с лютней-сердцем и с наисладчайшим из всех восславивших аллаха гласом.

Коран

Есть, я знаю, ангел в высях
«С лютней-сердцем». Се — Израфел.
У него на устах
И в его перстах —
Песнь, настолько прекрасная, что в небесах
Гимны звезд замирают; молчанье в мирах;
Восхищение — чуть он запел.

И, взойдя в зенит,
Полная луна
Пеньем прельщена —
Блаженная, звенит,
Переливаются рулады, —
И встают Плеяды,
Рдея, — божьи чада,
Семь из мириад.

И молвит звездный хор,
И вторит голос лун,
И зрит небесный взор:
Певец персты простер
Над лирой, вечно юн.
И вспыхнул метеор
Напева стройных струн!

Там Израфел поет,
Где мудрость воскрылила,
Где бог в любви живет,
Где гурий красота
Сиянием светила
Над миром разлита.

Божественный певец!
Ты прав, отринув холод!
Ты в песнь вложил, мудрец,
Всю страсть людских сердец!
Ты смел и вечно молод,
Тебе вручен венец!

Плачь, смейся, пламеней!
Пройди надмирным лазом
Сквозь лабиринт страстей
Туда, где правит Разум,
Охваченный экстазом!

Ты — небо Красоты!
А на земле низинной
Долины — лишь долины,
Цветы — цветы... Но ты —
Тот свет, чья тень светлее света
с высоты!

И все же, Израфел,
Когда б сойти велел
Бог вниз тебе, а мне — взмыть в космос
твой,

Ты б лучше моего не спел
Мелодии земной,
А я б — дерзновенней тебя звенел

Небесною струной!

ГОРОД СРЕДИ МОРЯ
© Перевод Ю. Корнеев

Где сумрак запад обволок,
Воздвигла Смерть себе чертог.
Там странный город виден взглядам.
Герой и трус, святой и грешник рядом
Объяты там могильным хладом.
Там башни (накренило их,
А все ж не рухнут), храмы, зданья —
Иные, чем у нас, живых,
И ветра свежее дыханье
Не взбороздит, не шелохнет
Немую ширь угрюмых вод.

Не льются с неба струи света
На город этот, мглой одетый.
Лишь отблеск дремлющих валов
Змеей ползет, как кровь, багров,
По камням капищ и дворцов,
Чья кладка толще несравненно,
Чем в древнем Вавилоне стены,
По шпицам, по рядам колонн
И по ротондам, где фронтон
Украшен фризами лепными
Из чаш с фиалками лесными
И лоз, вплетенных между ними.
Ничто нигде не шелохнет
Немую ширь угрюмых вод.
Во мраке контуры строений
Расплылись над землей, как тени,
А с главной башни шлет в простор
Смерть-великанша грозный взор.

В любом из склепов, в каждом храме
На уровне одном с волнами
Раскрыта дверь, но воды спят;
Воспрянуть их не побудят
Ни бирюза в глазницах статуй,
Ни на гробах покров богатый,
И, увы, не тронет рябь
Стекленеющую хлябь,
Чья безмятежность так ужасна,
Что, мнится, ни лазури ясной,
Ни бурь нет больше на земле —
Один лишь мертвый штиль во мгле.

Но чу! Вдруг ожил воздух стылый,
И зыбь поверхность вод всхолмила.
Не башня ль, возмутив их гладь,
Беззвучно стала оседать
И плотный полог туч над ними
Зубцами прорвала своими;
Свет алый выси в море льют,
И затихает бег минут,
И в миг, когда в пучину канут
Останки города того,
С престолов силы ада встанут,
Приветствуя его.

ТОЙ, КОТОРАЯ В РАЮ
© Перевод В. Рогов

В твоем я видел взоре,
К чему летел мечтой, —
Зеленый остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах —
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой нежный сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — но над Былым
Мой дух простерт, без чувств, без слов,
Подавлен, недвижим!

Вновь не зажжется надо мной
Любви моей звезда.
«Нет, никогда — нет, никогда»
(Так дюнам говорит прибой)
Не взмоет ввысь орел больной
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!

Мне сны дарят отраду,
Мечта меня влечет
К пленительному взгляду,
В эфирный хоровод,
Где вечно льет прохладу
Плеск италийских вод.
И я живу, тот час кляня,
Когда прибой бурливый

Тебя отторгнул от меня
Для ласки нечестивой —
Из края, где, главу клоня,
Дрожат и плачут ивы.

ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК
© Перевод Н. Вольпин

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.

И ничего прекрасной в мире
Крылом своим
Не осенял, плывя в эфире
Над землею, серафим.

Гордо реяло над башней
Желтых флагов полотно
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно).
Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона проносясь,
И как порфирородный
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной.

А дверь!.. Рубины, аметисты
По золоту сплели узор —
И той же россыпью искристой

Хвалебный разливался хор;
И пробегали отголоски
Во все концы долины,
В немолчном славя переплеске
И ум, и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог —
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).
А прежнее великолепье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец,
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачной рекой…
И слышен смех — смех без улыбки.

МОЛЧАНИЕ
(Сонет)
© Перевод К. Бальмонт

Есть свойства — существа без воплощенья,
С двойною жизнью: видимый их лик —
В той сущности двоякой, чей родник —
Свет в веществе, предмет и отраженье.
Двойное есть Молчанье в наших днях,
Душа и тело — берега и море.
Одно живет в заброшенных местах,
Вчера травой поросших; в ясном взоре,
Глубоком, как прозрачная вода,
Оно хранит печаль воспоминанья,
Среди рыданий найденное знанье;
Его названье: «Больше Никогда».
Не бойся воплощенного Молчанья,
Ни для кого не скрыто в нем вреда.
Но если ты с его столкнешься тенью
(Эльф безымянный, что живет всегда
Там, где людского не было следа),
Тогда молись, ты обречен мученью!

ВОРОН
© Перевод М. Зенкевич

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так затукал в двери дома моего.
«Гость, — сказал я, — там стучится в двери дома моего.
Гость — и больше ничего».

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линор, —
Безыменной здесь с тех пор.

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
«Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость — и больше ничего».

И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как

друга.
«Извините, сэр иль леди, — я приветствовал его. —
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал», — дверь открыл я: никого,
Тьма — и больше ничего.

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: «Линор!»
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: «Линор!»
Прошептало, как укор.

В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
«Это тот же стук недавний, — я сказал, — в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего, —
Ветер — больше ничего».

Только приоткрыл я ставни — вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо:
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего

Сел — и больше ничего.

И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор.
Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?»
Каркнул Ворон: «Nevermore» [20].

Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
Птица с кличкой «Nevermore».

Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шепнул я вдруг, вздохнувши: «Как друзья с недавних пор,
Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор».

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишье мрачном,
И сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом „Nevermore“».

И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор,
Хриплым карком: «Nevermore».

Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзил горящий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку, на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку, на узор
Никогда, о nevermore!

Мне казалось, что незримо заструились клубы

дыма
И ступили серафимы в фимиаме на ковер.
Я воскликнул: «О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес — исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор —
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

«Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! —
Я, вскочив, воскликнул: — С бурей уносись в ночной простор,

Не оставив здесь, однако, черного пера как знака
Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной простор!»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой, в позолоте, на полу он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.
Никогда, о nevermore!

ЕВЛАЛИЯ — ПЕСНЯ
© Перевод В. Васильев

В ночи бытия
Надежда моя,
Как узница, изнывала.
Но солнечная Евлалия желанной подругой мне стала,
Евлалия в золоте волос невестой стыдливой мне стала.

Озера очей
Любимой моей
Мне ярче всех звезд заблистали.
В полуночной мгле
На лунном челе
Волокна тумана едва ли
Сравнятся с кудрями Евлалии, что вольно на плечи ей пали,
Поспорят с кудрями Евлалии, что мягко на плечи ей пали.

О мире скорбей
Забыли мы с ней
Под нашим незыблемым кровом,
А с горних высот
Нам знаменье шлет
Астарта в сиянии новом.
И юная смотрит Евлалия на небо взором лиловым,
И смотрит Евлалия взором жены, взором хрустально-лиловым.

УЛЯЛЮМ
© Перевод К. Бальмонт

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы,
За огнем отгоревшего лета,
Ночь пришла — сон глухой черноты, —
Близ туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал, —
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилася мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир, —
Это дымное озеро Обер

И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах,
Что-то облачным сном забелело
Перед нами в неясных лучах —
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц — двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомилась одна, —
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах
И, чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю, — промолвила, — в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли, — в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли —
И влачились, влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет:
В нем — кристальность, обмана в нем нет,
Сибиллически-ярко-прекрасный.
В нем Надежды манящий привет, —
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье, —
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом — сквозь ночь — к небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб, —
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,
И как ветра осеннего шум —
Этот вздох, этот сон услыхал я:
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм —
Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,
Задрожав, как на ветке листы,
Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
Это — осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно год, как на кладбище лета
Я здесь ночью октябрьской блуждал,
Я здесь с ношею мертвой блуждал, —
Эта ночь была — ночь без просвета,
Самый год в эту ночь умирал,

Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь: это — Обер,
О, я знаю теперь: это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир».

ЭЛЬДОРАДО
© Перевод Н. Вольпин

С песней в устах,
Отринув страх,
В палящий зной, в прохладу —
Всегда в седле,
По всей земле
Рыцарь искал Эльдорадо.

Где юный жар?
Он грустен и стар,
Легла на грудь прохлада:
Искал он везде,
Но нет нигде,
Нет и подобья Эльдорадо.

Встала пред ним
Тень — пилигрим.
Смертным повеяло хладом.
— Тень, отвечай:
Где этот край,
Край золотой Эльдорадо?

— Мчи грядою
Лунных гор,
Мчи Долиной Тьмы и Хлада, —
Молвит Тень, —
Мчи ночь и день,
Если ищешь Эльдорадо.

К АННИ
© Перевод М. Зенкевич

О счастье! Не мучусь
Я больше, томясь,
Упорной болезнью,
И порвана связь
С горячкой, что жизнью
Недавно звалась.

Лежу я недвижно,
Лишенный сил,
И каждый мускул
Как будто застыл.
Мне лучше: не мучит
Горячечный пыл.

Лежу я спокойно,
Во сне распростерт,
Забыв все недуги,
Как будто я мертв,
И можно в испуге
Подумать — я мертв.

Рыданья и вопли
Затихли вокруг,
Как только прервался
Мучительный стук —
Терзающий сердце
Томительный стук.

Тоска, отвращенье,
Как тающий воск,
Исчезли с болезнью,

Мрачившей мой мозг,
С горячкой, что жизнью
Сжигала мой мозг.

Исчезла и пытка,
Всех пыток сильней, —
Ужасная жажда
Души моей
К реке ядовитой
Проклятых страстей:
Насытил я жажду
Души моей.

Испил я студеной
Воды из ключа,
Тот ключ потаенный
Струится, журча,
В земле неглубоко
Струится, журча.

О нет! Пусть не скажет
Никто, что для сна
Приют мой мрачен,
Постель так тесна, —
Ведь тот, кто скажет:
Постель так тесна,
Он тоже ляжет
В такую ж для сна.

Мой дух не лелеет
Мечтаний о грозах,
Не сожалеет
О пламенных розах,
О том, что алеет
На миртах и розах,

Дыханье как будто
Анютиных глазок
Он слышит из руты,
Из праздничных связок
Цветов розмаринных,
Анютиных глазок —
Дыханье невинных
Анютиных глазок.

Он дремлет блаженно
В тумане мечтаний
О правде нетленной
И верности Анни,
Витая блаженно
Средь локонов Анни.

Она с поцелуем
Склонилась ко мне,
И я, не волнуем
Ничем в тишине,
Скользя, как по струям,
Забылся во сне.

Укрыв меня нежно
И свет затемня,
Она помолилась
Потом за меня,
Чтоб ангелы неба
Хранили меня.

И я на постели
Лежу распростерт
(С истомою в теле),
Как будто я мертв,
Прильнув к изголовью,
Лежу распростерт

(С ее любовью),
Как будто я мертв, —
И вам всем я страшен,
Как будто я мертв.

Душа ж моя ярче,
Чем в млечном тумане
Все звезды на небе,
Сверкает с Анни,
Горит она светом
Любви моей Анни,
Лучится ответом
Из глаз моей Анни.

СНОВИДЕНЬЕ В СНОВИДЕНЬЕ
© Перевод М. Квятковская

Печально лоб целую твой,
Но прежде чем прощусь с тобой,
Поведаю тебе одной…
Да, ты не зря твердила мне,
Что жизнь моя течет во сне,
Но если нет надежды боле,
То — ясным днем иль при луне
Она *ушла* — не все равно ли,
Во сне ушла иль не во сне?
Все, что несут нам сон и бденье,
Лишь сновиденье в сновиденье.
…Стою на берегу морском,
У ног — прибоя вечный гром,
И бережно держу в руках
Песчинок золотистый прах,
А он сквозь пальцы, как струя,
Стекает в море бытия —
И горько, горько плачу я!
О боже! Что ж моя рука
Не может удержать песка?
О боже! Где мне силы взять
Хоть бы песчинку удержать?
Ужели *все* — и сон, и бденье —
Лишь сновиденье в сновиденье?

СОНЕТ К МОЕЙ МАТЕРИ
© Перевод В. Топоров

Постигнув, что не только человек —
Но ангелы — из всех благословений,
Способных нежность выразить навек,
Не отыскали имени блаженней,
Я «матерью» назвал тебя, и ты
Вошла мне в сердце самою родною
И стала жить в нем — в доме пустоты,
Покинутом покойною женою.
Мою родную мать (по ком я тоже
Скорблю) ты материнством превзошла:
Жизнь дорога — Виргиния дороже,
Ты, дав ей жизнь, мне этим жизнь дала
Отныне же, когда ее не стало,
И для меня небытие настало.

АННАБЕЛЬ ЛИ
© Перевод К. Бальмонт

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви, —
Я и нежная Аннабель Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли, —
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель Ли;
И родные толпой многознатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, —
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли), —
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней

Тех, что старости бремя несли, —
Тех, что мудростью нас превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель Ли;
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель Ли;
И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей,
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА
© Перевод К. Бальмонт

1

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,
Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят,
Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят.
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,
Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном.

Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят,
Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,
И, внимая им, горят.
И мечтая, и блистая, в небе ду́хами парят;
И изменчивым сияньем,
Молчаливым обаяньем
Вместе с звоном, вместе с пеньем о забвеньи говорят.

2

Слышишь: к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят,
Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят,
Вновь потухнут, вновь блестят
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов.

3

Слышишь: воющий набат,
Словно стонет медный ад!
Эти звуки в дикой муке сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук.
То длиннее, то короче,
Выкликают свой испуг, —
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться и кричать, кричать, кричать!

Только плакать о пощаде
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Все горит,
То из окон, то по крыше
Мчится выше, выше, выше
И как будто говорит:
Я хочу
Выше мчаться, разгораться — встречу лунному лучу, —
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О, набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь с плачем, с воплем, и звеня!
А теперь нам нет спасенья:
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность, —
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон, —
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон —
Скорбный, гневный
И плачевный —
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит.
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает, —
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.

ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ

ЗНАК
© Перевод В. Топоров

Тень разодрана лучом,
Не укрыться нипочем
На брегу твоем крутом,
Шенандоа.
Бушевала здесь война.
(Эх, Джон Браун[21], старина)
Не зазеленеют ветви снова.

Эти раны, там и тут,
Никогда не зарастут,
Иль напрасен бранный труд,
Шенандоа?
Рана каждая страшна.
(Эх, Джон Браун, старина)
Метеор сраженья рокового.

ОПАСЕНИЯ
© Перевод В. Топоров

Когда ураганы свои океан
Во глубь континента нагонит, —
Смятенье и ужас на лицах крестьян
И город измученный стонет, —
Тогда не открытых, а внутренних ран
Боюсь я твоих, государство.
Боюсь твоих величайших надежд, отравленных ядом коварства.

Природу сумеем, пожалуй, сдержать,
А может быть, даже сдержали;
Сумеют и дети — и с пользой — читать
Ее роковые скрижали.
Но бури есть тайные — их не унять,
Нам и не понять их, а все же —
Боюсь, что прогнили стропила домов и киль корабля покорежен.

ШИЛОУ
(Реквием)
© Перевод В. Топоров

Мирно ласточки летят,
Словно из былого,
Над могилами солдат
Во поле в Шилоу.
Ночью здесь с небес лило,
День и день творилось зло,
За два дня в апреле
Нивы заалели
Вкруг села Шилоу.
Церкви тамошней стена
Чуть не рухнула: она
Приняла молитвы
Жертв кровавой битвы.
Грозно встала рать на рать —
И стоят, ни шагу вспять,
Не желая изменять
Доблести былого...
Вот и ласточки опять
Во поле в Шилоу.

МАЛВЕРНСКИЙ ХОЛМ
© Перевод В. Топоров

Здесь вязы старые стоят
И листьями шуршат.
Вы помните, как был отряд
Мак-Клеллана зажат?
В лесу лежали трупы тех,
Кто не ушел назад, —
Упавшие с рукой на Юг
Простертой в миг последних мук…
И кипарисов скорбный круг
Оплакивает всех.

Манили Ричмонда огни —
Недалеко они:
Вдоль окровавленной стерни
Хоть руку протяни.
Семь Дней мы бились, семь Ночей —
И это были дни
Отваги, страсти и тщеты,
Как призрак, стали я и ты, —
И зрели вязы с высоты
И жертв, и палачей.

Весь в потускневших звездах стяг, —
Вокруг огонь и мрак, —
Не мог сорвать, не мог никак
Победоносный враг.
Мы набирались новых сил
Бог знает где и как,
Мы ждали: будет перелом
И в контратаку мы пойдем, —
Но знает здешний бурелом,

Что он не наступил...

— Мы старые вязы.
Мы смерти упорней.
Стань мир еще вздорней —
Не высохнут корни
И листья весною распустятся сразу.

ГЕНЕРАЛ ШЕРИДАН[22] В СРАЖЕНИИ ПОД СЕДАР-КРИКОМ
© Перевод В. Топоров

Серебром был подкован
Генеральский конь.
Был скакун первоклассный —
Заводила погонь.
Гром донесся ужасный:
Конь! скорее в огонь!
Живо — или пропали!
Там на наших напали!
Наши лучшие пали!
И помчал — только тронь!

Попона из горностая —
Больно битва грязна.
Белый — в красное пламя.
Больно жаль скакуна.
Разглядели в бинокли:
Вот он мчит, сатана!
В панике побежали.
Наши на них нажали.
Из-под копыт сверкали
Искры — в бой, старина!

На загнанную лошадь
Пули не пожалей.
Из-за ее проворства
Местность еще алей.
Филип Шеридан — наездник
Почище иных королей.
Раз — и победа наша.

И — кровавая каша.
Выпил полную чашу
Враг среди тополей.

В саване соболином
Лошадь похорони.
Видишь: вокруг лавиной
Трупов лежат они.
Рубка! какая рубка!
Ведомо искони:
Победителя славим,
Побежденного травим,
А погибших избавим
От мышиной возни.

ПАВШИМ В СРАЖЕНИИ ПРИ ЧИКАМАГУА[23]
© Перевод И. Цветкова

Блаженством будет озарен
Кто к миру через войны шел
Бесстрашно. В награду смельчакам венец,
За стойкость доблестных сердец,
И ратной славы ореол.

Хвала героям воздана,
Пусть жизнь их безмятежно потечет;
Но незабвенны павших имена,
Друзей и братьев; вечный им почет.

И все ж прекрасен горестный удел —
Сраженья беспощадного исход
Померкнувшим очам уже незрим.
О воле, что не сломлена борьбой,
О долге, пережившем смертный бой,
Навеки нашу память сохраним.

МАЛЬДИВСКАЯ АКУЛА
© Перевод В. Топоров

Акула — пьяница морей —
Апатией больна,
А рыба-лоцман рядом с ней
Целеустремлена.
Ей не страшна акулья пасть
И голова Горгоны,
Она в сторонке шасть да шасть —
Но целеустремленно.
Она порою проскользнет
Меж самых челюстей,
Но створ чудовищных ворот
Не сходится на ней.
Что ест она? Не знаю сам.
У них с акулой дружба.
Добыча ей не по зубам,
Зато по нраву служба.

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ТРОПИКИ
© Перевод И. Цветкова

На смену Северной звезде
К нам Южный Крест уже в пути;
Исчезла ты — и быть беде,
И света не сыскать нигде,
И утешенья не найти.

Любовь, любовь — твердят ветра,
Разлуки горькой мастера.

Ни волн сребристая гряда,
Ни вод полуденных покой,
Да Гамы добрая звезда —
Не для меня, к тебе всегда,
Как он к земле, стремлюсь с тоской.

Назад, назад к тебе одной,
Влачится сердце за кормой.
Пока нас снег колючий сек
И перевертыш-год томил,
Увили розы твой порог,
Но не увял любви цветок,
Что столько радостей сулил.

Любовь, любовь — безбрежный океан:
Любовь, что смерть, не знает легких ран!

РАЙСКИЕ ОСТРОВА
© Перевод И. Цветкова

Сквозь бури к ним пришли, и штиль кругом.
Но мрачен вид их был издалека,
А ближе — зелень, затихает гром
И радуга возносится, легка.

Там в глубине, где сонные холмы,
Объяты сладкой дремой, видят сны,
На гребнях, в нежной дымке облаков,
Качаясь, пальмы шлют поклоны вдаль,
В долины, где журчанье ручейков
Баюкает и радость и печаль.

Здесь зеленеет папортник со мхом,
Несметны краски заливных лугов,
Завороженных непробудным сном,
И волны замирают у брегов.

НОЧНОЙ ПЕРЕХОД
© Перевод В. Топоров

Изорван стяг и прорван мрак —
Идет отряд солдат.
Не может медь не пламенеть
Мечей и тяжких лат.

Идет в молчанье легион,
А вождь их — где же он?
Но как в бою, идут в строю,
Порядок сохранен.

Их вождь (история гласит)
В сражении убит,
Но дух его ведет войска,
Не унывать велит!

ИСКУССТВО
© Перевод В. Топоров

Не зря считается игрой
Абстрактного мышления строй.
По форму дать и жизнь вложить
В то, что без нас не стало б жить,
Расплавить пламя, лед зажечь
И ветер мрамором облечь,
Унизиться — но презирать,
Прозреть — но точно рассчитать,
Любить — и ненавидеть, чувство
Иакова[24] — вступая в бой
Хоть с богом, хоть с самим собой —
В себе лелеять: вот искусство.

ГЕНРИ УОДСВОРТ ЛОНГФЕЛЛО

ПСАЛОМ ЖИЗНИ
© Перевод И. Бунин

Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит
Дух живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.

Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься», —
Не о духе рек господь.

Не печаль и не блаженство
Жизни цель: она зовет
Нас к труду, в котором бодро
Мы должны идти вперед.

Путь далек, а время мчится, —
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца —
Погребальный марш его.

На житейском бранном поле,
На биваке жизни будь —
Не рабом будь, а героем,
Закалившим в битвах грудь.

Не оплакивай Былого,
О Грядущем не мечтай,
Действуй только в Настоящем
И ему лишь доверяй!

Жизнь великих призывает

Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути, —

След, что выведет, быть может,
На дорогу и других —
Заблудившихся, усталых —
И пробудит совесть в них.

Встань же смело на работу,
Отдавай все силы ей
И учись в труде упорном
Ждать прихода лучших дней!

ГИМН НОЧИ
© Перевод С. Таск

Пленял покровов черный бархат очи,
Сияньем звезд облит;
Ласкало слух шуршанье платьев Ночи
О мрамор гладких плит.

Сошла с небес и, рой чудес пророча,
Склонилась надо мной.
Так мне покойно с царственнейшей Ночью,
Как лишь с тобой одной.

Печали и восторгов средоточье,
Чудесный перезвон
Плыл среди призраков по залам Ночи,
Как слог былых времен.

Из чаш лилась полночная прохлада,
И дух мой к ним приник;
Не иссякая, бьет, даря усладу,
Из этих чаш родник.

Божественная Ночь! когда ты с нами,
Терпимей маета:
Лишь уст Мольбы коснешься ты перстами,
Как замолчат уста.

«Покоя!» — как Орест, шепчу молитву.
Ночь, мглой все оторочь!
Желанная, как мил, как нежен вид твой,
Возлюбленная Ночь!

EXCÉLSIOR![25]
© Перевод В. Левик

Тропой альпийской в снег и мрак
Шел юноша, державший стяг.
И стяг в ночи сиял, как днем,
И странный был девиз на нем:
«Excelsior!»

Был грустен взор его и строг,
Глаза сверкали, как клинок,
И, как серебряный гобой,
Звучал язык, для всех чужой:
«Excelsior!»

Горели в окнах огоньки,
К уюту звали очаги,
Но льды под небом видел он,
И вновь звучало, точно стон:
«Excelsior!»

«Куда? — в селе сказал старик. —
Там вихрь и стужа, там ледник,
Пред ним, широк, бежит поток»,
Но был ответ как звонкий рог:
«Excelsior!»

Сказала девушка: «Приди!
Усни, припав к моей груди!»
В глазах был синий влажный свет,
Но вздохом прозвучал ответ:
«Excelsior!»

«Не подходи к сухой сосне!
Страшись лавины в вышине!» —
Прощаясь, крикнул селянин.
Но был ответ ему один:
«Excelsior!»

На Сен-Бернардский перевал
Он в час заутрени попал,
И хор монахов смолк на миг,
Когда в их гимн ворвался крик:
«Excelsior!»

Но труп, навеки вмерзший в лед,
Нашла собака через год.
Рука сжимала стяг, застыв,
И тот же был на нем призыв:
«Excelsior!»

Меж ледяных бездушных скал
Прекрасный, мертвый, он лежал,
А с неба в мир камней и льда
Неслось, как падает звезда:
«Excelsior!»

К УИЛЬЯМУ ЧАННИНГУ
© Перевод М. Михайлов

Когда из книги мне звучал
Твой голос величаво, строго,
Я сердцем трепетным взывал:
«Хвала тебе, служитель бога!»

Хвала! Твоя святая речь
Немолчно пусть звучит народу!
Твои слова — разящий меч
В священной битве за свободу.

Не прерывай свой грозный клич,
Покуда Ложь — законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич
Позорят званье человека!

Во глубине твоей души
Господень голос непрестанно
Зовет тебя: «Пророк, пиши!» —
Как на Патмосе[26] — Иоанна.

Пиши кровавые дела
И возвести день скорби слезной,
День гнева над пучиной зла,
Апокалипсис этот грозный!

ОЧЕВИДЦЫ
© Перевод С. Таск

Занесены песком,
Скелеты, словно в склепе,
Лежат на дне морском,
Закованные в цепи.

На глубине, куда
Не проникают росы
И длинный лот, — суда,
На палубах матросы.

Вот очертанья форм
Невольничьего судна.
Давно не страшен шторм
Команде многолюдной.

Рабов, лежащих тут,
Сквозь мглу глядят глазницы;
Их кости вопиют:
«Мы все здесь очевидцы!»

С землей мешая прах,
Скелеты в ней, как в склепе;
Запястья в кандалах,
Вкруг щиколоток цепи.

Тот, кто сюда забрел,
Отходит боязливо;
Один степной орел
Не брезгует поживой.

Преступных мыслей ад;

Гнев, страсти и гордыня…
Умолк, за горло взят,
Вал жизни в мерзкой тине.

Рабов, лежащих тут,
Сквозь тьму глядят глазницы;
Их кости вопиют:
«Мы все здесь очевидцы!»

MEZZO CAMMIN [27]
© Перевод В. Левик

Написано в Боппарде-на-Рейне, 25 августа 1842 года, перед отъездом домой

Прошло полжизни. Стерся даже след
Минувших дней. Где юный жар стремленья
Из рифм, из песен, полных вдохновенья,
Дворец воздвигнуть для грядущих лет?

Виной не праздность, не любовь, о нет!
Не беспокойной страсти наслажденья,
Но горести едва ль не от рожденья,
Чреда забот убийственных и бед.

И с полгоры я вижу под собою
Все прошлое, весь этот темный ад, —
В дымах, в огнях мой город, скрытый мглою,

Где стоны, плач и никаких отрад.
И на ветру осеннем, надо мною
С вершин гремящий Смерти водопад.

ДНЯ НЕТ УЖ…
© Перевод И. Анненский

Дня нет уж… За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла,
Как легкие перья кружатся
Воздушной стезею орла.

Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски.

С волною тоски и желанья —
Пусть даже она не печаль, —
Но дальше, чем дождь от тумана,
Тоска от печали едва ль.

Стихов бы теперь понаивней,
Помягче, поглубже огня,
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня,

Не тех грандиозных поэтов,
Носителей громких имен,
Чьи стоны звучат еще эхом
В немых коридорах Времен.

Подобные трубным призывам,
Как парус седой — кораблю,
Они наполняют нас бурей, —
А я о покое молю.

Мне надо, чтоб дума поэта

В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние, хлынув
Иль жаркие слезы из глаз.

Поэт же и днем за работой
И ночью в тревожной тиши
Все сердцем бы музыку слушал
Из чутких потемок души…

Биенье тревожное жизни
Смиряется песней такой,
И сердцу она, как молитва,
Несет благодатный покой.

Но только стихи, дорогая,
Тебе выбирать и читать:
Лишь музыка голоса может
Гармонию строф передать.

Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень.

СТРЕЛА И ПЕСНЯ
© Перевод Г. Кружков

Я вдаль по ветру стрелу пустил, —
Взвилась, умчалась, и след простыл.
И верно: догонит ли взгляд стрелка
Стрелу, улетевшую в облака?

Я вдаль по ветру песню пустил, —
Взвилась, умчалась, и след простыл.
И точно: какой уследил бы взгляд
За песней, пущенной наугад?

Я эту стрелу через год нашел
В лесу далеком вонзенной в ствол.
И песню мою после всех разлук
От слова до слова пропел мне друг.

ВОДОРОСЛИ
© Перевод М. Бородицкая

В час, когда волну большую
Шторм, бушуя,
С шумом бьет о валуны,
Волны мчат навстречу скалам —
Вал за валом —
Водорослями полны.

С южных рифов, со скалистых,
Каменистых,
Синих солнечных Азор
Рвется прочь трава морская,
Рассекая
Атлантический простор!

На Гебриды, на Бермуды
Мчатся груды
Темных трав с морских полей:
От коралловых атоллов,
Скользких молов
И разбитых кораблей…

Долго травам плыть, кочуя,
Вечно чуя
Водяную круговерть;
Вдалеке, в прибрежных гротах,
Снова ждет их
Тишина, и сон, и твердь.

Так порой бурлит нежданный,
Ураганный
Страсти шквал в душе певца,

И со дна ее всплывают,
Оживают
Песни, песни без конца…

С островов, где блещут краски,
Где, как в сказке,
Зреют Истины плоды,
Где прибой слепит, сверкая,
Омывая
Райской Юности сады;

С берегов, где молчаливо
Ждет прилива
Воли каменный утес;
От Надежд, Судьбой разбитых,
Позабытых
В мертвом море тщетных слез…

Долго песням плыть, кочуя,
Вечно чуя
Глубь смятенную кругом;
В прочных книжных переплетах
Где-то ждет их
Навсегда покой и дом.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
© Перевод М. Донской

Померк закат.
У дома в ряд
На страже тишины стоят
Седые тополя.

Спит пруд, застыв
Под сенью ив.
Ночь затопляет, как прилив,
Окрестные поля.

Но тает мгла:
Луна взошла,
На небе звездам нет числа,
Их свет все озарил.

Как воздух чист!
Не дрогнет лист.
Вдруг тишину прорезал свист
От взмахов сотен крыл.

То осень шлет
Пернатый флот
Из тех краев, где снег и лед,
В далекий знойный край.

Протяжный клик
Ушей достиг…
Околдовал меня на миг
Призыв незримых стай.

О нет! О нет!

Внемли, поэт:
Звучал душе твоей в ответ
Не птиц осенний зов;

То шелест был
Не птичьих крыл:
Ты чутким ухом уловил
Полет крылатых слов.

Средь темноты
Подслушал ты
Скорбь, радость, песни и мечты…
И снова ночь тиха.

Так принесли,
Мелькнув вдали,
Они в безмолвный мрак земли
Гармонию стиха.

МОЯ УТРАЧЕННАЯ ЮНОСТЬ
© Перевод Н. Булгакова

Часто ласкаемый легкими снами
Город у моря я видел родной.
Мысленно я поднимался холмами
Улиц нагорных его — и мечтами
В юность стремил меня песни прибой.
Пенясь, стих лапландский плыл,
Странную имел он власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Помню деревьев склоненные кроны,
Море безбрежностью яркой слепит,
Блеск островов изумрудно-зеленый…
Мозг мой мальчишеский и воспаленный
Сказочных видел там дев Гесперид.
И журчал напев и плыл,
Сладкую таил он власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Темные стапели помню, причалы,
Вечно бормочущий что-то прибой.
И моряков бородатых оскалы,
Флагами с шхун потайные сигналы,
Пляску и магию зыби морской.
Своенравный голос плыл,
В нем звучала неги власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Помню я форта валы крепостные

И батарей огнедышащих пасть.
В память мне врезались взлеты сухие:
Звуки сигнальной трубы боевые,
Сбои и треск барабанов ей в масть.
И мотив далекий плыл,
Прежнюю имел он власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Помню, раскаты невиданной силы
С моря, где длилось сраженье, неслись.
Двух капитанов убитых могилы[28] —
Здесь же над бухтою их хоронили.
Честно они в том сраженье дрались.
И дрожащий голос плыл,
Чтоб наплакался я всласть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Помню деревьев прохладные руки,
Парка Оленьего яркий покой.
Дружества старого робкие звуки
Чудятся мне после долгой разлуки —
Голуби так прилетают домой.
И шептал напев и плыл,
Давнюю таил он власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Помню то вспышки немых озарений
В жарком мозгу, то сомнения страх.
Частью то смелые были прозренья
Взлетов безумных моих и падений,
Частью желаний томительный прах.
В памяти моей все плыл

Тот напев, таивший власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Многое есть, о чем лучше молчать.
Много есть тайных, возвышенных дум!
Много есть мыслей — и стоит начать
Их бесконечную нить, как скрывать
Слезы велит рассудительный ум.
Голос песни плыл и плыл,
И таил он рока власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

Странны теперь мне твои очертанья,
Город, в короткие встречи с тобой.
Сладостен воздух в минуты свиданья —
Платит целебной и благостной данью
Старому городу ветра прибой.
И в качаньях мерных плыл
Тот напев, таивший власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

В парке Оленьем все та же прохлада.
Сердце стремится навстречу мечтам
И средь видений минувшего радо
Снова пройти днями вечного сада,
Чтоб с своей юностью встретиться там.
И в повторах рощ все плыл
Тот мотив, таивший власть:
«Юнги страсть, как ветра страсть,
Незнакома ты с печалью…»

«КАМБЕРЛЕНД»
© Перевод Р. Дубровкин

На борту «Камберленда» у входа в залив
Мы стояли, готовые к бою,
И к утру барабана тревожный призыв
Прокатился вдоль скальной гряды
И у самой воды
Был подхвачен трубою.

И, завидя дымок сквозь рассветный туман,
Знали мы — из далекого порта
Приближается к нам броненосец южан:
Неуклюжим железом обшит,
Испытать он спешит
Прочность нашего борта.

С тяжким хрипом, надрывно и часто дыша,
Подступает стальная громада,
И в мгновенье одно наши мачты круша,
Смерть из каждого пышет ствола,
Все сжигая дотла,
Как дыхание ада.

Но и нам не к лицу оставаться в долгу:
Счет собратьям теряя убитым,
Мы ни в чем уступать не желаем врагу,
И в ответ на неистовый град
За снарядом снаряд
Бьет по кованым плитам.

«Бой проигран! Долой опозоренный флаг!» —
Нам изменник сигналит надменно.
«Нет, — кричим мы, — скорее погибнет моряк,

Но не сдастся на милость врага:
Честь ему дорога,
А свобода — священна!»

Но, как чудище черное древних легенд,
Навалился он грудью железной,
И на дно, содрогнувшись, ушел «Камберленд».
Только эхом в дали грозовой
Грянул залп громовой
Над сомкнувшейся бездной.

И когда занялся над равниной седой
День для новой, решительной битвы,
Колыхался, как прежде, наш флаг над водой,
Ветерок, ощутимый едва,
Доносил нам слова
Поминальной молитвы.

О сердца, что в бою обрели свой конец,
Вы не зря покорились пучинам,
О земля столь отважных и пылких сердец,
За измену поплатится враг,
И победный твой стяг
Станет снова единым!

ЧОСЕР
© Перевод Э. Шустер

На стенах дома, где живет старик,
Изображенья — сокол, лань, борзая;
Из парка жаворонка песнь живая
Влетает в дом, а с нею солнца блик —
Через витраж — и тьма уходит вмиг,
Мерцанью стекол пестрых уступая;
Старик смеется, пенью птиц внимая,
И пишет строчку. Труд его велик —
Он, этот бард зари, создал рассказы
Кентерберийские; сродни деннице
Его стихи, ведь в книге я слыхал
Крик петуха и звонкие проказы
Небесных птах и на любой странице
Цветов и пашни запах я вдыхал.

ШЕКСПИР
© Перевод Э. Шустер

Провалы улиц городских бездонных,
Где жизнь людская хлещет через край;
Повозок грохот; клич зовущих в рай
Солдатских горнов; моряки в притонах.
С судов, забытых у причалов сонных;
Звон с колоколен; крики, ругань, лай,
Земная грязь и, как бы невзначай
Сюда попавший, запах роз холеных!
Картину эту вижу, как открою
Том всех и вся затмившего поэта,
Который высшим Музами избран;
У Ипокрены с лирой золотою
Усажен он на троне Мусагета,
Священным лавровым венком венчан.

КИТС
© Перевод Г. Кружков

Бессмертно-юный, спит Эндимион[29],
Все в этом сне — и мука, и отрада;
Над пышной рощей — яркая лампада —
Луна, всходящая на небосклон.
Мир соловьиной песни упоен,
Но среди лета в воздухе прохлада;
Увы! пастух навек покинул стадо,
В тростник умолкший не подует он.
И я на белом мраморе читаю:
«Под этим камнем тот, чье имя было
Написано на волнах». — Неужель?
Нет, я другую надпись начертаю:
«Смерть неокрепший пламень погасила
И преломила хрупкую свирель».

ВЕНЕЦИЯ
© Перевод В. Левик

О лебедь городов, воды и солнца брат!
Уснувший, как в гнезде, меж тростников, средь ила
Лагуны, что тебя вскормила и взрастила,
Как все историки и гости говорят.

Подобный лилии гигантской, ты зачат
От моря синего, чья бездна охранила
Твои дома, дворцы, твой храм, твои ветрила,
И солнечную мощь, и рыцарский наряд.

О город призрачный, где вместо улиц — реки,
Где в зыбкой глубине узор, всегда скользящий,
Из кровель, портиков, и лодок, и мостков,

Мне кажется, вот-вот исчезнет он навеки,
Мираж: далекий флот, в безбрежность уходящий,
Иль замок, выросший на миг из облаков.

ТОМЛЕНИЕ
© Перевод Г. Кружков

Я жажду песни, дикой и простой,
Чтоб вдруг возникла из дневного гула
Иль на заре нечаянно плеснула
Волной соленой на берег пустой;
Чтоб всею горечью и остротой
Она вошла в меня и сон стряхнула
И, словно свежий ветер, всколыхнула
Моей души безжизненный застой.
Но песня не всегда на зов приходит,
Она по свету своевольно бродит,
Не останавливаясь ни на час;
Мы слышим звук — и принимаем чудо,
Не зная, почему оно, откуда
И повторится ли еще хоть раз.

СЛОМАННОЕ ВЕСЛО
© Перевод Г. Кружков

13 ноября 1864. Сегодня весь день дома, размышляю о Данте. Часто мне хотелось сделать на своем труде такую же надпись, как на обломке весла, выброшенном морем на исландский берег:

«Oft war ek dasa durek [char]ro thick».

(Часто я уставал, ворочая тобой.)

Однажды, возле берега пустого
Исландии, меж скал и валунов
Бродил поэт, ища последних слов,
Прощального «аминь» для книги новой.
Гремели волны мерно и сурово,
Взлетали чайки из-за бурунов,
И за грядой летящих облаков
Неярко догорал закат лиловый.
И вдруг волной бурлящей принесло
К его ногам разбитое весло,
И он прочел в нарезанном узоре:
«Как часто над тобой я уставал!»
Он эту фразу в Книгу записал —
И праздное перо закинул в море.

ДЖОН ГРИНЛИФ УИТТЬЕР

ПЕСНЯ СВОБОДНЫХ
© Перевод Г. Кружков

Пока я жив, буду утверждать право Свободного Высказывания, умирая, буду утверждать его; и, если я не оставлю другого наследства своим детям, я оставлю им в наследство Свободные Принципы и пример, как надо мужественно и независимо их отстаивать.

Дэниэл Уэбстер

Братья свободные!
Плещет над нами
Новоанглийское
Гордое знамя!
Пусть нам громами
Тучи грозятся —
Нам, северянам ли,
Бури бояться?
Нам изменить ли
Отцовским могилам —
Если свобода
Струится по жилам?

Прочь от нас — рабские
Цепи и плети!
Цепью не свяжешь
Море и ветер!
Цепью не свяжешь
Тучи и реки —
Новоанглийцы
Вольны навеки!

Вольны, как волны,
К морю катящие,
Вольны, как ветры,
В небе шумящие!

Над алтарями
Своими — клянемся:
С правдой и честью
Цели добьемся!
Примем присягу
Свято и вольно,
Рабству и гнету
Скажем: довольно!
Данным нам свыше
Правом рожденья —
Сердцу и слову
Освобожденье!

То, что вам раньше
Правда шептала,
Громко скажите —
Время настало;
Чтобы до неба
Клич размахнулся,
Чтобы кичливый
Юг содрогнулся!
С верою божьей
Свято и вольно
Рабству и гнету
Скажем: довольно!

ИКАБОД[30]
© Перевод В. Левик

Так пасть! Он яркий факел нес,
И вот конец!
Блиставший вкруг седых волос,
Увял венец.

Но павшего не тронь! Страстей
Смири порыв
И только слезы горько лей,
Презренье скрыв.

Что гнев иль ярость, если тот,
Кто в грозный час
Наш век вести бы мог вперед —
В ночи угас.

Презренье! Ангелов смеша, —
Как божий враг,
Низверглась яркая душа
С вершины в мрак.

Хотя гордилась им страна,
Хоть все ушло,
Пусть не клеймит стыдом она
Его чело,

Но пусть от моря до озер,
Потрясены,
Рыдают, как надгробный хор,
Ее сыны.

Где слава, честь — и след их стерт,
Все давит страх.
Восставший ангел мыслью горд,
Но он в цепях.

Душа из глаз ушла, как свет,
Померкнул взор.
Тот — труп, кому доверья нет,
На ком позор.

Почтим же то, что было в нем
И без обид,
Лишь отвратив глаза, уйдем,
Скрывая стыд.

ОХОТНИКИ НА ЛЮДЕЙ
© Перевод М. Бородицкая

Вы слышите рог? На охоту, скорей!
На гонку, на ловлю, на травлю людей!
Вперед, через горы, леса и болота
Почтенные граждане мчат на охоту.
Чу! Крики загонщиков, топот и рев,
И лай, и рычание спущенных псов…
Отличнейший спорт! Благородное дело!
Дай боже, чтоб дичью земля не скудела!
Гей, все на охоту! За нами, скорей —
На гонку, на ловлю, на травлю людей!

Удачи охотникам! Мчит вереница,
Азартом и гордостью светятся лица:
Священник в сутане, политик, солдат —
На травлю веселую дружно спешат;
И трезвый, и пьяный, и чистый, и грешный —
Все едут, все жаждут охоты успешной…
И добрая женщина, мать и жена,
Охотою славною увлечена:
Для блага несчастных, — скорей же, скорей —
На гонку, на ловлю, на травлю людей!

О, вид грандиозный! Узрите, народы:
В свободном краю, и во имя свободы,
Министр и священник, купец и солдат
Садятся в седло и на травлю спешат, —
На травлю людей, что родиться посмели
Курчавыми, с черною кожей на теле!
Ату негодяев! Они не спасутся,
Охотники бравые вихрем несутся,
Сердца их не дрогнут… Скорей же, скорей —

На гонку, на ловлю, на травлю людей!

Но все тяжелее охотники дышат,
И клич боевой все слабее и тише…
На помощь! Пусть каждый в стране патриот
Посильную лепту в охоту внесет.
На помощь! Устали собаки и кони,
Лицом беглецы обернулись к погоне;
Как смеют они посягать на права
В стране, где Свобода покуда жива?!
Поможем охотникам! Пусть поскорей
Отправятся снова на травлю людей!

Поможем охотникам! Можно ль скупиться?
Мрачнеют их гордые, славные лица!
Священник отстал, и бесстрашный солдат,
Оставшись один, воротился назад;
Политик вздыхает, и в мудрых очах —
Взгляните — мелькают сомненья и страх…
На помощь, коль живы еще патриоты!
Отступит сенатор — не станет охоты;
И кто же помчится тогда средь полей
На гонку, на ловлю, на травлю людей?!

В КОРОЛЕВСКОМ ПОРТУ
© Перевод В. Лунин

Огни — в палатках у воды,
Огни — на судне сонном.
Занесены песком следы
В Тайби уединенном.

Мы к кораблю средь волн морских
Плывем в полночный час.
Поют гребцы, и песня их
Ошеломляет нас.

Той песни дивные лады
Как золота крупицы.
В песках неправды и беды
Так мало их таится!

Безумно жизнь рабов тяжка
Под властью господина.
Слились и радость и тоска
В их песне воедино.

Краснее, чем закат, пожар
На западе стеной,
Там, где коровник и амбар
Горят порой ночной.

Он всю страну мою привел
К разрухе и разгрому.
Его кровавый ореол
Идет от дома к дому.

Улыбки бродят на губах,

Пожаром озаренных.
И не заметны боль и страх
На лицах изнуренных.

Мотиву в такт гребут рабы,
Ткут звуки, как одежды.
И в песне — горечь их судьбы
И светлые надежды.

Словно в напеве Мириам[31],
Звучит в ней ликованье,
И птиц свободных звонкий гам,
И с прошлым расставанье.

ПЕСНЯ НЕГРОВ-ГРЕБЦОВ

Молись и пой! Настанет день,
Когда Господь придет!
Хозяина ждет Судный день,
Раба его — исход!

Бог море Красное сомкнул.
Он любит наш народ.
Он говорит: «Кто спину гнул,
Свободу обретет!»

Растет маис, поднялся рис,
Табак, хлопчатник, джут.
Не бойся, друг! Забудь испуг!
Навек исчезнет кнут!

Настанет час, когда от нас
Хозяева сбегут.
Бог сдует их с земли тотчас
И снимет с нас хомут.

Есть плуг у нас, есть ветхий кров,
Найдется и еда…
Мы будем продавать коров,
Людей же — никогда!

Растет маис, поднялся рис,
Табак, хлопчатник, джут.
Не бойся, друг! Забудь испуг!
Навек исчезнет кнут!

Сказал нам Бог: «Придет и к вам
Желанная свобода!»

Об этом ветер пел ветвям,
Слетая с небосвода.

Об этом грезим наяву
И в снах порой ночной.
Об этом громко в синеву
Кричит орел степной.

Растет маис, поднялся рис,
Табак, хлопчатник, джут.
Не бойся, друг! Забудь испуг!
Навек исчезнет кнут!

Как мученик, что сел в острог,
Мы жаждем избавленья.
Нам это обещает Бог.
Мы ждем его явленья.

Господь придет и отопрет
Темницы мрачной дверь,
Полюбит Бога наш народ
Еще сильней теперь.

Растет маис, поднялся рис,
Табак, хлопчатник, джут.
Не бойся, друг! Забудь испуг!
Навек исчезнет кнут!

Поют гребцы чернее тьмы
Про боль свою и грезы,
И слушаем их песню мы
С улыбкою сквозь слезы.

Нам не близки рабов мольбы.
Чужда нам их тревога.
Но веруем, как и рабы,

Мы в справедливость Бога.

Их песнь наивна и груба.
Их лица полны страсти.
Ужель зависит от раба
Моя беда иль счастье?

Для угнетенных и господ
Едина правда Бога.
Рабов и нас вперед ведет
Одной судьбы дорога.

Пусть песнь звучит! Она для нас
Знак смерти иль расцвета.
Она — песнь Валы[32]. Вещий глас
Про будущие лета!

БАРБАРА ФРИТЧИ
© Перевод М. Зенкевич

Утром сентябрьским над жнивом полей
Фредерик-город блестел светлей

Шпилями крыш, и зеленый вал
Холмов Мэриленда его окружал.

Фермеров вознаграждали сады
Золотом яблок за все их труды.

Но привлекали, как рай, их сады
Взгляды голодной мятежной орды.

Полднем осенним чрез город прошли
Отряды южан с генералом Ли.

Пешие, конные шли войска
По улицам тихого городка.

Немало флагов утром взвилось,
Серебряных звезд и красных полос,

Но в полдень, как в город ворвался враг,
Спущен повсюду был звездный флаг.

Барбара Фритчи врагам в ответ,
Старуха почти девяноста лет,

Отважилась дряхлой рукой опять —
Мужчинами спущенный — флаг поднять.

И взвился флаг с чердака из окна,

Ему до конца она будет верна!

Отряд свой по улице мимо вел
Верхом на мустанге Джексон Стонвол.

Надвинув шляпу, смотрел он вокруг,
И флаг северян он увидел вдруг.

«Стой!» — и встал смуглолицый отряд.
«Огонь!» — и грянул ружейный раскат.

Звякнуло в раме оконной стекло,
Флаг изрешеченный с древка снесло,

Но грохот ружейный еще не смолк,
Когда подхватила Барбара шелк.

На улицу высунувшись из окна,
Простреленным флагом взмахнула она:

«Стреляйте в седины моей головы,
Но флага отчизны не трогайте вы!»

И тень раскаянья, краска стыда
По лицу командира скользнула тогда.

На мгновенье задумался он, молчалив,
И победил благородный порыв.

«Кто тронет ее, как собака, умрет!» —
Он крикнул, промчавшись галопом вперед.

И целый день проходили войска
По улицам тихого городка,

Но флаг развевавшийся взять на прицел

Никто из мятежников больше не смел.

Не рвал его шелка внезапный шквал,
Но ласковый ветер его развевал.

И солнце между холмами, из туч,
Ему посылало прощальный луч.

Барбары Фритчи на свете нет,
И прахом развеян мятежников след.

Честь ей и слава! О ней мы поем.
Стонвола помянем не лихом — добром!

Над прахом Барбары Фритчи родным
Союзное знамя с почетом склоним!

Принес и порядок, и мир, и закон
Тот флаг, что был ею к окну прикреплен.

Пусть звезды неба смотрят сквозь мрак,
Как веет над городом звездный флаг.

ВЪЕЗД ШКИПЕРА АЙРСОНА
© Перевод М. Зенкевич

Немало волшебных поездок в веках
Прославлено в сказках, воспето в стихах, —
Из книг Апулея осел золотой,
Календара копь весь из бронзы литой,
На метлах летавшие ведьмы во мрак,
Носивший пророка скакун Эль-Борак,
Но все ж необычней поездок всех лет
Был въезд Флойда Айрсона в Марблхэд.
За то, что Флойд Айрсон не спас никого,
И в дегте и в перьях возили его
Женщины Марблхэда!

Как филин облезлый, как мокрый индюк,
С повисшими крыльями связанных рук,
Весь черный от дегтя, весь в перьях, нагой —
Так шкипер Флойд Айрсон стоял пред толпой,
А свита из женщин седых, молодых,
Здоровых, горластых, худых, разбитных
Везла на повозке его, и свой гнев
Они изливали в протяжный припев:
«Вот шкипер Флуд Ойрсон! Он ближних не спас
И в дегте и в перьях стоит напоказ
Женщинам Марблхэда!»

Кричали старухи, морщинисты, злы,
Кричали девицы, румяны, белы,
Как будто, сверкая сиянием глаз,
Вакханки сошли с древнегреческих ваз,
Растрепаны платья, платки, волоса,
Охрипли от выкриков их голоса,

И, дуя в свирели из рыбьих костей,
Вопили менады все громче, сильней:
«Вот шкипер Флуд Ойрсон! Он ближних не спас
И в дегте и в перьях стоит напоказ
Женщинам Марблхэда!»

Не жалко его! Он безжалостен был,
Ведь он мимо шхуны тонувшей проплыл,
Не тронул его погибающих зов,
Не снял и не спас он своих земляков.
Донесся их крик: «Помогите вы нам!»
А он им ответил: «Плывите к чертям!
На дне много рыбы припас океан!»
И дальше поплыл он сквозь дождь и туман.
За то, что Флойд Айрсон не спас никого,
И в дегте и в перьях возили его
Женщины Марблхэда!

В заливе Шалер на большой глубине
Покоится шхуна рыбачья на дне.
Жена, и невеста, и мать, и сестра
Со скал Марблхэда все смотрят с утра,
В туманное мрачное море глядят,
Но те, кого ждут, не вернутся назад.
Лишь ветер да чайки доносят рассказ
О том капитане, что ближних не спас.
За то, что Флойд Айрсон не спас никого,
И в дегте и в перьях возили его
Женщины Марблхэда!

На улице каждой с обеих сторон
Кричали ему из дверей и окон.
Проклятья старух, старых дев, стариков
Он слышал в пронзительном реве рожков,
И волки морские, друзья-моряки,

От гнева сжимали свои кулаки,
Калеки грозили, подняв костыли,
Кричали, когда его мимо везли:
«Вот шкипер Флуд Ойрсон! Он ближних не спас
И в дегте и в перьях стоит напоказ
Женщинам Марблхэда!»

Цвела вдоль Салемской дороги сирень,
Манила под яблони светлая тень,
Но шкипер не видел зеленой травы
И яркой небесной густой синевы,
Безмолвно в потоке народном он плыл,
Как идол индейский, зловеще-уныл,
Не слышал, как все его хором кляли,
Как громко кричали вблизи и вдали:
«Вот шкипер Флуд Ойрсон! Он ближних не спас
И в дегте и в перьях стоит напоказ
Женщинам Марблхэда!»

«Сограждане, слушайте! — он закричал. —
Что мне голосов ваших горестный шквал?
Что значит мой черный позор и мой стыд
Пред ужасом тем, что меня тяготит?
Ведь ночью и днем, наяву и во сне
Со шхуны их крик все мерещится мне.
Кляните меня, но ужасней есть суд,
Я слышу, как мертвые в море клянут!»
Сказал так Флойд Айрсон, что ближних не спас
И в дегте и в перьях стоял напоказ
Женщинам Марблхэда!

Сказала погибшего в море вдова:
«В нем совесть проснулась! Что наши слова!»

Единого сына погибшего мать
Сказала: «Придется его отвязать!»
И женщины, сердцем суровым смягчась,
Его отвязали, а деготь и грязь
Прикрыли плащом — пусть живет нелюдим
Со смертным грехом и позором своим!
Злосчастный Флойд Айрсон не спас никого,
И в дегте и в перьях возили его
Женщины Марблхэда!

РАССКАЗ О ПЧЕЛАХ
© Перевод Э. Шустер

Вот тропа моя; сколько раз по ней
Я с холма спускался;
Вот пролом в стене, вот и мой ручей —
Плещет на камнях, как тогда плескался.

Все такой же дом, только тополя
Стали чуть повыше;
Скот в ограде весь; снова вижу я
Низкий длинный хлев с побуревшей крышей.

Ульи на лугу выстроились в ряд,
Но не видно что-то
Тех гвоздик, нарциссов — вместо ровных гряд
Над ручьем теперь заросли осота.

Черепахой полз горький этот год,
И опять все то же
Ручеек поет, так же солнце жжет,
И куст роз цветет, как всегда, пригожий.

Ветерок несет запахи травы;
Огненною птицей
Солнце сквозь шатер сумрачной листвы
На Фернсайдский дом, как тогда, садится.

Помню, как, надев праздничный костюм,
Поспешил я к милой;
От любви пылал воспаленный ум,
Лишь вода ручья лоб мой остудила.

Не был месяц здесь перед этим я

И теперь с отрадой
Видел над колодцем шею журавля
И знакомый дом с каменной оградой.

Помню, как сейчас, — косо брызжет свет,
Угасает солнце,
Торжествует роз сочный алый цвет,
Узкий луч упал на ее оконце.

Все здесь, как тогда, тридцать дней назад, —
Ставшие родными
Сад и дом, а вот зреет виноград;
Показались мне ульи лишь чужими.

Взад-вперед в саду ходит возле них
Девочка из хора,
Ходит и поет, голос грустен, тих,
А на ульях креп, тягостный для взора.

И от песни той солнце стало льдом;
Я ведь знал и точно —
Девочка поет пчелам лишь о том,
Что один из нас в путь ушел бессрочный.

Я пробормотал: «Как мне Мэри жаль,
Видно, дед скончался;
Он был болен, слеп; смерть всегда печаль,
Но в конце концов здесь он исстрадался».

Вдруг завыл в тоске верный Мэри пес;
Дед сидел у дома,
Девочка же пела, не скрывая слез,
Песню, что пчеле каждой так знакома.

Не забыть мне слов, что я разобрал,
Подошедши к двери:

«Будьте дома, пчелки, страшный час настал!
Больше нету здесь нашей славной Мэри!»

ОЛИВЕР УЭНДЕЛЛ ХОЛМС

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
© Перевод М. Зенкевич

Я видел как-то раз:
Проходил он мимо нас,
Дряхл и стар,
Такой смешной и жалкий,
Щупал суковатой палкой
Тротуар.

Он прежде был красавец,
Покорял когда-то, нравясь,
Все сердца.
В целом городе другого
Не могли б найти такого
Храбреца.

Теперь один вдоль улиц
Ковыляет он, ссутулясь,
Дряхл и сед.
Низко голову опустит,
Словно встречным шепчет в грусти:
«Тех уж нет».

Давно покрыты мохом
Те уста, что он со вздохом
Целовал.
Глохнут на могильных плитах
Звуки тех имен забытых,
Что он знал.

От бабушки покойной
Слышал я — он был как стройный
Полубог,

С безупречным римским носом
И подобен свежим розам
Цветом щек.

Навис на подбородок
Нос его крючком урода.
Чужд для всех,
Он проходит, тяжко сгорбясь,
У него, как эхо скорби,
Сиплый смех.

Над ним грешно смеяться,
Но кто в силах удержаться,
Если он
В треуголке и в зеленых
Старомодных панталонах
Так смешон!

Если в смене поколений
Буду я, как лист осенний,
Тлеть весной,
Пусть другие песни льются,
Пусть, как я над ним, смеются
Надо мной!

РАКОВИНА НАУТИЛУСА
© Перевод Г. Кружков

Вот этот перламутровый фрегат,
Который, как поэты говорят,
Отважно распускает парус алый
И по ветру скользит
Туда, где под водой горят кораллы
И стайки нереид
Выходят волосы сушить на скалы.

Но больше он не разовьет свою
Прозрачную, живую кисею;
И весь тенистый лабиринт, в котором
Затворник бедный жил
И, увлекаясь радужным узором,
Свой хрупкий дом растил, —
Лежит разрушенный, открытый взорам.

Как год за годом уносился вдаль,
Так за витком виток росла спираль,
И потолок все выше поднимался;
И в каждый новый год
Жилец с приютом старым расставался,
Закупоривал вход
И в новообретенном поселялся.

Спасибо за высокий твой урок,
Дитя морских блуждающих дорог!
Мне губ немых понятно назиданье;
Звучнее бы не мог
Трубить Тритон, надувшись от старанья,
В свой перевитый рог;
И слышу я как бы из недр сознанья:

Пускай года сменяются, спеша, —
Все выше купол поднимай, душа,
Размахом новых зданий с прошлым споря,
Все шире и вольней! —
Пока ты не расстанешься без горя
С ракушкою своей
На берегу бушующего моря!

ДОВОЛЬСТВО МАЛЫМ
© Перевод Г. Кружков

Немного нужно человеку...

Голдсмит

Мои желания скромны:
Иметь свой дом, хотя б лачугу —
Четыре каменных стены,
Фасадом хорошо бы к югу;
Мне безразличен внешний вид:
Сойдет и *простенький* гранит.

В еде не знаю я причуд
И ем все самое простое;
К чему мне десять разных блюд?
Пусть будут рыба, дичь, жаркое...
А нет жаркого на столе —
Согласен я на крем-брюле.

Что мне до слитков золотых!
Пусть будет стопка ассигнаций,
Пай в банке, пара закладных,
Пакетик горнорудных акций;
Хочу лишь, чтобы мой доход
Немножко превышал расход.

Почет, известность — что мне в том?
Ведь титулов блистанье ложно.
Я стал бы, может быть, послом
(Поближе к Темзе, если можно),
Но президентом — никогда,
Нет-нет, *увольте,* господа!

Что до камней, так я не франт,
Чужды мне роскоши затеи;
Для перстня недурной брильянт,
Другой — в булавку — *поскромнее,*
Один-другой рубин, топаз…
Грех выставляться напоказ.

Я б наказал своей жене
Как можно проще одеваться:
Шелка китайские вполне
Для платьев будничных годятся;
Но уж *совсем* без соболей
Нельзя — зимою в них теплей!

Я не стремлюсь, чтоб мой рысак
Всех обгонял, летел стрелою…
Миль тридцать в час — хотя бы так —
Мне *хватит* этого с лихвою;
Но если сможет поднажать —
Не стану тоже возражать.

Из живописи я б хотел
Две-три работы Тициана
(Он в колорите очень смел)
И Тернера пейзаж туманный:
Зелено-золотистый фон,
Закат и дымный небосклон.

Книг — *минимум;* томов пятьсот,
Чтоб были под рукой (тут важен
Рабочий, ноский переплет),
А остальные — в бельэтаже;
И полка маленьких чудес —
Пергамент, золотой обрез!

Камеи, статуи, фарфор
Люблю я с детства и поныне
За то, что услаждают взор,
А не из суетной гордыни;
Мне *ни к чему* органный зал, —
Но Страдивари я бы взял.

Противна мне магнатов спесь,
Как золоченая пилюля:
Пусть столик будет мой *не весь*
Покрыт мозаикою Буля.
Качайте прибыль, как в хмелю;
А я в качалке подремлю.

И если я других даров
Судьбой не буду удостоен,
Я благодарен ей без слов
И так — за то, что я спокоен,
Спокоен, удовлетворен,
В желаньях прост, душой смирён.

БЕЗГЛАСНЫЕ
© Перевод М. Зенкевич

Надгробья с лирами мы чтим,
Где спят умолкшие поэты,
А их собратья под густым
Бурьяном сорным — кем воспеты?
Немногим жребий славный дан
Коснуться струн в игре напевной,
Другим — лишь боль сердечных ран
В безмолвье музыки душевной!

О нет, не проливайте слез
По выразившим горе песней, —
А по безгласным, тем, кто нес
Тяжелый крест, чтоб пасть безвестней.
Не там, где у левкадских скал
В прибое слышен Сафо голос, —
Там, где росою засверкал
Над безыменным прахом колос!

Сердца, которым суждено
Страданье в немоте бессильной,
Пока сердечное вино
Не выжмет Смерть своей давильней!
Когда б могли звучанья лир
Дать голос каждой скрытой муке,
Какие б песни слышал мир,
Каких мелодий дивных звуки!

ПОД ВАШИНГТОНОВСКИМ ВЯЗОМ, В КЕМБРИДЖЕ, 27 АПРЕЛЯ 1861 ГОДА
© Перевод М. Бородицкая

Помнишь ли, вяз-исполин?
Здесь собиралась рать:
Наши отцы из окрестных долин
Шли под знамена, клялись, как один,
Жизнь за свободу отдать.

Не был их труд завершен:
Бой нам еще предстоит…
Кембридж, Конкорд и Лексингтон!
В сих именах для грядущих племен
Слава иль срам прозвучит?

Чу! Это ветер донес
С юга далекого стон.
Проклятый город убийств и угроз
Залит потоками крови и слез,
Призраками населен.

Буря идет — не робей!
Лучше, дружище, стократ
Сгибнуть от молнии, чем от червей,
Что притаились во тьме у корней,
Точат, грызут и гноят.

Будут враги сражены.
Ждет нас победа, бойцы!
…В шелесте листьев услышат сыны,
Как за свободу, за счастье страны

Бились в апреле отцы.

ВОЕННАЯ ПЕСНЬ ПУРИТАН НА ХАНААН
© Перевод И. Копостинская

Куда ваш путь, солдаты,
Под стягом сквозь туман?
Во имя Господа на юг
Идем, на Ханаан.

Кто вас ведет к повстанцам
Вдоль грозных берегов?
Святого воинства отец,
Великий Саваоф.

На Ханаан, на Ханаан
Нас в бой Господь ведет,
Чтоб трубный глас услышал враг,
Зов северных высот.

Чей флаг по склонам реет
Меж небом и землей?
С ним умирали предки,
Отцы ходили в бой.

Не раз дождем кровавым
Он тек среди руин.
Что начертал на нем Господь?
«Будь человек един».

На Ханаан, на Ханаан
Нас в бой Господь ведет
Поднять над крепостью врага
Стяг северных высот.

Но чье за вами войско
С лопатой да кайлом?
То темноликие рабы
Идут в строю литом.

Они врагов свободы
С лица земли сотрут,
К чему им гнет владельцев
И подневольный труд?

На Ханаан, на Ханаан,
Нас в бой Господь ведет.
Там Север шпагой и киркой
Все цепи разомнет.

Откуда песня эта?
Ее поют с тех пор,
Когда за Моисеем вслед
Пошел могучий хор.

На Ханаан, на Ханаан! —
Клич пасторов и дев.
На Ханаан, на Ханаан
Народ обрушит гнев.

На Ханаан, на Ханаан
Нас в бой Господь ведет.
Грозою по гнездовьям змей
Гимн Севера пройдет.

Врагов, как пыль, рассеем,
Их крепость канет в прах.
А что потом случится, —
У Господа в руках.

Сломаем жезл тирана,
Народ взойдет на троп.
Освободим всю землю
От тяжести корон.

На Ханаан, на Ханаан
Нас в бой Господь ведет.
Метелью Севера сметем
Бунтовщиков оплот.

ДОРОТИ К.
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
© Перевод Н. Булгакова

Это не попытка рассказать историю Дороти К. незатейливой прозой, а небольшое добавление к ней.

Дороти была дочерью судьи Эдмунда Квинси и племянницей Иосифа Квинси-младшего, молодого патриота и оратора, который умер незадолго до Американской Революций. Он был одним из самых деятельных и пламенных ее устроителей. Сын последнего, Иосиф Квинси был первым майором г. Бостона, он дожил до глубокой старости, пользуясь всеобщим уважением.

Полотно обветшало и нуждалось в реставрации, — да и удар рапирой, которому он подвергся, лишь укрепил меня в моем решении восстановить холст.

Бабушки мать: ей тринадцать лет
Или чуть меньше — скажет портрет.
Лоб ее гладкий прической скрыт,
Плечи худые, но взрослый вид,
Нецеловавшие детские губы,
Складки парчи ниспадают грубо,
Вам прелесть знакома подобных лиц —
Так тогда рисовали девиц.

Попугай на ее руке —
Сколько спокойствия в малом мирке!
Но к свету холст поверни рукой —
Рваная рана с темной каймой,
По краю — пыли тонкий муар:
Рапирой был нанесен удар

Мундиром Красным[33] — об этом не раз
Слыхали мы леди старой рассказ.

Имя художника трудно назвать —
Был он из тех, кого можно не знать.
Жесткой его манера была —
Холст слишком розов и мало тепла.
Но пламенеет слабо щека,
На белом кармин проступает слегка,
А в хрупкости — тайный намек на стать
И обещанье блестящей стать.

Но Дороти К. отнюдь не смешна —
Прирожденная леди она.
Норманнское имя ее хранит
Доныне в анналах истории бритт.
С оных времен и до наших дней
Род их достоин славы своей.
Пращура не запятнали седин
Судья и брат его — города сын.

Дороти, странным подарком судьбе
Был дар, каким я обязан тебе.
Щедрее мог бы один король
Сына иль дочь одарить — вот сколь
Милость твоя велика была:
Все мои титулы, званья, дела,
Сердца владенья, ума и рук —
В тебе, прибавь мой семейный круг.

Что, если б робкие губы в ответ
Проговорили тихое «нет»?
Если б сомнение было сильней
Проблеска чувства в сердце у ней?
Бровь бы не дрогнула у нее —

Вот вам честное слово мое.
Но стал бы я тем, кто ныне есть я, —
Бог один только тому судья.

Выдоха легче девичье «да» —
Так паутинок летит фата;
Но никогда никакой канат
Лучше не держит в штормы и хлад
И ничьей больше речи звук
Долго так не звучал округ!
Отзвук этот еще и теперь
В голосе многих живет людей.

Эдвард и Дороти! Как далеки
Тени ваши теперь и легки!
Но годы летят, и явлены мы —
Душа и плоть приходят из тьмы.
Счастливей у времени случая нет
В стихах рассказать о событьях тех лет.
Славить мне Дороти или простить
За день, который велел мне жить?

Славнейшая Дороти из девиц!
Я приглашу мастеров, мастериц,
Чтоб залечить небольшой изъян —
Красный Мундир был излишне рьян!
Пусть, как в утро творенья, легка
Твоя улыбка пройдет сквозь века
И в своей молодости второй
Сияет, пленяя нас красотой!

АМЕРИКА — РОССИИ
5 августа 1866 года
© Перевод М. Бородицкая

Прочитано достопочтенным Г.-В. Фоксом в Санкт-Петербурге на обеде в честь миссии Соединенных Штатов.

Меж нами океан пролег
Без края и конца…
Но в дружбе Запад и Восток,
И бьются в лад сердца!

Наш славный бриг пустился плыть
В тумане штормовом,
Чтоб дружбу давнюю скрепить
Еще одним звеном.

И пусть ярится океан,
Грохочет грозный шквал,
И пусть бушует ураган
У диких финских скал!

Вперед! Вперед! Взлетай, наш флаг,
Над светлою Невой
Гремит у пушек на устах
Привет наш громовой.

Но ветвь оливы с высоты
Над пушками царит,
И белопенные цветы
Ложатся под бушприт…

Наш трюм не полон до краев
Пшеницей золотой,
Ни ценным даром рудников —
Невадскою рудой;

Нас налегке несет крыло
Раздутых парусов:
Наш груз — сердечное тепло
Далеких земляков!

В годину черную войны,
Во мраке тяжких бед,
Из дальней северной страны
К нам пробивался свет.

И вот теперь лучи вам шлет
Сквозь тропики и льды
Огней сплоченный хоровод
Вкруг Западной Звезды.

Прими ж народного гонца,
О младший брат Москвы!
Швартуем мы свои сердца
У берегов Невы.

ДЖЕЙМС РАССЕЛ ЛОУЭЛЛ

УЛИЦА
© Перевод Д. Сильвестров

Они снуют, как тени, меж домами,
В неясные фантомы сплетены,
Как саваном, окутаны телами,
В которых души их погребены.
Их дни тянулись без любви, без веры,
И с Небом не за совесть, а за страх
Они сражались, предпочтя химеры, —
Чтоб победить и обратиться в прах.
И стогнами разверстого кладбища
Слоняются, не преклоня главы,
И верещат, — могил несытых пища:
«Одни лишь мы живые, вы — мертвы».
Несчастные! Застыл в безмолвном крике
Знак эпитафии на каждом лике.

ХОЗЯИН
© Перевод Д. Сильвестров

В домах и землях есть ли прок?
От купчих и оград, струясь
Ручьем, когда настанет срок,
Они в кладбищенский песок
Уйдут, над жадностью глумясь.

Тогда умолкнешь, стиснут вдруг
Землей, что ты держал в руках.
Ком липкой глины! Свой досуг
Умножив, завершишь свой круг
И в жалкий возвратишься прах.

Копи! Бедняк какой-нибудь,
Что жив смекалкой и умом,
Отыщет в этом мире суть:
Господь ему укажет путь,
Ему достанется твой дом.

Все, чем владеешь, с давних пор
Он обращает в свой доход,
И, взявши серп или топор,
Леса, луга, вершины гор —
Всю землю он приобретет.

В палатах ты не усидишь:
Он правит всей твоей судьбой.
Ты сладко ешь и мягко спишь,
Он — нищ, как полевая мышь,
Но он — хозяин над тобой!

Твое безделье лишь взрастит

Траву на всхолмленной земле, —
Его же слово оросит
Дождем — и солнцем озарит
Мир, заблудившийся во зле.

Размер могильного холма
Твои владенья обретут, —
Но не смогла б и Смерть сама
Отнять владения ума
И обесценить честный труд.

ОНА БЫЛА, ЕЕ УЖ НЕТ
© Перевод Д. Сильвестров

Трепещет лист, едва-едва
Поющей птахою задет, —
Мерцают в памяти слова:
Она была, ее уж нет.

Вбирает озеро без края
Небесный бесконечный свет,
Но исчезает проблеск рая:
Она была, ее уж нет.

Пришла — как ранняя весна
Чредой стремительных примет
Сад отрешает ото сна —
И вот теперь ее уж нет.

Как ангел на одно мгновенье
Влетел, а там — пропал и след,
Она осталась, как виденье,
Со мной, когда ее уж нет.

Тускнеет день. Едва хранит
Лампада — пламя долгих лет;
Один лишь луч во мне горит:
Она, которой больше нет.

КОШУТ[34]
© Перевод Д. Сильвестров

Древнейший род сойдет на нет,
Ветвь королевская увянет;
Знакомый каждому предмет
Природа охранять не станет.

Но те, кто ввысь свой дух простер,
Как звезды на небе, горят;
Темница, плаха и костер
Их никогда не истребят.

Собрав оружие свое,
Природа сокрушает рок,
А затупится острие —
Придет святой или пророк.

Земля мадьяр! Пускай тиран
Разорванную цепь скует.
Тебе высокий жребий дан,
Ты свергнешь ненавистный гнет.

В смертельных муках и борьбе
Ты подвиг совершила свой, —
И слава снизошла к тебе,
И землю посетил герой.

Тебя он спас — и умер. Что ж!
Ему в могиле не страшны
Казачьи орды или нож,
И нам слова его слышны.

«Я — Кошут. Будущее! Ты,
Что обеляешь иль чернишь,
Склонись ко мне, и пусть цветы
Растит кладбищенская тишь.

Я избран был как трубный глас
Господень, сотрясавший твердь.
Оковы смерти ждут всех нас,
Но этот зов сильней, чем смерть!»

НАРУЖИ И ВНУТРИ
© Перевод М. Зенкевич

Мой кучер ждет меня наружи.
Как лошади, и он продрог,
Клянет он резкий ветер стужи, —
Ругаться так и я бы мог.

В кулак оцепеневший дуя
И топая у двери там,
Хотел бы он, чтоб был в аду я,
И шлет меня ко всем чертям.

Наверно, видит он оттуда,
Прижав замерзший нос к стеклу,
Как бело-розовое чудо
Веду я под руку к столу.

Счастливцем с ношей драгоценной
Сейчас я перед ним предстал,
Он слышит выстрел пробки пенной
И видит золотой бокал.

А я с такою же тоскою,
В гостях у старого осла,
Завидую его покою
Там, за окном, где ночь светла.

Ведь холодней зимы раздольной
Улыбок блеск вокруг меня.
Кислей вина и тост застольный,
И чопорная болтовня.

Он ноги обмотал отрепьем,

А я прильнувшую к плечу
Тоску с ее великолепьем,
Как раб галеру, волочу.

Мы с ним судьбу одну и ту же
Сменяли б — так же до зари,
Как он, скучал бы я наружи,
Как я, скучал бы он внутри!

«Не нужно, чтоб любви прекрасной цвет…»
© Перевод Д. Сильвестров

Не нужно, чтоб любви прекрасной цвет
На стебле одиноком возрастал
И в диадеме, в коей проку нет,
Отсвечивал безжизненный металл.
Восточным древом сделаться бы ей
С невянущею зеленью ветвей, —
Ведь той любви, которой далека
Любовь ко всем, цена невелика.
Поэт напрасно славит мир иной,
Где души, порознь, вне добра и зла,
Парят, раскрыв незримые крыла.
О нет, любовь смыкает круг земной
И к единенью братскому стремит,
И очищает, и животворит.

ИСПЫТАНИЕ
© Перевод Д. Сильвестров

I

Глядит ли сквозь стальную ячею
Злосчастный узник с болью и тоской
На клок травы, что чахнет день-деньской,
Пробившись меж камней, равно свою
Приемля долю блага и невзгод,
Которые Господь ему пошлет;
Вероученью ль посвятив усилья,
Корпит над ним весь век один из тех,
Кто слышит в отдаленье детский смех, —
И зябко прячет сморщенные крылья;
Иль раб из Джорджии, поднявши взор,
Вдруг видит парус, что в морской простор
Стремится, — в их душе огонь зажжен
Одною искрой тайного желанья
Свободы, воскрешающей сказанья
О доблестных делах былых времен.

II

И все же дар прекрасней во сто крат
Получит лишь отважившийся с бою
Взять то, что предназначено судьбою
И потому бесценней всех наград;
Нас манит бремя творческих тревог,
И счастлив тот, кто риск изведать мог.
Всю жизнь, за камнем камень, мы собою

Возводим храма царственные своды,
Где, Испытанием освящено,
Из чаши, жертвой на алтарь Свободы,
Струит свой ток бессмертное вино.

ПОЛОЩУЩИЕ САВАН
© Перевод Д. Сильвестров

Я шел вдоль берега, куда не зная;
Мои мечты не ведали оков,
И душу леденила тьма ночная;
Фантом луны сквозил меж облаков,
Чуть брезжила в тумане даль речная.

Несли во мгле над лугом светляки
Свой ореол, как пух чертополоха;
Вдруг, словно лай псов Одина с реки
Иль шум бесовского переполоха,
Смех чей-то эхом прянул в тростники.

И смолкло все, но вновь нарушил тишь
То ль под мостками плеск волны о жерди,
То ль зверем потревоженный камыш,
И услыхал я: «Это воды смерти!
Полощут саван Сестры, — уходи ж!»

Но что могло меня предостеречь?
Я увидал трех норн. Как тяжко бремя
Прясть эту нить, его не сбросишь с плеч.
Как монотонна песнь, как вечно Время!
Оно текло, течет и будет течь.

Старух согбенных я искал напрасно:
Вчера, сегодня, завтра — никогда
Ничье лицо столь не было прекрасно.
Но радости и горести туда
Не вхожи, где судьбу вершат бесстрастно.

«Что сеяли, то и пожнут народы.

Так выстираем саваны скорей.
Для Австрии? Иль роковые всходы
Сулят закат Владычице морей,
Величию, ковавшемуся годы?

Иль смерти ждет край вольного простора,
Кто всех объединил в семью одну,
Где не было б ни ссоры, ни раздора;
Кто лес рубил и обуздал волну,
Мостостроитель, младший отпрыск Тора?

Что делаем и кто мы, шепчешь ты?
Издревле бег империй, пресекаясь,
Кончался у невидимой черты,
И мы спешили, с саваном склоняясь,
Предать земле их дерзкие мечты». —

«И нет надежды? — я вскричал в тоске. —
Наш гордый край, Охотник с ловчей птицей,
Не знавшей ровни в яростном броске!
Что ж, воронье потянет вереницей
К живому солнцу в каждом колоске?

Ужель итог злосчастный предрешен?
Блеснет ли Веспер вновь? Или во мраке
Он канет в бездну призрачных имен
И скроет звезд мерцающие знаки
Ночь вами уготованных пелен?» —

«Когда кровь липнет к каждому растенью,
Тому победа будет отдана,
Кто следовал души своей стремленью
И чашу жизни осушил до дна!
Ты это не подвергнешь ведь сомненью?

Три корня здесь главенствуют: Сознанье

Совместно с Волей; третий — глубже всех
И крепче их обоих: Послушанье.
Долг, как скалу, обвив, оно из тех,
Кто выдержит любое испытанье.

Судьба открыта звездам? Но в ладу
С запечатленным в вечности Законом,
Герой презрит грозящую беду;
Расчеты же окончатся уроном:
Найди ее, счастливую звезду.

Кто дал орла гиенам на расправу,
Перунам повелев служить желудку;
Кому успех у черни лишь по нраву;
Кто пред молвой дал отступить рассудку, —
Тот приговора должен ждать по праву!

Прорубленные вверх в кремнистом кряже,
Трудны ступени власти, — путь же вспять
Куда как легок, вызолочен даже;
Из царственного мрамора ваять, —
Не лучше ль думать о его продаже?

Вот наша песня, к горю или к благу;
В ней ясно все и вовсе нет темнот:
Зло немощно, а силу и отвагу Один
Огонь Небесный придает;
Сдержи его, швырнув в него бумагу.

Истекшее — в Текущем остается,
Определяя ход людских судеб;
Тем самым То, Что Вытечет, берется.
Но торопитесь, Сестры! Дверью склеп
Скрипит — и зовом бездна отдается». —

«Нет, не его! — воскликнул я тогда. —

Пусть горизонт бескрайний в час заката
Бежит на запад, за звездой звезда,
Туда, где небо золотом объято
И океан пылает, как слюда!

Пусть край цветет и зреет много лет
И грозных испытаний не страшится;
Не муки, трусость — худшая из бед,
А он своих отцов не устыдится,
Униженно врагу не глянет вслед.

Мы плачем — но от гордости за тех,
Кого облек в сраженье пурпур смерти.
Бой справедливый — праведен для всех,
А мир бывает горек, и поверьте:
Меч ржавый в ножнах — это худший грех.

Мир ниспошли нам, Боже! Но не сон —
А острый взгляд и сомкнутые брови,
Чтоб отразить превратности времен.
И пусть корабль наш будет наготове,
Разящими громами снаряжен!»

Я стиснул руки. Мертвые лучи
Ложились на долину Потомака.
Исчезли грезы, как огонь свечи.
У речки вновь захохотал гуляка,
И эхо лаем замерло в ночи.

ШАТРЫ ОКТЯБРЬСКИХ КЛЕНОВ
© Перевод Д. Сильвестров

Зачем знамена в ряд?
Кому они дарят
Багряный свой наряд?
Кто шествует средь них?
О чудная пора!
Прекрасней нет ковра
Для ног из серебра —
Дианы? Нет, твоих!

Костры прозрачных крон
Горят со всех сторон,
И солнце, как на троп,
Взошло в листве резной;
Приносит дань земля
И золотит поля,
Волшебный праздник для —
Лишь для тебя одной.

В моей душе твой лик
Слагается на миг,
И поступь — как родник,
Мечте моей верна.
Касаешься травы
Неслышней, чем листвы
Луна, но и, увы,
Бесплотней, чем она.

АУСПИЦИИ
© Перевод Д. Сильвестров

В душе, где птицы пели,
Теперь метут метели
И жухнет палый лист;
Из сердца улетели
Дрозды и свиристели,
Смолк соловьиный свист.

Коль не летать высоко,
Пусть ласточкою вьется
Полуугасший пыл.
О, как мне одиноко, —
Уж, видно, не вернется
Вновь трепет этих крыл!

Иллюзия растает.
То стая листьев реет
И застит белый свет —
То шквал ее взметает,
И в нем не уцелеет
Ни песня, ни поэт.

УОЛТ УИТМЕН

ОДНОГО Я ПОЮ
© Перевод К. Чуковский

Одного я пою, всякую простую отдельную личность,
И все же Демократическое слово твержу, слово
«en masse».

Физиологию с головы и до пят я пою,
Не только лицо человеческое и не только рассудок
достойны Музы, но все Тело еще более достойно ее,
Женское наравне с Мужским я пою.

Жизнь, безмерную в страсти, в биении, в силе,
Радостную, созданную чудесным законом для самых
свободных деяний,
Человека Новых Времен я пою.

ШТАТАМ
© Перевод И. Кашкин

Говорю всем Штатам, и каждому из них, и любому
городу в Штатах:
«Побольше противься — подчиняйся поменьше».
Неразборчивое послушание — это полное рабство,
А из полного рабства нация, штат или город не
возвратятся к свободе.

СЛЫШУ, ПОЕТ АМЕРИКА
© Перевод И. Кашкин

Слышу, поет Америка, разные песни я слышу:
Поют рабочие, каждый свою песню, сильную и зазывную.
Плотник — свою, измеряя брус или балку,
Каменщик — свою, готовя утром рабочее место или
покидая его ввечеру,
Лодочник — свою, звучащую с его лодки, матросы
свою — с палубы кораблей,
Сапожник поет, сидя на кожаном табурете, шляпник —
стоя перед шляпной болванкой,
Поет лесоруб, поет пахарь, направляясь чем свет на
поля, или в полдень, или кончив работу.
А чудесная песня матери, или молодой жены, или
девушки за шитьем или стиркой, —
Каждый поет свое, присущее только ему,
Днем — дневные песни звучат, а вечером — голоса
молодых, крепких парней,
Распевающих хором свои звонкие, бодрые песни.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЕЙ
© Перевод К. Чуковский

Не закрывайте дверей предо мною, надменные
библиотеки,
Ведь я приношу вам то, чего никогда не бывало на
ваших тесно уставленных полках, то, что вам нужнее
всего,
Ибо и я, и моя книга взросли из войны;
Слова моей книги — ничто, ее стремление — все,
Одинокая книга, с другими не связанная, ее не
постигнешь рассудком,
Но то сокровенное, что не сказано в ней, прорвется на
каждой странице.

ПОЭТАМ, КОТОРЫЕ БУДУТ
© Перевод С. Маршак

Поэты, которые будут! Певцы, музыканты, ораторы!
Не нынешний день оправдает меня и ответит, зачем я,
Нет, люди породы иной — коренной, атлетической, куда
величавее прежних.
Явитесь! Вам надо меня оправдать.

Я сам напишу для будущих дней два-три указующих
слова,
Выступлю только на миг, чтоб уйти опять в темноту.
Я — тот, кто, слоняясь в толпе, на ходу вас глазами
окинет и снова лицо отвернет,
Вам предоставив его разгадать и создать отчетливый
образ,
Главного жду я от вас.

ИЗ БУРЛЯЩЕГО ОКЕАНА ТОЛПЫ
© Перевод К. Чуковский

Из бурлящего океана толпы нежно выплеснулась
ко мне одна капля
И шепчет: *«Люблю тебя до последнего дня моей жизни.*
Долгим путем я прошла, лишь бы взглянуть на тебя и
прикоснуться к тебе.
Ибо я не могла умереть, не взглянув на тебя хоть
однажды,
Ибо мне было так страшно, что я потеряю тебя».

Ну вот, мы и повстречались с тобою, мы свиделись, и все
хорошо.
С миром вернись в океан, дорогая,
Я ведь тоже капля в океане, наши жизни не так уж
раздельны,
Посмотри, как круглятся великие воды земли, как все
слитно и как совершенно!
Но по воле непреклонного моря мы оба должны
разлучиться,
И пусть оно разлучит нас на время, но оно бессильно
разлучить нас навек;
Будь терпелива — и знай: я славлю и сушу, и море, и
воздух

Каждый день на закате солнца ради тебя, дорогая.

ОДНАЖДЫ, КОГДА Я ПРОХОДИЛ ГОРОДОМ
© Перевод К. Чуковский

Однажды, когда я проходил по большому многолюдному
городу, я пытался внедрить в свою память его улицы,
зданья, обычаи, нравы,
Но теперь я забыл этот город, помню лишь некую
женщину, которую я случайно там встретил, и она
удержала меня, потому что полюбила меня.
День за днем, ночь за ночью мы были вдвоем, — все
остальное я давно позабыл,
Помню только ее, эту женщину, которая страстно
прилепилась ко мне,
Опять мы блуждаем вдвоем, мы любим, мы расстаемся
опять,
Опять она держит меня за руку и просит, чтобы я не
уходил,
Я вижу ее, она рядом со мною, ее грустные губы молчат
и дрожат.

ДЛЯ ТЕБЯ, ДЕМОКРАТИЯ
© Перевод К. Чуковский

Вот я сделаю свою сушу неделимой,
Я создам самый великолепный народ из всех, озаряемых
солнцем,
Я создам дивные страны, влекущие к себе, как магниты,
Любовью товарищей,
Вечной, на всю жизнь, любовью товарищей.

Я взращу, словно рощи густые, союзы друзей и
товарищей вдоль твоих рек, Америка, на прибрежьях
Великих озер и среди прерий твоих,
Я создам города, каких никому не разъять, так крепко
они обнимут друг друга,
Сплоченные любовью товарищей,
Дерзновенной любовью товарищей.

Это тебе от меня, Демократия, чтобы служить тебе,
ma femme!
Тебе, тебе я пою эти песни.

Я ВИДЕЛ ДУБ В ЛУИЗИАНЕ
© Перевод К. Чуковский

Я видел дуб в Луизиане,
Он стоял одиноко в поле, и с его ветвей свисали мхи,
Он вырос один, без товарищей, весело шелестя своей
темной листвой,
Несгибаемый, корявый, могучий, был он похож на меня,
Но странно мне было, что он мог в одиночестве, без
единого друга, шелестеть так весело листвой, ибо я на
его месте не мог бы,
И я отломил его ветку, и обмотал ее мхом,
И повесил ее на виду в моей комнате
Не затем, чтобы она напоминала мне о милых друзьях
(Я и без того в эти дни ни о ком другом не вспоминаю),
Но она останется для меня чудесным знамением
дружбы-любви,
И пусть себе дуб средь широкого поля, там, в
Луизиане, искрится, одинокий, под солнцем,
Весело шумя своей листвой всю жизнь без единого
друга, —
Я знаю очень хорошо, что я не мог бы.

В ТОСКЕ И В РАЗДУМЬЕ
© Перевод К. Чуковский

В тоске и в раздумье сижу, одинокий,
И в эту минуту мне чудится, что в других странах есть
такие же люди, объятые тоской и раздумьем,
Мне чудится, что, стоит мне всмотреться, и я увижу их
в Германии, в Италии, в Испании, во Франции
Или далеко-далеко — в Китае, в России, в Японии, они
говорят на других языках,
Но мне чудится, что если б я мог познакомиться с ними,
я бы полюбил их не меньше, чем своих земляков,
О, я знаю, мы были бы братьями, мы бы влюбились друг
в друга,
Я знаю, с ними я был бы счастлив.

ПРИСНИЛСЯ МНЕ ГОРОД
© Перевод К. Чуковский

Приснился мне город, который нельзя одолеть, хотя бы
напали на него все страны вселенной,
Мне снилось, что это был город Друзей, какого еще
никогда не бывало,
И превыше всего в этом городе крепкая ценилась любовь,
И каждый час она сказывалась в каждом поступке
жителей этого города,
В каждом их слове и взгляде.

ПЕСНЯ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
© Перевод К. Чуковский

I

Пешком, с легким сердцем, выхожу на большую дорогу,
Я здоров и свободен, весь мир предо мною,
Эта длинная бурая тропа ведет меня, куда я хочу.

Отныне я не требую счастья, я сам свое счастье,
Отныне я больше не хнычу, ничего не оставляю
назавтра и ни в чем не знаю нужды,
Болезни, попреки, придирки и книги оставлены дома,
Сильный и радостный, я шагаю по большой дороге
вперед.

Земля, — разве этого мало?
Мне не нужно, чтобы звезды спустились хоть чуточку
ниже,
Я знаю, им и там хорошо, где сейчас,
Я знаю, их довольно для тех, кто и сам из звездных
миров...

II

Ты, дорога, иду по тебе и гляжу, но мне думается,
я вижу не все,
Мне думается, в тебе много такого, чего не увидишь
глазами.

Здесь глубокий урок: все принять, никого не отвергнуть,
никому не отдать предпочтенья,
Курчавый негр, невежда, преступник, больной — всякому
открыта она;
Роды, кто-то бежит за врачом, нищий ковыляет,
шатается пьяный, рабочие шагают гурьбой и
смеются,
Подросток, удравший из дому, экипаж богача,
расфуфыренный франт, жених, увозящий невесту
тайком от родни,
Торгаш, что спешит спозаранку на рынок, погребальные
дроги, мебель, что перевозится в город, а другая —
из города,
Они проходят, и я прохожу, и все проходит, и никто
никому не помеха,
Я никого не отвергну, все будут до́роги мне.

III

Ты, воздух, без тебя мне ни говорить, ни дышать!
Вы, предметы, творцы моих мыслей, дающие им
отчетливый облик!
Ты, свет, что окутал меня и все вещи нежным и ровным
дождем!
Вы, торные кривые тропинки, бегущие рядом с дорогой!
Я верю, в вас таится незримая жизнь, ибо вы так дороги
мне.

Вы, тротуары, мощенные плитами! вы, крепкие каменные
обочины улиц!
Вы, пароходики! вы, доски и столбы пристаней! вы, суда
в строительных лесах! вы, корабли на рейде!
Вы, вереницы домов! вы, фасады, пронзенные окнами!
вы, крыши!
Вы, крылечки и парадные подъезды! вы, железные
решетки перед домами!
Вы, окна, чья прозрачная скорлупа может так много
открыть нашим взорам!
Вы, двери и ступеньки, ведущие к ним! вы, своды и арки
домов!
Ты, серый булыжник нескончаемых мостовых! вы,
перекрестки, исшарканные ногами прохожих!

Много прикосновений вы впитали в себя и втайне
передаете их мне,
Вы населены и живыми и мертвыми, их образы встают
предо мной, как друзья.

IV

Земля простирается по правую руку и по левую руку,
Яркая картина встает предо мною, в ней каждая
подробность — совершенство,
Музыка начинает звучать, когда нужно, а когда
не нужно, умолкает,
Ликующий голос дороги, радостное, свежее чувство
дороги.
Говоришь ли ты мне, о дорога: *«Не уходи от меня»?*
Говоришь ли ты мне: *«Не дерзай уходить — если уйдешь,*
ты пропал»?
Говоришь ли ты мне: *«Не расставайся со мною, ведь я*
так гладко утоптана и по мне так удобно шагать»?
«О большая дорога! — говорю я в ответ. — Я не прочь
расстаться с тобою, но я тебя очень люблю,
Ты выражаешь меня лучше, чем я сам выражаю себя,
Ты больше для меня, чем та песня, которая

создана
мной».
Я думаю, геройские подвиги все рождались на вольном
ветру и все вольные песни — на воздухе,
Я думаю, я мог бы сейчас встать и творить чудеса,
Я думаю: что́ я ни встречу сейчас на дороге, то сразу
полюбится мне,
И кто увидит меня, тот полюбит меня,
И кого я ни увижу сейчас, тот должен быть счастлив.

V

Отныне я провозглашаю себя свободным от мнимых
преград и уз,
Иду, куда вздумаю, — сам себе полный хозяин,
наделенный неограниченной властью,
Прислушиваясь к тому, что мне скажут другие,
внимательно вникая в их речи,
Размышляя, изучая, обдумывая снова и снова,
Мягко и учтиво, но с непреклонной решимостью
освобождаю себя от тех пут, которые могли бы меня
удержать.

Большими глотками я глотаю пространство,
Запад и восток — мои, север и юг — мои.

Я больше, чем я думал, я лучше, чем я думал,
Я и не знал, до чего я хорош.

Всюду видится мне красота.
Вновь я могу повторить и мужчинам и женщинам: вы
сделали мне столько добра, и я хочу отплатить вам
добром,
Все, что я добуду в пути, я добуду для себя и для вас,
Я развею себя между всеми, кого повстречаю в пути,
Я брошу им новую радость и новую грубую мощь,
И кто отвергнет меня — не опечалит меня,
А кто примет меня — будет блажен и дарует блаженство
и мне.

VI

Если бы тысяча великолепных мужчин предстали
сейчас передо мною, это не удивило бы меня.
Если бы тысяча красивейших женщин явились сейчас
передо мною, это не изумило бы меня.

Теперь я постиг, как создать самых лучших людей:
Пусть вырастают на вольном ветру, спят под открытым
небом, впитывают и солнце и дождь, как земля.

Здесь раздолье для геройского подвига
(Для подвига, что покоряет сердца всех на свете людей;
Сколько в нем воли и силы, что он сводит насмарку
законы и глумится над всеми властями
И все возражения смолкают перед ним).
Здесь испытание мудрости;
Не в школах окончательно испытывать мудрость:
Те, у кого она есть, не могут передать ее тем, у кого ее
нет.

Вся мудрость — в душе, ее нельзя доказать, она сама
обнаружит себя,
И мудрость в каждом предмете, явлении, качестве, и
больше ничего ей не надо,
В ней свидетельство реальности и бессмертия мира,
а также его совершенства;
Есть нечто такое в этом потоке вещей и явлений, что
манит ее из души.

Здесь я проверю сейчас все религии и философии,
Может быть, они хороши в аудиториях, но никуда
не годятся под широкими тучами, среди природы,
у бегущих ручьев.
Здесь цену себе узнают — и себе и другому,
Здесь проверяется каждый, здесь каждый

осознает, что
в нем есть.
Прошедшее, грядущее, величье, любовь — если
существуют они без тебя, значит, ты существуешь
без них.

Питательно только зерно;
Где же тот, кто станет сдирать шелуху для тебя и меня?
Кто справится с лукавством жизни — для тебя, для меня,
кто снимет для нас оболочку вещей?

Здесь люди влекутся друг к другу не по заранее
составленным планам, а внезапно, по прихоти
сердца,
Знаешь ли ты, что это значит, — когда ты идешь
по дороге и вдруг в тебя влюбляются чужие,
Знаешь ли ты речь этих глаз, что обращены на тебя?

VII

Здесь излияние души,
Она прорывается сквозь тенистые шлюзы, вечно
пробуждая вопросы:
Откуда эти томления? Откуда непонятные мысли?
Почему многие мужчины и женщины, приближаясь ко
мне, зажигают в крови моей солнце?

Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости
никнут?
Почему, когда я прохожу под иными деревьями, меня
осеняют широкие и певучие мысли?
(Я думаю, и лето и зиму они висят на ветвях и роняют
плоды всякий раз, когда я прохожу).
Чем это я так внезапно обмениваюсь с иными
прохожими?
И с каким-нибудь кучером омнибуса, когда я сижу с ним
на козлах?
И с каким-нибудь рыбаком, что выбирает сети,
когда я прохожу по побережью?
Откуда это доброе чувство, которое так щедро дарят мне
мужчины и женщины?
Откуда у меня такое же чувство к ним?

VIII

Излияние души — это счастье, вот оно, счастье!
Я думаю, здесь в воздухе разлито счастье и поджидает
каждого во все времена,
А теперь оно льется в нас, и мы полны им до краев,
Здесь-то и возникает в нас нечто влекущее,
Свежесть и душевная прелесть мужчины и женщины
(Утренняя трава, что лишь сегодня явилась на свет,

не так свежа и прелестна).
И старый и молодой истекают любовью к тому, кто
исполнен таким обаянием,
От него такие чары исходят, перед которыми и красота,
и душевные силы — ничто,
С ним жаждут сближения до боли, до томительной
дрожи.

IX

Allons![35] кто бы ты ни был, выходи, и пойдем вдвоем!
Со мной никогда не устанешь в пути.

Земля не утомит никогда,
Сначала неприветлива, молчалива, непонятна земля,
неприветлива и непонятна Природа,
Но иди, не унывая, вперед, дивные скрыты там вещи,
Клянусь, не сказать никакими словами, какая красота
в этих дивных вещах.

Allons! ни минуты не медля,
Пусть лавки набиты отличным товаром, пусть жилье так
уютно, мы не можем остаться,
Пусть гавань защищает от бурь, пусть воды спокойны,
мы не вправе бросить здесь якорь.

Пусть окружают нас горячим радушием, нам дозволено
предаться ему лишь на самый короткий срок.

X

Allons! соблазны будут еще соблазнительнее,
Мы помчимся на всех парусах по неведомым бурным
морям,
Туда, где ветры бушуют вовсю, где сшибаются воды, где
клипер несется вперед, широко распустив паруса.
Allons! с нами сила, свобода, земля и стихии,
С нами здоровье, задор, любопытство, гордость, восторг;
Allons! освободимся от всяких доктрин!
От ваших доктрин, о бездушные попы с глазами
летучих мышей.

Зловонный труп преграждает дорогу — сейчас же
закопаем его!

Allons! но предупреждаю тебя:
Тому, кто пойдет со мною, нужны самые лучшие
мышцы и самая лучшая кровь,
Тот не смеет явиться на искус ко мне, кто не принесет
с собою здоровья и мужества,
Не приходите ко мне, кто уже растратил свое лучшее, —

Только те пусть приходят ко мне, чьи тела сильны
и бесстрашны;
Сифилитиков, пьяниц, безнадежно больных мне не надо.

(Я и подобные мне убеждаем не метафорами, не
стихами, не доводами,
Мы убеждаем тем, что существуем.)

XI

Слушай! я не хочу тебе лгать,
Я не обещаю тебе старых приятных наград,
я обещаю тебе новые, грубые, —
Вот каковы будут дни, что ожидают тебя:
Ты не будешь собирать и громоздить то, что называют
богатством,
Все, что наживешь или создашь, ты будешь разбрасывать
щедрой рукой,
Войдя в город, не задержишься в нем дольше, чем нужно,
и, верный повелительному зову, уйдешь оттуда
прочь,
Те, кто останутся, будут глумиться над тобой и язвить
тебе злыми насмешками,
На призывы любви ты ответишь лишь страстным
прощальным поцелуем
И оттолкнешь те руки, что попытаются тебя

удержать.

XII

Allons! за великими Спутниками! о, идти с ними рядом!
Они тоже в дороге — стремительные, горделивые
мужчины и самые чудесные женщины,
В море они радуются и штилю и шторму,
Они проплыли по многим морям, исходили многие земли,
Побывали во многих далеких краях, посетили немало
жилищ,
Они внушают доверие каждому, они пытливо изучают
города, они одинокие труженики,
Они встанут порой на дороге и вглядываются в деревья,
в цветы или в ракушки на взморье,
Они танцуют на свадьбах, целуют невест, лелеют и холят
детей, рожают детей,
Солдаты революционных восстаний, они стоят
у раскрытых могил, они опускают в них гробы,
Они идут по дороге, и с ними их спутники, их
минувшие годы,
С ними бредет их детство,
Им весело шагать со своей собственной юностью,
со своей бородатой зрелостью,
С женственностью в полном цвету,

непревзойденной,
счастливой,
Со своей собственною величавою старостью;
Их старость спокойна, безбрежна, расширена гордою
ширью вселенной,
Их старость свободно струится к близкому
и сладостному освобождению — к смерти.

XIII

Allons! к тому, что безначально, бесконечно.
Много трудностей у нас впереди, дневные переходы,
ночевки,
Все ради цели, к которой идем, ради нее наши ночи
и дни,
Чтобы пуститься в другой, более знаменательный,
торжественный путь,
Чтобы не видеть ничего на этом пути, кроме цели, чтобы
дойти до нее и шагнуть еще дальше вперед,
Чтобы не считаться с расстоянием и временем,
только бы дойти до нее и шагнуть еще дальше
вперед,
Чтобы не видеть иного пути, кроме того, что простерт
перед тобою и ожидает тебя,
Чтобы идти к той же цели, куда идут все

творения, бог
ли их создал или нет,
Чтобы убедиться, что не существует сокровищ,
которыми ты не мог бы владеть без труда и без денег,
обделенный на жизненном пиру и все же участвуя в пире,
Чтобы взять самое лучшее, что только могут дать тебе
ферма фермера или дом богача,
И целомудренное счастье дружной супружеской пары,
и плоды и цветы садов.
Чтобы обогатить свою душу всеми щедротами города,
по которому тебе случится пройти.
Чтобы унести из него здания и улицы и нести их повсюду, куда ни пойдешь,
Чтобы собрать воедино при встречах с людьми все
их мысли и всю их любовь,
Чтобы увести с собою тех, кто полюбится вам, а все
прочее оставить позади,
Чтобы понять, что весь мир есть дорога, очень много
дорог для блуждающих душ.
Все уступает дорогу душам, идущим вперед,
Все религии, устои, искусства, правительства — все, что
было на этой планете или на любой из планет,
разбегается по углам и укромным местам перед
шествием душ по великим дорогам вселенной.

Всякое другое движение вперед есть только прообраз и
символ этого шествия человеческих душ по великим
дорогам вселенной.
Вечно живые, вечно рвущиеся вперед, гордые,
удрученные, грустные, потерпевшие крах,
безумные, пылкие, слабые, недовольные жизнью,
Отчаянные, любящие, больные, признанные другими
людьми или отвергнутые другими людьми, —
Они идут! они идут! я знаю, они идут, но я не знаю куда,
Но я знаю, что идут они к лучшему — к чему-то
великому.

Выходи же, кто бы ты ни был! выходи, мужчина
или женщина!
Ты не должен прохлаждаться и нежиться в доме,
хотя бы ты построил его сам.

Прочь из темноты закоулка! из укромных углов!
Никаких возражений! они не помогут тебе: я знаю все
и выведу тебя на чистую воду.

Я вижу тебя насквозь, ты не лучше других,
Ты не заслонишься от меня ни смехом, ни танцами,
ни обедом, ни ужином, ни другими людьми,
Я вижу сквозь одежду и все украшения, сквозь

эти мытые холеные лица,
Вижу молчаливое, скрытое отвращение и ужас.

Вашего признания не услышать ни жене, ни другу,
ни мужу —
Об этом страшном вашем двойнике, который прячется,
угрюмый и мрачный,
Бессловесный и безликий на улицах, кроткий и учтивый
в гостиных,
В вагонах, на переходах, в публичных местах,
В гостях у мужчин и женщин, за столом, в спальне,
повсюду,
Шикарно одетый, смеющийся, бравый, а в сердце
у него смерть, а в черепе ад;
В костюме из тонкой материи, в перчатках, в лентах,
с поддельными розами,
Верный обычаям, он ни слова не говорит о себе,
Говорит обо всем, но никогда — о себе.

XIV

Allons! сквозь восстанья и войны!
То, к чему мы идем, не может быть отменено
ничьим приказом.
Привела ли к победе былая борьба?
И кто победил? ты? твой народ? Природа?
Но пойми меня до конца: такова уж суть вещей,
чтобы плодом каждой победы всегда

становилось
такое, что вызовет новую схватку.

Мой призыв есть призыв к боям, я готовлю
пламенный бунт.
Тот, кто идет со мной, будь вооружен до зубов.
Тот, кто идет со мной, знай наперед: тебя ждут голод,
нужда, злые враги и предатели.

XV

Allons! дорога перед нами!
Она безопасна — я прошел ее сам, мои ноги испытали
ее — так смотри же не медли,
Пусть бумага останется на столе неисписанная
и на полке нераскрытая книга!
Пусть останется школа пустой! не слушай призывов учителя!
Пусть в церкви проповедует поп! пусть ораторствует
адвокат на суде и судья выносит приговоры!

Камерадо, я даю тебе руку!
Я даю тебе мою любовь, она драгоценнее золота,
Я даю тебе себя самого раньше всяких наставлений
и заповедей;
Ну, а ты отдаешь ли мне себя? Пойдешь ли вместе
со мною в дорогу?

Будем ли мы с тобой неразлучны до последнего дня нашей жизни?

НОЧЬЮ У МОРЯ ОДИН
© Перевод А. Сергеев

Ночью у моря один.
Вода, словно старая мать, с сиплой песней
баюкает землю,
А я взираю на яркие звезды и думаю думу о тайном
ключе всех вселенных и будущего.

Бесконечная общность объемлет все, —
Все сферы, зрелые и незрелые, малые и большие, все
солнца, луны, планеты,
Все расстоянья в пространстве, всю их безмерность,
Все расстоянья во времени, все неодушевленное,
Все души, все живые тела самых разных форм, в самых
разных мирах,
Все газы, все жидкости, все растения и минералы,
всех рыб и скотов,
Все народы, цвета, виды варварства, цивилизации,
языки,
Все личности, которые существовали или могли бы
существовать на этой планете или на всякой
другой,
Все жизни и смерти, все в прошлом, все в настоящем

и будущем —
Все обняла бесконечная эта общность, как обнимала
всегда
И как будет всегда обнимать, и объединять,
и заключать в себе.

ЕВРОПА
(72-й и 73-й годы этих Штатов)
© Перевод К. Чуковский

Вдруг из затхлой и сонной берлоги, из берлоги рабов,
Она молнией прянула, и сама себе удивлялась,
И топтала золу и лохмотья, и сжимала глотки королей.

О надежда и вера!
О тоска патриотов, доживающих век на чужбине!
О множество скорбных сердец!
Оглянитесь на былую победу и снова идите в бой.

А вы, получавшие плату за то, что чернили Народ, — вы,
негодяи, глядите!
За все пытки, убийства, насилия,
За тысячи подлых уловок, которыми лукавая знать
выжимала трудовые гроши у бедноты простодушной,
За то, что королевские уста лгали им, надругались над ними,
Народ, захвативший власть, не отомстил никому
и дворянских голов не рубил:
Он презирал жестокость королей.

Но из его милосердия выросла лютая гибель,
и дрожащие монархи приходят опять,

С ними их обычная свита: сборщик податей, поп, палач,
Тюремщик, вельможа, законник, солдат и шпион.
Но сзади всех, смотри, какой-то призрак крадется,
Неясный, как ночь, весь с головою укутан в бесконечную
пунцовую ткань,
Не видно ни глаз, ни лица;
Только палец изогнутый, словно головка змеи,
Из багряных одежд появился и указует куда-то.

А в свежих могилах лежат окровавленные юноши,
И веревка виселицы туго натянута, и носятся пули
князей, и победившие гады смеются,
Но все это приносит плоды, и эти плоды благодатны.

Эти трупы юношей,
Эти мученики, повисшие в петле, эти сердца,
пронзенные серым свинцом,
Холодны они и недвижны, но они где-то живут, и их
невозможно убить.
Они живут, о короли, в других, таких же юных,
Они в уцелевших собратьях живут, готовых снова
восстать против вас,
Они были очищены смертью, умудрены, возвеличены ею.

В каждой могиле борца есть семя свободы, из этого

семени вырастет новый посев,
Далеко разнесут его ветры, его вскормят дожди и снега.

Кого бы ни убили тираны, его душа никуда не исчезает,
Но невидимо парит над землею, шепчет, предупреждает,
советует.

Свобода! пусть другие не верят в тебя, но я верю в тебя
до конца!
Что, этот дом заколочен? хозяин куда-то исчез?
Ничего, приготовьтесь для встречи, ждите его неустанно.
Он скоро вернется, вот уже спешат его гонцы.

Я СИЖУ И СМОТРЮ
© Перевод В. Левик

Я сижу и смотрю на горести мира — я вижу позор,
произвол и гнет,
Я вижу незримые слезы, я слышу рыдания юношей,
которых мучает совесть, раскаянье в подлых
поступках,
Я наблюдаю уродства жизни: вот матери, брошенные
детьми, голодные, нищие, близкие к смерти,
Вот жены, чья жизнь исковеркана мужем, а вот
вероломные соблазнители,
Я вижу все, что скрыто от взора, — страдания ревности
и неразделенной любви, все тайные язвы людские,
Я вижу битвы, чуму, тиранию, я вижу замученных,
брошенных в тюрьмы,
Я вижу голод на корабле — матросы бросают жребий,
кого убить, чтоб спаслись остальные,
Я вижу высокомерье богатых, агонию нищих — рабочих,
и негров, и всех, кто делит их жребий.
Да, все — и низость одних, и бесконечные муки
других — я, сидя здесь, наблюдаю,
Я вижу, я слышу, и я молчу.

БЕЙ! БЕЙ! БАРАБАН! — ТРУБИ! ТРУБА! ТРУБИ!
© Перевод К. Чуковский

Бей! бей! барабан! — труби! труба! труби!
В двери, в окна ворвитесь, как лихая ватага бойцов.
В церковь — гоните молящихся!
В школу — долой школяров, нечего им корпеть
над учебниками,
Прочь от жены, новобрачный, не время тебе
тешиться с женой,
И пусть пахарь забудет о мирном труде, не время пахать
и собирать урожай,
Так бешено бьет барабан, так громко кричит труба!

Бей! бей! барабан! — труби! труба! труби!
Над грохотом, над громыханьем колес.
Кто там готовит постели для идущих ко сну? Не спать
никому в тех постелях,
Не торговать, торгаши, долой маклеров и барышников,
не пора ли им наконец перестать?
Как? болтуны продолжают свою болтовню и певец
собирается петь?
И встает адвокат на суде, чтобы изложить свое дело?
Греми же, барабанная дробь, кричи, надрывайся, труба!

Бей! бей! барабан! — труби! труба! труби!
Не вступать в переговоры, не слушать увещаний,
Пронеситесь мимо трусов, пусть молятся и хнычут,
Пронеситесь мимо старца, что умоляет молодого,
Заглушите крик младенца и заклинанья матерей
И встряхните даже мертвых, что лежат сейчас на койках,
ожидая похорон!
Так гремишь ты, беспощадный грозный барабан! так
трубишь ты, громогласная труба!

ИДИ С ПОЛЯ, ОТЕЦ
© Перевод М. Зенкевич

Иди с поля, отец, — пришло, письмо от нашего Пита,
Из дома выйди, мать, — пришло письмо от любимого сына.

Сейчас осень,
Сейчас темная зелень деревьев, желтея, краснея,
Овевает прохладой и негой поселки Огайо, колеблясь
от легкого ветра,
Созрели яблоки там в садах, виноград на шпалерах.
(Донесся ль до вас аромат виноградных гроздий
И запах гречихи, где пчелы недавно жужжали?)
А небо над всем так спокойно, прозрачно после дождя,
с чудесными облаками;
И на земле все так спокойно, полно жизни и красоты —
на ферме сейчас изобилье.

В полях тоже везде изобилье.
Иди же с поля, отец, иди, — ведь дочь тебя кличет,
И выйди скорее, мать, — выйди скорей на крыльцо.
Поспешно идет она, недоброе чуя, — дрожат ее ноги,
Спешит, волос не пригладив, чепца не поправив.

Открыла быстро конверт,
О, то не он писал, но подписано его имя!
Кто-то чужой писал за нашего сына… о несчастная мать!
В глазах у нее потемнело, прочла лишь отрывки фраз:
«Ранен пулей в грудь… кавалерийская стычка…
отправлен в госпиталь…
Сейчас ему плохо, но скоро будет лучше».

Ах, теперь я только и вижу
Во всем изобильном Огайо с его городами и фермами
Одну эту мать со смертельно бледным лицом,
Опершуюся о косяк двери.
«Не горюй, милая мама! (взрослая дочь говорит, рыдая,
А сестры-подростки жмутся молча в испуге),
Ведь ты прочитала, что Питу скоро станет лучше».

Увы, бедный мальчик, ему не станет лучше (он уже
не нуждается в этом, прямодушный и смелый),
Он умер в то время, как здесь стоят они перед домом, —
Единственный сын их умер.
Но матери нужно, чтоб стало лучше:
Она, исхудалая, в черном платье,
Днем не касаясь еды, а ночью в слезах просыпаясь,
Во мраке томится без сна с одним лишь страстным
желаньем —
Уйти незаметно и тихо из жизни, исчезнуть и

скрыться,
Чтобы вместе быть с любимым убитым сыном.

ДОЛГО, СЛИШКОМ ДОЛГО, АМЕРИКА
© Перевод А. Сергеев

Долго, слишком долго, Америка,
Путешествуя по дорогам гладким и мирным, ты училась
только у радости и процветания,
Но теперь, но теперь настала пора учиться у горестей,
бороться со страшными бедами и не отступать,
И теперь только можно понять и показать миру, каковы
твои дети в массе своей
(Ибо кто, кроме меня, до сих пор понимал, что являют
собой твои дети в массе своей?).

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО СОЛДАТУ
© Перевод Б. Слуцкий

Прощай же, солдат,
С тобой мы делили суровость походов,
Быстрые марши, житье на бивуаках,
Жаркие схватки, долгие маневры,
Резню кровавых битв, азарт, жестокие грубые забавы,
Милые смелым и гордым сердцам, вереницу дней,
благодаря тебе и подобным тебе
Исполненных войной и воинским духом.
Прощай, дорогой товарищ,
Твое дело сделано, но я воинственнее тебя,
Вдвоем с моей задорной душой
Мы еще маршируем по неведомым дорогам, через
вражеские засады,
Через множество поражений и схваток, зачастую сбитые
с толку,
Все идем и идем, все воюем — на этих страницах
Ищем слова для битв потяжелее и пожесточе.

КОГДА ВО ДВОРЕ ПЕРЕД ДОМОМ ЦВЕЛА ЭТОЙ ВЕСНОЮ СИРЕНЬ
© Перевод К. Чуковский

I

Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень
И никла большая звезда на западном небе в ночи,
Я плакал и всегда буду плакать — всякий раз,
как вернется весна.

Каждой новой весной эти трое будут снова со мной!
Сирень в цвету, и звезда, что на западе никнет,
И мысль о нем, о любимом.

II

О, могучая упала звезда!
О тени ночные! О слезная, горькая ночь!
О, сгинула большая звезда! О, закрыл ее черный туман!
О жестокие руки, что, бессильного, держат меня! —
О немощное сердце мое!
О шершавая туча, что обволокла мое сердце и не хочет
отпустить его на волю.

III

На ферме, во дворе, пред старым домом, у забора,
беленного известью,
Выросла высокая сирень с сердцевидными ярко-зелеными
листьями,
С мириадами нежных цветков, с сильным запахом,
который мне люб,
И каждый листок есть чудо; и от этого куста во дворе,
С цветками такой нежной окраски, с сердцевидными
ярко-зелеными листьями,
Я ветку, всю в цвету, отломил.

IV

Вдали, на пустынном болоте,
Притаилась пугливая птица и поет-распевает песню.
Дрозд одинокий,
Отшельник, в стороне от людских поселений,
Поет песню, один-одинешенек, —
Песню кровоточащего горла,
Песню жизни, куда изливается смерть (ибо хорошо,
милый брат, я знаю,
Что, если бы тебе не дано было петь, ты, наверное,

умер бы).

V

По широкой груди весны, над страною, среди городов,
Между изгородей, сквозь вековые чащи, где недавно
из-под земли пробивались фиалки — крапинки на
серой прошлогодней листве,
Проходя по тропинкам, где справа и слева полевая трава,
проходя бесконечной травой,
Мимо желтых стеблей пшеницы, воскресшей из-под
савана в темно-бурых полях,
Мимо садов, мимо яблонь, что в розовом и в белом цвету,
Неся мертвое тело туда, где оно ляжет в могилу,
День и ночь путешествует гроб.

VI

Гроб проходит по тропинкам и улицам,
Через день, через ночь в большой туче, от которой
чернеет земля,
В великолепии полуразвернутых флагов, среди
укутанных в черный креп городов,
Среди штатов, что стоят, словно женщины,

облаченные
в траур;
И длинные процессии вьются за ним, и горят светильники
ночи,
Несчетные факелы среди молчаливого моря лиц
и обнаженных голов,
И ждет его каждый поселок, и гроб прибывает туда,
и всюду угрюмые лица,
И панихиды всю ночь напролет, и несется тысячеголосое
могучее пение,
И плачущие голоса панихид льются дождем вокруг гроба,
И тускло освещенные церкви, и содрогающиеся от горя
орга́ны, — так совершаешь ты путь
С неумолчным перезвоном колоколов погребальных,
И здесь, где ты так неспешно проходишь, о гроб,
Я даю тебе ветку сирени.

VII

(Не только тебе, не тебе одному, —
Цветы и зеленые ветки я всем приношу гробам,
Ибо свежую, как утро, хотел бы пропеть я песню тебе,
о светлая и священная смерть!

Всю тебя букетами роз,
О смерть, всю тебя покрываю я розами и

ранними
лилиями,
Но больше всего сиренью, которая цветет раньше всех,
Я полной охапкой несу их тебе, чтобы высыпать их
на тебя, —
На тебя и на все твои гробы, о смерть.)

VIII

О плывущая в западном небе звезда,
Теперь я знаю, что таилось в тебе, когда месяц назад
Я шел сквозь молчаливую прозрачную ночь.
Когда я видел, что ты хочешь мне что-то сказать, ночь
за ночью склоняясь ко мне,
Все ниже поникла с небес, как бы спускаясь ко мне
(а все прочие звезды глядели на нас),
Когда торжественной ночью мы блуждали с тобою
(ибо что-то не давало мне спать),
Когда ночь приближалась к рассвету и я глядел
на край неба, на запад, и увидел, что вся ты в истоме тоски,
Когда прохладною прозрачною ночью я стоял на взгорье,
обвеваемый бризом,
И смотрел, где прошла ты и куда ты ушла в ночной
черноте,
Когда моя душа, вся в тревоге, в обиде,

покатилась
вслед за тобою, за печальной звездой,
Что канула в ночь и пропала.

IX

Пой же, пой на болоте,
О певец, застенчивый и нежный, я слышу твою песню,
твой призыв,
Я слышу, я скоро приду, я понимаю тебя,
Но я должен помедлить минуту, ибо лучистая звезда
задержала меня,
Звезда, мой уходящий товарищ, держит и не пускает
меня.

X

О, как я спою песню для мертвого, кого я любил?
И как я спою мою песню для милой широкой души,
что ушла?
И какие благовония принесу на могилу любимого?

Морские ветры с Востока и Запада,
Дующие с Восточного моря и с Западного, покуда не
встретятся в прериях, —

Эти ветры — дыхание песни моей,
Их благовоние я принесу на могилу любимого.

XI

О, что я повешу на стенах его храмины?
Чем украшу я мавзолей, где погребен мой любимый?
Картинами ранней весны, и домов, и ферм,
Закатным вечером Четвертого месяца, серым дымом,
светозарным и ярким,
Потоками желтого золота великолепного, лениво
заходящего солнца,
Свежей сладкой травой под ногами, бледно-зелеными листьями
щедрых деревь,
Текучей глазурью реки — ее грудью, кое-где
исцарапанной набегающим ветром,
Грядою холмов на речных берегах с пятнами теней
и с большим изобилием линий на фоне небес,
И чтобы тут же, поблизости, — город с грудой домов,
со множеством труб дымовых,
И чтобы бурлила в нем жизнь, и были бы мастерские,
и рабочие шли бы с работы домой.

XII

Вот тело и душа — моя страна,
Мой Манхаттан, шпили домов, искристые и торопливые
воды, корабли,
Разнообразная широкая земля, Юг и Север в сиянии,
берега Огайо, и сверкающая, как пламя, Миссури,
И бесконечные вечные прерии, покрытые травой
и маисом.

Вот самое отличное солнце, такое спокойное, гордое,
Вот лилово-красное утро с еле ощутимыми бризами,
Безграничное сияние, мягкое, постепенно растущее,
Чудо, разлитое повсюду, омывающее всех,
завершительный полдень,
Сладостный близкий вечер, желанная ночь и звезды,
Что сияют над моими городами, обнимая человека
и землю.

XIII

Пой же, пой, серо-бурая птица,
Пой из пустынных болот, лей песню с укромных кустов,
Бесконечную песню из сумерек лей, оттуда, где ельник
и кедр.

Пой, мой любимейший брат, щебечи свою свирельную
песню,
Человеческую громкую песню, звучащую безмерной
тоской.
О звенящий, и свободный, и нежный!
О дикий, освобождающий душу мою, о чудотворный певец,
Я слушаю тебя одного, но звезда еще держит меня
(и все же она скоро уйдет),
Но сирень с властительным запахом держит меня.

XIV

Пока я сидел среди дня и смотрел пред собою,
Смотрел в светлый вечереющий день с его весенними
нивами, с фермами, готовящими свой урожай,
В широком безотчетном пейзаже страны моей, с лесами,
с озерами,
В этой воздушной неземной красоте (после буйных
ветров и шквалов),
Под аркою неба предвечерней поры, которая так скоро
проходит, с голосами детей и женщин,
Я видел неугомонные приливы-отливы морей, я видел
корабли под парусами,

И близилось богатое лето, и все поля были
в хлопотливой работе,
И бесчисленны были людские дома, и в каждом доме
была своя жизнь,
И вскипала кипучесть улиц, и замкнуты были в себе
города, — и вот в это самое время,
Обрушившись на всех и на все, окутав и меня своей тенью,
Надвинулась туча, длинный и черный плащ,
И мне открылась смерть и священная сущность ее.

И это знание сущности смерти шагает теперь рядом
со мною с одной стороны,
И эта мысль о смерти шагает рядом с другой стороны,
И я — посредине, как гуляют с друзьями, взяв за руки
их, как друзей,
Я бегу к бессловесной, таящейся, все принимающей ночи,
Вниз, к морским берегам, по тропинке у болота во мраке,
К темным торжественным кедрам и к молчаливым елям,
зловещим, как призраки.
И певец, такой робкий со всеми, не отвергает меня,
Серо-бурая птица принимает нас, трех друзей,
И поет славословие смерти, песню о том, кто мне
до́рог.
Из глубоких, неприступных тайников,

От ароматных кедров и елей, таких молчаливых,
зловещих, как призраки,
Несется радостное пение птицы.
И чарующая песня восхищает меня,
Когда я держу, словно за руки, обоих ночных товарищей,
И голос моей души поет заодно с этой птицей.

Ты, милая, ты, ласковая смерть,
Струясь вокруг меня, ты, ясная, приходишь, приходишь
Днем и ночью, к каждому, ко всем!
Раньше или позже, нежная смерть!

Слава бездонной Вселенной
За жизнь и радость, за любопытные вещи и знания
И за любовь, за сладкую любовь, — но слава ей, слава,
слава
За верные и хваткие, за холодящие объятия смерти.

Темная мать! Ты всегда скользишь неподалеку тихими
и мягкими шагами,
Пел ли тебе кто-нибудь песню самого сердечного
привета?
Эту песню пою тебе я, я прославляю тебя выше всех,
Чтобы ты, когда наступит мой час, шла твердым
и уверенным шагом.

Могучая спасительница, ближе!
Всех, кого ты унесла, я пою, радостно пою

мертвецов,
У тонувших в любовном твоем океане,
Омытых потоком твоего блаженства, о смерть!

От меня тебе серенады веселья,
Пусть танцами отпразднуют тебя, пусть нарядятся, пируют,
Тебе подобают открытые дали, высокое небо,
И жизнь, и поля, и громадная многодумная ночь.

Тихая ночь под обильными звездами,
Берег океана и волны — я знаю их хриплый голос,
И душа, обращенная к тебе, о просторная смерть
под густым покрывалом,
И тело, льнущее к тебе благодарно.

Над вершинами деревьев я возношу мою песню к тебе,
Над волнами, встающими и падающими, над мириадами
полей и широкими прериями,
Над городами, густо набитыми людом, над кишащими
людом дорогами, верфями
Я шлю тебе эту веселую песню, радуйся, радуйся,
о смерть!

XV

В один голос с моей душой
Громко, в полную силу пела серо-бурая птица,

Чистыми и четкими звуками широко наполняя ночь.
Громко в елях и сумрачных кедрах,
Звонко в сырости и в благоуханье болот,
И я с моими товарищами там, среди ночи.

С глаз моих спала повязка, чтобы могли мне открыться
Бесконечные вереницы видений.

И забрезжили передо мною войска,
И, словно в беззвучных снах, я увидел боевые знамена,
Сотни знамен, проносимых
сквозь дымы боев, пробитых картечью и пулями,
Они метались туда и сюда, сквозь дымы боев, рваные,
залитые кровью,
И под конец только два-три обрывка остались на древках
(и всё в тишине),
Вот и древки разбиты, расщеплены.
И я увидел мириады убитых на кровавых полях,
Я увидел белые скелеты юношей,
Я увидел, как трупы громоздятся над грудами трупов,
Но я увидел, что они были совсем не такие, как мы о них
думали,
Они были совершенно спокойны, они не страдали,
Живые оставались и страдали, мать страдала,
И жена, и ребенок, и тоскующий товарищ страдали,

И бойцы, что оставались, страдали.

XVI

Проходя мимо этих видений, проходя мимо ночи,
Проходя один, уже не держа моих товарищей за руку,
Проходя мимо песни, что пела отшельница-птица в один
голос с моей душою, —
Победная песня, преодолевшая смерть, но многозвучная,
всегда переменчивая,
Рыдальная, тоскливая песня, с такими чистыми трелями,
она вставала и падала, она заливала своими потоками
ночь,
Она то замирала от горя, то будто грозила, то снова
взрывалась счастьем,
Она покрывала землю и наполняла собой небеса —
И когда я услышал в ночи из далеких болот этот могучий псалом,
Проходя, я расстался с тобой, о сирень с сердцевидными
листьями,
Расцветай во дворе у дверей с каждой новой и новой
весной.

От моей песни я ради тебя оторвался

И уже не гляжу на тебя, не гляжу на запад для беседы
с тобою,
О лучистый товарищ с серебряным ликом в ночи.

И все же сохраню навсегда каждую, каждую ценность,
добытую мной этой ночью, —
Песню, изумительную песню, пропетую серо-бурою
птицей,
И ту песню, что пропела душа моя, отзываясь на нее,
словно эхо,
И никнущую яркую звезду с полным страданья лицом,
И тех, что, держа меня за руки, шли вместе со мною
на призыв этой птицы,
Мои товарищи и я посредине, я их никогда не забуду
ради мертвого, кого я любил,
Ради сладчайшей и мудрейшей души всех моих дней
и стран, — ради него, моего дорогого.
Сирень, и звезда, и птица сплелись с песней моей души
Там, среди елей душистых и сумрачных, темных кедров.

О КАПИТАН, МОЙ КАПИТАН!
© Перевод Г. Кружков

О Капитан, мой Капитан, корабль доплыл до цели,
Шторма и рифы — позади, мы все преодолели.
Порт на виду, на берегу — пестро и многолюдно,
Там сотни глаз глядят на нас, на стройный очерк судна.

Но боже мой, о боже мой!
Но крови страшный вид!
На палубе мой капитан,
Закоченев, лежит.

Капитан, мой Капитан, восстань и оглянись —
Не для тебя ль трубит горнист и флаг взметнулся ввысь!
Гирлянды, ленты и цветы — все это в честь тебя,
Тебя народ у трапа ждет, волнуясь и кипя.

Отец! дай руку мне, очнись!
Ведь это сон дурной,
Что ты на палубе лежишь,
Холодный и немой.

Меня не слышит Капитан, ответа не дает,
Бесчувственна его рука, бескровен сжатый рот.
Корабль наш, цел и невредим, уже на якорь стал,
В пылу борьбы, в огне пальбы победу он достал.

Ликуй, толпа! труби, труба! —
Корабль вернулся в порт!..
На палубе мой Капитан
Погибший распростерт.

ГОРОДСКАЯ МЕРТВЕЦКАЯ
© Перевод К. Чуковский

Праздно бродя, пробираясь подальше от шума,
Я, любопытный, замедлил шаги у мертвецкой, у самых
ворот.
Вот проститутка, брошенное жалкое тело, за которым
никто не пришел,
Лежит на мокром кирпичном помосте,
Святыня-женщина, женское тело, я вижу тело, я только
на него и гляжу,
На этот дом, когда-то богатый красою и страстью, ничего
другого не вижу,
Промозглая тишина не смущает меня, ни вода, бегущая
из крана, ни трупный смрад,
Но этот дом — удивительный дом, — этот прекрасный
разрушенный дом,
Этот бессмертный дом, который больше, чем все наши
здания,
Чем наш Капитолий под куполом белым с гордой
статуей там, наверху, чем все старинные соборы
с вознесенными в небо шпилями,
Больше их всех этот маленький дом, несчастный,
отчаянный дом,

Прекрасный и страшный развалина-дом, обитель души,
сама душа,
Отверженный, пренебрегаемый всеми, — прими же вздох
моих дрогнувших губ
И эту слезу одинокую, как поминки от меня, уходящего,
Мертвый дом, дом греха и безумья, сокрушенный,
разрушенный дом,
Дом жизни, недавно смеявшийся, шумный, но и тогда
уже мертвый,
Месяцы, годы звеневший, украшенный дом, — но мертвый,
мертвый, мертвый.

УЛИЧНОЙ ПРОСТИТУТКЕ
© Перевод К. Чуковский

Не волнуйся, не стесняйся со мною, — я Уолт Уитмен,
щедрый и могучий, как Природа.
Покуда солнце не отвергнет тебя, я не отвергну тебя,
Покуда воды не откажутся блестеть для тебя и листья
шелестеть для тебя, слова мои не откажутся блестеть
и шелестеть для тебя.

Девушка, возвещаю тебе, что приду к тебе в назначенный
час, будь достойна встретить меня,
Я повелеваю тебе быть терпеливой и благостной,
покуда я не приду к тебе.

А пока я приветствую тебя многозначительным взглядом,
чтобы ты не забыла меня.

О ФРАНЦИИ ЗВЕЗДА (1870–1871)
© Перевод И. Кашкин

О Франции звезда!
Была ярка твоя надежда, мощь и слава!
Как флагманский корабль, ты долго за собой вела весь
флот,
А нынче буря треплет остов твой — без парусов, без
мачт,
И нет у гибнущей, растерянной команды
Ни рулевого, ни руля.
Звезда померкшая
Не только Франции, — души моей, ее надежд заветных!
Звезда борьбы, дерзаний, порыва страстного к свободе,
Стремления к высоким, дальним целям,
восторженной мечты о братстве,
Предвестье гибели для деспота и церкви.

Звезда распятая — предатель ее продал —
Едва мерцает над страною смерти, геройскою страной,
Причудливой и страстной, насмешливой и ветреной
страной.

Несчастная! Не стану упрекать тебя за промахи,
тщеславие, грехи,
Неслыханные бедствия и муки все искупили,
Очистили тебя.

За то, что, даже ошибаясь, всегда ты шла к высокой цели,
За то, что никогда себя не продавала ты, ни за какую
цену,
И каждый раз от сна тяжелого, рыдая, просыпалась,
За то, что ты одна из всех твоих сестер, могучая,
сразила тех, кто над тобою издевался,
За то, что не могла, не пожелала ты носить те цепи,
что другие носят,
Теперь за все — твой крест, бескровное лицо,
гвоздем пробитые ладони,
Копьем пронзенный бок.
О Франции звезда! Корабль, потрепанный жестокой
бурей!
Взойди опять в зенит! Плыви своим путем!

Подобна ты надежному ковчегу, самой земле,
Возникнувшей из смерти, из пламенного хаоса и вихря,
И, претерпев жестокие, мучительные схватки,
Явившейся в своей нетленной красоте и мощи,
Свершающей под солнцем
свой предначертанный издревле путь —
Таков и твой, о Франция, корабль!
Исполнятся все сроки, тучи все размечет,
Мучениям придет конец, и долгожданное свершится.
И ты, родившись вновь, взойдя над всей Европой
(И радостно приветствуя оттуда звезду Колумбии),
Опять, о Франции звезда, прекрасное искристое

светило,
В спокойных небесах яснее, ярче, чем когда-нибудь,
Навеки воссияешь.

ТАИНСТВЕННЫЙ ТРУБАЧ
© Перевод В. Левик

I

Слушай! Странный трубач, небывалый трубач играет
в ночи прихотливые песни,
Незримо паря в воздушной стихии.
Трубач, я слушаю, чутко ловлю твой напев —
То бурный, крутящийся вихрем вокруг меня, надо мною,
То робкий, неясный, гаснущий где-то в пространстве.

II

Ко мне, о бесплотный! Ты, может быть, дух музыканта
Усопшего, взлеты мечты и восторг озарений
Изведавший в том бытии, которое было
Волной, океаном, вселенною звуков.
Теперь, экстатический дух, ты звонкой трубою
Ничьей души не тревожишь — одну лишь мою,
Лишь для меня играешь ты песню,
Чтоб я передал ее миру.

III

Труби, трубач, и звонко и внятно, — и буду я слушать,
Пока не отступит и шумный день,
И город, и весь взбудораженный мир
Пред этим широким, свободным и светлым потоком
мелодий.
Небесной росою священный покой пролился на меня.
Брожу, как в раю, освеженный прохладою ночи,
Вдыхаю запахи роз, и травы, и влажного ветра,
И песня твоя возносит поникший мой дух — дает мне
свободу и силу,
Нежась и плавая на ветровом океане.

IV

Труби, трубач! Воскрешая пред моими очами
Старинные зрелища — мир феодалов.

О, магия музыки! Вот вереницей ожившей
Идут кавалеры и дамы, пируют бароны, поют трубадуры,
И, в искупленье греха, ищут рыцари чашу святого
Грааля.
Я вижу турнир — соперники в тяжких доспехах, на
статных конях боевых,
Я слышу лязг булата — удары мечей о брони,
Я вижу, как полчищем буйным идут крестоносцы — чу!
грохот литавров.

Монахи бредут впереди, вздымая кресты к небесам.

V

Труби же, трубач! Говори о любви,
О том, что включает весь мир — и мгновенье и вечность.
Любовь — это пульс бытия, наслажденье и мука,
И сердце мужчины и женщины сердце — во власти
любви.
Все в мире связует любовь,
Объемлет и все поглощает любовь.
Я вижу, вокруг меня теснятся бессмертные тени,
Я чувствую пламя, которым согрет весь мир, —
Румянец, и жар, и биенье влюбленных сердец,
И молнии счастья, и вдруг — безмолвие, мрак и желание
смерти.

Любовь — это значит весь мир для влюбленных.
Пред ней и пространство и время — ничто.
Любовь — это ночь и день, любовь — это солнце и месяц,
Любовь — это пышный румянец, благоухание жизни.
Нет слов, кроме слов любви, нет мыслей, помимо любви.

VI

Труби, трубач! Заклинай свирепого духа войны!

На зов твой пространство ответило эхом — подобным
дальнему грому.
Смотри — идут батальоны! Смотри, как в облаке пыли
сверкают штыки!
Я вижу солдат закопченные лица, я вижу вспышки
в дыму, я слышу пушечный грохот.
Не только войну, — твоя страшная песня, безумный
трубач,
Рождает иные картины:
Разбой на дороге — грабеж, и убийство, и крики
о помощи!
В пучине тонет корабль — смятение, отчаянье, гибель!

VII

Трубач! Я сам, верно, тот инструмент, на котором
играешь ты песни,
Ты плавишь мне сердце и мозг, их движешь, влечешь
и меняешь.
Внезапно твой смутный напев навеял грусть на меня,
Ты погасил ласкающий светоч — надежду.
Я вижу рабство и гнет, произвол и насилье повсюду,
Безмерный чувствую стыд, ибо народ мой

унижен —
и этим унижен я сам,
Моими стали страданья — обиды всего человечества, —
и жажда мщенья, и скрытая ненависть,
Меня гнетет пораженье — все кончено! Враг
торжествует.
(Но исполином встает над руинами
Правда, неколебимая
до конца!
Решимость и воля — стоять до конца!)

VIII

Труби же, трубач! Сыграй в заключенье
Такую высокую песнь, какой не играл никогда!
Играй для моей души, воскреси в ней надежду и веру
И дай мне провидеть грядущее,
Даруй мне его предвкушенье и радость.

О счастье, о ликованье — песня восторга!
О звуки, чья сила — сильнее всего на земле!
То марш победивших людей, обретших свободу,
То в гимне все человечество славит всемирного бога, —
и гимн этот — радость!
Явились новые люди, мир стал совершенным, — и все это
радость!
В мужчине и женщине — мудрость, невинность, здоровье,
и все это — радость!
Веселье и смех вакханалий, и все это —

радость!
Исчезли страдания, скорбь и война — нет грязи
на старой земле — осталась одна только радость.
Радостью море рокочет, радостью воздух струится,
Радость, радость, радость — свободы, веры, любви, —
радость ликующей жизни!
Для полного счастья — достаточно жить и дышать!
Радость! Радость! Везде и повсюду — радость!

ЛОКОМОТИВ ЗИМОЙ
© Перевод И. Кашкин

Хочу тебя прославить,
Тебя, пробивающегося сквозь метель зимним вечером.
Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца
в тяжелых доспехах,
Твое черное цилиндрическое тело, охваченное золотом
меди и серебром стали,
Твои массивные борта, твои шатуны, снующие у тебя
по бокам,
Твой размеренный гул и грохот, то нарастающий,
то теряющийся вдали,
Твой далеко выступающий вперед большой фонарь,
Твой длинный белый вымпел пара, слегка розоватый
в отсветах,
Густые темные клубы дыма, изрыгаемые твоей трубой,
Твой крепко сбитый остов, твои клапаны и поршни,
мелькающее поблескиванье твоих колес,
И сзади состав вагонов, послушных, охотно бегущих
за тобою
И в зной и в дождь, то быстро, то медленно, но всегда
в упорном беге.

Ты образ современности — символ движения и силы —
пульс континента;
Приди послужить музе и уложись в стихи таким, каким
я тебя вижу,
Внося с собой бурю, порывы ветра и хлопья валящего
снега,
Днем — предваряемый звоном сигнального колокола,
Ночью — молчаливым миганием твоих фонарей.
Горластый красавец!
Мчись по моим стихам, освещая их мельканьем твоих
фонарей, оглашая их твоим бесшабашным шумом,
Буйным, заливистым хохотом твоего свистка — будя эхо,
грохоча, сотрясая землю, всю будоража,
Подчиняясь только своим законам, идя своим путем.
И голос твой не слезливая арфа, не бойкий рояль,
А пронзительный крик, повторяемый скалами и холмами,
Далеко разносящийся вдоль прерий, и по озерам,
И к вольному небу — весело, сильно, задорно.

НА БЕРЕГАХ ШИРОКОГО ПОТОМАКА
© Перевод И. Кашкин

На берегах широкого Потомака снова старые голоса.
(Все бормочешь, все волнуешься, неужели ты не можешь
прекратить свою болтовню?)
И старое сердце снова ликует, и снова всем существом
ждешь возвращенья весны,
Снова в воздухе свежесть и аромат, снова в летнем небе
Виргинии ясное серебро и синева,
Снова утром багрец на дальних холмах,
Снова неистребимая зеленеет трава, мягка и бесшумна,
Снова цветут кроваво-красные розы.

Напои мою книгу своим ароматом, о роза!
Осторожно промой каждый ее стих своею водой, Потомак!
Дай мне сохранить тебя, о весна, меж страниц, пока они
еще не закрылись!
И тебя, багрец на холмах, пока они еще не закрылись!
И тебя, неистребимая зелень травы!

СТАРИКОВСКОЕ СПАСИБО
© Перевод К. Чуковский

Стариковское спасибо, — пока я не умер,
За здоровье, за полуденное солнце, за этот неосязаемый
воздух, за жизнь, просто за жизнь,
За бесценные воспоминания, которые со мною всегда
(о тебе, моя мать, мой отец, мои братья, сестры,
товарищи),
За все мои дни — не только дни мира, но также и дни
войны,
За нежные слова, ласки, подарки из чужих краев,
За кров, за вино и мясо, за признание, которое
доставляет мне радость
(Вы, далекие, неведомые, словно в тумане, милые
читатели, молодые или старые, для меня безымянные,
Мы никогда не видались и никогда не увидимся, но наши
души обнимаются долго, крепко и долго),
За все, что живет, за любовь, дела, слова, книги,
за краски и формы,
За всех смелых и сильных, за преданных, упорных
людей, которые отстаивали свободу, во все века
во всех странах,
За самых смелых, самых сильных, самых преданных

(им особую лавровую ветвь, пока я не умер, —
в битве жизни отборным бойцам,
Канонирам песни и мысли, великим артиллеристам,
вождям, капитанам души),
Как солдат, что воротился домой по окончании войны,
Как путник, один из тысяч, что озирается на пройденный
путь,
На длинную процессию идущих за ним,
Спасибо, говорю я, веселое спасибо! от путника, от
солдата спасибо!

ЭМИЛИ ДИКИНСОН
© Перевод В. Маркова

«Вот все — что я тебе принесла!..»

Вот все — что я тебе принесла!
Это — и сердце мое.
Это — и сердце мое — все поля —
Летних лугов разлет.
А если хочешь сумму узнать —
Пересчитай подряд
Это — и сердце мое — всех Пчел —
Что в Клевере гудят.

«День! Здравствуй — День очередной!..»

День! Здравствуй — День очередной!
Означь свой малый срок.
Случайный выстрел иногда —
К виктории пролог!

Пошел вперед простой солдат —
И крепость в прах легла.
Скрепись — душа! Быть может — бой
Решит твоя стрела!

«Я все потеряла дважды...»

Я все потеряла дважды.
С землей — короткий расчет.
Дважды я подаянья просила
У господних ворот.

Дважды ангелы с неба
Возместили потерю мою.
Взломщик! Банкир! Отец мой!
Снова я нищей стою.

«Успех всего заманчивей...»

Успех всего заманчивей
На самом дне беды.
Поймешь — как сладостен нектар —
Когда — ни капли воды.

Никто в пурпурном воинстве —
Сломившем все на пути —
Не смог бы верней и проще
Слова для Победы найти —

Чем побежденный — поверженный...
Сквозь смертной муки заслон
Он слышит так ясно — так ясно —
Триумфа ликующий стон.

«Ликование Свободы...»

Ликование Свободы —
Это к морю — путь души —
Мимо мельниц —
Мимо пастбищ —
Сквозь ряды крутых вершин.

Мы росли в кольце долины.
Разве моряки поймут
Упоенье первой мили —
Первых Вечности минут?

«Полет их неудержим…»

Полет их неудержим —
Шмель — Час — Дым,
С элегией повременим.
Останутся — не догорят —
Вечность — Го́ре — Гора.
О них не говорю.
Иной — упокоясь, — взлетит.
Найдет ли неба зенит?
Как тихо загадка спит.

«Склонить — подчеркнуто — голову...»

Склонить — подчеркнуто — голову
И под конец узнать —
Что позы такой не приемлет
Бессмертный разум наш!

Родится злая догадка —
И вы — в этой хмари — все —
Колеблетесь —
Паутинки
На зыбкой Кисее.

«Есть что-то в долгом Летнем дне...»

Есть что-то в долгом Летнем дне —
В ленивом факельном огне —
Торжественный настрой.

И что-то в летний полдень вдруг —
Отзвук — аромат — Лазурь —
Глубинней — чем восторг.

А летней ночью — меж тенет —
Мерцая что-то преблеснет —
Махну рукой в ответ —

Вуаль спускаю убоясь —
А вдруг от слишком жадных глаз
Все убежит — но нет —

Волшебных пальцев не уймешь —
И в тесных ребрах невтерпеж
Пурпурному ручью.

Янтарный флаг восточных стран —
Багряных красок Караван —
Утеса на краю.

Спеши же — Утро — и опять
Мир в чудеса одень —
Иду встречать я — сквозь росу —
Новый Летний день!

«Как изменился каждый холм!..»

Как изменился каждый холм!
Тирийский свет[36] наполнил дол.
Все шире зори поутру —
Все глубже сумрак ввечеру.
Ноги пунцовой легкий след —
Пурпурный палец на холме —
Паук за старым ремеслом —
Победный Шантеклера[37] зов —
Повсюду в гости ждут цветов —
И в роще посвист топора —
И пахнет травами тропа.
Не перечислить всех примет —
Так каждый год она на свет
Родится снова — и твоим
Конец сомненьям — Никодим[38]!

«Дарят мне песни пчел…»

Дарят мне песни пчел
Волшебный произвол —
Но как — и в чем секрет —
Мне легче умереть —
Чем дать ответ.

Холм огненной каймой
Сжигает разум мой.
Смеешься? Берегись!
Сам бог сошел к нам вниз —
Вот мой ответ.

Восход — и я лечу —
Но как и почему —
В чем сила этих крыл?
Тот — кто меня лепил —
Найдет ответ.

«Я узна́ю — зачем? — когда кончится Время…»

Я узна́ю — зачем? — когда кончится Время —
И я перестану гадать — зачем.
В школе неба пойму — Учителю внемля —
Каждой муки причину и зачин.

Он расскажет — как Петр обещанье нарушил —
И — когда услышу скорбный рассказ —
Забуду я каплю кипящей Печали —
Что сейчас меня жжет — обжигает сейчас.

«Укрыта в покоях из алебастра…»

Укрыта в покоях из алебастра —
Утро не тронет —
День не слепит —
Лежит Воскресения мирная паства —
Стропила — атлас —
Крыша — гранит.

Эры шествуют Полумесяцем млечным —
Миры выгнут арки —
Катятся сферы —
Диадемы — падают —
Дожи — сдаются —
Бесшумно — как точки
На Диске из снега.

«Она метет многоцветной метлой…»

Она метет многоцветной метлой —
Но мусора не подберет.
О Хозяйка вечерней зари —
Вернись — обмети пруд!

Ты обронила янтарную нить —
Обронила пурпурный клубок —
А теперь засыпала весь Восток
Изумрудами лоскутков.

А она все машет пятнистой метлой —
А передник ее все летит.
Метла померкнет — россыпью звезд —
Время — домой идти.

«Вспыхнет золотом...»

Вспыхнет золотом —
Погаснет багрянцем —
Леопардом прыгнет на небосвод —
Потом — к ногам Старика Горизонта
Склонив пятнистую морду — умрет.

Пригнется — в окошко к Бобру заглянет —
Коснется крыш —
Расцветит амбар —
Колпачок свой снимет — прощаясь с поляной —
Миг — и откланялся День-Жонглер.

«У света есть один наклон…»

У света есть один наклон.
Припав к снегам устало —
Он давит — словно тяжкий Груз
Соборного Хорала.

Небесной Раной наградит —
Но ни рубца — ни крови —
И только сдвинется шкала
Значений и условий.

Отчаяньем запечатлен —
Кому он подневолен?
Он — словно царственная скорбь —
Которой воздух болен.

Придет —
И слушает Ландшафт —
И тень вздохнуть не смеет.
Уйдет — как бы Пространством
Отгородилась Смерть.

«Два Заката…»

Два Заката
Послала я —
День меня перегнать не смог —
Я второй завершила — и россыпь Звезд —
Он едва лишь первый разжег.

И пусть — как заметила я друзьям —
Обширней его Закат —
Но мой не в пример удобней —
Легко унести в руках.

«Он сеет — сквозь свинцовое сито...»

Он сеет — сквозь свинцовое сито —
Припудрит лес и овраг —
Он алебастром загладит
Морщины сельских дорог.

Он вылепит плоское Лицо
Из равнин и холмов —
Невозмутимый Лоб — от востока
И до востока вновь.

Он каждую ветхую изгородь
Обернет мохнатым руном —
Накинет небесную Вуаль
На темный бурелом —

На ствол — на стог — на стебель.
Засыплет слоем слюды
Акры сухих суставов —
Отшумевшей жатвы следы —

Он столбы в кружева оденет —
И вдруг прикорнул — затих.
Мастера его скроются — легче видений —
Словно нет и не было их.

«Бьет в меня каждый день...»

Бьет в меня каждый день
Молния — так нова —
Словно тучи только сейчас
Огонь — навылет — прорвал.

Она по ночам меня жжет —
Она бороздит мои сны —
Каждым утром задымлен свет —
Так глаза мои опалены.

Я думала — Молния — миг —
Безумное — быстрое «прочь».
Небеса проглядели ее
И забыли — на вечный срок.

«Это — письмо мое Миру…»

Это — письмо мое Миру —
Ему — от кого ни письма.
Эти вести простые — с такой добротой —
Подсказала Природа сама.
Рукам — невидимым — отдаю
Реестр ее каждого дня.
Из любви к ней — Милые земляки —
Судите нежно меня!

«Наш Мир — не завершенье…»

Наш Мир — не завершенье —
Там — дальше — новый Круг —
Невидимый — как Музыка —
Вещественный — как звук.

Он манит и морочит —
И должен — под конец —
Сквозь кольцо Загадки
Пройти любой мудрец.

Чтобы найти ответ —
Сносили наши братья
Презренье поколений —
Не убоясь распятья.

Споткнувшись — ловит вера —
Со смехом пряча стыд —
Хоть прутик Доказательства —
Флюгер — поводырь.

Раскаты аллилуйи —
Гром с кафедры — вотще!
Наркотик не работает —
Душу точит червь.

«Мне — написать картину?..»

Мне — написать картину?
Нет — радостней побыть
С прекрасной невозможностью —
Как гость чужой судьбы.
Что пальцы чувствовать должны —
Когда они родят
Такую радугу скорбей —
Такой цветущий ад?

Мне — говорить — как флейты?
Нет — покоряясь им —
Подняться тихо к потолку —
Лететь — как легкий дым
Селеньями эфира —
Все дальше — в высоту.
Короткий стерженек — мой пирс
К плавучему посту.

Мне — сделаться Поэтом?
Нет — изощрить мой слух.
Влюблен — бессилен — счастлив —
Не ищет он заслуг —
Но издали боготворит
Безмерно грозный дар!
Меня бы сжег Мелодий
Молнийный удар.

«Я вызвала целый мир на бой...»

Я вызвала целый мир на бой —
Камень — в руке моей.
Крепче меня был пастух Давид —
Но я была вдвое смелей.

Я камень метнула — но только себя
Ударом на землю смела.
Был ли слишком велик Голиаф —
Или я чересчур мала?

«Я голодала — столько лет…»

Я голодала — столько лет —
Но Полдень приказал —
Я робко подошла к столу —
Дрожа взяла бокал.

Обжег мне губы странный сок!
Не раз на пир такой —
В чужое заглянув окно —
Я зарилась тайком.

И что же? Здесь все дико мне —
Привыкла горстку крошек
Я вместе с птицами делить
В столовой летних рощ.

Я потерялась — я больна —
С избытком не в ладу.
Не приживется дикий терн
В прекраснейшем саду!

Как ненасытен за окном
Отверженного взгляд!
Войдешь — и Голод вдруг пропал —
Ты ничему не рад.

«Я для каждой мысли нашла слова…»

Я для каждой мысли нашла слова —
Но Одна ускользает из рук —
Поддаться не хочет мне —
Словно мелом черчу Солнца круг

Для племен — взращенных во Тьме.
А как начала бы ваша рука?
Разве Полдень пересказать лазуритом
Или кармином Закат?

«Я не могу быть с тобой...»

Я не могу быть с тобой —
Ведь это — Жизнь —
А с нашей — кончено все —
За шкафом лежит.

Ризничий в темный чулан
Убрал под запор
Нашу Жизнь — словно чашку —
Брошенный фарфор.

Хозяйке нужен другой —
Новомодный севр —
Старый в трещинах весь —
Хрупкий товар.

Я не могу — быть с Тобой —
Даже в смертный миг.
Надо ждать — чтоб закрыть мне глаза.
Ты — не смог.

А я — мне стоять и смотреть —
Как стынешь Ты —
Без права на вдовью часть
Морозной тьмы?

Я с тобой не могу воспарить —
Потому что Твой лик
Затмил бы самого Иисуса —
Чужестранен и дик

Для моих доморощенных глаз.
Что мне райский чертог?

Ты бы поодаль в нем сиял
Чуть ближе — чем бог.

Они б нас судили — но как?
Ты служил небесам —
Или пытался верно служить —
Я — нет — знаешь сам.

Ты насытил зренье мое.
Я не искала — зачем? —
Это скаредное совершенство —
Именуемое Эдем.

Если небо осудит Тебя —
Это и мне приговор —
Хотя бы имя мое
Славил ангельский хор.

А если ты будешь спасен —
Но меня удалят
Туда — где Тебя нет —
Вот он — худший ад!

Так будем встречаться — врозь —
Ты там — я здесь.
Чуть притворена дверь:
Море — молитва — молчанье —
И эта белая снедь —
Отчаянье.

«Мой дом зовется — Возможность...»

Мой дом зовется — Возможность —
Потому что Проза бедна.
У него Дверь величавей —
Воздушней — взлет Окна.
Комнаты в нем — кедры —
Неприступные для глаз —
Его вековечная Крыша — кругом —
На фронтоны холмов оперлась.
Посетительницы — прекрасны.
Занятие? Угадай.
Распахну свои узкие руки —
Забираю в охапку рай.

«Говорят — Время смягчает...»

Говорят — Время смягчает.
Никогда не смягчает — нет!
Страданье — как сухожилия —
Крепнет с ходом лет.

Время — лишь Проба горя —
Нет снадобья бесполезней —
Ведь если оно исцелило —
Не было — значит — болезни.

«Публикация постыдна...»

Публикация постыдна.
Разум — с молотка!
Скажут — бедность приневолит —
Голода аркан.

Что ж — допустим. Но уйти
С чердака честней —
Белым — к белому творцу —
Чем продать свой снег.

Мысль принадлежит по праву
Лишь тому — кто мог
Дать ее небесной сути
Телесный анало́г.

Милостью торгуй господней —
Ссуда — под процент —
Но не смей унизить Гений
Ярлыком цены.

«Моя душа — осудила меня — я содрогнулась…»

Моя душа — осудила меня — я содрогнулась.
Адамантовыми языками поругана —
Все меня осудили — я улыбнулась —
Моя Душа — в то Утро — была мне другом.

Дружба ее закалит Презрение
К подвохам людей — козням времени —
Презренье ее! Лучше сжег бы меня
Палец эмалевого огня.

«Стояла Жизнь моя в углу…»

Стояла Жизнь моя в углу —
Забытое Ружье —
Но вдруг Хозяин мой пришел —
Признал: «Оно — мое!»

Мы бродим в царственных лесах —
Мы ищем лани след.
Прикажет мне — заговорю —
Гора гремит в ответ.

Я улыбнусь — и через дол
Бежит слепящий блеск —
Как бы Везувий свой восторг
Вдруг пламенем изверг.

Я грозный враг — его врагам.
Вздохнут — в последний раз —
Те — на кого наставлю перст —
Направлю желтый глаз.

Пусть он и мертвый будет жить —
Но мне — в углу — стареть —
Есть сила у меня — убить —
Нет власти — умереть.

«Из Тупика — в Тупик...»

Из Тупика — в Тупик —
Потеряна Нить —
Тащу Механические ноги —
Стоять — упасть — дальше брести —
Не все ли равно?

Достигнута цель —
И сразу же вдаль
Уходит неясным концом —
Я закрыла глаза — и ощупью шла —
Куда светлей — быть Слепцом.

«Истина — неколебима!..»

Истина — неколебима!
Дрогнут земные недра —
Дуб разожмет кулаки —
В сторону прянет кедр —

Гора к чужому плечу
Головой припадет — ослабев —
Как прекрасен тогда Великан —
Он сам — опора себе!

Истина — исполински мощна!
Смело в нее поверь —
И она не только устоит —
Любого подымет вверх.

«Бог каждой птице дал ломоть…»

Бог каждой птице дал ломоть —
Мне — кроху — вот и все!
Почать ее не смею я.
Роскошество мое

Мучительное — поглядеть —
Потрогать — чуть дыша —
Мой хлебный шарик — подвиг мой —
Мой воробьиный шанс.

В голодный год не надо мне
Ни одного зерна —
Так яствами богат мой стол —
Так житница полна!

Шах копит золото — набоб
Лелеет свой алмаз.
Есть только кроха у меня —
Но я — богаче вас.

«Невозможность — словно вино...»

Невозможность — словно вино —
Подхлестывает кровь
С каждым глотком. Возможность
Пресна. Но к ней добавь

Случайности хоть каплю —
И проникнет в смесь
Очарованья ингредиент
Так же верно — как смерть.

«Вскройте Жаворонка! Там Музыка скрыта…»

Вскройте Жаворонка! Там Музыка скрыта —
Лепесток в лепестке из серебра.
На нее скупятся для летнего утра.
Она про запас —
Когда Лютня стара.

Отомкните поток! Он насквозь неподделен.
Из горла бьет за струей струя.
Багровый опыт!
Теперь ты веришь —
Фома — что подлинна птица твоя?

«Я ступала с доски на доску…»

Я ступала с доски на доску —
Осторожно — как слепой —
Я слышала Звезды — у самого лба —
Море — у самых ног.

Казалось — я — на краю —
Последний мой дюйм — вот он…
С тех пор у меня — неуверенный шаг —
Говорят — житейский опыт.

«Когда вижу — как Солнце встает…»

Когда вижу — как Солнце встает
Над грядой потрясенных вершин —
Ставит День у каждых дверей —
В каждом месте Деянье свершит —

Без аккомпанемента похвал —
Без шумихи на каждом шагу —
Мне кажется — Земля — Барабан —
За которым мальчишки бегут.

«Если сердцу — хоть одному…»

Если сердцу — хоть одному —
Не позволю разбиться —
Я не напрасно жила!
Если ношу на плечи приму —
Чтоб кто-то мог распрямиться —
Боль — хоть одну — уйму —
Одной обмирающей птице
Верну частицу тепла —
Я не напрасно жила!

«Запел сверчок…»

Запел сверчок
И закат зажег —
Мастера дошили день в срок —
Стежок — и еще стежок.

Роса огрузила травы подол.
Сумрак застенчивый долго-долго
Шляпу вертел в руках — и гадал —
Войти или нет в дом?

Пришли — как соседи — Ширь без конца —
Мудрость — без имени и лица —
Покой накрыл весь мир — как птенца —
Так началась Ночь.

«День смаху бросила навзничь…»

День смаху бросила навзничь —
Примяла ранняя Ночь —
В глубокий Вечер он уронил
Лоскут — окрашенный в Желчь —
Ветер воинским маршем пошел —
Листья сбежали в обоз —
Гранитную шляпу Ноябрь
Повесил на плюшевый гвоздь.

«Прошлое — нет существа странней...»

Прошлое — нет существа странней.
Глянешь в упор —
И тебя ожидает восторг
Или позор.

Безоружный — встретишь его —
Беги — во всю прыть!
Заржавленное ружье
Может заговорить.

«Нарастать до отказа — как Гром…»

Нарастать до отказа — как Гром —
И по-царски рухнуть с высот —
Чтоб дрожала Земная тварь —
Вот Поэзия в полную мощь
И Любовь —
С обеими накоротке —
Ни одну не знаем в лицо.
Испытай любую — сгоришь!
Узревший Бога — умрет.

«Колодец полон тайны!..»

Колодец полон тайны!
Вода — в его глуши —
Соседка из других миров —
Запрятана в кувшин.

Не видим мы ее границ —
Лишь крышку из стекла.
Ты хочешь в Бездну заглянуть?
Здесь — рядом — залегла.

Я удивляюсь каждый раз
Мужеству травы.
— Прильнет к тому — что нас страшит —
В безвестное обрыв.

Но морю тростники сродни —
Глядят в него в упор.
И лишь для нас Природа
Чужая до сих пор.

Другой все знающий о ней —
Как бы ее посол —
В дом — полный привидений —
Ни разу не вошел.

Но кто — по правде говоря —
С ней коротко знаком?
Ведь мы тем дальше от нее —
Чем ближе подойдем.

«Здесь лето замерло мое…»

Здесь лето замерло мое.
Потом — какой простор
Для новых сцен — других сердец.
А мне был приговор
Зачитан — заточить в зиме —
С зимою навсегда —
Невесту тропиков сковать
Цепями с глыбой льда.

ЖОАКИН МИЛЛЕР

СКАЧКА КИТА КАРСОНА
© Перевод М. Зенкевич

Простор! Быть свободным и вольно дышать.
Гигантом расти, как безбрежная гладь,
Со скоростью ветра скакать на коне
Без троп, без пути по глухой целине.
Простор! Океан, безгранично велик,
Целует, как брата, большой материк.
Бизоны с косматыми волнами грив
Там движутся грозно, как бурный прилив.
Не спросит охотник — ты друг или враг,
И гостя пригреет вигвама очаг.
Равнины Америки! Прерий простор!
От берега моря, где волны шумят
Привет чужестранцу, стремлюсь я назад,
Я к вам возвращаюсь, к вам руки простер!

Припустить? Сэр, взгляните, какой это конь!
Пache — лучший мой друг. Он горяч, как огонь.
Не узнаете вы по блестящим глазам,
Что он слеп, как барсук… Расскажу я все вам…
Мы лежали в траве золотой, словно клевер,
На восток и на запад, на юг и на север
Простирался сухой травяной океан
Вдаль, где в Бразосе был наш охотничий стан.
Мы лежали средь трав побуревших, сухих,
Выжидая, когда скроет ночь нас троих;
Убежала со мной индианка-невеста,
И селенье ее краснокожих родных
Отделяла от нас только ночь переезда.

Я держал ее руку, ловил ее взгляд,
И волос сине-черных роскошный каскад

Рассыпал, ниспадая с ее головы,
По груди красно-смуглой душистые струи.
Был в касанье ее жаркий трепет травы,
Принимавшей от солнца с небес поцелуи.
Ее голос воркующий, томен и густ,
О любви пробужденной шепнул мне украдкой,
И слетал каждый звук с ее розовых уст,
Как пчела, отягченная ношею сладкой.

Мы лежали в траве, старый Ревелс и я
И бежавшая с нами невеста моя.
«Сорок миль лишь, и больше ни фута… Поверьте,
Что настигнут нас здесь краснокожие черти,
Если только команчи напали на след, —
Проворчал старый Ревелс. — Но выхода нет,
Только ночь нас избавит от пыток и смерти».
Крепко лассо держа, он лежал на спине
И за солнцем следил. Вдруг в глухой тишине
Он вскочил, словно что-то почуяв во мгле,
И упал, и приник чутким ухом к земле.
Он поднялся — лицо, словно саван, бело,
Борода в серебре, а в глазах его пламя,

Как седой патриарх, он стоял перед нами,
Его голос звучал, как тревожный сигнал:
«Крепче лассо стяните! Взнуздайте коней!
Поскорей, поскорей ради жизни своей,
Чтоб спастись, пока время еще не ушло!
Подожженная прерия пышет пожаром.
Я услышал, когда к земле ухом прильнул,
Топот диких коней, как морской дальний гул,
И другой, отдаленный грохот и гуд,
То бизоны, гонимы пожаром, бегут.
Ураган так сметает все в бешенстве яром!»

Лассо мы затянули и быстро бегом
За конями погнались с уздой и седлом,
И, подпруги стянув, на коней мы вскочили.
Поскакали мы в Бразос, и воздух кругом
И свистел и гудел, а глаза нам слепил
Ярко-красными вспышками яростный пыл.
Настигал нас в пути ураган огневой
И катившийся черный ревущий прибой
В темном облаке едкого дыма и пыли.

Нет, ни вопля смятенья, ни слова моленья,
И не дрогнуло сердце от страха в груди,
Надо было спешить, смерть гналась позади,
Был один лишь на тысячи шанс на спасенье.
Двадцать миль!.. Тридцать миль!.. Вот пятно впереди…
Полоса… Это Бразос встает в отдаленье.
Закричал я — так радость была велика —
И направо взглянул, привставая слегка.
Где же Ревелс?.. Взглянул чрез плечо я в тревоге
И увидел, что, голову низко склоня,
Ревелс к шее споткнувшегося коня
Голой грудью припал и огонь красноногий
Быстро гнался за нами по травам сухим.
Рядом с Ревелсом мчался матерый бизон,
Гулко землю топча, словно прерий владыка,
Грозно гривой косматой он тряс, разъярен,
Пропылен и продымлен, и, жаром гоним,
Он ревел, будто бешеный, злобно и дико,
И торчащие в космах кривые рога
Устремлял, словно копья, вперед на врага.
Я взглянул еще раз, и, настигнут огнем,
Старый Ревелс исчез, мы скакали вдвоем…

Я пригнулся пониже, помедлил с минуту

И с тревогою тайной налево взглянул,
И навстречу из мрака роскошных волос
Мне в глаза ее взгляд лучезарный сверкнул,
Полный преданной, нежной любви, полный слез
И тревожной заботы, и, дымом окутав,
Пламя вверх к волосам ее пышным неслось.
Ее копь зашатался и рухнул без сил,
Я чрез пламя невесту мою подхватил,
В Бразос Паче домчал и меня и ее,
Он ослеп от огня, но мне дорог и мил…
Вот и все!

ЧЕРЕЗ ПРЕРИИ
© Перевод М. Зенкевич

Идут быки в ярме в упряжке,
Скрипит фургон с поклажей тяжкой.
Прозрачные и с поволокой
Их круглые глаза блестят,
Но укоряет темный взгляд
Какой-то грустью волоокой.
Сгибая шею до земли,
Быки влачат фургон в пыли,
Сухой и твердый дерн гудит
От их раздвоенных копыт.

Быки, снося свой рабский труд,
Как пленных два царя, идут.
Печаль лучится в их глазах,
Внушавших раньше дикий страх.
Ногами приминая травы,
Топча степную целину,
Они ступают величаво,
Как будто бы имеют право
По-царски шествовать в плену.

У ТИХОГО ОКЕАНА
© Перевод Э. Шустер

Здесь с царственною тишиной
Пространство в дружбе состоит,
Здесь смерть владычицей сидит
Над непомерной глубиной.
Здесь вот он — край земли нашелся,
И запад с западом сошелся.

Над ярким золотом небес
Вознесся величавый пик,
К его подножию приник
Людьми заполоненный лес.
Но так все мирно, что забота
Забыла про свои тенета.

Косой закатный видит луч
В глубинах только глубину;
Садятся птицы на волну,
А рядом бьет торговли ключ.
Индейцев праху здесь не спится,
Он служит Западу зарницей.

НА ЗАПАД
© Перевод Э. Шустер

О, что за пыл и дух мятежный
И что за воинства сошлись!
То — Запад! В битве неизбежной
Стальные мышцы напряглись
Людей и леса. Слышишь крики
Первопроходцев, звон великий
Пил, топоров и стук подвод,
Как будто армия идет
В атаку, нападая рьяно,
С настойчивостью урагана.

Здесь человек возвышен стал,
Как будто храм средневековый!
Здесь властелин теперь он новый,
Но, восходя на пьедестал,
Он жатвы не пожал кровавой…
Нет склепов здесь, нет дутой славы —
В час смерти чьей-то взрежет плуг
Клочок земли, и жизни круг
Замкнется в ней. Надгробьем — зыбкий
След лемеха. Даря улыбки,
В луга выходит красота,
Неспешным делом занята, —
Идет, с могил простых срывая
Цветы, что звезд прекрасней мая;
Замрет, наклонится затем
И тихо вопросит — зачем
Земля так странно здесь изрыта
И птицей почему подбитой
Густая стелется трава.

Да, Время, этот старый жнец,
Без счету вас здесь накосило.
Зовем мы вас — молчат могилы;
Ответом нам не стук сердец —
Железный грохот. Ширь и дали,
Все подчинил себе прогресс,
А тихий пионер исчез.
Сроднился дух его с лесами;
Скупая память только с нами
О тех, что некогда дерзали,
Сражались здесь и умирали.

СИДНИ ЛАНИР

ЧЕРНЫЕ ДНИ
© Перевод Р. Дубровкин

В ослепшем сердце не осталось веры,
Лишь тени прошлого живут для нас,
Молчаньем мы рассвет встречаем серый,
С востока горестных не сводим глаз.

Там черных дней уже кружится стая,
Как воронье, зловещи эти дни, —
Из завтрашней лазури прилетая,
Что в клювах острых принесут они?

Прижаты тенью скорбных этих крыльев,
Забыв о боге среди вечной тьмы,
Под гнетом унижений обессилев,
С тюрьмой своею втайне свыклись мы.

Крикливая, губительная стая,
Блеснет ли и для нас когда-нибудь
Грядущего полоска золотая,
К иным рассветам указав нам путь?

ВЕСЕЛЬЕ В СЕНАТЕ
© Перевод Р. Дубровкин

На юге, вечно голодна,
Лежит забытая страна:
Лохмотья жалкие она
На камень стелет голый,

Но чу! Какой-то шум вдали.
Кряхтя, встает она с земли
И слышит, ветры принесли
В пустыню смех веселый.

Ужели бедствиям конец?
Ужели просьбам внял Творец
И вскоре снова выйдет жнец
В рассветный час на поле?

Увы, напрасные мечты:
В сенате праздные шуты
Острят, смеясь до хрипоты, —
Что им до нашей боли?

Дрожит от хохота дворец,
Не вспомнит ни один подлец,
Когда последний лег мертвец
В сырую темень гроба.

Что им до горечи людской?
Колпак надеть бы шутовской,
Но от веселости такой
Повсюду зреет злоба!

КОЛОСЬЕВ СПЕЛЫХ ШУМ…
© Перевод Р. Дубровкин

О мудрый пахарь, чей послушный плуг
Под сенью этой липы одинокой
Весною очертил просторный круг,
Где ныне за стеною ржи высокой
Так часто коротаю я досуг,
Палящим летним днем в тени глубокой,
Сюда сегодня вновь меня привел
Веселый гул трудолюбивых пчел
И сладкий для уединенных дум
Колосьев спелых шум.

В лощине, скрытой от меня холмом,
Сын пахаря насвистывает звонко
Простую песню о себе самом;
Угадывая мысли пастушонка,
Сверчок, с бесхитростным своим умом,
Стрекочет ненавязчиво и тонко,
Влюбленный голубь в синей вышине
О юных днях спешит напомнить мне.
И все ж моих не нарушает дум
Беспечный этот шум.

Как далеки отсюда города,
Где низменные побеждают страсти,
Где места нет для мирного труда,
Где все и вся у золота во власти,
Где торг не умолкает никогда, —
Как счастлив я, что вырвался из пасти
Своекорыстия, — и здесь в глуши
Могу подслушать в утренней тиши
Столь сладостный для одиноких дум

Колосьев спелых шум.

ПЕСНЯ РЕКИ ЧАТТАХУЧИ
© Перевод М. Зенкевич

Вниз от вершины Хабершэм,
Вниз по долине Холл
Устремилась я стремглав на поля,
Дробясь об утесы, что встали, как мол,
Водопады стремя, у порогов гремя,
Пролагая узкий путь средь теснин,
Вырываясь на вольный простор равнин,
Устремилась я, бурля, на поля
Вдаль от вершины Хабершэм,
Вдаль от долины Холл.

В пути от вершины Хабершэм,
В пути средь долины Холл
Камыш густой шелестел мне: «О, стой!»
Цветник из кувшинок в воде моей цвел,
И лавры прельщали меня красотой,
Лужайки манили в лесной тишине,
Кусты ежевики склонялись ко мне,
Тростник золотой шелестел мне: «О, стой
Здесь у вершины Хабершэм,
Здесь средь долины Холл».

На склонах вершины Хабершэм,
На склонах к долине Холл
Рассказывал лес мне так много чудес
И теней голубых хороводы вел,
И каждый дуб, и орех, и каштан
Молил, наклоняя свой гибкий стан:
«Останься здесь, где так много чудес
У темной вершины Хабершэм,
В укромной долине Холл!»

Не раз у вершины Хабершэм,
Не раз средь долины Холл
Из кварца кристалл блистал и сверкал
В сиянии радужном, как ореол,
Драгоценный камень из бурых скал,
Иль дымчато-мглист, иль хрустально-чист,
Рубин, и гранат, и аметист,
Меня прельщая, блистал и сверкал
В теснинах вершины Хабершэм,
В низинах долины Холл.

О нет, и вершина Хабершэм,
О нет, и долина Холл
Не удержат меня, я спешу на поля,
Призыв отдаленный ко мне дошел.
Изнывая без влаги, там сохнет земля,
И спешу я туда для полива, труда,
Оживит мириады цветов там вода,
Властно море меня зовет чрез поля
Вдаль от вершины Хабершэм,
Вдаль от долины Холл.

БОЛОТА ГЛИННА
© Перевод А. Шарапова

Лес виргинских дубов, чьи огромные тени
Гнутся под тенями лоз, что в змеином сплетенье
Жаждут вцепиться в развилки ветвей.
О изумрудные блики
Как девственно-робкие лики,
Листьев картина — пусть ветер рокочет о ней
В час, когда пары влюбленных идут меж зеленых колонн
Сладко-туманного леса,
Родного мне леса
К опушке ясной, как небосклон.
Там, на самом краю песчаной рдяной равнины,
Соленые топи Глинна.
Дивный сумрак, блики огней далеких —
Тайный приют всех ждущих, всех одиноких.
Гобелены листвы отделяют от кельи келью.
Печальным братьям молитесь в часы веселья,
Грустным святым, что когда-то сквозь дебри шли
Взвесить готовые зло и добро земли.

Большие тени дубов и тени от лоз как нити.
Покуда солнце в полдень стоит в зените,
Я помню вас и вы меня в сердце храните.
Но в час, как мятежное солнце усмирено
И стражем застыло у западных врат оно
И желтый луч в галерею дерев стремится,
Словно тропинка в рай из царства мечты струится,
В час, когда пью аромат виргинского дуба,
И ни люди, ни бой часов не вторгнутся в душу

грубо,
И минуют меня коса времен и млат ремесла,
И силу долга вера переросла,
И душа в длину, в ширину, в глубину растет,
Заполнив собой пространство Глиннских болот, —
Они не доставят страха, как в те времена,
Когда истомляла длина и ранила ширина,
Когда безымянная боль, и мрак, и истома
Тысячью миль отделяли меня от дома.
Отныне одна у меня для пространства мера —
Имя ей Вера.
И я очарован светлой лесной поляной,
И берег вьется, как пояс зари багряной
Туда, к рубежу, границе, пределу,
Где лесная мгла загустела.
Ты,
Виргиноский дуб, нагнувшийся с высоты!
Я, с почтеньем и робостью отстранясь
(Боготворящей тебя рукой, о Природы князь)
От красоты твоей вольно-гордой,
Стою на песке, утоптанном твердо,
Свободный
Миром болот, гранью земной и водной.

То к югу, то к северу делая поворот,
Втекает в складки земли бахрома болот.
На север, на юг, вширь и вдаль расставляя свои пределы,
Все в серебряной тине, вы формой как девичье тело.
Отклоняясь, сгибаясь — то есть он, а то его нет,
Брег, скользя, отплывает в туманно-сиреневый свет.
И что, если там, у меня за спиной,
Только роща дубовая встала сплошной стеной?

Там, на западе, только одни леса,
А на востоке весь мир — так огромны болото, море и небеса.
И многие лье пышнолистых болотных растений,
Никчемных в своей высоте, в нежных пятнах света и тени,
С ленивой тянущихся тоской
К предельной голубизне морской.

…И все-таки чем-то болото и море похожи:
Оба душе внушают одно и то же,
Как будто судьбу свою я опустил в трясину,
В длину, ширину и глубь соленых лиманов Глинна.
О топи, не зная отказа, без чувства своей вины
Вы небу открыты, вы к морю обращены.
Терпимые к мукам от солнца, дождя и моря,
Вы словно католик, осиливший скорбью горе,
Знанием — Бога, страданием — доброту,
Мглою — рассвет и позором своим — чистоту.

Как гнезду куропатки трясина служит подножьем,
Я свить гнездо хочу на Величье Божьем;
Я в Величии Божьем хотел бы парить на просторе,
Как куропатка болот на пути от лиманов к морю;
И, как в трясине держатся корпи трав,
Я хочу быть в Величии Божьем прав,
В Величии Божием, чьи глубины,
И ширина, и длина таковы, как у топей Глинна…
Море себя продлевает за счет болот,
И одни болота знают приливам счет,
И море своим величием небывалым
Обязано также и этим притокам малым,
Чьи воды

Питают его свободу.

Незаметно, исподволь эта вода течет
По миллионам вен в пучине Глиннских болот.
Так розовый сок, если брызнуть в него серебра,
Рождает тот цвет, которым цветут вечера.
Прощай, о Солнце, мой господин,
Разливаются реки, и между вязких трясин
Сотни ручьев бегут, играя травой болотной,
Да вдруг зашумит крыло — то стан перелетный
Пронесся мимо… Ручьи уползли на дно —
И есть лишь болото и море, и оба слились в одно.

Чем измерить стоячей воды покой?
Только силой, с которой ревет прибой.
Воды моря ныне как никогда полны.
Ночь над морем и серебро луны.

И волны небесные так же, как волны морские,
Хлынут скоро в сонные души людские.
Но кто объяснит душе, проснувшейся к знанью,
Подводные те ручьи и дна очертанья,
Какие по воле Божьей прозрела она
Под волнами сна?
И что за тени ходят по дну в час, как море зальет трясину —
Всю длину и всю ширину топких лиманов Глинна?

ЭДВИН МАРКЕМ

ЧЕЛОВЕК С МОТЫГОЙ
(По всемирно известной картине Милле)
© Перевод Г. Кружков

К земле пригнутый бременем веков,
Стоит он, на мотыгу опершись,
Опустошенность — на его лице,
А на плечах — вся тяжесть бытия.
Кто в нем убил надежду и восторг,
От радости и скорби отлучил
И превратил в тупой рабочий скот?
Кто обезволил этот вялый рот,
Скосил назад угрюмое чело,
Задул в его мозгу огонь ума?

Ужель таким создал его Господь,
Чтоб властвовать над сушей и водой,
Стремиться в небо, звезды вопрошать
И в сердце ощущать тот вечный пыл?
Ужели это — замысел Творца,
Назначившего солнцам их пути?
В ущельях мрака, в адовом жерле,
Нет ничего страшней, чем этот вид,
В нем — обвиненье алчности слепой,
Зловещее пророчество душе,
Угроза для вселенной и людей.

Сколь он от стати ангельской далек!
Чтó для него, молчащего раба,
Платон или мерцание Плеяд?
Чтó для его души полет стиха,
Рождение зари, румянец роз?

Года страданий сквозь него глядят;
Столетий ужас — в сгорбленной спине;
Сама идея человека в нем
Ограблена, глумленью предана,
И правосудия требует она,
И обличает, и проклятья шлет.

О заправилы мира, главари!
Так вот оно, творенье ваших рук —
Чудовище с убитою душой?
Как, бога ради, распрямить его;
К забытому бессмертью приобщить;
Вернуть его глазам простор и свет;
Поднять мечту и волю из руин;
Позор закоренелый оправдать,
Предательство и вековое зло?

О заправилы мира, главари!
Чем вы оплатите суровый счет?
Что сможете ответить в час, когда
Охватит землю пламя мятежа?
Что станет с вами, царства и цари,
Плодящие уродов и калек,
Когда очнется этот человек
И встанет, грозный, чтобы мир судить?

ЛИНКОЛЬН, ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
© Перевод Г. Кружков

Лишь только Норна вещая вдали
Завидела растущий Ураган,
Она покинула Небесный Дом,
Чтобы средь смертных сотворить того,
Кто мог бы встретить близкую беду.
Взяла дорожной глины с большака,
Еще хранящей теплоту Земли;
Пророческий в нее вложила пыл;
Смягчила влагой человечьих слез;
Приправила улыбкой эту смесь.
В творение свое вдохнула Мать
Огонь, который осветил навек
Трагический и нежный этот лик,
Неуловимых полный перемен;
Отметила печатью Высших Сил,
Под смертной оболочкой их сокрыв.
Вот так был явлен миру человек,
Сравнимый с морем и громадой гор.

В нем чувствовалась почва и земля,
Стихийные основы бытия:
Несокрушимость и терпенье скал
И щедрость благодатного дождя,
Приветливость лесного родника,
Веселость ветра, треплющего рожь,
Бесстрашье птиц, пускающихся в путь
Над бездною морской, и состраданье
Снегов, скрывающих рубцы и шрамы,
Таинственность неведомых ручьев,
Текущих в гулкой глубине пещер,
И справедливость солнечных лучей,

Несущих благо робкому цветку —
И загрубелой мачтовой сосне,
Холмам могильным и громадам гор.
На Западе рожденный, он впитал
Всю доблесть новоявленного мира:
Необоримость девственных чащоб,
Раскинувшихся прерий тишину.
Его слова стояли, как дубы
Средь поросли, а думы стали прочным
Подножьем для гранитной правоты.

От сруба в Иллинойсе до Конгресса —
С одним огнем в груди, с одним решеньем:
Вогнать кирку под самый корень зла,
Расчистить место для стопы господней,
Рассудком проверяя каждый взмах,
Деянья меря мерой Человека.
Как свайный дом, он строил государство,
Всю мощь в удары тяжкие влагая;
Рукою дровосека он сжимал
Перо, провозгласившее свободу.

Так Вождь пришел с великою душой;
И в час, когда карающие громы
Дом потрясли, разворотив стропила,
Он с места не сошел, но поддержал
Коньковый брус и заново скрепил
Стропила Дома. Он к высокой цели
Стремился неуклонно, как деревья,
Ни бранью не смущаясь, ни хвалами.
Когда же ураган его свалил,
Он пал, как падает могучий кедр,
Обильный кроной — с грохотом и шумом,
Под небом оставляя пустоту.

УИЛЬЯМ ВОАН МОУДИ
© Перевод Н. Стрижевская

ВЕРЕСКОВЫЕ ПУСТОШИ ГЛОЧЕСТЕРА

Вниз по реке Глочестер, там
Стоит рыбацкий флот,
Вверху — подходит лес к холмам,
У ферм пасется скот.
Здесь полдень голубой
Струит на вереск бледный свет,
На пустошь и морской прибой,
Уводит ветры за собой
Мчать за июнем вслед.

В тени коряги львиный зев
На страже рощи встал,
Ромашки краше юных дев,
Шиповник жарко ал.
Пирушка мотыльков
Идет, раскрылся барбарис,
Плющ на черемухе повис,
Пьянея от цветов.

Кувшинок яркой желтизной
Пестрит прибрежный луг,
Ныряют ласточки сквозь зной,
Зовя своих подруг.
Над морем чаек крик
Затих, но слышен щебет птиц,
Вдруг стайка легкая синиц
Скользнет, как синий блик.

Сама земля здесь непрочна,
Нечеток контур дюн,
Уходит из-под ног она,

Изменчив цвет лагун,
Песок на много миль
Кругом да вереска поля,
Упругий мох пружинит иль
Планеты в такт качнулся киль —
Плывет корабль-земля.

Строй облаков погожим днем
Летит, как паруса,
И солнце мачтовым огнем
Плывет сквозь небеса.
Как шлюпка за кормой,
Луна льет тусклый свет на борт,
И шхуна мчится по прямой,
Как будто ведом ей самой
Ее далекий порт.

О боже, боже! Где причал,
Известно ли земле?
Иль мечется корабль у скал
Как бы слепой во мгле?
Кто нынче капитан,
Земля их видела не счесть,
Тот был безумен, этот пьян,
Кто занят покореньем стран,
А кто любил поесть.

Хоть наглухо задраен люк,
Закрыт зловонный трюм,
Я слышал исступленный стук,
Проклятья, крики, шум,
Я бросился во тьму,
Но мне сказали снизу: «Нет, —
Ты здесь не нужен никому»,
Я устремился на корму,
«Останься» — был ответ.

Желтеет лютик в ивняке,
Лиловый иван-чай
Склоняет чашечку к реке,
Кто дал мне этот рай,
Где улиц нет в грехах,
В грязи, со смрадом городским,
В котором смешан зной и дым?
И кто дал братьям в пищу прах?
Когда воздастся им?

В Глочестер строй рыбацких шхун
Везет домой улов,
Мелькают паруса средь дюн
Немыслимых цветов.
Монеты в кошельках
Звенят, и звонки голоса,
Есть что припрятать в сундуках,
Есть что растратить в кабаках,
Спешите, паруса!

Но ты, корабль душ людских,
Когда узришь сквозь мглу
Свой порт и призраков каких
Увидишь на молу?
И, развевая флаг,
Придешь, тайфуны покоря,
В свои знакомые моря
Иль горсть оборванных бродяг
Опустит якоря?

ОДА ВО ВРЕМЕНА СОМНЕНИЯ

(После того как автор увидел в Бостоне статую Роберта Голда Шоу, убитого во время штурма Форта Вагнер 18 июня 1863 года, когда он командовал первым добровольческим негритянским полком, 54-м Массачусетским.)

I

Средь сутолоки уличной стоит
Сен-Гуденовский бронзовый солдат,
В честь Шоу Роберта, что был убит,
Когда на приступ шел его отряд,
Он вознесен на постаменте тут,
Но мимо толпы праздные идут.
Средь суеты, торговли, болтовни
Я слышу отдаленный гул весны
И знаю — в эти мартовские дни
Охвачены тревогой и они,
Хоть прям их взгляд и поступь их тверда,
Те, кто погиб от горя и стыда
За то, чтоб наша жизнь была чиста.

II

По улицам течет людской поток,
Парк черен, и средь голых крон
Не зеленеет ни один листок,
Но слышу я капели дерзкий звон.
Я знаю, что любовь сильней небес,

Уже скороговоркой шепчет лес,
И ручейки среди камней бегут
И лед смывают потихоньку в пруд.
А ветер пряным югом вдруг запах,
Как будто аромат виргинских мхов
Растущих лишь на вековых дубах,
Он захватил с собой из тех краев
За Каролиной, где плоды в садах
Сгибают ветки, иль его порыв
Пришел с благоуханных островов,
Что Мексиканский окружил залив.

III

На мысе Анны стайка детворы
В дом землянику принесет и тмин,
Охотник на холме гусиный крик
Услышит скоро и увидит клин,
Над Теннесси летящий до зари
Из Освенго в Солт-Сент-Мари,
Туда, где скалы реют над водой
И где огромный, буйный, молодой
На западе Чикаго распростерт,
Неугомонный, острый на язык,
Сознанием судьбы великой полн,
Над озером, как нимб, расцветив порт.
Как море в ожиданье кораблей,
Зеленой чередой пшеничных волн
Расстелется в Дакоте гладь полей.
В пустынях Аризоны в свой черед
Свершат весны загадочный обряд,
Среди песков, что, как слюда, горят,
Приветствуя светил круговорот.
Ветра вновь жертвы принесут богам,

Когда сияющая Сьерра позовет
Вершины взмыть, танцуя, к облакам
Под распахнувшийся небесный свод.
Кедр запоет под бурей, как гобой,
Рек заструится сумрак голубой,
И рыбы замерцают в глубине.
Морям Аляски Шастой подан знак,
Там старых льдов тяжелый слышен гул,
Сползающих во тьму по крутизне,
На айсберги весенний вихрь подул,
А Марипоза сквозь лиловый мрак
Гавайи созерцает при луне;
Тропический качает ветерок
Верхушки пальм, и Запад и Восток
Неотличимы, словно близнецы,
Там света сходятся далекие концы,
Хоть розно жить и повелел им Бог.

IV

Но что за звуки там слышны?
Увы! То не морской прибой,
Там, заглушая шум весны,
Вдали кипит постыдный бой.
Смириться ль со стыдом и мне,
Но ведь не зря же здесь стоят
Фигуры бронзовых солдат,
Отдавших жизнь своей стране!
Сурова правда наших дней!
И ноша долга тяжела,
Как хороша моя земля,
Да будет божья длань над ней!
Увы! несчастье и позор!
Сорвать венок с ее главы,

Венок лирической листвы,
И тихо вымолвить укор.
Ужели мне права даны
Скорбеть иль порицать,
На стыд и боль моей страны
Ленивым пальцем указать?

V

Ложь! Ложь! Клянусь! Был правым каждый бой!
Влекла нас справедливость за собой,
Не запятнал Республику разбой,
Для нас война покуда не базар,
Победа — наша честь, а не товар.
Нас ложь и грязь коснуться не могли,
Здесь безупречный сын моей земли
С венцом бессмертной славы на челе,
Надменной Новой Англии душа,
Ведущая измученных рабов,
Вчера освобожденных из оков,
Что вслед за ним бредут едва дыша
Туда, где смерть встречает честь во мгле.
Он с ними был на берегу всю ночь,
Стараясь мрак и холод превозмочь,
Он пробирался к каждому ползком,
Слова простые подбирал с трудом,
В отверженную плоть вдыхая жар,
Покуда каждое из этих темных лиц
Не ожило при наступленье дня,
И черепки, что выкинул гончар,
Не стали чашей грозного вина,
Чистейшей ярости, что горем рождена.
Затем наверх, где жерлами бойниц
Темнел в морском тумане бастион,

Рядами укреплений окружен,
И где соцветья адского огня
На небе распускались вновь и вновь
И рассыпали смерти семена.
Они шли вверх, и проливали кровь,
И гибли здесь, на этой высоте,
Свободными. А после в темноте,
Когда рассеялся давно сраженья дым,
Брезгливо побросали их тела
В могилу общую. Навеки с ним
Теперь соединила их земля.
Природы нерушим круговорот,
Один над ними горный лавр взойдет,
И ветерок его овеет в зной,
Два сердца станут розою одной.
Упряма демократия земли —
И равенства непобедим закон,
Рука к руке под этот лавр легли
Невежественные рабы и тот,
Кто знал, что здесь не равенства оплот,
А вековой неправды бастион,
Который наконец-то нами взят.
Мы оплатили дорогой ценой Победу.
Не сравнится ни с одной
Святыней этот бронзовый солдат.
И мы теперь не повернем назад,
За это отдал жизнь его отряд.

VI

О горькая, измученная тень!
Ты хочешь ли, чтоб наступил тот день,
Когда из глаз твоих уйдет упрек,
Ты ждешь ли до сих пор тех гневных строк,

Ненужных, запоздалых, может быть,
Что я пытался в сердце затаить,
Не омрачая солнечные дни?
Когда о подвигах средь праздной болтовни
Твердили как о скучных новостях,
Крик застывал на бронзовых устах,
Румянец проступал сквозь бронзу щек.
Здесь только бард великий должен петь,
Чья лира может плакать и скорбеть,
Неужто ни один не сыщется средь нас?
Ужель Уитмена великий дух угас?
Я верю, что раздастся гордый глас,
Хоть тайно и скорбит весенний свет,
Хоть ветер донесет до нас нет-нет
Заокеанской битвы мрачный шум,
Хотя закат таинственно угрюм,
Хотя и вопрошаем мы с тоской
Грядущее, и мог ли быть такой
Итог у наших горестных побед,
И у кого нам требовать ответ,
Пока красноречивые мужи
Запутались в хитросплетениях лжи
И забивают пустословьем рот,
Продажной фальшью равнодушных од.
Я уши терпеливо зажимал,
Не слушал оскорбительных похвал,
Писклявых, унизительных речей —
Враги нас просят не тупить мечей,
Пока духовности не сменим мы сосуд
На варварства пустые черепки,
Что более удобны для руки,
Сжимающей тюремный ключ иль кнут,
Освободившись от морали пут,
Сокровищам ума не место тут.
Достоин ли венец борьбы отцов?
За то ли бились мы, в конце концов,

И нас ли Мильтон нацией орлов,
Что в горних высях правды родились,
Назвал когда-то, разве поднялись
Мы к солнцу в поднебесии парить,
Чтоб там с богами наравне царить?
Иль ничего уж не осталось у детей
От птиц, кроме утробы и когтей,
И каждый пусть сам по себе живет,
Болотных птиц поселим средь болот,
К мышам летучим филинов и сов,
А солнце мы оставим для орлов?

VII

О нет!
Мы все ж так низко не падем!
Струится в наших жилах кровь отцов!
Измученная Куба под ярмом
Стонала обессиленно вчера,
И разносили тропиков ветра:
«Спасите нас, иначе мы умрем!»
Вся Алабама эхо этих слов
Услышала, и всколыхнулся Мэн,
Достиг Айдахо ветер перемен,
И гордо распрямился гордый штат,
Отправив армии на запад и восток.
Во имя пылких мальчиков-солдат,
Что в Сан-Хуане на холме лежат,
А ведь любой из них узнать бы мог
Очарованье девичьей любви,
И звездную печаль, и древний жар,
Когда поют ночами соловьи.
Мы требуем: не дайте осквернить
Их благородных жертв священный дар,

Их смерть себе на пользу обратить.
Республика потребует отчет
У каждого, кто листик украдет
Из их побед лаврового венка,
У каждого, чья жадная рука
На славу их посмеет бросить тень,
Для каждого придет расплаты день.
И ясным днем на вас падет позор,
Подкараулит ночью вас, как вор.
Мы покараем всех наверняка.
Не искушайте нас, ведь мы слабы.
Не тронем мы свободных островов,
Пускай клянет нас с жарких берегов
Неотомщенных мертвый грозный хор,
Пусть мы для них трусливые рабы,
Мы чашу горькую должны испить до дна —
Зола нас побелит, как седина,
До крошки хлеб отчаянья съедим,
Поднимется над хижинами дым,
И будет плач стоять у нас в домах,
И мысль родится наконец в умах,
И, с опозданьем, может быть, прозрев,
На вас тогда мы выместим свой гнев.
Страшитесь!
Может быть, мы слепоту простим,
Но низость и корысть не пощадим!

О СОЛДАТЕ, ПАВШЕМ В БОЮ НА ФИЛИППИНАХ

Смолкни, уличный рой,
Город, стихни на час,
Он погиб как герой,
Он наш исполнял приказ.
Тише! Пусть воздадут
Славу ему сейчас,
Наши дела подождут.
Застынь, караула строй!

Вот он появился, он тут. Трубный раздался глас.
Пусть роз гирлянды сплетут, не опускайте глаз!

Бейте в колокола!
Гуди, тяжелая медь!
Пусть воздастся хвала,
Он из-за нас шел на смерть.
Пусть воздух тугой звенит,
Не дай бог узнать наконец
Ему, за что он убит.
Сюда лавровый венец.

Пусть верит, что в правом бою ему приказали лечь,
Ни слова о том, что страну родную разил его меч.

Набросьте флаг на лафет,
Пусть будет побольше знамен.
Да будет он в песнях воспет,
Пусть не ведает он,
Что близятся черные дни,

Что надвигается мрак
Смуты, безверья, войны.
Пусть развевается стяг!

Пусть не приснятся сны ему, что пулей своей
Пронзил он сердце страны и нет оправдания ей.

СТИВЕН КРЕЙН

ЧЕРНЫЕ ВСАДНИКИ
© Перевод А. Сергеев

Черные всадники с моря.
Лязг, лязг пик о щиты,
Стук, стук подков и копыт,
Дикие крики и волны волос
Пронеслись по ветру:
Набег греха.

СЕРДЦЕ
© Перевод А. Сергеев

В пустыне
Некто голый, звероподобный
Сидел на корточках,
Держал в руках свое сердце
И ел его.
Я спросил: — Что, вкусное? —
Он ответил: — Горькое — горькое,
Но мне нравится,
Что оно горькое,
Потому что это мое сердце.

«Господь построил корабль мирозданья тщательно...»
© Перевод В. Британишский

Господь построил корабль мирозданья тщательно.
Со всей искусностью величайшего мастера
Сделал Он корпус и паруса,
И руль держал Он в руках,
Собираясь его приладить.
И стоял Он гордо, любуясь своей работой.
И тут, в роковую минуту, что-то случилось,
Бог повернулся взглянуть, в чем дело,
Корабль улучил момент и, ловкий, лукавый,
Тихонько-тихонько — шасть — и скользнул со стапеля,
И, навек оставшийся без руля, пошел по морям,
Блуждая причудливыми путями,
Совершая странные эволюции,
Следуя самым серьезным образом
Дуростям ветров.
И были многие на небе,
Смеявшиеся над этим.

ТРАВИНКИ
© Перевод А. Сергеев

На Небе
Маленькие травники
Предстали пред Богом.
— Что вы сделали в жизни? —
И все травинки, кроме одной,
Начали бойко расхваливать
Свои добродетели.
А одна стояла поодаль,
Смущенная.
И Бог спросил ее:
— А ты что сделала в жизни? —
— Господи, — отвечала травинка, —
Если я хоть когда
И сделала доброе дело,
То теперь ничего не помню. —
И Бог во всей своей славе,
Восстав с престола, сказал ей:
— О лучшая из травинок!

«Звучал багряный гул войны...»
© Перевод В. Британишский

Звучал багряный гул войны.
Земля чернела и чахла;
Женщины плакали;
Дети бежали, ошеломленные.
Один человек не видел, в чем же тут смысл.
Он спрашивал: «Ради чего?»
Зашумел миллион желавших ему объяснить.
Такой был нечленораздельный гвалт,
Что смысла не было слышно.

«Предо мною...»
© Перевод В. Британишский

Предо мною,
Миля за милей,
Были снега и льды и жгучий песок.
Но взглядом я досягал из этих пределов
До бесконечно прекрасных мест;
И мог я увидеть ее, во всей красоте,
Гуляющую под сенью деревьев.
Когда я глядел,
Все исчезало,
Кроме нее и этих прекрасных мест.
Когда я глядел
И, заглядевшийся, грезил.
А потом опять предо мною,
Миля за милей,
Были снега и льды и жгучий песок.

ЧЕЛОВЕК ГНАЛСЯ ЗА ГОРИЗОНТОМ
© Перевод А. Сергеев

Человек гнался за горизонтом,
Горизонт от него ускользал.
Я увидел, встревожился
И сказал человеку:
— Это немыслимо,
Ты никогда…
— Врешь! — крикнул он
И продолжил погоню.

МНОГИЕ КАМЕНЩИКИ
© Перевод А. Сергеев

Многие каменщики
Сложили огромный кирпичный шар
На вершине горы.
Затем они спустились в долину
И обозрели свое творенье.
— Величественно, — сказали они;
Шар им нравился.

И вдруг он покачнулся
И покатился на них
И мгновенно всех раздавил.
Но некоторые успели взвизгнуть.

ЧЕЛОВЕК УВИДАЛ В НЕБЕ ЗОЛОТОЙ ШАР
© Перевод А. Сергеев

Человек увидал в небе золотой шар;
Он полез за ним
И в конце концов добрался к нему —
Шар был глиняный.

И вот что странно:
Когда человек вернулся на землю
И опять посмотрел в небо,
Там был золотой шар.
И вот что странно:
Это был золотой шар.
Клянусь небом, это был золотой шар.

«Я блуждал в пустыне...»
© Перевод В. Британишский

Я блуждал в пустыне.
И воскликнул:
«Господи, возьми меня отсюда!»
Голос промолвил: «Это не пустыня»;
Я воскликнул:
«Да, но —
Этот песок, этот зной, этот пустой горизонт»,
Голос промолвил: «Это не пустыня».

«Думай, как думаю я, — сказал человек...»
© Перевод В. Британишский

«Думай, как думаю я, — сказал человек, —
А иначе ты гнусная тварь:
Ты жаба».
Подумавши немного, я сказал:
«Пусть уж я буду жаба».

«Друг, твоя белая борода уже до земли…»
© Перевод В. Британишский

Друг, твоя белая борода уже до земли.
Что ж ты стоишь, уповающий?
Уж не надеешься ли узреть это въяве
В свои ветхие дни?
Уж не надеешься ли узреть
Своими дряхлыми глазами
Триумфальный марш справедливости?
Друг, не жди.
Уноси свою белую бороду
И свои дряхлые глаза
В более благоприятные страны.

КНИГА МУДРОСТИ
© Перевод А. Сергеев

Я встретил пророка.
Он держал в руках
Книгу мудрости.
— Господин, — попросил я, —
Позволь почитать.
— Дитя, — начал он.
— Господин, — перебил я, —
Не думай, что я дитя,
Ибо я уже знаю много
Из того, что ты держишь;
Да, много.

Он улыбнулся.
И он открыл свою книгу
И показал мне.
Странно, что я так внезапно ослеп.

ВОЙНА ДОБРАЯ
© Перевод А. Сергеев

Не плачь, дева, ибо война добрая.
Из-за того, что твой милый безумно взмахнул руками
И напуганный конь понесся дальше один,
Не плачь.
Война добрая.

Хриплые громкие барабаны полка,
Мелкие души, стремящиеся к борьбе,
Эти люди созданы для муштры и смерти.
Необъяснимая слава витает над ними,
Велик бог войны и его царство —
Поле и в поле тысяча мертвых.

Не плачь, дитя, ибо война добрая.
Из-за того, что отец твой рухнул в желтых траншеях,
Рвал на себе мундир, захлебывался и умер,
Не плачь.
Война добрая.

Быстрое яркое знамя полка,
Орел с золотым и алым гребнем,
Эти люди созданы для муштры и смерти.
Обучи их искусству смертоубийства,
Покажи им величие славных побоищ
И поле и в поле тысячу мертвых.

Мать, скорбное сердце твое смиренно склонилось
Над сияющим светлым саваном сына,
Не плачь.
Война добрая.

Я ОБЪЯСНЯЮ
© Перевод А. Сергеев

Я объясняю, зачем серебристый корабль плывет в ночи,
И удар каждой грустной отвергнутой им волны,
Гаснущий гул устремленного вдаль стального корпуса,
Далекую перекличку матросов,
Новую тень на темно-серой ночи,
И угасанье упавшей звезды.
После — пустыня, большая пустыня вод
И мягкий плеск черных волн
Надолго и в одиночестве.

Запомни же, о корабль любви,
Ты покидаешь эту большую пустыню вод
И мягкий плеск черных волн
Надолго и в одиночестве.

ГАЗЕТА
© Перевод А. Сергеев

Газета — собрание полуправд,
Громкие крики мальчишек миля за милей
Доносят ее нелепое мнение
До миллиона насмешников и сострадателей.
Семьи сбиваются в кучу у очага
И с восторгом читают о смерти жестокой любви.
Газета — судилище,
Где каждого судит старательно, несправедливо
Убожество честных людей.

Газета — базар,
Где мудрость торгует своей свободой,
А толпы венчают арбузные головы.
Газета — игра, в которой
Ее просчеты приносят ей выигрыш,
А искусство противника идет ему на погибель.
Газета — символ,
Летопись бесполезной жизни,
Собрание гулких сплетен,
Средоточие вечной тупости,
Идущей по миру, не зная преград,
Из отдаленных столетий.

ПУТНИК
© Перевод А. Сергеев

Путник
Набрел на дорогу к истине
И изумился:
Так густо она заросла травой.
— Ба! — сказал он, —
Я вижу, давным-давно тут
Никто не ходил. —
И вдруг он заметил, что каждая
Травинка — нож.
— М-да, — заключил он, —
Конечно, должны быть другие дороги.

«Для девушки…»
© Перевод В. Британишский

Для девушки
Море было голубая долина,
Где жили крошечные гномы пены
И пели.

Для моряка с погибшего судна
Море было мертвые серые стены,
Гигантски пустые,
На которых, однако, в роковую минуту
Была написана
Мрачная ненависть Натуры.

«Солнечный луч, скользящий вдоль мрачных стен...»
© Перевод В. Британишский

Солнечный луч, скользящий вдоль мрачных стен.
Стыдливая голубизна забытых небес.

Несущийся к Господу мощный гимн,
Песнь крушений и криков,
Грохот колес, цокот копыт, колокольный звон,
Гул приветствий, прощаний, признаний, надгробных плачей,
Возгласы радости, глупости, предостереженья, отчаянья,
Невнятные звуки звериных фраз,
Псалмодии цветущих роз,
Визг перепиливаемых деревьев,
Бессмысленный гомон куриц и мудрецов,
Нестройный гвалт, вопиющий аж к звездам глас:
«Боже, спаси нас!»

«Жил-был человек — деревянный язык...»
© Перевод В. Британишский

Жил-был человек — деревянный язык
И пробовал петь
И поистине жалкие были потуги
Но был один который слушал
Как колотится деревянный язык
И понимал о чем тот человек
Пытается петь
И певец был рад ибо он был понят.

«Если ты ищешь друга среди людей...»
© Перевод В. Британишский

Если ты ищешь друга среди людей
Помни: они рекламируют свои товары.
Если ты просишь бога за этих людей
Помни: они рекламируют свои товары.
Если ты ищешь блага для этих людей
Помни: они рекламируют свои товары.
Если ты хочешь предать проклятью людей
Помни: они рекламируют свои товары.
Рекламируют свои товары
Рекламируют свои товары
Если ты хочешь привлечь вниманье людей
Помни:
Помоги или помешан им рекламировать их товары.

«Серая, бурливая улица…»
© Перевод В. Британишский

Серая, бурливая улица,
Пульсирующая грохотом.
Вдруг — похоронный кортеж,
Несколько черных карет,
С трудом прокладывающих путь
Через бездну бизнеса.
И мальчишки пытаются рассмотреть
Чужое горе за занавесками.
Наемные люди гонят и в хвост и в гриву,
Торопятся к кладбищу, к концу этой церемонии.

Да, кончай это дело.
Гони, кучер, гони.
Хлещи лоснящихся тварей.
Галоп — галоп — галоп.
Покончим с этим быстрее.

ПОЛ ЛОРЕНС ДАНБАР

КРУГОМ ЛИЧИНЫ
© Перевод А. Ибрагимов

Кругом личины. Нрав наш пылкий
Скрывают лживые ухмылки.
Мы весело, до хрипоты,
Смеемся, искривляя рты,
Но боль — в биенье каждой жилки.

Мир счета не ведет слезам,
Карает правых и безвинных.
Благодаренье небесам —
Кругом личины.

Отчаянье — все безысходней.
Но мы смеемся. Сын Господний,
Нас милости своей сподобь!
Поем, хоть под ногами топь, —
И что нам до врагов злочинных, —
Кругом личины.

УЧАСТЬЕ
© Перевод А. Ибрагимов

Я знаю, как птица рвется из клетки
В тот утренний час, когда во дворе
Ветер тихонько волнует ветки
И первый бутон — небывалой расцветки —
Глаза открывает навстречу заре.
Его аромат — как зов отдаленный.
Я знаю муки птицы плененной.

Я знаю, в какой жестокой тоске
Колотится птица пушистой грудкой
О прутья стальные. Сидеть на шестке
С одною мечтой: от земли вдалеке
Мчаться и мчаться пружины раскруткой.
Я знаю, какая боль и печаль
Бросает пленную птицу на сталь.

Я знаю, что́ птица поет в темнице,
Увидев неба клочок голубой.
Не радостно — горько бедной певице.
Сердечко ее к свободе стремится,
И песни полны горячей мольбой…
Устала она. Нет сил томиться.
Я знаю, что птица поет в темнице.

МОЙ ИДЕАЛ
© Перевод А. Ибрагимов

Признаться, не люблю господ,
Чванливый люд поместный.
Мне по душе простой народ,
Доверчивый и честный.
Не слишком грубый и не злой,
Само собой понятно.
А что до всяких мелочей —
Есть и на солнце пятна.

Я только не терплю тех, в ком
Сплошная ложь, притворство.
Бывает, смотрит добряком
Подлец с душою черствой.
Но переигрывает он.
Обманщика, пролазу,
Хоть и в короне золотой,
Я распозна́ю сразу.

Хороший вкус — нам лучший дар.
Не скрою, мне приятно,
Когда мужчина, юн ли, стар,
Одет к лицу опрятно.
Наряды — женской красоте
Достойная оправа,
И капелька тщеславья нам
Не помешает, право.

И все же не в одежде суть.
Не обольщайтесь лоском.
Я вижу много прощелыг,
Укрытых в платье броском.

И часто следует успех
За голью, с виду жалкой, —
Из тех, что превосходят всех
Отвагой и смекалкой.

Я не люблю господский круг —
Мне те друзья и братья,
Чьих крепких, мускулистых рук
Не разомкнуть пожатья.
А тот, кто не держал вовек
Ни заступа, ни грабель, —
Пустой, ничтожный человек:
Он сам себя ограбил.

Не высшая ли это честь —
Упорно, понемногу
К вершине собственным трудом
Прокладывать дорогу?
Отныне — истинный король —
Ты обретешь величье, —
И что тебе насмешек рой,
И брань, и злоязычье?

Сидеть и ждать, пока добро
Придет само, напрасно.
Вперед! На поиски его
Ступай тропой опасной!
Верши, без липших слов, твой долг.
Будь тверд, забыв о страхе, —
И мир откроется тебе
Во всем своем размахе.

А где добро, там честь всегда.
Извечно их содружье.
Не меч разящий, не свинец, —
Они — твое оружье.

Твори ж добро, его одно —
И счастья полнокровье
Узнаешь. Ты богат. Беднó
Господское сословье.

ДОЛГ
© Перевод А. Ибрагимов

Не рассчитаться, хоть режь.
За однодневный мятеж
Долгие годы расплатой
Муки души распятой.

Долг, что тащу на горбу,
Видно, в гробу погребу.
Там, обездоленный сроду,
Мир обрету — и свободу.

Думал: какая беда,
Все уплачу без труда,
Но не учел я роста.
Рост-то чудовищный просто!

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ
© Перевод А. Ибрагимов

Херувим в одежде белоснежной
Ночь поцеловал с улыбкой нежной.
Пробудилась спящая, горя
Маковым огнем. Взошла заря.

ВОЗДАЯНИЕ
© Перевод А. Ибрагимов

Так глубоко любил я,
Так долго, что Царь Небесный,
Являя свое милосердье,
В дар ниспослал мне песни.

Так безнадежно любил я,
Пел — и сипел так надрывно,
Что смерть ниспослал мне Всевышний
В своей доброте неизбывной.

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ НЕГРА
© Перевод Э. Шустер

Я вчера с любимой был —
Красота, ей-богу.
Нежно ручку ей сдавил —
Красота, ей-богу.
Слышал вздох, один, другой,
Видел блеск в глазах живой
И улыбок пил настой —
Красота, ей-богу.

Слышал ветра шум в сосне —
Красота, ей-богу.
Что-то птахи пели мне —
Красота, ей-богу.
А поняв ее намек,
Обмер с головы до ног,
Все мне было невдомек —
Красота, ей-богу.

И, обняв ее слегка, —
Красота, ей-богу.
Начал я издалека —
Красота, ей-богу.
Любишь? Дай тогда ответ!
Любишь так, как я, иль нет?
А она: — Здесь ярок свет! —
Красота, ей-богу.

ЭДВИН АРЛИНГТОН РОБИНСОН

СОНЕТ («О, где Поэт — чтоб светочем для нас...»)
© Перевод А. Сергеев

О, где Поэт — чтоб светочем для нас
Из мертвой зыбкой серости сверкнуть,
И Муз, вдали блуждающих, вернуть,
И новым светом затопить Парнас;
И в бегство мелких обратить пролаз,
Мастачащих без сердца, как-нибудь
Стишки, которым уготован путь,
Блеснув на миг, навеки сгинуть с глаз.

Что означает наш бездарный век?
В нем, как всегда, цветок и человек,
И солнца свет, и смена лет и зим.
Неужто же в столетьях тот исчез,
Кто стяг срывает с запада небес
И крестит время именем своим?

КРЕДО
© Перевод А. Сергеев

Я не найду пути: глухой покров
Завесил путеводные светила;
И в воздухе бездушном все застыло,
Лишь временами долетает зов
Могучей музыки из тех краев,
Где упражнялась ангельская сила,
И упражненье ненароком свило
Венок из мертвых листьев без цветов.

Ни проблеска, ни звука, все мертво.
Чему, страшась и радуясь, пропеть я
В ужасной мутной мгле хочу ответ?
Сквозь все, над всем и за чертой всего
Мне вести шлют далекие столетья,
Я чувствую грядущий в славе Свет.

УОЛТ УИТМЕН
© Перевод А. Сергеев

И отзвучали песни. Человек,
Который пел их, сделался понятьем,
Как Бог, как жизнь и смерть и как любовь.
Но мы настолько слепы, что не в силах
Прочесть того, что написали сами,
Или того, что вера начертала:
Мы недоумеваем.

Так песня воплотилась в человека,
А человек преобразился в песню.
Сегодня большинство его не слышит:
Чрезмерно высоко, чрезмерно чисто
Для слуха нашего его искусство,
Чрезмерно радостно и слишком вечно.
Но те немногие, что слышат, знают,
Что завтра он споет для всех на свете,
И все его услышат.

Не отзвучали песни. Лучше скажем,
Что спетое не может отзвучать
И что понятия не умирают.
Когда мы человеческие буквы
Наносим на гранит или песок,
Мы пишем их навеки.

ЛЮК ГАВЕРГОЛ
© Перевод А. Сергеев

У западных ворот, Люк Гавергол,
Где по стене багрянцем плющ зацвел,
Встань в сумерках и жди среди теней,
И листья вдруг зашепчутся о ней,
И, как слова, зашелестит их шелк;
Она зовет, чтоб ты туда пришел.
У западных ворот, Люк Гавергол —
Люк Гавергол.

О нет, ни проблеска не даст восток,
Огнистый мрак в твоих глазах глубок;
Но там, где запад мрачно пышет так,
Быть может, сам же мрак прикончит мрак:
Кровавит лист самоубийца-бог,
И ад наполовину рай облек.
О нет, ни проблеска не даст восток —
Не даст восток.

Из гроба я хочу тебе шепнуть,
Чтоб поцелуй ослабить как-нибудь,
Тот, что всегда горит на лбу твоем
И, ослепив, влечет одним путем.
Поверь, что к ней ведет один лишь путь,
Он горек, но не может обмануть.
Из гроба я хочу тебе шепнуть —
Тебе шепнуть.

У западных ворот, Люк Гавергол,
Где плющ багряный по стене зацвел,
Где ветры рвут обрывки мертвых слов
И не хотят разгадывать их зов,

Не чувствуют, что шепчет листьев шелк,
Там ждет она, чтоб ты туда пришел.
У западных ворот, Люк Гавергол —
Люк Гавергол.

РИЧАРД КОРИ
© Перевод И. Кашкин

Когда под вечер Кори ехал в сад,
Мы с тротуаров на него глазели:
Он джентльмен был с головы до пят,
Всегда подтянут, свеж, приветлив, делен.

Спокойствие и мощь он излучал,
Гуманностью своею был известен.
О, кто из нас за кружкой не мечтал
Стать мильонером, быть на его месте!

Он был богат — богаче короля,
Изысканный, всегда одет красиво.
Ну, словом, никогда еще земля
Такого совершенства не носила.

Трудились мы не покладая рук,
Частенько кто-нибудь из нас постился,
А Ричард Кори процветал — и вдруг
Пришел домой, взял кольт и застрелился.

МИНИВЕР ЧИВИ
© Перевод А. Сергеев

Минивер Чиви свой удел
Клял и поры своей стыдился,
Худел, мрачнел и сожалел,
Что он родился.

Минивер, предан старине,
Пожалуй, если увидал бы
Рыцаря в латах на коне,
То заплясал бы.

Минивер всех людских забот
Бежал и знал свое упрямо:
Афины, Фивы, Камелот,
Друзья Приама.

Минивер плакал, что с былой
Славой ослабли нынче узы, —
Бредет Романтика с сумой
И чахнут Музы.

Минивер в Медичи влюблен
Заочно был, прельстясь их званьем, —
Как жаждал приобщиться он
К их злодеяньям!

Минивер будничность бранил,
Узрев солдата в форме новой,
И вспоминал про блеск брони
Средневековой.

Минивер золото презрел,

Но забывал свое презренье,
Когда терпел, терпел, терпел,
Терпел лишенья.

Минивер Чиви опоздал
Родиться и чесал в затылке,
Кряхтел, вздыхал и припадал
В слезах к бутылке.

ДЖОН ГОРЭМ
© Перевод А. Сергеев

— Что ты вдруг решил сюда прийти, Джон Горэм,
И зачем прикинулся, что скорбен и уныл?
Рассмеши иль отпусти меня, а то при лунном свете
Я тебе напомню слово, о котором ты забыл.

— Я пришел тебе сказать, о чем луна, быть может,
Шепчет и кричит тебе ночами целый год,
Я пришел тебе сказать, какая ты, Джейн Уэйленд,
И пускай тебя хоть это малость в чувство приведет.

— Ну-ка, объясняйся до конца, Джон Горэм,
А не то скользну я и исчезну стороной
И по пальцам не сочтешь ты всех моих путей-дорожек
И следов моих не сыщешь там, где толпы шли за мной.

— Жаль, что ты не видывала толп, Джейн Уэйленд,
Верно, ты могла бы покорять их при луне.
Только я исчезну первым, это я хочу исчезнуть,
И когда меня не будет, ты не вспомнишь обо мне.

— Так-то ты сказал, какая я, Джон Горэм?
Видно, мне самой тебя придется развлекать.

Погляди-ка, вон луна тебе какие строит рожи,
Притворись хоть на минутку, что не хочешь убегать.

— Ты — то самое, что в мае меж цветов порхает
И цветком взлетает на мгновенье в небосвод,
Ты — то самое, что ночью ловит мышь, Джейн Уэйленд,
Поиграет с ней, а после для забавы загрызет.

— Не был ты мне мышью никогда, Джон Горэм,
Как тебе не стыдно даже думать о таком?
Складно сказку сочинил ты, но не более, чем сказку, —
Не была тебе я кошкой, не была и мотыльком.

— Нынче ночью ровно год, как я гляжу и вижу —
То крадется кошка, то мелькает мотылек.
Целый год я вижу их, а не тебя, Джейн Уэйленд,
Ты их спрячь или убей, чтоб я тебя увидеть мог.

— Посмотри получше на меня, Джон Горэм,
Не дури, подвоха не ищи в моих словах!
Я ведь женщина всего лишь, протори ко мне тропинку
И не требуй объяснений и раскаяний в грехах.

— Поздно, слишком поздно ты зовешь, Джейн Уэйленд,
И луна напрасно изливает благодать
На ненужные осколки позабытого былого,
О котором нам с тобою больше нечего сказать.

БЬЮИК ФИНЗЕР
© Перевод А. Сергеев

Когда-то миллион его
С процентов распухал,
Но алчность подвела его,
И миллион пропал,
И надломился человек,
Утратив капитал.

А годы шли, и кто-то вслед
За ними уходил,
Но год пришел, и тот пришел,
О ком весь мир забыл,
Пришел, но вовсе не таким,
Каким когда-то был.

Дрожащий голос, тусклый взгляд,
Поникшие черты,
В одежде — лоск отчаянья,
Опрятность нищеты,
В душе — о призрачных деньгах
Безвольные мечты.

Он знает, что в большой игре
Он больше не игрок,
Он жалко смотрит вам в глаза,
Боясь прочесть упрек
Того, кто стать несчастнее,
Чем он, несчастный, мог.

Он постоянно просит в долг,
Мы не вступаем в спор,
Он никогда не отдает,

Но просит до сих пор, —
Докучлив, как былой просчет,
Бесплоден, как позор.

EPOS TYPANNOS[39]
© Перевод А. Сергеев

До сей поры ее страшит
Былое ослепленье;
Один его любезный вид
Внушает отвращенье;
Но что такое вид и страх,
Когда в клонящихся годах
Ей в одиночестве, впотьмах
Влачиться по теченью?

Хотя давно она умом
Проникла в суть Иуды,
Любви упрямой нипочем
Соседей пересуды,
А гордость — не одна она
Союзу их подчинена…
А он томится у окна,
Он и его причуды.

Его влекут в морской простор
Невидимые нити,
Цветистый осени убор
Лишь прибавляет прыти;
И пусть он ей все время врет —
Так недвусмыслен жизни ход,
Что вдруг она к нему прильнет
С мольбою о защите.

С кружащейся в глазах листвой
Вселяется смятенье;
Прибой гудит за упокой

Пустого обольщенья;
И дом с любовью неживой
Стал ей спасительной норой;
А городок звенит струной
Прямого осужденья.

Мы скажем вам, стуча по лбу,
Все то, что есть на деле,
Как будто чью-нибудь судьбу
Хоть раз понять сумели,
Как будто дар нам вещий дан
И на ее самообман
Ее глазами сквозь дурман
Мы много раз смотрели.

И вот — мы к ним не пристаем;
Уж коль они такие,
Пускай колеблются вдвоем
По прихоти стихии;
Они же, говоря всерьез, —
Чета безлиственных берез
Или к пучине под откос
Бредущие слепые.

ПАМЯТИ ОДНОЙ ДАМЫ
© Перевод А. Сергеев

Навек померкла глубь очей,
Избытком света осиянных,
Отныне в них покров ночей
На сокровенных сердца странах;
И где найти такой язык,
Чтоб передать, как многолик
И звонок вился дней ручей
В игре причуд ее нежданных.

Божественная красота
Осталась как воспоминанье,
Любовь язвившие уста
Теперь не просят оправданья,
Чело безоблачное там,
Где Кронос счет ведет годам,
А грудь лилейная пуста
И неподвижна без дыханья.

Разрушить эту благодать
Законы бытия успели —
Ей больше не затрепетать
Ни в танце, ни у колыбели;
И мы, в ее вникая суть,
Давно знакомый видим путь,
Которым все за пядью пядь
К последней отступаем цели.

ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
© Перевод А. Сергеев

Пусть он скажет все всерьез
Или выберет минутку
И поплоще ляпнет шутку,
Чтобы отвести вопрос,
Пусть он станет колдовать,
Чтобы вопреки рассудку
Опасенья отогнать.

Пусть сорочьим словом он
Передаст, как снег лучится,
Пусть поможет убедиться,
Что у года нет времен
И хорош любой приют, —
Все ж, куда бы ей ни скрыться,
Опасенья оживут.

ТЕМНЫЕ ХОЛМЫ
© Перевод А. Сергеев

Под вечер в тающих холмах
Закат плывет, как золотой
Фанфарный звук, покоя прах
Бойцов, уснувших под землей,
Уходит солнца легион,
И тают темные холмы,
И до утра конец времен
И вечный мир средь вечной тьмы.

ДОМ
© Перевод А. Сергеев

Они все десять безмятежных лет
Безмолвно друг у друга просят взгляда
И счастливы, что стены их — преграда
Меж ними и толпой житейских бед
И толпами людей вовне, что нет
В воспоминаньях их ни капли яда,
Но лишь покой и в довершенье лада —
Разумного молчания обет.
Им вместе б столько лет не протянуть,
Когда бы знать ей, что его морщины —
Другой, далекой женщины печать,
Иль если б он ей в душу мог взглянуть
И увидать далекий блеск мужчины,
Который ей бы мог принадлежать.

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ
© Перевод А. Сергеев

И вот ему пришлось в конце концов
Узнать, как неустойчивы и тленны
Его уюта крепостные стены
При натиске невидимых врагов;
Когда с подпольной злобы спал покров,
Он обнаружил вдруг, что перемены —
Как ни были малы и постепенны —
Чреваты разрушением основ.
Когда ж неведомо откуда в дверь
Его случайно отпертого дома,
Галдя, ввалились новые жильцы,
По буйству их он понял, что теперь
До собственного дожил он разгрома
И мир его присвоят подлецы.

ВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА
© Перевод А. Сергеев

Однажды ночью старый Ибен Флад
На полдороге между городком
И той забытой будкой на горе,
В которой был его последний дом,
Остановился, ибо не спешил,
И, сам себе ответив на вопрос,
Что любопытных нет ни впереди,
Ни сзади, церемонно произнес:

— Ах, мистер Флад; опять на убыль год
Идет среди желтеющих дубрав;
«Пернатые в пути», — сказал поэт, —
Так выпьем за пернатых! — И, подняв
Наполненную в лавочке бутыль,
Он сам себе под круглою луной
С поклоном отвечал: — Ах, мистер Флад,
Ну, разве за пернатых по одной.

В бесстрашных латах раненых надежд
Среди дороги, горд и одинок,
Он возвышался, как Роландов дух,
Вотще трубящий в молчаливый рог.
А снизу из темнеющих домов
Приветный, еле различимый хор
Былых друзей, ушедших навсегда,
Касался слуха и туманил взор.

Как мать свое уснувшее дитя,
С великим тщаньем, чтоб не разбудить,
Он опустил бутыль, держа в уме,
Что в жизни многое легко разбить;

Но, убедившись, что бутыль стоит
Потверже, чем иные на ногах,
Он отошел на несколько шагов
И гостя встретил словно бы в дверях:

— Ах, мистер Флад, пожалуйте ко мне,
Прошу! Давненько я не видел вас.
Который год уж минул с той поры,
Когда мы выпили в последний раз. —
Он указал рукою на бутыль
И дружески привел себя назад
И, соглашаясь, сипло прошептал:
— Ну как не выпить с вами, мистер Флад?

Благодарю. Ни капли больше, сэр.
Итак, «мы пьем за старые года». —
Ни капли больше пить его ему
Уговорить не стоило труда,
Поскольку, обнаружив над собой
Две полные луны, он вдруг запел,
И весь ночной серебряный пейзаж
Ему в ответ созвучно зазвенел:

— «За старые года»… — Но, захрипев,
Он оборвал торжественный зачин
И сокрушенно осмотрел бутыль,
Вздохнул и оказался вновь один.
Не много проку двигаться вперед,
И повернуть назад уже нельзя —
Чужие люди жили в тех домах,
Где отжили старинные друзья.

НОВАЯ АНГЛИЯ
© Перевод А. Сергеев

В краю, где вечно воют норд-норд-осты
И мерзнут ноги школьников зимой,
Смущен и зачарован тот герой,
Кто, впав в лирические перехлесты,
Безумные выкрикивает тосты
В чаду, где песни и вино рекой,
И страсть кипит, и, чтоб настал покой,
Мечтают черти, жалобны и просты.

Любовь здесь ноша с тяжестью креста,
А Страсть ведет, как думают, в болото;
На спицах вяжет в уголке Мечта,
А Совесть с милой миной доброхота
В качалке гладит первого кота,
Которого прикончила Забота.

СНОПЫ
© Перевод А. Сергеев

Здесь зеленела до поры пшеница
И тень от ветра длинной шла волной,
А ныне мир по воле неземной
Послушно и неспешно золотится
Тем золотом, которое годится
Не для торговли, ибо сорт иной
И явлен, чтобы звучной тишиной
Все рассказать и не проговориться.

Сюда, где ярких дней — наперечет,
Сплошная яркость пробралась, как пламя,
Но золотом горит не горний свод,
А тысяча снопов под небесами,
И тысяча от нас вот-вот уйдет —
Волшебниц с золотыми волосами.

ДЖЕЙМС УЭЗЕРЕЛЛ
© Перевод А. Сергеев

Мы мало верили словам
Людей о Джеймсе Уэзерелле.
Он, в общем, приглянулся нам,
И, в общем, мы его пригрели.
Но нечто выплыло на свет,
И он исчез без промедленья.
Писать об этом смысла нет,
Жалеть об этом — заблужденье.

РОБЕРТ ФРОСТ

ПАСТБИЩЕ
© Перевод И. Кашкин

Пойду на луг прочистить наш родник.
Я разгребу над ним опавший лист,
Любуясь тем, как он прозрачен, чист.
Я там не задержусь. — Пойдем со мной.

Пойду на луг теленка принести.
Не может он на ножках устоять,
Когда его вылизывает мать.
Я там не задержусь. — Пойдем со мной.

НОЯБРЬСКАЯ ГОСТЬЯ
© Перевод И. Кашкин

О грусть моя, ты здесь со мной
В ненастные, пустые дни.
Вокруг деревьев черных строй,
Но люб лесов тебе покой,
И бродим мы с тобой одни.

С тобою вместе все грустят:
Злой ветер ветви оголил,
И птицы больше не звенят,
И скромный, серый твой наряд
Седой туман посеребрил.

И сквозь нагих деревьев свод
Навес свинцовых туч сквозит.
Но все, что душу ей гнетет,
Все грусть прекрасным признает
И мне об этом говорит.

Уже давно я оценил
Ненастливый ноябрьский день,
Но, сколько бы я ни твердил,
Не веришь, что его любил
И до того, как грусти тень
Я снова в дом к себе впустил.

ОКТЯБРЬ
© Перевод М. Зенкевич

Денек октябрьский золотой,
Уже созрел твой листопад.
Подует завтра ветер злой,
И листья облетят.
Вороны каркают не в лад,
Но завтра разлетится стая.
Денек октябрьский золотой,
Продли часы, неслышно тая.
Пусть кажутся длинней они.
Плени обманчивой мечтой,
Как ты умеешь, увлекая.
Один листочек утром нам,
Другой же в полдень оброни,
Один вот здесь, другой вон там.
Да будет твой закат лучист,
Земля светлей, чем аметист.
Тишь какая!
Пусть дозревает виноград:
Хотя листву спалил мороз,
Плодам вреда он не принес —
И гроздья вдоль стены висят.

ПОЧИНКА СТЕНЫ
© Перевод М. Зенкевич

Есть что-то, что не любит ограждений,
Что осыпью под ними землю пучит
И сверху сбрасывает валуны,
Лазейки пробивает для двоих.
А тут еще охотники вдобавок:
Ходи за ними следом и чини,
Они на камне камня не оставят,
Чтоб кролика несчастного спугнуть,
Поживу для собак. Лазейки, бреши,
Никто как будто их не пробивает,
Но мы всегда находим их весной.
Я известил соседа за холмом,
И, встретившись, пошли мы вдоль границы,
Чтоб каменной стеной замкнуться вновь,
И каждый шел по своему участку
И собственные камни подбирал —
То каравай, а то такой кругляш,
Что мы его заклятьем прикрепляли:
«Лежи вот здесь, пока мы не ушли».
Так обдирали мы о камни пальцы,
И каждый словно тешился игрой
На стороне своей. И вдруг мы вышли
Туда, где и ограда ни к чему:
Там — сосны, у меня же — сад плодовый,
Ведь яблони мои не станут лазить
К нему за шишками. А он в ответ:
«Сосед хорош, когда забор хороший».
Весна меня подбила заронить
Ему в мозги понятие другое:
«Но почему забор? Быть может, там,
Где есть коровы? Здесь же нет коров.

Ведь нужно знать, пред тем как ограждаться,
Что ограждается и почему,
Кому мы причиняем неприятность.
Есть что-то, что не любит ограждений
И рушит их». Чуть не сказал я «эльфы»,
Хоть ни при чем они, — я ожидал,
Что скажет он. Но, каждою рукою
По камню ухватив, вооружился
Он, как дикарь из каменного века,
И в сумрак двинулся, и мне казалось —
Мрак исходил не только от теней.
Пословицы отцов он не нарушит
И так привязан к ней, что повторил:
«Сосед хорош, когда забор хороший».

БЕРЕЗЫ
© Перевод А. Сергеев

Когда березы клонятся к земле
Среди других деревьев темных, стройных,
Мне кажется, что их согнул мальчишка.
Но не мальчишка горбит их стволы,
А дождь зимой. Морозным ясным утром
Их веточки, покрытые глазурью,
Звенят под ветерком, и многоцветно
На них горит потрескавшийся лед.
К полудню солнце припекает их,
И вниз летят прозрачные скорлупки,
Что, разбивая наст, нагромождают
Такие горы битого стекла,
Как будто рухнул самый свод небесный.
Стволы под ношей ледяною никнут
И клонятся к земле. А раз согнувшись,
Березы никогда не распрямятся.
И много лет спустя мы набредем
На их горбатые стволы с листвою,
Влачащейся безвольно по земле, —
Как девушки, что, стоя на коленях,
Просушивают волосы на солнце...
Но я хотел сказать, — когда вмешалась
Сухая проза о дожде зимой, —
Что лучше бы березы гнул мальчишка,
Пастух, живущий слишком далеко
От города, чтобы играть в бейсбол.
Он сам себе выдумывает игры
И круглый год играет в них один.
Он обуздал отцовские березы,
На них раскачиваясь ежедневно,
И все они склонились перед ним.

Он овладел нелегкою наукой
На дерево взбираться до предела,
До самых верхних веток, сохраняя
Все время равновесие — вот так же
Мы наполняем кружку до краев
И даже с верхом. Он держался крепко
За тонкую вершинку и, рванувшись,
Описывал со свистом полукруг
И достигал земли благополучно.
Я в детстве сам катался на березах,
И я мечтаю снова покататься.
Когда я устаю от размышлений
И жизнь мне кажется дремучим лесом,
Где я иду с горящими щеками,
А все лицо покрыто паутиной
И плачет глаз, задетый острой веткой, —
Тогда мне хочется покинуть землю,
Чтоб, возвратившись, все начать сначала.
Пусть не поймет судьба меня превратно
И не исполнит только половину
Желания. Мне надо вновь на землю.
Земля — вот место для моей любви, —
Не знаю, где бы мне любилось лучше.
И я хочу взбираться на березу
По черным веткам белого ствола
Все выше к небу — до того предела,
Когда она меня опустит наземь.
Прекрасно уходить и возвращаться.
И вообще занятия бывают
Похуже, чем катанье на березах.

ШУМ ДЕРЕВЬЕВ
© Перевод А. Сергеев

Деревья тревожат ум.
Зачем мы должны терпеть
Их непрестанный шум,
Гуденье и разнобой
Рядом с нашим жильем?
Мы маемся день-деньской,
Пока себя не собьем
С толку и не начнем
Вслушиваться и смотреть.
Они твердят про уход,
Хотя никуда не уйдут;
Больше того, наперед
Знают, что им суждено
Окончить дни свои тут.
Вросли мои ноги в пол,
Упала на грудь голова —
Это я увидел в окно
Царящий там произвол.
Ну нет, я уйду все равно,
Куда-нибудь да уйду —
Пусть только начнет листва
Облачкам пророчить беду
И клясть их на целый свет.
У деревьев будут слова,
А меня уже нет.

ОГОНЬ И ЛЕД
© Перевод М. Зенкевич

Кто говорит, мир от огня
Погибнет, кто — от льда.
А что касается меня,
Я за огонь стою всегда.
Но если дважды гибель ждет
Наш мир земной, — ну что ж,
Тогда для разрушенья лед
Хорош
И тоже подойдет.

В ЛЕСУ СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ
© Перевод И. Кашкин

Прервал я санок легкий бег,
Любуясь, как ложится снег
На тихий лес, — и так далек
Владеющий им человек.

Мой удивляется конек:
Где увидал я огонек,
Зовущий гостя в теплый дом
В декабрьский темный вечерок;

Позвякивает бубенцом,
Переминаясь надо льдом,
И наста слышен легкий хруст,
Припорошенного снежком.

А лес манит, глубок и пуст.
Но словом данным я влеком:
Еще мне ехать далеко,
Еще мне ехать далеко.

ОДНАЖДЫ ЧТО-ТО ДА БЫЛО
© Перевод А. Сергеев

Люди смеются, что я встаю на колени
Перед колодцами и изучаю подолгу
Непроницаемую поверхность воды,
Где вижу только собственное отраженье,
Богоподобное на фоне небес,
В нимбе из мха и медлительных облаков.
Однажды, уткнувшись в колодезный сруб
подбородком,
Я, как мне показалось, увидел, что где-то
За моим отраженьем что-то белеет,
Что-то на дне колодца, что сразу исчезло.
Вода упрекнула слишком прозрачную воду.
Капля упала со мха, и то, что виднелось
На глубине, вдруг исказилось, смутилось,
Из виду скрылось. Но что там было на дне?
Истина? Беленький кварц? Что-то да было.

ВЕСЕННИЕ ОЗЕРА
© Перевод А. Сергеев

Вода, залившая весенний лес,
Исправно отражает свод небес,
И, как цветы весны, дрожит и стынет,
И, как цветы весны, легко сойдет,
Но не ручьями в реки бурно схлынет,
А к ночкам, наверх, тихо уползет.

Пусть лес, хранящий их до теплых дней,
Чтоб расцвести богаче и темней, —
Пусть трижды он подумает о листьях
И вдруг не скажет, что прошла пора
Цветистых вод, соцветий водянистых
От снега, что растаял лишь вчера.

С НОЧЬЮ Я ЗНАКОМ
© Перевод И. Кашкин

Теперь я знаю: с ночью я знаком.
Не раз во тьму один я уходил
Под дождь и возвращался под дождем.

Глухими улицами я бродил
И, повстречавшись в мраке с патрулем,
Его украдкой тихо обходил.

И снова пробирался я тайком,
Услышавши, как заглушенный стон
Прервался вдруг во тьме, там, за углом.

Часов я слышал полуночный звон,
И циферблат их говорил о том,
Что, как и время, безразличен он.

Добра и зла не различишь ты в нем.
Теперь я знаю: с ночью я знаком.

ДЕРЕВО В ОКНЕ
© Перевод А. Сергеев

Днем ты смотришь ко мне в окно,
На ночь прильнешь к опущенной раме,
И никакой занавески меж нами
Быть не должно.

Выросшая из земли мечта,
Ты облако сутью своей разреженной,
Легкость в твоей голове зеленой,
Почти пустота.

Но я видал тебя в буревал,
И ты по ночам, конечно, видало,
Как существованье мое впадало
В черный прогал.

Мы с тобой от зари до зари
Глядим друг на друга в упор и вчуже:
Тобой владеет погода снаружи,
Мной — погода внутри.

НИ ДАЛЕКО, НИ ГЛУБОКО
© Перевод А. Сергеев

Нрав у людей такой:
Им на песке не лень,
К берегу сев спиной,
В море глядеть весь день.

Парусной лодки крыло
Там оживляет вид,
Порою воды стекло
Чайку на миг отразит.

Берег хорош собой
И многообразней стократ,
Но бьет о песок прибой,
И люди в море глядят.

Не видят они далеко,
Не видят они глубоко.
Но хоть и бессилен взгляд,
Они все равно глядят.

ДАР НАВСЕГДА
© Перевод М. Зенкевич

Владели мы страной, ей неподвластны.
Она считалась нашей сотни лет,
Мы не были ее народом, знали
Тогда Виргинию и Массачусетс,
Но были мы колонией английской,
Владели тем, что нами не владело,
Подвластны той, которой неподвластны.
Мирились с этим мы и были слабы,
Пока не поняли того, что сами
В стране своей не обрели отчизны,
И мы, отдавшись ей, нашли спасенье.
Ей отдали себя раз навсегда
(Наш дар скреплен был жертвой многих жизней),
Стране огромной, звавшей нас на запад,
Еще невспаханной, незаселенной,
Такой, какой была, какою будет.

ОТСТУПЛЕНИЕ НА ШАГ
© Перевод А. Сергеев

Не только груды гравия
Тревога в путь отправила,
Но реки грязи, чавкая,
Сносили камни тяжкие,
Крошилось побережье
И гибло в тьме кромешной.
Трещали горы, сблизясь.
Я знал, в мои воззренья
Всеобщий вторгся кризис.
Но, отступив на шаг,
Я спасся от смятенья.
Пронесся мимо мрак.
Затихли дождь и ветер,
И снова полдень светел.

ИЗБРАВШИ ЧТО-ТО, КАК ЗВЕЗДУ…
© Перевод М. Зенкевич

Звезда (ты светишь с высоты),
Не возражаем мы, чтоб ты
За облаком свой свет затмила,
Но по ночам средь темноты
Твои лучи светлы, чисты.
Всегда таинственно светило,
Но все ж нельзя, чтоб никогда
Ты звездной тайны не открыла.
Скажи нам что-нибудь, звезда,
Чтоб повторять наедине.
Ответ: «Пылаю я всегда».
Но сколько градусов в огне
По Цельсию иль Фаренгейту,
Какие элементы там
Твой свет несут к другим мирам,
Понятным языком сумей ты
Хоть что-нибудь поведать нам.
И как пустынник Китса, строго
Звезда далеких светлых сфер
Дает нам твердости пример
И требует не так уж много, —
Хулят иль славят благосклонно,
Не верьте низкому суду.
Избравши что-то, как звезду,
Держите путь свой неуклонно.

КАРЛ СЭНДБЕРГ

ЧИКАГО
© Перевод И. Кашкин

Свинобой и мясник всего мира,
Машиностроитель, хлебный ссыпщик,
Биржевой воротила, хозяин всех перевозок,
Буйный, хриплый, горластый,
Широкоплечий — город-гигант.

Мне говорят, ты развратен, — я этому верю:
под газовыми фонарями я видел твоих
накрашенных зазывающих женщин,
фермерских батраков.
Мне говорят, ты преступен, — я отвечаю:
да, это правда, я видел, как бандит
убивает
и спокойно уходит, чтобы вновь убивать.
Мне говорят, что ты скуп, — и вот мой ответ:
на лицах твоих детей и женщин я видел
печать бесстыдного голода.
И, ответив, я обернусь еще раз к ним,
высмеивающим мой город, — и верну им
насмешку, и скажу им:

Укажите мне город, который так звонко поет
свои
песни, гордый быть грубым, сильным,
искусным.
С крепким словцом вгрызаясь в любую работу,
громоздя урок на урок, вот он — рослый,
дерзкий ленивец, такой живучий среди
изнеженных городков и предместий, —
Рвущийся к делу, как пес с разинутой пенистой
пастью;

Хитрый, словно дикарь, закаленный борьбою
с пустыней,
Простоволосый,
Загребистый,
Грубый —
Планирует он пустыри,
Воздвигая, круша и вновь строя.
Весь в дыму, полон рот пыли, смеясь белозубой
улыбкой.
Под тяжкой ношей судьбы смеясь смехом
мужчины.
Смеясь беспечным смехом борца, не знавшего
поражений;
Смеясь с похвальбой, что в жилах его бьется
кровь,
Под ребром бьется сердце народа,
Смеясь!

Смеясь буйным, хриплым, горластым смехом
юнца; полуголый, весь пропотевший,
гордый
тем, что он свинобой, машиностроитель,
хлебный ссыпщик, биржевой воротила
и хозяин всех перевозок.

ПОТЕРЯН
© Перевод М. Зенкевич

Заброшен и одинок,
Всю ночь напролет на озере,
Застланном туманом и мглой,
Какой-то пароход
Зовет и вопит непрерывно,
Как потерянный ребенок,
В слезах и страхе
Ищущий груди
Гавани-матери.

ТУМАН
© Перевод А. Ибрагимов

Туман приползает
на кошачьих лапках.
Он поглазеет немного
на город и гавань
и молчком
удаляется.

ВЫБОР
© Перевод И. Кашкин

Они предлагают вам многое,
Я — очень немного.

Лунный свет в игре полунощных фонтанов,
Усыпляющее поблескиванье воды,
Обнаженные плечи, улыбки и болтовню,
Тесно переплетенные любовь и измену,
Страх смерти и постоянных возврат сожалений —
Все это они вам предложат.

Я прихожу
с круто посоленным хлебом,
ярмом непосильной работы,
неустанной борьбой.
Нате, берите:
голод,
опасность
и ненависть.

НОЧНОЙ НЬЮ-ЙОРК
© Перевод В. Топоров

Ночью, когда морские ветра заключают город в
свои объятья
И прохлада на улицах, затаивших свой
пыльный полдень и шумный день;
Ночью, когда морские птицы окликают
городские огни,
Огни, сливающиеся на горизонте в название
города;
Ночью, когда, издалека направляясь сюда,
трогаются поезда,
Ибо нью-йоркцы не могут жить без хлеба и
не хотят — без писем, —
Ночью город живет тоже — хоть иначе, чем днем.
Ночью поют песни и танцуют танцы,
А матросы и солдаты выискивают нужный
номер дома.
Ночью морские ветра заключают город в свои
объятья.

БРОДВЕЙ
© Перевод А. Ибрагимов

Никогда не забуду тебя, Бродвей,
Твоих огней золотой призыв.

Никогда не забуду тебя,
Бурно-игристый поток, бегущий по дну теснины.

Ненависть зреет в сердцах, что знают тебя.
Губы, тебя одарявшие светлой улыбкой,
Отцвели и поблекли; они проклинают горько
Мечты, нашедшие раннюю смерть
На грубых твоих, беспощадных камнях.

Я — НАРОД, Я — ЧЕРНЬ
© Перевод И. Кашкин

Я — народ, я — чернь, толпа, массы.
Знаете ли вы, что все великое в мире создало моим трудом?
Я — рабочий, изобретатель, я одеваю и кормлю весь мир.
Я — зритель, перед которым проходит история.
Я высылаю в мир Наполеонов и Линкольнов.
Я — плодоносная почва. Я — прерия, которая выдержит много распашек.
Страшные бури проносятся надо мной.
Я забываю.
Возьмут у меня и растратят все лучшее. Я забываю.
Все, кроме смерти, приходят ко мне, заставляют работать и отдавать все, что у меня есть.
Я забываю.
Иногда я рычу, распрямляю спину и оставляю несколько красных пятнышек на память истории.
Потом — я забываю.
Когда я, Народ, научусь помнить, когда я, Народ,
осуществлю уроки вчерашнего дня и не забуду
больше тех, кто ограбил меня в прошлом году,
тех, кто дурачил меня, — тогда никого не найдется
на свете, кто произнес бы слово «Народ» хоть
с тенью насмешки, чьи губы скривила б

хоть
складка презренья.
Чернь — толпа — массы придут тогда.

ДИНАМИТЧИК
© Перевод И. Кашкин

Я сидел с динамитчиком в немецком ресторане
за бифштексом с поджаренным луком.
И он смеялся и рассказывал о жене и о детях
и о защите труда и рабочего класса.
Это был смех непоколебимого человека,
знающего жизнь непоколебимую и горячую.
Да, этот смех звенел гордым призывом
перелетных птиц, в радостном упоении
прокладывающих свои крылатый путь
сквозь дождь и бурю.
Его имя пестрело в газетах как имя врага
народа, и немногие блюстители церкви и
школы открыли бы перед ним свои двери.
За бифштексом с поджаренным луком ни слова
не было молвлено о его подпольных
скитаниях террориста.
И вот я всегда вспоминаю его как жизнелюба,
любимца детей, поборника свободного,
веселого смеха, без всяких стеснений
влюбленного в горячие сердца и горячую
кровь всего мира.

ТРАВА
© Перевод И. Озерова

Сложи холмы из тел под Ватерлоо, в Аустерлице;
В землю их зарой и дай пробиться мне —
Я все покрою, я лишь трава…

Потом сложи их грудой в Геттисберге,
Сложи их грудой в Ипре и Вердене,
Всех закопай. И мне позволь пробиться.
Минуют годы; спросят пассажиры проводника:
— А это что за место?
— Где мы теперь?

А я трава всего лишь.
Позволь мне действовать.

МИЛЛИОН МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
© Перевод И. Озерова

Миллион молодых рабочих,
жизнерадостных, сильных и
честных, на обочинах коченея,
на траве, примятой телами.
Миллион этот будет скоро погребен в земле,
чтобы плоть их много лет кормила,
сгнивая, корни роз кровавого цвета.
Миллион молодых рабочих убивал, как на
бойне, друг друга,
окровавленных рук не увидев.
О! Великое это убийство стать могло бы
новинкой века,
если знал бы каждый наемник,
почему убивает другого.
Усмехаются царь и кайзер, короли по-прежнему
живы, разъезжают в автомобилях,
есть у них — любая из женщин,
розы есть и свежие яйца, масло свежее,
дом надежный и военные новости в
свежей, не лишающей сна газете.
Померещилось мне, что однажды миллионы
призраков встали и пошли в кровавых
рубахах с миллионоголосым криком.
Будьте прокляты с вашей ухмылкой, короли
кровавого мира,
будьте прокляты, царь и кайзер!

ТРИ СЛОВА
© Перевод М. Зенкевич

В детстве я слышал три красных слова;
Тысячи французов умирали на улицах
За Свободу, Равенство, Братство, — и я спросил,
Почему за слова умирают люди.

Я подрос, и почтенные люди с усами
Говорили, что три заветных слова —
Это Мать, Семья и Небо, а другие, постарше,
С орденами на груди, говорили: Бог, Долг
и Бессмертье, —
Говорили нараспев и с глубоким вздохом.

Годы отстукивали свое «тик-так» на больших часах
Судеб человеческих, и вдруг метеорами
Сверкнули из огромной России три
Суровых слова, и рабочие с оружием пошли умирать
За Хлеб, Мир и Землю.

А раз я видел моряка американского флота,
Портовая девчонка сидела у него на коленях,
И он говорил: «Нужно уметь сказать три слова,
Только и всего: дайте мне ветчину
и яичницу, —
Что еще? — и немножко любви.
Моя крошка!»

ОМАХА
© Перевод В. Британишский

Красные крыши и красные коровы ярко горят на зеленом фоне лугов, окруживших Омаху, — фермеры везут по дорогам цистерны сливок и фургоны сыра.

Гряда порогов пересекает реку напротив Каунсил-Блаффс — и лачуги висят кое-как, прилепившись к склонам холмов, окруживших Омаху.

Стальная дуга, как узы родства, связует Айову и Небраску над желтой, бьющей копытами рекой Миссури.

Омаха, труженица, кормит целые армии,
Жрет и ругается с неумытой рожей.
Омаха работает, чтобы дать всему миру завтрак.

ШУМНАЯ ЖИЗНЬ НА ОДИННАДЦАТОЙ АВЕНЮ
© Перевод В. Британишский

Есть в этом что-то страшное:
уличная шарманка,
цыган-шарманщик, цыганка,
обезьянка в красной фланели —
стоящие у двери
с надписью «Дом сдается»,
а шторы висят понуро,
и никого нет дома.
Такого не видел я сроду.
Бог даст, не увижу до гроба.

Шум-бум-трам-тарарам.
Хуп-де-дудль-хар-де-хум.
Где никого нет дома? Все, как один, дома.
Шум-бум-трам-тарарам.
Мэми Райли и Джимми Хиггинс вчера вечером поженились; Эдди Джонс умер, задохнувшись от кашля; Джордж Хэкс получил должность в полиции; Розенгеймы купили никелированную кровать; Лена Харт хихикает с новым хахалем; уличный торговец кричит на чистейшем чикагском наречии: «Продаю помидоры, продаю помидоры!»

Шум-бум-трам-тарарам.
Хуп-де-дудль-хар-де-хум.
Где никого нет дома? Все, как один, дома.

ЛЕПЕСТКИ ДИКОЙ ЯБЛОНИ
© Перевод В. Британишский

Чья-то девчоночка, — как легко сочинить
слезливую историю о том, какая она была
когда-то и какая теперь.

Чья-то девчоночка — она играла когда-то в июне
под деревом дикой яблони, и лепестки
летели на черные волосы.

Это было где-нибудь на железнодорожной линии
Эри, может быть, на станции Саламанка,
Пэйнтед-Пост или Хорс-Хедс.

Она отряхивала с волос лепестки и вбегала в
дом, мать ей умывала лицо, и у матери
болела голова от упрямого голоса: «Не
хочу».

Чья-то девчоночка — сорок чьих-то девчоночек,
одинаковых в красном трико, образующих
арки, подковы и пирамиды, — сорок
девчоночек шоу, голоножек, лошадок,
лягушат.
Как легко сочинить слезливую историю о том,
какая она была и какая теперь — и как
лепестки летели на черные волосы в июне.

Пусть огни Бродвея бросают блестки и
брызги — и такси протискиваются сквозь
толпу, когда шоу окончилось и на улице

начинает темнеть.
Пусть девчоночки смоют краску и съедят свои полночные сандвичи, путь им видятся сны до утра, допоздна, долго-долго, после утренних газет и тележки молочника и —
Пусть им долго снится все, чего хочется…
нюнь… где-то там, на железнодорожной линии Эри… дикая яблоня… белые лепестки.

ТРАВА ЛЕТОМ
© Перевод Э. Ананиашвили

Летом трава испытывает боль и шепчет.

Она чего-то ждет;
        она поет и взывает; она изливает свои
        жалобы
Звездам, мерцающим в вышине.

Дождь слышит; дождь отвечает ей;
        дождь надвигается медленно;
Дождь увлажняет лицо травы.

МОЖЕТ БЫТЬ
© Перевод Э. Ананиашвили

Может быть, он верит мне —
Может быть, нет.
Может быть, мне пойти за него —
Может быть, нет.
Может быть, ветер в степи,
Может быть, ветер над морем, может быть,
Кто-нибудь где-нибудь, может быть, сумеет сказать?..

Я положу голову ему на плечо,
И, когда он спросит меня, я скажу: «Да».
Может быть...

МИСТЕР АТТИЛА
(август 1945)
© Перевод И. Кашкин

Вы стали мифом, профессор:
Ваш мягкий голос,
Ваши книги, теории,
Уклончивые заячьи повадки,
Академический головной убор
И средневековая тога.

Кто бы мог подумать, профессор!
Вы, такой забывчивый и рассеянный,
Вы, который, стукнувшись о дерево лбом,
Вежливо говорите: «Ах, а я думал, что вы дерево» —
И проходите дальше, рассеянный и забывчивый.

Это вы, мистер Аттила? Как вы себя чувствуете,
Снаряжая заряды всесокрушающей силы?
Неужели это вы — атомщик-практик?
Неужели вы отказались от ваших абстракций?
Ведь это вы, мистер Аттила, недавно сказали:
«Простите, но, кажется, нам удалось добиться
некоторых результатов
В понимании остаточных свойств радиации
атома».

ГОРОДСКОЙ ЭТЮД
© Перевод А. Сергеев

Грязные контуры города удлинены.
Дома и кварталы тянутся милями.
Громкие грузовики развозят утренние газеты.
В ночных клубах танцовщицы кончили танцевать.
В кабаках квартеты импровизируют «Покажи мне
путь домой».
Солдаты и моряки ищут улицы и номера домов.
Ночные вахтеры на полдороге между полночью
и завтраком.
Глянь в окно: если считать с вечера, то уже поздно.
На юге, голубом, как голубиное яйцо,
Облака принимают лунные ванны.

УРОК
© Перевод А. Сергеев

В начале апреля деревья
просыпаются после зимы,
и зелень ползет по ветвям.

В начале октября деревья
вслушиваются в стоны ветра,
оплакивающего листву.

На лицо реки по ночам
падают россыпи звезд
и молчание летних цветов
над движущейся водой.

Приди, чистая, с сердцем ребенка.
Смейся, как груши на летнем ветру.
Пусть дождь на крыше звенит, как песня.
Пусть все написанное на твоем лице
будет июльским запахом яблонь.

УБЕГАЮЩИЕ КРАСКИ
© Перевод А. Сергеев

Дымка над этими далями улетает Бог знает куда.
Солнце их выстилает красноватым золотом вечера,
у него серые глаза матери, баюкающей ребенка.
Синее небо на стоге сена вдали улетает Бог знает куда;
Желтый прах покрывала над полем Эмиля Хокинсона,
Красноватые ребра света, подхваченные каркающим
вороньем, —
Эти тоже проваливаются на Запад, Бог знает куда.

ДВЕ РЫБКИ
© Перевод А. Сергеев

Когда рыбки говорили
их слова были алы

они встретились в чаше
золотистого воздуха

они гнулись дугой
семицветной радуги

они плавали в гроте
одном из тысяч гротов

и водили хвостами
в зеленопером прахе

ВЕЧНЫЙ ИСКАТЕЛЬ
© Перевод А. Сергеев

Рука листает страницы.
Страницы ложатся в свиток.
Было время, когда Америки не было.
Потом появилась на свитке ранняя
Америка, страна начинаний,
рождался американец.
Потом появилась теперешняя Америка,
она ищет и обретает, скорее ищет,
чем обретает, в вечных поисках
пути меж грозой и мечтой.

ЭДГАР ЛИ МАСТЕРС
© Перевод Э. Ананиашвили

ХОЛМ

Где Элмер, Герман, Берт, где Том и Чарли
Слабый духом, могучий телом, забавник, бражник, боец?
Все, все они спят в земле,
Здесь, на холме.

Один сгорел в лихорадке,
Другой задохся в руднике,
Третьего прикончили в драке,
Четвертый умер в тюрьме,
Пятый свалился с моста, зарабатывая на хлеб для своих

детей, —
Все, все они спят, спят, спят в земле
Здесь, на холме.

Где Элла, Кэт, Мэг, где Лпззи и Эдит,
Нежное сердце, простая душа, хохотушка, гордячка,
любимица
счастья?
Все, все они спят в земле
Здесь, на холме.

Одна умерла, рожая тайком,
Другая — от разбитой любви,
Третья — от руки какого-то скота в бордели,
Четвертая — от уязвленной гордости, изверясь в своих

желаньях,

Пятую, после долгой жизни в далеком Париже и в

Лондоне,
Водворили в тесную эту обитель Элла, Кэт, Мэгги.
Все, все они спят, спят, спят в земле
Здесь, на холме.

Где добрый дядя Айзек и тетя Эмили,
Где старый Тауни Кинкэд и Севинье Хаутон,
Где майор Уокер, что на долгом своем веку
Водил беседы с героями революции?
Все, все они спят в земле
Здесь, на холме.

К ним привозили сыновей, убитых в сраженье,
И дочерей, раздавленных жизнью,
И их заплаканных, осиротелых детей.
Все, все они спят, спят, спят в земле
Здесь, на холме.

А где старый Скрипач Джонс,
Тот, кто жил шутя и играя
Все свои девяносто лет,
Тот, кто ходил с распахнутой грудью в ненастье,
Пил, гулял, не помнил о жене и родных,
Плевал на золото, на любовь,
На небо и ад?
А, он что-то бормочет о рыбалках былых времен,
О том, какие бывали некогда скачки в Клэрис-Гров,
О том, чтó сказал Эб Линкольн
Однажды в Спрингфилде.

РОБЕРТ ФУЛЬТОН ТАННЕР

О, впиться бы зубами в эту огромную руку,
Схватившую вас, чтобы уничтожить, —
Как меня укусила однажды крыса,
Запертая в мышеловке, которую я
Показывал в моей скобяной лавке.
Но человек не в силах отомстить
Свирепому людоеду — жизни.
Вы входите в комнату: это — рожденье.
И вот — вы должны жить, жить, истощая душу!
Лакомая приманка возникла перед вами:
Богатство, на котором можно жениться,
Известность, высокий пост, власть над людьми.
Вы боретесь, вы прорываетесь сквозь преграды
Крепкой проволокой огорожена приманка —
И вот наконец вы у цели, и вдруг
Раздаются шаги людоеда-жизни:
Он ждал за дверью и, услышав стук
Мышеловки, вошел посмотреть, как вы
Вгрызаетесь в вожделенный кусочек сыра.
Устремив на вас свой горящий взгляд,
Он будет наслаждаться вашим смятеньем
И вашей бессмысленной беготней по клетке,
Смеяться, поносить вас и издеваться над вами,
Пока ему не станет гадко смотреть
На ваши мученья.

КИНСЕЙ КИН

Ваше внимание, Томас Родс, председатель банка,
Кулбоу Уэдон, редактор «Аргуса»,
Преподобный Питт, священник ведущей церкви,
И вы, член Клуба общественной чистоты
В полном составе!
Вашему вниманию
Я предлагаю предсмертные слова
Камбронна, отбивавшегося на холме Сен-Жан
С горстью уцелевших храбрецов гвардейцев
От натиска полчищ союзных армий
В вечер сражения при Ватерлоо.
Когда англичанин Мэйтланд крикнул ему:
«Сдавайтесь, храбрые французы!» —
Что он ответил, видя перед собой
Безнадежно проигранное сраженье,
День, клонящийся к закату, и толпы
Людей, непохожие больше на гордое войско
Великого Наполеона,
Толпы людей, что стремились прочь от поля битвы,
Словно лохмотья изодранных туч,
Рассеянных бурей?

То, что Камбронн ответил Мэйтланду,
Прежде чем под шквальным огнем англичан
Высокий гребень холма Сен-Жан,
Ощеренный лесом французских штыков,
Стал гладким на фоне угасавшего дня, —
Я бросаю в лицо вам,
Всем вам, и тебе, мир!
И требую, чтобы эти слова

Написали на моей могиле.

МИНЕРВА ДЖОНС

Я — Минерва, деревенская поэтесса.
Уличные йеху[40] свистели мне вслед
И осыпали меня градом насмешек
Из-за моего тяжелого тела,
Косых глаз и неверной походки.
А потом пришла беда: «Обрубок» Уэлди
Овладел мной после гнусной охоты.
Он оставил меня доктору Майерсу
И моей судьбе.
И я постепенно погрузилась в смерть,
Которая поднималась по моему телу,
Немевшему от ног к голове так, как будто
Я погружалась все глубже в ледяной поток.
Соберет ли кто-нибудь мои стихи,
Напечатанные в Спунриверской газете?
Я так тосковала о любви!
Я так жаждала жизни!

ФРЭНК ДРАММЕР

Из темной кельи в эту сырую тюрьму —
Умереть на двадцать пятой весне!
Язык мой был не в силах выразить все, что
бурлило во мне,
И в городке считали меня сумасшедшим.
И все же некогда, в самом начале,
Какая-то высокая, непреложная цель
Блеснула ярким виденьем моей душе.
Потрясенный неясным воспоминаньем,
Я пытался выучить наизусть
«Британскую энциклопедию».

ДЖУЛИЯ МИЛЛЕР

Мы поссорились с ним в то утро,
Потому что ему было шестьдесят пять,
А мне — только тридцать и я была нервна:
Ведь я носила под сердцем ребенка,
Рождения которого так страшилась.
Я думала о прощальном письме,
О последней, жестокой вести
От этой некогда близкой юной души,
Измену которой я хотела скрыть,
Выйдя замуж за старика.
Потом я приняла морфий и села читать.
Сквозь черную ночь, что застлала мои глаза,
Я вижу и сейчас мерцающий свет спокойных слов:
«И сказал Иисус: Истинно
Говорю тебе, еще сегодня
Будешь ты со мною в раю».

«ТУЗ» ШОУ

Мне всегда казалось, что торговля недвижимостью,
Судейство и адвокатура, кредит и банки,
Да и любое другое занятие —
Все равно что азартная карточная игра:
Ведь всюду властвует случай!
И все же —
Если встретишь человека, ревностного в делах,
Знай: ему будет дано
Предстать пред царями.

ДЖОРДЖ ГРЭЙ

Как часто рассматривал я
Этот высеченный в мраморе образ
Моего предназначения:
Корабль со спущенными парусами,
Ждущий выхода в море
В тихой гавани.
Поистине, он стал символом всей моей жизни.
Любовь улыбнулась мне, — я опасался разочарования.
Печаль постучалась в мою дверь, но страх был сильнее.
Честолюбие звало меня, — а я испугался риска.
А ведь я так жаждал жизни, полной значенья!
Теперь я знаю: надо смело поднимать паруса
И ловить ветер судьбы,
Куда бы он ни погнал наш корабль.
Стремясь оправдать свою жизнь, можно кончить

безумием,
Но жизнь без цели и смысла — это мученье
От вечного непокоя и смутных желаний.
Она — как корабль, влекущийся к морю,
Но скованный страхом.

СЭМ ХОУКИ

Я убежал из дома,
Уехал с заезжим цирком,
Потому что влюбился в мадемуазель Эстраделлу,
Укротительницу львов.
Однажды, дав зверям поголодать целые сутки,
Я вошел к ним в клетку
И принялся хлестать плетью
Брутуса, Лео и Джипси.
И Брутус, разъярившись,
Бросился на меня…
Когда я вступал в эти сумеречные области,
Мне встретилась тень.
Она изругала меня
И сказала, что я получил по заслугам.
Это был Робеспьер!

ВАШИНГТОН МАК-НИЛИ

Я был богат, и сограждане чтили меня.
Я был отцом многих детей,
Рожденных благородной женщиной
И выросших здесь,
В этом большом усадебном доме
На самой окраине городка, —
Вы, наверное, знаете высокий кедр,
Что растет перед ним на поляне.
Мальчиков я послал учиться в Энн Арбор, девочек
в
Рокфорд,
И так я жил, ожидая от каждого нового дня
Лишь новых богатств и почестей —
Отдыхая по вечерам под высоким кедром.
Годы шли.
Я послал девочек в Европу;
Я выдал их замуж и дал им приданое.
Я дал мальчикам деньги, чтобы они вложили их в дело.
Это были здоровые дети, крепкие с виду, как яблоки,
В которых еще не подгнили битые места.
Но вот Джон покинул наши края, чтобы бежать
от бесчестья,
Дженни скончалась в родовых муках —
Я сидел под моим кедром.
Гарри застрелился наутро после кутежа,
Сюзи бросила мужа —
Я сидел под моим кедром.
Пол надорвался от чрезмерной работы,
Мэри затворилась у себя, покинутая

любимым, —
Я сидел под моим кедром.
Все они ушли, раздавленные жизнью или с подбитыми

крыльями, —
Я сидел под моим кедром.
Мать их, моя подруга, тоже ушла —
Я сидел под моим кедром,
Пока мне не пробило девяносто лет.
О земля, ласковая мать, прими в свое лоно опавший лист!

ЭЛЬЗА ВЕРТМАН

Я была простой крестьянской девушкой из Германии,
Розовощекой, голубоглазой, крепкой и веселой.
Я служила у Томаса Грина — это было мое первое место.
Однажды, в летний день, когда жены его не было дома,
Он прокрался ко мне на кухню и стиснул меня
В объятьях и стал целовать мне шею и грудь,
А я отворачивала голову… А потом — ни я, ни он
Не могли сказать, как случилось то́, что случилось.
Я заливалась слезами: что же будет теперь со мной?
И плакала, плакала после — когда мое бесчестье
Стало уже невозможно скрывать.
И вот наконец миссис Грин сказала, что ей все ясно,
По что она не собирается позорить меня
И, будучи бездетной, усыновит моего ребенка
(Муж подарил ей ферму за то, что она не подняла шума).
Она перестала выходить и распустила слух,
Будто это ей предстояло вскоре рожать.
Все сошло удачно.
Ребенок родился, никто ничего не заподозрил,
И оба, муж и жена, были так ласковы со мной…
А потом Гус Вертман женился на мне, пролетели года,
И, когда на политических собраниях
Видели, как я плачу, все думали, что я

растрогана
до
слез
Красноречием Гамильтона Грина...
А дело было вовсе не в том —
Мне просто хотелось крикнуть:
Это мой сын! Это моя плоть и кровь!

ГАМИЛЬТОН ГРИН

Я был единственным сыном
Фрэнсис Харрис, рожденной в Виргинии,
И Томаса Грина, выходца из Кентукки.
Оба были отпрысками уважаемых, достойных родов.
Им я обязан тем, что стал судьей,
Членом конгресса, одним из лидеров в штате, —
Всем, чего я достиг.
От матери я унаследовал
Живую мысль, фантазию, яркость речи,
От отца — волю, трезвость суждения, логический ум.
И если я смог по мере сил послужить народу —
Честь им за это,
Честь им одним.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Любопытные, слушайте повесть неизвестного,
Чья могила не отмечена даже камнем.
Радостным и беспечным юнцом,
Блуждая с ружьем на плече по лесам
Вблизи имения Аарона Хэтфилда,
Ястреба я подстрелил однажды:
Он сидел на верхушке мертвого дерева
И упал с гортанным криком к моим ногам,
Распластав бессильно раненое крыло.
Я взял его домой и запер в клетку,
В которой он прожил много лет,
Злобно наскакивая на меня, когда
Я приносил ему питье или пищу.
Теперь я блуждаю по царству теней,
Разыскивая душу ястреба, чтобы
Предложить ему дружбу того, кто жизнью,
Как он, был ранен и заперт в клетку.

РЕДАКТОР УЭДОН

Уметь взглянуть на любой вопрос с любой стороны
И принять любую сторону, быть всем, чем угодно, но
лишь
неподолгу,
Выворачивать истину наизнанку или заглушать ее
из
расчета,
Играть на высоких чувствах и на страстях рода
людского
Ради хитроумных замыслов и низменных целей,
Закрываться — как актеры древности маской —
Восьмью полосами своей газеты и, прячась за нею,
Орать через мегафоны крупного шрифта:
«Вот я — исполин!» —
И притом жить жизнью тайного ночного вора,
С сознанием, отравленным презрительным приговором,
Рожденным в тайниках твоей же души…
Копаться за деньги в грязи скандалов и сплетен
И выставлять ее перед всем светом из мести,
Сокрушать репутации, а если надо — и жизни,
Чтобы выиграть, взять свое любою ценой,
Защитить собственное существование.
Наслаждаться своей сатанинской властью
И подкапываться под цивилизованное общество —
Как глупый подросток подбрасывает бревно на

рельсы,
Чтобы вызвать крушение экспресса…
Словом — быть редактором газеты, как я!
А потом лежать в земле здесь, у самой реки,
Близ стока городских нечистот,
За свалкой мусора и кучами жестянок из-под консервов,
Где закапывают плоды тайных абортов.

МИССИС КЕССЛЕР

Мой муж, Кесслер, вышел в отставку из армии
С девятью долларами пенсии в месяц.
Он проводил время в разговорах о политике
Или за чтением мемуаров Гранта,
А я зарабатывала деньги стиркой.
Скатерти, покрывала, юбки и сорочки
Открывали мне тайны множества людей,
Потому что вещи стареют с годами
И не всегда заменяются новыми:
Потому что бывают у людей времена
Благополучия и упадка.
И вот — все чаще заплаты, прорехи все шире,
Иголка не в силах предотвратить разрушенье,
И пятна уже не боятся мыла,
Вещи покрываются в стирке желтизной,
И вы не можете их отбелить,
Как вас ни бранят за порчу белья.
Платки и салфетки скрывают горькие тайны,
О которых великая прачка, Жизнь, знает все.
И я, не пропустившая ничьих похорон
В Спун-Ривере, клянусь, что всякий раз,
Когда я глядела на мертвое лицо,
Оно неизменно напоминало мне
Выстиранное и выглаженное белье.

ДЖОНАТАН ХАУТОН

Каркает ворона, и, поначалу
Неуверенно, заводит песню дрозд.
Вдали позванивает колокольчиком корова,
Со склона холма доносится голос пахаря;
В лесу за плодовым садом
Тишина безмятежного летнего дня;
Поскрипывая, катится по дороге,
Направляясь в Аттертон, воз с зерном.
Старый человек сидит и дремлет под деревом,
Старая женщина с корзинкой ежевики,
Выйдя из сада, переходит через дорогу.
Мальчик лежит на траве у ног старика
И смотрит на небо,
На облака, плывущие в вышине,
Охваченный смутным ожиданием,
Нетерпеливой мечтой:
Стать скорее мужчиной, узнать жизнь,
Увидеть неведомый мир!
И вот прошло тридцать лет,
Мальчик вернулся, усталый и опустошенный,
И увидел, что сад исчез,
И нет уже леса за садом,
И дом перестроен, и дорога
Тонет в тучах пыли, поднятой автомобилями,
И сам он жаждет пристанища на Холме.

ЭННРАТЛЕДЖ

Струятся волны бессмертной музыки
От меня, ничтожной и безвестной:
«Без злобы и ненависти!»,
«Ко всем — милосердье!»
Из глуби моей — прощение миллионам
от миллионов,
Лицо великодушного Народа
В сиянии истины и справедливости.
Я, Энн Ратледж, спящая здесь
В земле, под буйными травами,
Была любима Авраамом Линкольном,
Но брачным союзом нашим
Стала вечная разлука.
Расти, о цветущее древо Республики,
Из моей груди, распавшейся в прах.

ЛЮСИНДА МЭТЛОК

Я ездила на танцы в Чэндлервилл
И играла в «третий лишний» в Уинчестере.
Однажды, возвращаясь домой лунной ночью
В июне, мы обменялись партнерами,
И так я и Дэвис нашли друг друга.
Мы поженились и жили вместе семьдесят лет,
Радовались, работали, воспитывали детей —
Их было двенадцать, но восемь мы потеряли
До того, как мне исполнилось шестьдесят лет.
Я хлопотала по дому, ходила за больными,
Пряла, ткала, работала в саду, а по праздникам
Бродила по полям, прислушиваясь к песне
Жаворонка, или вдоль реки, собирая ракушки,
Цветы и лекарственные травы,
И окликала лесистые холмы,
И пела песни зеленым долинам.
А когда мне минуло девяносто шесть лет,
Прожив сполна свой век на этом свете,
Я познала сладостный покой.
Что вы там говорите про горе, усталость,
Обиды, невзгоды, обманутые надежды?
О вырождающееся поколение,
Вам ли мериться силами с жизнью?
Тот, кто любит Жизнь,
Всей жизнью ей платит.

ГЕРМАН АЛЬТМАН

Разве не шел я путями истины, куда бы они ни вели?
Не стоял против целого света за правое дело?
Не поддерживал слабых против сильных?
Так пусть меня вспоминают в народе
Таким, каким знали при жизни люди,
Таким, каким меня любили и ненавидели на земле.
Не воздвигайте памятника на моей могиле,
Не высекайте из мрамора мое изображение,
Не то, даже если меня не произведут в полубоги,
Как бы не извратили мою истинную духовную сущность
Мошенники, и лжецы, те, что были моими врагами
И расправились со мной, и дети мошенников и лжецов —
Как бы они не предъявили свои права на меня
И не стали утверждать перед моим скульптурным

портретом,
Что стояли бок о бок со мной
В дни моего поражения.
Не воздвигайте памятника в мою честь,
Чтобы память обо мне, искаженная лжецами,
Не стала оружием неправды и угнетения,
Не отнимайте память обо мне у любивших меня
И у их потомков. Пусть я останусь навеки
Незапятнанным достоянием тех,

Для кого я жил.

ИНГЛИШ ТОРНТОН

Сюда скорей! Вы, дети и внуки людей,
Сражавшихся вместе с Вашингтоном в Вэлли-Фордж,
Тех, что всыпали Черному Ястребу у Голодной Скалы,
Поднимайтесь! И — в бой, против потомков
Тех, что скупали за бесценок пахотные земли,
Простиравшиеся на сотни миль песчаными пустырями,
И продавали втридорога ружья и одеяла
Армии Гранта, тех, что писали в ту раннюю пору
Законы, вымогая взятки у железных дорог!
Поднимайтесь на битву
Против хлыщей и самодовольных нахалов,
Против ничтожеств, пробивающихся в отделы светской

жизни
Столичных газет, против деревенщины и скоробогачей,
Чьим дочкам годятся в женихи лишь самозванные графы,
Против велеречивых паразитов великих идей,
И громогласных борцов за великое Дело,
И наследников старинных наворованных состояний!
Поднимайтесь! Овладевайте Городом,
Станьте хозяевами Государства —
Вы, сыновья и внуки фермерской вольницы сороковых

годов,

С богом! И если вы не уничтожите эту чуму.
Мой мстительный дух сотрет с лица земли
Ваш город и ваше государство!

ВЭЧЕЛ ЛИНДСЕЙ

ПУСТЫЕ КОРАБЛИКИ
© Перевод А. Сергеев

Летят пустые кораблики ввысь — куда они держат путь?
Вчера один трепетал на ветру, всю ночь не давал уснуть,
Дрожал в слуховом окне, манил в светлеющий небосвод:
Он будет ждать меня много дней, не дождется и уплывет.
Кораблик причаливает к душе, томит и зовет с собой
Туда, где к славе ее принесет Небес молчаливый прибой,
Где новые странствия разомкнут оковы Судеб людских…
Пустые кораблики в каждом окне — а мы избегаем их!

ЛОВИТЬ НА НЕБЕ ЛУННЫЙ СВЕТ
© Перевод А. Сергеев

Дождь, роса и лунный свет
Сердцам дают понять,
Что дождь, роса и лунный свет —
Господня благодать,

Что каждый вправе получить
Землю для дождей,
Траву для капелек росы
И поле повольней,

Пшеницу и веселый мак
И ночной порой —
Укромный уголок и сеть
Звезд над головой:

Ловить на небе лунный свет
И солнце на земле,
Чтоб, проработав целый день,
Помечтать во мгле.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН БРОДИТ В ПОЛНОЧЬ
© Перевод М. Зенкевич

Для всех нас знаменательно и важно,
Что в полночь в нашем городе всегда
Проходит, молчаливо скорбный призрак
Пред мрачным, старым зданием суда.

То к дому своему пройдет и вспомнит,
Как здесь при нем играла детвора,
То выйдет он на городскую площадь
И ходит там до самого утра.

Высок и худ! На нем сюртук старинный,
Цилиндр и шарф — потертый старый плат.
Таким его мы знаем все и любим,
Народный вождь, из прерий адвокат!

Он спать не может на холме спокойно.
Он с нами вновь, живой, в борьбе со злом,
И мы, проснувшись и вздыхая, слышим,
Как он идет в молчании ночном.

Он думает о королях и людях.
Нет, не до сна, когда вопит весь мир!
Неведомо за что солдат воюет,
А дом его в деревне пуст и сир.

Магнаты войн бесчестны и преступны,
Гремят дредноуты пучин морских,
И на плечах он ощущает тяжесть
Безумных дел и страшных мук людских.

Он ждет, что возвестит заря средь ночи
Освобождение Европы всей,
Союз пародов на Земле Рабочих
И вечный мир всех Гор, Равнин, Морей.

Монархи всюду замышляют войны,
И люди, как рабы, еще в ярме.
Когда ж настанет мир и вновь спокойно
Уснуть он сможет на своем холме?

ПРИЗРАКИ БИЗОНОВ
© Перевод М. Зенкевич

Я с криком проснулся во мраке ночном.
Звенели все стекла, ударил гром,
И пол колебался, и огненный шар
За дверью раскрытой блеснул, как пожар.
Наружу я выбежал. Город исчез.
Где сад был фруктовый, там девственный лес,
И дом мой — блокгауз, и рядом поток.
Пустынно и тихо, и я одинок...

Вдруг...
Боги индейцев помчались рядами,
Вздымая пылающих факелов знамя,
Медведей, лосей и орлов оседлав,
Неслись они бешеным смерчем, стремглав,
С пронзительным воплем: «А-ля-ля...»
Неслись они, копья и луки подняв,
Вздымая в кострах догоревших пламя.
От топота тяжко гудела земля,
И несся, угрюмую полночь тревожа,
Вопль краснокожих,
Вопль краснокожих:
«А-ля-ля, а-ля-ля, а-ля-ля, а-ля-ля!»
Бронзовотелы, скопищем диким
Скакали индейцы с воинственным криком,
Пронзительно воя, вопя и рыча,
Мустангов серых своих горяча.
Снимателя скальпов, охотники прерий
Неслись за добычей, как хищные звери.
В погоне за грозным величьем былым,
За славой, рассеянной ветром, как дым,
За славой, погасшей, как отблеск кровавый,

Упавшей дождями на тучные травы.
На запад чрез бурную реку, вброд
Промчались для диких, привольных охот
Стремительным вихрем в померкшую синь,
Как призраки, духи небесных пустынь.
Их пастбище — небо, где звездные степи
Раскинулись в огненном великолепье.
Исчезли, и пылью клубился свет,
И я с изумленьем смотрел им вслед.
В ночной тишине
Лишь ветер уныло
Нашептывал мне
О том, что было
Много лет тому назад, —
Об избиеньях бизоньих стад.
Сова прокричала: «Чу… я лечу…»
И запиликал смычок,
Полночь прокликал сверчок,
Полночь прокликал сверчок.
Вдруг…
Нюхая молний летучее пламя,
Бизоны, бизоны помчались стадами,
Владыки прерий, на скалы похожи.
И я подхватил: «А-ля-ля, а-ля-ля»,
Вопль краснокожих,
Вопль краснокожих:
«А-ля-ля, а-ля-ля, а-ля-ля».

Бизоны, бизоны, тысячи вброд
На запад стремились чрез водоворот,
Рогами замедливших бег торопя,
Мехами дымящихся легких хрипя,
Катились лавиною многоголовой
Стада бизонов, телята, коровы,
Свирепые царственные быки,
Гривой тряся, закусив языки,

Вращая глаза, словно диски луп,
С ревом, как бурный косматый бурун,
Стремительно мчались в померкшую синь,
Как призраки, духи небесных пустынь.
Их пастбище — небо, где звездные степи
Раскинулись в огненном великолепье.
Исчезли, и пылью клубился свет,
И я с изумленьем смотрел им вслед.

Сверчок заиграл на скрипке своей,
И пугало, словно оторопев,
Тряпьем взмахнув, загремело сильней
Сковородкой, подвешенной у плечей.
И я услышал в трубе напев.
Ветер в трубе,
Ветер в трубе,
Ветер в трубе
Пел все слышней:
«Мечтай о чуде,
В мечту поверя,
Грезят люди,
Грезят звери.
Жизнь — мчащийся к западу грез ураган.
Жизнь — вечная греза, звездный туман,
Дыханье созвездий златоволосых,
Раскинувших в небе лучистые косы».

Любовную песню крылатый смычок
Запел что было мочи.
Вдали над водой прозвенел козодой.
И тихо запел сверчок,
И тихо запел сверчок:
«Спи… спи… Спо-кой-ной но-чи!
Спо-кой-ной но-чи!»

КАНЗАС
© Перевод А. Сергеев

Бывало, я по Ка́нзасу
Шагал в разгар страды,
Хлеба косил, снопы вязал,
Укладывал в ряды.

И каждый сноп, как золото,
Как солнышко, сверкал,
И каждый жнец из рук своих
Светила выпускал.

На плечи жар полуденный
Ложился тяжело,
Пустынь дыханье серное
Душило, жгло, пекло.

И все ж хлебнул я в Канзасе
Привольного житья
С веселыми бродягами
Такими же, как я.

Мы избавлялись в Канзасе
От страха и забот,
Там тридцать тысяч босяков
На жатве каждый год

Зовет в свои объятья штат
Людей со стороны;
Мы целый месяц в Канзасе
Всем гражданам равны.

Мы пели в знойном Канзасе

Псалмы воскресных школ:
«Звезда дневная в небесах»
И «Мирен райский дол».

Мы пели в славном Канзасе
«Свободы стяг святой» —
Под ним солдаты Шермана
Пришли к черте морской.

Столы в обильном Канзасе
Заваливала снедь;
Мы отъедались, чтоб верней
Пшеницу одолеть.

Амбар приливу хлебному
Ворота раскрывал.
Мы лезли спать на пахнущий
Люцерной сеновал.

Крутились крылья мельницы,
Вплывала в ночь луна;
Мне застилала зрение
Мечтаний пелена.

Ах, все мечтают в Канзасе
При солнце, при луне,
В рассветном полыхании,
В вечерней белизне.

А ветер гонит тополя
За облаками вслед,
А на снопах и на ветвях
Лепечет лунный свет.

ЖЕРЕБЕНОК, НЕ ПЕРЕСТАВШИЙ ПЛЯСАТЬ
© Перевод А. Сергеев

Жеребенок, ты фермеру дан на срок —
Без греха обломать, чтобы вышел прок,
Но вороний грай, точно черный рок,
Пролетел над тобою зловещей тенью…
Ах, как бабочкам сладко цветы целовать,
Запах трав повергает душу в смятенье!
Что ж бояться постромок и шпор и кнута?
Жеребенок, ты не перестанешь плясать!

От рождения гордость в тебе велика —
Предки в царственной пляске неслись сквозь века,
И на ферме — в тебе лишь душа человека,
Ты являл ее ржаньем, брыканьем, храпеньем
И на тех, кто собрался тебя обуздать,
Как с фронтона, посматривал с подозреньем.
О Эллады вернувшаяся красота,
Жеребенок, ты не перестанешь плясать!

Стрекотали кузнечики: — Прыгай из пут! —
Воробьи горлопанили из закут:
— Если людям невесело — пусть помрут! —
Но не злобу ты чувствовал, а презренье
И последнюю ставку сумел проморгать:
Приступили объездчики к избиенью —
В их словах и на лицах одна срамота,
Жеребенок, ты не перестанешь плясать!

Как вороны закаркали: — Кончен бал! —

Когда жатку назавтра ты в поле гнал.
Запыхались мулы, а ты плясал,
Ты скакал, как скакун, трепеща нетерпеньем,
И, запутанный упряжью, начал играть,
Пьяный возчик тебя кровянил с исступленьем,
И безмозглые мулы терзали с хвоста…
Жеребенок, ты не перестанешь плясать!

В твой последний полдень, в последний миг
Под кувалдой зноя обрушился мир.
Кровожадные мухи слетелись на пир
И искали в ранах смертельное тленье.
Люди добрые, Божью призвав благодать,
Задержали жатку тебе в избавленье.
Так ты пал, убежав от людей и кнута,
Жеребенок, не переставший плясать.

КОНГО
© Перевод И. Кашкин

Часть I

Глубоким, раскатистым басом, четко выделяя ритмические ударения.

Негры в винном погребе
подняли шум,
Пьют, ревут пьяную хулу,
Орут, шатаются, дубасят по столу,
Ку-ла-ком
дубасят по столу,
Бьют по днищам бочек,
лупят наобум,
Палками и щетками:
бум, бум, БУМ.
Шелковым зонтиком в бочку черный
грум —
Бумлэй, бумлэй, бумлэй, БУМ.
В погребе клубами дым и пар.
Вот что мне привиделось сквозь
пьяный угар:

Замедляя, торжественным распевом.

Я увидел Конго,
простертое в ночи,
Стремящее сквозь заросли
струй своих мечи.
И вдоль его берега
на мно-го верст

Людоедов пляшущих растянулась
горсть.
Я услышал песен кровожадный
стон,
Под берцовой костью рокочущий
гонг.

С нарастающей быстротой и оживлением.

«КРОВИ!» — выли дудки и флейты
ворожей.
«КРОВИ!» — выли маски
колдунов-вождей.
«Закружитесь в вихре барабанной
дроби!

По два выкрика в строке.

Все в поход! Все в поход!
Вверх по ущельям
угоняйте скот!
Все, что ни встретится, все вверх
дном!
Бумлэй, бумлэй, бумлэй, БОМ!
Бинг!»

Скользя по безударному началу стиха, отяжеляя три последних ударения.

Вдоль по всему берегу ухают гонги,
А за ними пляшущий, воющий хор
От самого устья мощного Конго
Вплоть до истоков средь Лунных

гор.

Пронзительно и четко.

«Смерть — это Слон,
Бешеный и дикий,
Ужас наводящий,
Пеною покрытый,
Слон
с кровавыми и злобными глазами.

БУМ! Горе карликам.
БУМ! Бей арабов.
БУМ! Режьте белых.
У! У! У!»

Словно ветер в трубе.

Слушайте, как стонет душа
Леопольда[41],
Душа Леопольда стонет в аду.

Скользя по безударному началу стиха и отяжеляя ударения конца обоих полустиший.

Он отрезал руку у гостя-герольда,
Черти ему руки отрубят в аду.
Слушайте, как гулко ухают гонги,
И костры колеблет черное Конго,
И костры колеблет кровавое Конго,
И растет из ночи
тревога,
тревога.

Слушайте, как ветер потихоньку
шепчет
И в мозги вбивает все крепче
и крепче:
«Приносите жертвы. Не гневите
бога,
Или Мумбо-Джумбо,
бог всего Конго,

Скороговоркой, переходящей в таинственный шепот.

А с ним и другие
боги Конго,
Мумбо-Джумбо вас задушит,
Мумбо-Джумбо вас задушит,
Мумбо-Джумбо вас задушит».

ДЕНЬ БАБЬЕГО ЛЕТА В ПРЕРИИ
© Перевод А. Сергеев

В начале

Солнце — охотница резвая,
Красной сияет весной,
Солнце — индейская девушка
Из племени Иллиной.

Разгар утра

Солнце — пламя, ползущее
По прерии на окоем,
Чтобы ни кустик облачка
Не распустился дождем.

Полдень

Солнце — олень, умирающий,
На бледных горных лугах,
Золотые рога содрогаются,
В глазах страданье и страх.

Закат

Солнце — орел, дряхлеющий
В безветренной рыжей мгле,
Он строит гнездо багровое
В небесах, на духовной скале.

СТЕКЛА ФАБРИЧНЫЕ ВЕЧНО БИТЫ
© Перевод А. Сергеев

Стекла фабричные вечно биты:
Кто-то, оскалясь, швыряет в них,
Кто-то швыряет кирпич, булыжник,
Кто-то из роду йеху шальных.
Стекла фабричные вечно биты.
Прочие стекла тут ни при чем.
В светлые звонкие окна церкви
Разве запустит кто кирпичом?
Стекла фабричные вечно биты.
Что-то еще предстоит претерпеть.
Что-то неладно, я думаю, в Дании[42].
Кончил о стеклах фабричных петь.

ВСКОРМЛЕННЫЕ ЦВЕТАМИ БИЗОНЫ
© Перевод А. Сергеев

Вскормленные цветами бизоны
Давно миновавших лет
Мчались там, где грохочут вагоны
И цветов на прерии нет,
Там, где метались душистые травы,
Пшеница стоит стеной,
Поют свистками составы, составы
Сладкой доселе весной.
Вскормленные цветами бизоны
Давно миновавших лет
Отревели свое, отбодали свое,
Отрыскали по холмам свое,
И индейцев — кеду́ нет,
И черноногих нет.

ХИЛЬДА ДУЛИТЛ

ЗНОЙ
© Перевод И. Кашкин

Ветер, прорви этот зной,
врежься в него,
порви его на куски.

Плод не может упасть
сквозь плотный воздух —
плод не может упасть в зной,
который сдавил и плющит
острые груши
и круглит виноград.

Врежься в зной —
пропаши его,
отвали в обе стороны
твоей борозды.

ОРЕАДА
© Перевод А. Парин

Взвихрись, море,
взвихри огромные сосны свои,
островерхие сосны свои расплющь
на скользких утесах,
изрыгни свою червлень на нас
и засыпь нас запасами хвои лежалой.

САД
© Перевод И. Кашкин

Я видела, как упала
первая груша — и желтый рой
медосбирающий, густогудящий
не опередил меня
(сохрани нас от красоты)
и я распростерлась
в рыданиях:
ты, бичующий нас цветеньем,
сохрани нас от красоты
плодоносящих дерев.

Медосборщицы
не прервали полета,
воздух гремел их гуденьем,
и я лежала простертая.

О грубо выточенный
бог плодовых садов,
я приношу тебе жертву —
смилуйся, красоты лишенный
сын богов,
и сохрани нас от красоты:
вот эти опавшие орехи,
скинувшие свою зеленую кожуру,
виноградные лозы,
красно-багровые,
налитые сладким соком,
раскрывшиеся гранаты,
и созревший инжир,
и зреющую айву —

я приношу тебе в жертву.

ПЕСНЯ («Ты такой золотой...»)
© Перевод А. Парин

Ты такой золотой,
Как колос, слегка недозрелый, —
В нем блеск золотой загрубелый,
Белый, как дождь белый,
Который частит, не щадя,
По недораскрытым цветкам,
Сбившимся плотно в султаны
На толстых черных ветвях
Иллирийских низеньких яблонь.

Может ли мед источать
Тончайшее благоуханье,
Как кольца твоих волос?
Лицо твое краше дождя,
Покоящегося мирно
На белых медовых сотах,
Искрящего белый воск;
Кольца волос на лбу
Высветят черную тень.

НА ИТАКЕ
© Перевод А. Парин

Снова и вспять
долгие волны ползут
и пеною мажут песок,
темень густеет, и море
вбирает тот траурный цвет,
который на женах надет,
когда их любви на свете нет.

Снова и вспять
нить порвалась и ослабла опять,
вниз и вверх и насквозь,
вот уже все соткалось;
узел завязывая, восхочу
друга, которому по плечу
пылкостью сердца пальцы отъять
от ненавистных кросен.

Мысли усталые
душу мою предают,
чуть я закончу труд.
Пальцы скорые, ткань соткав,
скорости дайте духу,
дух, разорви узор,
там, где цветы пестреют,
край синевы морской,
берег родной в морской синеве.

Ткань волшебной была красоты
особенно там, где пестрели цветы;
чары, что издали звали его,
ныне утрачены мною.

Счастье его я ткала,
нитью орудуя в раме,
ткала его славу и пламя,
я думала — кончен труд,
ждала, чтоб один был крут
из тех, кого прочь гнала,
чтоб грохнул он цепи дрязг
пленительнейшей из ласк.

Но каждый раз, как зрю
свой труд, я корю зарю —
хочется сохранить
узор сотворившую нить;
Афина мой дух жесточит
и в мозг мой копьем стучит,
и, словно струи дождя, летят
ее колесница и стрелы,
я вижу: вот падают копья,
вот мой господин идет,
как Гектор, идет владыка,
я вижу: он бьет в бою
блестящих соперников, крут, —
ничтожные в страхе бегут.

ЭЗРА ПАУНД

PORTRAIT D’UNE FEMME[43]
© Перевод А. Сергеев

Ваш ум и вы — Саргассова трясина,
Лет двадцать Лондон вами проплывал,
В вас с кораблей попадали пустые
Идейки, сплетни, пестрые тряпицы
И прочий вздор — в уплату за услуги.
Великие умы искали вас —
За неименьем никого получше.
А вы — второго сорта. Что, трагично?
Нисколько. Сами вы боялись будней,
Единственного преданного мужа —
Один и тот глупел бы год от года.
О ваша выдержка! Я видел, вы
Часами ждете, не плывет ли кто.
Теперь вы сами платите за это.
Вы чем-то интересны. К вам заходят,
От вас уносят странные предметы:
Какой-нибудь трофей, чудну́ю мысль,
Никчемный фактик, сплетню, что приводит
К химерам мандрагоры, что-то там,
Что вроде бы и может пригодиться,
Да все не пригождается, не может
Занять свой угол, обрести свой час:
Какой-нибудь подсвечник или идол,
Мозаика, янтарь или топаз.
Вот ваше достояние; и все же
В старинном барахле морского клада,
Разбросанного меж подводных трав,
На разной глубине, в различном свете —
Нет ничего! Нигде нет ничего,
Чтоб было вашим.

Все же это вы.

НЬЮ-ЙОРК
© Перевод В. Топоров

Мой город, моя белоснежная возлюбленная!
Слушай меня,
Моя нежная! Слушай меня, и я вдохну в тебя живую душу.
Заслушайся моею искусной свирелью!

Я знаю: это сумасшествие,
Ибо миллионолико угрюмое путешествие
Средствами городского транспорта.
Ни девы, ни умения играть, ни самое свирели.

Мой город, моя возлюбленная.
Иже еси дева безгрудая,
Иже еси нежность серебряной свирели.
Слушай меня, заслушайся мной!
И я вдохну в тебя живую душу,
И ты будешь жить во веки веков...

ПРИВЕТСТВИЕ
© Перевод Э. Шустер

О поколение одетых со вкусом и живущих
без вкуса к жизни.

Я видел пикник рыбаков под солнцем,
Я видел их с неопрятными чадами,
Я видел зубастый их смех, слышал хриплые
их голоса.

И я счастливее вас,
И они счастливей меня,
И рыба плавает в озере и даже совсем нагишом.

ВТОРОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
© Перевод Э. Шустер

Вас хвалили, книги мои,
потому что я был только что из деревни;
На двадцать лет отставал я от века,
и читатели были готовы принять вас.
Я не отрекаюсь от вас,
и вы от своего потомства не отрекайтесь.

Вот оно — без причудливых ухищрений,
Вот оно — без всякой архаики.
Взгляните, какое негодование.

«Неужель, — говорят, — такой чепухи
мы ждем от поэтов?»

«Где образность?
Где головокруженье от чувств-с?»

«Нет, вначале он работал намного лучше».
«Бедняга, совсем лишился иллюзий».

Вперед, дерзкие, голенькие малютки — песни,
Вперед, на одной ножке!
(Можно на двух, если вам больше так нравится!)
Вперед и пляшите бесстыдно!
Вперед с игривым нахальством!

Приветствуйте могилу и тяжеленную скуку,
Отсалютуйте им, приложив к носу палец.

Вот они, конфетти и колокольцы для вас.
Вперед, помолодевшие баловницы!

Омолодите кстати «Спектейтор».
Вперед и сделайте мяу-мяу!
Спляшите-ка так, чтобы люди краснели,
Спляшите-ка фаллический танец
и расскажите-ка анекдот о Кибеле!
Поведайте-ка о безнравственном поведенье богов!
(Сообщите об этом м-ру Стрейчи.)

Задерите-ка юбки у благонравных,
покажите лодыжки их и колени.
Но прежде всего ступайте к положительным людям —
вперед! дерните колокольчик над дверью!
Скажите, что вы не трудитесь
и что жить предстоит вам вечно.

ПИСЬМО ЖЕНЫ КУПЦА
© Перевод Э. Шустер

Когда был закрыт мой лоб прямой челкой,
Я, у передних ворот играя, цветы собирала.
Вы пришли на ходулях, вы были всадник,
Вы прошли со мной рядом, жонглируя синей сливой.
И после мы жили там же, в деревне Чокан,
Два маленьких человека, без неприязни и подозрений.

В четырнадцать, Господин мой, я стала вашей супругой.
Никогда не смеялась, так была я стыдлива.
Исподлобья смотрела на стену.
Тысячу раз позовут меня — не откликнусь.

В пятнадцать я перестала дуться,
Я хотела, чтоб прах мой смешался с вашим
На все времена, навсегда, навеки.
Зачем было мне куда-то стремиться?

Вы ушли, а мне стало шестнадцать.
Вы ушли в Ку-то-ен по реке, где на омуте омут,
И пять месяцев нет вас.
На деревьях печалуются мартышки.
Уходя, вы вздымали ногами пыль.
У ворот вырос мох, новый мох,
А корни, что его и не выдрать.
Ветер, нынче осень рано срывает листья.
На крылышках бабочек — желтый август,
В Западном садике кружат их пары;
Из-за них мне больно. И я старею.

Если вы, возвращаясь, пойдете в теснинах Кьянга,
Дайте загодя знать, молю вас,
И я выйду навстречу вам
даже к Чо-фу-са.

ХЬЮ СЕЛВИН МОБЕРЛИ
(Жизнь и знакомства)
© Перевод А. Парин

Vocat aestus in umbram.

Nemesianus, Ec. IV [44]

E. P. ODE POUR L'ELECTION DE SON SÉPULCRE[45].

I

В теченье трех лет, никем не услышанный,
Возродить он тщился угасшую суть
Поэзии, удержать на земле «возвышенное»
В допотопном смысле. Заведомо ложный путь —

Ибо был он рожден средь диких людей,
Чуждых новшествам, пьяных наживой;
Мнил лилеи взрастить из пустых желудей;
Капаней; форель для наживки фальшивой.

«Ιδμεν γάρ τοί πάνθ', δσ'ένΐ Τρο'η»[46]
Проникло в открытый звучаниям слух;
Двигая скалы, этой порою
Крошево моря влекло его дух.

Себе в Пенелопы он выбрал Флобера,
У глухих островов все удил и удил,
Любовался Цирцеиной прядью без меры,
Не глядел на максимы о ходе светил.

Не изменяемый «ходом событий»,

Он шествовал: на́чался l’an trentiesme
De son eage[47] — ни успехов, ни прыти,
И Муз любимцем не слыл он совсем.

II

Век требовал запечатлеть
Его рывки и ужимки —
Тут ну́жны не мрамор, не медь,
А моментальные снимки.

Озарения — к черту прозренье твое,
И никаких выкрутасиков!
Лучше заведомое вранье,
Чем парафразы классиков.

Гипсовых формочек «требовал век»,
Реакции требовал бурной,
Шустрой прозы ждал человек,
А не вычур рифмы «скульптурной».

III

Цвет чайной розы у платья к чаю —
Замена муслинам косским,
Вместо пленительной лиры Сафо —
Пианола со звуком плоским.

За Дионисом шел Христос.
Состарились, ослабели
Фаллос и дух святой.
Теснит Калибан Ариэля[48].

Все на свете течет, —
Мудрый сказал Гераклит.
Но безвкусицы пламя
Дни наши испепелит.

Вся лепота христианская —
Пуста супротив Самофракии.
Гляньте, как τό γάλον[49]
Тащат торговцы всякие.

Фавнова прыть не про нас
Или святых терзания.
Вот вам для вафель пресс,
Свидетельство на обрезание.

В принципе люди равны,
Ежели нет Писистрата[50].
Мы выбираем в вожди
Плута или кастрата.

О Аполлон — владыка,
τίν’ άνδρα, τιν’ ηρώα, τ’ινα υεον[51] —
Бог ли, муж ли, герой ли
Венком жестяным награжден?

IV

Уж эти-то, во всяком случае, сражались
(а кое-кто с истинной верой)
pro domo[52], во всяком случае.

От избытка энергии,

из любви к авантюрам,
из страха стать слабым
или слыть дезертиром,
из придуманной любви к кровопролитью,
по наитью…
Из страха, в кровопролитья внедряясь
с недюжинной прытью.

А кое-кто и умер, pro patria,
без «dulce» и без «et decor» [53]…
Шли, по зрачки в аду увязнув,
в ложь стариков поверив, а потом,
изверенные, шли домой, ко лжи,
домой, к уловкам подлым,
домой, к той, старой лжи и новому стыду,
к наростам жирным вековым процентов
и к ловким должностным лгунам.

И небывалая дерзость, и небывалая мерзость,
И молодость, и благородство,
нежные лики, тела несравненные;

и небывалая стойкость души,

и небывалая слов прямота,
Иллюзий крушения в давние дни небывалые,
истерики, шепот исповедальный в траншеях,
хохот из разложившихся животов.

V

Погибли-то мириады,
И среди них лучшие,
За сдохшую старую суку,

За стухшую цивилизацию,

В открытой улыбке рот до ушей,
Острые взоры под крышкою гроба —

За несколько сотен изувеченных статуй,
За несколько тысяч истрепанных книг.

YEUX GLAUQUES [54]

Гладстон[55] был еще чтим.
Джон Рескин[56] прославился в свете
«Сокровищами короля».
Крыли Суинберна и Россетти.

Бьюкенен[57] мямлил вонючий;
Голова ее, фавном глянув,
Развлечением стала
Для художников и донжуанов.

В набросках Бёрн-Джонса[58] горят
До сей поры ее глазки.
И царь в галерее Тейт
Поет по ее подсказке.

Глазки прозрачней ручья.
Рассеян и пуст их взгляд.
Мертворожденные, на́ люди вышли
Английские Рубайат.

Тот же ясный взгляд, как у фавна,
Но на лике печать разложенья,
Глазки таятся и ждут…
«Ах, бедная, бедная Дженни»[59]…

Возмущена, что вселенная
Не удивляется хором
Очень скандальной истории
С последним ее ухажером.

«SIENA MI FE, DISFECEMI MAREMMA» [60]

Среди черепов под стеклом и зародышей
в маринаде
Он пытался усовершенствовать каталог —
Последний отпрыск старинного рода,
Из страсбургских сенаторов, господин Верог.

Два часа он судачил о Галифе,
О Даусоне, о Клубе рифмачей[61] — для букета
Рассказал, как умер Джонсон (Лионель):
В пабе упав с высокого табурета.

Но на приватно устроенном вскрытии
Не найден был алкоголь в трупе этом:
Ткани сохранны — пахнуло на Ньюмена[62]
Разумом чистым — как виски гретым.

Шлюхи были Даусону дешевле отеля;
Хедлам звал ввысь; крал Имедж[63] из клада,
Где сплелись Терпсихора, церковь и Вакх,
Как говаривал автор «Дорийского лада».

Господин Верог, далекий от моды,
Со злобою дня не нашедший связи,
Был не в чести у юнцов
Из-за шальных фантазий.

БРЕННБАУМ

Ясные небесные глаза,
Кругленькое личико дитяти,
Жесткость от воротничка до гетр,
Коей жалость глупая некстати.

Все — Хорив, Синай и сорок лет —
На лице лежало грузом каменным,
Если вдруг дневной искрился свет
На Бреннбауме Непререкаемом.

МИСТЕР НИКСОН

В кремовой каюте самоходной яхты
Мистер Никсон советовал мне тоном приятеля:
«Не откладывайте в долгий ящик. Обдумайте
Слабости обозревателя.

Я был столь же беден, как вы.
Вначале, конечно, я просто копил
Гонорары — по пятьдесят в ту пору, —
Вещал мистер Никсон. —
Верьте мне, возьмите себе раздельчик,
Даже если вам служба претит.

Обозревателям — в лапу. С пятидесяти
За полтора года я дошел до трехсот.
Самым трудным орешком
Оказался некий доктор Дандес.

Я на людей смотрю под одним углом —
Купит или не купит мою работу.
Чаевые — хорошая вещь, чего не скажешь
О литературе — тут они бесполезны.

С ходу шедевр не призна́ет никто.

И по боку стишки, мой мальчик,
Кому нужна эта дурь».
.....

Похоже советовал мне приятель Блаугрема:
«Хватит лезть на рожон.
Прислушайся к окружающим. Девяностые
В эту игру поиграли и сдохли, и лопнул
пузырь».

X

Под покосившейся крышей
Стилист обретается сирый,
Нищий, неслышнее мыши;
Вот из сумятицы мира
Вечной природою взят.
С необразованной дамой
Дар совершенствовать рад.
Драму приветствует яма.

Кровля течет у жилища,
Где немы изыск и раздор.
Тяжелая, жирная пища.
У двери скрипучий запор.

XI

Хранительница des habits Milésiens[64]
По части ума и эмоций.
Но в Илинге[65] разве найдется
Достойный подобных сцен?

Но что тут, по правде, милетское?
В ней бабушкин старый завет
Засел на десятки лет:
Блюсти положение светское.

XII

«Дафна, чей стан корою покрыт[66],
Листвой ко мне тянет руки», —
Субъективно. В гостиной, обитой тафтой,
Госпожу Валентайн ждал в муке,

Зная, что мой костюм
Совсем не того покроя,
Который бы в ней вызывал
Страсть хотя бы порою,

И сомневался порой
В тонкости понимания
Литературных затей,
Но не ее призвания:

Поэзия — граница идей
Для нее, но также и средство
Вовлечь те слои,
Что с крайностями по соседству;

Крючок, чтоб завлечь леди Джейн,
Повод театра коснуться,
А в случае революции
Подруги нет задушевней.
.....

С другой стороны, шагает душа,
«Та, кою питали культуры великие»,
По Флит-стрит, едва дыша,
И доктора Джонсона[67] слышатся клики.

И тут ведь давно продажа
Носочков для резвых козочек
Вытеснила разведение
Чудны́х пиэрийских розочек.

ENVOI[68] (1919)

Иди, немая от рожденья книга,
Поведай той, что песню Лоуса мне пела:
Как песней некогда,
Ты жизнью овладела,
Быть может, ты бы мне простить сумела
Грехи, что делают мой дух увечным,
И увенчала бы себя хваленьем вечным.

Поведай той, что прячет
В простом напеве клад,
Заботясь лишь о том, чтоб прелести ее
Жизнь смыслом наполняли:
Пусть сохранится это бытие,
Как роскошь роз в волшебном янтаре, —
Оранжевый и красный, как в заре,
Сольются, станут веществом одним,
Одною краской, время стерегущей.

Поведай той, что ходит
С былою песней на устах,
Не расставаясь с песнею, не зная

Тех уст, что песню сотворили,
Тех уст, что губ нежнейших не грубей, —
Они в веках споют хваленья ей,
Когда наш прах с уоллеровым ляжет, —
Опилки на опилки немоты,
И все разрушат зубы пустоты —
За исключеньем красоты.

ТОМАС СТЕРНС ЭЛИОТ

ПРЕЛЮДИЯ
© Перевод М. Зенкевич

Густеет зимний вечер в ночь,
И запахи чадит жаркое.
Шесть часов.
Сожженье дымных дней такое,
И вот вам ноги обмотал
Дождливый шквал
Листвою, сброшенною в грязь,
Газетами с пустых участков;
И бьет, струясь,
О ставни, трубы ливень частый.
А на углу стоит, дымясь,
Извозчичья худая кляча,
И фонари зажглись, маяча.

ШЕПОТКИ О БЕССМЕРТИИ
© Перевод А. Сергеев

О смерти Вебстер размышлял,
И прозревал костяк сквозь кожу;
Безгубая из-под земли
Его звала к себе на ложе.

Он замечал, что не зрачок,
А лютик смотрит из глазницы,
Что вожделеющая мысль
К телам безжизненным стремится.

Таким же был, наверно, Донн,
Добравшийся до откровенья,
Что нет замен вне бытия
Объятью и проникновению,

Он знал, как стонет костный мозг,
Как кости бьются в лихорадке;
Лишенным плоти не дано
Соединения и разрядки.
.....

Милашка Гришкина глаза
Подводит, чтобы быть глазастей;
Ее привольный бюст — намек
На пневматические страсти.

В лесу залегший ягуар
Манит бегущую мартышку
При помощи кошачьих чар;
У Гришкиной же свой домишко.

Волнообразный ягуар
В чащобе душной и трясинной
Разит кошатиной слабей,
Чем крошка Гришкина в гостиной.

Прообразы живых существ
Вкруг прелестей ее роятся;
А мы к истлевшим ребрам льнем,
Чтоб с метафизикой обняться.

ГИППОПОТАМ
© Перевод А. Сергеев

Когда это послание прочитало будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви.

Послание ап. Павла к колоссянам, IV, 16

Гиппопотам широкозадый
На брюхе возлежит в болоте
Тяжелой каменной громадой,
Хотя он состоит из плоти.

Живая плоть слаба и бренна,
И нервы портят много крови;
А церковь Божия нетленна:
Скала лежит в ее основе.

Чтобы хоть чем-то поживиться,
Часами грузный гиппо бродит;
А церковь и не шевелится,
Доходы сами к ней приходят

Не упадет ’потамьей туше
С высокой пальмы гроздь бананов,
А Церкви персики и груши
Привозят из-за океанов.

Во время случки рев с сопеньем
Нелепый гиппо испускает;
А Церковь — та по воскресеньям
Слиянье с Богом воспевает.

Днем гиппо спит, а за добычей
Выходит в ночь обыкновенно;
У Церкви же иной обычай;
И спать и есть одновременно.

Я видел, как ’потам вознесся,
Покинув душную саванну,
И ангелы многоголосо
Запели Господу осанну.

Раскроются ворота рая,
И, кровью Агнца окропленный,
Он сядет средь святых, играя
На струнах арфы золоченой.

Он паче снега убелится
Лобзаньем мучениц невинных;
Вокруг же Церкви смрад клубится
В безвылазных земных низинах.

БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ
© Перевод А. Сергеев

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat ilia: άποθανείν θελω[69]

Посвящается Эзре Паунду, il miglior fabbro [70].

I. ПОГРЕБЕНИЕ МЕРТВОГО

Апрель, беспощадный месяц, выводит
Сирень из мертвой земли, мешает
Воспоминанья и страсть, тревожит
Сонные корни весенним дождем.
Зима дает нам тепло, покрывает
Землю снегом забвенья, лелеет
Каплю жизни в засохших клубнях.
Лето напало на нас, пронесшись над Штарнбергерзее
Внезапным ливнем; мы скрылись под колоннадой
И вышли, уже на солнечный свет, в Хофгартен,
И выпили кофе, и целый час проболтали.
Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt Deutsch[71],
А когда мы в детстве ездили в гости к эрцгерцогу, —
Он мой кузен, — он меня усадил на санки,
А я испугалась. «Мари, — сказал он, — Мари,
Держись покрепче!» И мы понеслись.

В горах там привольно.
По ночам я читаю, зимою езжу на юг.

Что там за корни в земле, что за ветви растут
Из каменистой почвы? Этого, сын человека,
Ты не скажешь, не угадаешь, ибо узнал лишь
Груду поверженных образов там, где солнце палит,
А мертвое дерево тени не даст, ни сверчок утешенья[72].
Ни камни сухие журчанья воды. Лишь
Тут есть тень, под этой красной скалой
(Приди же в тень под этой красной скалой),
И я покажу тебе нечто, отличное
От тени твоей, что утром идет за тобою,
И тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку;
Я покажу тебе ужас в пригоршне праха.

Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch Kind
Wo weilest du? [73]

— Ты преподнес мне гиацинты год назад,
Меня прозвали гиацинтовой невестой.
— И все же когда мы тогда возвратились из сада,
Ты — с охапкой цветов и росой в волосах, я не мог
Говорить, и в глазах потемнело, я был
Ни жив ни мертв, я не знал ничего,
Глядя в сердце света, в молчанье.
Oed’ und leer das Meer[74].

Мадам Созострис, знаменитая ясновидящая,
Сильно простужена, тем не менее
С коварной колодой[75] в руках слывет
Мудрейшей в Европе женщиной. «Вот, — говорит она, —
Вот ваша карта — утопленник, финикийский моряк.
(Стали перлами глаза. Видите?)
Вот Белладонна, Владычица Скал[76],
Владычица обстоятельств.
Вот человек с тремя опорами, вот Колесо,
А вот одноглазый купец, эта карта —
Пустая — то, что купец несет за спиной,
От меня это скрыто. Но я не вижу
Повешенного. Ваша смерть от воды.
Я вижу толпы, шагающие по кругу.
Благодарю вас. Любезнейшей миссис Эквитон
Скажите, что я принесу гороскоп сама:
В наши дни надо быть осторожной».

Призрачный город,
Толпы в буром тумане зимней зари,
Лондонский мост на веку повидал столь многих,
Я и не думал, что смерть унесла столь многих[77].
В воздухе выдохи, краткие, редкие[78].
Каждый под ноги смотрит, спешит
В гору и вниз по Кинг-Уильям-стрит
Туда, где Сент-Мери Вулнот часы отбивает
С мертвым звуком на девятом ударе.
Там в толпе я окликнул знакомого: «Стетсон!
Стой, ты был на моем корабле при Милах[79]!
Мертвый, зарытый в твоем саду год назад, —
Пророс ли он? Процветет ли он в этом году —

Или, может, нежданный мороз поразил его ложе?
И да будет Пес подальше оттуда, он друг человека
И может когтями вырыть его из земли!
Ты, „hypocrite lecteur! — mon semblable, — mon frère!“»[80]

II. ИГРА В ШАХМАТЫ

Она сидела, как на троне, в кресле,
Лоснившемся на мраморе[81], а зеркало
С пилястрами, увитыми плющом,
Из-за которого выглядывал Эрот
(Другой крылом закрыл глаза),
Удваивало пламя семисвечников,
Бросая блик на стол, откуда
Алмазный блеск ему навстречу шел из
Атласного обилия футляров.
Хрустальные или слоновой кости
Флаконы — все без пробок — издавали
Тягучий, сложный, странный аромат,
Тревожащий, дурманящий, — а воздух,
Вливаясь в приоткрытое окно,
Продлял и оживлял свечное пламя
И возносил дымы под потолок,
Чуть шевеля орнаменты кессонов.
Аквариум без рыб
Горел травой и медью на цветных каменьях,
В их грустном свете плыл резной дельфин.
А над доской старинного камина,
Как бы в окне, ведущем в сад, виднелись
Метаморфозы Филомелы[82], грубо

Осиленной царем фракийским; все же
Сквозь плач ее непобедимым пеньем
Пустыню заполнявший соловей
Ушам нечистым щелкал: «Щёлк, щёлк, щёлк».
И прочие обломки времени
Со стен смотрели, висли, обвивали
И замыкали тишину.
На лестнице послышались шаги.
Под гребнем пламенные языки
Ее волос в мерцании камина,
Словами вспыхнув, дико обрывались.

«Все действует на нервы. Все. Останься.
Скажи мне что-нибудь. Ты все молчишь.
О чем ты думаешь? О чем ты? А?
Я никогда не знаю. Впрочем, думай».
— Думаю я, что мы на крысиной тропинке,
Где мертвецы накидали костей.

«Что там за стук?»
— Ветер хлопает дверью.
«Какой ужасный шум. Что ветру надо?»
— Ничего ему не надо.
«Послушай,
Ты ничего не знаешь? Ничего не видишь? Ничего
Не помнишь?»

— Я помню:
Были перлами глаза.

«Ты жив еще? Ты можешь мне ответить?»
— Но
О О О Шехекеспировские шутки —

Так элегантно

Так интеллигентно

«А что мне делать? Что мне делать?
С распущенными волосами выбежать
На улицу? А что нам делать завтра?
Что делать вообще?»
— С утра горячий душ,
Днем, если дождь, машина. А теперь
Мы будем в шахматы играть с тобой,
Терзая сонные глаза и ожидая стука в дверь.
Когда мужа Лил демобилизовали,
Я ей сказала сама, прямо, без никаких:
Прошу заканчивать: пора
— Альберт скоро вернется, приведи себя в порядок.
Он спросит, куда ты девала деньги, что он тебе
Оставил на зубы. Да-да. Я сама не слыхала.
Не дури, Лил, выдери все и сделай вставные.
Он же сказал: смотреть на тебя не могу.
И я не могу, — говорю, — подумай об Альберте,
Он угробил три года в окопах, он хочет пожить,
Не с тобой, так другие найдутся, — сказала я.
— Вот как? — сказала она. — Еще бы, — сказала я.
— Ну так спасибо, — сказала она, — договаривай до конца.
Прошу заканчивать: пора
Не хочешь, так делай, что хочешь, — сказала я.
Раз ты не сумеешь, так другие сумеют.
Но если он тебя бросит, так не без причины.
Стыдись, — говорю я, — ты стала развалиной.
(А ей всего тридцать один).
— А что я могу, — говорит она и мрачнеет, —
Это все от таблеток, тех самых, ну чтобы…
(У нее уже пятеро, чуть не загнулась от Джорджа.)

Аптекарь сказал, все пройдет, а оно не прошло.
— Ну и дура же ты, — сказала я.
Скажем, Альберт тебя не оставит, — сказала я, —
Так на черта ж ты замужем, если не хочешь рожать?
Прошу заканчивать: пора
В воскресенье Альберт вернулся, у них был горячий

окорок,
И меня позвали к обеду, пока горячий…
Прошу заканчивать: пора
Прошу заканчивать: пора
Добриочи, Билл. Добрночи, Лу. Добрпочи, Мей. Добрночи. Угу. Добрночи.
Доброй ночи, леди[83], доброй ночи, прекрасные леди,
доброй
вам ночи.

III. ОГНЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ[84]

Речной шатер опал; последние пальцы листьев
Цепляются за мокрый берег. Ветер
Пробегает неслышно по бурной земле. Нимфы ушли.
Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою.
На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток,
Ни носовых платков, ни коробков, ни окурков,
Ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли.

И их друзья, шалопаи, наследники директоров Сити,
Тоже ушли и адресов не оставили.
У вод леманских сидел я и плакал…
Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою,
Милая Темза, тише, ибо негромко я и недолго пою.
Ибо в холодном ветре не слышу иных вестей,
Кроме хихиканья смерти и лязга костей.

Сквозь травы тихо кравшаяся крыса
Тащилась скользким брюхом по земле,
А я удил над выцветшим каналом
За газовым заводом в зимний вечер
И думал о царе, погибшем брате,
И о царе-отце, погибшем прежде.
В сырой низине белые тела,
С сухой мансарды от пробежки крысьей
Порою донесется стук костей.
А за спиною вместо новостей
Гудки машин: весной в такой машине
К девицам миссис Портер ездит Суини.
Ах льет сиянье месяц золотой
На миссис Портер с дочкой молодой
Что моют ноги содовой водой
Et O ces vois d’enlants, chantant dans la coupole! [85]

Щёлк щёлк щёлк
Упрек упрек упрек
Осиленной так грубо.
Терей

Призрачный город
В буром тумане зимнего полудня

Мистер Евгенидис, купец из Смирны, —
Небритость, полный карман коринки,
Оценка-страховка-фрахт, Лондон, —
Пригласил на вульгарном французском
Отобедать в отеле «Кеннон-стрит»,
После — уикенд в «Метрополе».

В лиловый час, когда глаза и спины
Из-за конторок поднимаются, когда людская
Машина в ожидании дрожит, как таксомотор, —
Я, Тиресий[86], пророк, дрожащий между полами,
Слепой старик со сморщенною женской грудью,
В лиловый час я вижу, как, с делами
Разделавшись, к домам влекутся люди,
Плывет моряк, уже вернулась машинистка,
Объедки прибраны, консервы на столе.
Белье рискует за окно удрать,
Но все же сушится, пока лучи заката не потухли,
А на диване (по ночам кровать) —
Чулки, подвязки, лифчики и туфли.
Я, старикашка с дряблой женской грудью,
Все видя, не предвижу новостей —
Я сам имел намеченных гостей.
Вот гость, прыщавый страховой агент,
Мальчишка с фанаберией в манере,
Что о плебействе говорит верней, чем
Цилиндр — о брэдфордском миллионере.
Найдя, что время действовать настало,
Он сонную от ужина ласкает,
Будя в ней страсть, чего она нимало
Не отвергает и не привлекает.
Взвинтясь, он переходит в наступленье.
Ползущим пальцам нет сопротивленья,

Тщеславие не видит ущемленья
В объятьях без взаимного влеченья.
(А я, Тиресий, знаю наперед
Все, что бывает при таком визите, —
Я у фиванских восседал ворот
И брел среди отверженных в Аиде.[87])
Отеческий прощальный поцелуй,
И он впотьмах на лестницу выходит…

Едва ли зная об его уходе,
Она у зеркала стоит мгновенье;
В мозгу полувозникло что-то вроде
«Ну, вот и все», — и выдох облегченья.
Когда в грехе красавица, она,
По комнате бредя, как бы спросонья,
Рукой поправит прядь, уже одна,
И что-то заведет на граммофоне.

«Музыка подкралась по воде»[88]

По Стрэнду, вверх по Куин-Виктория-стрит.
О Город, город, я порою слышу
Перед пивной на Лоуэр-Темз-стрит
Приятное похныкиванье мандолины,
А за стеной кричат, стучат мужчины —
Там заседают в полдень рыбаки: а за другой стеной
Великомученика своды блещут несказанно
По-ионийски золотом и белизной.

Дегтем и нефтью
Потеет река
Баржи дрейфуют
В зыби прилива
Красные паруса
Терпеливо

Ждут облегчающего ветерка.

Бревна плывут
Возле бортов
К Гринвичу
Мимо Острова Псов.
Вейалала лейа.
Валлала лейалала

Елизавета и Лестер
В ладье с кормой
В виде раззолоченной
Раковины морской
Красный и золотой
Играет прилив
Линией береговой
Юго-западный ветер
Несет по теченью
Колокольный звон
Белые башни
Вейалала лейа
Валлала лейалала

«Место рожденья — Хайбери. Место растленья —
Ричмонд. Трамваи, пыльные парки.
В Ричмонде я задрала колени
В узкой байдарке».
«Ногами я в Мургейте, а под ногами
Сердце. Я не кричала.
После он плакал. Знаете сами.
Клялся начать жить сначала».
«В Маргейте возле пляжа.
Я связь ничего
С ничем.
Обломки грязных ногтей не пропажа.

Мои старики, они уж не ждут совсем
Ничего».
ла ла

Я путь направил в Карфаген

Горящий горящий горящий
О Господи Ты выхватишь меня
О Господи Ты выхватишь

горящий

IV. СМЕРТЬ ОТ ВОДЫ

Флеб, финикиец, две недели как мертвый,
Крики чаек забыл и бегущие волны
И убытки и прибыль.
Морские теченья,
Шепча, ощипали кости, когда он, безвольный,
После бури, вздымаясь и погружаясь,
Возвращался от зрелости к юности.
Ты,
Иудей или эллин под парусом у кормила,
Вспомни о Флебе: и он был исполнен силы и красоты.

V. ЧТО СКАЗАЛ ГРОМ

После факельных бликов на потных лицах
После морозных молчаний в садах
После терзаний на пустошах каменистых

Слез и криков на улицах и площадях
Тюрьмы и дворца и землетрясенья
Грома весны над горами вдали
Он что жил ныне мертв
Мы что жили теперь умираем
Набравшись терпенья
Нет здесь воды всюду камень
Камень и нет воды и в песках дорога
Дорога которая вьется все выше в горы
Горы эти из камня и нет в них воды
Была бы вода мы могли бы напиться
На камне мысль не способна остановиться
Пот пересох и ноги уходят в песок
О если бы только была вода средь камней
Горы гнилозубая пасть не умеет плевать
Здесь нельзя ни лежать ни сидеть ни стоять
И не найдешь тишины в этих горах
Но сухой бесплодный гром без дождя
И не найдешь уединенья в этих горах
Но красные мрачные лица с ухмылкой усмешкой
Из дверей глинобитных домов
О если бы тут вода
А не камни
О если бы камни
И также вода
И вода
Ручей
Колодец в горах
О если бы звон воды
А не пенье цикад
И сухой травы
Но звон капели на камне
Словно дрозд-отшельник поет на сосне
Чоч-чок дроп-дроп кап-кап-кап
Но нет здесь воды

Кто он, третий, вечно идущий рядом с тобой?
Когда я считаю, нас двое, лишь ты да я,
Но когда я гляжу вперед на белеющую дорогу,
Знаю, всегда кто-то третий рядом с тобой,
Неслышный, в плаще, и лицо закутал
И я не знаю, мужчина то или женщина,
— Но кто он, шагающий рядом с тобой?

Что за звук высоко в небе
Материнское тихое причитанье
Что за орды лица закутав роятся
По бескрайним степям спотыкаясь о трещины
почвы
В окружении разве что плоского горизонта
Что за город там над горами
Разваливается в лиловом небе
Рушатся башни
Иерусалим Афины Александрия
Вена Лондон
Призрачный

С ее волос распущенных струится
Скрипичный шорох колыбельный звук
Нетопырей младенческие лица
В лиловый час под сводом крыльев стук
Нетопыри свисают книзу головами
И с башен опрокинутых несется
Курантов бой покинутое время
И полнят голоса пустоты и иссякшие колодцы.

В этой гнилостной впадине меж горами
Трава поет при слабом свете луны
Поникшим могилам возле часовни —
Это пустая часовня жилище ветра,
Окна разбиты, качается дверь.

Сухие кости кому во вред?
Лишь петушок на флюгере
Ку-ка-реку ку-ка-реку
При блеске молний. И влажный порыв
Приносящий дождь

Ганг обмелел, и безвольные листья
Ждали дождя, а черные тучи
Над Гимавантом[89] сгущались вдали.
Замерли джунгли, сгорбись в молчанье.
И тогда сказал гром
ДА
Датта: что же мы дали?
Друг мой, кровь задрожавшего сердца,
Дикую смелость гибельного мгновенья
Чего не искупишь и веком благоразумия
Этим, лишь этим существовали
Чего не найдут в некрологах наших
В эпитафиях, затканных пауками
Под печатями, взломанными адвокатом
В опустевших комнатах наших
ДА
Даядхвам: я слыхал, как ключ
Однажды в замке повернулся однажды
Каждый в тюрьме своей думает о ключе
Каждый тюрьму себе строит думами о ключе
Лишь ночью на миг эфирное колыханье
Что-то будит в поверженном Кориолане.
ДА
Дамъята: лодка весело
Искусной руке моряка отвечала
И море спокойно и сердце весело
Могло бы ответить на зов и послушно забиться
Под властной рукой

Я сидел у канала
И удил, за спиною — безводная пустошь
Наведу ли я в землях моих порядок?
Лондонский мост рушится рушится рушится
Poi s’ascose nel foco die gli affina[90]
Quando fiam uti chelidon [91] — О ласточка ласточка
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie[92]
Обрывками этими я укрепил свои камни
Так я вам это устрою. Иеро́нимо снова безумен.
Датта. Даядхвам. Дамъята[93].
Шанти шанти шанти[94]

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС

АПОЛОГИЯ
© Перевод В. Британишский

Почему я пишу сегодня

Красота
Этих страшных лиц
людей незначительных
побуждает меня:

негритянских женщин
поденщиков —
старых и столько переживших —

возвращающихся домой вечерами
в поношенной одежде
их лица подобны
старому флорентийскому дубу

Также

застывшие маски
ваших лиц побуждают меня —
значительные люди —
но
совсем по-другому

ВЕСНА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
© Перевод В. Британишский

По дороге в инфекционную больницу
под этим океаном голубизны
пестрящим облаками гонимыми с северо-востока
холодный ветер. По сторонам дороги —
бесконечные пустые поля
коричневые от сухого бурьяна. Местами
пятна стоячей воды
отдельные высокие деревья

Вдоль всей дороги розовая, красноватая,
узловатая, вертикальная, ветвящаяся
живая плоть кустарников и деревьев
с мертвыми коричневыми листьями, а под ними
безлиственные побеги —

безжизненные на вид, бессильные,
ошеломленные приходом весны —

В этот новый мир они вступают нагие,
закоченевшие, не уверенные ни в чем,
кроме того, что вступают в него. Вокруг
все тот же привычный, пронизывающий ветер —

Сегодня трава, завтра
это окажется кудрями дикой моркови
Один за другим они обретают определенность
Это ускоряется: форма листа, рисунок
Но пока что оцепенелая торжественность
вступления — хотя глубокая перемена
произошла уже с ними: вцепившись в землю,

пробуют шевелить корнями, начинают пробуждаться

КРАСНАЯ ТАЧКА
© Перевод В. Британишский

как много
значит

красная
тачка

покрытая глазурью
дождя

среди этих белых
цыплят

МОРСКОЙ СЛОН
© Перевод В. Британишский

Отторгнутый
от необъятного моря —
будто свергнутый
с неба —

Леди и джентльмены!
крупнейшее морское чудище
когда-либо демонстрированное
живьем

гигантский
морской слон! О половодье
плоти
хватит ли рыбы

чтобы
удовлетворить аппетит
которого тупость
не может уменьшить?

Изголодался
истощал к апрелю
это еще немногое
что от него осталось —

Плоть желает тебя
огромное море —
Говори!
Блоуоф! (Накормите

меня) моя

плоть распахнута
рыба за рыбой в эту пучину
проваливается

проскальзывает
извергается обратно
вместе с соленой водой
и слюной

глаза
глядят тревожно — оторван
от моря.
(Самый
разумный совет) Они
должны бы
пустить его обратно
откуда он взялся

Глазеют.
Диковинная морда —
из рассказов старых моряков —
подымается

бородатая
на поверхность —
и единственное
разумное

мнение этой женщины
Конечно
он необыкновенный но
его должны бы

выпустить
обратно в море откуда
он взялся.

Блоуоф!

Ползайте по земле
пляшите
на проволоке играйте в мяч
унижайтесь

и калечьте себя —
Но я
сама любовь. Моя родина —
море —

Блоуоф!
никакого преступления кроме
слишком тяжелой
туши

которую море
носило играючи — подымается
на поверхность
воды

пенящейся бурлящей
вокруг
самки распугивают
рыбу мокрые от

избытка желания
и весна
красуется оживляющи
естество

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ АМЕРИКИ
© Перевод П. Вегин

Чистый продукт Америки
сходит с ума —
горный народ Кентукки

или ребристых северных окраин
Джерси
с ее затерянными озерами и

долинами, с ее бирюками, ворами,
древними родáми
и всевозможной смесью

мужчин, что пристрастились по
стране колесить в поездах
из жажды приключений —

и молодых нерях в разврате
купающихся
с понедельника до субботы,

чтобы в субботний вечер нарядиться
в мишуру
воображения которое не знает

корней крестьянских, сообщающих
характер,
они возбуждены и щеголяют

в лохмотьях — отдаваясь без
эмоций
кроме леденящего ужаса

под живой изгородью черемухи
или калины —
которого они не в силах выразить —

Покуда это будет длиться, брак
возможно
с примесью индейской крови,

погонит девушку, предельно одинокую,
в объятия
болезней иль убийства,

ее спасет какой-нибудь
агент —
воспитанная государством и

в пятнадцать присланная на работу в
какой-нибудь со всех сторон зажатый
дом в пригороде —

семья врача, какая-нибудь Элси —
сладкоголосая вода,
выражающая хилым

умишком истину о нас —
ее необъемные
бедра и колеблющиеся груди

адресованы дешевым
драгоценностям
и состоятельным молодцам с ясным взором

словно земля под нашими ногами
была
экскрементом некоего неба

а мы деградирующие узники
обречены
на голод, пока не станем есть отбросы

в то время как воображенье догоняет
оленя
на душных лугах сентября

заросших золотыми розгами
Так ли иначе
это видимо нас разрушает

Лишь отдельные блики от
чего-то
исходят

Никого
способного свидетельствовать
и всё уладить, никого способного вести машину

НЕГРИТЯНКА
© Перевод В. Британишский

с букетиком огненно-ярких
ноготков
завернутых в
старую газету:
гордо несущая их
простоволосая
с тяжелыми
бедрами
заставляющими ее
покачиваться при
ходьбе
разглядывает витрины
мимо которых

проходит.
Кто она
если не посол
из другого мира
мира прелестных ноготков
оранжевых и желтых
который
она представляет
не сознавая этого
думая
что просто проходит
по улицам
ранним утром
подняв цветы
как пылающий
факел.

ЯХТЫ
© Перевод В. Минушин

соперничают в море, защищенные выгибом береговым
от слишком тяжелых ударов неукротимого океана,
излюбленной пытки, всегда избираемой им

для наикрепчайших бортов, людьми упрямо
выставляемых против него, и превращающей их в щепы.
Мотыльками в тумане, искрящиеся в ясном

блеске безоблачных дней, они летят под высокими
кособрюхими парусами, рассекая зеленую воду
острыми носами, а матросы, как муравьи,

мечутся, убирая, и ставя, и крепя паруса
на повороте, когда мачты едва не ложатся на воду,
и, поймав ветер, бок о бок правят к финишным буям.

На ровной арене открытой воды, с подобострастным эскортом
рыскающих новичков и умелых яхтсменов,
они кажутся юными, редкостными, как свет

счастливого взора, скользя с прирожденным
изяществом, свойственным совершенству, свободе,
вызывая зависть. Вот море, несущее их,

мрачнеет,

шлепает по их лоснящимся бокам, пытаясь найти
хоть малейший изъян, и, посрамленное, отступает.
Гонок больше не будет. Но ветер опять поднимается.

Яхты,

гарцуя, равняются на старте, выстрел и —
понеслись. Теперь волны обрушиваются на них, но они,
крепкие, рвутся вперед на зарифленных парусах.

Руки, судорожно тянущие канаты, деревенеют.
Тела, бесстрашно откинувшиеся к воде, срывает волной.
Они отчаянно, теряя надежду, сражаются с морем,

пока в смертельность гонок не поверит потрясенный мозг;
море — хаос тел, предметов, захваченных стихией
у людей, не сумевших их удержать. Сломленные,

брошенные, взывающие о помощи из пенистой смерти,
они кричат, слабея, слабея! и вопли их носятся
среди волн, когда искусные яхты летят мимо.

МОЛОДАЯ ХОЗЯЙКА
© Перевод П. Вегин

В десять утра молодая хозяйка
ходит в халатике за
стенами деревянного дома.
Я мимо одинокий мчу в машине.

Потом она к обочине подходит,
зовет торговцев льдом и рыбою, стоит,
робея, без корсета, поправляя
соломенные волосы, в моем сравненье
она опавший лист.

Моей машины мягкие колеса
несутся с хрустом по
сухой листве, когда я кланяюсь и проезжаю, улыбаясь

ПРЕДЕЛ
© Перевод В. Британишский

Свернувшийся в трубку лист
оберточной бумаги
по своим размерам

и даже по форме чуть-чуть
напоминающий человека
катился по ветру

постепенно все дальше
и дальше
по мостовой покуда

машина
переехала его
и прижала

к земле. В отличие
от человека он распрямился
и снова

покатился по ветру
все дальше и дальше
как ни в чем не бывало

ОБРАЗЫ БРЕЙГЕЛЯ
© Перевод В. Британишский

АВТОПОРТРЕТ

Красная зимняя шапка синие
глаза улыбаются
голова и плечи заполнили плоскость

холста скрещенные на груди
руки крупное ухо
правое высокий ворот

застегнутой доверху
тяжелой куртки
оставляет отчасти открытым

лицо похожий на луковицу
обыкновенный нос
но эти глаза окаймленные красным

переутомленные он должно быть
жестоко их мучил
но тонкие запястья художника

показывают что эти
мужские руки не знали
мужицкой работы разросшаяся

русая борода всклокочена
не было времени ни на что
кроме живописи

ПЕЙЗАЖ С ПАДЕНИЕМ ИКАРА

По Брейгелю
когда Икар упал
была весна

крестьянин
пахал свою пашню
все великолепие

года пробудившись
пело и звенело
вблизи

морского побережья
природа
была занята собой

потея под солнцем
растопившим своими лучами
воск

слабый всплеск
в стороне от берега
остался

никем не замечен
это была
гибель Икара

КРЕСТЬЯНСКАЯ СВАДЬБА

Наливай жених вино
видишь будто королева
сидит невеста распустила

волосы по вискам
голова что копна
спелой пшеницы видишь

гости вдоль столов расселись
волынщики уже готовы
псы шныряют появился

бородатый бургомистр
женщины в своих крахмальных
белых головных уборах

без умолку болтают кроме
невесты она сложила ручки
и восседает чинно молча

простые блюда подаются
простокваша на тарелках
их к столу подносят на

двери снятой ими с петель
парни первый в ярко-красной
куртке с ложкою на шляпе

СЕНОКОС

Живость
человеческого ума
чувствуешь здесь

и скрытый призыв
к искусству искусству искусству!
живопись

которую Ренессанс
пытался поглотить
а все-таки

она осталась июль
над лугом
ветер гуляет

скошенное сухое сено
лежит
рядами

женщины с граблями
это было его собственное —
сороки

терпеливые лошади этого
никто у него не мог
отнять

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

По воле художника
кружатся кружатся
кружатся

во власти праздничного
безудержного
разгула

толпа крестьян
с подружками их толстозадыми
ярмарку захлестнула

мелькают женщины
в белых крахмальных
головных уборах

пляшут парочки
и тут же прячутся
под кустами

кружатся кружатся
стучат крестьянскими
грубыми башмаками

кричащие рты разинуты
Ойя!
пляшут машут ногами

ДЖО ХИЛЛ
© Перевод М. Зенкевич

БРОДЯГА

Коль себе заткнете рот,
Я спою вам в свой черед,
Как один молодчик мучился в беде.
Вовсе не был он лентяй,
Ему работу подавай,
Но один ответ он получал везде:

«Прочь, прочь, прочь иди, бродяга,
Нет работы никакой;
Если ж будешь здесь торчать,
То в тюрьму пойдешь опять.
Лучше уходи, бродяга, с глаз долой!»

Он по улицам бродил,
Пока не выбился из сил.
Видит — в доме леди варит свой обед.
Тут он к ней: «Привет, мадам,
Дров не наколоть ли вам?»
А она ему отрезала в ответ:

«Прочь, прочь, прочь иди, бродяга,
Нет работы никакой;
Если ж будешь здесь торчать,
То в тюрьму пойдешь опять.
Лучше уходи, бродяга, с глаз долой!»

Видно, надпись неспроста:
«Потрудитесь для Христа»,
Он подумал: «Здесь работу я найду».
Кланялся он до земли,
Так, что ноги затекли,
Получил же отповедь, а не еду:

«Прочь, прочь, прочь иди, бродяга,
Нет работы никакой;
Если ж будешь здесь торчать,
То в тюрьму пойдешь опять.
Лучше уходи, бродяга, с глаз долой!»

Вдруг, как будто бы из стен,
Появился полисмен,
Спрашивает: «В город к нам попал ты как?
Тебя к судье отправлю я».
Сказал судья: «Здесь власть моя.
С нас и так довольно нищих и бродяг.

«Прочь, прочь, прочь иди, бродяга,
Нет работы никакой;
Если ж будешь здесь торчать,
То в тюрьму пойдешь опять.
Лучше уходи, бродяга, с глаз долой!»

Вот настал счастливый час —
Он, отмаявшись, угас
И уверен, что пойдет на небо в рай.
Но у золотых ворот
Петр-апостол, старый крот,
Дал ему такой хороший нагоняй:

«Прочь, прочь, прочь иди, бродяга,
Нет работы никакой;
Если ж будешь здесь торчать,
То в тюрьму пойдешь опять.
Лучше уходи, бродяга, с глаз долой!»

КЭЙСИ ДЖОНС — СКЭБ[95]

Рабочие на Эс-Пи лайн[96] волнуются опять,
Но Кэйси Джонс, наш машинист, не хочет бастовать.
Его котел давно течет, и не в порядке ось,
Подшипники колес скрипят, весь паровоз хоть брось...

Кэйси Джонс, трудись как окаянный,
Кэйси Джонс, награду получай.
Кэйси Джонс медалью деревянной
Награждается за службу Эс-Пи лайн.

Рабочие к нему: «Бастуй! Участие прими».
А Кэйси им: «Я не вожусь с подобными людьми».
Но с рельс расхлябанных сошел негодный паровоз,
И Кэйси в реку вместе с ним свалился под откос.

Кэйси Джонс, катись на дно по кочкам,
Кэйси Джонс, хребет себе ломай.
Кэйси Джонс, ты станешь ангелочком,
Прямо в небо поезжай по Эс-Пи лайн.

У райских золотых ворот, торжественно представ,
Сказал он так: «Я, Кэйси Джонс, товарный вел состав».
«Ну что ж, — ответил Петр ему, — бастует хор как раз.
Работу можешь ты найти штрейкбрехером у нас».

Кэйси Джонс нашел работу в небе,
Кэйси Джонс нашел себе там рай.
Кэйси Джонс у ангелов за скэба,

Так же как среди рабочих Эс-Пи лайн.

Собранье ангелы тогда устроили — и вот
Сошлись на том, что Кэйси Джонс и к ним не подойдет.
Союз их номер двадцать три, — он есть там, говорят, —
По лестнице его спустил, пинком поддавши в зад.
Кэйси Джонс летел с небес до ада.
«Кэйси Джонс, — сказал тут дьявол, — знай:
Выгребать тебе здесь серу надо
За штрейкбрехерство твое на Эс-Пи лайн!»

ЗАВЕЩАНИЕ ДЖО ХИЛЛА (Написано в тюрьме 18 ноября 1915 года, накануне казни)

О завещанье ль думать мне?
Ведь нечего делить родне.
К чему ее притворный вздох:
«К камням лавин не липнет мох».
А тело? Был бы выбор мой,
Я сжег бы в пепел огневой,
Чтоб ветры весело в полях
Развеяли цветам мой прах,
Чтоб увядающий цветок
Опять воскреснуть к жизни мог.
Вот все, о чем бы я просил.
Желаю счастья вам.

Джо Хилл

ДЖОН РИД

ИЗ ПОЭМЫ «АМЕРИКА, 1918»
© Перевод И. Кашкин

За океаном моя страна, моя Америка,
Опоясанная сталью, бряцающая оружием,
Выкликающая громким голосом
Высокие слова: «За Свободу… За Демократию…»

Глубоко во мне что-то дрогнуло, откликается
(Моя страна, моя Америка!) —
Как будто высокой и пустой ночью
Она зовет меня — моя потерянная, моя первая,
Моя разлюбленная, разлюбленная, разлюбленная…
Облачная тень былой нежности,
Призрак прекрасного безумия — много смертей
И доступное бессмертие…

1

По своему привольному детству на просторном
Западе,
Мощной милой реке, шлепанью пароходных колес,
запаням и плотам,
Кораблям, приплывавшим с Заката с цветною
командой,
И китайским кварталам, гудящим таинственным
гонгом,
Глубокому грохочущему океану, победоносным
закатам,
Черным обугленным лесам на омытых прибоем

утесах,
Затерянным бухтам, ночевкам в глуши,
мяуканью кугуаров…

По волнистым хребтам и плоской выжженной степи,
По ночному плачу койотов под звездами
осыпанным сводом,
По серым стадам, движущимся на восток,
вздымая столб пыли,
По свисту и щелканью бича, шлепанью шляп,
визгу и крику,
По милям желтых пшеничных полей на склонах
Чинука,
По бесконечным, вечно цветущим садам,
Зелено-золотым апельсиновым рощам, снеговым
вершинам на горизонте…
По хвастливым, задиристым городам, возникшим
из ничего,
Бранчливым и буйным в своей беспечной юности…
Я знаю тебя, Америка.

Рыбаки, выходящие в море из Астории туманным
рассветом в остроносых двойных челнах,
Поджарые пастухи, трусящие на юге к Бэрнсу,
их молчаливые лица, выдубленные солнцем,
Жилистые пожилые старатели, плетущиеся
за упрямыми мулами по солончакам Невады,
Охотники, продирающиеся в сумерках сквозь
заросли к обрыву каньона,
Ворча скидывающие свой пятидесятифунтовый

вьюк на месте ночевки, —
Лесные объездчики на голой вершине,
высматривающие дымок лесного пожара,
Тормозные в больших рукавицах, шагающие
на ходу поезда по крышам товарных составов,
зажав в руке гаечный ключ, а другой запихивая
в рот порцию жвачки,
Сплавщики леса, в подкованных сапогах,
с баграми в руках, проталкивающие затор
на порогах,
Индейцы на перекрестке в Покателло,
выщипывающие, глядя в карманное зеркальце,
бородку щипцами,
Или в поселках сиу, сидящие на корточках
перед фонографом, слушая пенье Карузо,
Горластые горняки из Аляски, вдребезги
разносящие зеркала, швыряющие лакеям за
порцию виски золотой — и без сдачи,
Содержатели дансингов в поселках новых
строительств, содержатели баров, проститутки,
Бродяги, разъезжающие на буферах, уоббли,
распевающие свои задорные песни, не страшась
самой смерти,
Шулеры и коммивояжеры, дровяные, хлебные,
мясные короли...
Я знаю вас, американцы.

2

По своей дерзкой юности в золотых городах
Восточного побережья:
Гарвард… муки роста, упоенье расцвета,
Чары книг, чары дружбы, культ героев,
Угар танцев, бури большой музыки,
Радость расточения и впервые осознанных сил…
Буйные ночи в Бостоне, стычки с полисменами,
Уличные знакомства, увлекательные похождения…
Зимние купанья со льда набережной Эл-Стрит
Просто как встряска для крепкого тела…
И огромный стадион, вздымающий сердца тысячи
зрителей
Оглушительным ревом ритмических песен
и выкликов,
Когда Гарвард забивает гол Йелю… По этому,
по этому
Знаю тебя, Америка.

По гордому Нью-Йорку, по нагроможденным
людьми Маттергорнам,
По четкому синему небу и резкому западному ветру.
И клубам дыма над позолоченными шпилями,
И глубоким улицам, сливающимся в мощную реку…
……
…Величаво Пятое авеню, Фазанья улица,
улица Флагов.
Нескончаемое шествие пышных куртизанок,
Фантастические краски, блеск шелка и серебра,
изнеженные собачонки,

Процессии автомобилей, похожих на футляры
для драгоценностей,
Торжественный полисмен на перекрестке, рука его
в желтой перчатке,
Особняки, гигантские отели, старики в окнах
клубов, —
Потогонные мастерские отрыгивают свои бурые
полчища в полдень…
Парады, волны мундиров на целые мили,
Оркестры грохочут посреди черных замерзших толп.
Бродвей, словно потоком лавы, прорезавший город,
Как увенчанный снопом искр, раскидываемый
костер.
Сияющие театры, наглые рестораны, запах пудры,
Кинодворцы, комиссионные магазины,
поддельные бриллианты,
Хористки, обивающие пороги театральных бюро
по найму,
Музыкальные аттракционы выколачивают фокстрот
разом на тридцати пианолах,
И весь лихорадочный мир румян и фрачных
пластронов…
Старый Гринич-Вилледж, цитадель дилетантов,
Арена всех несовершеннолетних Утопий,
То ли доморощенный Монпарнас, милый сердцу
любителей трущоб и притопов,
То ли святилище отверженных и недовольных,
Свободное содружество художников, моряков
и поэтов,
Женщин легкого поведения, звездочетов, бродяг

и лидеров стачек,
Актрис, натурщиц, людей без имени или
скрывающих имя,
Скульпторов, которые служат лифтерами
за кусок хлеба,
Музыкантов, которые служат таперами в кино…
Тяжко работая, с шиком кутя, чаще всего молодые,
чаще всего неимущие,
Играющие в искусство, играющие в любовь,
играющие в мятеж
В зачарованных пределах этой фантастической
республики…
……
Ист Сайд: миры в этом мирке, хаос народов,
Прибежище неприкаянных племен, последний
и наихудший
Из портов Западной Одиссеи человечества…
На рассвете изрыгающий поток машинного мяса,
На закате всасывающий его с ужасным
скрежещущим звуком
В звериные логова дешевых квартир, в мишурную
роскошь злачных мест…
Подростки торчат у входа в салун, затягиваясь
дешевой папироской,
Заигрывая с девицами в коротких брючках, которые
гуляют парами, визгливо хихикая,
Пробираясь сквозь орду ребятишек, копошащихся
на заплеванной мостовой,
Играющих со смертью под копытами ломовых
лошадей.
Высохшие женщины, которые орут и на них и

друг
на друга на гортанных наречьях,
Старики, тесно усевшиеся в ряд на ступеньках,
без пиджаков, с вечерней трубкой в зубах,
Факелы лоточников, которые своим заревом
освещают кольцо чужеземных лиц…

Я свой в полумгле румынских кабачков,
Пульсирующей страстными ритмами желчных
цыган-скрипачей…
В кафе на Грэнд-стрит — пристанище еврейских
философов,
Романистов, читающих новые главы романа,
собирая по медяку с каждого слушателя,
Драматургов, инсценирующих газетные заголовки,
поэтов, немых для глухой Америки…
Фенианские салуны, зеленый флаг и облигация
Займа Ирландской Республики в рамке над
стойкой,
Итальянские ресторанчики, кьянти и нежданные
тенора,
Армянские шашлычные, увешанные восточными
коврами родом из Нью-Джерси,
Горбоносые усачи шепчутся над чашкой густого
кофе, перебирая черные четки…
Немецкие Bier Stuben[97], размалеванные жирными
буквами изречений.
Французские кафе с щеголеватой кассиршей,
Греческие кофейные, китайские закусочные,

их презрительные косоглазые прислужники…
……
Бауэри, лотки старьевщиков, заплеванный пол
промозглых пивнушек,
Купер-сквер: в белесом предрассветном мареве
сотни тел
Уснувших бездомных… десятицентовые углы
по трущобам,
Где опустившиеся бродяги тупо обирают вшей,
сидя вокруг докрасна раскаленной печурки…
Вспугнутые рассветы под истерическим грохотом
мостов на Ист-Ривер,
И Саут-стрит, еще хранящая пряный запах давно
отчаливших парусников с востока…

Дорог и близок и незабываем этот город,
Как лицо матери…
Сити-Холл: никогда не утихающий водоворот
семи миллионов,
Заглушенный грохочущим приливом и отливом
Бруклинского моста,
Человеческий водопад с надземки и гейзеры
из старой подземки…
Высокие жужжащие здания редакций, освещенные
до самой зари,
Полчища мальчишек-газетчиков, как пыльные
воробьи,
Плещутся, несмотря на запрет, в бассейнах
фонтанов… бродяги спят в далеко отброшенной
тени легендарных небоскребов…

Бэттери: прохлада с моря, у подножья раскаленных
каменных глыб,
И гулкие большие суда, уходящие далеко в море,
Приземистые завывающие паромы, баржи, набитые
вагонами, орлиногрудые буксиры,
Желтая пена над гребнем волны, крикливые чайки,
кружащие над водой,
И Статуя Свободы — гигантская, угрожающая,
над месивом пароходов,
И прижавшийся к ней Эллис-Айленд, чистилище
«Страны Свободных»…
Экзотический Черный город, верхнее Амстердам-
авеню,
Черный, чувственный беспечный народ, которого
сторонятся белые,
Кабачки Черного города, его всемирно известные
джаз-оркестры…
Сентрал-парк: элегантные авто, мурлыкающие
вдоль аллей,
Лощеные всадники, колясочки наследников
денежной знати,
На скамейках влюбленные пары беспокойно
целуются, поглядывая, нет ли вблизи
полисмена,
И задыхающиеся трущобы выплескиваются сюда
в летние знойные ночи, чтобы уснуть на лужайках;
Гарлем — второсортный Нью-Йорк, чуть-чуть

подешевле,
Бронкс — гетто вторых поколений, шелудивая
поросль новых трущоб,
Большие зеленые парки и зубчатая кромка окраин…

Дорог и близок и всегда нов для меня этот город,
Словно тело любимой…

Все звуки — жесткий лязг надземки, грохотанье
подземной,
Постукиванье дубинки ночного полисмена,
Жалобный монотонный звук шарманки, кваканье
автомобильных гудков,
Пулеметная дробь клепальщиков небоскребов,
Приглушенные взрывы глубоко под землею,
Однотонные выкрики газетчиков, пронзительно-
быстрый звон карет «скорой помощи»,
Низкие, нервные гудки гавани
И густое шарканье миллиононогой толпы…

Все запахи — запах дешевой обуви, подержанного
платья,
Голландских булочных, воскресных закусочных,
кошерной стряпни,
Кислый запах влажной газетной бумаги вдоль
по Парк-Роу,
Подземка, пахнущая гробницей Рамзеса Великого,
Усталый спально-аптечный запах толпы
И промозглая вонь из трущобных лачуг…
Люди — жестокоглазые менялы, играющие
империями,

Смуглые, дерзкие чистильщики сапог, озирающиеся
продавцы,
Темнолицые пекари в белых колпаках, пекущие
оладьи, видны в окна закусочной Чайлдса,
Изможденные швейники, перхающие на скамейках
парка под скупым мартовским солнцем,
Вяло следя за струей фонтана, глотая горсть
земляных орехов на завтрак,
Кровельщик, едва различимый на шпиле башни
Вулворта,
Страховая сестра, торгующаяся за каждый цент
с безработным,
Измученные ворчливые кондукторы,
сентиментальные футболисты,
Подметальщики на грохочущих магистралях,
изрыгающие божбу ломовые,
Испанцы-грузчики, нагромождающие горы товаров,
впалоглазые ткачихи,
Клепальщики, подхватывающие раскаленные
заклепки высоко в сквозной паутине балок,
Проходчики плывунов в шипящих кессонах под
Норс-Ривер, потные землекопы в траншеях,
бурильщики, рвущие динамитом гранит
глубоко под Бродвеем,
Боссы за кружкой пива, обсуждающие планы
своих тайных махинаций,
Охрипшие пропагандисты на Юнион-сквер,
призывающие к упорной борьбе,
Бледные, изнуренные кассирши универмагов,
дети из мастерских бумажных цветов,

заморенные работой в душных мансардах,
Принцессы — стенографистки и маникюрши,
жующие смолку с величием королев,
Сутенеры, сводни, уличные девки, спекулянты,
провокаторы, вышибалы…

Все занятия, племена, темпераменты, мировоззренья,
История, перспективы, романтика,
Америка… и весь мир…

РАЛЬФ ЧАПЛИН
© Перевод Н. Голь

ДЖО ХИЛЛ
(Убит властями штата Юта 19 ноября 1915 г.)

Гордым и твердым шагом, исполненный прямоты,
Ушел и проглочен мраком; зачем это был — ты?
Сердце, готовое к песне, остановил свинец.
Песня… Ты шел везде с ней. Кончено. Смерть. Конец.
Все в твоих песнях было, что было в жизни у нас.
Огонь, набиравший силу, затоптан, убит, угас.
Ты был лучшим из наших и все-таки — не спасен.
Боже, когда создашь их, создашь ли таких, как он?
Пой, Джо Хилл! Не затем ли мы отдали, что могли?
Хотели отдать всю землю, чтоб ты не ушел с земли.
Ты принял как должное злобу, позор, клевету суда —
И предан. Теперь до гроба нам корчиться от стыда.
Никто был помочь невластен. Бессилье, как крест, несем.
А ты остался бесстрастен — один — со смертью вдвоем.
Будь проклята, власть имущих, идущая по костям,
Сталью лап загребущих когтящая души нам.
В хвастливых ее призывах — кровавых

кинжалов звон.
Будь проклята, ложь трусливых, зовущаяся Закон!
Джо! Юта тебя распяла, чтоб крови твоей испить.
Мы помним все от начала и не хотим забыть.
Они довольны поживой, но живы твои друзья,
И прежние песни живы, и дело убить нельзя.
Гордым и твердым шагом, исполненный правоты,
Ушел и проглочен мраком. Зачем это был — ты?

МОЕМУ МАЛЕНЬКОМУ СЫНУ

Ты, словно песенка, со мной.
Разлуки между нами нет.
Мой каждый шаг, мой жест любой,
мой всякий час тобой согрет.
Перрон, гудки, ночная даль…
Я вспоминаю вдалеке
улыбки сломанной печаль
и слезы на твоей щеке,
немой вопрос дрожащих губ,
лицо, прижатое ко мне,
и — дым из паровозных труб,
и — после — бег огней в окне.
Меж нами связь не порвалась,
но и представить я не мог,
как тяжек будет каждый час
вдали от глаз твоих, сынок.

НЕ ПЛАЧЬТЕ О МЕРТВЫХ

Не плачьте о мертвых, да будет им пухом земля —
пухом для праха.
Час свой последний, который отсрочить нельзя,
встретьте без страха.

Не плачьте о братьях, захваченных в плен.
Мы не забыли
их, погребенных меж каменных стен,
словно в могиле.

Плачьте о жалкой толпе, что бредет по земле,
как на закланье,
смирно влачащейся в прахе, страданье и зле —
в вечном молчанье.

ТЮРЕМНЫЙ НОКТЮРН

Снаружи буря свой напев ведет,
и вторит ветер горькому мотиву,
дождь по решеткам бьет без перерыва,
роняя капли безнадежных нот.

Свет ламп, горящих ночи напролет,
слился со светом молний в переливы
огней на мокрых стеклах. Гром ревет,
а камеры мрачны и молчаливы,

Так лейся, дождь, над высохшей землей!
Так влейся в землю, дождь плодотворящий!
Пора расцвесть цветущему всему.

Есть для сердец, разбуженных тобой,
один лишь свет в ночи непреходящей:
свет утра, изгоняющего тьму!

ВЕСЛИ ЭВЕРЕСТ

Мука и вызов. Изломанный бурей тростник.
В угол загнали его, обступили кругом,
но побоялись прикончить при свете дневном
жертву свою, устрашились идти напрямик:

в черном узилище, чтобы ни луч не проник,
тайно замучили и удалились потом,
алчные стражники, не размышляя о том,
что вы содеяли, кто перед вами поник.

Помните… раньше… немало воды утекло, —
вы его новым царем на потеху солдат
провозгласили, и терном язвили чело,

и поносили, и, словно столетья назад,
вечный мятежник, бичующий вечное зло, —
снова он предан, и предан бичу, и распят.

АРТУРО ДЖОВАННИТИ
© Перевод Н. Голь

ШАГИ

Слышу шаги над моей головою всю ночь.

Вперед и назад, вперед и назад — всю ночь.

Целая вечность в четыре шага вперед и делая вечность в четыре шага назад, и между шагами вперед и шагами назад — бесконечность, молчанье, ночь.

Ибо от красной двери до желтой стены раскинулась бесконечность, и безгранично движенье в девятифутовом этом пространстве; мысли, пришедшие к нам в тюрьме и уходящие из тюрьмы в солнечный мир за немыслимым светом свободы, — бескрайни.

Всю бесконечную ночь — шаги над моей головой.

Кто это ходит? Не знаю. Призрак, фантом, беспокойные думы тюрьмы, кто-нибудь, кто-то, Некто, Кто Ходит.

Шаг, два шага, три шага, четыре: шаги и стена.

Шаг, два шага, три шага, четыре: шаги и железная дверь.

Он вымеряет свою бесконечность от края до края, он вычисляет бескрайность дотошно и точно, — точно палач подбирает удавку, точно могильщик снимает последнюю мерку: столько-то футов и столько-то дюймов в каждом из четырех.

Шаг, два шага, три шага, четыре. И каждый из них отдается, как эхо, в мозгу, и каждый из них остается, как эхо, в мозгу, пока я считаю их в страхе: вдруг их окажется пять — не четыре — от двери и до стены?

Но он промерил пространство настолько дотошно и точно, что неизменна тяжелая мрачная поступь, и ничто не изменит обычного ритма.

Когда все уснет (я-то знаю когда!), мы не уснем: Некто, Кто Ходит, и сердце, и маятник старых часов, сатанинских часов, — ибо с тех пор, как рыжепалая

пятерня впервые их завела, ни часа счастья не отсчитал маятник этих часов.

Но даже старые часы, которым ведомо все, которые отсчитали жизнь и подсчитали дни, не знают, сколько ударов в миг делает мое сердце, не знают, сколько он ходит в ночи — Тот, Кто Ходит в ночи.

Ведь для Того, Кто Ходит в ночи, и Того, Что Бьется в груди, нет ни секунд, ни минут, ни часов, нет ничего, что прячут в пружинах и шестернях сатанинские эти часы, а есть только ночь, дремотная ночь, тоскливая ночь, бесплотная ночь, и только шаги — вперед и назад, и только шаги — назад и вперед, и только безумный шумный стук Того, Что Бьется в груди.

И каждый шорох, и каждый звук, любые вещи вокруг, и все существа, и листва, и дождь со мной говорили в ночи.

И я слышал горестный плач того, кто оплакивал то, что мертво; и я слышал шумные вздохи того, кто душил живое в ночи.

И я слышал жалкие стоны того, кто, уткнувшись в подушку, стонал; и молитвы того, кто молился в ночи, распластавшись на мертвых камнях.

И я слышал безумный хохот того, кто безумно смеялся в ночи над страданьем, распятым на желтой стене, и кровавым кошмаром, глядящим в окно сквозь железные прутья в ночи.

И я слышал хриплый кашель того, кто хрипло кашлял в ночи, и мечтал, чтобы приступ его прошел, чтобы он не харкал на мокрый пол, ибо нету звука гаже шлепка мокроты о мокрый пол.

И я слышал того, кто клялся в ночи, с грубой бранью мешая божбу, и с почтеньем и страхом ему внимал, ибо искренни были его слова и молитва дойдет до небес.

Но самое страшное из всего, что слышать пришлось в ночи, — глухое молчание сотен людей, запертых под

замок, которые думают об одном, и ни о чем другом.

И это все я слышал в ночи, и вот что я слышал еще:

и стон ветра — там, за стеной,
и ночной похоронный звон,
и панихидный голос дождя,
и приглушенный отголосок города,
и удары, удары, удары Сердца — в такт моему.

Но ничего, что было б страшней, мрачней, тяжелей, вечней, чем эти шаги над моей головой, я не слыхал в ночи.

Но ведь тяжелы, и мрачны, и страшны все шаги на земле, потому что все на земле шаги ведут или вверх или вниз.

Вниз: с пригородных холмов и холмиков свежих могил, вниз с надменных горных вершин и заледенелых пиков, вниз по широким дорогам и тропкам заброшенным — вниз, вниз по мраморным маршам и ветхим скрипучим ступеням, вниз — в преисподнюю, в погреб, в могилу, в зловонную бездну, в позорную яму, вниз, где встречают входящих пустые глазницы Судьбы.

Вверх: к радости и гордости, к власти и чести, к благу и блажи, к небу и дыбе, но никогда — к Свободе, но никогда — к Идеалу.

Вверх — по тем же ступеням, по той же дороге, что вниз, ибо нету другой: человек в непрестанном движенье (вверх и вниз, вниз и вверх, вверх и вниз) не обрящет иного пути и ступеней других не отыщет.

Вверх и вниз все шаги на земле, вверх и вниз; догоняй, и хромай, и тащись, и беги — вверх и вниз; торопливы шаги, суетливы шаги, осторожны, тревожны, проворны, притворны, безумны, тихи и шумны; догоняй,

торопись, топочи, ибо грохот шагов убивает того, кто стоит неподвижно.

Вверх иль вниз — все равно, но средь тысяч и тысяч шагов нет страшней и жесточе тех шагов, что звучат над тобой, не ведя ни вверх и ни вниз, припечатанных ужасом к мертвым камням — от стены и до двери, от двери — обратно к стене.

Он ходит, и ходит, и думает ночь напролет.

Что меня больше пугает: шум шагов над моей головой или молчанье мучительной мысли?

Что мне до всех его дум? Да и вправду ли думает он? Я вот не думаю: слышу шаги и считаю. Четыре шага — стена. Четыре — железная дверь. Что же там дальше? За этой стеной и за дверью?

Дальше ему не уйти. Мысли разбились о дверь. Мысли разбились о дверь, словно волны безумья, мысли разбились о дверь, словно брызги надежды, мысли разбились о дверь и отхлынули вспять, чтобы разбиться о стену бессмысленным всплеском бессилья.

Водоворот беспокойной отчаянной мысли кружит его в ненасытной своей горловине. Водоворот неотвязной единственной мысли — яростной, вещей, зловещей, немой, непокорной.

Судорога сознанья, адские муки мышления, ибо бессмысленны мысли, которым не сбыться, ибо немыслимо все, что естественно людям, — счастье, надежда, работа, любовь — пока существует тюрьма.

Но не об этом он думает — ходит, и ходит, и ходит, думая о небывалой, о сверхчеловеческой вещи.

О маленьком медном ключе. Дверь открывают ключом. Достаточно полоборота. Он думает о ключе.

Вот о чем думает Некто, Кто Ходит, когда он ходит в ночи.

И вот о чем думают сотни людей, запертых в этой ночи, и вот о чем думаю я.

Вот она, высшая мудрость тюрьмы — все думают об одном. Равенство дум и равенство чувств — вот что нам дал закон. Иерархия мыслей отныне — чушь (все мысли — одна мысль); сознание ныне низведено до уровня здравого смысла.

Я, который не убивал, думаю думу убийцы.

Я, который не воровал, мыслю так же, как вор.

Думы, надежды и страсти мои, мои ожиданья, мои сновиденья — думы убийцы, надежды растлителя, страсти мошенника, мысли бродяги; вот что стало с моею душою, где жили когда-то жизнь и любовь, красота, идеал.

Ключ, ключ, ключ, маленький ключик из меди, маленький ключик, ничуть не больше мизинца.

Все мои мысли, все мои думы, все мои страсти — ключик из меди, размером не больше мизинца, — не больше того.

Сердце мое, и душа, и глубинные силы сознанья — маленький ключ, что хранится в форменной куртке у белобрысого стража.

Он, белобрысый, могуч, всевластен, велик, ибо владеет ключами нашей надежды — надежды того, кто смеется в ночи, и того, кто плачет в ночи, и того, кто стонет в ночи, и того, кто шепчет в ночи, и того, кто закашлял в ночи, и того, кто ходит в ночи, — все тех, кто не спит всю ночь, думая всю ночь об одном, никогда — о другом.

Он властелин наших дум, белобрысый в синей одежде, изо дня в день заставляющий думать, думать и думать всегда об одном, никогда — о другом.

Я пропою ему гимн, белобрысому в форменной куртке, превознеся его выше Пророка, и Заратустры, и Торквемады, превыше всех прочих властителей судеб, ибо так мне велит справедливость.

Он всемогущ (и его нареку Всемогущим), ибо владеет ключами нашей надежды, нашей свободы, нашей души, нашей жизни, ибо он носит в кармане маленький ключ.

Всем завладел белобрысый — кроме презренья, кроме презренья к тому, что заставило нас (святого и вора, певца и убийцу) думать весь день об одном и всю ночь об одном — думать об этой стене и об этом ключе, думать о двери, ведущей на залитый солнцем простор.

Брат мой, остановись.

Это скверно — ходить по могиле. Святотатство — шагать по надгробью: от изголовья к изножью четыре шага и от изножья четыре шага к изголовью.

Брат мой, остановись, и могила не будет могилой, ибо разум, который ты топчешь своими шагами, возвратится ко мне и придут ко мне новые мысли.

Брат мой, остановись, ибо я обессилел, считая шаги, ибо я обессилел без сна, ибо я обессилел, желая уснуть, ибо я обессилел.

Брат мой, не надо ходить, брат мой, не думай. Ночь уже пробуждает зарю, и не только ключом отпирается дверь.

ЭДВАРД ЭСТЛИН КАММИНГС

«в Разгаре…»
© Перевод В. Британишский

в Разгаре
Весны весь мир веселый и грязный
а этот маленький
хромой человек с воздушными шарами
насвистывает далекий и крошечный

а эддиплюсджонни бегут вприпрыжку
после пятнашек пряток
игры в пиратов и это
весна

и весь мир непролазно праздничный

и этот чудаковатый
старый человек с воздушными шарами
насвистывает далекий и крошечный
а беттиплюсдженни бегут танцуя
после скакалки и классиков и

это
весна
и
козлоногий
Человек
с воздушными шарами насвистывает
далекий
и
крошечный

«навязчивые кембриджские дамы...»
© Перевод А. Сергеев

навязчивые кембриджские дамы
гнездятся духом в меблирашке тела
и с протестантского благословенья
бесформенны и неблагоуханны
и веруют в Иисуса и Лонгфелло
(покойных). Разговор их одинаков:
в теперешних писаньях, без сомненья
(и что-то вяжут, может, для поляков)
профессор Д. в субботу с той брюнеткой
...как перманент, подкручены улыбки,
до выше Кембриджа им дела нету
за исключеньем — разве — по ошибке
в его лавандовой жестянке неба
луна грохочет злобною конфеткой

ОДА
© Перевод В. Британишский

о
эти милые и пожилые люди
правящие миром (и мною и также
вами если мы не обращаем
внимания)

о
драгоценные дорогостоящие безмозглые
двух фасонов — Он и Она —
восковые фигуры наполненные
мертвыми идеями (о

квинтиллионы невероятных
дряхлых благочестивых беззубых
вечно-сующих-свой-нос-
в-чужие-дела

двуногих) о
суетящиеся
любезные бесполезные
безволосые

о
лухи

«видишь вот это...»
© Перевод В. Британишский

видишь вот это)
75-миллиметровка сделала
это никто бы не мог
поверить что это не
враки ведь это был мой

приятель
ну не смешно ли
мы ведь с ним были
неразлучные
я привык

видеть рядом
его подними
беднягу поверни вот так

осторожно
не кантовать
и отправь домой

к его старенькой мамочке
в новом красивом сосновом ящике
(собери

«первый Джок он...»
© Перевод В. Британишский

первый Джок он
был убит красавец
парень и Джеймс и
следующий дай-ка я
вспомню ну да Уилл
самый умный
он был убит и молоденький
мальчик убит был последним с большими
глазами я любил его как ты не можешь
вообразить себе Гарри мой
бог был убит он был убит каждый был убит

их называли убитые

«моя добрая старая и так далее…»
© Перевод В. Британишский

моя добрая старая и так далее
тетушка люси во время последней

войны доподлинно знала
и не уставала каждому
объяснять во имя чего

мы сражаемся
моя сестра изабелла

вязала и шила для наших доблестных
и так далее десятки и сотни
теплых носков и так далее
наушников набрюшников противо-

вшивых рубашек моя собственная
мать надеялась

что я погибну за и так далее
мужественно мой отец
охрип твердя о великой
чести о том что если бы
он мог тем временем моя собственная

особа лежала и так далее
молча в грязи окопа
и так далее (грезя
и так далее о
твоей улыбке
глазах коленях и

так далее)

«но если жизнь танцует на могилах...»
© Перевод В. Британишский

но если жизнь танцует на могилах,
так это все любовь; и если первой
стрелой рассеет солнце мглу неверной
луны, и камни молвят слово, или
одно окажется огромней имя,
чем лишь вселенная, любовь и здесь:
в тюрьму ее или в застенок брось,
любовь взрывает всех слепых и хилых
(не ведает забвенья, смерти, сна,
от всех попыток съемки, измеренья,
от всех педантов ускользнет она...
— Чья песнь звучит превыше всех гробов?
пред Кем убежища не сыщет время,
хоть все миры грядет открыть?
) Любовь

«пОлнОлунье ночь пОлнОлунье...»
© Перевод В. Британишский

пОлнОлунье ночь пОлнОлунье
над гОрОдами без
звучнО шепчущее сОзданье
движется вдОль небес

ктО-тО великолепный ктО-тО
в мОре звезд
прОплывает стОль ОдинОкО
в грезе грез

КТо ЖЕ ЭТо В НЕБЕ ПЛЫВУЩИЙ
ЭТо ВСЕГо
ЛИШЬ ЛУНА СВЕТоНоСНоЕ СУЩЕ-
СТВо

«кто-то жил в славном считай городке...»
© Перевод В. Британишский

кто-то жил в славном считай городке
(колокол мерно звонил вдалеке)
весну и лето осень и зиму
он пел свою жизнь танцевал свой труд.

Мужчины и женщины (десять и сто)
не думали вовсе что кто-то есть кто
и жили как были посеешь пожнешь
солнце луна звезды и дождь

догадались лишь дети (и тех только часть
да и те повзрослев забывали тотча́с
весна и лето осень зима)
что никто без кого-то не может жить

всегдажды сейчас и древожды лист
смеясь его радость грустя его грусть
будь то птицежды снег будь то бурежды штиль
кто-то был ее то (то есть весь ее мир)

а каждые с каждыми жены мужья
трудились свой танец житья и бытья
(ложась и вставая зевая) они
проболтали недни и проспали несны

дождь и солнце луна и звезды
(и только снег объяснил но поздно
как дети умеют забыть запомнить)
и колокол мерно звонил вдалеке

кто-то умер однажды вернее всего
и никто целовать уж не может его
и уложены в гроб деловыми людьми
вместе он и она почивают они

весь мир и весь мир глубина к глубине
грезят ярче и ярче в недремлющем сне
никтожды кто-то земляжды апрель
желаньежды дух и еслижды да.

А мужчины и женщины (долго и длинно)
весну и лето осень и зиму
пожинали что сеяли взяв свое даждь
солнце луна звезды и дождь

«не сострадай больному бизнесмонстру...»
© Перевод В. Британишский

не сострадай больному бизнесмонстру,

бесчеловечеству. Прогресс — болезнь
приятная: предавшийся безумству

гигантом карлик мнит себя всю жизнь
— рой электронов чтит, как гор гряду,
лезвие бритвы; линзы увеличат

невласть немысли и согнут в дугу
где-и-когда, вернув немысль в неличность.
Мир «сделано» не есть мир «рождено» —

жалей живую тварь, любую, кроме
вот этой, мнящей, что она над всеми

владычествует. Мы, врачи, давно

рукой махнули — слушай: за углом
чертовски славный мир, ей-ей; идем

«дождь ли град…»
© Перевод В. Британишский

дождь ли град
сэм круглый год
делал все что мог
пока не лег в гроб

сэм был человек

крепкий как мост
дюжий как медведь
юркий как мышь
такой же как ты

(солнце ли, снег)

ушел в куда что
как все короли
ты читаешь о
а над ним вдали

стонет козодой;

он был широк сердцем
ведь мир не так прост
и дьяволу есть место
и ангелам есть

вот именно, сэр

что будет лучше
что будет хуже
никто сказать не может

не может не может

(никто не знает, нет)

сэм был человек
смеялся во весь рот
и вкалывал как черт
пока не лег в гроб.

Спи, дорогой

«невежество съезжает с горки в знанье…»
© Перевод В. Британишский

невежество съезжает с горки в знанье
и вверх бредет к невежеству с трудом:
но ведь зима не вечна, снег и сани
весна придет отменит, что потом?

история — лишь зимний спорт, пожалуй,
ну, троеборье: если бы была
и пятиборьем, мне в ней места мало;
для нас двоих она совсем мала.

Мчит (дикий коллективный миф) в могилу
взбираясь к дикости очередной
по каждой мэджи мэйбел джеку биллу
— завтра вот вечный адрес твой и мой

уж там они найдут навряд ли нас
(найдут, так дальше убежим: в сейчас

«приходит наш точильщик...»
© Перевод В. Британишский

приходит наш точильщик
что точит всех тупых
звонит он в колокольчик
чтоб солнца шар потух

девчонки вдовы жены
бегут его встречать
десятки старых жизней
несут ему точить

улыбкой платит эта
слезинкой платит та
совсем не платит кто-то
так тоже не беда

он есть отточит в есмь
он речь отточит в песнь
и хоть коли хоть режь
аж правдой станет ложь

он жизней острия
отточит в бытия
и поцелуй прощальный
шлет людям уходя

уходит наш точильщик
мы солнца лишены
звонит он в колокольчик
чтоб вспыхнул шар луны

«окт…»
© Перевод В. Британишский

окт
я
бр
ь

ни души вокруг ни
где не видно никого
(кроме лишь меня и
во дворе 6 во

робьев) о
сень
и весь день
до

ж
д
ь
дождьдождь

«меланхоличный малый…»
© Перевод В. Британишский

меланхоличный малый

с 14-й стрит
стоит скрипит шарманкой
но стоит рот открыть

«хочу узнать что звезды скажут»

Шарманка замолчит:
он палочкой волшебной
(с улыбкою душевной)
с, т, у, ч, и, т

по грязной клетке: смутный голос

худой, как ветер, хлипкий,
как дождь, не голос — голость
души воскликнетвсхлипнет

«кэр? ри»

— и (МЕДЛеННо) шагнет
(чтобы на жезл воссесть)
из клетки белый тот
кто болеечемЕсть

кто болеечемЛичность: вот же диво

он движется (дойдя
до выдвижного я —
щичка) он чок-чок-чок

и клювом извлечет

билетик (бывший желтый
иль розовый) клочок,
бумажку жалкую — я жду,
что Мистер с белым Какаду

значенье звезд сейчас предложит,

но в этот миг Нью-Йорк вдруг рас
(поскольку мои слезы глаз
полны) творится. «Истина правдива

ибо она правдива быть не может»

«2 маленьких кто…»
© Перевод В. Британишский

2 маленьких кто
(он и она)
под сенью куста
зеленого сна

смеющихся 2
(вне всяческих уз
где и когда)
здесь и сейчас

(далекие от
взрослого я-и-ты-
мира знаний забот)
милые кто и кто

(2 маленьких я
и яркая высь
пламенной грезы дня
невероятного быть)

ЭДНА СЕНТ-ВИНСЕНТ МИЛЛЭЙ

ГРУША
© Перевод А. Сергеев

Во дворе над грязной лужей
Средь птенцов кудахчет клуша,
А поодаль в ясном солнце
Белым снегом блещет груша —

Загордилась от вниманья,
От возвышенного счастья,
Точно конюхова дочка
В платье Первого Причастья.

К ВЕЧЕРУ НА ГОРЕ
© Перевод А. Сергеев

На свете счастливей всех
Дотемна доживу!
Дотронусь до ста цветков —
Ни одного не сорву.

Нагляжусь на горы в тиши,
На небесный свод,
На то, как ветер клонит траву,
А трава встает.

А когда загорятся огни
В городке под горой,
Отыщу я свое окно —
И бегом домой!

PASSER MORTUUS EST [98]
© Перевод А. Сергеев

С тем, что сердцу мило, смерть
Спешно разлучает;
Лесбию и воробья
Тьма равно встречает.

Словно дождь, на алтаре
Сохнет возлиянье;
В дрожи маленькой руки
Чудится прощанье.

Что же делать, мой чужой,
С песней запоздалой —
Разве не было любви,
Раз ее не стало?

ПРИЛИВ
© Перевод Ю. Менис

Любовь твоя умерла,
В сердце моем ты жив.
Оно как уступ в скалах
С капелькою воды,
Помнящей свой прилив;
Капля теплой воды,
Тающая на глазах.

RECUERDO[99]
© Перевод М. Алигер

Усталые и веселые, впервые сбежав из дому,
Всю ночь мы ходили взад и вперед по парому.
Паром был голый и светлый, и пахло, как в хлеве, соломой.
И мы глядели в огонь, садились за стол незнакомый.
Потом мы легли на палубе, залитой лунным светом;
И свистульки свистели, свистели, и ночь завершилась рассветом.

Усталые и веселые, впервые сбежав из дому,
Всю ночь мы ходили взад и вперед по парому;
Мы купили яблок и груш, купили их целую дюжину,
Ты ел яблоко, я ела грушу — цены нет такому ужину;
И небо светлело, и ветер повеял предутренним холодом,
И поднималось солнце огромным ведром, наполненным чистым золотом.

Усталые и веселые, впервые сбежав из дому,
Всю ночь мы ходили взад и вперед по парому.
Мы купили утреннюю газету, но ее мы читать не стали.
«Доброе утро, матушка!» — мы сказали старушке в шали.
Со слезами взяла она груши и яблоки:
«Благослови вас боже!»

И, оставив лишь горстку монет на метро, мы ей деньги отдали тоже.

МИЛОСТЫНЯ
© Перевод М. Редькина

Живет, как встарь, моя душа —
Как дом, распахнута она,
Но зябнет от твоей любви,
Метелями занесена.

Горит ночник, и стол накрыт.
Жду гостя, ужин на столе,
Но зябну от твоей любви,
Пустеет иней на стекле.

Я чувствую — зима близка:
Поникли на ветвях листы.
Узнала я твою любовь
И в дом внесла свои цветы.

Полью их всласть, потом сорву
Со стебля бурый лист сухой;
Им зябко от твоей любви,
Уход им нужен и покой.

Когда-то увидала я:
Дерется стайка воробьев;
Пригрела одного птенца,
Даря ему свою любовь,

А после вслед смотрела… Хлеб
Птенцам голодным накроша,
Поставлю плошку на крыльцо.
Как встарь, живет моя душа,

Но зябнет от твоей любви.

Я брошу крошки за окно,
А там — склюют ли их птенцы
Или оставят — все равно.

ВЕСНА И ОСЕНЬ
© Перевод И. Грингольц

По весенней поре, по весенней поре
Мы с милым бродили на ранней заре.
На деревьях чернела сырая кора,
Я их вижу с утра по весенней поре.
Ты цветущую ветвь отломил от ствола,
Я достать ее так высоко не могла.

По осенней поре, по осенней поре
Мы с милым брели на вечерней заре.
Над деревьями хрипло кричали грачи,
Я их слышу в ночи по осенней поре.
Ты смеялся над всем, для чего я жила,
И мне душу сломал, просто так, не со зла.

Снова утро забрезжит, и вечер настанет,
И набухнет кора, и грачи загорланят, —
Взор манит в апреле и слух в ноябре,
По весенней поре, по осенней поре,
И не горько, что наша любовь отцвела,
Горько знать, что ушла просто так, не со зла…

ПРАВОСУДИЕ, ПОПРАННОЕ В МАССАЧУСЕТСЕ
© Перевод М. Зенкевич

Покинем наши сады, и вернемся домой,
И сядем в гостиной.
Зацветут ли лютики, всколосятся ль хлеба под таким небом?
Солона для плодоносных семян
Холодная земля под таким небом.
Мы прошли по сорняку и бурьяну, но не победили,
Не срубили мотыгой их цепкие стебли.

Вернемся домой и сядем в гостиной.
Видно, не нам
Прояснится небо и встанет солнце,
Щедро сверкнув
По мерцающим волнам,
И теплый ветер подует с моря,
Мирно зашелестев
Колосьями хлеба.

Покинут, покинут,
Стоит воз на пустом сенокосе,
И лепестки без завязи в садах
Облетели так рано.
Солнце, что греет согбенные спины, иссушает кучи бурьяна, —
Мы еще его ждем,
Мы, погребенные под дождем.

От сияющих погибших из тьмы

Что наследуем мы:
Борозды для зерен, чистые, без сорняка, —
Там хозяйничают слизняки и грибки-паразиты.
Зло одолевает
Лютики, злаки,
И нет им защиты.

А мы сидим сложа руки
В гостиной в ожиданье,
А шаги смерти все ближе и ближе,
Оставляя детям наших детей этот дивный вход,
И этот вяз,
И запущенную землю
Со сломанной мотыгой.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ БЕЗ МУЗЫКИ
© Перевод И. Кашкин

Я не смирюсь никогда перед тем, что уходят в могилу
Все те, кем земля так бесконечно горда,
Так есть, так будет, потому что всегда так было:
С незабудкой иль лавром уходят они. Но я
не смирюсь никогда.

Любовники, мудрецы, вы все соберетесь там вместе.
Туда, куда с прахом безвестным смерть вас
в кучу сметет.
Стройте, пишите, исследуйте, радуйтесь, грезьте!
Формула, фраза останется — лучшее с вами уйдет.

Выдумка и порыв, задорный смех забияки!
Все поглотил безразличный животворящий мрак.
Вырастут на могилах тучные, пышные маки,
Но ярче был блеск ваших глаз, чем на солнце
пылающий мак.

Вниз, вниз, вниз — под темные своды могилы!
Тихо ступает нежный и добрый туда,
Спокойно ступает умный, смелый, красивый…
Я знаю. Но протестую. И не смирюсь никогда.

«Ложь! Время боли не смягчит такой...»
© Перевод М. Редькина

Ложь! Время боли не смягчит такой,
Такой тоски оно не исцелит.
О милом дождь, рыдая, говорит,
О милом что ни день шумит прибой.

Из сада тянет прелою листвой,
Со склонов горных талый снег бежит,
Но прежней страстью все еще горит
Душа моя; в ней — прежних мыслей строй.

В иных местах мне страшно — там кругом
Жизнь памятью о нем напоена.
Порой скажу, легко войдя туда,

Где мой любимый не был никогда:
«Здесь нет его!» Скажу, и вмиг о нем
Я вспомню, мыслью этой сражена.

«Ты — в памяти оттаявшей земли…»
© Перевод М. Редькина

Ты — в памяти оттаявшей земли,
Дороги пыльной, вешнего цветенья,
В неторопливом лунном восхожденье;
Ты — в каждой птичьей трели, что вдали

Звенит в разгаре лета, в запустенье
Гнезд, что когда-то свили журавли,
Во всех ветрах и бурях, что прошли
Над миром в годовом круговращенье.

Вверх по тропе, исхоженной рассветом,
Ты не пойдешь, и шума птичьих крыл
Ты не услышишь в воздухе прогретом,

Когда птенец давно уж в небо взмыл, —
Но ты исполнен красотой и светом,
И долгий год тебя не позабыл.

«Чьи губы целовала, где, когда…»
© Перевод Ю. Менис

Чьи губы целовала, где, когда —
Я позабыла все, на чьей руке
Меня будил рассвет, но вот в дожде
Всю ночь мелькают тени у окна,
Стучатся и вздыхают: «Ты одна!»
И тихо шевелится боль в душе:
Совсем одна, меня никто во сне
Не позовет, забывшись, никогда.

Так дерево под снегом в тишине
Не помнит улетевших в небо птиц,
Но знает, как безмолвие гнетет.
И я не помню тех любимых лиц,
Умолкло лето, певшее во мне,
Давным-давно — и больше не поет.

«Обеты я не слишком свято чту…»
© Перевод М. Редькина

Обеты я не слишком свято чту:
Не будь ты так красив, о мой любимый,
С другим нашла бы я свою мечту
В погоне за красой неуловимой.

Не будь ты редким яством для меня
И вечным утоленьем дикой жажды,
Я бы сбежала среди бела дня
Искать другого, как тебя однажды.

Но ты блуждаешь с ветром заодно;
Приязнь твоя изменчивей прибоя.
Непостоянной быть немудрено —
Ведь я меняюсь следом за тобою.

Любовь моя беспечна и вольна:
Я неверна, когда тебе верна.

«Жалей меня не оттого, что свет…»
© Перевод М. Редькина

Жалей меня не оттого, что свет
На склоне дня покинул небосвод;
Жалей меня не оттого, что след
Былой красы с полей и рощ уйдет;

Жалей меня не оттого, что лик
Луны поблек, волна стремится вспять;
Не оттого, что страсть мужская — миг
И больше мне твоей любви не знать.

Давно известно мне: любовь — пурга
Цветов, летящих с вишневых ветвей,
Прибой, швыряющий на берега
Обломки затонувших кораблей.

Жалей меня за то, что разум скор,
А сердце неразумно до сих пор.

«Разъятье рук твоих подобно смерти...»
© Перевод М. Редькина

Разъятье рук твоих подобно смерти.
Как, разлучась с тобой, умру опять?
Нам не дано на этой хрупкой тверди
Двукратно жить, двукратно умирать...

Томясь у Времени в узде суровой,
К нам в дверь стучит его гонец — рассвет.
Но Время не подвергнет муке новой
Меня на гребне самых горьких бед.

Когда ты розами и рожью станешь,
Видением печальным появлюсь,
Там, где любила, там, где в вечность канешь.
Над прахом незабвенным я склонюсь,

Воздену руки и уйду украдкой,
Как ныне, на исходе ночи краткой.

«О нет, не допусти, чтоб разум твой...»
© Перевод М. Редькина

О нет, не допусти, чтоб разум твой,
Отчаясь, возомнил неосторожно,
Что, раз мы платим дорогой ценой
За красоту, ее купить возможно!

И если в лунном свете соловей
Тебе просвищет с ветки молчаливой,
То вряд ли он слетит к руке твоей —
Ты не приманишь птицы прихотливой.

А значит, красота вольнее всех:
Ведь красота не горлица ручная,
Не ослепленный сокол для утех —
Она горда. Целуя и лаская,

Ты красоту голубкой не зови.
Что ей любовь? Она чужда любви.

«О нет, ты не любил меня ничуть...»
© Перевод Ю. Менис

О нет, ты не любил меня ничуть,
А я любила больше жизни — что ж,
Отмщение — вот мой отныне путь,
И каждый миг лишь мщением хорош.
Мне выбирать оружие, но я —
Я стали не коснусь вершить мой суд,
А проведу всю ночь, в сердцах кляня
Министров, пап и прочий мелкий люд;
И встречу день обидою веков
На землю, небо, ад и на глупца,
Что чувству господин, и на богов,
И на детей у школьного крыльца...
А ты уйдешь, и я похороню
Холодность, не доступную огню.

«От воскрешенных утром сновидений...»
© Перевод М. Редькина

От воскрешенных утром сновидений
Печалью день пронзен. Везде — укор.
Хочу читать — но слез поток осенний
Стекает на руки, туманит взор.

Скорбь на корню сильней, чем грусть
в предгрозье:
Та скорбь в плену у тайны роковой
Выбеливает щеки алой розе,
Мертвит бутон и сушит лист живой.

Глубокий пруд у берегов прозрачен,
Искрится солнцем, тянется к цветам,
А в омуте его покой утрачен:
Чернея, бьется чье-то сердце там.

Сны прогоняют сон; я слез не прячу:
Заплачу — и проснусь, проснусь — и плачу.

«Любовь еще не все: не хлеб и не вода...»
© Перевод М. Алигер

Любовь еще не все: не хлеб и не вода,
Не крыша в ливень, не нагим — одежды;
Не ствол, плывущий к тонущим, когда
Уже иссякли силы и надежды.
Не заменяет воздуха любовь,
Когда дыханья в легких не хватает,
Не сращивает кость, не очищает кровь,
И без любви никто не умирает.
Я допускаю, грянет час такой,
Когда, устав от нестерпимой боли,
За облегченье, отдых и покой
Твою любовь отдам я поневоле
Иль память тех ночей сменяю на еду.
Возможно. Но едва ль на это я пойду.

«Сдержать Хаос уздой четырнадцати строк…»
© Перевод М. Алигер

Сдержать Хаос уздой четырнадцати строк,
Чтоб он из них бежать на волю рвался,
Коль повезет; вертелся, притворялся,
Как будто пламя он, и демон, и поток,
Нет счета всем его уловкам и повадкам,
Пока в границах я держу его,
Бесформенное это существо,
И он сливается с божественным Порядком.
Но вот уже прошли часы и годы,
А как высокомерен он в неволе,
И мы с ним оба лишены свободы,
Он прост, но он еще не понят — и не боле.
А я и без его признаний понимаю,
Что я своей уздой ему лишь помогаю.

«Под лунным светом Всемогущей Плоти...»
© Перевод М. Алигер

Под лунным светом Всемогущей Плоти
И я кричала кошкой в час ночной,
Уйдя из башни, выстроенной мной,
Не для того ль, чтоб в галочьем помете
И в живописи детской озорной
Ей вековать? У башни, под луной,
Сидят соседки так, как некогда их тети,
Судача обо мне и о моей работе.
Какая есть, однако это я
Ту башню возвела, она — моя.
Во имя Красоты взлетевшая высоко.
В ней боль и гордость — все, что было у меня,
Кость честная, мысль, полная огня,
И жар ночей, где я была не одинока.

«Не умирать от жалости, а жить…»
© Перевод М. Алигер

Не умирать от жалости, а жить,
И есть и пить, чтоб крепнуть и расти,
Чтоб чище кровь, чтоб тверже стать в кости,
И чувствовать острее, и хитрить:
Тому, кто тоже хочет есть и пить,
Нежирную похлебку поднести
Из нашей жалости. Ах, господи прости,
Ее бы понаваристей сварить!
Денек сентябрьский синий, тут и там
Уже краснеют клены по холмам.
Затем, чтоб слабым я могла помочь,
Вскормить свой ум и волю надо мне б,
Взбодриться и тоску отринуть прочь,
Пить полный кубок, счастье есть, как хлеб.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
© Перевод М. Редькина

Земля своих детей не понимает.
Когда не по себе бывает нам,
От шума городов изнемогая,
Мы возвращаемся к ее лесам.

Земля для всех распахивает двери,
Хотя ее созданьям счету нет:
Подранки — люди и подранки — звери
Бредут к ней, волоча кровавый след.

Земля чуть спет встает, листвой хлопочет
Украсить год, потом листву стряхнуть,
А горевать, баклуши бить не хочет —
Ей недосуг негромко помянуть

Того, кто не хранит всего, что было,
Лежит в покое дни, года, века;
Того, чья безымянная могила
В угрюмом запустении горька;

Того, кто знал печаль и поражение,
Того, кто друга отдал, не скорбя,
За лист ольхи — земное утешенье,
Которое не сознает себя.

ДЕТСТВО — ЭТО ЦАРСТВО, ГДЕ НИКТО НЕ УМИРАЕТ
© Перевод М. Зенкевич

Детство — не от рожденья до возраста, когда ребенок,
Став взрослым, бросает свои игрушки.

Детство — это царство, где никто не умирает,
Никто из близких. Отдаленные родственники, конечно,
Умирают, те, кого не видят или видят редко,
Те, что дарят конфеты в красивых коробках, перочинный нож,
И исчезают, и как будто даже не существуют.

И кошки умирают. Ложатся на пол и бьют хвостом,
И волоски их меха шевелятся
От блох, раньше совсем незаметных;
Блестящие, коричневые, чуя недоброе,
Они перебираются на живых.
Вы берете сапожный ящик, но он мал, так как кошка не свертывается,
Находите другой, побольше, и зарываете ее во дворе и плачете.
Но вы не просыпаетесь потом, спустя месяц, два,
Спустя год, два года, вдруг среди ночи
И не рыдаете, ломая пальцы, шепча: «О, боже, боже!»

Детство — царство, где никто не умирает,

Никто из близких; матери и отцы не умирают.
И если вы скажете: «Зачем ты меня так часто целуешь?» —
Или: «Перестань, пожалуйста, стучать по окну наперстком!» —
Завтра или послезавтра, когда вы наиграетесь,
Еще будет время сказать: «Прости меня, мама!»

Стать взрослым — значит сидеть за столом с людьми,
которые умерли, молчат и не слышат.
И не пьют свой чай, хотя и говорили часто, что это их
любимый
напиток.
Сбегайте на погреб, достаньте последнюю банку малины,
и она их
не соблазнит.
Польстите им, спросите, о чем они когда-то беседовали
С епископом, с попечителем бедных или с миссис Мэйсон, —
И это их не заинтересует.
Кричите на них, побагровев, встаньте,
Встряхните их хорошенько за окоченелые плечи, завопите на них —
Они не испугаются, не смутятся и повалятся назад в кресла.

Ваш чай остыл.
Вы пьете его стоя
И покидаете дом.

МАРИАННА МУР

ОБЕЗЬЯНЫ
© Перевод С. Таск

часто моргали и опасались змей. Зебры,
своей непохожестью
кичащиеся; слоны с белесой, как туман, кожей
и хваткими приспособлениями;
и эти кошечки; и попугай —
зануда при ближайшем рассмотрении, — хвативший
еды различной и коры древесной через край.

Я вспоминаю их величие, или скорее остатки величия. Трудно припомнить повадки,
голос и даже облик, когда речь идет
о случайном знакомстве двадцатилетней
давности; но мне его не забыть, этого Гильгамеша
среди
мохнатых плотоядных, этакого кота

с грифельно-серыми треугольными метками на передних
лапах
и жестким
хвостом,
бросающего сухо: «Хорохорятся тут всякие,
а потом
с плохо скрываемой злобой, дрожа всем телом,
бормочут бессвязно,

что, дескать, где нам постичь искусство; делают
из всего проблему; надуются, важные,

словно это — непостижимая тайна, такая же симметрично
отчужденная, как фигурка, вырезанная из хризопраза
или холодного мертвого мрамора, зловещая
в своей власти над нами и бездоннее,
чем море, которое предлагает нам лесть в обмен
на пеньку,
лошадей, золото, мачтовый лес, меха и ячмень».

ГЕРКУЛЕСОВЫ ТРУДЫ
© Перевод Г. Симанович

Популяризировать тапочки, их скромный облик,
символизирующий удобство при минимальных средствах;
убеждать ригориста, домовладельца и пианиста,
что его пианино — рутина и его прелестные
головастики-ноты
—
в прошлом, когда музицировать было время;
уверять самозваных безмозглых Мидасов,
чьи двенадцать каратов невежества себе набивают цену,
что не дóлжно брать напрокат седую длинную бороду
и стращать иных любопытных неумолимой косою времени;
вразумлять поэта с его чересчур эластичною музой
для
избранных,
что его животворная сила — в умении побеждать
собственную
обособленность,
что покуда в стихах преобладает гибкость над логикой,
они летят по прямой, как ток электрический,
в противном же
случае —
они как обезлюдевшая местность, что гордится своей

захолустностью;
доказывать святошам сановным,
что чванливость нелепа,
что достойнее быть в стороне от вековечного раболепства,
когда лобзают ступни повелителей
и пинают в лицо тех, кто званьем ниже;
поучать земных богов атеизма,
что мы погрязли в земном,
в отбросах, в погонях за призрачным благом, в безумии

экстремизма;
внушать змеино-увертливым полемистам
благие и трезвые мысли,
что негры не жестоки,
что евреи не скаредны,
что азиаты не бессмертны,
что немцы не коварны.

ЧТО ЕСТЬ ВРЕМЯ?
© Перевод Г. Симанович

Где наше простосердечье
и наши грехи? Все это
утрачено. Где человечья
отвага: поиск ответа,
сила сомненья —
крикнуть беззвучно, слушать, не слыша! — когда
других ободряешь,
страдая, идя на смерть,
когда, пораженье терпя, мужаешь,

крепнешь душою? Тот прав,
дальновиден и счастлив, кто,
одним из смертных став,
над своей несвободой возвысится.
Над самим собою, — словно
море из бездны всходит
к свободе, в бессилии рвется
и катится вспять,
чтоб рваться опять.

Кто силою чувств объят,
тот действует. Ведь каждый
запевший песню
становится стройней, и, говорят,
он делается выше. Пусть он пленник,
но песнь его
нас убеждает: радости покоя
ничто в сравненье с радостью борьбы.
В этом и бренность,

в этом и вечность.

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО
© Перевод Е. Витковский

Взгляни на землянику:
извилиста, мала,
но буря не смогла

убить ее; песчинки
оставил океан
для множества семян.

Какая пища лучше,
чем сердцевина яблок —
идущий в путь кораблик

малюток-близнецов.
Мороз вконец изгрыз
зеленый кок-сагыз,

но корень в почве мерзлой
живет… Среди тепла
опунция росла,

колючий стебель сник,
но корень в землю круто
ввинтился на два фута.

Порою мандраго-
рой гнется корнеплод.
Победа не придет,

покуда к ней не рвешься.
И гроздья винограда —
лишь той лозе награда,

что сверху и внизу
свои завяжет пле-
ти в тысячном узле.

С врагом дерется слабый —
вступает сильный в бой
— смотри! — с самим собой!

И льется сок земли
в измученное тело,
чтоб ягода зардела!

УОЛЛЕС СТИВЕНС

КОРОЛЬ ПЛОМБИРА
© Перевод Э. Шустер

Позвать мускулистого парня, который
Умеет сигару скрутить умело,
Чтоб он сбил похотливые сливки.
Дать девкам бездельничать в платьях
На каждый день, парням приказать
Нести букеты в пожелтевших газетах.
Пусть станет быть, а не казаться сутью мира.
Да здравствует король, король пломбира.

Взять с комода соснового, на котором
Нет ручек стеклянных трех, покрывало
С голубями, вышитыми ею когда-то,
И набросить так, чтоб закрыть ей лицо.
Если ее мозоли покажутся из-под него,
Увидишь, как все в ней остыло, немо, мертво.
Пусть к лампе свет ее вернется из эфира.
Да здравствует король, король пломбира.

РАЗОЧАРОВАНИЕ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ
© Перевод В. Британишский

В эти дома слетаются сны
В белых ночных рубашках.
Ни одного зеленого,
Или красного в зеленую крапинку,
Или зеленого в желтую крапинку,
Или желтого в голубую крапинку.
Ни одного причудливого,
В кружевных чулках
Или с вышитым поясом.
Людям не приходит в голову
Видеть сны о барвинках и бабуинах.
Лишь какой-нибудь старый моряк.
Пьяный, уснувший, не сняв ботинок,
Ловит полосатого тигра
В красных тропиках.

ПИТЕР КВИНС ЗА ФОРТЕПЬЯНО
© Перевод Э. Шустер

I

Как клавиши рождают звуки,
Так звуки музыку рождают
В моей душе в такт фортепьяно.

Но музыка тогда — не звуки;
Она — томительная рана
Желанья моего и память

О шелковисто-синей тени
О твоей. Да, музыка — тоска,
Разбуженная в стариках Сусанной.

Она в закатный час зеленый
Купалась в тихом озерке садовом,
А старцы красноглазые смотрели

И слушали басы их естества
В ведьмовском хоре вместе с пиццикато
Их крови, пискнувшей осанну.

II

В зеленых струях чистоты
Сусанна млела;
Их прикосновений
Она ждала;

Что ей
До тайных вожделений.
Звучал, как музыка,
Сусанны вздох.

Сусанна ежилась на берегу
От ветерка
Желаний вялых.
Меж тем соленая роса
Растраченных страстей
На листья пала.

Сусанна зябла от росы,
Вся — тремоло.
Служанок резвых с покрывалом,
Чтоб госпожу согреть,
Все не было.

Сусанны, ах! в ладонь
Разбередило ночь.
Увидела Сусанна старцев —
Цимбалы треснули
И рев рожков заглох.

III

Как бубны, с грохотом и звоном
Примчались слуги и с поклоном

Напрасно силились понять,
В чем старцев можно укорять.

Их шепотки текли дождливо
По серебристым листьям ивы.

Зажгли огонь. Ах! Что за вид —
Нагая женщина стоит.

Умчались слуги без поклона
В ухмылке грохота и звона.

IV

Прекрасное для разума — полет,
На миг застывший в абрисе портала,
Но только плоть — прекрасного начало.
Не умирает с телом красота.
Зеленый вечер, тот умрет, конечно;
Волна, завидев берег, безутешна;
Умрут сады, услыша вздох зимы,
Бредущей в рясе леденящей тьмы;
Умрут служанки, и во храме
Отслужат упокой с хорами.

Сусанны музыка коснулась струн
Расстроенных, и в стариках беспутных
Родился только смех и скрежет Смерти,
Но музыка бессмертна: до сих пор
Виола красоты Сусанны
Ведет коленопреклоненный хор.

ВОСКРЕСНОЕ УТРО
© Перевод В. Британишский

I

Прохлада пеньюара, поздний кофе
И апельсины, солнечное утро,
Зеленое порханье какаду
Соединились вместе, чтоб рассеять
Ее святую скорбь о древней жертве.
Ей дремлется, но светлый сон мрачит
Вторжение той давней катастрофы,
Как темный штиль меж маяков морских.
Как будто вкус плода и яркость птицы —
Детали той процессии умерших,
Что молча вдаль бредет в открытом море.
И тихо утром, как в открытом море,
Притихшем, чтобы спящею стопой
Ей по морям дойти до Палестины,
Где кровь господня и господень гроб.

II

Зачем она всю душу дарит мертвым?
И почему божественное может
Являться только в сумраке, во сне?
Неужто нет предметов для любви
Ни в терпкости плода, ни в яркой птице,
Ни в ласках солнца, ни в земных бальзамах,
Чтоб возлюбить их, как мечты о небе.
Пусть в ней самой божественность живет:

И страстность ливня, и мятеж метели,
Грусть одиночества, неудержимый
Восторг в цветущих рощах; резкий вихрь
Осенних чувств на мокнущих дорогах;
Все радости и все страданья, память
И летних крон, и зимних голых веток.
Вот истинная мера для души.

III

Не женщиной рожден был бог Юпитер.
Не грудью вскормлен, не земная прелесть
Его мифическую мысль питала.
Он среди нас ходил, как мрачный царь,
Царящий над простыми пастухами,
Покуда наша кровь, кровь нашей девы,
С небесной слившись, родила возмездье,
Для пастухов простых зажгла звезду.
Иль наша кровь напрасна? Иль не узрим
Рай на крови? Покажется ль земля
Единственным, какой возможен, раем?
А небо станет ближе к нам, чем ныне,
Причастное к заботам и трудам,
Высокое, как вечная любовь,
А не бесчувственная гладь лазури.

IV

И говорит она: «Когда, проснувшись,
Пытают птицы сладким вопрошаньем
Реальность бытия полей туманных,
Я счастлива. Но птицы улетят,

Поля остынут — где же будет рай?»
Нет на земле пещеры для пророчеств,
Над гробом нет химер, а под землей
Нет подземелий золотых, а в море —
Блаженных островов, приюта духов,
Ни юга наших грез, ни пальм далеких
Нет на земле, ничто не длится дольше,
Чем зелень по весне, но может жить
Как память женщины о птичьих песнях,
Как жажда видеть вновь июньский вечер
И ласточки пронзительный полет.

V

И говорит она: «Да, это счастье,
Но есть потребность вечного блаженства».
Смерть — мать прекрасного, она одна,
Единственная, жажду утолит
И выполнит желанья. Хоть рассыплет
Листву забвенья на тропинках наших,
Тропинках скорби, тех тропинках, где
Триумф звучал, как бронза, где любовь
Слова шептала нежные чуть слышно.
Она прикажет иве шелестеть
О девушках, сидевших здесь когда-то.
А юношам на брошенное блюдо
Велит насыпать новых груш и слив.
Попробуют их девушки и вспыхнут
И бросятся бежать, шурша листвой.

VI

А там, в раю, нет смерти? Зрелый плод
Не падает? И ветвь томится вечно
Под бременем, там, в неизменном небе,
Ином, но схожем с бренною землей,
Где реки, как земные, ищут моря
И не найдут, где море, как у нас,
Уходит, равнодушное, все дальше?
Так что ж, и там сажать на реках груши,
Приправить море ароматом слив?
И ткать шелка такие же, как наши,
И красить их в такие же цвета?
Касаться струн банальной нашей лютни?
Смерть — мать прекрасного, и мы предвидим,
Бессонные, в ее горячем чреве
Рожденье наших матерей земных.

VII

Восторгом, оргиями, хороводом
Восславят люди солнечное утро,
Восславят солнце, потому что солнце —
Не бог, но словно бог среди людей,
Нагое, как родник, родное людям.
И песнь людская станет песнью рая,
Из крови их вернувшись к небу вновь;
Все голоса сольются в этой песни,
Зыбь озера, где отразился бог,
Деревья-херувимы и холмы,
Что будут вторить хору долгим эхом.
Люди, что смертны, солнечное утро
Войдут в одно божественное братство.
Откуда шли они, куда уходят,
Роса на их подошвах возвестит.

VIII

Ей слышится, как над безмолвным морем
Глас вопиет: «Гробница в Палестине —
Не портик для слоняющихся духов,
Но гроб Христа, в котором он лежит».
А жить нам здесь, где солнца древний хаос,
И древний распорядок дня и ночи,
И одиночество в открытом море,
Нас окружающих, как острова.
Олени прыгают у нас в горах,
В степи свистят свободно перепелки;
Полны лесные дебри сладких ягод;
А вечером, одни в пустынном небе,
Случайной стайкой голуби кружат
В движеньях двойственных, покуда канут
Вниз, в темноту, на распростертых крыльях.

В ДОМЕ БЫЛ МИР, В МИРЕ — ПОКОЙ
© Перевод А. Кистяковский

В доме был мир, в мире — покой.
Читатель стал книгой, а летняя ночь

Стала словно бы содержанием книги.
В доме был мир, в мире — покой.

Содержание рождалось как бы не книгой,
Хотя читатель склонялся над нею,

Хотел склоняться, хотел бы
Стать мудрецом, для которого книга

Содержит истину, а ночь — мысль.
Мир был покоен — так было надо.

Покой углублял содержание книги,
Усиливал мысль, и в доме был мир.

Истина в исполненном спокойствия мире,
Где нет иного содержания, — это

И летняя ночь, и дом, и покой,
И читатель, склоненный над книгой.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПОГИБАЮТ
© Перевод В. Британишский

Господь и ангелы поют, чтоб мир уснул.
Огромная луна горит над горизонтом,

И стали вновь слышны сверчки в траве. Луна
Вновь разжигает потухшие воспоминанья.

Он лежит в постели, а вечер ночной дует в окно.
Колокола звонят и звонят. Это не сон. Это желанье,

Да, конечно, желанье... неудержимое,
Пробудившее в полночь, приподнявшее на постели,

Приковав его взгляд к подушке, черной, как траур,
В этой трагической комнате... желанье отчаянное,

Как самый сильный инстинкт. Желанье чего?
Он сам не может понять, мучительно думая.

Но жизнь понимает, она выполняет желанье,
Пристально вглядываясь в голову на подушке,

Более яркую, чем лик Христа на платке
Святой Вероники, эту говорящую голову,

Ведающую последние истины, лишенную тела,

С губами, распухшими от мятежных, мучительных криков,

Голову одного из людей, которые сейчас погибают,
Прилегшую на подушке, чтоб здесь отдохнуть и
высказать,
Высказать наконец, слог за слогом, слово за словом,
То, что погибший высказал только делом.

Господь и ангелы, это было желанье того,
Чья голова лежит здесь. Ради этого он погиб.

О демагоги, продажные, платные люди,
Видите мученика, и губы его в крови!

Смерть его — это вера его, хоть смерть — это камень.
Он любил эту землю, он имел, за что умереть.

Ветер ночной веет над спящим, который
Пристально вслушивается в слова, что вещает жизнь.

РИТМЫ ВОЙНЫ
© Перевод В. Британишский

I

Лишь в этот вечер я снова увидел на горизонте
Эту вечернюю звезду, в начале зимы, звезду,
Которая весной воцарится в западной части неба,
Снова… как будто вернулась, как если бы жизнь вернулась,
Не молодостью сына и дочери, не местностью, напомнившей молодость,
Но как если бы вечер застал меня вдруг самого,
Молодого, быстро идущего, в моем собственном настоящем.

II

Это было как внезапное время в мире без времени,
Этот мир, это место, эта улица, где я находился
Без времени: ведь то, чего нет, не имеет времени,
Не имеет ничего, кроме «было», кроме немой неподвижности
Перед лицом этих армий, армий без музыки,
Без барабанов и труб, командиры безмолвны, оружие

Брошено и лежит на земле, полный разгром.

III

Что было делать звезде в этом мире, освещенном его,
В пустых небесах над Англией и над Францией
И над немецкими лагерями? Звезда светилась отдельно,
И все-таки именно это поможет держаться — этот
Отдельный от нашего прошлого и отдельный
От нашего будущего, этот вечно живущий,
Вечно движущийся и дышащий, вечный огонь,

IV

Как настоящее, но завершенное и разрешившееся,
Не символ, но то, что символом обозначается,
Нечто живое в небе, неизменное, несмотря на то что
Небо меняется. Лишь в этот вечер я снова
Увидел ее, в начале зимы, и снова я шел, бежал,
Снова я жил, был, снова свободно вздохнул,
Воспрянул снова и вспыхнул снова, время вспыхнуло

снова.

ДЖОН КРОУ РЭНСОМ

ГОЛУБЫЕ ДЕВУШКИ
© Перевод П. Грушко

Среди лужаек, в юбках голубых,
Под башнями в колледже вашем строгом, —
Вольно вам верить дряхлым педагогам,
Брюзжанью их.

Повязкой белой волосы убрав,
Не думайте о днях в их беглой смене,
Подобно птицам голубым, чье пенье
Не молкнет среди трав.

Цветите, голубейте в добрый час,
Но я — кричать хочу, забыв приличья:
Как мимолетна красота девичья,
Никто ее не спас!..

Есть женщина — ей холодно и в пледе,
А речь ее отрывиста и зла,
И глаз голубизну застлала мгла,
А ведь еще недавно эта леди
Красивее любой из вас была.

СТАРЫЙ ОСОБНЯК
© Перевод П. Грушко

Словно лазутчик, тая́ под невинною миной
Взгляд чужака, я брел, любуясь тайком
Старым домом, царящим над далью туманной,
Воздух его застойный дразня табаком.

Здесь древность, после тошнотных шато над Луарой,
Светилась по-новому: это была красота
Не для дошлого доки, чьей эрудицией серой
Воспитанная публика по горло сыта.

Здесь было одно из южных поместий: вдоль склонов
Ни аркад, ни башен, ни строгих защитных валов,
Достаток (но голуби вместо ленивых павлинов),
Обряды мрачные (вместо пышных балов).

И вправду, наверное, здесь же, в поместье,
Были надгробья, сюда катафалк привозил
Здешних усопших. Казалось, ты на погосте,
Если б не жимолость, вьющаяся между стропил.

Надежность сквозила в прямизне его линий,
То скрытых деревьями, то проступавших вблизи,
Цвет кирпича был цветом долгих агоний.
Его недреманное сердце за зелеными жалюзи

Взывало: хотя я давно уже необитаем, —
Моим будуарам, удобным для человеческих чад,
Грешно пустовать, пугая прохожих застоем,
Войди, человек, обнови мой старый уклад...

И с безрассудством того, кому судьба улыбалась,
Я бронзовым молотком попросил у дверей
Впустить меня и — как подаянье, как милость —
Дать каплю мудрости из его замшелых ларей.

Напрасно. Безмолвие отозвалось печальным
Биением сердца, но разве холодный отказ
Смирит археолога в его блужданьях по штольням,
Где даже тупик не отнимет надежды на лаз?

«Старая леди больна», — сказал мне худущий,
Закутанный, хмурый привратник, схожий, как брат,
С кривою служанкой и садовницей тощей,
Просившей покинуть господский готический сад.

Старое зданье неотвратимо ветшало. Щебенка
Газон погребет, как листва, на веки веков,
И летописца не встретит ни госпожа, ни служанка,
И антиквар не потрогает выщербленных черепков.

И я о себе подумал, увидев, как нежно
Перышком ветхим в истому полдня дымок
Вьется из трубки, — и, вздрогнув, вышел отважно
В мир, не менее зыбкий, чем этот мирок.

КОНРАД В СУМЕРКАХ
© Перевод П. Грушко

Конрад, Конрад, что ж ты, старина,
По сырому саду бродишь дотемна?
Трешь напропалую озябшие колени,
Словно хочешь отогреть вешнее виденье —
Лес Арденнский в памяти пробудить от сна.

В старческом загривке невралгия ноет,
Булькает насосом Конрадова грудь,
По щиколотку ноги в листве и перегное —
Конрад, Конрад, об астме не забудь!

Толстые стены выведены ровно,
Не поленья у него в очаге, а бревна;
Теплые шлепанцы, трубка с табаком,
Поджаренные хлебцы, масло, вдосталь чая.
Жаль, спина у Конрада не совсем прямая,
И глумится осень над бедным стариком.

Осень в наших краях — до чего пустынна!
Не сыскать на земле ничего бедней
(Даже под землею, где вода и глина):
Как ботва намокшая, цвет у этих дней,
Что, дымя в камине, не согреет дома,
Как тряпье, истлевшее на сыром ветру;
Лица у людей — как блеклая солома,
Мокшая под ливнем, превшая в жару.

АНТИЧНАЯ ЖАТВА
© Перевод В. Топоров

Уже пожухнув, держатся листы.
Настала жатва; чем богата нива?
Горстями зерен, собранных ревниво.
Страна стара; поля стоят пусты.
И горсточка людей — сухих, как эти
Скудные злаки; и одних на свете.

«Накаркает погибель воронье».
Пусть чудится повсюду птичье пенье
Юнцам — презренье к смерти есть забвенье.
А что она сулит нам? — Забытье.
Терпенье — вот единственная вера.
Все остальное — глупая химера.

А почему так тучен этот клок Земли? —
«Здесь похоронены герои-
Конфедераты, эту землю кровью
Смочили». — А! — Трубя в Роландов рог,
Взыграла память старческая. В клети
Сердец пересыпают лихолетье.

Охотники Роландов ритуал
Еще блюдут. Их рог, их псы, их ружья,
Их рыцарская праздность. И обложат
Лису. И, уповая на финал
Не меньше, чем они, она помчится
Кругами, как вакхическая жрица.

И все ж вначале жатва; желтизна
Бронзовочасья Господа и поля —
И зарожденье смертоносной пыли,

Уже готовой опуститься на
Растения, камения и лица.
Мечтатели, пора поторопиться!

О юность голорукая, трудись
Над бронзой поля. Это изобилие
Недолгое, меж зеленью и пылью,
Есть символ Богоматери. И мысль
О том, что воздаянья по заслугам
Нет на родной земле, отринь с испугом

И в исступленье клятву прокричи:
«Да будет град, и снег, и лед по рекам,
Но недостоин зваться человеком
Тот, кто забыл, что вечно горячи
Лучи любви небесной, и за сотню
Чрезмерных благ удел покинул отчий!»

И у Нее — морщины на лице.
Но любит нас — сегодняшних, вчерашних,
Мелькнувших, пусть на миг, на этих пашнях,
Навек пропавших. Думай о конце
Своих трудов и дней в боях и брашнах —
Бесстрашней думай. Думай о Творце.

ЧЕЛОВЕК, ЛИШЕННЫЙ ЧУВСТВА НАПРАВЛЕНИЯ
© Перевод В. Топоров

Дам растрогает твой рассказ:
Как герой напал на колосса,
Неприступного, как утес,
И погиб, но не праздновал труса.

Знаю жалобней: как один
Благородных кровей цыпленок
С нежной юности до седин
Попадал впросак, как ребенок.

Он заслушался птичьим пеньем,
Он под солнечным светом взмок,
Он природы своей не понял,
Соответствовать ей не мог.

Ржали лошади от восторга
И людишки от счастья жить,
Он же морщился от касторки
Человечьей и конской лжи.

Панацеей была б женитьба,
По, наслушавшись о любвях,
Он испытывал к дамам, хоть бы
К самым ласковым, злость и страх.

Из невестиной спальни, критик
Ее тайных сердечных ран,
Он, холодный, как Лета, вытек
В Ледовитейший океан.

Где б он ни был — хоть в бочке меда,
Хоть на небе седьмом — везде,
И подавно среди народа,
Был в отчаянье он. И где

Было помнить ему о крыльях
Милых ног и воздушных рук.
Он бежал от нее, как кролик,
И считал: это ловкий трюк.

Как античный певец на бронзе,
Раздираемый на куски,
Он пытался в стихах и в прозе
Вызнать имя своей тоски.

В ад отправленный, он не ведал,
Ни зачем, ни хотя б за что,
И в смущении проповедовал
Убедительное Ничто.

Неожиданно и стремительно
Он вернулся к своей судьбе —
Для кого-то обворожительной,
Для него — недурной собой.

Но в объятьях, в тепле, от таянья
Был далек он, как никогда,
И лелеял свое отчаянье,
Как сорвавшаяся звезда.

АЛЛЕН ТЕЙТ
© Перевод П. Грушко

ПЛОВЦЫ

Место действия — округ Монтгомери, Кентукки, июль 1911 года

Кентуккских вод прохлада ключевая!
С четверкой сорванцов к речной волне
Спешит малыш, от зноя изнывая,

Здесь лозы льнут к деревьям в тишине
И у щеки лист лопуха ворсится
Ладошкой Навсикаи. Вновь во мне

Скупой слезинкой детство золотится,
И, высохшие, ожили ручьи
Любви и страха. Вновь былое длится,

И дрозд, качнувший ветку в забытьи,
Насторожил под деревом тюльпанным
Пружину мокасиновой змеи…

Тропа над плесом поросла бурьяном,
С небес течет расплавленный свинец,
И мы шагаем в полусне дурманном —

Билл, Чарли, «ниггер» Лейн (его отец
Был врач), тиликавший на флейте Гарри
И Аллен — я — прославленный пловец.

Сумах поник листвой, как на пожаре,
Заждавшись подаянья облаков,
И мы бредем в полуденном угаре

К воде, чей и в ночи не молкнет зов.

Лейн закричал: «Передохнем немного!»
И тут — глухою дробью — стук подков…

Одиннадцать гнались по краю лога
За тем, кто изнемог и был темней
Щербатых плит у старого порога.

И как спешат подобием теней
Лунатики по скошенным карнизам,
Когда инстинкт всех навыков верней,

Мы очутились у реки и низом
Брели, от страха проглотив язык,
По узкой тропке над потоком сизым —

Нам слух глазами стал. И вновь возник
Отряд, но с ним не появился снова
Тот, кто бежал. И я ослеп на миг,

Увидев это воинство Христово —
Позором изнуренные тела…
Потом тропа вдоль берега крутого

Пошла ровней и к бухте привела.
Мы на песок присели сиротливо,
Вода рябой прохладою влекла.

Но, словно водоросли в час прилива,
Зашевелились волосы, и весь
Поджался я, услышав, как с обрыва

Слова скатились — горестная весть,
Как будто горсточка земли упала
В могилу: «Это мертвый ниггер здесь».

Шериф, на явор опершись устало,

Травинку отломил не торопясь
И, ковырнув в зубах, отметил вяло:

«Мы опоздали», — нехотя склонясь
Над Мертвецом остывшим, чью сорочку
Кровь запятнала и сухая грязь.

Слепень куснул удавленного в мочку.
Шериф легонько голову носком
Подвинул, поместив ее на кочку.

Друзья бежали под уклон гуськом,
И я был рад их бегству. Вечерело.
Подъехал всадник. Спешившись, рывком

За ноги потянул большое тело.
Набросив петлю на ступни, шериф
К луке веревку привязал умело,

Труп изогнулся, будто был он жив,
Напрягся — словно леска со стремниной
Сражалась, уступая… уступив…

Шериф бранился, но тому причиной
Был не мертвец, а пыль, ее поток
Над кавалькадой, мчавшей по пустынной

Дороге в городок. Я здесь не мог
Остаться дотемна! По теплой пыли,
Босой, я припустил не чуя ног,

Как жаба, прыгал через рвы, в бессилье
Хватая воздух ртом, а сам глядел,
Как всадники к суду свой груз тащили —

Труп, над которым, точно саван, рдел

Закат, а пыль, клубясь, преображала
В толпу три смутных тела. Я летел,

И с каждым вздохом в грудь вонзались жала.
Потом один стоял, а голова
Безликая на площади лежала…

Столь личная, когда была жива, —
Отныне всем она принадлежала.
Но плакала над нею лишь трава.

ОСЕНЬ

О стекла осень бьется,
И мне открылось вдруг,
Что я на дне колодца,
И юность канула во мрак,
И на губах паук.

Был воздух чуждым, словно
Песок в мясном ряду,
Он в горле саднил, как наждак.
А я кого безмолвно
В пустынном зале жду?

Над головою сизо
Круглится потолок,
Ни лепки, ни карниза.
И без ковра был пол не пол,
И взгляд ничем не мог
Насытиться. Лишь двери —
Я их пересчитал
И ждал, чтоб кто-нибудь вошел:
Пусть тень, по крайней мере,
Скользнет в пустынный зал!

Уйду! — себе сказал я, —
Здесь осень, мрак и прах,
Ни смерть, ни жизнь. Из зала
Уйду я в город, там огни.
А страх — всеобщий страх.
Опасливой улитой
Я зал переползал,
Боясь упасть, и мчались дни,
Я к двери полз закрытой

Через пустынный зал.

Но дверь была обманом:
Ни ручки, ни замка,
Был этот дом капканом,
И все же видел я, что дом
По мне. Я брел века,
А был я неизменно
В начале всех начал.
Вдруг дверь открылась, и в проем
Седой старик степенно
Вошел в пустынный зал.

Как ночью от испуга
Не убыстряют шаг,
Вводя в обман друг друга,
А лишь украдкой поглядят
Сквозь беспросветный мрак —
Так мой отец явился,
Ни слова не сказал,
А только бросил робкий взгляд,
Поправил плед и скрылся,
Покинув мертвый зал.

А следом вереницей
Расплывчатая рать
Старух и старцев, а потом
Сестер и братьев лица,
И я увидел мать
В простом домашнем платье,
Глаз голубых овал,
Не задержавшихся на том,
Кто к ней, раскрыв объятья,
Шел через мертвый зал.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АЛИСЫ[100]

Большая, но не тучная Алиса
На свой закатный возраст оперлась.
Кот склабится сквозь дремлющие листья,
От гнева беспричинного трясясь.

Изменчив вечный свет над страшной рамой,
Там сгорбилась навек трава в стекле,
Застигнутая дребезжащей драмой
В неколебимой зазеркальной мгле.

Наморщив носик, умница Алиса
Весь день решает с каменным лицом,
Как подсластить последствия каприза
Каким-нибудь магическим словцом.

Окутанная вечностью двойница
Чихнуть боится: только рот скриви —
И Все-Алиса мигом раздробится
Под натиском предательской любви —

Любви к себе (земной и в Зазеркалье),
Чей холод домогается тепла,
А губы — губ своих же (не она ли
Их рассекла, уйдя во мглу стекла?).

Дитя душевного кровосмешенья,
Безвольная, как берег меловой,
Она — головоломка и решенье,
Костер с душой бесплотно-огневой:

Как в космосе, здесь ночь без дней, вернее —
День без ночей, и мир развоплощен

Так сладостно, и стынет перед нею
Ленивый прах людей, сгущенных в сон!..

Мы тоже не вернемся в мир разбитый —
Толпа теней, бесформенный поток,
Расплывчатая взвесь и монолиты,
Неисчислимой вечности итог —

Слепая пыль, которой все простилось!
Но лучше бы — о нашей плоти бог! —
Твой гнев навеки, лишь бы эта милость —
Живая боль среди земных дорог.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

БОРОДАТЫЕ ДУБЫ
© Перевод О. Чухонцев

Дубы, морские исполины,
В струенье спутанных бород
Колеблят свет — и суть картины,
Задвинутая, ночи ждет.

Итак, лежим во мгле дубравы,
Из мглы, растущей в небосвод,
Следя, как водоросли-травы
Под ветром ходят взад-вперед.

На дне, на шельфе дня и лета,
Лежим неслышно, как полип,
По мере убыванья света
Затвердевая двойней глыб.

Нас тьма столетьями творила,
Архитектоника теней
И видимость, теряя силу,
Безмолвье делают тесней.

Полночный шторм в листве промчится,
Взбешенно проблеснет зарница,
Бурун пробоpонит верха:
Тьма неподвижна и тиха.

Страсть и резня, тщета живая
О прахе, полоща кусты,
Заносят реки, намывая
Фундамент нашей немоты.

Здесь пренья истлевают наши,

Здесь гнев — окаменевший гнев,
Где нет надежд, там страх бесстрашен
И спит история, истлев.

Как поздние шаги, бывало,
Будили уличную рань
И сон потухшего квартала,
Так фары спугивают лань.

Ты нравишься мне тем телесней,
Чем сердце глуше взаперти
Колотится во мрак железный,
Вынашивая свет в груди.

Живем, а веку века мало,
И знаньям веры никакой,
Так что отдать бы не мешало
И вечности часок-другой.

СОСЕДСКИЙ РЕБЕНОК
© Перевод О. Чухонцев

Соседский мальчик дефективен, так как мать
При семерых уже исчадьях в той клоаке
Пилюль налопалась или свихнулась в браке,
И вот — еще один: урод ни дать ни взять.

Сестре двенадцать. Ангел писаный, она
Сидит с уродцем этим кротко, как святая.
Он ручкой машет: Ciao, Ciao![101] — повторяя
По-итальянски. А она, как день, ясна.

И от мадонны этой злость кипит моя.
Дуреха, знает ли, что все не так-то просто,
Чтоб оправдать или не оправдать уродства:
Маразм судьбы или паскудство бытия?!

И что: петля иль воля эта красота?
Благословенье ли? — Доверимся надежде,
Что и прекрасного коснется мудрость — прежде,
Чем в щель засвищет мировая пустота.

Пусть венчик радости твоей — ориентир
Там, где империи крошатся и светила.
Я улыбаюсь: — Ciao, Ciao! — через силу
И говорю, махнув рукою: — Это мир.

ЧТО ОБЕЩАЛОСЬ, ЧТО УЛЫБАЛОСЬ ВЕЧЕРОМ С КЛЕНА?
© Перевод О. Чухонцев

Что обещалось, что улыбалось, вызлатив крону,
Вечером с клена? Что там за говор листьев-цикад?
Вот уж отцы возвращаются, глухо стуча по бетону,
Каждый влачит свое личное бремя, косясь на закат.
В сумерках первых тает гортензий призрачный дым.
Первый светляк пышет светом холодным, и угомону
Вечеру нет, когда первые звезды всходят над ним.

Что обещалось, когда на заре стрижи шелестели,
С шумом носились в ярких лучах среди темноты?
Ружья подростков дружно гремят по стремительной цели.
Дети кричат, когда падает стриж с золотой высоты. —
Мал еще, чтобы стрелять, — так что годик, дружок, погоди.
Лучше бери свою птичку — (глаза ее остекленели) —
Можешь кричать: это кровь, — твое сердце трепещет в груди.

Что обещалось, когда уже к ночи дети сцепили
В длинный состав обувные коробки, и паровоз
Двинул — тук-тук — вагоны — тук-тук, — и окна поплыли,
В каждом свеча, и гудок разносился — у-у — в такт колес?
Ты убегал и, спрятавшись, слушал где-то в углу,
Как тебя звали через пустырь, где в веере пыли
Маленький поезд грустно мерцал и звал тебя — у-у.
Что обещалось, когда уже умерло все и потухло,
Словно бумага, вспыхнув впотьмах, — на тьму долгих лет,
И молчаливо съежился дом, и крона пожухла?
Воспоминанья свежи: сквозняком обдувает хребет.
Что там за скрежет: дверь распахнется настежь —
и
хлоп?!
Да, что-то мы потеряли давно, простыл уж и след.
Спишь, а во сне открывается дверь, скрип — и озноб.

Много спустя стоял я один в знобящих потемках
Там, где ушли они в сон и фермы с лесами ушли.
Серо, и сердцу пусто в этих местах негромких.
Вдруг подо мною земля стекленеет и из земли,
Из глубины, где покоятся бренные их тела, —
Кости мерцают в фосфоре славы, светятся и —
Роберт и Руфь открылись… Но тьма, тьма свое взяла.

Что же, земля есть земля, и свет тот погас, и молча

Взгляд свой я поднял на мир, где были мы плотью, одной,
Роскошь лесов, неохватность полей и отблески ночи —
Рельсы вон там, и угольный скат, и город ночной.
И ее голос спокойный сказал: — Дитя, улыбнись. —
Так и его спокойный, как звезды над тишиной:
— Мы для того и ушли, чтобы все обещанья сбылись.

ПОСТИГАЯ ОТЦОВ, СТИЛЬ XIX СТОЛЕТИЯ, ЮГО-ВОСТОК США
© Перевод О. Чухонцев

Были они людьми, страдали, ходили в длинных глухих
сюртуках с золотой цепочкой и при часах.
С дагерротипов глядят они пристально взглядом сурового

осужденья
Или с картин, написанных маслом, и, кто мог знать,
сколько боли в глазах,
Которые строго теперь отмечают наши печальные

заблужденья.

Некоторые составляли петиции, слог Джефферсона:
призыв и протест.
И патриота знавали позу: левая за спину или опущена

долу,
Правая к негодованию Господа громко взывала,
подъемля перст.
Был всегда дедушка-просветитель, приверженный

истинному
глаголу.

Некоторые отдавались учебе, греков читали, отправясь
в
лес,
Или живого искали эпоса в собственных подвигах
и
морали,
Будь это Нестор[102], в свино-таверне погром учинивший, как

Ахиллес.
Когда Сэм Хаустон[103] умер, на перстне одно лишь слово:
— Честь —
прочитали.

Их чада, рассеиваясь, летели, как зерна проса в сырую

прель.
Жены их, выброшенные, как ветошь, в дальних углах
умирали
где-то.
Говорили «Мистер» невесты-жены, не понимали, что
значит постель,
Утром стыдились, шелк обожали, носили ключи
от
буфета.

— Умрем в окопах, если потребуется, — Бауи из Аламо
сказал.
И умер, левой стопой вперед — еще в броске,
в продолженье
жеста:
Голова запрокинута, глаза сужены, палец на лезвии,
вниз кинжал.
— Великий джентльмен, — сказал Генри Клей. Смотри
портрет Бенжамина
Веста.

Или возьмите тех безымянных, от которых вообще
ни
портретов нет,
Никаких медальонов, ни перстней с печатью, хотя
поломанный и
заржавелый,
На чердаке или так, на земле, длинный Дечерд валяется
много
лет;
Или желтая Библия, Слово Божье, им служившая
правдой и
верой.

С ангелами боролись иные — и пали возле амбара
с зерном.
Бились со зверем в себе и обманом, зная, что путь

к торжеству заказан.
И также пали, кто с пеной кровавой у рта, со сломанным
кто
ребром.
Как сладко слезы текли! Бродили по темной стране
со старым
рассказом.

Некоторые процветали, имели черных рабов и акры и ели
на серебре,
Но помнили крик совы, вспоминали, как в сумерках
пахнет паленым
медведем.
Любили семью и друзей и терпели так долго, как можно
в этой дыре, —
— Но деньги и женщины — разорение, махнем
в Арканзас? — Ну что же,
едем!

Один из моих был земельной акулой или как пухлый
какой
фолиант
С подмоченной славой. «Большой и бесформенный, как
мешок с картошкой или
фасолью,
Перекинутый через седло. Знает мало,
но проницательный», — говорят.
Так из истории он выезжает с толстой шеей и тонкой

ролью.

А этот с Шилохом воевал, стал странен, как он, ночами
скрипку терзал.
Ребята Техасом его изводили. — Будь проклят он, нет
ничего там! — но, вздорный,
В фургоне умчал, чтоб всем доказать, и, если хотите,
свое доказал,
Когда через год — Будь проклят Техас! — опять вернулся
к блевотине черной

И умер, и умерли все, и мертвы, и голоса их звенят
из тьмы,
Как последний сверчок морозной ночью, в траве
затерянный, и
едва ли
Нам о выборе нашем они расскажут, умоляя лишь об
одном: чтоб мы
Их старую, их прожитую жизнь — хоть словом одним
оправдали.

Склоним же над прахом их в поздний час уши сердец
своих
И, чему хотят они нас научить, постараемся научиться,
И великодушно простим недостатки и даже величие их,
Ибо дети мы их в человеческом свете и под

сенью
хранящей Господней
десницы.

ЛИСТ ОРЕХА
© Перевод В. Тихомиров

За ночь померкли рощи.
И будто забылась боль,
Что прочь тебя гнала.
Но оживляется болью боль.
И забывается — через боль.

Опавший лист ореха
В дымке скользит золотой.
Мальчишки в той роще рыщут,
Кричат, шуршат золотой листвой.
Эхо в роще полусквозной.

Опавший лист ореха.
Мальчишки ушли. Во мгле
Ни звука, и только белка
Ворошится в листве на пустынной земле.
Или тень это ходит во мгле.

Граненая головка —
Изумрудная змея
Весной оживет, услышит:
Там поступь на тропке лесной — не твоя.
А все-таки ждет змея.

В траве забвенья глуше
Твои шаги из года в год.
Пришел — убил — и дальше.
Змея там другого убитая ждет.
Придет — убьет — уйдет.

За ночь померкли рощи.

Не ты ли стоишь во мгле
И молча ждешь, когда же
Белый цветок опадет во мгле.
Помни об этой земле.

«Когда мир будто ось в колесе, — недвижимее нет...»
© Перевод В. Тихомиров

Когда мир будто ось в колесе, — недвижимее нет,
Когда ветер, что снасти нам рвал полстолетья, стихает,
Когда воздух безвольно, отчасти притворно, вздыхает,
Перепутав, где север, где юг, — появился на свет.

Ты явился в наш век, где с нервическим тиком часов
Сердце, такая, спорит о тактике силы всевластной,
Ты в столетье вошел в час едва ли, не самый злосчастный
И с улыбкой глядишь, как хиреет старик-филосóф.

В час, когда на блевотину пес возвращается смрадный,
Страх во тьме компромиссов раскрыл свой цветок белобедрый,
Когда Зло и Добро вершатся с улыбкою бодрой,
Слившись в рукопожатье навек на картине парадной.

Ты вошел в этот год, когда все обещания лгут,
И цветам не цвести, и померзнуть плодам недозревшим,

Нет пути молодым, и всеобщий отбой — устаревшим,
И куда, невозможно понять, и откуда бегут.

Но куда и откуда бежать нам сегодня, когда ты,
Как по камню, по сердцу ступаешь впервые, шажками
Подвигаясь вперед, научаясь владычить веками,
Наши дни и наш труд попирающий, розовопятый,

Чтобы гордым сознаньем созреть, как настанет пора
Над разломом столетий шагнуть из минувшего века, —
И уверенным взглядом и сердцем прозреть человека
В перспективе столетий, в веках совершенья добра.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДИШКУ В ЛУННОМ СВЕТЕ
© Перевод В. Тихомиров

В окно втекает лунный свет.
В сиянье призрачного дня
Вся комната плывет. Меня,
Подняв с постели, лунный свет
Уводит ночью летней назад на много лет.

Газон луною оснежен.
И в окнах лыбится луна.
И тень впотьмах, как зверь, страшна.
Поев, попив, полив газон,
Все спят — бескровны лица, вкушающие сон.

С подъятым к небесам перстом
В витрине манекен стоит,
Благословляющий Мэйн-стрит,
Лунатик, помнящий о том,
О чем мы забываем как ночью, так и днем.

Устав от странствий и дорог,
Теплушки три сошли с пути:
SR, L-NNR, Katy.
Где их носило, знает бог,
И спят, как три коровы, жуя чертополох.

Я помню пульманов разлет:
То грохот вдруг, то тишь вокруг,
И сердце, слышу, стук да стук.
Билет обратный взят: и вот
Вновь по путям разбитым ночь движется

вперед.

Иду. Бугор, пустырный луг,
На нем нелепый школьный дом,
Во тьме еще страшней, чем днем.
И все ничтожным стало вдруг,
И стал земли огромной сужаться темный круг.

Там под луной, среди двора,
Где земь по-прежнему гола,
Там были дети, и была,
Как тень, беззвучна их игра.
Все кончилось: тихонько уходит детвора.

Глядят. Но я не мог в тот миг
По лицам бледным при луне
Их вспомнить — лица лгали мне,
Хотя любить я их привык,
Как небо ночью любит луны спокойный лик.

Тогда во взгляде их пророс,
Нет, не укор, не крик, не плач
И не прощенье, нет, — незряч
Был взгляд, но в нем сквозил вопрос
Смиренный, как молитва, сквозь бледный призрак слез.

Вот истина: вся жизнь должна,
Под солнцем или под луной,
У человека быть одной, —
Тогда, восставший среди сна,
Тебя не будет мучить бесплотная луна.

МЕСТО, ГДЕ НИЧЕГО НЕТ
© Перевод О. Чухонцев

Я был там, где ничего
нет, но это не тишина,
ибо там голоса, и не
пустота, ибо там вполне
все заполнено, это место
заполняет небытие,
ребра сдавливает, и в горле
застревает его кусок,
как густая мокрота, и,
если кашляете в потемках,
в тех потемках небытия,
даже эха не слышно, так как
темнота не имеет стен,
или, если раздастся эхо,
вместо звука слышите смех,
смех, и только. Лампа горит
у кровати каждой, но света
не дает.

Я предупреждал
не смотреть тебя слишком долго
на сияние моря, но
я беру те слова обратно,
потому что та яркость не-
бытия, то есть море, вовсе
не небытие, а скорей
бесконечное море Небытия,

о котором мечтал Плотин.

НОЧЬ: МОТЕЛЬ НА ЗАПРУДЕ
© Перевод О. Чухонцев

Лежу в дешевом мотеле, и
Вверх брюхом зубатка скользит,
Мерцая, всю ночь по реке,
Черной и с жирным блеском,
Как масло, тихо сочащееся
Из кратера. Видишь! звезды
Высыпали, и река
Знает их белые имена,
И в белом мерцанье белая рыба
Плывет в могучем потоке ночи,
Который и есть река.

Лежу и потею в этом мотеле.
Это все лето, лето.

Река течет. Ее не удержишь.
Она, как ночь, куда-то уходит.

Она уходит куда-то.

МИР — ЭТО ПРИТЧА
© Перевод О. Чухонцев

Я должен спешить. Я должен идти
Куда-нибудь, где тебя нет и где
Не будет тебя никогда. Я должен
Куда-то отправиться, где Ничто
Реально, в силу того что только
Ничто есть реальность и сверх того
Есть море света. Мир — это притча,
И мы — ее смысл. Поток машин
Свою беготню начинает, и смысл
В кишках моих расцветает, словно
Бегония, этого я не решаюсь
Назвать по имени. — О водитель!
Тот свет догони, ради бога, ибо

Приходит время, когда мы все
хотим начать новую жизнь.

Все мифологии с этим согласны.

РОБИНСОН ДЖЕФФЕРС

БОЖЕСТВЕННЫЙ ИЗБЫТОК КРАСОТЫ
© Перевод М. Зенкевич

Танец чаек в буре, игры и рев тюленей
Над океаном и под водой…
Божественный избыток красоты
Правит игры, решает судьбы, растит деревья,
Громоздит горы, вздымает волны.
Невероятная радость.
Звезды огонь сближают, как губы. О, дай и мне
Соединиться с тобой, ведь ни одна девушка
Не пылает и не жаждет любви
Больше, чем я тебя на берегу тюленьем, где крылья
Ткут, словно ткань в воздухе,
Божественный избыток красоты.

НАУКА
© Перевод А. Сергеев

Человек шел, всматриваясь в себя, и сбился
С пути, но отчасти, согласно природе вещей,
за последний век
Наплодил гигантов; но, как маньяк,
Он слишком любил себя, и раздоры внутри него не дали
ему справиться с его порождениями.
У снов о себе не бывает острых краев,
И, вонзив лезвия в тело природы, он вонзил их в себя:
так захотели лезвия.
Разум его предвещает ему разрушение;
Актеон сквозь листву увидал Артемиду нагой, и его
разорвали его же собаки.
Малое знание — камешек из лавины,
Капля из океана: кто бы подумал, что эта малость значит
так много?

МАЙ — ИЮНЬ 1940
© Перевод А. Сергеев

Мы это давно предвидели — гнусность, чудовищную
жестокость, всеобщее унижение: от этого нам
не легче.
Мы слышали медленный каменный шаг армий, слышали
все; мы затыкали уши, мы открывали глаза,
А они приближались. Мы ели, пили, спали, а они
приближались. Иногда мы шутили, а они
приближались. И вот
Они здесь. Теперь и слепой увидит, что вслед за ними —
вырождение, голод разруха — и
Разгул эпидемий: но мертвых еще не достаточно,
мертвых еще не достаточно. Пусть лучше
Людей будет мало, пусть живут они далеко друг
от друга и не заражают друг друга; быть может,
тогда здравость полей и гор,
Прохладного океана и мерцающих звезд проникнет им
в души? Но это
мечта, всего лишь мечта.
В будущем мы ограничим себя,
Позабудем многие человеческие мечты; лишь
безоглядные, бессонные, трезвые скатятся с черной
наклонной плоскости

К новым равнинам; и нам придется признать, что
безумие — норма;
Придется признать, что война — яркий цветок
или громкая музыка, что страсть пикирующего
бомбардировщика
Так же прекрасна, как прочие страсти; что жизнь
и смерть не так уж противоположны. Все это известно
Давно: но сколько новых страстей нам придется узнать
За новую сотню лет.
Что же ты плачешь, моя дорогая?
Такое уж время, и все в порядке вещей.
Если миллионы родились, миллионы умрут,
Если падет Англия, возвысится Германия,
Сильная собака опять окажется наверху,
Все в порядке вещей: это история.
Если погибнет цивилизация, то над этим
Будет повод задуматься. Только нам
До этого не дожить, моя дорогая,
Увы, нам до этого не дожить.

УБИВАТЬ НА ВОЙНЕ НЕ УБИЙСТВО
© Перевод А. Сергеев

Убивать на войне не убийство, но это и не война.
Посылать на Луну ракеты — осуществление детской
мечты, — рассчитывать мегатонны,
Которые могут полностью уничтожить Нью-Йорк
и Москву и полярные льды: над этим работает
Новая порода людей. Послушные, умные, компетентные
техники как дрессированные тюлени — прикажи им
сделать что-то,
И они это сделают. Но не спрашивай их, почему и зачем,
Ибо они ничего не знают. Они разразятся сентенциями
на неохристианском жаргоне, как Эйнштейн.

Что до меня, я старею и никогда еще
Не был таким циничным. Я оглядываю современный мир
и думаю, что моим маленьким внукам
Придется в нем жить. Что, перерезать им глотки?
Красота человека убита, исковеркана и загажена
Подлыми карикатурами; безграничная нечеловеческая
Красота вселенной, красота Бога вечно, жива,

и, быть может, внуки ее увидят.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
© Перевод Г. Симанович

На фоне всеобщего пышного шествия, фатального
шествия к смерти, жалким, поверьте,
Выглядит каждый в отдельности, и сострадаешь до слез
Этим крупинкам в массе, людям, жертвам,
и не кощунство ль
Восторгаться трагической прелестью их творений.
В них красота взбухающей реки, тяжестью налившегося
Ледника на отвесном склоне скалы,
Несущего гибель деревьям; они хороши, как ноябрьский
мороз,
Сопровождающий танец предсмертно пылающих листьев,
Иль как девушка в первую брачную ночь, исцелованная
и окровавленная.
Я бы сжег свою правую руку на тихом огне,
Чтобы все пошло по-иному... И дураком бы прослыл.
Ведь о нас сегодняшних
Не отдельно по каждому стоит судить, скорее —
По гибельному ритму, по тяжкому топоту толп,
кружащихся
В сомнамбулическом танце над черною бездной обрыва.

КОШЕЛЬКОВЫЙ НЕВОД
© Перевод Г. Симанович

Наши ловцы сардин выходят в море безлунной ночью;
ни при луне, ни днем
Не видно, как фосфоресцирует косяк, и не знают они,
где забрасывать сети.
Они ловят к северу от Монтерея, вдоль побережья
Санта-Круса; у мыса Новый Год или мыса Голубя.
Впередсмотрящий вдруг заметит молочной белизны озера
света на пурпурной глади ночного моря; он путь
укажет, и кормчий
Изменит направленье, мотобот пойдет кругами вдоль
мерцающего косяка, и вот забрасывают кошельковый
невод. Круг сжимается,
Все тяжелее невод, наконец с большим трудом сеть
выбрана.

Не передашь словами,
Как прекрасно это зрелище, но минуту спустя почему-то
становится жутко, когда глядишь
На это столпотворенье рыбы, отчаянно бьющейся,
ощутившей свою несвободу. И в блеске,

В пламени вод их стройные, возгоревшиеся тела
то и дело взмывают, подобно живым ракетам, а рыбьи
хвосты,
Подобно хвостам комет, источают желтый прозрачный
огонь; а рядом на водной глади,
Тяжко вздыхая во мгле, морские львы то появятся,
то пропадут; и ночи стена все выше, все ближе
к звездам.

Однажды, в вечерний час, я глядел с вершины холма
На огромный город, феерию цвета, галактику света:
и как тут было не вспомнить кошельковую сеть
И в ней барахтавшуюся рыбу? Не передашь словами,
как был этот город прекрасен и жутковат.
Я подумал: мы дали жизнь машинам, и стали
взаимозависимы, и больших городов настроили,
и теперь
Выхода нет. Мы стали гигантским скопищем, в котором
никто в одиночку путем естественным выжить
не может, лишен
Прочной опоры, сам по себе беспомощен и бессилен.
Сжимается круг, и невод
Уже выбирают. Едва ли мы ощущаем, как натянулись

веревки, но себя уже обнаружили блеском. О нет,
неизбежность
Массовых бедствий ни нам не грозит, ни детям нашим,
но и нам и потомкам

Видеть надлежит, как затягивается сеть; наделенные
властью почти всесильны — но выбирай: или новая
власть
Подкупит и подчинит не только тела, но и души,
или анархия, всеобщий кошмар и хаос.
Это называют Прогрессом;
Вас удивляет, что наши стихи тревожат или заставляют
хмуриться, когда доступен их смысл? А может быть,
дать им волю
И уподобить их современным юнцам истеричным, лучам
расщепленным, надтреснутому смеху? Но они
ошибаются.
И нечему удивляться: кто-то всегда сознавал,
что культура невечна и смертью кончается жизнь.

ОРЛИНАЯ ДОБЛЕСТЬ, КУРИНЫЕ МОЗГИ
© Перевод Г. Симанович

Горе-страна, мощны твои крылья! Но даже здесь
В них нет нужды, а враг ближайший за океанской
далью, к чему ж эти тучи
Бомбардировщиков над побережьем, зачем эти стаи
шершней-истребителей
И непрерывная пальба на испытательных полигонах?

Горе-страна, с орлиным клювом и крыльями, мозгами
куриными.
Заплачь (люди к этому привыкли), заплачь
над кошмарным великолепием средств убивать,
Над смехотворным бессилием здравого смысла,
над гнусным, кровавым
Восторгом возможной победы.

КАССАНДРА
© Перевод А. Сергеев

Безумица с острым взором длинными белыми пальцами
Вцепилась в камни стены,
В волосах — ураган, во рту — крик. А скажи, Кассандра,
Так ли важно, чтоб кто-то поверил
Горьким твоим речам? Воистину люди возненавидели
        истину, им приятней
По дороге домой встретить тигра.
Потому-то поэты подслащают истину ложью; но торговцы
Религией и политикой новую ложь громоздят на старую,
        и их прославляют за добрую
Мудрость. Дура, одумайся.
Нет: ты жуешь в углу свою крошку истины, а люди
И боги возмущены. — Такие уж мы с тобой, Кассандра.

ГЛУБОКАЯ РАНА
© Перевод А. Сергеев

Когда звезда приближалась, огромные волны
Взволновали литую поверхность земли. А когда
Звезда удалялась, они рванулись за нею и вырвали
Вершину земной волны: так из Тихого океана
Возникла луна, белый холодный камень, который светит
нам ночью.
А на земле осталась глубокая рана, Тихий океан
Со всеми его островами и военными кораблями. Я стою
на скале,
И вижу рваный застывший базальт и гранит, и вижу
огромную птицу,
Стремящуюся за своей звездой. Но звезда прошла,
И луна осталась кружить над своим бывшим домом,
Увлекая приливы, звереющие от одиночества.

У физиков и математиков —
Своя мифология; они идут мимо истины,
Не касаясь ее; их уравнения ложны,
Но все же работают. А когда обнаруживается ошибка,
Они сочиняют новые уравнения; они оставляют теорию
волн
Во вселенском эфире и изобретают изогнутое
пространство.

Все же их уравнения уничтожили Хиросиму.
Они сработали.

У поэта тоже
Своя мифология. Он говорит, что Луна родилась
Из Тихого океана. Он говорит, что Трою сожгли из-за
дивной
Кочующей женщины, чье лицо послало в поход тысячу
кораблей.
Это вздор, это может быть правдой, но церковь
и государство
Стоят на более диких, неправдоподобных мифах,
Вроде того, что люди рождаются равными и свободными:
только подумайте!
И что бродячий поэт-назорей по имени Иисус —
Бог всей вселенной. Только подумайте!

ЧТО ОСТАЛОСЬ
© Перевод А. Сергеев

Это правда, что половина величья пропала.
Машины и модернистские здания заполонили пейзаж.
Над горным Кармельским шоссе не парит орел,
На него не выходит пума — ее мы однажды видали
Лет тридцать назад. Все же, по милости Божьей,
У меня есть участок гранитной скалы, на которую Тихий
Океан навалился своей дикой тяжестью; есть и деревья,
которые я посадил
В молодости; зеленые хлыстики из-под руки
Выросли, несмотря на хищный морской ветер,
И приняты в лоно природы, и цапли сердитыми голосами
Кричат с их ветвей. За все это надо платить;
Окружные налоги съедают мои доходы, и кажется
сумасшествием
Держать за собой три акра прибрежного леса
и маленький низкий дом,
Который я строил своими руками, и ежегодно давать
за право владения
Цену нового автомобиля. Ничего, деревья и камни этого
сто́ят.
Уже смеркается. Сам я стар, жена моя умерла,
А вся жизнь заключалась в ее глазах. Мне-то

надо
сосредоточиться
Прежде, чем я проникну в прекрасные тайны
Листьев, камней и звезд. А ей это было просто.
О, если бы все человечество могло постигать красоту!
Тогда бы в мире прибавилось радости и люди, быть
может,
Стали чуть благородней — как сейчас полевые цветы,
Благородней, чем род Адама.

ХАРТ КРЕЙН
© Перевод В. Топоров

ЧАПЛИНЕСКА

От наших шальных утешений — проку
будет не больше земному праху,
чем от шальных попаданий ветра
в пустые карманы одежды ветхой.

Мир изголодавшемуся котенку на пороге,
ибо любви к миру мы преисполнены, —
извлечение из уличной мороки,
сильно смахивающей на преисподнюю.

Безотказные приемчики косоглазой
судьбы, убивающей нас не сразу,
но разворачивающей перед нами морщинистый список
наших ошибок, помарок, описок,
полный сюрпризов!

И все же это искусное сведение на нет
лжет не больше, чем тросточкин пируэт.
На светопреставление не купишь билета.
Берете за душу и ведете, где свет
погашен, монашенку-душу раздетой.

Игра есть игра, но Граалем смеха
бродит луна по одиноким аллеям
над пустыми сосудами смертного праха.
Побоку — похоть, победа, потеха.
Лучше бездомного котенка пожалеем.

БЕСТИАРИЙ СПИРТНОГО

Когда вино смывает сон из мерно
горчицу дней скандирующих глаз,
оправдывает зренье неизменно
тот леопард, что выпрыгнет из нас.

Дома и люди в зеркале графина,
на брюхе у которого лежу,
а он — урчит. В ладоши звездам винным
я хлопаю и тени их лижу.

Путь от Большой Медведицы до Малой
(панели стен из снега и желтка).
Пинцет улыбки рот раздвинул алый,
ее глаза — бубенчики. О, как
он пьян, она юна, как время вяло…

Где рычаги, какими движим змий,
чья кожа — оттиск времени — пятниста,
лазурь вкруг глаз и, черт меня возьми, —
чьих волхвований в небеса вонзится
стрела: его иль — пущена людьми?

Подмигивают мне в окно обманы,
и ревности ее колючий еж,
хлеща из блюдца, хнычет, в стельку пьяный,
и чуть ли не хватается за нож.
Уходит август, плюхаясь в туманы.

Вино живет в алькове, в алтаре,
творя свою чудовищную волю.
Тела не просыхают на заре,
как рюмки, и, стигматами раздолья,

резцы разгрызли роз смятенный куст.

Стакан мой пуст! о, дивные ублюдки,
плодимые свободой, что сулит
вино — пропутешествовать навзрыд
сквозь мирозданье без чужой побудки!

В моей крови, за трезвости порогом,
колотится в капкане чистота,
колоколов святая простота
наяривает адом и пороком,
яд изрыгают, рыкая, уста:

«Проклятье вам, исчадия искусства!
Коктейль из желчи, страсти и тоски!
У вас есть зубы, у земли — клыки,
они острей. Пространства сквозняки
закрутят смерч, и место станет пусто,
когда воздастся людям за грехи.

Восстаньте, кто стоит, из лютой скверны
опивков и объедков и в стакан
плесните кровь из горла Олоферна,
а не твоей, Креститель Иоанн.

Вспорх страсти! ты обманчив и недолог! —
Уже занес булавку Энтомолот».

НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ ФАУСТА И ЕЛЕНЫ

I

Порою Мысль не блещет новизной,
но медною монетой в миллионах
расходится вселенскою казной,
поделена на день с его делами
и думами, на мастерский бейсбол,
на шифр стенографисток, на цитаты, —
и надо всем то ль нимб, то ль ореол,
и крылья то взлохмачены, то смяты.

Под воробья причесаны крыла
у Мысли; вирши вышвырнуты напрочь;
опушки дня, одышки мостовых,
битком набитых, зори альпинистов
и жемчуга искателей — насильно
уведены в аптеку и в цирюльню,
а проявитель вечера так темен,
что оттиски, как девственность, бледны.

Такова картина мира для тех,
кто расхристан любовью к вещам
несочетающимся...

И все же, забывая заплатить
подчас за путешествие в трясучке,
трясешься в ней, чтоб чашу зла испить.
Там Ваши очи чуть ли не внезапно,
едва ли не повсюду предо мной —
щедры, хоть неуступчивы отныне, —

и вроде бы веселье за окном.

Таков мой путь дотронуться до Ваших
рук, пересчитывающих все ночи,
оставшиеся из уже пропавших с
зелеными разводами реклам.
Чернеет в глубине ночных артерий
кровь радости, густеет кровь потери, —
я просыпаю лунный свет речений
на снег, уже коснувшийся очей, —
и наступленье сна как преступленье.

Взаимопревращение вещей
и Ваш глубокий стыд, когда экстаз
живот и члены радугой потряс
и хлынул горлом света и дождя…
Неотвратим чудовищный зазор
меж тела с телом, голубой прилив
той крови, что течет, полузастыв, —
так твердь, светясь, перетекает в смерть.
Но я хочу Елену удержать,
исчезнувшую от единой мысли
о том, что узы жарких рук не так
прочны, как почва или жизнь железа.
Елена, или жарче тот огонь,
что жжет в цепях погибели, не плена,
вдали от миллиона жадных глаз,
белей, чем грады белые, какими
прошествовала, руша на себя
вселенные отдельных одиночеств?
Последний взор, прикованный к тебе,
прими, не обделив его, зане
таинствен и единствен он и не-
приметнейший, но целый мир в огне.

II

Медный гипноз этих труб вокруг,
топот тарелок, и радость ног,
и магнетизм этих тремоло —
опера-буфф на полный звук!
Что за пассажи! и рикошет
с крыши на крышу. Зачем Олимп,
если в раю, и ведет восторг…
Рыщут амуры-негры меж звезд!

Тысячи светов сбивают с ног
там, где мелодий обрушен град.
Тени витают, и сыплет с них
снег проигравших игральных карт;
легкий галоп до рассвета светел —
переполох унимает петел.

Попросту, попросту — коловращенье,
новые поиски и приключенья,
пьяным кларнетам гульба по губам, —
столь же изящно, без тени стесненья,
пали со мной, как вступили в Пергам.
Бег облаков над Эгейскою далью —
дивен и дивно неведом уклад.
Вся безмятежность, Вы восседали
в кресле-качалке, и рушился град.

О, я познал эмпиреи металла,
райских кукушек малиновый звон
над барабанами эсхатологий,
дев о кончине улыбчивый сон,
тенты на пляже и отпрыск лебяжий —
первоизданье гротескных времен.
Музыка эта меня будоражит.

Вечной виною и вечной весною
песня сирены из пламени свеч:
располосованная новизною
встречи — мы жаждем, наследуя, встреч.
Хмуростью ль этой ответим улыбке —
той конькобежицы по небесам,
чертящей в бурю узор без ошибки.

III

Вершительница судеб в дивной шляпке,
где я зарю встречаю за рулем,
в ущельях тьмы, искусница смертельных
запутанных и нежных номеров,
твой шепот не рядится в сталь —
                убийца
во имя веры! и тебе разбиться,
как смертному какому-нибудь, час.
Но дай, как ветру, вырваться, излиться
тоске и состраданию из нас.

Мы мчимся,
из скорости искрóю рвется смерть,

и шестерни визжат от напряженья, —
мы мчимся по дорогам, схаркнув злость
лужей на луг, мы мчимся, глядя дальше, —
воронки слез, пустынные дома,
похожие на верных и забытых
уже старух — ведь время не щадит их.

Мы не забыли, снайперша, ни тех
ветвей внезапных, ни воздушных долов,

ни куполов червонных городов!
Наперерез обрушенному небу
открыть огонь — отступится волна,
скала отхлынет, где промчимся вихрем.

Мы выжили, об этом не прося,
и настоим на праве говоренья,
пока сырая темная стезя
не вынесет в бессмертье и Десница
скользнет с ресниц Елены на чело —
насытить немотой и благодатью.

Утюг, махорка и одеколон —
в Типерери, небесный новобранец!
Душе пора укладывать свой ранец,
пока вокруг колокола и плач
и прах земной — остыть ему — горяч.

Пуп серповидный неба над водою;
рукой Эразма невод заведен,
искрит мотор лозы и розы крови,
фонтаном брызжет новое вино,
ты крал ее, губительницу Трои,
ты брал ее, но это все давно.
Так высмей покаянье жалких дней,
наложенное на ее дыханье,
на то, что было златом, — а ценней
ее волос — нет злата у теней.

Восславим времена, когда рука,
круша и рушась, молотила небо,
за пядью пядь, отчаянья поверх,
превозмогая торги, речь и грех.

БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ

С которых пор, дрожа, рассветный хлад
накалывает чаячьи крыла
на черные булавки? — Там, где своды
неволи возле Статуи Свободы.

Отказывает зренье — столь чиста,
и призрачна, и парусна чреда
и пестрота переводных картинок,
а день вдали — размытый фотоснимок.

Я вспоминаю фокусы кино —
ту спешку, тот мгновенный проблеск сцен:
быстрей, быстрей, но скрыться не дано,
и — новый пленник тех же самых лент.

И, в серебре, над миром, над заливом,
поверженный в сраженье исполин,
ты держишь рабства мирную оливу,
ты — поступь солнца, но пришел Навин.

Самоубийство — это ль не ответ
Содому и Гоморре? Пузырем
рубаха раздувается на нем,
победно оседлавшем парапет.

Твоих зубов размашистость акулья
вгрызается в дырявые дворы,
и Северной Атлантики пары
с тебя дымы и домоседство сдули.

И горестна, как эти небеса
еврейские, твоя награда. Рыцарь,

легко ль держать оружье на весу,
когда не смеет битва разгореться?

О арфа, и алтарь, и огненная ярость!
Кто натянуть сумел подобную струну? —
Трикраты значимей проклятия пророка,
молитвы парии, повизгиванья бабы.

Огни твои — как пенки с молока,
вздох звезд неосквернённый над тобой,
ты — чистая экспрессия; века
сгустились; ночь летит в твоих руках.

В твоей тени я тени ждал бесслезно —
лишь в полной тьме тень подлинно ясна.
Город погас иль гаснул. Год железный
уж затопила снега белизна.

Не ведающий сна, как воды под тобою,
возведший свой чертог над морем и землей! —
Ничтожнейший из нас все ж наделен судьбою,
убою подлежит и верует порой.

РЕКА

(...кричат рекламы, уплывая прочь —)

Застолби свое имя на вывеске,
братец, наляпай, не таись, назовись,
стань *Текстилем* или греком *Лакикраски* —
маски долой ради всеобщего блага! Тягу
дал Берт Уильямс от новорваных афиш.
Шиш! наворуешь цыплят, а поэту
завалящего крылышка нету —
ишо чаво! на тысячи миль вокруг
ночной сплошной телеграфный стук —
Фордисоны и Эдифорды
и стремительные головоломные кроссворды
мордой в небо: в то время, как *скорости*
растут, *хворости* гнетут, а *коммерция* и *Святой Дух*
в каждом *радиоприемнике* услаждают слух,
а *Северный полюс* попух,
а *Уолл-стрит* и *непорочное зачатие до трех часов ночи*
и *прочие услуги на дому* и — прочь,
к чертям, от церковных окошек, и кошек, и, господи
прости, дух бы перевести... как прикажете... ку-ку?

Вот тебе *двадцатый век,* вот тебе
предприятия — и одно безнадежное:
три оголодавших уставших мужика
таращатся на рекламы родимчиками в облака —
рекламы или кометы: шмыгнули хвостом — и

нету?

(для тех, кто бродит с адресом вдвоем)

Последний мишка из лесов Дакоты,
хлебнув картечи допьяна, утек.
Стальных тисочков ювелирная работа
из вен пустила тикающий ток.
А все ж напитки не чета и четкам:
не выпьешь реку, а ручей — вполне,
ища ключи к своей души загадкам
или, быть может, мира засыхающий исток.
По компасу — но в камбуз: жвачка штатов —
Огайо, Индиана… мерзкий вкус…
Киталия. Германция. Эвбрус.

Желание блеснуть и полоснуть
по времени блесною техновспятий
вбивает крючья песен им во грудь,
и ветра вертелы визжат в любом куплете:
Прощай, Кентукки, и *Денек вдвоем,*
и *Прем, куда попрем.* Я внемлю этот гром,
и вот дружок, с двуствольным глазом кольта,
о господи, твердит, люблю я дыню со льда!
Хмельные тучи брызжут над землей.
«Была старушка Салли молодой,
а дело было, парни, в Луизиане…»
«А дело было у тебя по пьяни», —
заначку предпоследнюю на стол.
«Люблю ловить форель с утра, — хлебнул, —
местечко знаю». Грустно-деловитый,
костер затопчет и потрет свою
причинную бородку…
Узнаю
консервный, точь-в-точь папенькин, заводик… —
Над заводью, где удочки заводят

бродяги бородатые, заведены
не заводить ни дома, ни жены,
а лишь случайный промысел — за водку.
Любой из них — дитя, подобно мне,
седлающее деревянную лошадку,
цепляющееся за невзрослость служб,
закинувшую их в такую глушь. —
И кулаки гремят, как погремушки.

(…к ней прикоснувшись, знаешь, кто она —)

Они коснулись, может быть, разгадки.
Антарктика и Арктика страны —
щедрая плоть под исполинским ливнем;
глаза как фьорды, и о «фордах» речь.
Как не промчаться на такой лошадке,
как грудь ее руками не разжечь —
серебряную, дымчатую, — мимо
Долины Спящих, — и обрящешь Юг
и Запад, — мчусь я полночью родимой,
от керосина уносимый ламп
(о Ночь, меня повергшая на лоно!),
забыв во сне ее прозванья штамп.
Что налетает — поезд или пламя?
Но из ее груди я слышу вопль.
Под гривой ветра детский плач в вигваме —
но разлетелась тех династий опаль.
Мертвое эхо! плоть ее нагая,
змий времени, стекающий с плечей,
из кос орлиных скорость исторгая…

(…и не преданья, памятные предкам…)

Былые божества дождя и града
лежат, свернувшись, в мертвых озерцах, —
вокруг скользят безглазые наяды, —

подняться б, как зерну, в младенческих слезах!
Железных Гор окружье. Чем питаться
обманутым обманщикам-богам?
Железом, что ль? До них не достучаться
киркам и динамитным порошкам!

А пульманы подносят отбивные
из чистой стали. Рот раскрыл туннель —
дымятся блюда, стынут заливные
луга, а если выветрился хмель,
на пересадке водка и постель,
а утром новый поезд — до Каира
в штате Огайо. И на Теннесси есть.
А если лето, если мух не счесть,
бриз освежить изволит вашу честь
от похоти речной. И тут же грянет
Билл Бабник, Бравый Джо — кто что затянет.
А если в гору ваш великий полоз
с великою одышкою пополз,
в окно просуньте волосатую ручищу
и спойте *Нашу славную речищу.*

А вы, Шериф, Палач и Проводник,
жуя табак, сопите веселее:
Река пропоит вас — и вас! — троих,
из вечности своей ни капли не жалея.
Всем скопом обсчитать судьбу нельзя,
у нескольких же — выйдет преотлично,
ведь и в раю рванет Дэн Мидлэнд тормоза,
спустив на тормозах все райское величье.

Мы следопыты — времени назло,
первопроходцы первозданной пены,
трудами нашими страну не развезло,
но мы доподлинней пловцов по Иордану.

Праокеан отхлынул — с ваших глаз
долой. — И, не охоча до оброка,
лениво, как слепая; притомясь;
по валунам расшаркою потока

течет *река* — и тратит ваши сны.
С тяжелой, бесприливной, беспрерывной
наедине — кто вы? О саксофон волны
тягучей, негритянской, заунывной!

Глухой тоннаж, марш выветренных дней,
артерии, стреноженные илом,
морены в колыбели у корней, —
все приняла *река,* все проглотила.

О, что за прихоть — проглотить рассвет!
О Миссисипи! джунгли водной глуби!
Рысь в чаще мира! чей найдут скелет,
когда отхлынешь к следующей глыбе?

Останками де Сото напитав
луг подневольный, Град Трех Царств минуя,
новые кольца выпростал Удав
(морскую соль в руду береговую

уже подсыпав), волен и тяжел.
А впереди — лишь горизонт… Отныне,
отравленная, бросив свой престол,
нисходит в ядовитую пустыню

вечного сна морского, сохранив,
измучена Историей, порыв
течь! рваться! разрываться, как нарыв!
Погибели своей осанну возгласив.

КЛОД МАККЕЙ

КРЕЩЕНИЕ
© Перевод П. Вегин

Пускай в горнило я сойду один.
Вы стойте наверху, где жар не так ужасен,
спущусь нагим, как откровенье, ясен,
в сплошное пекло роковых глубин.

Не вздрогнет плоть моя, вам не засечь
мгновенной вспышки моего уничтоженья;
узнав судьбу в лицо, сдержу сердцебиенье,
но в слово вечное успею стон облечь.

Я слышу — имя прежнее мое
в горячей пасти аспида клокочет.
Желаний нет, страх излечим огнем,
я в пламя превращен воочию.
В мир ваших слез я возвращусь потом —
душа окрепшая, в прекрасной оболочке.

ТРОПИКИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
© Перевод П. Вегин

Бананы — спелый и зеленый, и грейпфрут,
стручки какао, манго, мандарины,
имбирь, и авокадо жаждут рук
и удостоены высоких цен на рынке.

Встают воспоминания в глазах
о деревах, легко плодоносящих,
о родниках, о небывалых небесах
и о холмах, похожих на монашек.

Тоска мой взор подернула как дым,
сжигает страсть всю жизнь переиначить,
и в гладе по обычаям родным
я голову клоню и молча плачу.

ЕСЛИ МЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ
© Перевод П. Вегин

А если умирать, то умирать,
как загнанное стадо кабанов,
чью проклятую участь не понять
голодной своре сумасшедших псов.

О, доблестно умрем, коль умирать,
чтоб наша кровь не зря могла пролиться,
и мертвых нас придется почитать
псам, принимающим наш вызов.

О братья! поглядим врагу в лицо!
В удар последний вложим наши силы,
и разве испугают храбрецов
разверстые голодные могилы?

Спиной к стене, лицом к кровавой сваре,
предсмертные, ответные удары!

ИЗГНАННИК
© Перевод П. Вегин

Раб тела моего, мой пленный дух,
тоскует по краям, откуда вышли предки.
И губы жаждут слов, каких не знает слух,
душе не вспомнить песнь, забытую вовеки.

Я б возвратился в джунгли, к тишине,
но Запад заарканил нас деньгами.
Нельзя и грезить о свободе мне,
согбенному пред чуждыми богами.

Утратил что-то я, утратил навсегда,
неназываемое, нужное и нежное,
меж сыновей земли я должен сквозь года
идти один — как призрак, как отверженный.

Поскольку я не под родным дождем
и под угрозой белого рожден.

ТРАГЕДИЯ НЕГРА
© Перевод П. Вегин

Я чувствую трагедию, влачу
ее, как цепь, что по рукам связала.
Я раны Негра залечить хочу,
его беда не раз меня пронзала.

Лишь Негр с терниями на челе
суть Негра, но не белый, постигает
и знает кожей о полночной тишине,
что от людей других его скрывает.

Что написал я — кровью написал.
Нет белых, что мою напишут книгу.
Пускай всяк думает — он только прорицал,
что нам терпеть и до какого мига.

Снуют министры по земле; благи залоги.
А Негр смеется и о свете молит Бога!

АМЕРИКА
© Перевод А. Ибрагимов

Давно противен мне твой хлеб прогорклый.
Как хищница свирепая, клыки,
Америка, ты мне вонзила в горло.
Но хоть мои страданья велики,

Люблю тебя, мой ад. Своей безмерной
Энергией питаешь ты мою.
Перед тобой, бунтарь нелицемерный,
Бесстрашно я, владычица, стою.

Я знаю: ты глуха к моим укорам,
Но, вглядываясь в сумрачную синь
Грядущего, я вижу скорбным взором,
Как рушится гранит твоих твердынь.

И вот уже занесено песками
Все то, что возводила ты веками.

ГАРЛЕМСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА
© Перевод П. Вегин

Под хохот шлюх и рукоплещущих бродяг,
полуодетая, она покачивалась мерно,
а голос был как пенье флейт на пикниках,
когда в ударе черные джазмены.

В движениях своих отрешена,
колебля стан и ткань струя просторно,
казалась гордой пальмою она,
похорошевшей после стихнувшего шторма.

Как черных роз невиданный обвал —
так пышно локоны на грудь упали.
И всяк наглец ее глазами пожирал,
и шлюхи все глазами пожирали.

Но, глядя, как она притворно-хороша,
я понимал — не здесь, не здесь ее душа.

БЕЛЫЙ ГОРОД
© Перевод П. Вегин

Не стану спорить с ним, но и не отступлюсь.
Я в глубине души все годы
лелею ненависть, ей полнюсь и креплюсь,
несу величественно через все невзгоды.

Истлело бы все сущее во мне,
когда б не эта страсть, что наполняет,
возносит в рай, когда горю в огне,
и, как живая кровь, меня питает.

Я вижу мощный город сквозь туман —
скрип поездов, что мчат богоугодных,
мост, влагой зацелованный фонтан,
порт, что заглатывает пароходы,
притоны, верфи, башни, шпили, крыши,
все, как роскошное распутство, ненавижу.

КАУНТИ КАЛЛЕН

И ВСЕ-ТАКИ МЕНЯ ПОРАЖАЕТ
© Перевод П. Вегин

Не сомневаюсь — Бог благонамерен.
Но пусть хотя бы скажет — почему
кроты слепы, тогда как зрячи звери,
и смертна плоть, подобная Ему;
пусть прояснит причину мук Тантала,
томящегося жаждой над ручьем,
и чья капризная рука предначертала
Сизифу — унизительный подъем.

Пути Господни неисповедимы,
Он мелкими заботами своими
так увлечен, что Сам не понимает —
что за сознание Его рукою правит.
И все же самое, Господь, твое нелепое творенье —
поэта черным создавать и обрекать его на пенье!

ТЕМНАЯ ДЕВУШКА МЕРТВА
© Перевод П. Вегин

Розы белые на груди,
свечи белые заколдованы.
Возжелал Рыцарь Смерти любви
этой черной Мадонны.

Чтоб одеть ее в белый наряд,
мать кольцо свое заложила,
чтоб отныне могла танцевать
с тем, кого она заворожила.

ИЗ ТЕМНОЙ БАШНИ
© Перевод П. Вегин

Чарльзу С. Джонсону

Мы не вечно будем сеять, чтоб другие
урожай снимали золотой,
тех, кто братьев травит нищетой,
одобрять не будем мы, немые.
И не вечно сны других сладкоголосой
флейтой будем нежить, услаждать,
нам не вечно слезы проливать,
ведь глаза — это не только слезы.

Соболиная, звездная, хладная
ночь нужна, как и ночь непроглядная,
и есть в мире цветы, что цвести не желают
на свету — только ночью они расцветают.
Так мы прячем сердца в темные времена,
высеваем, выхаживаем семена.

СЛУЧАЙ
© Перевод А. Ибрагимов

Однажды в Балтиморе,
Когда я шел домой,
Мальчишка увязался вдруг
По улице за мной.

Я был в то время лет восьми,
А он — еще моложе.
— Эй, черномазый! — крикнул он
И начал строить рожи.

Я прожил в этом городе
От лета и до лета,
Но из всего, что видел там,
Запомнил только это.

КАРТИНКА
© Перевод М. Зенкевич

Два парня, черный с белым, шли
В обнимку парой дружной,
Как золотой восход вдали,
Как роскошь ночи южной.

Глазел из ставен черный люд,
А джентльмены, стоя,
Грозились, что они уймут
Таких, как эти двое.

Они ж, не слыша эту речь,
Прильнув один к другому,
Шли весело под светлый меч
Грозы навстречу грому.

СКОТСБОРО[104] ТОЖЕ СТОИТ СВОЕЙ ПЕСНИ
© Перевод П. Вегин

Сказал я:
да, поэты будут петь,
взлетят их голоса, начнут греметь,
поэзия начнет вливаться
кровью — в нацию,
как вспышка молнии, врезаться
в сердце нации.
И против всех лишений и смертей,
войны и горя,
строфа к строфе, поднимутся дружней,
чтоб взять за горло
засевших в цитаделях сволочей.

Припомнив гнев и резкие акценты
стихов в защиту Сакко и Ванцетти,
сказал я:
здесь есть для поэтов повод,
для тех, чей взор еще о солнце помнит,
в чьих строках
воедино сведено
бесчестие и чести обостренье,
что вызывают песню — как вино,
волнующее душу менестреля.

Бесспорно, я сказал,
поэты будут петь.
Но не слышно никого.
Интересно — отчего?

ДЖИН ТУМЕР

КОСЦЫ
© Перевод Н. Ванханен

Со свистом руки черных косарей
острят косу. А наострив, скорей
в карман трудяги прячут оселки —
и тронулись, враскачку, напрямки.
Вот черные лошадки в стороне
косилку тянут. Крыса на стерне
визжит от боли, — хлещет кровь из ран.
А сталь все дальше катит сквозь бурьян.

ХЛОПОК, РАСЦВЕТШИЙ В НОЯБРЕ
© Перевод Н. Ванханен

Нашествия жуков и холодов
губили хлопок, и от их трудов
он оскудел, как южный снегопад.
Продрогший стебель был нетороват
под осень на сокровища свои.
Жара за лето выпила ручьи
до капли. Находили мертвых птиц
на дне сухих колодцев и криниц.
И вот тогда-то хлопок вновь зацвел.
Твердили хором старики, что, мол,
все это неспроста. И справедливо —
ведь вправду неспроста такое диво,
чтобы любовь не опускала глаз
и красота цвела в предзимний час.

СЫНОВНЯЯ ПЕСНЬ
© Перевод В. Васильев

О мать моя, грустящая в ночи,
о родина, под бархатным покровом
пропитанная воздухом сосновым,
по всей долине гимном прозвучи.
Ты по долине гимном прозвучи.

Отчизна красных почв и сладких смол,
травой скудна ты, соснами богата.
К тебе в часы вселенского заката
еще не поздно, я твой сын, пришел.
Твой верный сын, не поздно я пришел.

Не поздно, если раб на песни щедр.
Садится солнце в горестной отчизне,
но племя певчее взрастет для жизни.
Еще взойдут ростки из красных недр.
Ростки взойдут, еще не поздно, негр.

О сливы, цвет ваш черен и багрян.
Срывают вас и топчут то и дело.
Но сколько вас осталось для семян!
Багряно-черных сколько уцелело!

Деревья грусти, на закате дня
в моей печали будьте мне опорой.
Вы были и остались для меня
Поющею надеждой и опорой.

ХЛОПКОВАЯ ПЕСНЯ
© Перевод Н. Ванханен

Ну-ка, брат, возьмемся снова,
принимай-ка кладь!
В Судный день падут оковы —
долговато ждать!

Бог душой запасся впрок,
нам душа пошла не впрок.
Хватит с нас, не выдаст бог!
Эй, наддай, браток!

Как по мягким облакам,
по тюкам найдем дорогу
прямо к божьему порогу —
ждать до Страшного суда долговато нам!

Ну-ка, с горем пополам
навалились
здесь и там!
Ждать до Страшного суда долговато нам!

Бог душой запасся впрок,
нам душа пошла не впрок.
Хватит с нас, не выдаст бог!
Эй, наддай, браток!

ВЕЧЕР В ДЖОРДЖИИ
© Перевод Н. Ванханен

Ленивым небесам свои права
отстаивать у ночи недосуг:
все ниже солнца золоченый круг,
все ближе час ночного торжества.

Все ближе пир луны, людей и псов
и южных духов долгожданный миг, —
глаза как кровь, к губам прижат тростник,
душа звучит в слиянье голосов.

Визг лесопилки, оглушавший край,
затих, едва отбой пропел гудок,
и тишина раскрылась, как цветок,
над пашнею, сулящей урожай.

И пирамида щепок чуть видна
сквозь дым, и лес мерещится в дыму, —
но только пни свидетельство тому,
что́ пело здесь в былые времена.

А люди… люди ночи напролет
про трех волхвов и пышный караван,
про страусов и мага дальних стран
поют, как встарь, над топями болот.

Они поют, и сосны в полный рост
дрожат, как струны, вторя голосам.
Они поют, и к темным небесам
возносят вечер, достигая звезд.

О вы, чья песня, как смола, чиста

в священном, вечном шепоте ветвей, —
верните юность узницам полей,
в тростник вдохните чаянья Христа.

СТЕРЛИНГ БРАУН

МЕМФИССКИЙ БЛЮЗ
© Перевод Р. Дубровкин

I

Тир, Ниневия,
Вавилон,
Вы исчезли,
Словно сон.
Стали прахом
Города,
Не оставив
Ни следа.
Только ветры, воя
В вековой пыли,
Весть о них из прошлого
Принесли...
И другой был Мемфис
На заре времен,
Но прошли столетья,
И разрушен он.
Пусть и этот Мемфис
Сдует ураган,
Миссисипи смоет
В океан,
Пусть навеки сгинет он
Без следа,
Как и те, забытые
Города.

II

Бросишь ли Псалтырь, если вспыхнет пламя,
Бросишь ли Псалтырь, брат? —
Нет, молиться я буду вместе с вами,
Вместе попадем мы в райский сад,
Ты простишь нас, грешников, о Господь!

Бросишь ли тогда ты свою подружку,
Бросишь ли ее, брат? —
Нет, покрепче я обниму старушку:
Здесь такие девочки нарасхват,
Темненькие девочки, о Господь!

Бросишь ли ты петь, если Мемфис рухнет,
Бросишь ли ты петь, брат? —
Буду петь, пока глотка не распухнет,
Буду бить по клавишам сто раз подряд,
По разбитым клавишам, о Господь!

Бросишь ли кирку, если Мемфис смоет,
Бросишь ли кирку, брат? —
Если смоет все, негр опять построит,
Но на этот раз уж пускай стоят
Белые громадины, о Господь!

Бросишь ли ты пить в ураганный ветер,
Бросишь ли ты пить, брат? —
Нет, опять в кабак я приду под вечер,
Налакаюсь так, что сам не рад, —
Брошу ли я пить, о Господь!

Бросишь ли ты карты, когда все сгинет,
Бросишь ли ты их, брат? —
Если кто-нибудь мне деньжат подкинет,
Если чудом стану я богат,

Все спущу до цента, о Господь!

III

Уцелеет Мемфис
Иль пойдет на дно,
Черным, как известно,
Все равно.
Простоит он тридцать
Или триста лет,
Нам с тобой, приятель,
Дела нет.
Станут прахом новые
Города,
Не оставив в памяти
Ни следа,
Только ветер, воя
На краю земли,
Будет петь по-прежнему
В их пыли.

СЛИМ В АДУ

© Перевод В. Британишский

I

Явился Слим на небеса,
С улыбкой, весел и бодр.
— Славный ты парень, ей-богу, Слим, —
С улыбкой сказал ему Петр.

— Ты шлялся, бродяга, всю свою жизнь,
Закончен земной твой путь,
Но можешь пошляться еще разок,
Прежде чем здесь отдохнуть.

А чтобы ноги свои поберечь,
Вот эти крылья приладь.
— Спасибо, Петр, — отвечает Слим
И улыбнулся опять.

— Послушай-ка, Слим, —
продолжает Петр, —
Ступай ты ко всем чертям.
Осмотришь ад и дашь мне отчет,
Чем занимаются там.

Запомни все, что увидишь в аду,
Как там, чего и где.
— Начальник, — Слим улыбнулся Петру, —
Все понято, будет сде.

Шикарные крылышки Слим получил,
Почти что как Линдберг Чарльз,
Которого «Дух Сент-Луиса»[105] нес
Километров по двести в час.

Слим тоже, как Линдберг, летел, летел —
Негде там было сесть,
Пока не увидел огромный ангар
С надписью: ЭТО ЗДЕСЬ.

Ступил на твердую почву Слим,
Аккуратно крылья сложил
И пошел пешком, как ходил всегда,
Пока на земле еще жил.

//

Огромные псы промчались, рыча,
И белые черти вслед —
Как Ниагарский водопад,
Шумя на весь тот свет.

Но Слим не струсил, вот те крест,
И шум затих вдали.
Как видно, белые черти в аду
Охоту на черных вели.

Большое здание на пути, —
Вошел, не робея, Слим.
С улыбкой дьявольской сам Сатана
Здоровается с ним:

— А, мистер Гриер, приветствую вас!
Вот уж нежданный гость!

Как вы попали в наши места?
Как это вам довелось?

— Я на минутку, — ответил Слим.
— Пожалуйста, очень рад,
Будьте как дома, вот вам ключи,
Милости просим в ад.

Сатана показал рукой вокруг —
Ей-богу, с ума сойдешь:
В аду творится сущий ад —
Шум, толкотня, галдеж.

Вокруг рулетки большая толпа
Толкается и бурлит,
Как будто это совсем не ад,
А просто Рампарт-стрит[106].

Потом Сатана показал ему
Притоны и кабаки, —
И Слиму вспомнился Нью-Орлеан
И Мемфис в былые деньки.

У каждого черта девица была,
У каждого по одной.
И Слим воскликнул: «Боже ты мой!»
И еще раз: «Боже ты мой!»

Но это было отнюдь не все.
Дальше увидел Слим:
Сидит проповедник, и сразу две
Девицы, обнявшись с ним.

Потом Сатана показал ему
Большой перегонный куб

И груды мертвецки пьяных чертей —
Каждый лежал как труп.

Подводит к пеклу его Сатана,
К огромным адским печам,
Где белые черти черных чертей
Сжигают ко всем чертям.

Бедняга Слим почувствовал пот
На черной коже своей
И подумал, что лучше бы смыться ему
Подальше и поскорей.

— Мне это напомнило наши места, —
К Сатане обратился Слим, —
Я вспомнил Виксбург и Литл-Рок,
Уэйко, Джексон и Рим.

Сатана рассмеялся ему в ответ,
И вдруг ужаснулся Слим:
Был Сатана — и нет Сатаны,
А это шериф перед ним.

Побежал поскорей за крыльями Слим,
Взлетел, приземлился и вот
Приходит опять к святому Петру
И крылья ему отдает.

III

— Ты что-то быстро вернулся, Слим!
Ну что ж, валяй, старина,
Как поживает и чем, скажи,
Развлекается Сатана?

— Видишь ли, Петр, — отвечает Слим, —
Ты посылал меня в ад,
А я по ошибке, видно, попал
В какой-то южный штат.

— Ты что, рехнулся, что ли, Слим,
Или просто дурак, не пойму!
А где ж, ты думал, находится ад,
Где ж еще быть ему!

Иди-ка ты лучше на землю вернись,
Причины не утаю:
Уж больно ты глуп, таким дуракам
Не место у нас в раю...

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ЮЖНЫХ ШТАТОВ
© Перевод А. Ибрагимов

Ну как не простить Ти Кендрикса?
Ведь он южанин. Горячий малый.
В полицейском деле еще новичок.
Увидел бегущего негра —
И сразу нажал на крючок.

Ну как не понять Ти Кендрикса?
Он, ясное дело, не стал бы палить
Просто так, беспричинно.
Это был подходящий случай
Доказать, что он молодчина.

Ну как не утешить Ти Кендрикса,
Раз уж нельзя наградить?
Он же не знал, почему этот негр
Пустился бежать во всю прыть.
Сам виноват: не сваляй дурака —
Может, остался бы жить.

Ну как осудить Ти Кендрикса?
Подумайте только, что вынес бедняга:
С дымящимся револьвером в руках,
Испуганный, точно заяц,
Стоял он — и слушал, как женщины плачут
И негр хрипит, задыхаясь.

ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ

МНЕ СНИТСЯ МИР
© Перевод А. Шарапова

Мне снится новый мир —
Без гнева и обид,
Его украсит мир,
Любовь благословит.

В нем каждый, кто идет,
Найдет свободный путь
И алчности вселенской гнет
Давить не будет грудь.

И черный с белым пополам
Поделят хлеб земной,
И белому я руку дам,
И он пойдет со мной.

И голову повесит грусть,
И жемчугом морским
Над миром радость светит пусть —
Я вижу мир таким.

МУЛАТ
© Перевод М. Зенкевич

Моя мать — негритянка, а мой отец
Был белый, как говорят.
Я не раз проклинал моего отца,
Но беру проклятья назад.

И если я мою черную мать
Проклинал когда-нибудь,
То я сожалею об этом теперь
И хотел бы проклятья вернуть.

Отец мой умер в большом дому,
И в лачуге мать моя.
Так где же придется мне умирать,
Ведь ни белый, ни черный я?

ЧЕРНЫЙ ПЬЕРО
© Перевод М. Зенкевич

Я — черный Пьеро:
Она меня не любит,
И я укрылся в ночь,
И ночь черна, как я.
Я — черный Пьеро:
Она меня не любит,
Я плакал, пока рассвет
Не закапал кровью с холмов,
И сердце мое истекало кровью.
Я — черный Пьеро:
Она меня не любит,
И я с истерзанной душой,
Сморщенной, как шар без воздуха,
Поутру пошел искать
Другую коричневую любовь.

БЛЮЗ ТОСКИ ПО ДОМУ
© Перевод Э. Шустер

В стуке колес о стыки
Слышу я про печаль;
В стуке колес о стыки
Я узнаю печаль;
За каждым ушедшим поездом
Готов я пуститься вдаль.

Я подошел к разъезду,
Сердце дубасит в грудь;
Я подошел к разъезду,
Вот-вот разорвется грудь.
Найти бы вагон, который
Держит на юг свой путь.

Боже, тоска по дому —
Это страшная вещь;
Блюз тоски по дому —
Очень страшная вещь.
Слезы внутри остаются,
А хохот наружу хлещет.

ПОРТЬЕ
© Перевод В. Васильев

Извольте, сэр, —
Всегда одно и то же
Твержу.

Извольте, сэр,
Извольте, сэр.

Вся жизнь моя —
Гора из этих слов:
«Извольте, сэр».

Все для богатых,
Все для белокожих.
Извольте, сэр,
Почищу вам ботинки,
Извольте, сэр.

МЕЧТА
© Перевод Э. Шустер

Крепко держись за мечту:
Если мечта умирает,
Жизнь, как подбитая птица,
К земле припадает.

Крепко держись за мечту:
Если мечта уходит,
Жизнь, как сжатое поле,
С вьюгами дружбу водит.

ПЕСНЯ АПРЕЛЬСКОГО ДОЖДЯ
© Перевод А. Ибрагимов

Пусть дождь целует тебя.
Пусть дождь напевает тебе колыбельную.
Пусть дождь стекает с твоих волос
серебряными каплями.

Дождь стоит тихими лужами на тротуарах.
Дождь бежит быстрыми ручьями по канавам.
Дождь бродит по крыше, убаюкивая нас своей
песенкой
этой ночью.
И я люблю дождь.

ИСТОРИЯ
© Перевод В. Васильев

Прошлое было сплавом
Крови и бед.
Этому в будущем
Места нет.

ПЕСНЯ ИСПАНИИ
© Перевод П. Грушко

Эй, певцы, придите ко мне
И спойте — я весь внимание! —
Песню Испании, чтобы понять:

Какая — песня Испании?

Пойте проще, чтобы понять:
Фламенко — песня Испании?
Гитаны и перестук кастаньет,
Легких пальцев порханье,
Смерть, любовь, дробь каблуков,
Трехструнной гитары такт...
Фламенко — песня Испании?

Если б все было так!

Песня Испании — это быки?
Красный плащ и мулета,
Шпага, рог и в крови песок:
Песня Испании — это?
Куртка и золотое шитье,
Распоротый рогом бок?..

Я поверил бы, если б смог!

Живопись — песня Испании?
Веласкес, Мурильо, Гойя,
Краски, поющие на холстах,
Херувимы и все такое,
«Обнаженная маха»?..
Какая —

Песня испанских широт?
Быть может, песня Испании —
Дон-Кихот?
«Aquel rincón de la Mancha
de cuyo nombre no quiero acordarme...» [107]
Не смейся, друг, надо мной!..
Бомбовозы, волна за волной —
Песня Испании.
Нож в спину, бомбы и газ,
Ужас и слезы из глаз —
Песня Испании.
Быки и дробь кастаньет —
Не Испания, нет.

Песня Испании — это народ,
На который пикирует самолет!
Я трудом своим за него плачу —
Я миллионы коплю богачу,
Бомбы его — для вдов и детей!
А ты — на эти бомбы потей,
А ты — фашистам бомбы готовь,
Проливающим в Испании кровь!..

Над нами свинцовое небо,
Воет ветер, тучи гоня,
Белые дьяволы злобы
Ждут не дождутся дня,
Когда бомбы не только падут на Испанию —
Падут на тебя, на меня!

Рабочий, бомбы с конвейера вон!
Рабочий, кровавым доходам — заслон!
Рабочий, опомнись, не помогай
Наживе, казнящей испанский край!
Считай, что Испания — это ты

И бомбы летят на тебя с высоты!
Ты хочешь в землю зарыться, как крот…

Но поздно —
Пикирует самолет!

Рабочий, бомбы делать не смей,
Кроме бомб, защищающих мир от змей!

Чтоб какой-нибудь Франко, несущий вздор,
И к нам не прокрался на задний двор.
Чтоб не кричал, что он «патриот»,
С колоколен гранаты бросая в народ!
Мои бомбы калечат испанских сирот.
Стоп!
Мои руки делают самолет.
Стоп!

Я для наших тузов наживу гоню,
Нанявших Франко и его солдатню,
Чтоб они загнали Испанию в гроб.

Стоп!

Я Испанию должен от бомб спасти!
Я должен смерть от земли отвести!
Всю землю вернуть себе навсегда!

Песня Испании —
Люди труда!

ЗАВТРАШНИЕ ВСХОДЫ
© Перевод Г. Симанович

Отчетливо вижу, как
Под испанским небом,
Прочно в землю вбит,
Полощется гордой смерти флаг.
Вас, кто под ним зарыт,
Смирила земная твердь —
Так думают те,
Кому невдомек,
Что ваша смерть —
Всходов новых залог.
И видеть людям тем невмочь
Ростки свободы,
Пронзающие ночь,
Чтоб мрак взорвать
И средь тысяч звезд
Имя твое начертать:
Человек,
На земле Испании павший,
Зерном свободы
Ставший.

ГЕРОИ ИНТЕРБРИГАДЫ
© Перевод Г. Симанович

Кровь,
И флаг,
И пламени гул,
И жизнь моя —
Разве уснул
И это приснилось?
Нет, я шагнул.
На пути — океан
И полконтинента.
Границы,
И горы под облака,
И правительства, мне твердившие: *нет,*
накладываем запрет!
Я шагнул.
Чтобы завтра вас не убили,
Я отдал разум и силы,
Какие были.
Пусть и немного,
Ведь я так молод.
(Точнее, *был* молод
Как раз до того дня,
Когда не стало меня.)
И когда осколки
Взрезали сердце мое
И кровь
Хлынула горлом,
Я усомнился, а кровь ли это
Выплескивается.
Или алое пламя?
Или сейчас моя смерть
В жизнь превратится?

Все это с нами:
Наши мечты!
Гибель моя!
Жизнь твоя!
Наша кровь!
Алое пламя!
Все это с нами!

НЕГРИТЯНСКОЕ ГЕТТО
© Перевод А. Ибрагимов

Смотрел я на черных братьев,
И видел мой взгляд удрученный
Ветер в темнице плоти,
Солнце в оковах закона.

Бесконечным потоком
Шли они, шли по дороге,
И вот что резнуло мне сердце:
Слишком уж робки их ноги.

ВРЕМЯ УЖИНА
© Перевод В. Британишский

Смотрю в котелок — он безжалостно сух.
В корзинке для хлеба — лишь несколько мух.

Не верю глазам, зажигаю свет.
Я печь затопил бы — ни щепочки нет.

Из крана вода по капле течет.
Я слышу, как сердце ведет свой счет.

Скрипенье пола. Ботинка хруст.
Здесь был чемодан твой, но угол пуст.

Здесь платья висели — кусок стены…
Не хочешь — как хочешь! Мне — хоть бы хны!

Жаль, нету огня: я бы чай вскипятил,
И сел бы, и сам бы себя угостил…

О господи! Надо бы женщину мне,
А то ведь пособие срежут вдвойне!

ПРОЩАЛЬНЫЙ БЛЮЗ
© Перевод М. Зенкевич

Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь.
Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь.
Мне все равно, куда он пойдет,
Лишь бы отправиться в путь.

Пусть будет недолгая наша любовь
И сладостна и светла.
Пусть будет недолгой эта любовь,
Что наши сердца зажгла.
Пусть будет недолгой наша любовь,
Чтоб я уехать могла.

Навсегда уехать могла.

ВОЗДУШНЫЙ БЛЮЗ
© Перевод М. Зенкевич

Мне сказали: на Севере
Жизнь хороша.
Мне сказали: на Севере
Жизнь хороша.
И вот я на Севере
Без гроша.

Вместо завтрака я глотаю
Утренний воздух пустой,
Вместо завтрака я глотаю
Утренний воздух пустой,
А на ужин я получаю
Вечерний воздух пустой.

И вот я танцую
И веселюсь,
И вот я танцую
И веселюсь
И распеваю
Воздушный блюз.

Не спрашивай лучше
Про жизнь мою,
Не спрашивай лучше
Про жизнь мою,
Послушай лучше,
О чем я пою.

ИЗДОЛЬЩИКИ
© Перевод А. Ибрагимов

Мы только стадо негров.
Нас выгоняют в поле,
Чтобы мы пахали,
Мотыжили и пололи.

Когда весь хлопок собран
И труд наш закончен тяжкий,
Босс набивает карманы,
А нам — ни одной медяшки.

Мы голодны, как прежде,
Мы голые, как прежде.
Год проходит за годом
В пустой, бесплодной надежде.

Мы только стадо негров.
Нет счета невзгодам нашим,
И скоро мы жизнь свою,
Как эту землю, испашем.

КУ-КЛУКС
© Перевод А. Ибрагимов

Они поймали меня,
И белый с губой отвисшей
Спрашивает: «Ты веришь,
Что белая раса — всех выше?»

Я отвечаю: «Мистер,
С этого дня
Я поверю во все, что угодно, —
Лишь отпустите меня».

А он мне: «Да ты, никак,
Издеваешься, черномазый?
Сейчас я тебе
Хорошенько вмажу!»

И как саданет в висок!
А когда я упал,
Мысками ботинок
Пинала меня вся толпа.

И после тот самый белый
С губой отвисшей
Сказал: «Ну, теперь ты веришь,
Что белая раса — всех выше?»

«ЧЕРНАЯ МАРИЯ»
© Перевод В. Британишский

«Черная Мария»[108]
За окном видна.
«Черная Мария»
Встала у окна.
Не за мной, надеюсь,
В этот раз она?

Слышишь, где-то музыка в верхнем этаже?
Тяжкие заботы
На моей душе.
Но ведь эта музыка в верхнем этаже
Так нежна!

Милая, ты видела, как солнце встает?
Видела когда-нибудь солнца восход?
Видела, я спрашиваю, восход?
Солнце взошло —
Значит, день настает!

«Черной Марии»
Пропал и след.
На утреннем небе
Рассвет.
Новому дню,
Новому дню
Привет!

БРОДЯГИ
© Перевод В. Британишский

Ни веры,
Чтоб голову приподнять,
Ни пищи,
Чтоб голод на время унять.
Ни места,
Где голову приклонить,
Ни даже слезы,
Чтоб слезу уронить!

ГОРЕ
© Перевод В. Британишский

Очи
Замерзли,
Оттого что не плачут очи.

Сердце
Не знает,
Где к смерти путь покороче.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
© Перевод В. Британишский

Спустился я к быстрой речке,
Спустился сам не свой.
Не в силах был рассуждать я.
Прыжок — и я под водой.

Я вынырнул раз и другой раз…
Утопился б наверняка,
Была бы вода потеплее
И речка не так глубока!

Жаль, что вода
В этой реке
Так холодна!

Я поднялся на лифте.
Двадцатый этаж подо мной,
Я вспомнил тебя и подумал:
Не прыгнуть ли вниз головой?

Такая печаль взяла меня,
Такая взяла тоска,
Что, будь хоть немного пониже,
Я прыгнул бы наверняка!

Но — высоко:
Страшно взглянуть!
Жуть!

И раз уж я жить остался,
То жить я буду и впредь.
Затем ли на свет я родился,

Чтоб от любви умереть?

Ты увидишь, как я заплачу,
Услышишь, как я закричу,
Но мертвым меня не увидишь —
Я умирать не хочу!

Жизнь — ведь она
Слаще вина!
Выпью до дна!

ТЕМ, КТО ИЗБИЛ РОЛАНДА ХЕЙСА[109]
© Перевод В. Васильев

Джорджия, 1942

Негры
Смиренны и кротки,
Услужливы и добры,
Но берегитесь!
Это все до поры!

Ветер
Над хлопковым полем
Ласков и тих.
Но берегитесь!
Он вырвет немало
Дубов вековых!

НЕ СПЕШИ
© Перевод В. Британишский

Не спеши, твердят они мне,
Подожди, вот спустим собак, —
И собаки летят стремглав.
Не спеши, твердят мне, грозя,
Подожди, сейчас объясним,
Что служить тебе здесь нельзя
И что жить тебе здесь нельзя,
Есть и пить тебе здесь нельзя!
Не спеши! Не лезь напролом!
Подожди — ворота запрем.

Что ж вы думаете, я бог
Или ангел я во плоти,
Если с голоду чуть не подох,
А работы нигде не найти,
Что ж вы думаете, и впредь
Я вам буду прощать и терпеть.
Буду ждать, не спеша,
не спеша,
Не спеша, не спеша, не спеша,
Не спеша, не спеша,
Не спеша.
??????
???
?

ЖЕНЕВЬЕВА ТАГГАРД

СССР
© Перевод М. Зенкевич

По Амазонке, Гангу — всюду вести
Плывут под всеми флагами судов.
И грузчики, в порту собравшись вместе,
Тайком расспрашивают моряков.

От очевидцев в гавань, в города
Идет молва о том, что есть на свете
Страна, покинувшая навсегда
Тень смерти на страдающей планете.

Об этом говорят ее герои
И сообщения все, и правду ту
Не заглушить, не замолчать, настроя
Приемник на другую частоту.

Просачиваясь в глубь пластов народных,
Она растет. И ложью самой злой
Ни от рабочих, ни от безработных
Не скроют смысла истины простой.

Взгляни — на глобусе одна шестая,
И цвета красного цветам всех стран
Не вытравить… хотя, вооружая,
В союзы сплачивает их обман.

Сейчас, когда средь грохота и гула
Снаряды рвутся в городах, сейчас
Весть эта светлым серебром сверкнула,
Как сети рек, объединяя нас.

С РЕБЕНКОМ
© Перевод М. Зенкевич

Теперь я стала тихой и спокойной,
Ищу, как зверь, у солнца ласки знойной,
Во мне томленья девичьего нет,
Я ветру песни не пою в ответ,
Ступаю, как по бархату, ногами,
В себя замкнулась глухо, словно камень.

Твой пульс, как молния, в меня проник
И воплотился. И я в этот миг
От одиночества отяжелела,
И бродишь ты один, осиротелый,
С любовью нашей. Ног моих коснись!
Почувствуй, как в земле томится жизнь!
Ее бессмертье — в этом плодородье,
А красота теперь от нас уходит,

Восторги наши тайные открыв.
У ней свои есть тайны, свой порыв.
Она уходит в сумрак одиночеств,
В свой мир особый, в неподвижность ночи
И дерзостно стремится в темноте
Из тела материнского взлететь.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
© Перевод М. Зенкевич

Я никогда не слышала такого счастливого смеха. Где вы

его

слышали?
Где-то в будущем.

В очень далеком будущем?
О нет. Он звучал непринужденно, весело,
Совсем как наш, американский.
Шел общий разговор. Все сидели на земле. Было лето.
Пожилые говорили о прошлой борьбе.
Молодежь слушала. Я уловила в их разговоре
Отзвуки нашего времени. Они смотрели на звезды.
Они вспоминали с любовью о нас, ушедших.
Они забыли все наши ошибки. Наши имена звучали в их

разговоре.
Молодежь танцевала. Они бросали
Ветви в костер, говоря: «Рассказывайте дальше».
Что же было потом?

Они нас почтили
Недолгим молчанием грусти и взяли с собой.
Счастье звучало в их мирном смехе.
Их красивые, рослые дети походили на нас,

преображенных.
Это было где-то в горах на западе.
Они отдыхали в дружеском тесном кругу.

Леса и озера занесены на карту, но время
Еще не занесено. Я услышала в их разговоре
Знакомые наши слова, как будто мы говорили,
Но они говорили разумней о лучшем. Они были мудры
И учены. Они пели не только о нас,
Они вспоминали тысячи других в дальних странах.
Один поэт заговорил о грядущем.
Все замолчали опять, и смотрели на звезды,
И при свете звезд потушили костер, как делали мы,
И потом разошлись с пожеланьями доброй ночи.

Эти стихи я принесла вам назад,
Зная, что вы все хотите услышать
Вести от этих людей.

О СПОСОБНОСТИ ПРИРОДЫ ИЗЛЕЧИВАТЬ НЕДУГ
© Перевод И. Кашкин

Больному поколению

Нет, не излечит твой недуг
Ни зной, ни шквал,
Ни штиль, его сменивший вдруг,
Ни мягкий, тихий снег с небес,
Ни лед, что пруд сковал,
Ни благовонный лес,
Ни гор синеющих гряда —
И облегчения не жди, не жди себе вреда.

Озноб и жар,
В крови пожар
Не исцелят тебя, когда душой ты стар.
Не надо вовсе быть седым,
Но если гаснет твой костер,
И мрак над ним простерт,
И горький, едкий вьется дым —
Тогда недуг непобедим.

Надломленного не срастить стебля.
Коль ты и до обеда сыт,
Коль труд тебе претит —
Ничто тебя не исцелит
И не убьет тебя.

В ХВОСТЕ СКОРПИОНА
© Перевод Н. Стрижевская

Любезный и ничтожный человек — мой враг,
Он не подвластен нравственным законам,
Лоснится и процветает, пока я чахну,
Фальшив и тривиален, как шарада.

Он обкрадывает меня и запугивает, превращая в
ничтожество,
И у меня даже нет оснований, чтобы взбеситься.
«Кто хоть наполовину столь ничтожен? Копайте глубже!»
О ноль — герой моей ненависти и любви!

Да и кто в этом роскошном мире летнего комфорта
Может сохранить хоть крупицу души,
Если тени мужчин плоски, как садовые стулья,
И сыплет осень канареечные веснушки?

АНДАЛУСИЯ
© Перевод Е. Надеина

Тишина словно яркий свет;
Гаснет звук, упав в тишину;
Партизаны в надежном укрытье, их будто и нет,
Но готовы подняться они на большую войну.
Там, в горах, есть ножи, и оружие, и динамит,
Но скрип скорпионов в ночи раздается не зря...
И в церкви — два мальчика: один из них, в черном,
хмуро
глядит
На мальчика в белом, стоящего у алтаря,
Андалусия, небу зеленому открыты твои взоры;
Безлюдны твои пустыни, а города — тесны;
Ты — Африка и Аравия, сады — и пустынные горы;
Ты — огневая пляска, ты — королева песни.
Андалусия, ты рождаешь золотые легкие вина;
Ветер твой слишком прозрачен, чтоб выть над скалами

голыми.
Из белых костей сложены горные эти вершины,
Здесь и наши товарищи сложили свои головы.

Это все Андалусия, страна тишины,
Покрывшей всю землю после войны,
Здесь ветры безмолвны — едва шелестят,
Ни звуки, ни речи здесь не слышны —
Все падает в недра пустой тишины.
Но как молчаливые взгляды разят
Здесь, на дорогах этой страны,

Одетой плащом глухой тишины!..

Андалусия, близится время — рванет неистовый ветер,
Покачнется Франко, когда земля поплывет из-под ног;
И на Темзе, далекой и шумной, и всюду на белом свете
Вздрогнут тираны, почуя, что их кончается срок.

Великий стремительный ветер над планетой промчится,
Взорвет тишину, и сквозь грохот послышится речь.
Вставай, моя Андалусия, загуди, как огромный улей,
Край серебра и зелени, стряхни тишину с своих плеч.

Это все Андалусия, страна тишины,
Покрывшей всю землю после войны,
Здесь ветры безмолвны — едва шелестят,
Ни звуки, ни речи здесь не слышны —
Все падает в недра пустой тишины.
Но как молчаливые взгляды разят
Здесь, на дорогах этой страны,
Одетой плащом глухой тишины!..

ВЕТЕРАНАМ БРИГАДЫ АВРААМА ЛИНКОЛЬНА
© Перевод Е. Надеина

Расскажите о них,
По-испански не знавших ни слова
Сначала; неумелых, с трудом постигавших искусство
войны —
Сначала:
как стрелять, как в атаку ходить, как отступать,
Как убивать, как смотреть на убийство. —
Сначала.
Расскажите, что были наивны,
Что не сразу привыкли к грубым лицам и резкому тону

команд.
Расскажите, как они молоды были;
Изможденные — в окопах,
Убитые — под оливой на склоне холма.
Все молодые: в бреду, в лихорадке,
Ослепшие — в госпиталях. Все молодые.

Расскажите о них, они были так молоды,
И слишком многого они не знали еще.
Всё скажите о них: были добры, человечны;
Это — чистая правда.
Ну а теперь
Расскажите о тех — знаменитых, великих,
О вершителях судеб;
Они были заняты делом: они продавали, они

предавали,
Заключали фальшивые сделки, хитрили,
не брезгуя
шантажом;
Брали взятки, свои проводили законы,
Лгали в статьях, в документах, в газетах;
Проливали притворные слезы,
за горло хватая
людей. А они,
Молодые,
Все узнали, сражаясь; все поняли, умирая.

Те же, кому повезло, кто остался в живых,
Те вернулись домой, они возвращались к миру.
Но не было мира.

Теперь и о них расскажите:
Они далеко не молоды, но истинной благости мира
им никогда не узнать
в этом мире обмана,
рожденного страхом.

Но что они знали — то знают,
И что они смели — то смеют.

КЕННЕТ ПЭТЧЕН

ДЖО ХИЛЛ СЛУШАЕТ МОЛИТВУ
© Перевод С. Таск

Не шелохнутся ружья, Джо.
Все кончено. «Повинен в убийстве», —
Сказали присяжные. Поздно уже начинать
Все с начала. Слушай, Джо, как читает капеллан:

Господь наш Иисус Христос,
обещавший по доброте Своей блаженство
злодею, который смиренно покаялся
в грехе своем

подними же голову,
Джо; вспомни свою песню,
Что в тюрьмах пели мы, повсюду
В Соединенных Штатах, и спой ему:
«Я вам хочу представить
Того, кто Звездно-Полосатый Флаг
сумел прославить.
На голову он крепок
что твой мореный дуб,
Зовут отца святого
преподобный мистер Глуп»[110].
Вспомни, Джо:
«Ты взял мой кусок,
Чтоб подохнуть я мог…
Камень на шею и без колебаний
в воду —
Сделай это, дружок, за Свободу».

Прошу Тебя, обрати на меня
милосердный взор, который

а с другой
Стороны, мы скитаемся в лесах
От Канзаса до побережья, скрючиваемся
под вагонами бесконечных
товарняков; а под колесами пролетают
Сент-Джоаким и Омаха — «лето будет раем
бродягам и лентяям», — где мы только
не были, чего не видали.
Отвоевывали Запад для благонамеренных граждан,
Доводили до кондиции ячменное пиво,
Там — за жнецов, здесь — за дровосеков,
сегодня Айова, завтра Орегон.
Господи, какое небо! а кофе во фляге
Смакуешь, как вино. Эта земля —
наша возлюбленная. Как прекрасны
Ее зеленые волосы, ее высокие девственные груди,
которые
Не что иное, как Скалистые горы в дождливый день.
Любить ее маис и хлопок,
Виргинию и Огайо и засыпать
С этой любовью, с этой любовью —
Как расцвела вдруг Алабама! — засыпать,
Зная силу этой любви. О Миссисипи, великая мать,
Несущая воды сквозь наши сны.

Помилуй меня и укрепи

Как зелены ее волосы,
как девственны груди; мелкие фермы
жмутся к ее бокам,

чтобы силу набрать; жизнь бьет ключом
Под этим гулким небом,
А реки — но нам, нам достаются
Одни злоключения, от Канзаса до побережья,
грязь и вонь заштатных тюрем
и дубинки легавых и фараонов,
А все потому, что нам было плевать, —
помнишь, Джо,
Как беспечны мы были, как мы пели
ночи напролет в их грязных тюрьмах и
как мы,
Прослышав о парне по имени Маркс,
уже не столько пели, сколько говорили
И говорили. Мы были «перекати-поле»[111],
Но говорить мы умели, не могли же они сажать
Нас за это — но сажали! —
помнишь, Джо,

В конце моей жизни

Один Большой Союз[112]
и наш съезд в Чикаго; Красные Мандаты,
листовки; ночевки в парках,
в аллеях; мы, «уоббли», приветствуем криком
тех, кто болтает по-нашенски, а прочих
заглушаем песней. «Паровоз свистит,
Эй, слышишь, паровоз свистит».

Дабы, сознавшись в своих преступлениях, я мог

Миллионы звезд, Джо, миллионы миль.
А помнишь «Св. Иоанна» Винсента
Во время Голдфилдской стачки, застенчивого

коротышку

с тоненьким голоском; он поднялся на сцену
и давай метать в нас слова, и те
угодили нам в скулы и в самое сердце,
неотвратимые, как камнепад в горах.
И «Садовника», этого ангела во плоти
с пачкой динамита в каждой руке.
И Петтибоуна с Мойером: «Стачка — Ваше оружие, к черту политику!»
Помнишь — в Бойзе — «Биг Билл»[113], обводящий налившимися кровью

глазами,
как раненый бык, людей и сам зал
суда — «Его честь,
Этот ублюдок...»

А Конвенция «хобо»[114]
(Миллионы звезд, Джо, миллионы миль.):
«Аллилуйя, я босяк,
Аллилуйя, я босяк». Его честь,
этот сукин сын!
И Большая Стачка в Лоренсе, Массачусетс, —
23 тысячи стеной, из каждого уголка
любого лесочка в Америке, 23 тысячи, —
Помнишь, Джо. «Обойдемся без
вожака. Сами сумеем
все уладить».
«„Блэки“ Форд и „Носатый“ Сур[115]
В Уитленде — ИРМ не уничтожает
собственность» — и схлопотали пожизненное.
«О. я насчитал

Столько звезд, насчитал миллионы тюремных

прутьев».

Сан-Диего, импровизированные
трибуны,
Сотни трибун! И всегда
тюрьма отнимала у нас небо
и звонкий стук колес
быстрого товарняка; вместо этого
дезинфекции, от которых мы харкали
кровью,
Но пели — господи, как же мы пели,
помнишь вот эту,
Джо, — «Один Большой Союз,
Один Большой —»

надеяться, что пребуду

Что они значат, Джо, эти ружья!
Они бессильны против городов, неба, песен,
которые переросли
любого из нас, мы были
Бездомными бродягами, но наши песни
были из плоти и крови.
На небе не воздвигают трибуны,
И угощений не стоит нам ждать
после смерти,
но, Джо,
У нас было то, чего не было у них:
мы любили страну
глубоко и всерьез.

пребуду с Тобой
На небе. Аминь.

(Не шелохнутся
ружья.) Нагишом
мы спали на этой земле в самую стужу,
слушая слова парня по имени Маркс.
Пусть сожгут нас, повесят, застрелят, Джо Хилл,
После нас останется то,
из чего выходят песни.

МАЙКЛ ГОЛД
© Перевод М. Зенкевич

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОРОНЫ В БРЕДДОКЕ

Слушайте траурный марш необычайных похорон.
Слушайте историю необычайных американских похорон,

В городе Брэддоке, в Пенсильвании,
Где сталелитейные заводы, как драконы в пламени,
пожирают людей, землю и небо,
Наступила весна. Робко, как ребенок, проходила она
по стране стальных чудовищ.
Ян Клепак, рослый весельчак, чех, по пути на работу
в шестом часу утра
Любовался зеленой травой на холмах у реки и буйным
белым цветом слив.
И когда, полуголый, он обливался потом у пудлинговой
печи, как демон в зловонии серы,
Он мечтал, вспоминая
Белый цвет слив и весеннюю зелень травы.
Он совсем забыл про сталь, и ему вспоминались то грудь
жены, то смех ребенка, то веселые песни гуляк
на дороге.
Он думал о коровах, овцах, крестьянах, селах и полях
солнечной Богемии.

Слушайте траурный марш необычайных похорон.
Слушайте историю необычайных американских похорон.

Берегись! Берегись! Ян Клепак, печи ревут, как тигры,
Языки пламени мечутся, как обезумевшие желтые тигры
в клетке.
Берегись! Уже десять часов, и новая струя кипящей стали
течет в желоб.
Берегись! Рычаг трещит у одного из этих дьявольских
котлов.
Берегись! Рычаг соскочил, и бешеная сталь вырвалась
из заслонок.
Берегись! О, мечты твои кончены, сталь растерзала тебя,
Ян Клепак!

Слушайте траурный марш необычайных похорон.
Слушайте историю необычайных американских похорон.

В трех тоннах остывшей стали — кости, мясо, нервы,
мускулы, мозг и сердце Яна Клепака
Вместе с мыслями о зеленой траве и овцах, о цвете слив,
о смехе ребенка и о солнечных селах Богемии.

Директор завода подарил этот тяжелый стальной гроб
вдове Яна Клепака,
И на большой платформе везут его к огромной яме
на кладбище.
Вдова и двое друзей едут в карете за глыбой стали
с останками Яна Клепака.
Скрываясь за спущенной шторой, они оплакивают
растерзанного сталью.

Слушайте траурный марш необычайных похорон.
Слушайте историю необычайных американских похорон.

И все трое думают разное на кладбище.
«Нет, лучше я буду пить, но не женюсь и не стану отцом
веселых малюток.
Я хочу забыться, ведь я ничтожество,
А жизнь такая же грязная шутка, как похороны Яна!» —
Так думает один из друзей на цветущем кладбище,
Когда лебедка спускает три тонны стали с останками Яна
Клепака.

(Слушайте траурный марш необычайных похорон!)

«Я стану прачкой, уборщицей, пятидесятицентовой

шлюхой, но не отдам детей на сталелитейный!» —
Так думает вдова Яна Клепака, когда земля засыпает
стальную глыбу,
В теплый апрельский день, под ярким солнцем.

(Слушайте историю необычайных американских похорон!)

«Я закалю себя, как сталь, — нет, крепче стали,
И вернусь сюда, отолью пули из останков Яна, чтобы
стрелять в тиранов!» —
Так думает другой друг, который услышал,
Услышал траурный марш необычайных похорон,
Услышал историю необычайных американских похорон
И в ярости стал походить на котел, срывающий рычаг.

Слушайте траурный марш необычайных похорон.
Слушайте историю необычайных американских похорон.

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ[116]

Пятеро здоровенных сыщиков в одиночке с заключенным.
О, они сумеют развязать ему язык.
Они слепо толкутся, как взбесившиеся быки в загоне.
Им так неудобно и тесно в темной камере,
Их стесняет одежда, белые воротнички давят им шею,
Они пыхтят в поту и ругаются, молотя дубинками,
Пятеро здоровенных сыщиков в одиночке с заключенным.

Они скрутили ему руки так, что захрустели кости,
Искровянили его бледные виски и надломили четвертое ребро,
Исполосовали всю спину и превратили рот в кровавую кашу,
Подбили синяками глаза и расплющили ему нос,
Пятеро здоровенных сыщиков в одиночке с заключенным.

Месяц заглянул невзначай в решетку и поспешно скрылся.
Проехало такси с подвыпившей смеющейся парочкой.
Зазвенели ключи в коридоре, и газовый рожок
насвистывает какой-то мотив.
Заключенные ворочаются на койках, грезя о свободе.

А пятеро здоровенных сыщиков ведут в одиночке допрос,
Убеждая заключенного заговорить.

Говори! — убеждают свинцом дубинки, каблуки,

волосатые кулаки.
И его колотящееся сердце просит заговорить:
Все истерзанное тело, как ребенок, глодаемый крысой,
плачет: «Говори!»
И мозг в огне агонии молит: «Говори! Говори!»
И кровь стонет: «Жена ждет тебя дома, говори ж!
Говори ж!»
И миллион диких голосов вопит в уши: «Говори ж!
Говори ж!»
Но заключенный молчит.

В городе мирная ночь.
Мужчины и женщины гуляют по улицам парами.
Полисмены на каждом углу под дугой фонарей
дирижируют сонно дубинкой.
Проповедники сочиняют проповеди, и сам мэр пьет
лимонад в ресторане на крыше.
Судьи читают стихи своим женам после скучного дня в суде.

Влюбленные жмутся в темных кино и млеют
от
прикосновенья.
Матери укладывают детей, отцы курят тыквенные трубки.
В миллионе домов так тихо, что слышно тиканье

часов.
А пятеро здоровенных сыщиков в одиночке с заключенным.
О, они сумеют развязать ему язык.
Дубинки молотят, каблуки гвоздями бьют по лицу.
Сыщики сорвали белые воротнички и пыхтят, как любовники.
Заключенный закрыл глаза и увидел вихрь миллионов
звезд во вселенной боли.
Он закусил губы, чтоб не говорить.
Кровавыми губами он молит, чтоб ненавистный мир
капитала не заставил его говорить,
Чтоб пятеро здоровенных сыщиков не заставили его

говорить.

СТО ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ

Мне велят любить мою родину, Америку.
Но где Америка?
Я не видел нации, скитаясь меж океанов.
Я видел 120 миллионов.
И они ненавидели друг друга,
И они дрались друг с другом
В войне из-за денег.
Америка не одна,
Их много.
Белый сжигает негра живым.
Фабрикант избивает детей.
Войска расстреливают горняков.
Войска расстреливают ткачей.
Это страна врагов.

Я видел солнце над Скалистыми горами.
Я видел пшеничные поля на равнинах.
Я видел миллионы американских цветов.
Я слышал пенье птиц Америки.
Это могучая, прекрасная земля,
И я, рабочий, люблю ее.
Но как могу я любить тех, кто убивает рабочих?

Америка, я не могу поклоняться богу денег,
Чудовищу, чье сердце — машина Форда,
Чей мозг — дешевый фильм из Голливуда,
Чьи города — механические кошмары,
Чьи литании — меха и шелковые чулки,
Чьи поклонники умирают от пресыщения,
А жертвы от голода.

Кто убил Сакко и Ванцетти?

Не ты, о река Миссисипи.
Кто вымогает деньги мира?
Не вы, о Аллеганские горы.
Кто убивал немцев для барыша?
Не вы, американские поля и леса.

Это могучая, прекрасная земля,
Но мир ненавидит нового тирана,
Европа и Азия готовят войну,
Настанет гибель, разгром и скорбь
Для тебя, жирная Америка.
И Ленин пройдет среди твоих 120 миллионов,
Раньше или позже, Ленин,
Теперь или потом, Ленин.
Ленин! Ленин!
Ленин!

Я вижу твои кровавые роды,
Я вижу огонь и пепел
И мою страну, встающую из пепла.
Я вижу мир для 120 миллионов,
Я вижу солнце-молот днем,
Месяц-серп ночью,
Сияющие над новой Америкой,
Америкой рабочих и фермеров.

КЕННЕТ ФИРИНГ
© Перевод А. Шарапова

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Куплена в небольшой лавке, весьма удобна, позднее
отдана в залог.
По прошествии времени услышана на улице, увидена
в парке.
Знакома, но не вполне изучена.
Выслежена, приведена в дом, употреблена в постели.
Выменена или продана. Или потеряна.
Снова куплена в угловой аптеке под зеленым светом
по настоянию клиента в девять ноль-ноль.
Перечитана, восстановлена в памяти, ранена во второй
раз.
Признана негодной.
Разобрана по частям, вновь собрана и отдана в залог.
Услышана на улице, увидена во сне,
услышана в парке, увидена наяву.
Тщательно обследована ночью тайным агентом комиссии
по использованию энергии горных рек Греции, —
в простой одежде, вне службы.
Рукой агента на ломаном английском сделаны
подробные заметки, кои утрачены.
Это либо правда, либо преувеличение. Либо правда.
Ибо правда то, что люди смеются и воробьи

порхают;
Ибо это преувеличение, что люди изменчивы, а море
неизменно;
Ибо это истина, что люди идут,
Что огни продолжают гореть, и сейчас ночь,
И это серьезно, и это все то же самое,
Как если человек умирает, и это серьезно, и это все
то же самое,
Как если девушка знает, и это пустяшная, но правда,
Как если торговцу спиртным на углу следует знать,
и это правда, и безусловная,
Как если старик знает, и это гротескная, но
правда,
Как если народ смеется, и народ думает, и народ
меняется, —
Это серьезно и не важно,
преувеличение это или правда.
Куплена в аптеке в конце улицы,
Где ветер дует, авто проносятся и всегда ночь
или же день,
Куплена как последнее утешение,
Куплена, чтобы вдохновлять скульптора в парке,
Куплена как лотерейный билет при зеленом свете,
в девять ноль-ноль.
Взята взаймы или куплена. Чтобы хорошо выглядеть.
Облагораживать. Излечивать болезни.
Принимать
гостей. −Ать, −еть, −уть, −ить.

Сломана либо продана. Либо выкинута. Либо использована и забыта. Либо мертва.

НЕКРОЛОГ

Уберите его: он мертв, как все прочие.
Слушайте больничный колокол. Он и смерть
мерят друг друга взглядами.
Глядите на его коченеющие пальцы,
трогайте похолодевшее лицо, любуйтесь
небесными звездами, созерцайте кровавые
пятна.

Смотрите, как быстро и спокойно
сваливает его
десятитонный грузовик.

Потом выверните его карманы
и прикажите толпе расступиться.
Как его звали, сержант? Как звали водителя?
Как вас зовут, сержант?
Покопайтесь в его одежде,
извлеките сигары, деньги, бумаги, ключи,
возьмите все, что там есть.
Полтора доллара уплатите Стандард-ойл.
Это был его преданный друг.
DAR[117] отдайте ключ от его квартиры.
Они были его верные друзья. Других таких
у него не будет.

Выньте залоговую квитанцию, вложите
в конверт, поставьте печать и отправьте
прямо в Пиплз-газ. Это были его давние друзья.
Они были ему больше, чем братья. Они были
как близнецы.

Стащите с него штиблеты.

Снимите котелок. Передайте его носки
в фонд Гуггенхейма[118].
Пусть Морганы держат под замком
бесплатные талоны, брошюрки и сведения
о лошадях на дерби, и поднесите
мистеру Гуверу[119] пинту джина,
ибо они хорошие люди и они были
его друзьями.

Не забудьте о Жене Танни. Не забудьте Хейза[120].
Вспомните об Аль Капоне[121]. А также о «Красном Кресте»,
Дайте им его спички, дабы они его помнили.
Они были его соседи в этом старом мире.
И они тоже были хорошие люди.

Вот и все, сержант. Ничего более, лейтенант.
Мне нечего больше добавить, капитан.
Подберите труп, накормите, побрейте, найдите
ему другую работу.

Сигару, водитель?
Возьмите две.
Вы были ему верным другом, водитель.

ПАМЯТНОЕ

Не осталось даже следа от кофейной чашечки
на мокром подоконнике
Между пассажем галантерейщика и залом
китайского бильярда,
Где мы стояли той ночью, когда шел теплый
чудесный дождь, курили, смеялись, болтали.
Есть ли там теперь хоть один звук иной, чем звуки
покрышек, моторов, спешащих ног;
Отпечатался ли на сырости этого вечера, на истоптанном
тротуаре тот самый большой палец, именно тот
гвоздик или торец именно тогда брошенной
сигареты?
(Это должно, обязано быть так. Ни одно сердце
не должно биться, если это не так. То был
час, сверкающий час, трудный час тревожного
года.)
Там, где мы болтали все это время о жизни и любви,
о логике и чувствах, о тебе и обо мне, о характере
и судьбе, о боли, революции, победе и смерти, —
Есть ли там сегодня хоть одна тень, кроме тех теней,
что останавливаются на миг, а потом

проходят
мимо окон, запятнанные таким же теплым, тихим,
редким дождем?

В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ МИСТЕРА ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА НЕ СТАНЕТ...

Да где же мы снова найдем еду для пропитания,
тряпье для прикрытия наготы, кровлю и кровать,
если проныра с Уолл-стрит влез в свой
звуконепроницаемый, не доступный для людей
и наперед оплаченный склеп?
Как же можем мы совершить прогулку к окраине
городским транспортом, к роскошно вытянувшейся
песчаной отмели на побережье Майами?
И раз мэр отчитал банкиров,
раз федеральный прокурор аннулирует указы о взятках,
раз духовенство проповедует в защиту дома своего, —
о неустрашимые солдаты в хаки,
о стойкий нищий, о испытанный бродяга,
о ни с чем не сравнимая техника,
о счастливый поденщик, о еще не выкопанный скелет,
о обаятельный и стройный муляж для стрельбищ,
о опрятный, удачливый, сильный, честолюбивый,
бравый потенциальный призрак, —
есть ли еще какая-нибудь работа, чтобы остаться

в живых, есть хоть что-нибудь,
что остается невысказанным?
И все-таки кто застрелил человека в голубом комбинезоне?
Кто купил лесопильню?
Кто взял матрац, стол, клетку с птицами и свалил их
в кучу на улице? Кто метал слезоточивый газ
в лицо пикету?
Кто поджигал урожаи? Кто истреблял стада? Кто сровнял
с землей городок из ящиков?
Кто принес факел на погребальный костер негра?
Кто забил окна и включил газ в доме, где
оставались трое?
Нет больше хлебных конвейеров. Нет дубинок.
Нет Рузвельтов. Нет Хорстов.
Нет больше бродячих танков, Уинчеллов, правдивых
новелл, депутатов, нет больше штрейкбрехеров,
Нет больше преданных, ура-патриотических,
двурушнических лиг, нет
Ку-клукс-клана. Нет милосердия. Нет DAR.
Нет джентльменов старой гвардии, назначенных
в гвардию спасения главнокомандующими
черной гвардии при тыловой гвардии в
составе отечественной гвардии, 2-дюймовых,
3-дюймовых, 6-дюймовых, 10-дюймовых,
12-дюймовых.

Нет больше 14-, 16-, 18-дюймовых снарядов.

АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
© Перевод Э. Шустер

Напоминает себе по-французски посол
(Пьюсер), зачем полегли здесь эти ребята
(Ныне прах), видя крестов частокол
Над теми, кто был молодым когда-то, —
В ту ночь к моей двери в Брюсселе ветер пришел:
Я слышал, как стонут, ветром распяты,
Деревья за дверью; гудели стены, и пол,
И крыша дома; я был здесь впервые,
В этой стране, и мне казалось, что ветер завел
Странную песню. Помня, что мы тут чужие,
Я и он, мертвый, заснуть я не мог;
Я знал, что он слышит порывы тугие,
Чувствует трепет корней, но ему невдомек,
Знавшему только дыханье озер иллинойсских,
Откуда здесь взялся ветер.
— Говорит, что парней ковбойских
Родина не забыла, что мертвых покой
Не нарушат ни боль, ни зло — величье их дел геройских
Сограждане чтут —
В Генте родился злой
Ветер. Пахнуло дождем, и меж рядами
Изгородей понесся ветер, но не морской,
Который рождается над волнами,
А тот, что ломает ивы, заканчиваясь

дождем.
Я знал — он ждет.
— Отмечает, что знамя
На этом поле, омытом их кровью, стало клочком
Америки среди Фландрии (стилем гордится) —
Какие счастливцы! —
А ветер жгутом
Скрутил, потом раздавил колосья пшеницы
Своим тяжеленным брюхом; а в Варегеме
Замер в траве над холмом, где мертвый ютится,
Слушает, ждет.
— Замечает, что теми,
Кто спит здесь, гордится и эта страна
И признательна им, —
Хриплы слова и немы
Под покровом сухой травы, у них одна
Судьба — быть брошенными на ветер, стать под травою
Сором на сите червей, слова — пелена
Песка над песчаной мертвых страною.
Корни травы напряглись в усилье слепом,
Он ждет вместе с каменною землею —

И вот наконец разрешилось небо дождем!

Живые бегут по домам врассыпную.
Ветер, придавлен сперва дождем, вырвался, а потом
Вдруг сник. Дождь крепнет, вонзает струи
В сухую землю, просачивается сквозь песок
Под корни травы, к праху его сочится,
К костлявому кулаку меж гробовых досóк;
Земле полегчало, и ему крепче спится,

А что он не дома, то мертвому невдомек.

ARS POETICA [122]
© Перевод Э. Шустер

Быть должен кругл на ощупь стих
Как плод и тих

И освящен
Молчанием как медальон

И нем как подоконник рукавом
Истертый и теперь заросший мхом —

Быть должен стих похожим на луну
Когда она взбираясь в вышину

За ветвью выпускает ветвь
Попавших в невод тьмы дерев

И как луна зимой в лесу
Стих должен память воскрешать —

Быть должен стих недвижен как луна
Когда она взойдет

Быть должен стих сродни
Не истине

Нет он служа печали
Листом кленовым должен быть в портале

Стих должен для любви
Травою нежной звездами служить —

Не означать стих должен —
Просто быть

ТЫ, ЭНДРЮ МАРВЕЛЛ
© Перевод Э. Шустер

Ты смог под солнцем опустить
С вершин полудня долу очи
Затем чтоб вечность ощутить
Рождающуюся из ночи

Почувствовать как холодок
Вползает в лабиринт востока
И тень восходит на порог
Долин распахнутых широко

Узнать как сумерки с ветвей
Срывают листья в Экбатане
И тьма разлившись у ступней
Персидских гор ползет в тумане

До самых Керманшахских врат
Где вянут травы и негромко
Подошвы странников стучат
Спешащих к западу в потемках

Она в Багдаде прячет мост
Над молчаливою рекою
И пригоршни оставив звезд
Над аравийскою землею

По вымершей Пальмире мчит
В своей тяжелой колеснице
Минует и Ливан и Крит
Швыряя в небеса зарницы

Лишь у Сицилии пока

Мерцают в небе тусклом чайки
Но не видны издалека
Уже судов рыбацких стайки

Вот остается позади
Златистый берег африканский
И света нет как ни гляди
Теперь и на земле испанской

И на́ море — да не случайно

Сумел ты очи опустить
И ощутить как быстро тайно
Тень ночи может подступить

СЛОВО К ТЕМ, КТО ГОВОРИТ: ТОВАРИЩ
© Перевод И. Кашкин

Братство — не только по крови, конечно;
Но братом не стать, сказав — я твой брат;
Люди — братья по жизни и платят за это;

Голод и гнет — зародыши братства;
Унижение — корень великой любви;
Опасность — вот мать еще благородней,

Тот мне брат, кто со мною в окопах
Горе делил, невзгоды и гнев.
Почему фронтовик мне роднее, чем брат?

Потому, что мыслью мы оба шагнем через море
И снова станем юнцами, что бились
Под Суассоном, и Мо, и Верденом, и всюду.

Французский кларет и подкрашенные ресницы
Возвращают одиноким сорокалетним мужчинам
Их двадцатое лето и стальной запах смерти;

Вот что дороже всего в нашей жизни —
Вспоминать с неизвестным тебе человеком
Пережитые годы опасностей и невзгод.

Так возникает из множества — поколенье,
Людская волна однокашников, однолеток;
У них общие мертвые, общие испытанья.

Неразделенный жизненный опыт

Умирает, словно насилованная любовь,
Или живет призрачной жизнью покойника;

Одиночка должен скрывать одиночество,
Как девушка скрывает позор, потому что
Не дело жить взаперти и страдать втихомолку.

Кто они — кровные братья по праву?
Горновые тех же домен, тех же вагранок,
Те, что харкали кровью в той же литейной;

Вместе сплавляли плоты в половодье;
Вместе дрались с полицией на площадях,
Усмехались в ответ на удары, на пытки;

Ветераны кораблей, экспедиций, заводов,
Бескорыстные открыватели континентов;
Те, что скрывались от преследований в Женеве;

Те, за кем охотились, и те, кто мстил за удары;
Те, что вместе бились, вместе работали:
У них в лице что-то общее, словно пароль.

Братство? Нет слова, которое сделало б братом.
Братство только смелый с бою берет
Ценою опасности, риска — и не иначе;

Братство в этом враждующем мире — богатый
И редкий и неоценимый дар жизни.
И его не получишь за слова и за вздохи.

КЛАДБИЩЕ У ШПАЛ
© Перевод М. Зенкевич

Ге-эй! Как придавило наши плечи!
Мы не рождены лежать в этой земле,
Мы — негры, португальцы, венгры, поляки.

Мы родились смотреть на другое небо,
А теперь лежим на пастбище у реки,
Лежим на лугу под плотным дерном.

Мы слышим землю и стрекот кузнечиков,
Это мы проложили рельсы от океана к океану,
Это мы (если знаете) провели дорогу сквозь горы,

Спустив ее к Ларами уклоном,
Восемнадцать миль по гранитной круче,
Сорок три фута на милю — ни больше ни меньше.

Это сделали мы, пришельцы и бродяги,
Это мы вырыли лотки для холодной воды,
Это мы устроили стоки и подъездные пути.

Это делали мы, и нас подгоняли ирландцы.
Мы все пришлые, не из этой страны —
Шотландцы, англичане, китайцы, австрийцы,

Ге-эй! Земле тяжелы наши кости.
Не для того мы шли сюда, чтоб лежать
Под шпалами в глиняной выемке.

Все лучшее в мире скупили себе богачи.

Все липнет к сальным кредиткам —
Даже целый континент, даже новое небо.

Пусть чужая трава прорастает над нами,
Мы проложили сталь в каменную толщу гор.
Телеграфными столбами отмечены наши могилы.

Мы шли сюда не затем, чтоб лежать в земле,
Чтоб поезда грохотали над нами в гулкой лощине…

БЕССМЕРТНАЯ ОСЕНЬ
© Перевод Э. Шустер

Сегодня сдержан голос мой и скорбей стих
Во славу осени и ливней преобильных
Во славу серых туч полей цвести бессильных
Во славу ветра что скулит в ветвях немых

Во славу осени — она всех ближе нам
Чужое солнце нас оставило в покое
Не мучит зеленью не жарит как весною
Нет бессловесности столь родственной снегам

Когда полно вокруг отверженных ворон
Весь мир — у наших ног год шепчет уходящий
Что шире стал простор что рассветает чаще
Средь бела дня и мраку нет препон

В пожаре яростном бунтующей листвы
Когда в сердцах зима со снегом на полсвета
Мы одиноки птиц знакомых нету
Луна и звезды ночью — возле головы

Всех ближе нам пора стерильной синевы
Слова длинней дыханья долог звук расцветший
Кричит мертвец из осени ушедшей
И я зову тебя из горькой синевы

СТАРИКИ И ДЫМ ЛИСТВЫ
© Перевод М. Алигер

Старики метут дворы перед зимой
И сухие листья жгут то там, то тут,
День за днем, и жизни нет у них другой,
Но листва мертва, а старики живут,
Чуточку живут, как листья мертвые, легки,
Сами по себе остались старики,
Их давно нигде не любят и не ждут.

Старики метут дворы перед зимой
И сметают вместе листья и года.
Пахнут старики горелою листвой,
И, пожалуй, им сдается иногда,
Что сухие листья кленов и дубов —
Это их былая радость и любовь.

КАРЛ РЭКОЗИ
© Перевод В. Британишский

ПОСВЯЩЕНИЕ

этому дому
и белому белью на веревке

этому голавлю, с кишками наружу,
с травой, торчащей из горла,
и свежей зеленью в брюхе,

английской речи галантерейщика,
чья искренность — будто конь и всадник
на песчаной дороге,

английской речи Исаака Уолтона[123],
звучащей, как маленький колокольчик
точильщика ножей,

форели, вырезанной ножом на столе
в рыбацкой хижине,
форели, которая оживляет воду.

Добра, добра я желаю всем вам,
всем, как этот голавль,
попавшимся на крючок.

ФЛОРИДА

царственного солнца
и цитрусов,
Флорида кораллов,
осоки, указывающей
остриями на север,
отелей, полных
океанского воздуха,
мелких торговцев
с усталыми глазами,
проституток и процветающих барменов,
пронизанных
апельсиновой музыкой,

негритянских хижин,
где молитвы сборщиков хлопка
из рабской груди
рвутся ввысь,
в небесное царство,
другая Флорида,
земная юдоль африканца.

КОРАБЛИ

Час ночи. Дождь.
Морская мгла окутывает рулевую рубку.
Нактоуз компаса светится.
«Эй, вы там!»
Корпус двухвинтового танкера «Фриско Кросс»
вспыхивает огнями.
«Кто вы?»

Молчание. Хронометр тикает.
«Все огни горят ярко, сэр».

Маленький речной пароходик в каботажном рейсе,
двенадцать кают, белый огонь на мачте,
флаг пароходства, надводный борт 6″,
матросы бегают со штурманскими расписками
о принятии груза — бочек и мелких бочонков.

Огромный турбоэлектроход, океанский лайнер,
застрахованный
от огня, обеспеченный циркулирующей ледяной водой,
мощные якорные устройства, заграничная

корреспонденция.

УЧРЕЖДЕНИЯ

Музыка маленького банджо
залетает в окна отеля.

Светящие полосы потолков
залов Американского
Коммерческого Банка,
мощный цоколь из металла и камня,
крохотные зарешеченные окошки.
Банк работает.

КРЕСТЬЯНЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ

Они везде одинаковые.
Вот этот, который едет
на телеге вдоль берега Дуная,
зачем он стал бы отказываться
от своих прекрасных овец,
от своих просторных полей,
от вида на Карпатские горы,
по которым прыгают козы,
ради чужой войны
в чужой стране?

ВИТАГРАФ

Там, где Божья земля и мужчины — это мужчины,
он был грозою в Красном Ущелье
на аризонском гнедом.
Чертов Хиггпнс — так называли его,
а верил он только в свое ружье,
в гнедого и в Денвер Нэн.

Оказалось, что та была в сговоре с Джентльменом Джо,
и однажды утром они обчистили
бедного малого до последнего медного цента.

Но больше уже не пришлось Джентльмену Джо
просовывать руки в отверстия своего жилета
и ухмыляться сквозь обгрызенную зубочистку,
ибо вечером в бар вошел незнакомец в маске,
а руку держал он в заднем кармане брюк.

Много лет спустя Преподобный Маркус Уитни
разбил палатку на площади, и для Денвер Нэн
появился единственный шанс стать на честный путь,
и она стала честной и вышла за Честного Хиггинса,
и трижды ура, и да здравствует звездный флаг.

АМЕРИКАНА IV

Весь город толпился вокруг четырех джазбандов
в четырех салунах на этой улице.

Хозяин бара Окей Богач сверкал бриллиантовой булавкой в галстуке,
а игрок Эд Мошез, от которого осталось сто десять костюмов, когда он умер,
в покер с любым противником дрался, как тигр.

Люди входили и выходили и днем и ночью,
и все одновременно творили в кабаке балаган.

Где Вилли Красавчик?
Бабы бегали за ним косяками,
когда этот кот прогуливался от набережной к бару
своей шикарной пижонской походкой,
называвшейся Стрельба На Ходу.

Однажды мальчишка взял флейту и сыграл на ней просто классно.
Всем показал, что такое флейта!

Подошел к саксофону, и будь я проклят,
но он заставил инструмент говорить!

«Иди, малыш, и неси эту музыку всей стране», —

и к
своей седине
он шел через юность и зрелость все в той же маленькой шляпе.

Он выйдет, бывало, на сцену и скажет:
«Мне
хотелось бы представить вам мой оркестр», —
и представит музыкантов друг
другу.

Потом он сделает шаг назад и подымет трубу
и трубит высокую ноту освобождения.
И тогда деревянные духовые таяли и разливались
мягкой напевной мелодией,
а его тромбоны
добавляли перцу, чтобы вещь была то, что надо,
аж церковь гудела!
Весь город уже подпевал,
Каждый мальчишка был блюзами убит наповал.

Происхождение блюзов?
Блюзы были всегда.
Какая-нибудь бедная гулящая женщина напевала, угощая
в кухне своего
любовника Дэна.
Какой-нибудь бедный парнишка наигрывал басовую
бог весть чью мелодию на своем тромбоне
или вдруг ревел на нем, как осел,
в парикмахерской, где служил.

Какой-нибудь подвальный Юпитер жаловался и тужил:

Господи, раб твой Юба кормится свиными помоями.
Пошли отверженному твои волшебные зелья,
корень царской травы и корень Святого Петра,
майское яблоко и цветок Святого Уильяма.

Происхождение блюзов?

Белый герой.

АМЕРИКАНА V

По мере того как прибавляются годы
старшее поколенье
чувствуя себя одиноко со своими детьми
уходит в темную комнату
и проявляет картины в памяти
коровы бредущие с лесистого пастбища
на закате летнего дня столетье назад
с выменами тяжелыми от молока

сахарная кукуруза посеянная
на пустоши к северу от свинарника
чтобы ужинать спелыми початками со свежим
крестьянским маслом

семьи приезжающие за сотню миль
поющие под тенистым деревом.

Там где развилка дорог у красного амбара
и дуба с узловатым дуплом
на северной стороне ствола
старики себя чувствуют дома
пропалывают маленький садик
и удивляются как быстро все тут растет
кукуруза успела подпрыгнуть на целый фут
покуда праздновали Четвертое Июля.

Здесь крепко и прочно на почве истории
во всех отношениях ограниченный
(как это пишется с большой буквы?) Богом
и тяжелым трудом
стоит Девятнадцатый Век.

АМЕРИКАНА VII

Наш неукротимый янки-кактус,
Кальвин Кулидж,
каждый раз боялся,
что его осторожнейшие
пустые фразы
истолкуют как-нибудь не так.
Его губы были сжаты плотнее
стариковской
мошонки,
съежившейся от холодной
воды.
Когда он глядел Америке
прямо в глаза,
никто, ни один человек,
не имел сомнений,
что, будучи загнан в угол,
он-то уж ухитрится
ускользнуть
даже от такого же, как он.

АМЕРИКАНА IX
O. K.

Ваш корреспондент, вероятно, шутит, когда говорит,
что O. K. происходит от имени Обадии Келли, агента

по фрахту,
который подписывался инициалами на квитанциях
о
принятии груза.

Что вы, есть дюжина этимологий куда более интригующих,
например, что это изобретение первых телеграфистов;

или что «оке» означает «да, это так» на языке чоктавов
(может быть, поэтому
так ужаснулась миссис Батлер,
встретив это слово в английских салонах 1935 года
и, что еще хуже, в Оксфордском словаре);

или что это исковерканное хуторское словечко «хоуки» —
«последний сноп, увезенный с поля»;

или что это буквы, обозначающие Острие Киля,
употреблявшиеся когда-то кораблестроителями.

Однажды О. К. было даже использовано как заклинание
против блох,
и поэтому некоторые думают,
что оно возникло из фразы: От Какой Народ,

которую Томас Даниэльс, местный умелец, накорябал

большими буквами
на огромном фургоне, запряженном двадцатью четырьмя
лошадьми,
в котором тридцать шесть молодых американок, одетых

в белое,
ехали в рощу на сборище вигов графства Шампейн, Огайо.

Другая возможность, что О. К. — это сокращенное
«Он из Киндерхука», поскольку как раз из Киндерхука
был родом Мартин ван Бюрен[124], которого сторонники

называли
Мудрецом из Киндерхука, а противники — Киндерхукской

Лисицей,
но после того как пятьсот его верных горлопанов,

кричавших воинственный клич О. К., были вышвырнуты с собрания вигов, «Дэйли экспресс» предположила, что слово это арабское и, прочитанное справа налево, означает Кыш Отсюда.

Однако вариант, который мне больше всего нравится, это что О. К. — просто-напросто порт О-Ке, где французские матросы встречались с американскими девушками в годы Войны за независимость.

Как бы то ни было, «о’кей» — это первое слово, которое узнают иммигранты и которое немедленно делает их демократами.

АМЕРИКАНА X ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСНЯ

Он имеет конторы
в восемнадцати
штатах

и по-прежнему
держится
как простой парень,

сидящий
с кирюхамн
в своей деревенской

лавке,
положив
ноги на стол,

открытая бутылка,
открытая
душа.

АМЕРИКАНА XVII
В ПАМЯТЬ ОБ УИЛЬЯМЕ КАРЛОСЕ УИЛЬЯМСЕ

Как быстро опять поднялись
После дождя
одуванчики.
Я же сорвал их
все
только вчера.

АМЕРИКАНА XVIII
НЕЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА

Лучше я буду петь народные песни протеста
и громыхать как мусорные баки в городе ранним утром
или выть как волк
из открытых дверей раскаленного товарняка
чем сидеть как Шопен на своей изысканной заднице.

КОНРАД ЭЙКЕН
© Перевод Э. Шустер

ЭТО ПОХОЖЕ НА ЛИСТ…

Это похоже на лист, это — почти на цветок,
А это — бледный дерева ствол,
Что любуется своей ветвью на глади вод
В краях, куда никто не дошел.

Дрозд на ветке молчит, мягко ложится роса,
Вечер, и звуки тонут в пыли.
Прекрасные странники, трое, подходят ближе,
Едва касаясь земли,

Касаясь ее ступнями легко, как крыльев касанье,
Ступают робко, храня покой,
Подобно танцорам, что в паузе ждут, когда музыка
Наполнит молчанье собой.

Вот мысли первого странника, вот — второго,
Вот что думает третий всерьез:
— Помедлим немного, бледные от ожиданья,
И молчанье прервется, и дрозд

Звучной, нежной, прозрачной фразой наполнит
Голубой колокольчик мира,
И мы, что плыли в музыке вместе, как листья,
Как листья, рассеемся в глуби эфира,

Вернувшись куда? — не в молчанье ли навсегда?.. —
…Это на древо похоже,
И на цветок, и на лист, и на странников, бледных,

прекрасных;
Все это вижу в тебе я тоже.

ИЗ ЦИКЛА «ОКАМЕНЕВШЕЕ ВРЕМЯ» МИСТИКА, НО ПУСТЬ МЫ ЛИШИМСЯ СЛОВ…

Мистика, но пусть мы лишимся слов,
ангелов, и пусть мы лишимся фантазий,
храмов, и пусть мы лишимся символов веры,
и мертвых богов на распятиях в лавке,
молитвы и четок, греха и проклятья,
но пусть мы поверим, пусть мы поверим.

Пусть это будет цветком,
который впервые увидел ребенок, без раздумий сорвал,
растерзал от любви и тут же забыл;

и ангелами, и пусть они нашими станут друзьями,
послужат корыстной наивности нашей, и мы
растерзаем их от любви и тут же забудем;

и пусть станут храмы для нас домами
с их каждодневной грязью и шумом споров,
где смогут висеть бывшие нами мертвые боги,
которых мы переросли, — висеть на каждой стене:
Христос, опустивши глаза, — над полкой каминной,
Будда — над очагом,
Дух Святой — возле стойки для шляп, а сам Саваоф
пусть смотрит, подобно Нарциссу, из зеркала,
упрятанный в плащ, в перчатках и шляпе.

Мистика, но пусть это будет цветком,
пусть это будет рукой, что жаждет сорвать цветок,
пусть это будет цветком, ждущим первой руки,
пусть это будет пространством, дающим место
руке, что жаждет, цветку, что ждет, —
пусть это будет мною, уступающим место мне,
так просто, как дитя поднимает камень с земли,
так тихо, как цветок решает упасть, —
одним вместо другого —
как падает в землю семя вслед за цветком.

РЕЧЬ ГАТТЕРАСА

Буря с зюйд-оста, гнилая погода
стонут, наткнувшись на этот щербатый зуб,
небо лохматится о дымоходы,
дождь лезет в окна и воет у труб;

на часовне Крестителя смолк петушок,
золотые крыла растопырив в тумане,
так что перья златые уперлись в юго-восток,
и слушает с крыши рев в океане.

Волны — над телеграфными проводами,
в каждой аллее — праздник дождя,
в сточных канавах — тоже, в колодцах под нами
потоки бурлят, о триумфе трубя.

Зонты. Спешит в саду городском старик
по тропке, виляющей вправо, влево,
и вдруг под музыку ливня слышит крик
тюльпанов, которые стали жертвою гнева

бури; лезут в озеро ивы топиться,
и шлюпки едва не тонут, а облака
в ветки сирени все норовят вцепиться,
пока те не вскрикнут, не проклянут пока.

Говори, Гаттерас, Атлантики речь,
чисть улицы келпом и пеной морского,
чтоб на нас еще раз детский ужас навлечь,
когда море встречается со скалою.

ДЕЛМОР ШВАРЦ
© Перевод Г. Симанович

В ПОИСКАХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Мы то и дело ищем развлечений,
Стремясь забыть об одинокой комнате, где себе не
солжешь,
Мы все бежим от одиночества (или
От скуки), ведь больше всего нам хочется, чтобы
Нас замечали,
на бильярде играем, катаем шары
По сукну, в бейсбол играем, гоняем мяч
По площадке, в футбол играем, шпыняем мяч
По полю,
70 000 аплодируют.

Это забавно, это милое развлечение:
Катится мячик — эй, парень, надо скорость развить,

резвей!
Гонись за доступным и ясным, одно повторяя,
Упорный, неуловимый, неуязвимый,
Мчись за подпрыгивающим мячом; и вот ты его догоняешь;
Держась за сердце, готовое выпрыгнуть,
Ты от мяча отвернулся в поисках развлечений.

МАСКИ ШУТОВ

Лица шутов — это маски, а кто персонаж —
Зависит от выбора; мудрым, забавным и угрюмым,
Веселым и унылым подобраны лица,
И тотчас людей не узнать! Все помимо их воли,
По стечению обстоятельств,
Как внезапный холод, седые волосы или богатство,
Или война и мир, или способности к математике.
Это даровано небом, из-под земли исходит и в некий час
Нас настигает, пленит: смертен Сократ.

Одаренность и выбор! Все люди под масками,
Мы шуты, подбираем удобные лица
Под диктовку угодливых обстоятельств
И получаем внезапный холод, седые волосы, математику,
Ведь одаренность наша помехой нашему выбору
И руки слепой судьбы делают выбор за нас:
«Жена совершенно другою стала с тех пор, как мы

поженились»,
«Я адвокат, но лишь занимаясь ботаникой, счастлив».
Берегите почтовые марки и старые фото,
Но, главное, душу уберегите! Бессмертно лишь прошлое.

Предпринимайте поездки, читайте о путешествиях,

Торопитесь! Смертен даже Сократ.
Много имен у счастья: к примеру,
Атлантида, Дальний Предел или сияние рампы,
Небеса или Древний Китай. Не торопитесь
И помните: есть обстоятельства,
И тот, кто из выбранного отбирает,
Кто делает свой Выбор, —
Предпочтите любовь, ведь любовь — это дети,
Это выбор; вырастут, выберут
Ботанику, математику, медицину и любовь,
Которая — выбор! Которая — дети!
И бессмертно прошлое, и неистощимо грядущее!

ВРЕМЯ

Мое сердце колотится, кровь змеится,
Льется света поток,
Мысль мчится, земля кружится,
Дрожат ресницы, воздух струится,
Секундной стрелке не спится,
Время не хочет остановиться,
Ежесекундно гибнет время!
Время, прощай! Время, прощай!
Нет, погоди, побудь со мной,
Но не бездвижным мертвецом,
И не скульптурою аллейной,
И не прибрежною скалою —
Ты лишь замедли танец свой,
Чтоб дольше быть в плену желаний,
Слов, жестов, планов, голосов;
Помедли, чтоб не так струилась
Кровь теплая твоя: побудь со мной.

Неймется нам! Уходит время,
И мы за ним: прощай же, Время!
Нет, стой, останься, погоди,
Будь осторожно, будь благоразумно,
Благоразумно
Приостановись.
Когда бы нам передвигаться в ногу,
Шаги соразмеряя и усилья,
Мы б достигали счастья, равновесья,
Сбегая вместе по крутой дороге,
Ступая рядом.
И так до самой старости глубокой
Идти по убегающей дороге,
Как Чаплин и сестра его сиротка,

Шагать сквозь время в поисках добра.

БОДЛЕР

Когда засыпаю и даже во сне
Я слышу отчетливо голоса,
Какие-то фразы, лишенные смысла,
Ко мне не имеющие отношенья.

Дорогая Мама, неужели счастье
К нам не вернется. Я кругом в долгах,
Банковским счетом моим скоро займется суд.
Ничего не знаю. Ничего не могу понять.
Я не способен сделать над собой усилье.
Но я, как и прежде, очень тебя люблю.
Я всегда во власти твоей, слышишь, всегда:
Это правда. Все осталось, как в детстве.

Впервые за всю мою долгую жизнь
Я почти счастлив. Книга почти готова
И, кажется, удалась. Ей жить суждено, она —
Моя одержимость, ненависть, отвращенье.

Долги и тревоги отнимают последние силы.
Сатана искушает, сладко нашептывая:
«Отдохни денек! Ты можешь денек поразвлечься,
Поработаешь ночью». Приходит ночь,
И, долгами измотанный,
Терзаемый тоскою, бессильем парализованный,
Я даю себе клятву: «Завтра, завтра уж точно!»
А назавтра — тот же сюжет комедии
С тем же финалом, с тем же бессильем.

Меня тошнит от этих меблированных комнат.
Мне досаждают простуды и головная боль:

Ты же знаешь меня. Каждый день
Мне добавляет ярости. Нет, дорогая Мама,
Ты не знаешь, что такое поэт: я должен писать стихи.
Самое тяжкое дело на свете.

Мне сегодня грустно. Не брани меня.
Я сижу в кафе и пишу тебе это письмо
Под стук бильярдных шаров, под звон тарелок,
Под боль моего сердца. Мне заказали
«Историю карикатуры». Просят меня написать
«Историю скульптуры». Не написать ли историю
Карикатурных скульптур, тебя изображавших в сердце

моем?
И хотя ты жестоко страдаешь,
Хотя ты не веришь в мои стихи
И боишься, не дать бы лишнего, —
Умоляю, пришли мне денег, чтобы хватило на три недели.

УИСТАН ХЬЮ ОДЕН

В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
© Перевод П. Грушко

На страданья у них был наметанный глаз.
Старые мастера, как точно они замечали,
Где у человека болит, как это в нас,
Когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали,
Как рядом со старцами, которые почтительно ждут
Божественного рождения, всегда есть дети,
Которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд
У самой опушки, —
художники эти
Знали — страшные муки идут своим чередом
В каком-нибудь закоулке, а рядом
Собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду содом,
А лошадь истязателя
спокойно трется о дерево задом.

В «Икаре» Брейгеля, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь — словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей, —
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно
Воды, а изящный корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем,

все дальше уплывал от земли...

НАШИ НАКЛОННОСТИ
© Перевод Э. Шустер

Внемлет лев песочным часам,
А сад — колокольным уставам,
Что Время терпимо к ложным шагам,
Что неправильно быть всегда правым.

Увы, как ни громок Времени звон,
Как ни быстро его теченье,
Львиный прыжок все равно силен,
А розе чуждо смущенье.

Ведь роза и лев ищут только удач;
Мы же слово судим по звуку,
Видим жизнь как решенье трудных задач,

А Время — как ценность святую.
Чтоб найти себя, кто из нас крюку
Склонен путь предпочесть напрямую?

БАРД
© Перевод П. Грушко

Он был слугой — его не замечали,
Он тенью был людских страстей, тревог.
Но в нем, как ветер, пели все печали —
Вздыхали люди: это плачет бог!

А бога славят. И тщеславным стал он,
Стал почитать за песни сущий бред,
Рождавшийся в его уме усталом
Среди домашней суеты сует.

Поэзия не шла к нему, хоть плачь,
Теперь он изучал свои невзгоды
И безделушки гладкие строгал.

По городу бродил он, как палач,
Людей встречая, думал: вот уроды!
А если встречный злился — убегал.

КУЛЬТУРА ПЛЕМЕНИ ЛИМБО
© Перевод П. Грушко

По мнению туристов, племя лимбо,
На первый взгляд, почти на нас похоже,
Жилища их практически опрятны,
Часы идут почти как наши, пища
Почти что аппетитна, но никто
И никогда не видел их детей.

В наречье лимбо, по сравненью с нашим,
Есть больше слов, где тонкие оттенки
Обозначают всякие «чуть-чуть,
Ни то ни се, почти что, что-то вроде,
Чуть больше или меньше, где-то рядом…».
В местоименьях лимбо нет лица.

В легендах лимбо рыцарь и дракой
Грозят друг другу саблей и клыками,
Промахиваясь лишь на волосок,
Смерть с юношей не свидится никак:
Она прошла чуть раньше, он чуть позже,
Кошель волшебный потерял владельца.

«Итак, — читаем мы в конце, — принцесса
И принц почти-что-все-еще женаты…»
Откуда, почему у них такая
Любовь к неточностям? Возможно, каждый
Из лимбо занят самопостиженьем?
А разве знаешь точно — кто ты есть?

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА
© Перевод А. Сергеев

Я сижу в ресторанчике
На Пятьдесят Второй
Улице; в зыбком свете
Гибнут надежды умников
Бесчестного десятилетия:
Волны злобы и страха
Плывут над светлой землей,
Над затемненной землей,
Поглощая личные жизни;
Тошнотворным запахом смерти
Оскорблен вечерний покой.

Точный ученый может
Взвесить все наши грехи
От лютеровских времен
До наших времен, когда
Европа сходит с ума;
Наглядно покажет он,
Из какой личинки возрос
Шизофреничный кумир;
Мы знаем по школьным азам,
Кому причиняют зло,
Зло причиняет сам.

Уже изгой Фукидид
Знал все наборы слов
О демократии,
И все тиранов пути,
И прочий замшелый вздор,
Рассчитанный на мертвецов.
Он сумел рассказать,

Как знания гонят прочь,
Как входит в привычку боль
И как смысл теряет закон.
И все предстоит опять!

В этот нейтральный воздух,
Где небоскребы всею
Своей высотой утверждают
Величье Простых Людей,
Радио тщетно вливает
Убогие оправдания.
Но кто еще может жить
Мечтою о процветании,
Когда в окно сквозь стекло
Смотрит империализм
И международное зло?

Люди за стойкой стремятся
По-заведенному жить:
Джаз должен вечно играть,
А лампы вечно светить.
На конференциях тщатся
Обставить мебелью доты,
Придать им сходство с жильем,
Чтобы мы, несчастные дети,
Страшащиеся темноты,
Брели в проклятом лесу
И не знали, куда бредем.

Воинственная чепуха
Из уст Высоких Персон
В нашей крови жива,
Как первородный грех.
То, что безумец Нижинский
О Дягилеве сказал,
В общем, верно для всех:

Каждое существо
Хочет не всех любить,
Скорее, наоборот, —
А чтоб все любили его.

Владельцы сезонных билетов,
Из консервативного мрака
Пробуждаясь к моральной жизни,
Клянутся себе поутру:
«Я буду верен жене,
И все пойдет по-иному».
Просыпаясь, вступает вояка
В навязанную игру.
Но кто поможет владыкам?
Кто заговорит за немого?
Кто скажет правду глухому?

Мне дарован язык,
Чтобы избавить от пут,
От романтической лжи
Мозг человека в толпе,
От лжи бессильных Властей,
Чьи здания небо скребут.
Нет никаких Государств,
В одиночку не уцелеть.
Горе сравняло всех.
Выбор у нас один —
Любить или умереть.

В глупости и в ночи
Мир беззащитный погряз;
Мечутся азбукой Морзе,
Пляшут во тьме лучи —
Вершители и Справедливцы
Шлют друг другу послания.
Я, как и все, порождение

Эроса и земли,
В отчаянье всеотрицания —
О, если бы я сумел
Вспыхнуть огнем утверждения!

В ДРУГОЕ ВРЕМЯ
© Перевод Э. Шустер

Для нас, как для любого дезертира,
Цветов бессчетных, что не знают счет,
Зверей, которых память не грызет,
Сейчас — вот все пространство мира.

Мы рады — Не Сегодня — произнесть,
Мы позабыли, как сказать Я Есть,
И заблудились бы, когда попали
В минувшего возвышенные дали.

Вот мы спешим, чеканя четко шаг,
Найти с удобствами удобный флаг,
Шепча, как древние, но уподобив каше
Слова Мое и Их, Его и Наше.

Как будто древним нужно было время,
Чтобы принять ответственности бремя,
Как будто ложным было в них
Желанье стать отличным от других.

Не странно, что сегодня к стольким людям
Смерть от тоски и одиночества грядет;
И не обманет нас словесный оборот —
В другое время мы другими будем.

ХВАЛА ИЗВЕСТНЯКУ
© Перевод А. Сергеев

Переменчивых нас постоянная ностальгия
Возвращает к известняку, ибо этот камень
Растворяется в море. Вот они, круглые склоны
С надземным запахом тмина, с подземной системой
Пещер и потоков; прислушайся, как повсюду
Кудахчут ручьи — и каждый свое озерко
Наполняет для рыб и свой овраг прорезает
На радость ящеркам и мотылькам; вглядись
В страну небольших расстояний и четких примет:
Ведь это же Мать-Земля — да и где еще может
Ее непослушный сын под солнцем на камне
Разлечься и знать, что его за грехи не разлюбят,
Ибо в этих грехах — половина его обаянья?
От крошащейся кромки до церковки на вершине,
От стоячей лужи до шумного водопада,
От голой поляны до чинного виноградника —
Один простодушный шаг, он по силам ребенку,
Который ласкается, кается или буянит,
Чтобы привлечь к себе внимание старших.

Теперь взгляни на парней — как по двое, по трое
Они шагают на кручи, порой рука об руку,

Но никогда, слава Богу, не по-солдатски в ногу;
Как в полдень в тени на площади яростно спорят,
Хотя ничего неожиданного друг другу
Не могут сказать — и не могут себе представить
Божество, чей гнев упирается в принцип
И не смягчается ловкою поговоркой
Или доброй балладой: они привыкли считать,
Что камень податлив, и не шарахались в страхе
Перед вулканом, чью злобу не укротишь;
Счастливые уроженцы долин, где до цели
Легко дотянуться или дойти пешком,
Никогда они не видали бескрайней пустыни
Сквозь сетку самума и никогда не встречали
Ядовитых растений и насекомых в джунглях —
Да и что у нас может быть общего с этой жутью!
Другое дело сбившийся с толку парень,
Который сбывает фальшивые бриллианты,
Стал сутенером или пропил прекрасный тенор —
Такое может случиться со всеми нами,
Кроме самых лучших и худших…
Не оттого ли
Лучших и худших влечет неумеренный климат,
Где красота не лежит на поверхности, свет сокровенней,
А смысл жизни серьезней, чем пьяный пикник.
«Придите! — кричит гранит. — Как уклончив ваш юмор,
Как редок ваш поцелуй и как

непременна гибель!»
(Кандидаты в святые тихонько уходят.) «Придите! —
Мурлыкают глина и галька. — На наших равнинах
Простор для армий, а реки ищут обузданья,
И рабы возведут вам величественные гробницы:
Податливо человечество, как податлива почва,
И планета и люди нуждаются в переустройстве».
(Кандидаты в Цезари громко хлопают дверью.)
Но самых отчаянных увлекал за собою
Древний холодный свободный зов океана:
«Я — одиночество, и ничего не требую,
И ничего не сулю вам, кроме свободы;
Нет любви, есть только вражда и грусть».

Голоса говорили правду, мой милый, правду;
Этот край только кажется нашим прекрасным домом,
И покой его — не затишье Истории в точке,
Где все разрешилось однажды и навсегда.
Он — глухая провинция, связанная тоннелем
С большим деловитым миром и робко прелестная —
И это все? Не совсем: Каков бы он ни был,
Он соблюдает свой долг перед внешним миром,
Под сомнение ставя права Великих Столиц
И личную славу. Поэт, хвалимый за честность,
Ибо привык называть солнце — солнцем,
А ум свой — Загадкой, здесь не в своей

тарелке:
Массивные статуи не принимают его
Антимифологический миф; озорные мальчишки
Под черепичными переходами замка
Осаждают ученого сотней житейских вопросов
И соображений и этим корят за пристрастье
К отвлеченным аспектам Природы; я тоже слыхал
Такие упреки — за что и сколько, ты знаешь.
Не терять ни минуты, не отставать от ближних
И ни в коем случае не походить на животных,
Которые лишь повторяют себя, ни на камень
И воду, о которых заранее все известно, —
Вот суть Англиканской Обедни; она утешает
Музыкой (музыку можно слушать где хочешь),
Но нет в ней пищи для зренья и обонянья.
Если мы видим в смерти конечную данность,
Значит, мы молимся так, как надо; но если
Грехи отпустятся и мертвецы восстанут,
То преображение праха в живую радость
Невинных атлетов и многоруких фонтанов
Заставляет подумать подальше: блаженным будет
Безразлично, с какой колокольни на них посмотрят,
Ибо им утаивать нечего. Мой дорогой,
Не мне рассуждать, кто прав и что будет потом.
Но когда я пытаюсь представить любовь без изъяна

Или жизнь после смерти, я слышу одно струенье
Подземных потоков и вижу один известняк.

ЭПИТАФИЯ ТИРАНУ
© Перевод П. Грушко

Совершенства он жаждал в конечном счете,
Но были его стихи простоваты.
Он тонко использовал глупость людей,
Все строил на армии и на флоте.
Он ржал — и хихикали депутаты,
Вопил — и смерть косила детей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН
© Перевод П. Грушко

Этот мраморный монумент воздвигнут
за счет государства в честь XC/07/M/378

Бюро Статистики подтвердило снова,
Что он не судился, все данные говорят:
В современном смысле старомодного слова
Он праведник, внесший свой скромный вклад
В развитие нашей Великой Страны.
С самой юности до пенсионного года
Он ни разу (исключая годы войны)
Не увольнялся со своего завода.
В Кукиш-Моторс ему всегда были рады:
Не штрейкбрехер, достойные взгляды,
Профсоюзные взносы уплачивал в срок
(Профсоюз положительный), означенный
парень,
По мненью Психологов, был популярен
На службе, и выпивка шла ему впрок.
Каждый день он покупал по газете,
Реакция на Рекламу была первый класс,
Застрахованный от всего на свете,
Он в Больнице, однако, был только раз.
Согласно Вестнику высших сфер,
Он был поклонник Системы Рассрочек,
Имел все вещи и среди прочих
Радиолу, машину, кондиционер.
По мнению Службы общественных мнений,
Во взглядах его был здравый резон:
Если был мир — за мир был и он,
А война — он шел на войну. Тем не менее
Он выжил, имел пятерых детей,

Наш Демограф писал в одной из статей
О количестве этом как об идеале.
В Школе был смирным, правильно рос.
Был ли счастлив? Свободен? Странный вопрос:
Если бы не был, мы бы об этом знали.

ЩИТ АХИЛЛА
© Перевод П. Грушко

Она глядит, как он ладит щит,
Надеясь узреть на нем виноград,
И паруса на дикой волне,
И беломраморный мирный град,
Но на слепящий глаза металл
Его искусная длань нанесла
Просторы, выжженные дотла,
И небо, серое, как зола...

Погасшая земля, где ни воды,
Ни трав и ни намека на селенье,
Где не на чем присесть и нет еды,
И все же в этом сонном запустенье
Виднелись люди, смутные, как тени,
Строй из бессчетных башмаков и глаз,
Пустых, пока не прозвучал приказ.

Безликий голос — свыше — утверждал,
Что цель была оправданно-законной,
Он цифры приводил и убеждал,
Жужжа над ухом мухой монотонной, —
Взбивая пыль, колонна за колонной
Пошла вперед, пьянея от тирад,
Оправдывавших путь в кромешный ад.

Она глядит, как он ладит щит,
Надеясь узреть священный обряд:
Пиршество и приношенье жертв
В виде увитых цветами телят, —
Но на слепящий глаза металл
Длань его не алтарь нанесла:

В отсветах горна видит она
Другие сцены, иные дела…

Колючей проволокой обнесен
Какой-то плац, где зубоскалят судьи,
Стоит жара, потеет гарнизон,
Встав поудобнее, со всех сторон
На плац досужие глазеют люди,
А там у трех столбов стоят, бледны,
Три узника — они обречены.

То, чем разумен мир и чем велик,
В чужих руках отныне находилось,
Не ждало помощи в последний миг
И не надеялось на божью милость,
Но то, с каким усердием глумилась
Толпа над унижением троих, —
Еще до смерти умертвило их.

Она глядит, как он ладит щит,
Надеясь атлетов узреть на нем,
Гибких плясуний и плясунов,
Кружащих перед священным огнем, —
Но на слепящий глаза металл
Легким мановением, руки
Он не пляшущих поместил,
А поле, где пляшут лишь сорняки…

Оборвыш камнем запустил в птенца
И двинул дальше… То, что в мире этом
Насилуют и могут два юнца
Прирезать старца, — не было секретом
Для сорванца, кому грозил кастетом
Мир, где обещанному грош цена
И помощь тем, кто немощен, смешна.

Тонкогубый умелец Гефест
Вынес из кузни Ахиллов щит.
Фетида, прекрасногрудая мать,
Руки к небу воздев, скорбит
Над тем, что оружейник Гефест
Выковал сыну ее для войны:
Многих сразит жестокий Ахилл,
Но дни его уже сочтены.

СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ

ПРО ВСЕХ НЕЧЕСТИВЦЕВ
© Перевод Г. Кружков

Адам был моим дедом,
Он бегал босиком,
На зелени Эдема
Он рыжим был пятном.
Балованный ребенок
Сорвал запретный плод.
Я получился в деда —
Такой же сумасброд.

Бродяга Ной, мой дядя,
Под рев, и лай, и визг
Всех чистых и нечистых
Перепивался вдрызг.
Когда летел он в бездну,
Дрожал от страха Ад.
«Вы очень с ним похожи», —
Мне часто говорят.

Лилит — моя подруга,
И жизнь и смерть моя,
Благоуханней меда,
Коварней, чем змея.
Ее я вечно жажду
И телом и душой, —
Пока бормочет кто-то:
«Фу, как нехорошо!»

Был Бахус моим братом,
Приятелем — Нимрод,
Меня предупреждали,
Куда это ведет.

Но если Дьявол за меня,
То я не пропаду, —
Пусть возмущаются в Раю,
Мне веселей — в Аду!

АМЕРИКАНСКИЕ НАЗВАНИЯ
© Перевод М. Бородицкая

Я полюбил с незапамятных пор
Острую свежесть этих имен,
Мне по душе этот пестрый узор:
В яркой раскраске Индейский Каньон,
Мертвая Роща, Косматый Бизон.

Сена и Рейн — серебряный звон,
Но серебро с годами тусклей.
Старым напевом звучит Альбион,
Словно охотничий рог средь полей…
Мне же родные названья милей.

Нью́берипорт и Ба́ддефорд,
Литл-Френч-Лик и Ланди-Лейн
(Северный выговор, северный порт),
Про́виденс-сити, бухта Мэйн,
Олдтаун и Ньютаун и Скунс-Таун-Плэйн…

Тихий черпну океан в Санта-Крус,
В Бо́стоне буду Атлантикой пьян,
В Блю-ридже негр сыграет мне блюз, —
И я обойдусь без далеких стран,
И я отдохну от заморских муз.

Рю-де-Марти́р и Нотр-Дам,
Рим и Афины, Мадрид и Багдад, —
Старые сказки вы дарите нам,
Я же за новой отправиться рад
В Хэ́ррисберг, Спа́ртанберг или Кейп-Джад.

Скажете: классики, Генри и Джон,

Так не писали? не думали так?
Но после вечерних бесед на балкон
Они выходили и, глядя во мрак,
Нантáкетский в море искали маяк…

И после смерти найду я покой
Не в Ливерпуле, не в Шамуни́,
Лондон ли будет шуметь надо мной
Или Париж — мне нужны не они!
Встав из могилы, уйду я домой:
Похороните меня в Вундед-Ни!

ЛИТАНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИКТАТУР
© Перевод М. Бородицкая

Об искалеченных, об убиенных,
Об угнетенных, сирых и убогих,
О призраках в горящих городах...

О тех, кого привезли, втолкнули и начали бить
Крепкие парни с упругими кулаками:
Без передышки, по голове, по спине, и об стол,
И с размаху в пах, чтобы корчился на полу,
Как обезглавленная курица, а тот, кого следом ввели,
Смотрел побелевшими, расширенными зрачками.
О тех, кто при этом хрипел «Рот Фронт» или «Боже,
храни короля!»,
И о тех, кто держался смирней, но был избит точно также.
О тех, кто выплевывал в коридоре
Кровь и обломки зубов
И засыпал сном праведника на цементном полу
Со сладкой мечтой напоследок прикончить конвойного
в грязном сортире,
О тех, с ввалившимися глазами и негасимым огнем!

О тех, кто остался хромым, изуродованным, — и

о тех,
Кого безымянным зарыли в тюремном дворе
И до рассвета сровняли могилу с землею.

О тех, кто был сразу убит. И о тех, что годами
Ждали, терпели, надеялись, шли по утрам на работу,
В магазин за продуктами, на собрание подпольщиков,
Обзаводились детьми, запасались оружием и наконец
Были схвачены и перебиты, как крысы.
Об изгнанниках,
Которые чудом спаслись за границу;
О тех, кто снимает маленькие комнатушки в больших

чужих

городах
И вспоминает родину: высокие зеленые травы,
Родной язык, голоса далекого детства, запах ветра

в то лето,

Форму комнат, вкус кофе, разговоры с друзьями,
Любимый город, знакомый столик в кафе,
Надгробные камни, под которыми им не лежать,
Землю, в которой им не лежать. Дети у них —

иностранцы.
О тех, кто разрабатывал планы, и возглавлял, и терпел

поражение,
И о тех простофилях, кто однажды без всякого плана
Разозлился и рассказал анекдот, и на них донесли,

И они не могли оправдаться и были отправлены в
лагерь,
Чтобы приехать обратно в закрытых гробах с ярлыками:
«Умер от пневмонии», «Убит при попытке к бегству».
О тех, кто выращивал хлеб и был застрелен возле снопов,
О тех, кто выращивал хлеб и был отправлен в пески или в
тундру
И там тосковал, как по раю, по хлебному полю.
О тех, на кого донесли их родные дети, чистенькие

гаденыши,
В награду получившие мятный пряник и похвалу Образцового
Государства,
О всех задушенных, кастрированных и просто уморенных

голодом
Во имя создания Образцовых Государств; о повешенном
священнике в
рясе,
О еврее с раздавленной грудью и угасающими глазами,
О смутьяне, которого вздернули люди в штатском, —
Именем Образцового Государства, во имя Образцовых

Государств.

О тех, кого выдал сосед, с которым здоровались за руку,
И о предателях, сидящих на жестких стульях,
Со струйками пота на лбу, с дергающимися пальцами,
Называющих улицу, номер дома и имя того человека.
И о тех, кто сидел за накрытым столом,
И лампа горела, и пахло едой,
И они говорили вполголоса, и тут послышался шум моторов
И в дверь постучали; они быстро переглянулись,
И женщина с застывшим лицом пошла открывать,
Оправляя платье: «Мы все здесь честные граждане.
Мы веруем в Образцовое Государство». И больше уже никогда
Не появлялись ни Коротышка, ни Тони, ни Карл,
А семью уничтожили позже.
Больше уже никогда... Мы слышали выстрелы ночью,
Но утром никто из соседей не знал, что случилось.
Ничего не поделаешь, нужно идти на работу. И я не видала его
Целых три дня, я чуть не сошла с ума,
А тут еще все эти патрули со своими вонючими ружьями,
И когда он вернулся, то походил на пьяного, и на нем была кровь.
О женщинах, что тайком по ночам оплакивают погибших,
О детях, привыкших молчать, — постаревших

детях,
В которых плюют одноклассники. О разгромленной

лаборатории,
О разграбленном доме, заплеванных картинах, загаженных
колодцах.
О Разуме, который убили и голым швырнули на
площадь…
И никто не пошевелился, и никто не сказал ни слова.
О холодном прикладе и горячей пуле,
О веревке на шее, о наручниках на запястьях,
Об огромном металлическом голосе, который лжет
из тысяч
радиорупоров,
О заикающемся пулемете, который ответит на все

вопросы.

О человеке, распятом на кресте пулеметных очередей,
Человеке без имени, без орденов, без надежды на
воскресение,
Темная голова свисает под тяжестью смерти, тело

пропахло
Кислым запахом бесконечных тюрем — Джон Смит,
Джон

Доу,
Джон Никто — о, припомните, как его звали!
Безликий, как вода, беззащитный, как пыль на дороге,
Осквернённый, как эта земля, отравленная химическими

снарядами,
И одичавший от цивилизации.
Вот он.
Вот человек, которого съели за зеленым столом
(Перед тем как приняться за мясо, гости надели

перчатки),
Вот он, плод с древа войны, плод с древа мира,
Последнее изобретение, новый агнец,
Разгадка всех премудростей всех мудрецов.
И до сих пор он висит на кресте, все никак не умрет,
И до сих пор над железным городом нашей эпохи
Меркнет свет и зловеще струится кровь.

Мы думали, с этим покончено, но мы ошибались.
Мы думали, мы мудры, оттого что сильны.
Мы думали, наш скорый поезд везет нас в вечность.
Мы думали, скоро совсем рассветет.
Но поезд сошел с рельсов, и его захватили бандиты.
Но силой и властью сегодня владеют кабан и гадюка.
Но непроглядная ночь надвигается снова на Запад.
Мы, как и наши отцы, посеяли зубы дракона.

Наши дети знают войну и боятся солдат.

РОССИИ
© Перевод М. Зенкевич

За Россию, за русский народ,
За все, что свершил он в этот год,
За русские подвиги, русскую доблесть!
Это было в июне, в воскресное ясное утро,
Такие дни выбирают обычно фашисты
Для погромов, убийств, для предательских нападений
(Как другое такое же утро шесть месяцев позже,
Как другое такое же утро…). И вдруг
Удар вероломный, и с неба посыпались бомбы,
Обрушились смерчи стальные на мирный народ,
На избы и хаты, на хлебородные степи,
На пущи медвежьи, на реки с названием древним,
На города, на узлы железных дорог,
На детей, игравших в саду, на могучих женщин,
На девушек, что стройнее берез белоствольных,
На стариков, гревших кости свои на припеке.
Такой же смерч мог взмести и наши равнины,
Прерии наши безбрежные, словно небо,
Такой же смерч взметал и другие страны,
И сама земля содрогнулась от взрывов стали,
И вот со своих равнин поднялся русский народ!
Беспримерны подвиги русских.
Враг занимал их города. Новостройки
Взрывая, они уходили, но не сдавались.
Танки врага подползали к воротам Москвы,
Но они не сдавались, сражаясь упорно.
От вражеских танков они уходили в леса и сражались,

Жгли на корню урожай, чтоб врагам не достался, —
Вместе с ними воюет сама их земля.
Беспримерные подвиги совершают
В зной и в мороз, в дожди и в метели
Мужчины и женщины России.
Они встали все за родную землю
И отбросили назад машину нашествий.

Я не ищу одобренья или слез сочувствия,
Я не хочу, как ораторы, рассыпать
Бумажные цветы красноречия
На опаленную землю, где умирают бойцы.
Это только факты, железные факты
О беспримерной доблести русских.

За Россию, за непобедимый народ,
За народную непобедимую армию,
За красноармейцев и партизан,
За наших собратьев по оружию,
За великий народ, что остановил
Огромную машину, пожиравшую нации,
Остановил, и порвал ее передачу,
И отбросил назад, и борется с ней
Пламенем, сталью и кровью,
Великан непоколебимого мужества!

Через моря, через растерзанные страны
Мы шлем салют и говорим: «Мы с вами!»
А в Хартфорде, Гаре, Питтсбурге, Детройте
Заводы прокатывают сталь,
И суда соскакивают со стапелей,
Из цехов вылетают аэропланы,
Это трудный шаг объединенных наций,
Борьба будет долгой и тяжелой,
Но принесет урожай, как наши равнины,

И победа, как рассвет, неизбежна!

КАРЛ ШАПИРО
© Перевод В. Британишский

ПОД КУПОЛОМ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Рисуя резко, как фламандский мастер,
Лида людей, как бы покрытых лаком
Или увиденных вдали сквозь линзу,
Воскресный полдень сквозь кристальный воздух
Вдоль улицы глядит
И отражает у меня в глазу
Ряды жилищ и жизней:
Окно в окно, дверь в дверь одни и те же,
Лицо в лицо одни и те же,
В их грубой зримости одни и те же;

Как если б жизнь из одного жилища
Застыла и ее изображенье
В двух зеркалах, друг к другу обращенных,
Все время повторялось,
Как будто здесь, в сверхскоростном глазу,
Взгляд размножает фотоотпечатки.

Я вижу длинные автомобили,
Из них, из теплых и стеклянных гнезд,
Порхнут на тротуар, сверкая шелком,
Крепкие ноги наших женщин.
Все наши женщины — одна, все — в черном.
Накрашенный кармином рот
И щечки нежные принадлежат
Мужчине в черном,
Который щеголяет рядом с нею.
К самим себе они идут с визитом:
Весь день скользя от двери к двери,
Ткут свой бессмысленный узор,
Самих себя,
Скользнув холодным взглядом, отражают.

Из комнаты, что разогрелась за день,
Весь день смотрю в окно и жду ее,
Жду, как подсматривающий, ее,
Ее, ту, что затмит всех этих женщин;
Весь день мой взгляд фиксирует привычно
Ряды жилищ и жизней.

Но не случится ничего; не ляжет
Косая тень на плиты тротуара:
Не явится слепая негритянка,
Не выползут из темных нор изгои,
Не выронит бомбардировщик бомбу,
Чтоб вдребезги разбить шары и призмы,
Всю парфюмерию, все зеркала,
Все яркие, в мильярд свечей, витрины,
Не угодит прямое попаданье
И не воткнет дрожащую иглу
В глаз, прямо в глаз узревшему ее,
Ошеломленному ее сияньем.

ГОЛЛИВУД

Вдали от всяких войн, неповторимый,
Как некогда Багдад или Афины,
Город лежит между хребтом и морем.
Воздух сухой и чистый, день сияет,
Будто на глянцевой цветной открытке:
Виллы и виды. Ночь — реклама
Любви и музыки и звездных сфер.

Сердце Америки. Сердца здесь льнут
Друг к другу на бульварах, там, где пальмы
Растут в горшках, и дальше, на дорогах,
Где выращены сказочные замки,
Как пышные метафоры из камня,
И на площадках киносъемок,
Где воскресают бредни старины.

Алиса или Золушка — реальны.
Турист, уставший от иллюзий, может
Здесь отдохнуть. Все ново, нет руин;
Почтенье к прошлому здесь не взимают,
Как пошлину; традиции не чтут.
Эксцентрика — вот здешний бизнес.
И две индустрии: любовь и смех.

Успех — еще одна. Здесь богатеют
Телохранитель, прихлебатель, техник,
Здесь знахарь строит грандиозный офис,
Дебил и гений пожинают лавры,
Для мистика здесь — золотое дно;
Здесь сверх и супер повседневны,
А красота — расхожий ширпотреб.

Так что это за город? И откуда?
Блажь юной нации, еще растущей?
Укромный уголок для тайных оргий?
Чужой, как шахские гаремы? Наш,
Как дым Чикаго и разврат Атланты?
Так что же? Молодость порочна,
Как стиль ее домов и модных фраз?

И кто все это? Выскочки? Юнцы?
Цвет нации, умнейшие из умниц?
Да. Хоть невиданный и новомодный,
Город наш-нашенский, американский
Насквозь. И если уж имеет душу
Цивилизация рассудка,
То здесь душа, Флоренция ее.

НОСТАЛЬГИЯ

Моя душа — там, в комнате моей,
А я вдали, за десять тысяч миль;
И день за днем — лишь трубный рев морей,
Соль, облака и водяная пыль.
Дуй, ветер, дуй, ведь многих встретит смерть.

Самовлюбленной юности друзья,
Книги мои с обрезом золотым;
Цветы, самовлюбленные, как я,
В окне уютом светятся былым.
Дуй, ветер, дуй, ведь многих встретит смерть.

Твой день стал ночью мне, ночь стала днем,
С этим ложусь я, с этим я встаю;
День канул в море, звезды тонут в нем,
Ход времени по небу узнаю.
Дуй, ветер, дуй, ведь многих встретит смерть.

Укол — и память вновь кровоточит,
А мир вот-вот взорвет нас, этот взрыв
Цветы и головы — все превратит
В ничто, мгновенным светом озарив.
Дуй, ветер, дуй, ведь многих встретит смерть.

Смех и отчаянье сдружились. Что ж,
Пусть будет тяжек сердца каждый шаг;
Лицо в морщинах, как морской чертеж,
Слезы в глазах, и моря шум в ушах.
Дуй, ветер, дуй, ведь многих встретит смерть.

ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН

Стоп. Станция. Рабочие-путейцы
Машут рукой: салют! и скалят зубы.
Дети визжат, как в цирке, Бизнесмены
Проходят, поощрительно взглянув.
А женщины стоят в дверях домов,
Глядят нам вслед, словно прося вернуться,
Словно слезой остановить войну,
Железо наше растворить могли бы.

Как гроздь плодов из рога изобилья,
Свисаем с переполненных платформ.
Все дружелюбны к нам, готовым хлынуть
Ухмылками и гоготом вдоль улиц.
Бутылка разбивается о буфер.
Взгляд, растянувшись вслед улыбке женской
И сжавшись, как резина, жалит губы,
Что жаждут поцелуя, как воды.

И дальше, дальше — континенты, дни —
Мы тащимся, чумазы и чуть пьяны,
Лихие парни шанса и судьбы,
Чьи «ведра»-каски в призрачном грядущем
Стучат о стену наших мертвых тел
Рядом с лежащим замертво оружьем.
И горизонты сжавшейся земли
Нас обняли, как жесткие ремни.

Колода карт в твоих руках, сдающий;
Сдай мне на счастье парочку получше,
Валетика в придачу подшвырни.
Черви червонны, пики сплошь черны,
Пики и кресты-крестики черны.

Дай выиграть, дожить до торжества.
Ведь арифметика игры проста:
Не всем везет, не все придут с войны.

С вокзала на корабль, смерть или порт,
Вокзал, на поезда, на фронт, и смерть,
В грузовики, на марш и в бой, и смерть
Или надежда жить: как знать, как знать.
Смерть — путь назад, на поезд, на корабль,
Жизнь — путь на фронт, о флаг! и наконец
Та жизнь, что после поездов и смерти,
Праздник людей всех стран после войны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пустынность тихоокеанской шири,
Тысяча дней изгнанья и тоски,
Прощайте. Вот уж скрылся Южный Крест
За горизонтом, тонет континент
В волнах, горчайший остров растворился
В стихии соли,
А здесь, на палубе, туман окутал
Мою улыбку, ту, что осветила б
Всю тьму, прощая ход времен, повергших
В позор и в смерть мильоны и меня.

Везет корабль наш не сырье с Востока —
Солдат, зеленых в синем свете трюмов,
И психов полный твиндек взаперти;
Корабль-упырь, корабль-казарма дышит
Приторно-тошным смрадом униженья,
И даже те, кто не задет железом
Или психозом, жаждут, озверев,
Дорваться наконец до вожделенных
Вещей и женщин.

Поскольку чужд я этих нежных чувств,
Столь же обычных, сколь недопустимых
В армейской жизни, я стою один
И ненавижу хаки-человечков,
Как вши, ползущих по морщинам моря,
Загадив корабли. Но не могу
Прозреть в тумане наш священный мост —
Место прощанья, место возвращенья.
Слезы мои — не ода в честь отчизны,
Лишь боль души, улыбка — лишь молитва.

Одолевая слякоть сантиментов,
Встречены зыбью и эскортом чаек,
Мы тихо и торжественно вступаем
В пределы территориальных вод.
И лишь тогда чудовищная радость,
Как если бы взорвался весь корабль,
Вдруг разрядит заряд небес и моря,
Расколет сотню тысяч черепов,
И грянет взрыв любви, высвобождая
Души солдатских тысяч и мою.

ЗИМА В КАЛИФОРНИИ

Калифорнийская зима. Ландшафт —
Как интерьер в цветочном магазине:
Кусты камелий розовых в долине
Цветут зимой; и тысячи букетов
Редкостных роз шлет изобильный штат
Для бракосочетаний и банкетов.

Полакомившись розами, ползут
Под сень плюща садовые улитки;
Но мышьяка насыпано в избытке
Для них. А раковины их пустые
Садовник соберет и сложит тут,
В углу двора, как черепа людские.

Туман растаял, небо — чистый лист,
Тетрадный лист, огромнейший на свете,
Для упражнений будущих столетий;
Вот реактивный чертит ряд парабол,
Дуги, кресты, но лист, как прежде, чист:
Ветер успел стереть следы каракуль.

Зима в долине виноградных лоз.
Рядами, как кресты солдатских кладбищ,
Колья торчат, а винограда сладость
Теперь играет в бочках из секвойи,
В чанах с вином, для этого он рос,
Мильярдом гроздьев зрея в летнем зное.

Лыжники с гор, от края снежных зим,
Идут домой, спускаясь вниз, к оливам,
К инжиру, к пальмам, что полны счастливым
Теплом, приятным зимнему сознанию.

Будь стены старше, ты бы вспомнил Рим,
Грунт — каменистей, вспомнил бы Испанию.

Но здесь растет старейший род земной,
Деревья, что росли при фараонах
И вновь весной побегов ждут зеленых.
Не то чтобы красивы; мрачноваты,
Гнетут своей гигантской вышиной;
Но чувствуешь, как почвы здесь богаты.

Дождь в Калифорнии. Покроет дождь
Маслины глянцем, апельсины лоском,
Листья камелии прозрачным воском,
Яркости крыш вернет былую силу,
Хлынет в сады, природы явит мощь,
Долину затопив, подобно Нилу.

РЭНДАЛЛ ДЖАРЕЛЛ

ЗАБОЛЕВШИЙ МАЛЬЧИШКА
© Перевод А. Кистяковский

Вот идет почтальон. А я в кровати лежу.
— Ты принес мне сегодня письмо, почтальон?
(Это так, понарошку: я хвораю, лежу.)
— Ну конечно, принес, — отвечает мне он.

— Тут говорится, что ты президент
Этой вот — видишь названье? — республики,
И надо сразу же написать ответ…
— Да ведь мне нездоровится, — шепчу я в испуге.

— А какое, — спрашивает меня почтальон, —
Ты хочешь письмо? Я доставлю любое.
— Да нет, спасибо, — отвечаю. И он,
Смущенно простившись, потихоньку уходит.

Мне хочется не того, что я могу захотеть,
Мне хочется… пусть бы на недалекой звезде —
Чтоб им было легко и недолго лететь —
Вдруг взлетел звездолет и сел прямо здесь

И они мне подумали бы… Эх, нет, не то:
Ведь я уже придумал про это. А мне
Хочется чего-нибудь, не похожего ни на что…
Всё, о чем не додуматься! Думай обо мне!

ИГРА В ЗАЛЬЦБУРГЕ
© Перевод А. Кистяковский

Немцы и австрийцы часто играют с маленькими детьми в эту неприхотливую игру — ребенок, обращаясь к взрослому, повторяет немного тревожным, как бы вопрошающим тоном: «Вот я», а взрослый, словно бы успокаивая ребенка, подтверждает: «Ты здесь». Мне кажется, что если б состоялся разговор мира с Богом, он прозвучал бы именно так.

За мячами бегает девчушка в лохмотьях;
Партнер по теннису — он в форменных шортах,
с полустертой надписью ВП на рубахе —
Бывший офицер Африканского корпуса.
(Мне помнятся его отрывистые слова:
Aber[125], в Колорадо отправленным быть для военнопленного
привилегия есть.)

Аккуратные аллеи, карусели, киоски,
В отдалении — серебристо-зеленая речка,
Вечнозеленые склоны холмов и заснеженные горы,
замкнувшие горизонт, —
Военный лагерь перемещенных лиц
В старинном парке Франца-Иосифа.

Горы скрываются за серыми облаками, наползает сумрак,
И начинается дождь.

На просторной веранде виллы Romana
Трехлетняя девочка слизывает шербет
С деревянной ложки.
Я съел свою порцию,
И она говорит мне шепотом: *Hier bin i.*
Da bist du, — отвечаю девочке я.

Я неспешно еду на велосипеде по улицам:
Девичьи косы, накидки — мимо,
Принимаю ванну, спускаюсь вниз — четыре марша
мраморной лестницы:
Сани Марии-Терезии — мимо,

Колокольчики вьюнков на доме садовника,
Тропка в саду, я бреду вдоль озера,
С озера летит невесомая стрекоза,
Тяжко ворочаясь, воркуют голуби,
Липовая листва шелестит под ногами,
А сверху смотрят темноликие нимфы
В драных саванах мохнатого мха,
Как тонет в трясине каменный конь.

Но вот из туч выкатывается солнце,
И, словно бы возникая впервые, небо
Вспыхивает на миг ослепительной синевой,
И я, невольно опустивши взгляд,
Вижу — сквозь опавшие листья, сквозь руки
Разбитых статуй — животворные капли,
И солнце их пьет, как живинки росы.

В страданиях, в покорно радостном ожидании
Мир шепчет встревоженно: *Hier bin i.*

ПОЛЮС
© Перевод А. Кистяковский

Я карабкался на кровать, словно белый медведь
На льдину; земля раскручивалась, как глобус,
Серебрился иней у меня в бороде —
Я карабкался по глобусным склонам на Полюс.

Детская ночь не боялась потерь —
Кружили снежинки, наш караван засыпая…
Неужели нас всех похоронит метель? —
Бормотал я во тьме, окончательно засыпая.

Вот взреял флаг над сиянием льда:
Я стою на Полюсе, и ничто не утрачено.
Победно чернеет моя борода…
Ну и что же теперь?
А пора поворачивать.

С Полюса все дороги — назад, на юг:
Здесь мир — мой мир — вековечно кружит
В стуже несчастий, ненастий и вьюг…
Неужели весь путь был бессмысленен и ненужен?

Похоже, что так. В той детской стране,
Где люди мучительно пробиваются к цели,
Венчающей тяжкие испытанья, — во сне,
Лишь в детском сне я достиг своей цели,

И она была мне нужна.
А здесь,
Где жизнь решительно ничего не значит,
А значит, ничего не значит и смерть,

Хотя мы все пробиваемся наудачу

Именно к ней, ибо только она
Выводит нас всех, одинаково одиноких
Из мучительно долгого, но случайного сна
Бессмысленной жизни, —
на исходе дороги

Я сумел осознать, что веленья ума
Так же пусты, как невольное обученье
Жизненной мудрости: черная тьма
Рождает лишь черную пустоту — мученье.

ВОСЬМАЯ ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ
© Перевод А. Кистяковский

Когда в углу казармы, кончив бриться,
Хмельной сержант поет *О райский брег*
И кто-то дал щенку испить водицы,
Готов ли я сказать, что человек —
Не волк, не лютый зверь, но человек?

Тот спит. А тем троим не спится:
Играют у стены в «пристенок». А один
Считает, сколько вылетов ему
До отпуска: один… Еще один… —
Таков удел убийц! Наш мир един,

Особенно в войну:
убийцы
Убиты, сгинули навек,
А я хоть жил их жизнью, но не умер,
И мне дано судьбой твердить весь век
Про каждого из них — Се человек!

Меня измучила его судьба убийцы.
Я лгу — но что есть ложь? — такой-то (имярек),
Не умывавший руки кровью,
Не увидавший райский брег, —
Спаситель мира, человек.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
© Перевод А. Кистяковский

Перед началом войны знак ЗК на казенной рубахе у американских заключенных заменили белым кругом, напоминающим «яблочко» мишени, — чтобы солдатам военной полиции было удобней целиться при попытке заключенного к бегству.

За колючей проволокой зоны, в пропотевших голубых казёнках,
Трое заключенных (белый круг, заменивший знак ЗК на спинах,
Посылает, словно Полюс чуткой стрелке
Компаса, сигналы черной мушке и глазам охранника) весь день,
Месяц, год, весь долгий срок их срока
Трудятся, вздыхая, будто дети, а вернее, звери — от отчаянья,
От необоримого терпенья, — и глядят, не ожидая ничего,
На охранника, на степь за зоной, на солдат в их пропотевшей форме,
Отбывающих свой трудный срок ученья.
Заключенные, охранники, солдаты — все они проходят обученье:
Старый мир, извечно повторяясь, образует в обученье новый.

ПОЧЕМУ, СКАЖИ…
© Перевод А. Кистяковский

Лето нехотя устилало листвою
Бурое поле. Ребенок видел —
Юркие самолетики раскатились что камушки…
Грузные гиганты исчезли, поднявшись
Над узкой тропкой с трупами муравьишек.

— Мам, смотри, он как кукла-клоун:
Красный и белый… — Но матери нет.
— Я не плачу, мамочка! Я не плачу! Кто он?.. —
Самолеты в небе — что стая воронов.
Люди карают людей — за что?

Он даст ответ. Над его рассказом —
Как реплики над героями комиксов, — ангелы.
Ребенок всё, кроме собственной гибели,
Превращает в детскую веселую сказку…
Почему я под камнем лежу, скажи!

ПОТЕРИ
© Перевод А. Сергеев

Нет, то не смерть: ведь умирают все.
Нет, то не смерть: мы умирали раньше,
Во время тренировочных полетов;
Мы разбивались, и аэродром,
Найдя бумаги, сообщал родным;
Росли налоги — тоже из-за нас.
Мы погибали не на том листке
Календаря, врезались в горы, в сено;
Мы полыхали над учебной целью,
Дрались с товарищами, погибали,
Как муравьи, собаки и чужие.
(Ведь, кроме них, никто не умирал,
Когда мы были в средней школе! С чьей же
Теперь сравнить мы можем нашу смерть?)

На новых самолетах мы бомбили
Объекты на пустынном побережье,
Вели учебные бой, стреляли
И ждали результатов. Так мы стали
Резервом, и одним прекрасным утром
Мы пробудились на войне в Европе.

Все было так же. Только гибли мы
Не по оплошности, а по ошибке
(Которую так просто совершить).
Читали почту, вылеты считали
И называли именами женщин
Бомбардировщики, в которых жгли
Изученные в школе города, —
Покуда наши трупы не лежали
Среди убитых нами незнакомцев.

Когда мы жили чуть подольше, нам
Давали ордена; когда мы гибли,
Считалось, что потери небольшие.
Нам говорили: «Здесь, на карте», мы же
Сжигали города.

Нет, то не смерть,
Совсем не смерть. Когда меня подбили,
Я вдруг увидел сон, что я погиб,
И города, разрушенные мною,
Шептали: «Почему ты умираешь?
Мы, впрочем, рады, что и ты погиб».
Но почему я должен был погибнуть?

СВИДЕТЕЛЬСТВА
© Перевод А. Кистяковский

Биркенау, Одесса, — говорят поочередно дети.

Мы ехали в поезде. *Мы плыли на барже,*
И народу там было — ну просто не продохнуть.
А когда мы приехали, нас отправили мыться —
по-моему, на завод, — я увидел трубу,
И мама нагнулась и взяла меня на руки,
и я разглядел впереди пароход
И дым из трубы. И дым из трубы.

Мама несла меня мыться и говорила:
«Не бойся», а я и не думал бояться —
Я просто устал. *И Одессы не стало,*
А только вода — холодная-прехолодная.
Там сверху вода — как дождик, но теплая.

Я пригрелся у мамы на руках и уснул,
А вода подступала все ближе и ближе.
Я помылся, и мама меня обняла,
И мне вдруг почудилось, что запахло сеном, —
А это ты умер. *А это ты умер.*

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ЖИЗНИ
© Перевод А. Кистяковский

Повседневность жизни (как скажет женщина,
Почитающая тысячу дел за одно,
А тебя — лишь подсобным способом способа
Сделать все ее дела — заодно, —
«Раз уж ты взялся...») однажды окажется
Живою водой из глубинных источников
Мира, — ты трудишься, обливаешься потом,
Каторжно понукаешь изработавшийся насос
Жизни, тебе вспоминается белка,
Бегущая в скрипучем колесе никуда...
Но вот, совсем обессилев, ты чувствуешь
Животворно чистые, восхитительно ледяные
Капли влаги на растрескавшихся губах —
И пьешь чудесную повседневность жизни.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
© Перевод А. Кистяковский

Шоколадный крем воскрешает в памяти
Лакомый арахисный марципан и мамино
Полузабытое запрещение лакомиться
Купленным для стряпни ванильным сиропом.
Ложечка шоколадного крема...
Как странно —
В старости все помогает отправиться
По речке жизни к ее истокам.

Я смотрю, как белки ссорятся у кормушки,
Слушаю, как потешно копирует пересмешник
Ворчанье ручного бурундука под крыльцом...
Не так ли старость копирует детство?

Но, вернувшись в Лос-Анжелес, ты не найдешь
Лос-Анжелеса: Солнечная Страна, Калифорния,
Подернута дымным туманом, как фабрика...
Да и что ты сможешь увидеть сквозь слезы?

Апельсиновые рощи сведены.
Мой лук
И колчан со стрелами давно потерялись,
Мой нож, когда-то воткнутый в эвкалипт,
Затянут плотной древесной плотью,
Эвкалипт пошел на дрова, а с ним
И нож, и наш детский шалаш в ветвях, —
Все развеялось горьковатым дымом.

Двадцать лет спустя, тридцать пять лет спустя
Хочется жить не меньше, чем в детстве,
Тем более что лихой д'Артаньян — твой

сверстник…
Только вот поверить-то в это нельзя.

Ну а все же я говорю себе, старику:
«Верую. Помоги моему неверию».
Верую — обвенчанный с бабочкой птеродактиль
Воскрес в той скрытой от взрослых стране,
Между Невадой, Аризоной и Калифорнией,
Где живут суровью предки индейцев,
Где безумная девочка с золотыми глазами,
Огромными и пустыми, была принцессой,
Как она мне сказала…
Сумасшедшая девочка, —
Я вез ее с ее матерью на машине
Из Вэйкросской тюрьмы в больницу Дайтоны,
И, если б я решился посмотреть ей в глаза,
Оглянувшись на заднее сиденье,
машина бы…
Верую — если б я сумел отыскать
Допотопный детекторный приемник, то смог бы
Услышать, как наш отчаянный вождь
Читает нам книгу про подвиги мушкетеров,
А найди я в Музее старых автомобилей
Мамин голубенький «бьюик», я смог бы
Снова вернуться туда,
и тетка,
Смуглая, высокая, с темными волосами,
Выйдя из-за вигвама по велению амулета —
Заячьей лапки, за́литой воском, —
Ошарашенно прошептала бы мне: «Умерла?
Тебе говорили, что я умерла?
Не верь».
Как будто ты могла умереть!
Верую — хоть я и не езжу к тебе —
Тебя ведь нет, — да не шлю и писем,
Ты постоянно встречаешься мне,

Меняя голос, возраст, обличье, —
И все это ты…
Вас всех уж нет,
Но вы во мне: ничто не бесследно —
Безголовая курица беспорядочно кружится,
Круги все ширятся, и ученый со спутника
Желчно глядит на беспечную Землю…

Верую — мама и брат и отец
Все еще там, в Веселых Двадцатых…
Ты говорила, Девяностые веселее?
Верно, — для юношей, которые спрашивают:
«Вы про *Вторую* или *Первую* мировую?» —
Потому что множество лет спустя
Любые Прошлые Годы — веселые.
Ну вот, а я, затерявшийся между Первой
И Второй мировыми, недавно услышал:
«Эй, Дед Мороз!»
Как трудно уверовать,
Что ты для мальчишек дедушка — «Дед»…
Я махнул им рукой и, посмотрев на нее,
Увидел темные, ломкие ногти —
Как у тети в старости…
А где же моя
Худая, с обкусанными ногтями рука?
Да вот же она! Мне привиделся на мгновение
Мальчишка в шортах. Я протянул ему руку,
Но ничего не почувствовал — мальчишка исчез.
И все же он воскресил искрящийся мир,
Затерянный на старых газетных страницах
Среди полустертых «Потерь и Находок»:
ПОТЕРЯНО — НИЧТО. ЗАБЛУДИЛСЯ —
НИГ
ДЕ.
НАГРАДЫ НЕ БУДЕТ.
Я с волнением

вспоминаю
Ничто, за которое не будет награды.

КОНЬКОБЕЖЦЫ
© Перевод Ю. Мориц

Я, встав средь стад своих,
Молчал, как посох мой.
Брал конькобежцев рой
Подъемы льдов морских.

Я долго шел, как свет,
Пока по их следам
Не вышел на толпу,
Дышавшую с трудом.

Я плыл сквозь строй, как луч
В родных полях сквозь рожь.
Их страсть сплела, тела
Сковала спешки дрожь.

На север, в мир ночей
По льдинам нас несло;
Сверкало пестрых глаз
Мильонное число.

Ко мне из бездны звезд
Тень образа всплыла —
Упорство, прочность, власть
Искристого стекла.

Как долго мы питали страсть!
В каких объятьях длили путь!
В зеркальном ледяном шатре —
Великолепно нежность пить!

Но волею мужской

Я приказал: «Вот здесь!
Мы спасемся от вечного льда,
От ночей, поглощающих высь».

Ослепительным полчищем, ревом
Льдов, блиставших во мраке суровом,
В прах развеялись наши победы,
С вихрем рухнули в черную клеть,

В бездну, где оглушенная плоть
Позабыла о замысле уст.
Конькобежцы мерцали, как чайки,
Долго длился их медленный спуск.

СНЕЖНЫЙ ЛЕОПАРД
© Перевод Ю. Мориц

Царапая когтями лед наскальный,
Скользит, седой, суровый, невесомый,
Он так естественно и так непостижимо,
Как бестелесные кристаллы облаков,
Плывущих под его отсутствующим взором, —
Так леопард следит за караваном.
Быки под чайными тюками тяжко стонут,
Пить, только пить, все только пить хотят,
Контужен каждый жаждой и вселенной,
Их муки — пища для его остывшей жизни,
Для леопарда, он их видит в бездне,
На дне которой где-то лужица воды,
А путь — сквозь лед, сквозь ветер и сквозь ночь.
В песках бесчувственных растянут караван,
Как нить предсмертных, пересохших капилляров, —
Он так медлителен, что кажется недвижным
Для глаза, менее упорного, чем наш…
Средь каменных бездушных лабиринтов
Крошится лед, струится бычий пар,
В прижизненном дыханье —
Обмен последней тишины на шепот смерти.
Весь ужас чувствуют быки, не понимая
Его неотвратимости незримой,
И жадно ждут, чтоб за порогом жизни
Их кровь разбрызгалась в тумане, где таится
Математическая неизбежность зверя.
Крадется и мурлычет леопард,
Качая шестифутовым хвостом;
Он словно спит, он словно спит при этом;
Холодный, вечно беглый, невредимый —

Вот все, что знает он, и весь он в этом,
И весь он в этом: сердце бессердечности.

ДЖОН БЕРРИМЕН
© Перевод В. Британишский

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Дождь уже падал над польскими городами.
А человек, над озером бродя,
Рвал на клочки блестящий целлофан.
Кусок квадратной формы где легко,
Где туго рвался, противопоставив
Упрямое сопротивленье силе.
А человека мучил шум дождя.

Из Лондона приехавшие дети
Плескались в озере. Но человек
Не слышал. Он перо нашел в песке,
Держал в руке, поломанное, смятое,
Как независимость, надежда. Тень под ногами
Лежала среди камней, как наша ученость
Среди развалин погибших библиотек.
Дети играли. Но человек был печален.

Медведь подкрался к Орлу, из черной пасти
Рев изрыгая; звери застыли в страхе,
Европа затемнила города.
И плакал человек, он вспоминал
Полет и оперенье белой чайки.
Волны лизали берег; целлофан
Мелькал в волнах, разорванный на части.
Звери тряслись, Орел взлетел и пал.

ЛУНА И НОЧЬ И ЛЮДИ

В ночь капитуляции Бельгии луна всходила
Поздно, луна запоздалая, луна зловещая
Для англичанина, американца
И для француза. Ночью холодало.
Люди теплее кутались, солдаты
Мерзли, не по сезону, и, конечно,
Беженцы кашляли, и вид и голос
Одних пугал других. И холодало.

Здесь, на шоссе, был мелкий инцидент:
Полный благих намерений болван
Вдруг резко принял вправо и в момент
Стал ангелом, бряцающим на арфе,
Или низвергся в ад, или исчез.
Не думайте, что это ни при чем.
Он был частица этой ночи, этой
Земли, частица горькой, скудной почвы,
Питающей воспоминанья.
Мы
Сидели с Майклом, глядя друг на друга,
За шахматами, пили и играли.
Европой, а не шахматной доской
Мы были заняты. Игра велась
Обычно. Только было очень трудно
Осмыслить ход противника и свой.
«Ужасно», — лондонец сказал, а мы,
Мы говорили с Майклом: близок час,
Когда ни книг, ни музыки у нас
Не будет, ни любви, ни права мыслить.
Мир скоро превратился в мир немых,
Как пишет Генри Адамс[126]. Адамс прав.

В ту ночь бесславно кончил Леопольд[127]
Предательством — или таков финал
Благих намерений, что он питал,
Дорог, что в ад мостил? А между тем
Луна всходила поздно, холодало,
Много людей погибло, ни о ком
Мы ничего не знаем, а война
Идет, а в сердце — холод, ночь, луна.

ПОЕЗДКА НА ЮГ

Багровая луна неслась на юг,
Туда, куда и мы неслись всю ночь.
Был на три части ленточками туч
Разрезан мрачный и огромный круг,
Красный, как кровь. Машину гнал вперед
Гул двигателя, мозг был перегрет,
Мысли неслись о том, что уже нет
Брата в живых, что он вот-вот умрет.

Двое рожденных матерью одной.
Какой нам рок и срок назначен жить?
Неужто должен голову сложить
На плахе, под багровою луной,
Мой младший брат? Машина мчалась в ночь,
Я цепенел от страха и тупел,
А красный круг висел, а ветер пел:
Скорей, скорей, спеши, спеши, палач.

О, наконец-то: освещенный дом,
Врачи, он ранен, но спасли, больной,
Но жив, и тает ужас ледяной,
И страшный день к утру вчерашним днем
Окажется. И казнь отменена,
Палач позволил брату моему
Подняться. Канула вдали во тьму
Луна, эта кровавая луна.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Хвостатый человек в Нью-Йорк прибудет вскоре
На Выставку. Хвостом хватает сигареты.
Недостающее звено в цепи существ.
Жил на Цейлоне, где, по слухам, плел рогожи,
Покуда не был там учеными открыт.
В каком он возрасте, корреспондент не знает.

Левее два столбца: мать смотрит на ребенка,
Которого подмял тяжелый грузовик,
И мужа вместе с ним, тогда как старший сын —
Он в форме скаута — испуганно глядит.
Как сообщается, все требуют леченья.

В переговорах между Римом и Берлином
Возникли трудности. Есть мненье, что Россия
Не очень дружественна к Лондону. Москва
Разочарована в связи с английской нотой.

Из Лимы. Девочка, пять с половиной лет,
Врач сделал кесарево, все благополучно.
Сын. Наш корреспондент вошел: семья индейцев,
Родильница бледна, застенчива, молчит,
Подарок рядом с ней, картинки: жизнь Марии.

Почти что в центре, в три колонки шириной,
Снимок расплывчатый, но выглядит зловеще,
На снимке — пулемет, поставленный сегодня
Против бастующих в Харлане, штат Кентукки.
Несколько горняков скончались прошлой ночью.
Владельцы шахт об этом: «Уличная драка».

Листаем далее. Пингвины в Антарктиде.
Наш телезритель ждет трансляции бейсбола.
Квебек ждет короля. Текстиль подешевел.
Хлопок подорожал. Пять человек убито.
Награды: двадцать шесть, по списку, полисменов.
Нью-Арк, День Матерей. Киноактер считает,
Что брак спасет его от всех его поклонниц.

Газета. Новости недели, дня и часа.
Когда бы мы могли все это принимать
Всерьез, я думаю, что новости такие
Внесли бы путаницу в лучшие умы,
Обезоружили бы самых энергичных,
Нарушили бы связь, и транспорт, и снабженье
И в хаос ввергнули бы всю нашу страну.

11 мая 1939

ИЗ КНИГИ «СОНЕТЫ БЕРРИМЕНА»

СОНЕТ 8

Колледж ничтожеств (и два-три джентльмена),
Тупиц (и мыслящих парней пяток),
Моднейших песенок, мудрейших строк
Не слышал ты — их слышат только стены
Солидных старых школ. Ты, несомненно,
Болото, но тобой дышал цветок:
Ты душу девушки взрастить помог,
Прекрасной, как Изольда и Елена.
Хвалю тебя, твоих деревьев сень:
Ведь все ее товарищи былые
Здесь выросли. Здесь, близ тебя, проснется
Она сейчас, встречая новый день,
И серые, нет, серо-голубые
Глаза раскроет… Сей колледж спасется.

СОНЕТ 13

Я поднял — подними и ты бокал
Там, за пять штатов; пью свой горький джин
Здесь, в баре, где ни женщин, ни мужчин
Знакомых, где ни сам я не бывал,
Ни ты со мной; порой заглянет в зал
Полиция; дождь, гул чужих машин,
Играет автомат, я пью один,
Бармен фальшивый локон прилизал —

Бокал, как ты велела, в шесть часов
Я поднял… Пары близостью согреты,
А нам — хоть бы помокнуть под дождем.

Ревут от страсти звери средь холмов,
Схлестнулись, вспыхнул пепел сигареты,
Взгляд серых глаз! и вот мы пьем вдвоем.

СОНЕТ 17

Студенты вырвались на карнавал,
Ошеломляя шутовским нарядом,
Веселым масленичным маскарадом
Праздничный город. Как он волновал
Меня, бывало: девушки на бал
Бегут, их ловят парни, тут же рядом
Пляшут, «Король» командует парадом,
Пунш пенится, гремит оркестров шквал,
Тюльпанные деревья и цветы!
Ах, карнавал, блеск, яркость, краски, звуки,
Как он манил — так что ж теперь не мил?
…Колокола звонят, зовут, но ты
Не здесь, ты не со мною, мы в разлуке.
Пост раньше масленицы наступил.

СОНЕТ 29

Поэт умрет, и приплетется слава
Украсить гроб его (а не чердак):
Rue Fortunée[128] давно Rue de Balzac[129]
A Bach-Gesellschaft[130] — Бахова держава;
Смерть даст свободу мастеру и право
Стать выше человечества. Итак,
Кладите лавр на гроб, кадите в знак
Признанья, но не мудрствуйте лукаво
О днях, когда любовью лишь одной
Он жил, когда, страдая и любя,

Он знал: нет, не придет, нет, ждать напрасно,
И ждал, весь долгий день… Мастеровой
Твой и людей, жду славы и тебя
Спокойно, безнадежно, беспристрастно.

ИЗ КНИГИ «ПЕСНИ-ФАНТАЗИИ»

ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 133

Он в славу стал входить — но что такое слава? —
желанье славы в нем давно угасло, право,
уже ничем он не был одержим,
и славой тоже, — но одной английской фирме
вдруг вздумалось его прославить в телефильме,
пусть, он сказал, раз это нужно им;
работать он любил и, говорят, умел —
очаровательные англичане
таскали камеры и свет
за Генри вслед, в кабак и снова в кабинет,
он — свой, ребята — свой: все выполняли долг,
но где ж восторг, восторга нет,

ждал славы столько лет — где ж в этой славе сладость?
От славы, он сказал, во мне тоска и слабость,
но буду продолжать свой труд по мере сил.
Суть, видимо, не в славе. Суть не в этом.
Суть в том, чтоб он, как прежде, был поэтом,
как прежде, одержимым был.

ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 197

Мне снились вымершие города,
я видел Мачу-Пикчу, Кембридж (Масс.), Ангкор.
Идет ли дождь на Мачу-Пикчу, город гор,
или на Кембридж (Масс.), такой, как тут,
что мертвецы в гробах, и те, с ума сходя

при виде вызванного магами дождя,
от ужаса встают.

А дождь все шел — толпа людей живых,
все было, как у нас, как некогда у них,
толпа людей живых,
снующих взад-вперед, дерущихся рабов,
друг другу яростных врагов —
а дождь все шел.

Бейсбол и целый мир, безумный, сволочной,
чертова бездна б…ских новостей
на Генри рушатся. Что он решит?
Что будет делать он с самим собой?
уж я не говорю о бомбах H&A,
Генри — молчит.

ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 280

Генри отправится за океан,
там люди интересней, им видней
Америка, чем нам, с обычной нашей
хвастливостью: мы лучшая из стран,
Америка летит вперед, за ней
весь мир ползет по-черепашьи,

весь мир — провинция. Мир, полный тайн, —
преступность в Лондоне и спорт в Испании —
пусть пищу даст свободному уму,
пусть Генри уяснит, читая «Таймс» и «Тайм»,
своих хозяев скрытые желания.
Чернил побольше надо взять ему,

есть что сказать, хозяев — к черту, в нем —

сознанье: время за него, он прав,
душа работе предстоящей рада,
все премии получены, начнем
работать для себя, от всех сбежав,
даже от друга и жены, так надо.

КЕННЕТ РЕКСРОТ
© Перевод А. Парин

НЕДОБРЫЕ СТАРЫЕ ВРЕМЕНА

Летом девятьсот восемнадцатого
Я читал «Джунгли»[131], а следом
«Великолепные изыскания»[132]. Осенью той
Умер отец, и меня забрала
Тетка к себе в Чикаго.
И я поехал на бойни
На трамвае
Вечером зимним,
В ореоле зловонья, руки в карманах,
Я по грязному снегу шагал,
По улицам грязным, глядя стыдливо
В лица людей,
Которые днем оставались дома.
Искореженные, исхудавшие лица,
Заморенные, ущемленные умы, лица
Как у престарелых
Полубезумных обитателей
Богаделен. Хищные
Лица малюток.
Когда запачканные сумерки сгущались,
Под зелеными газовыми фонарями,
Под брызжущимися пурпурными дуговыми лампами
Двигались лица людей, идущих
С работы домой, и среди них были
Оживленные недавним ударом надежды,
И были горестные и стыдливые, и были
Умные и дурашливые, а по большей части
Унылые и пустые, лишенные жизни,
Одна ослепляющая усталость, хуже,
Чем у затравленного зверя.
Кислые испарения тысячи

Ужинов — жареной картошки
И тушеной капусты — сочились на улицу, удушая.
Меня захлестывали головокружение и тошнота,
Я ощущал, как из моего страдания
Ярость чудовищная растет,
А из ярости — ясная клятва.
Сегодня зло чистоплотно
И процветает вовсю, но гнездится
Всюду оно, и не надо
Трамвая, чтоб его обнаружить,
Но это точно такое же зло.
И страданье, и ярость,
И клятвы такие же точно.

СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ

Возвращаясь через седловину
Между горой Айзоселес и Северными Палисадами,
Я остановился на вершине и оглянулся.
Гроза собиралась на белых пиках
Гряды Уитни и разноцветных вершинах
Кавеа. Был сентябрь тридцать девятого.
Последняя прогулка в горах
Этой осенью, а может, последняя вообще.
Грозовые облака громоздятся над линией гор,
Молния то и дело ударяет по остриям вершин,
Облака под перевалом багрятся,
Я вижу сквозь облака: из долин и поселений
Вздымается льдяная смертоносная лавина,
Обтекающая весь мир, рвущаяся к последним
Несданным высотам; грязь с желтыми пятнами
От газа, склизлая, в алых волдырях,
Волочащая рваные куски стали и плоти,
Ползущая медленно, со слепой уверенностью
Вшей, безжалостно захлестывающая землю,
Как микробы заполняют живые ткани,
Мчащаяся с хищностью оголодавших крыс.
Я медлю здесь — так приговоренный
Смакует последний глоток, последнюю затяжку.
Я думаю о героях той войны, в которой воюют
Хватка, прозорливость, выносливость, воля,
Бескорыстное мужество, думаю
Об идеальных сраженьях на мирном поле:
Бауэр, ползущий всю ночь вокруг ледяной пещеры
На заснеженной Канченъюнге,
Тилмен и Шиптон, резвящиеся на Нанда-Деви,

Смайт, грезящий наяву во льдах Эвереста,
Безумные дети Айгерванда —
Как проведут они каникулы в этом году?
Укрепленья в горах уничтожены,
Места нет для могил, мертвецы засыпаны известью,
А то и лежат в снегу до весенней капели,
Перестрелки меж лыжников в балахонах белых,
Последние выстрелы-крики и след кровяной.
Для того ли мы все эти годы
Мужество наше оттачивали? Лучше уж труп
Безумца, замерзнувшего на Айгере, —
Одна только буря до него доберется,
Лавиною снежной поставленного в караул.

БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА

Молчаливые ветви застыли —
Жарко...

Распеленай свою душу
Мысли свои исповедай мне
Что было с тобой
Что происходит сейчас...

Словно колокол
В который никто никогда не звонил.

СМУЩЕНЬЕ ЧУВСТВ

Белизна луны заполняет пространство меж листьев,
Как музыка. Луной убеленный,
Воздух не движется. Белое,
Лицо твое движется навстречу лицу моему.
Плотская грусть
Связует нас, как силки паутины,
Как созвучья, как тонкие запахи, как лунная белизна.
Твои волосы падают — и наши лица связуют.
Выпуклость твоих губ рядом с моими губами,
И рот мой чувствует мякоть твоего языка.
Летучая мышь врывается в лунную белизну.
Лунная белизна заполняет твои глаза,
И в них исчезают зрачки и радужницы исчезают —
Предо мною сферы холодного пламени.
Как оленьи глаза,
Они блуждают поблизости, в пустынном лесу.
Твое худощавое тело в ознобе дрожит
И пахнет морского травой.
Мы слушаем лежа
Звуки дыханья, одевшись белизною луны.
Ты слышишь? Мы дышим. Мы живы еще.

ВОСПИТАНИЕ

И вот к сухому склону холма,
К террасам его, где в прах известняк искрошился,
Где когда-то росли виноградники,
Подходит вплотную зябкий лиловый вечер
И заползает под кроны маслин,
И только цветки миндаля и первые звезды
Светятся. Ты говоришь,
И рука твоя тонкая с длинными пальцами,
Как веретенце света,
Движется, будто бы ты
Дирижируешь тихою музыкой.
Что говоришь в темноте?
Ты объясняешь мне все —
Рощи масличной заброшенность,
Старость разрушенных стен, которые Рима старее,
Цветенье миндальных деревьев,
Сгущение сумерек
Возле звезд и возле
Губ твоих говорящих и движущейся руки.

УЕДИНЕНИЕ

Плотный туман оседает
Между холмов.
Из домика я выхожу.
Вы б ни за что не сказали,
Что лес окружает его.
Кольцами вьется туман, как дым,
В световой полосе из дверного проема.
Слышу: пыхтит енот
В неразличимой чащобе.
Холодная сырость ползет под рубашку.
Почудился шум от машины
На дороге в лощине внизу.
На ощупь в тумане иду
До края просеки ближней.
Не видно ни зги.
Вдруг в темноте
Слышу у ног
Любовные вопли мужчины и женщины.

КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ КЛЕНА

Кленовые листья сверкают
Над улицей в раме стволов.
Глубокие тени пропитаны
Воздуха ровным багрянцем.
Вскорости листья совсем облетят.
Бледное зимнее солнце
Будет блестеть на снегом укрытых газонах.
Здесь были мы юными оба,
Здесь мы любили друг друга,
Не по возрасту мудрые.
Время, равное двум человеческим жизням, прошло.
Мы двое — вот все, что осталось от давней поры.
Все остальные исчезли вслед за годами.
Мы не встречались с тобою с тех пор.
Сюда я сегодня впервые вернулся.
Я медленным шагом тащусь, твой дом огибая,
Возвращаюсь, стою у стены и вновь возвращаюсь.
За крыльцом, обрамленном колоннами,
Кто-то сидит у окошка.
Тащусь потихоньку к реке,
Глазею на малого с удочкой у парапета моста,
На поплавок в прозрачной воде
Меж палых плавучих листьев.
А после тащусь на запад, к дымной завесе заката.

ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ В КАЛИФОРНИЙСКИХ ГОРАХ

Ломаная луна на холодной воде.
Крики диких гусей высоко в небесах,
Дым от костра вторгается
В геометрию неба ночного —
Точки огней в бесконечности тьмы.
Я вижу — за узкой полоской залива
Твоя черная тень колеблется возле огня.
На озере, скованном ночью, кричит гагара.
Но миг — и весь мир замолкает
Молчанием осени, ждущей
Прихода зимы. Я вступаю
В круг огневого света, держа в руках
Кукан с форелями нам на ужин.
Мы едим, и озеро шепчет,
И я говорю: «Много лет спустя мы станем
Вспоминать эту ночь и станем о ней говорить».
Много лет прошло с тех пор, и снова
Много лет. Я вспомнил сегодня
Эту ночь так ясно, будто прошлою ночью она была.
А ты мертва вот уже тридцатилетье.

СТЭНЛИ КЬЮНИЦ
© Перевод А. Сергеев

ОТЕЦ И СЫН

Я шел за ним то в сумерках предместий,
То по песку дорог, белевших точно
Кладбищенские кости, то сквозь сладкий
Творог полей, где сливы с веток грузно
Роняли капли спелости. Я милю
За милей крался скользкими шагами,
Шел за творцом моей усталой крови,
За ним, хранящим запах водоемов,
Чья вязкая любовь — мои оковы.
Бежали годы, вспархивали птицей,
Спешили сонным царством детских лет;
Молчанье разворачивало свиток,
Ночь, как фонарь, в моем горела лбу.

Как передать отцу мой страх и притчу,
Как пропасть перейти, небрежно бросив:
— Ты дом построил — мы его загнали.
Сестра тогда же выскочила замуж
И укатила, и с тех пор ни строчки.
Я пожил на холме в десятке комнат:
Светло, конечно, но тепло не слишком,
Когда темнело, я сходил под холм.
Газеты доставляют ежедневно.
Я одинок, но слез не проливал.

Перед водой, где мхи тянулись к горлу
Сырыми пальцами, я возопил:
— Отец! Вернись! Ты знаешь путь обратно!
Я смою грязь с твоих одежд. Поверь,
Соринки не останется. Поведай
Мне, закружившемуся в вихре войн,
Закон благожелательности, ибо

Я сыном быть хочу всем, кто рыдает,
И братом всем подкидышам полей,
И другом чистым помыслам и взорам.
Наставь меня на труд и доброту! —
Скрываясь в мире черепах и лилий,
Он оглянулся на меня белесым,
Пустынным от неведенья лицом.

КОНЕЦ ЛЕТА

Дрожащий тусклый небосвод,
Смятенье в насквозь продутом мире
Показывают, что нелюбящий год
Поворачивается на шарнире.

Среди стерни и валунов
В лишившемся иллюзий поле
Червяк мне напомнил песней без слов,
Что здесь я в его роли.

Рассталась высь с голубизной,
Сорвался ястреб с силосной башни;
Я понял: все, что случилось со мной,
Теперь уже день вчерашний.

Железная раскрылась дверь,
Послышался с севера окрик строгий —
Птицы, листья, снежинки теперь
Как беженцы на дороге.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ГНЕВУ

Я соучастник общего растленья,
Своей вины не видящий болван,
У запертых ворот копил терпенье,
Истерику, тоску, к себе презренье
За зимний холод и пустой карман.

Терпенье? Что за слово для влюбленных!
Я с ним, провинциалом, был знаком —
Вот он домой плетется: сердце в ранах,
Грязь на худых истерзанных штанинах,
Рукав дрожит подраненным крылом.

Пусть терпит он. Я более не в силах
Приноровляться к обстановке; пусть
Струятся змеи подозрений в жилах,
Играют подлецы на нервах голых
И жаждут суть и труд мои украсть.

Гнев, разразись над жалким одиночкой,
Сойди ко мне, включи в тигровый строй
Таких, как я, покончивших со жвачкой,
Зажги мне грудь одной сырою спичкой
И всей опустошенностью людской.

НОЧНОЕ ПИСЬМО

Я это срочное письмо тебе
Из ночи в ночь пытаюсь написать,
Неверным языком открытой раны
Марая чистые страницы. Гложут
Раскаянье и фаустовский пудель
Мои живые кости; я надеюсь
И не надеюсь, жив и не живу,
Молюсь и издеваюсь над молитвой.
Я двадцать лет как совершеннолетний,
Но содрогаюсь всех моих привычек
И действий, если ты их не одобришь.
О, где ты? Мне почудилось, что смех
На лестнице разбился, как стакан,
Но, оглянувшись, я увидел хаос,
Как бы в цилиндре иллюзиониста,
Где затаилось кроличье безумье, —
И вновь пишу тебе о новостях.
Бог знает что творится: мертвецы,
Продрав глаза, приветствуют друг друга
И пишут лозунги на наших стенах;
Кошмары и фантомы, как солдаты,
Шагают по шоссе; на Сукин-стрит
Лежат мужчины с переломом воли;
И толпы топят ношу вздорных жизней
В каналах, где плывут автомобили.
Из тех, кто приходил ко мне пенять
На неуспех в торгашеском болоте,
Один вручил судье свое ружье,
Чтоб приговор был громче и верней,
Другой играет в сумасшедшем доме
Душой, болтающейся на спиральке,
Или машинкой для нарезки пальцев,

Все остальные вертятся волчком.
Виновны ли мы в том, что их реальность
Скукожилась от встречи с их мечтой?
— Прости! — молю я, ухватись за зыбкий
Рукав отца: сюда вернулся призрак
Грехи свои оплакать. Мой недуг —
Двадцатый век; коммерческая жилка
В моей руке увяла; сны мои
Дрожат от ужасов; я леденею
Под ветрами гонений там, в Европе,
От красноречья крыс, от истребленья
Открытых ясноглазых городов,
От поруганья чести и искусства.
О, неужели, друг мой, слишком поздно
Для наступленья мира, неужели
Не могут люди вновь прийти к ручью
Воды напиться и не могут в кузне
Собраться, как друзья, и поболтать?
И неужели поздно нам решить:
— Давайте будем добрыми друг к другу. —
На фермах постепенно гаснут окна,
Я стерегу последний свет в долине
И о тебе храню живую мысль —
Вот так схоласты в темные века
Хранили угольки сгоревшей Трои.
В осаде города, и многим пасть,
Но человек непокорим. Из сердца
Струится крупный, круглый детский почерк
И рвется одинокий страстный крик,
Что в этом окровавленном конверте —
История, убийственная боль.

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

ТРУПЫ ЕВРОПЫ
© Перевод В. Орел

Бомбежка кончилась. Мы полегли.
Невест и женихов, лежащих вместе,
Ни крест, ни сталь, ни деньги не спасли,
Ни шпилей вздыбленные перекрестья.
О Матерь! Воскреси! Мы полегли
В сумятице. Вокруг застыло пламя.
В святой земле мы вязнем как во зле.

Мария! Воскресишь ли ты тела
Не столько поженившиеся, сколько
Схлестнувшиеся? Если б ты дала
Надежду нам, погибшим от осколка!
Мария, в Судный день спаси тела,
Умерь для нас диаволово пламя.
В святой земле мы вязнем как во зле.

Мой труп трепещет. Я внимаю, Мать,
Землетрясенью. Сотрясают трубы
Мой остов. Что ж мне, Сатане внимать?
Мне, кукле искореженной и грубой.
Весь мир соедини, Мария, Мать,
Связуя землю, море, воздух, пламя.
В святой земле мы вязнем как во зле.

ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
© Перевод Т. Глушкова

И кровь, и смерть, и шторм, и льда ожог…
Вот так опять родится новый год.
Не спрятаться, не слушать у камина,
как сельский почтальон играет в свой рожок,
когда трещит по швам приливный тонкий лед,
и нам отнюдь не ведома причина,
зачем бы это — ближнего любить,
живем, пока живем, затем, чтоб жить

и дымом жертв дышать. В сыром снегу
увяз котенок лапками хромыми
и умер. Жгли мы ветхую траву,
чтобы спугнуть ворон на берегу, —
и ветер снеговой закашлялся от дыма.
Котенка схоронили к рождеству
близ церкви, что до срока на запоре:
ключ у Петра-апостола. А море

приходское — под колокол — течет
туда, где светится Иосифа лачуга.
Как струны арфы, он перебирает донки;
но: «Puer natus est»[133], — и эта кровь не в счет:
кровь обрезанья, вопль страданья и испуга,
плач Иисуса — малого ребенка.
Как страшен он — господен нож любви!
Ребенок кро́ви, он рожден в крови́.

НА ПРОДАЖУ
© Перевод Т. Глушкова

Бедная, никому не нужная игрушка,
сделанная без любви,
домик моего отца в Беверли Фармс,
в котором прожили мы лишь год, —
продавался сразу же после его смерти.
Пустой, сокровенный, распахнутый, —
его городская мебель
словно застыла на цыпочках
в ожиданье, когда ее вынесут
вслед за приходом гробовщика.
Готовая ко всему, в страхе
прожить в одиночестве до восьмидесяти лет
мать, забывшись, глядела в окно,
словно она на поезде
проехала лишнюю остановку.

ПАВШИМ ЗА СОЮЗ
© Перевод М. Зенкевич

В Бостоне Южном аквариум старый
стоит в снежной Сахаре. Заколочены окна без стекол.

Облезла бронзовая треска на флюгере.
Пересохли пустые бассейны.

Когда-то мой нос скользил по стеклу улиткой,
рука моя зябко
ловила пузыри
с головы послушной вертлявой рыбы.

Я отдернул руку, но порой вздыхаю
о темном растительном царстве
рептилий и рыб. Как-то утром в марте
я прильнул к оцинкованной колючей

ограде у муниципалитета. За ее клеткой
динозавры-экскаваторы, урча и пыхтя,
выгрызали тонны земли с травой
и рыли себе подземный гараж.

Стоянкам машин и кучам песка
полная свобода в центре Бостона.
Доски пуритански тыквенного цвета
опоясывают зябкое правление штата,

оно сотрясается, как и полковник Шоу,
и его толстощекие пехотинцы-негры
на барельефе Годена о Гражданской войне
под дощатой защитой от гаражного

землетрясенья.

Два месяца спустя после парадного марша
половина полка пала в бою,
а на открытии
Уильям Джеймс[134] мог бы слышать дыханье бронзовых негров.

Их памятник, как рыбья кость,
застрял в горле города.
Полковник тонок,
как стрелка компаса.

Он чутко насторожен, как птица,
подтянут и собран, как борзая,
развлеченьями он тяготится
и томится в уединении.

Он вне пределов. Он ценит в людях
особую силу — умирать за жизнь, —
ведя своих черных солдат на смерть,
он не согнет спины.

В сотнях городов Новой Англии
старинные белые церкви хранят
память о грозном восстании; знамена
означают кладбища армии Республики.

Каменные статуи Неизвестного Солдата
стройнее и моложе с каждым годом —
подтянув пояса, распушив бакенбарды,
они ждут, опираясь на мушкеты…

Отец Шоу не желал памятника,
кроме того рва,

куда было брошено тело сына
и закопано вместе с его «неграми».

Этот ров стал ближе.
Здесь нет статуй о последней войне;
На Бойлстон-стрит продается фото
с видом пылающей Хиросимы

и фирмы «Мослер Сейф» — «Скалы Веков»,
уцелевшей от взрыва. Пространство приблизилось.
Когда я сижу у моего телевизора,
то худые лица негритят в школе залетают,
как воздушные шары.

Полковник Шоу
парит верхом в пустоте,
он тоже ждет
желанной перемены.

Аквариум исчез. Повсюду
огромные авто снуют, как рыбы;
рабская услужливость
скользит при жирной смазке.

ОСЕНЬ 1961
© Перевод В. Тихомиров

Туда — сюда, туда — сюда,
тик-так, тик-так, тик-тик —
у прадедовских ходиков
оранжевый, улыбчивый,
посольский лунный лик.

Всю эту осень — нервы, испуг:
а если война, а вдруг —
мы толковали: этот упадок смертью чреват.
Я в кабинете — плещусь гольяном
в аквариуме стеклянном.

Конец все ближе,
все выше луна,
бледна от страха.
Страна (или дух) —
гагара (ловец жемчужниц) под колпаком стеклянным.

Ребенку родитель
уже не спаситель.
Мы стали похожи, глядите,
на скопище пауков,
кричащих без слез, без слов.

Восстало природы зерцало.
Ласточка делает лето.
Приятно считать
минуты,
но стрелки приклеились к циферблату.

Туда — сюда. Туда — сюда.
Тик-так!
Единственный мой помощник —
этот оранжево-черный
качающийся скворечник.

НОЧНАЯ ГОРЯЧКА
© Перевод В. Тихомиров

Настольная лампа, и ворох бумаг,
но пол подметен, и все вещи стоят
по стойлам. Десятую полночь подряд
я вижу — густеет усталости мрак,
паря над несмятой моей простыней.
Испарины сладкий раствор соляной
по капле твердит мне: да, это все так —
в промокшей от пота горячке ночной
вся жизнь, все искусство! Скользя под уклон,
мы досуха выжаты жизнью — и впредь
он будет стремиться во мне умереть,
ребенок, что умер во мне, не рожден, —
весь мир и вся плоть… в этой урне ночной
испарина от вдохновенья огня.
Ты! Снова! Ты здесь, у меня за спиной!
Сиянье на веках, и череп коня,
тихонечко ржущий, и топот копыт.
И вновь я плещусь в разноцветий дня,
в промокшей одежде, в ознобе, омыт
сиянием, вижу: вот — я, вот — кровать,
ребенок, взорвавшийся, как динамит,
жена… да, твоя озаренность опять
меня вырывает из черных тенет,
и сердце твое как олень на бегу.
А я черепаха, коль я не смогу
очистить поверхность взволнованных вод,
ты, сердце, приди на подмогу ко мне,
гнет смерти и жизни влача на спине.

В СОРОК ПЯТЬ
© Перевод А. Сергеев

Зима пронизывает
меня, Нью-Йорк
сверлит мои нервы:
я иду
по прожеванным улицам.

Куда мне, куда
в мои сорок пять?
На каждом углу встречаю отца,
живого, моих лет.

Отец, прости мне
мои обиды,
как я прощаю тем,
кого сам обидел!

Ты никогда не всходил
на Сион, но оставил
динозавровы
следы на пути,
по которому я иду.

ИЮЛЬ В ВАШИНГТОНЕ
© Перевод А. Сергеев

Жесткие спицы этого колеса
вонзаются в язвы земного шара.

На Потóмаке белыми лебедями
катера грудью врезают сернистые воды.

Выдры ныряют, выныривают, прилизанные,
еноты полощут мясо в ручье.

На кругах площадей — зеленые всадники, словно
освободители Южной Америки, встают

над остриями буйной тропической поросли,
которая унаследует мир.

Избранный и вступивший в должность приходит сюда,
как новенький гривенник, и уходит, как тряпка.

Мы не можем назвать их имен и дат —
круг за кругом, как кольца на пне, —

о, если бы за рекой был иной берег,
далекий хребет очистительных гор,

холмы, подсиненные, словно веки у девушки…
Кажется, чуть подтолкни — и мы там,

что всего лишь ничтожное противление

непокорного тела нас тянет вспять.

ИСТОРИЯ
© Перевод А. Сергеев

История кормится тем, что было,
тем, чем мы неумело владели, —
а мы умираем скучно и страшно;
книги конечны, жизнь бесконечна.
Авель конечен; осечка смерти
дразнит скептика, чьи коровы —
как черепа с трансформаторных будок,
чей младенец воет всю ночь,
как неотлаженная машина.
В бледной охотнице, пьяной туманом,
библейской луне ребенок видит
четыре провала; глаза, нос, рот —
наивное до кошмара лицо,
мое лицо в предрассветном морозце.

АТТИЛА, ГИТЛЕР
© Перевод А. Сергеев

Гитлер мучился от нетерпенья:
— Пока я жив, успеть бы с войной —
Мы варвары, старый мир одряхлел. —
Аттила возрос на сырой конине,
скакал на битву в звериной шкуре,
сжигал все дома на своем пути,
спал на коне, во снах видел степь —
узнал бы он себя в современном,
не знающем великодушных порывов,
систематичном и философичном
кочевнике и домоседе? О да!
Варвару странно, что гибнет культура, —
а кто оставил в зловонном дыме
железки, кости, осколки, юность?

БЕТХОВЕН
© Перевод А. Сергеев

Наша поваренная книга — зеленая с золотом,
как «Листья травы». Для меня она сущая гибель,
а я, хотя бестолково, все-таки существую —
на хлебе с маслом, яйцах вкрутую, виски и сигаретах:
могу ли я пировать на несущейся туче,
ближним лгать, говорить правду печатно,
быть будничным Гамлетом и отставным Линкольном?
Что для художника мода на туманность?
Бетховен — он был романтик, но трезвый романтик!
Что для него короли, республики, Наполеон?
Он сам себе Наполеон! Что для него глухота?
Кровоточит ли рана на полотне живописца?
В оковах ли хор узников из «Фиделио»?
При хорошем голосе слух — наказанье.

ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
© Перевод А. Сергеев

В полдень адское пламя всегда ослепляет,
цветенье последних минут — драгоценность
для обреченных;
они обмахиваются бамбуковыми веерами,
словно отмахиваются от пламени с неба —
адмирал Ониси[135], отец камикадзе, герой,
до сих пор кумир молодежи, юные летчики
обожают его до самоуничтожения...
Он сбивал наши армады, как перелетных птиц.
В саду разговор, в небе зигзаги огня.
Эту войну он бросил: уговорила жена.
Муж и жена пьют виски из чайных чашек,
обсуждают шалости внуков. Когда он вонзает меч,
меч вонзается криво... Восемнадцать часов
ты умирал, рука в руке жены.

ТРИДЦАТЫЕ
© Перевод А. Сергеев

Два месяца туманы, сырость, спертость
тем лучшим летом, сорок лет назад:
девчонки по пути домой, пластинки,
туманы, покер, танцы, «спать пора»
какой-то поздней птицы; местный хемлок
чернеет, словно римский кипарис;
амбар-гараж под маяком Ковша,
в пруду мизантропичная лягушка
брюзжит на ужас жизни — до утра!
Короткими ночами долги сны;
в кострах на свалке чайки ищут падаль,
скрипя, как цепи; парусник причалил,
и поселенцев в желтых капюшонах
увез автобус, желтый, как листва.

В НАЧАЛЕ
© Перевод А. Сергеев

Бывает хуже, в общем, жить опасно,
но в детстве страшный сон — страшней всего.
Спасительные повторенья будней
дают возможность жить: встать в семь, лечь в девять,
есть до́ма трижды в день, плюс непременный
питательный безвкусный школьный завтрак,
смеяться — как дышать, спать — только ночью…
Награда за болезнь — уединенье:
в окне пылятся голые деревья,
морщит поля под цельной простыней —
ты оживленностью пугаешь маму…
Мне жутко вспоминать о первом взлете:
вдруг многое во мне лишилось почвы —
я криво, напрямик летел к стихам.

ОКНО
© Перевод А. Сергеев

Полночные деревья сбились с ног;
в окне, природной раме живописца,
страсть борется с классичностью — любовь
течет сквозь пальцы. Поднимаем шторы:
дрожанье мокрых белолицых стен,
шального мира, лондонского мела…
Дома́ нам стали поперек пути,
но мы встречаемся, глотаем бурю.
В столицах, даже самых захолустных,
бездомной буре не ворваться к людям,
пока ее не впустит в дом окно.
Мы слышим, как молотит кулаками, —
жизнь ничему ее не научила…
Бегущие деревья сбились с ног.

ПОСЛЕ 1939
© Перевод А. Сергеев

Мы прозевали объявление войны:
уехали в свадебное путешествие,
листали в вагоне революционные
стихи тогдашнего Одена и задремали —
убаюкивали уютные
нелепые ритмы, старевшие на глазах…
Ныне мне задремать труднее,
ныне я заблуждаюсь сознательной.
Вот студентка читает нового Одена.
На вид она из современных,
она вскрывает его охладелое тело.

Теперь он — история, как и Мюнхен,
и, кажется, научился
ценить загнивающий капитализм.

А мы до сих пор
обсуждаем его отступничество,
которое дьявол рад бы списать
на глумливую эксцентричность эпохи.

Нынешний недоделанный революционист —
конец всему, ничему не начало…
неискренние поминки по Дьяволу
Дьявол пережил и, чертыхаясь,
хромает к самоуничтожению;
у меня на душе так тяжело —
никакими весами не взвесишь,
и вокруг плевки, как цветочки…

Англия, как и Америка, слишком стары

и могут страшиться прошлого,
привычки тают, как воск;
процветавшие весельчаки
ядовито иронизируют…

Лет десять назад
бесцеремонные африканцы
захламили свои английские кладбища
побелевшими от былой власти
изваянными из мыла фигурами
Викторий, Китченеров,
белфастских наемников —
эти хотели краплёными картами
обыграть всемогущее невезение.
Штукатурили щеки, как старая примадонна
для успеха на генеральном прогоне…
Думали, что они еще живы,
если мысли приходят…

Мы чувствуем, что машина не повинуется,
точно ведет ее кто-то другой;
если мы видим свет в конце тоннеля,
это свет приближающегося поезда.

ТЕОДОР РЕТКЕ

МЕЛЬЧАЙШЕЕ
© Перевод Ю. Мориц

Витание пернатых,
Журчание цикад.
В заоблачных пенатах
Зажегся звездный взгляд:
Роднит блаженство нас
В такой осенний час.

Луна полнеть пошла,
Луна садится плавно.
Вблизи видны тела,
Далекие недавно.
Траву пробрал сквозняк —
И прежний мир возник.

Что в зарослях шуршит?
Утраченный во сне,
Конкретный мир спешит,
Спешит в меня — извне,
Беззвучно ставя ноги
На грунт сырой дороги.

Мельчайшего слуга,
Я — мелюзги пастух.
В лугах, где мелюзга,
Подвижен даже прах,
Там в каждом — смысла свет,
И камень там крылат.

ВСЯ ЗЕМЛЯ, ВЕСЬ ВОЗДУХ
© Перевод Ю. Мориц

1. Передо мною камни.
Они окаменели.
Шуршит волнистый плющ.
Рыбешки мельтешат.
Взъерошен рябью пруд.

2. Восторг — мой грех. Я есмь!
Роскошествую здесь,
Как кошка в развилке ветвей,
Выгибающая хребет.
Подумал и смеюсь.

3. Блаженства феномен,
Мне кошка греет кровь.
Когда легко, как зверь,
Она идет вдоль стен,
Я забываю все.

4. Прекрасна эта плоть
И не способна лгать:
Цветок разит пчелу.
Слова камней и рыб:
«Вне бездны нет земли».

5. Отчалил сонный луг.
Где мертвецы? Одна
Звезда плывет вблизи.
Скользит листва с луной.
Он мой — мой луг! Он мой!

6. С угрюмой тьмой вдвоем

Я втиснулся в проем.
Что ад? Душевный хлад.
Но кто, поймав кошачий взгляд,
Не будет втайне рад?

ВАЛЬС МОЕГО ПАПЫ
© Перевод Ю. Мориц

Свалить ребенка с ног
Ты мог парáми виски,
Но я повис, как дог,
И вальс был слаще в риске.

Посуду тряс сумбур
По шкафчикам стенным,
Был мамин облик хмур —
И мог ли быть иным.

Твой палец как-никак —
Разбитая костяшка.
Когда ты шел не в такт,
Мне в ухо лезла пряжка.

Ритм вальса отбивал
Ты на моей макушке
И так дотанцевал
Со мною до подушки.

ЭЛЕГИЯ ПАМЯТИ ДЖЕЙН,
моей студентки, упавшей с лошади
© Перевод А. Сергеев

Я помню ее кудряшки, похожие на усики винограда,
Ее быстрый взгляд и зубастенькую улыбку
И как она, вступив в разговор, окружалась легкими

звуками
И с восторгом доказывала что-то свое,
Ласточка, милая, хвостик по ветру.
Когда она пела, трепетали ветки и веточки,
Тени ей подпевали и листья,
И шелест их переходил в поцелуи,
И пела в белесых аллеях земля, на которой выросла роза.

Грустя, она опускалась в такие глубокие, чистые

бездны,
Что даже отец ее не нашел бы;
Терлась щекой о сено,
Плескалась в прозрачной речке.
Воробышек мой, тебя уже нет,
Мой папоротничек, ронявший колючую тень.
Влажные камни не могут меня утешить,
Как и мох, пораженный закатным блеском.

О, если б я мог разбудить тебя,
Моя искалеченная радость,
Голубка, плескавшаяся в ручье.

Над свежей могилой я говорю о своей любви,
Не имея на это права,
Ни отец, ни любовник.

РАСПАХНУТЫЙ НАСТЕЖЬ
© Перевод В. Тихомиров

Мои болтливы тайны,
И мне не надо слов.
Раскрыто сердце настежь —
Гостеприимный кров.
Как древний эпос глаз,
Любовь моя — без прикрас.

Все правды неприкрыты,
Лишь гнев полуодет.
Мне нагота защита:
Я гол, как гол скелет.
По мне костюм мой сшит —
На волю душа спешит.

И ненависть не внове,
И правды речь жива
В прямых делах, не в слове:
Гнев, исказив слова,
Мой превратит язык
В бессмысленный смертный крик.

ПРОБУЖДЕНИЕ
© Перевод В. Тихомиров

В свой сон я пробуждаюсь понемногу.
Мне от природы незнаком испуг,
Я по дороге познаю дорогу.

Зачем живем — чтобы прийти к итогу?
Танцую по кругу — замкнется круг.
В свой сон я пробуждаюсь понемногу.

Кто вы, моя родня? Взываю к богу:
Благослови! Я путь найду не вдруг —
Я по дороге познаю дорогу.

Как по спирали червь ползет к порогу?
Как дерево и свет живут сам-друг?
В свой сон я пробуждаюсь понемногу.

Природа-мать приходит на подмогу
Мне и тебе: живи, гляди вокруг
И по дороге познавай дорогу.

Я все смогу познать! И слава богу,
Что падший — вечен, он мне брат и друг.
В свой сон я пробуждаюсь понемногу
И по дороге познаю дорогу.

ОНА БЫЛА
© Перевод В. Тихомиров

Она была чудесного сложенья.
Она вздыхала, слыша птичью трель.
Она в движенье вся была движенье —
Чистейших форм чистейшая скудель!
Богам ли воспевать ее по силам,
Английским ли поэтам-грекофилам?
(Вот это был бы хор — щека к щеке!)

О, нежная! она умела столько!
Она взяла меня в ученики:
Движение, прикосновенье, стойка! —
Я брал подачку лишь с ее руки.
Она с косой, а я с граблями, бедный, —
Я греб во славу красоты победной.
(Но сколь был дивен этот сенокос!)

Гусак в любви мастак, а уж гусыня! —
Я врал мотив, она игру вела
Легко, свободно, резво, как богиня,
И ослепительно была бела;
То неподвижна вся, то вдруг чудесно
Трепещет нос и с ним бедро совместно.
(Она вокруг и все вокруг нее!)

Из семени — трава; трава — на сено:
Я страстотерпец не своих страстей.
Свобода что? Что вечно? Что мгновенно?
Но эта тень белее всех теней.
И кто по дням перечисляет вечность? —
Старея, постигаю быстротечность.

Мерило времени — стареющая плоть.

ФРАУ БАУМАН, ФРАУ ШМИДТ И ФРАУ ШВАРЦЕ
© Перевод В. Тихомиров

Умерли три старухи,
Что на лестнице в теплице скрипели,
Бечевки белые крепили
По ветру — да, по ветру
Усики душистого горошка,
Настурции плети,
Розы распрямляли,
Красные гвоздики,
Твердые стебли
Хризантем срезали,
Оставляли черенки, хранили —
Эти бездетные няни.
Птицами поверху порхали,
Землю просевали,
Обрызгивали, отрясали;
И стояли, расставив ноги-трубы,
Их юбки вздымались, как маркизы,
Их руки водой сверкали;
Как ведьмы, летали по грядам,
Храня покой своего творенья;
Усиками, как иголкой,
Вышивали по воздуху стебли,
Выгоняли из спящего семени
Лозы лиственные, петли и кольца,
Ткали солнечными лучами, изображая даже то, что им неподвластно.
Помню, как меня подобрали голенастым подростком,

Тискали и щекотали под тощие ребра,
Покуда я не пал на колени от смеха,
Обезволенный, как пустышка.
И ныне, когда я, одинокий, мерзну в постели,
Они витают надо мною,
Древние кожистые старухи
В цветных платочках, затвердевших от пота,
С исколотыми руками, с ароматом нюхательного табака, надо мною парящие, когда
я
засыпаю.

ЧЕТЫРЕ СЛОВА ВЕТРУ
© Перевод В. Тихомиров

1

Вот лилия — любовь —
Моя среди растений.
Любя, люблю я вновь
Дышать. В самозабвенье
От ветра я таков,
Каков я есть — сплетенье
Всех странностей; и рад
Мне брат мой, виноград.

Цветок дает ли семя?
Что молвит Мать-Земля?
Сладчайшей Гебы имя
По-царски славлю я.
«Моей будь хоть на время,
Цветущая моя!» —
И прилетел на зов
Хор птичьих голосов.

Я выцелован ею,
Как суть на белый свет
Из мысли, как идея.
Она летит. Я — нет,
Я вижу, каменея,
В цветочном зеве свет.
В саду лежит луна
На месте валуна.

Ручей, едва журчащий,

И ветер, что затих,
И птицы в темной чаще
Чуть различимый крик,
И я, в ответ молчащий.
Она в глазах моих —
Из мрамора богиня —
Со мной, когда один я.

2

Земле — светило: помни!
В потоке скачут камни.
Там, за долиной ровной,
Там, за мечтой, вдали,
Как в море, в поле волны
И белый ветер, вестник,
Меня зовущий к ней.

Страсть — это голубица,
На легком стебле роза,
Протянутая солнцу,
И виноград, и надо
Плясать и веселиться,
Встречая полнолунье.
И я по нраву ей.

Любви моей хватает
Для воплощенья счастья:
Я плачу, значит, знаю,
В чем сердцевина плача;
И лебедь — сердце плавно
Плывет, не зная срока, —
У страсти много дел.

Прекрасное — прекрасней;
От зелени весенней
Зеленый день все ярче
Сияет в полнолунье:
Смеюсь — ведь я не камень —
И счастья это бремя
Несу, но не один.

3

При южном ветре птицы
И рыбы все на север
Текут в одном потоке,
Кристаллы звезд кружатся,
И я ступаю следом
За ветром — там я странный,
Исполненный любви.

Но где найти нам мудрость,
В любви нашедшим веру?
Найдешь! — твердит мне песня,
Привязанная к древу,
Где папоротник растет.
Я над рекой в тумане
Иду к своей любви.

Каких времен ты, сердце?
Теперь всего дороже
Мне то, что здесь не вечно:
И мне немало лет.
Вода, и ветер вечный,
И все, чего уж нет,
Ведет меня к любви.

4

Вдыхающая воздух
Неровная окружность
Полураскрытой розы,
И корни, и листва,
И скользкий след улитки,
И звезд рожденье в звездах —
В ней все есть в преизбытке,
И все — она одна!

Я ныне — я! Воспела
Душа мгновенья счастья.
И свет. И я не камень.
И ветер обнял древо.
Ее свершая дело,
Мои душа и тело
Во всем покорны ей.
Всей жизни жизнь — она!

Подвижный рот целую
И шелковую кожу.
Зверек — моим дыханьем
Играет. И, смеясь,
Я по кругу танцую,
Я, любящий и глупый,
Я вновь живу, страдаю,
В другую жизнь вселясь.

ВПОТЬМАХ
© Перевод В. Тихомиров

Впотьмах, когда привыкнет глаз к потьмам,
Я, тень свою в лесных тенях встречая,
На голос эха в голос отвечая,
Я, царь природы, плачусь деревам,
Бродя меж цапель и пищух проворных,
Зверей лесных и змей в пещерах горных.

Безумие? — о, этот знойный день! —
Оно душе отчаявшейся помочь.
Отчаяния грех — не грех, коль в полночь
Там, на скале, моя распята тень.
Тропа на круче, зев сырой пещеры:
У бездны на краю! — мой символ веры.

Вихрь новостей! Летит за вестью весть:
Ущерб луны средь ночи воробьиной,
То белый день, то полночь в миг единый!
Идем узнать, что мы такое есть?
Что смерть во мгле бесслезной и безвестной?
Что на земле горящий свет небесный?

Мой темен свет, еще темнее страсть.
Как муха, сумасшедшая от зноя,
Дух бьется о стекло: что я такое?
Над падшим страх свою теряет власть:
Коль разум — бог, я возвращаюсь в бога.
Есть он, есть я, есть ветер и дорога.

ГОЛОС
© Перевод В. Тихомиров

Мне перышко одно —
Вся птица! Ельник — ель.
Мне, смертному, дано
Бессмертья слышать трель:
Из сердца я украдкой
Подслушал голос кроткий.

Как птица, взмыл он ввысь.
Я исходил весь лес,
Где в воздухе он вис,
Спустившийся с небес:
И жил я этой песней
Земною и небесной.

Во мне самом она,
Лазоревая тень.
Чиста и чуть слышна,
Мне пела целый день:
Ей вторил кто-то свыше,
И только я их слышал.

ЭЛИЗАБЕТ БИШОП
© Перевод И. Копостинская

БОЛЕЕ 2000 ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОНЫХ

Путешествия наши, верно, и были такими:
Серьезными, глубоко впечатляющими.
Семь чудес света всемирно засмотрены и устали от

поклоненья.
Но осталось еще бесконечное множество видов —
Тоже, правда, безмолвных, печальных,
Но зато не слишком известных: араб на корточках
Или группа арабов, как будто замысливших
Что-то во вред христианской нашей империи,
Тогда как один, поодаль, смуглой рукой указует
На усыпальницу, или надгробие, или просто раскоп.
Пальмы, отягченные финиками,
Дворик, вымощенный узорно, пустынный колодец —
Сухой, словно схема; кирпичные акведуки, огромные
И достоверные… Фигуры людей, что далеко забрели
В теологию или историю с верблюдом или верным конем.
Всюду безмолвие жеста, и всегда — в глубине пейзажа
Крапинки птиц на невидимых нитях небесных…
Или дым…
Он струится торжественно ввысь тоже по воле невидимых нитей.

Пейзажи бывают на целый лист… Нередко страница
Объединяет несколько видов одновременно — в витиеватых
Прямоугольниках или кругах на заштрихованном сером фоне…
Порой можно высмотреть мрачный тимпан
В лабиринтах заглавной буквы. —
Если вглядеться попристальней, все его очертанья

проступят.
Взгляд, утомленный обилием видов, движется дальше
По строкам, рожденным резцом гравера…
И наплывает строка за строкой — рябью на светлом песке,
Повествуя о бурях и провидении божьем,
И, преломляясь в прибое, пенисто-голубом,
Вспыхивает нестерпимо…
Когда наш корабль причалил к острову Святого Иоанна,
Мы услыхали милое сердцу мирное блеянье коз
и
разглядели,
Как рыжеватые козы взбирались по скалам
В сырой от морского тумана траве, средь горных

нарциссов…
Возле собора Святого Петра было ветрено,
А солнце сводило с ума.
Учащиеся колледжа, в черном, как муравьи,
целенаправленно-быстро
Пересекали крест-накрест огромную площадь…
В Мексике, в голубой галерее, лежал мертвец,
Кратеры мертвых вулканов сверкали,

Словно пасхальные лилии,
А механическая пианола продолжала наигрывать
«Ау, Jalisco».
У Волубилиса качались прекрасные маки... Они проросли
Сквозь мозаику... Старый и толстый гид строил нам

глазки.
В гавани порта Дингл сгущался вечер, медлительно-золотой...
Из воды выступали останки замшелых, сочащихся морем

судов.
Нам разливала чай англичанка,
Она и поведала нам, что герцогиня беременна.
А в публичных домах Марракеша юные проститутки
Свиного рынка — с чайным подносом на голове —
Демонстрировали танец живота и, голые, хохоча,
Кидались ко всем на колени,
Выпрашивая сигареты...
Здесь я увидела то,
Что меня испугало больше всего:
Гробницу святого... По виду не слишком священную,
Под каменной аркой, рядом с другими,
Открытую всем ветрам из розово-дымной пустыни...
Мрамор ее, изъеденный временем, однако еще украшенный

сплошь
Резною вязью пророчеств, давно пожелтел,
Как зубы домашних животных, истлевших в земле.
Гробница была наполнена прахом дорог,
Но не прахом языческого пророка, который когда-то
покоился
здесь.
Марокканец в нарядном бурнусе выглядел позабавленным.
Все описанья пестрели союзом «и», «и», «и»…
…Откройте книгу (пыльца золотого обреза пачкает

пальцы),
Откройте тяжелую книгу…
Как получилось, что мы не сумели увидеть
Ранних веков Рождество, а были когда-то так близко
к
нему…
…Тьма распахнута. С утренним светом врывается стая

грачей…
И неподвижное пламя — бесцветное, неискрящееся,
Чистое, ровное пламя соломы…
И, убаюканное тишиной, милое детство в кругу семьи…
Но мы отводили, мы все отводили наш младенческий взор

поскорей.

АРМАДИЛЛ

И в этом году мы дождались поры,
Когда в темноте, по ночам
В небе таинственно теплятся, хрупко мерцая, шары,
Они проплывают, сродни разноцветным огням,
В дальние горы, к святому,
Которого в наших краях все еще почитают.
Их легкая плоть из бумаги фарфорово вспыхивает
по
временам.
Так наши сердца — озаряются и угасают.
Порой их колеблемый сумраком свет
Можно принять за свеченье
Подцвеченных звезд и планет — Венеры
И Марса, к примеру,
Или прозрачно-зеленой звезды на ветру.
Вспыхнув, шары замирают, снова колышутся, кружат

окрест,
Реют безветренной ночью в зоне созвездия Южный Крест,
Словно среди перепонок бумажного змея.
Они уплывают все дальше и дальше от нас,
Безоглядно, торжественно, каждый раз даруя прощенье.
Подчас их относит с вершины холодным теченьем…
Их возвращенье опасно…
Прошлой ночью еще один огромный светящийся шар

Разбился о скалы, прямо за нашей террасой,
Словно яйцо, начиненное дымом и пламенем.
Пламя металось по склону… И мы разглядели
Пару испуганных сов… Их черно-белые крылья,
Огненно-розовые изнутри,
Казалось, клубились и тлели…
С пронзительным криком они пропали в ущелье.
Древние гнезда сов, должно быть, сгорели.
Вскоре сверкающий армадилл пробежал торопливо,
Как будто по сцене, глядя в землю и пряча хвост,
Один-Одинешенек и в розовых блестках.
Следом выскочил из темноты крольчонок —
Лопоухий на удивленье,
Неуловимо-пушистая горсточка пепла,
В бусинках глаз огней отраженье, —
Слишком прелестная и фантастическая мимикрия…
Вспышки пламени, паника, крики лесные…
Армадилл как бронированный хрупкий кулак,
Неосознанно сжатый навстречу звездной стихии.

ГВЕНДОЛИН БРУКС

ЕДОКИ БОБОВ
© Перевод В. Британишский

Эти двое, старик со старухой, обычно бобы едят.
Одно только блюдо, обед у них бедноват.
Простая посуда, и мебель у них проста.
Стол расшатался, и стулья давно скрипят.

Эти двое, старик со старухой, добры, сама доброта.
Эти двое, старик со старухой, у которых жизнь прожита,
Еще продолжают по привычке вставать с постели
И ставить вещи на старые их места.

Еще вспоминают...
Вспоминают, сидят старики,
Склонясь над миской с бобами в дешевой своей комнатушке,
где скопились рецепты, квитанции, куклы и тряпки,
табачные крошки, цветочные горшки.

«ЧИКАГО ДИФЕНДЕР» ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЛ-РОК
© Перевод В. Британишский

Народ в Литл-Роке детей рожает,
Ищет работы, соображает,
Чем крышу покрыть бы, цветы сажает,
Покуда хозяйка цветы польет,
Обед подгорает. Так и идет.

Вечный будничный круговорот
Мелких, назойливых, злых забот.
В воскресные дни в Литл-Роке поют
Воскресные гимны и дань отдают
Воскресным обычаям и просто приличиям.
А выслушав проповедь, выслушав пенье,
Вернутся домой завершить воскресенье:
К семейному чаю — семейное чтенье.

Когда рождество
Переступит порог,
Конечно же, встретит его Литл-Рок,
Еловую хвою и смех с мишурою
Смешает в веселый блестящий клубок.

Есть в Литл-Роке спортсмены, любители сцены.
В июле жара… Полисмены —
Неумолимые,
Неинтеллектуальные —
Палками лупят жару и топчут пыль сапогами.
Вечером в парке концерты, сумрак ложится…

Людвиг Бетховен — то грубый, то женственно-

нежный.
Бах втолковать свою музыку публике тщится —
Серьезные лица…
Есть и любовь в Литл-Роке. Мягкие женщины мягко,
Умиляясь своей доброте,
Удивляясь мужской слепоте,
Приближают мгновенья
Наслажденья,
Будто розы, раскрыв свою розовую глубину…
Чтобы все неудачи былые покрыло забвенье,
Воскрешают лишь пурпур и небесную голубизну.
И самым смутным полуобладаньям
Даруют несомненность бытия.

В Литл-Роке знают,
Что, когда телефон беспокоит вас,
Ваш долг ответить несколько вежливых фраз
Лгущим, любящим, просто лепечущим что-то,
Надоедливым, нудным ответить ваша забота.

Скребу затылок: где гнев мой прежний?
Блокнот листаю все безнадежней.
Того, за чем я послана, нету.
Как телеграмму я дам в газету?
Как объяснять события буду?
Как сообщу им я новость эту:
«Люди такие же здесь, как всюду»?
Редактор в ответ обрушил бы тьму
Сердитых, настойчивых «почему».

И верно, ведь вот же он, Литл-Рок:
Ругательства, камни, плевок, пинок,
И ярость на лицах местных матрон,
И здешних самцов озверевших гон
За школьницами-негритянками вслед.

(Девичьих нарядов веселый цвет
Как будто выцвел.) Лови! Трави!

У юноши-негра лицо в крови…

Петля взметнулась, взведен курок.

Линчует Го́спода Литл-Рок.

МЫ В ДРУЖБЕ СО ЗЛОМ
© Перевод В. Васильев

Посетители игорного дома «Семеро в „Золотой Черпалке“»

Мы в дружбе со злом. Мы
Плюем на диплом. Мы

Взалкали вина. Мы
Без сна допоздна. Мы

Залезем к вам в дом. Мы
Без жалости бьем. Мы

Нервируем джаз. Мы
Все сдохнем зараз.

ПЕСЕНКА ВОСПИТАННОЙ ДЕВОЧКИ
© Перевод Р. Дубровкин

Сижу перед домом я вечно одна,
На заднем дворе побывать я хочу,
Где грязный пустырь сорняками зарос:
Мне скучно от разных фиалок и роз.

На заднем дворе побывать я хочу,
В соседний квартал заглянуть,
Где стены чернее трубы дымовой,
Где можно играть прямо на мостовой.

Там дети живут как в раю,
И я буду жить как в раю!
Ну разве не здорово, что к девяти
Домой никогда им не надо идти?
Но мама сказала о Сьюзи Блэк:
«Порядочной леди не стать ей вовек,
А Джон, этот кончит, конечно, тюрьмой
Ты помнишь, ворота украл он зимой?»

«Так что же такого? — я маме кричу, —
Я тоже порядочной быть не хочу.
Уж лучше я тушью глаза подведу
И в черных чулках по бульвару пойду!»

СЕЙДИ И МОД
© Перевод В. Минушин

Мод ходила в колледж.
Сейди без наук
Жизнь частым гребнем чесала
И не знала мук.

Все сложности, все проблемы
Сводил ее гребень на нет.
Бойчее Сейди девчонки
Не видел свет.

Она родила двух малюток,
Не побывав под венцом.
Чуть со стыда не сгорели
Мод и мать с отцом.

А как Сейди с жизнью простилась,
Ее дочек след простыл.
(Ведь им ее славный гребень
Завещан был.)

Теперь старушонкой ветхой
В колледж ходившая Мод
Одна-одинешенька в старом
Доме живет.

РОБЕРТ ХЕЙДЕН

ФРЕДЕРИК ДУГЛАС
© Перевод А. Ибрагимов

Когда наконец мы добудем свободу, эту прекрасную,
до жути прекрасную штуку, нужную всем, словно воздух,
полезную, как земля, когда наконец завоюем ее для
наших
потомков,
когда свобода войдет в наш мозг, в наши нервы, в каждое

биение сердца,
превратится в инстинкт, в рефлекс, когда перестанет быть
раскрашенной пестро игрушкой в руках политиканов
этот человек, бывший раб, негр Дуглас,
избитый бичами и сосланный и все же мечтавший о мире,
где нет одиноких, где нет гонимых, затравленных,
этот человек с сердцем, полным любви, и острым умом
будет увековечен — о, не только риторикой статуй,
не только стихами, легендами и бронзовыми венками,
но жизнями, которые вырастут из его жизни, жизнями,
в которых найдут воплощенье его мечты

об этой прекрасной и необходимой штуке — свободе.

НЕГРИТЯНСКОЙ ПЕВИЦЕ
© Перевод А. Ибрагимов

Было время, встречалась с мужчиной
в полосатой рубашке,
Гибким и хищным, как ягуар, а расставшись,
тосковала о нем
В шестидесятиваттном сумраке, горько рыдала:
«О любовь!», «О томительная, о мучительная
любовь!», «О обманчивая, о приманчивая любовь!» —
и вот
Вся в нитях жемчуга появилась на сцене,
к себе привлекая
Восхищенные взоры, блеснула золотыми
зубами — и запела...
Было время, жила в комнатушке, где
на облупленных стенах
Висели дешевые литографии, голубевшие
кукольным небом,
А люди боялись не только восстаний,
не только данных статистики,
Но и просто тревожного шуршания снега
за дверью, мечтали забыться — и вот
В расшитом бисером сатиновом платье,
в страусиных перьях она появилась на сцене,
Сверкнула улыбкой на нас и во тьме,
без огней запела...

РЕЧЬ
© Перевод А. Ибрагимов

Белые братья, слушайте,
Слушайте, черные братья.

Я видел руку,
Подносящую паяльную лампу
К извивающемуся черному телу.
Я видел руку,
Подающую знак
Стрелять по пикетам белых.
Это была
Та же рука.
Вдумайтесь, братья,
Та же рука.

Черные братья, слушайте,
Слушайте, белые братья.
Я слышал слова,
Которыми, словно колючей проволокой,
Разгородили нас.
Я слышал эти слова:
Грязный ниггер! Белое отребье!
Их произнес
Тот же голос.
Вдумайтесь, братья,
Тот же голос.

ГЭБРИЭЛ
© Перевод А. Ибрагимов

(Казненному предводителю восстания рабов-негров)

— Черный наш Гэбриэл!
Тверд как кремень,
Скажи, что ты видишь
В последний свой день?

— Я вижу, как тысячи
Черных рабов
Встают
Из рассыпавшихся гробов;

Весь Юг сотрясают они
Кандалами,
Их кровь полыхает,
Как алое пламя.

— Гэбриэл, Гэбриэл!
Смерть твоя близко уже.
Заветное самое
Желание выскажи.

Пускай, как младенец,
Растет восстанье
Все неустанней
И неустанней,
Пока не обрушит
Рабства подпорки
Раб, проклинающий
Жребий свой горький.

— Гэбриэл, Гэбриэл,
Наш предводитель!
Пусть душу твою
Успокоит Спаситель!

— Удары свои
Я нанес недаром,
И вы наносите
Удар за ударом.

Сверкает на солнце,
Как золотое,
Нашего Гэбриэла
Тело литое.

Висит оно, будто
К восстанью призыв,
И черные знают:
Гэбриэл жив.

Дух его гордый
Парит в поднебесье.
В руке его — меч,
На устах его — песня.

МОЛОДОМУ НЕГРИТЯНСКОМУ ПОЭТУ
© Перевод М. Алигер

Спой мне песню, о темный певец, о темный поэт,
Чтоб сиял в ней солнечный свет и струился бы лунный свет,
Чтобы шумом дождя и свистом ветра песня твоя была
И звучали бы в ней сквозь ветер и дождь
Полуночные колокола.

Спой мне песню, о темный поэт, о темный певец,
Чтоб была эта песня, как чистая совесть, чиста,
Чтоб была в ней мужская отвага и женская красота;
Чтоб сердца миллионов честных людей
Непрестанно звучали в ней.

Спой мне песню, о темный певец, о темный певец,
Чтобы жила в ней надежда живых человечьих сердец,
Чтобы играл ее ветер на арфах утреннего дождя,
И чтобы росла твоя песня, и чтобы жила она,
Сверкающая, как солнце, ясная, как луна.

ЛУННЫЙ СВЕТ НА ЮГЕ
© Перевод М. Алигер

Месяц, месяц,
Спрячь свои лучи,
Ведь мой любимый
Придет в ночи.

Спали́ себя, месяц,
Чистым огнем,
Чтоб никто не приметил,
Каким он шел путем.

Чтоб никто не увидел —
Сгори дотла! —
Что мой любимый черный,
А я
бела.

ЭТА БОЛЬ
© Перевод М. Алигер

Эта боль прошумит
И пройдет надо мной,
Как проносится град
Над зеленой травой.

Эта боль не согнет
И не сломит меня,
Устрашающий, мудрый,
Снова выпрямлюсь я.

УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС

ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ ВСЕ НЕВОЗМОЖНЫМ
© Перевод Е. Долматовский

Я видел, как те, кто считает все невозможным,
удерживали искусственный спутник на недалекой
орбите, изменяли его курс, при помощи астронавигации
определяли его координаты...
Я видел, как космические аппараты прослушивали звезды,
недоступные телескопу, и как создавали искусственное
Солнце.
Я видел, как составлялись рекламные тексты: «каждый
кубический дюйм космоса — это чудо», «война — это
игра, в которую не играли бы короли, будь их
подданные умнее».
Эти люди спрашивали: «Как вы относитесь к программи-
рованью прогресса?»
Я видел, как те, что считают все невозможным, замеряли
миллиардную долю секунды, связывали молекулы
узлами, утверждая: «Сегодняшний день устарел».
Я слышал, как электронный мозг диктовал: «О Дистан-

ционные Устройства моделирующих систем, самых
высокочастотных в мире, чтó понесут созданные вами
астероиды через неисследованные пространства, если
мы потеряем атомный луч надежды?
Что значат космические зонды, напряжение и перегрузки,
искусственные нейтроны, если мы не простые земные
созданья, мечтающие посетить лунные сады?»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ РОЗЕ ЛЮКСЕМБУРГ
© Перевод Е. Долматовский

Они убили ее ночью,
ночью, не говорящей ни да ни нет,
ночью, выдернутой, как страница из книги,
ночью, вырванной из календаря, из будущего,
из мусорных куч,
ночью, струящейся среди звезд…
дюйм темноты, предательский нож,
последний удар под ребро, из которого вышло

человечество,
последний удар в темноте.
Спи, дитя, спи,
когда станешь большой,
будь как Роза…
Мы обшарили всю заболоченную дельту Миссисипи,
мы обыскали изгибы верховий Куэско,
мы нашли только водоросли, только ракушки,
но и там звучали отголоски колыбельной:
были звездные вспышки и войны,
были споры, идеи, сделки,
мы к одежде бесплодных столетий пришивали пуговицы,
а думали все о том же:
о свободе, о хлебе.
Спи, дитя, спи,
когда станешь большой,
будь как Роза…
Ее могила — темные воды канала,

в ее черепе мелкие твари сплели
коралловые венки,
отчего она не мертвей нас с тобою…
Где люди восстают —
она воскресает:
ночи в пикетах,
Африка или Испания —
всюду подвиги шепчут ее имя:
поэты, рабочие, земледельцы,
вы подниметесь, как наводненье,
перенесете ее имя через водоразделы к Рейну
и вплетете в волны Красную Розу,
чтобы она запылала в печах Саара
и выжгла воду в том немецком канале,
где могила ее, и на водоразделах мира.
Спи, дитя, спи,
когда станешь большой,
будь как Роза…

ГОВОРИТ ПАТРИС ЛУМУМБА
© Перевод М. Зенкевич

Я мертв, я мертв, я мертв!
Они вырвали мое сердце в Стэнливиле.
Легкие мои отняли в Леопольдвиле.
Глаза мои вынули в рудниках Катанги.
Мой мозг на кусочки взорвали в Касаи.
У меня забрали мои реки, горы и джунгли,
От меня ничего не осталось, кроме праха.
Но из него поднимаетесь вы, мои братья,
Во всех концах света.

НОВОЛУНЬЕ
© Перевод С. Маршак

Я — скептик, который не очень-то верил в Луну,
Покуда записка любовная в несколько сот килограммов
Не шлепнулась в Море Спокойствия
В точно назначенный срок.
И теперь все на свете стихи
Должны быть написаны заново,
Ибо не ведал Джон Китс,
Что подвижна Луна, как ракета.
Верится мне, что и мы раздобудем такую же скоро
И нацелим ее в точку, где нет никого,
Даже того человека, что видел в часы полнолунья.
Пусть и наша ракета в нос поцелует Луну
И передаст ей от нас самый теплый привет межпланетный,
Груду военных ракет оставляя старому миру,
Миру, который погиб с рождением новой Луны,
Чья пуповина повита знаменем Социализма.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СУДЕ
© Перевод Е. Долматовский

Стоило только начать последнее слово перед присяжными,
как изменилась суть дела: как же вы можете
вынести верное решение, господа, если преступление
уже в том, что мы предстаем перед судами.
Всех нас следует признать невиновными от рождения!
Понимаете, присяжные вынесут свой вердикт, а у меня
появятся новые аргументы, и мы, ни в чем
не убедив друг друга, помчимся по авиатрассам,
распевая поздравительные гимны.
Но не просите меня вытаскивать пулю, засаженную вам
в череп диктатором Трухильо, извлекать иглу,
загнанную вам в сердце нацистами, гасить костер,
зажженный Белыми Гражданами под черным
распятием, извлекать из ваших костей стронций-90.
Стоит только заняться такой благотворительностью, как
вновь льется кровь и мы становимся непростительно

сентиментальными, как если бы на наших
окаменевших запястьях были защелкнуты
наручники, а мы улыбались бы антропологам,
нашедшим нас в древних пещерах на кучах отбросов
вечности, оставшихся навек в нашей памяти.
О нет, мы не впадем в отчаянье... Оно прошло, когда над
землей заклубился гриб. И Пентагон сказал Богу
с солдатской прямотой «да будут облака!», и мы
усердно начали воспевать Мир!
Боюсь, что мы выбираем между сумасшествием и
самоубийством.
Исторически выбор вот в чем: быть услышанным или не
быть, утешиться в море молчания или звать
и кричать...
Верьте в солнечный свет (конечно, если вам хватает
пособия по безработице), и, поджариваясь, как
свиные шкварки, вы будете улыбаться по утрам до
конца своих дней...
Ведь ваши глаза пытаются заглянуть в будущее и мы
знаем, что впереди иные люди с иными

песнями.

ТОМАС МАКГРАТ
© Перевод Г. Кружков

НА МОТИВ ДЖИГИ. НЕ ПРО ЛЮБОВЬ

«Эй, парень, ты с кем?» — спросил Мэнни Сенатор.
«Одумайся!» — выступил Джек Президент.
«Безбожник! — воскликнул в сердцах
Патер Томас. —
Попробуй лишь пикни — приструним в момент».

«Да что толковать!» — рявкнул Мэнни Горилла.
«Кончай канитель!» — крикнул Джек Пулемет.
«Ты брось! — посоветовал Томми Мак-Бедлам. —
Не строй дурачка — этот трюк не пройдет».

«Утопия», — губы скривил Герцог Мэнни.
«Для блага страны!» — возгласил Джек Пиит.
«Он — красный, ей-ей! — заорал Том Душила. —
Не хочет идти убивать — вот бандит!»

Мэнни Судья сказал: «Жуткое дело!»
«Веревочку», — проворковал Джек Палач.
«В могилке уютно, — пропел Том О’Виски. —
Лежи себе в гробике и не маячь!»

«Красавчик», — заплакала Хныкалка Мэнни.
«Все мы там будем», — вздохнул Квакер Том.
«Мир праху его! — подытожил Джек Бизнес. —
А если воскреснет, так снова убьем».

СМЕРТЬ МРАЧНОМУ ЧУЖАКУ

Прислужник тьмы, он был и вам знаком
В том царстве, где глядятся в омут ивы
И гуси удивляются лениво
Цветенью диких мальв. Вы помните о нем? —
Он был соседом вам или дружком.

А может, мудрым дядюшкой седым,
Судящим беспристрастно и спокойно
Бушующие мировые войны,
Или экранным молодцом лихим,
Не знающим сомнений. Где бы с ним

Вас ни сводило, — он везде, всегда
Был полицейским вашего района,
Кричащим «хода нет» и «прочь с газона»,
Держащим вас в повиновенье, как узда,
Зовущим все, что ново: «Ерунда!»

Он вашим «супер-эго» был, врачом
Свихнувшимся обширной психбольницы,
Где здравый ум под стражею томится,
Сердец слепорожденным палачом.
Подобно Гитлеру, тянулся он нутром

К блондинам и аристократам. Ныне
Тюремщик этот должен быть убит;
Лишь смерть его одна освободит
Запутавшихся в мрачной паутине
И наш рассудок с сердцем примирит.

И вздрогнет птиц неукротимых кровь,
Не скованная мертвой зыбью боле

Стоячих вод, — подобно нашей воле,
Хиревшей долго на подпорках слов;
И грянет крыльев гром, как вещий зов.

ОДА АМЕРИКАНЦАМ, ПОГИБШИМ В КОРЕЕ

1

Бог возлюби вас, если на земле
Уже никто вас больше не полюбит,
О павшие на рисовых полях,
О похороненные на холмах
В роскошное и гибельное лето
Ненужной вам войны. Вы шли вперед
Под флагами бесстрашья и незнанья,
Раскрашенными, как на школьных картах,
В цвета тех стран, которых вам увидеть
Не довелось — и уж не доведется.
Как ловко вас спровадили, однако,
В бессрочные каникулы — веселых,
Увешанных оружьем до зубов,
Готовых победить весь мир. О трупы
На рисовых полях, о мертвецы
На склонах горных, сброшенные ныне
В могилу примечаний. Мы скорбим
О вас — об оборотнях слабоумных,
Не ведавших, кто прятался за вами.

2

Пчела, свой пыл берущая от солнца,
И мотылек, как призрак подземелья,
Несущийся сквозь ночь, — все существа
Счастливые стремятся неуклонно

Туда, куда ведет слепой инстинкт.
Счастливые слепцы! Вы стали миной,
Подложенной под наш фальшивый мир,
Где государство лепит души, церковь
Благословляет, — и никто из старших
Не отведет от ваших губ отраву,
Не посоветует вам поварить
Немного котелком, не намекнет,
Что не из книжек выучились рыбы
Ходить по суше. Нет, учителя
Вам сунули по теннисной ракетке,
Уверив, что у вас в руках — Ковчег
От всех потопов. Но в эпоху ломки
Одной отваги мало. Гибнут роем
Слепые мотыльки — и вы, слепцы,
Не ведающие о подоплеке.

3

Промокшая ворона на рассвете
Летит домой с протяжным, резким карком.
Но Бог (что с неба сыплет воробьев,
Как милосердье или конфетти),
Моргнет разок — и вот ее не стало.
И вас не стало. Где она теперь —
Былая доблесть огородных пугал?
Увяла, словно ранняя сирень,
Пока в Дакоте розы расцветают
И процветает биржа. И цветы
И акции — как будто сговорились
Вас увенчать немеркнущим салютом.
Явились плакальщиков вереницы,
На Форуме политик обронил
Слезу с ресниц. Но мы еще оплачем

Вас с вашей допотопною отвагой
И славой вредоносной, о безумцы,
Растяпы, недоучки, храбрецы,
О павшие на рисовых полях,
О мертвые на склонах безымянных!

РИЧАРД УИЛБЕР

СОВЕТ ПРОРОКУ
© Перевод П. Грушко

Когда ты придешь, — а ждать осталось немного, —
Обезумевший от всего, что увидел в пути,
Не проклиная, а заклиная именем бога
Себя самих пожалеть и спасти, —

Не пугай нас оружием, его глобальностью, длинной
Ракетою чисел, буравящей наши умы.
Медленным нашим сердцам
не угнаться за счетной машиной,
Мы не можем бояться того, что не ведаем мы.

Не пугай апокалипсисом наше племя живое.
Как можно представить это пространство без нас?
Солнце — лишь пламенем, лес —
неодушевленной листвою,
Камень — лишенным внимательных глаз?

Говори о мытарствах природы.
Не веря в слепые угрозы,
Мы верим лишь горькому опыту, а не ворожбе:
Вот распадается облако, и чернеют от холода лозы,
И пейзаж умирает. Мы поверим тебе,

Если ты скажешь,
что белохвостый олень превратится
В совершенную тень, растворившись во мгле,
Что даже от наших взглядов будет прятаться

птица,
И дикарка-сосна засохнет на голой скале,

И каждый поток умрет на каменном ложе,
Подобно Ксанфу[136], и вся форель — до мальков —
Всплывет вверх брюхом.
Кем будем мы, что мы сможем
Без дельфиньих прыжков и голубиных витков?

Без вещей, которые нас отражали, нас выражали?
Подумай, пророк, как себя мы отыщем в своем
Естестве, если исчезнет язык этой дали,
Если зеркало помутится или мы его разобьем —

Зеркало, где алеет роза любви и где скачет
Мустанг отваги, и поет печальный сверчок
В подвале души? Где каждый что-то да значит
Или хотел бы значить? Подумай, пророк,

Если розы погибнут, — разве в то же мгновенье
Не увянут и наши сердца среди вымерших трав?
Разве мир не окутает беспросветное омертвенье,
Когда обезлиствеют бронзовые архивы дубрав?

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ
© Перевод П. Грушко

После последних известий окна темнеют
И город стремительно тонет, касаясь ночного дна,
Каждый скатывается на своей личной подушке
В Атлантиду персонального сна.

А ветер все злее, он поднимает и гонит
Мусор событий по парку: бесформенный ком
Терзают зубья решеток, бумага взвивается,
Падает на дорожки с тихим шлепком

И снова летит. Строптивые стаи
Налетают на статую, как на мертвеца,
Бьют по застывшим глазам, проминаются
На бесстрастных выпуклостях лица,

Скребут по славному имени. Все это газетное
Воинство казнит погруженьем во мглу
То, о чем мы собирались подумать,
Выворачивает, перекручивает в темном углу

Людские слова, по канавам бьется в падучей
У ног полисмена, словно затоптанный снег,
Который рядом с его томительным одиночеством
Чавкает, укладываясь на ночлег.

К дьяволу! Под копыта императорской лошади!..
Когда на рассвете из ясной, сухой полутьмы
Голос диктора проворкует, как голубь,
И от душевной смуты, от смутьяна-города мы,

Выползая из темного зева подземки,
Возвращаемся к жизни, к свету весны,
Неся утренний выпуск, когда идем по аллеям,
Где подобные ангелам люди, чьи лица бледны,

Деловито орудуя палкой, в мешки собирают
Мусор вечера, — ступая по пеплу умерших страниц,
Мы спугиваем твердым утренним шагом
Распевшихся в общественных зарослях птиц.

ОКТЯБРЬСКИЕ КЛЕНЫ В ПОРТЛЕНДЕ
© Перевод П. Грушко

Усталая листва в канун облета
Так безысходно напряглась, цедя́
Спокойный свет сквозь шумные решета,
Как будто ей и время не судья.

Полузабытый, вновь печет нам плечи
Багряный ливень. И со всех углов
На нас струится Троицы наречье
Сквозь золото кленовых куполов.

Свет кленов — он погаснет, но сначала
Он, освежив все наше существо,
Пятнает нас так въедливо и ало,
Что не свести, как ни своди его.

Так Мери в сказке, выстирав платок
(А сказки нам идут порою впрок),
Повесила его на розмарине —
И куст в кисейной синеве поблек.

Смотри, как пламя иссякает в сипи.

СОНЕТ («Зима настала; собрано зерно...»)
© Перевод В. Топоров

Зима настала; собрано зерно,
В сараях сено, и в яслях скотина,
И яблок в кладовой запасено.
«Окончилась всегдашняя рутина», —

Ты думаешь, в качалке у камина
Тяжелой тушей благостно застыв, —
И эта в целом славная картина
Всему земному нынче супротив.

Ведь там, снаружи, черною вороной
Слетает ночь на пугало (в твоей
Одежде старой, снегом занесенной),

Которое, как в пламени костра,
Руками рвется в небо — что, ей-ей,
Уместней бы хозяину двора.

МАЯК
© Перевод В. Топоров

Воздвигнутый на утесе над морем, объятым ночью,
Маяк сверкает своим собственным светом,
Абордажными саблями здесь и там
Рассекая гордиев узел вод,

Озаряя караванные пути и Саргассовы луга,
Выискивая каждую упавшую волосинку,
Высвечивая щедрые, радостные
Игры могучих дочерей Океана.

Но затем все пропадает во вспышках тьмы —
Руки, бедра, луга и меридианы,
Все пропадает, и чернота зрачков
Ныряет в бездну за черным жемчугом моря —

Моря как такового. Глядим на ослепшие волны,
Мечущиеся обезумевшим стадом,
Слышим их вой, рев и гортанные вскрики,
Предупреждающие о водоворотах

Нашего разума. Ибо море становится непонятным,
Как голоса, проникающие в сознанье,
Охваченное утренним сном. Но и нам не проснуться —
Убаюканным на груди у моря… Душа,

Спрячься за крепостной стеной от глухого гула,
Выплачь свои александрийские слезы и ведай:
Огонь маяка, выхваченный из ножон,

Одним молниеносным ударом пронзает мантию тьмы

И освобождает из заточения наше зрение, —
И возвращает ему его сокровища:
Волны, неисчислимые и неуязвимые.
Давайте же поверим, что тьма —

Самое сокровенное изо всего, что мы видели.
Дочери Океана заигрывают с нами,
Обдавая нам лица водой.
Корабль в свету маяка — это праздник царству морскому.

СТАТУИ
© Перевод В. Топоров

Эти дети, играя у статуй в саду,
Заражают его озорством, и аллеи,
От стремительных шалостей сами шалея,
Мечут их, словно мяч, — на газон, на гряду

Аккуратных бедняжек-цветов. — И они
Застывают в причудливых позах горгулий,
Но мгновенье спустя растревоженный улей
Вновь снимается с места. Под визг ребятни —

А вернее, — над ним, еле слышится вздох
Замороченных и озадаченных кленов,
Не понявших мальчишеских важных резонов
И поднявших отчаянный переполох

Тенью веток, в которых запутался змей.
А уже вслед за ним запускается новый!
И предельно осмыслен черед бестолковый,
Как в Хаóсе Овидия. Резвость детей

Умеряют две няни. — Но, впрочем, не так,
Чтобы очень. — И шествуют важно, как горы,
По дорожке. А горы шагают не скоро —
Тучки мчатся на них, вот и весь мнимый шаг.

И чеканный свой марш прекращает солдат,
И влюбленные взор друг от друга отводят,

И на всех, кто в саду, словно что-то находит, —
Только детские туфельки четко стучат.

На скамье, утлым телом вливаясь в нее,
Одинокий отверженный, силу и веру
Потеряв, посчитав за пустую химеру,
Смотрит, не узнавая, на царство свое.

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
© Перевод В. Топоров

I

Вот пять солдат с дагерротипа Брэди
Застыли, не ожив лишь потому,
Что не было одержанной победе
Ни капли веры… Гамлетом во тьму

Сойду, отцов молчащих окликая, —
Как бездыханно-благостны они,
Отшельники в глуши чужого края, —
Исходу года их поход сродни.

Оружье, упряжь, жалкие палатки —
Игрушечны и беззащитны. Но
Кудрявых кленов стройные порядки
Ведут на холм.
Пахнуло тишиной

Мгновенной — от раската до раската —
В ветвях, которым пламенем пылать.
Отцы, я с вами, мы к холму прижаты
Врагом, но не отступим ни на пядь.

II

Но и Бирнамский лес на ум приходит,
Когда штурмуют этот Эльсинор
И тень деревьев на воду наводит

Кровавый блеск. История — простор,

Подвластный то приливам, то отливам,
Где каждая ничтожная волна
Подвержена решеньям торопливым
Чему — на дно, чему — всплывать со дна,

Что лавром покрывать, что мхом, какие
Сокровища вдруг вынести на мель,
Какие вскрыть могилы вековые,
А по каким — пустить зеленый хмель.

III

Итак, старик у моря,
Я начал понимать:
Для воли нет неволи
Страшней, чем благодать.

Но мертвецам молчать
Приходится, покуда
Не грянет роковой
Приказ невесть откуда.

С каким восторгом буду
Внимать я каждой лжи —
И под любое знамя —
Лишь только прикажи.

Но сгинут миражи,
Уловки и обманы
Обманутых отцов —
И строгим древом стану,

Не ждущим с неба манны
И мания вождя —
Но только жизнетворных
Сиянья и дождя.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
© Перевод В. Топоров

Дойти до края — цель всего земного;
Поверхность озерца равно манит
Людей и рыб своею пенной тканью
С узором из кувшинок и канвой
Из палых листьев и сосновых веток,
Поддетою под панцирь пузырьков.

Впадая в дрему (словно лифт ночной
Вдруг рухнул вниз через рубеж алмазный),
Мы видим мир прекрасней, слышим песнь
Божественней — вполглаза и в пол-уха —
Так на ночном лугу всегда слышны
Вдали кузнечики, а подойдешь — замолкнут.

Наш мир центростремителен; наш путь —
Из кратких снов — в последний бесконечный,
А этот сон не что иное, как
Водоворот из наших грез и мыслей, —
Куда наш парус вечно устремлен
В надежде на хорошую пучину.

МЕЛЬНИЦА
© Перевод В. Топоров

Свет клочковатый, дымчато-оранжев,
Как корпия на ранах, — здесь и там.
Затем и он исчез — и лишь твой голос,
Проникнутый степенством легкой смерти,
Звучал из тьмы, поползшей на тебя.
Ты то ли бредил, то ли брел тропой
Имен забытых, образов, названий,
Ты вспоминал какую-то сирень, —
Случайно, — словно роздал нажитое
И прожитое близким и друзьям, —
И вот теперь швырял последней медью.
А может, ты хотел разворошить
То, чем заняться не было досуга?
О мельнице ты вдруг заговорил,
Заброшенной и полусгнившей, — то ли
В Бразилии, то ль в штате Тенесси
Набрел ты на нее, уже не помню,
Но где-то в глухомани. Если там
Была дорога, то весьма дрянная,
И ты увидел только три стены,
Поросшие плющом и виноградом, —
И заросли зеленые вокруг.
Но колесо по-прежнему вращалось!
С таким зловещим скрежетом, что ты
Решил: здесь говорит с самим собою,
Наедине с собою, Время. — Так
Был вечен шум.
Но как же я узнаю,
Куда они ушли, раз ты — ушел,
Те имена, те образы, названья,
Та — вовсе мимолетная — сирень?

Все, что осталось, это колесо —
Ему теперь в моем мозгу вращаться.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ [137]
© Перевод А. Сергеев

1

В тот день оксфордский лексикограф Лиддел
До Годстоу прокатиться по реке
Своим трем дочкам разрешенье выдал,
И мистер Доджсон, провожатый, чаю
Им налил в ивняке,
В тени, и сам, по капельке глотая,
Нарассказал того,
Чего ни сам, ни целый свет не видел;
Фантазий золотое естество
Привычки слов и чисел отвергало,
А Темза лишь струилась и моргала.

2

От них на запад, в Мемфисе, где зной
Пошибче над рекой куда пошире,
Грант, непреклонный, точно ток речной,
Закрывшись от помощников, дымил
Над картой в штаб-квартире
И Виксберга судьбу определил:
Мятежники в ловушке,
Им через год оплачивать с лихвой
Провал десанта, брошенные пушки,
Им выходить от голода и вшей
К кривому дубу за кольцо траншей.

3

О, солнце не понятье, но светило.
Что, если б смесью чайного дымка
И грантовых сигар его затмило?
Что мир всегда от хаоса спасало?
Чье слово нас пока
Спасает от паденья и развала?
Ах, весел шелест крон
Лишь там, где все, что рощи населило,
Раздельно и не ведает имен,
Где плакала в тени Алиса, ибо
Той тени не могла сказать спасибо.

4

При том отнюдь блаженства не вкусил
Линней в апоплексическом ударе,
Когда, теснимый тьмою, упустил
Сладчайшую латынь земных начал,
Камней, растений, тварей —
Он их кустистой мыслью обнимал
И вдруг забыл названья
И собственное имя позабыл.
Итак, хвала тому живому знанью,
Что, запросто зайдя на огонек,
Приносит нам веселье и намек,

5

Но слава и Копернику, который,
Постигнув Солнце, шар пустил земной
Вращаться и, на выводы не скорый,
Вернулся в мир квадрантов и абстрактов,
Рискнув войти с мечтой
В проверочное отделенье фактов;
Америке — виват
За пробуждение, море крови, споры
На целый век, чтоб мы, усвоив взгляд,
Что негры тоже люди, вдруг вернули
Смысл сказанному в этот день июля.

КОТТЕДЖ-СТРИТ, 1953[138]
© Перевод А. Сергеев

На фоне пестрой ширмы Эдна Уорд
Приподняла китайский чайник с чаем:
— Вам, знаю, крепкий. Вам — наоборот.
С лимоном? С молоком? — Мы отвечаем.

Мы — вспугнутая миссис Плат и дочь,
Глядящая в пространство мимо чашки,
Жена и я, обязанный помочь.
Как тянется визит постыдно-тяжкий!

Мой долг — хвалить известность и печать,
Плести про жизнь поэтов небылицы,
Чтоб Сильвию у края удержать:
Она хотела с жизнью распроститься.

Я — как слабак-спасатель на песке,
Волной отброшен и уже не нужен,
Гляжу, как, захлебнувшись вдалеке,
Глядит пловчиха парою жемчужин.

Велик ее отказ, велик попрек.
А мы твердим любезно и некстати
Слова о жизни в летний файфоклок,
Который сам замешан на закате.

И Эдна Уорд через пятнадцать лет,
Когда ей будет чуть не девяносто,
На скорбь и слезы наложив запрет,
Подаст нам руку благодатно-просто.

И Сильвию переживет — ведь той
Дано всего лет десять кропотливых,
Чтоб научиться и пробить отбои
В стихах прекрасных и несправедливых.

ПИСАТЕЛЬНИЦА
© Перевод А. Сергеев

У себя, на корме дома,
В разбросанном свете ломящихся в окна лип
Моя дочь пишет рассказ.

Я медлю на трапе, слушаю
Сквозь закрытую дверь, как пишущая машинка
Грохочет якорной цепью.

Подросток, а все же ноша
Ее жизни уже тяжелый, опасный груз:
Счастливого ей плавания!

Но теперь медлит она,
Точно спорит с банальным моим пожеланием.
В разрастающейся тишине

Весь дом как будто задумался,
И вновь она разражается сбивчивым стуком
Машинки и вновь умолкает.

Помню, шальная синица
Два года назад застряла в ее комнате;
Мы боялись ее напугать,

Прокрались, подняли раму
И сквозь щель в двери отчаянный час следили,
Как яркая, гладкая, дикая

Птица билась о стекла
Закрытых окон, и падала, как перчатка,
На пол или на стол,

И, нахохленная, в крови,
Собиралась с силами. Как мы вздохнули,
Когда она вдруг уверенно

Вспорхнула со спинки стула
И влетела в окно, открытое над порогом вселенной
Я забываю, милая,

Что это всегда вопрос
Жизни и смерти. Желаю тебе того же,
Чего всегда, но сильнее.

СНЕГ В АПРЕЛЕ
© Перевод А. Сергеев

Бывает, зимы медлят
С уходом, белый тлен
Нас хлещет, землю солит,
Как Карфаген.

Но этот тихий, чистый
Слепящий хоровод
Похож не на прощанье,
А на приход.

Снежинки не сгибают
Ракитник у реки,
Но сеются сквозь сучья,
Как лепестки,

Или, взмывая к небу,
Мешают свет и тень,
Как вяз под ветром в яркий
Июльский день.

Мне кажется, что снегу
Тогда лишь будет край,
Когда поляны кашкой
Покроет май,

Что в зябком воздухе витает молочай.

5 АПРЕЛЯ 1974
© Перевод А. Сергеев

В тумане лес, овраг в снегу —
Но что случилось на лугу?
Казалось, больше не мертва
К земле примерзшая трава,
Но, как под ветром, в летний зной
Гуляет медленной волной.
Что значит эта зыбь земли?
Быть может, мы уже зашли
Так далеко, что сам закон
Природы кем-то отменен?
Потусторонний, как кошмар,
Над лугом извивался пар,
Знакомую смущая глушь.
Восставший из стоячих луж
И льдистой, снежной их каймы,
Он означал конец зимы
И уходивший ввысь мороз —
Так ум, привыкший жить всерьез,
Смущеньем вдруг смягчит черты.
Здесь будут, я сказал, цветы.

ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА
© Перевод А. Сергеев

Березу по коре узнать не просто,
Так глубоко растрескалась береста,
Так потемнела, что глядит в мороз
Сплошным скопленьем пятен и полос.

Не ствол в мечтах рисуется упрямо,
Но мозаичная колонна храма,
И Ара Цели или Латеран
От старости скорбят в снегу полян.

Но не мудри и душу не печаль ты —
Все эти раны, борозды и смальты
Не внутренний упадок старины,
Они извне на ствол привнесены.

Тут каждый год приходит обновленье,
Прирост кольца, обхвата расширенье,
Тут все искусство, смысл и благодать —
Созреть, растрескаться и устоять.

ДЖОН ЧЕПМЕН[139]
© Перевод А. Сергеев

На западе, где, перейдя границу
На Ликинг-крик или на Брокенстроу,
Фургоны увязали по ступицу
И обретали рай для топоров,

Джон Чепмен на порубках первым делом
Радел о нуждах первых посельчан,
И половина ферм покрылась белым
Цветеньем яблонь из его семян.

Он выбрал не искусство — Божью милость,
Ни саженца ни разу не привив.
И что же в результате получилось?
Не яблочного золота налив,

Какой феаки или гесперид
Знавали, не плоды полночных стран,
Упорные знакомые гибриды —
Бен Девис, Чендлер, Граймз и Джонатан,

Но малус-малус, с дней Грехопаденья
В Евразии прижившийся дичок,
Уродливый заморыш с жидкой тенью,
Досадный и горчащий, как упрек.

Джон Чепмен, встань из гроба, чтобы всходы
Твоих надежд сбылись для бытия.
А что до нас — мы крапчатой породы
В стране куда дичее, чем твоя,

Ждем меньшего от дерева и друга
И прививаем с горем пополам
Глазками свет — во тьме растущим туго
Корявым, кровным и кривым корням.

АЛЛЕН ГИНСБЕРГ

АМЕРИКА[140]
© Перевод Г. Симанович

Америка я все отдал тебе и я теперь ничто.
Америка два доллара 27 центов 17 января 1956.
Я кажется схожу с ума.
Америка когда мы покончим с войнами?
Пошла ты со своею атомной бомбой.
Я паршиво себя чувствую оставь меня в покое.
Я не притронусь к стихам покуда малость не тронусь.
Америка когда на тебя снизойдет смиренность ангельская?
Когда же ты сбросишь это грязное белье?
Когда на себя самое поглядишь сквозь темень могильную?
Когда ты станешь достойной своих бунтарей?
Америка почему столько слез скопилось в твоих библиотеках?
Америка когда наконец ты отправишь в голодную Индию яйца?
Меня тошнит от твоих идиотских порядков.
Когда я смогу в супермаркете накупить чего пожелаю?
Америка в конце концов нам с тобою на том свете лучше не будет.
Я по горло сыт твоим государственным аппаратом.
По твоей милости меня потянуло в святоши.
Должно быть имеется другой способ уладить наш спор.

Берроуз[141] на Танжерах он вряд ли вернется это гибельно.

Ты и впрямь становишься зловещей или просто меня
дурачишь?
Я все же пытаюсь докопаться до сути.
Я одержим идеей я с ней ни за что не расстанусь.
Америка брось пихать меня локтем я знаю что делаю.
Америка сливовый цвет опадает.
Я месяцами газет не читаю что ни день за убийство
кого-то судят.
Америка сердце мое с рабочими из ИРМ
Америка я был коммунистом когда еще был ребенком
я не жалею об этом.
Я всегда не прочь покурить марихуаны.
Я целыми днями дома торчу и глазею на розы
в клозете.
В китайском квартале нарезавшись в дым я не падаю
никогда.
Мой рассудок в норме значит жди неприятностей.
Неплохо бы вам застать меня за чтением Маркса.
Мой психоаналитик полагает что со мной все в порядке.
Я не намерен бормотать «Отче наш».
У меня таинственные видения и космические
галлюцинации.
Америка я еще не напомнил тебе что сотворила

ты
с Дядюшкой Максом когда он приплыл из России.
Эй я к тебе обращаюсь.
Ты и дальше позволишь журналу «Тайм» тобою командовать?
Я свихнулся на этом журнале «Тайм».
Я его читаю каждую неделю.
Всякий раз когда я украдкой хочу прошмыгнуть мимо кондитерской лавки его переплет на меня таращится.
Я читаю его в подвальном этаже публичной библиотеки в Беркли.
Он мне всегда напоминает об ответственности.
Бизнесмены народ серьезный. Кинопродюссеры народ серьезный. Все поголовно серьезны кроме меня.
Сдается мне что я Америка.
Я опять с самим собою беседую.
На меня ополчилась Азия.
У китайца больше шансов уцелеть.
А не прикинуть ли мои национальные ресурсы.
Мои национальные ресурсы два кабака с марихуаной десяток миллионов гениталий подпольные книжонки приватного содержания которые расходятся со скоростью 1400 миль в час и двадцать пять тысяч всяких шизоидных обществ.
Я уж молчу о тюрьмах моих о миллионах обездоленных

что живут озаренные блеском моих фейерверков.
Я упразднил французские бордели на очереди Танжеры.
Я сплю и вижу себя Президентом хоть я и католик.

Америка как мне втемяшить священную литанию
в твою ошалевшую башку?
Меня ждет будущее Генри Форда строфы мои столь же
неподражаемы как его автомобили но к тому же они
разнополые.
Америка я запродам тебе строфы мои по 2500 за штуку
а за твои устаревшие дам по 500 наличными
Америка свободу Тому Муни[142]
Америка спаси испанских антифашистов
Америка Сакко и Ванцетти не должны умереть
Америка я солидарен с парнями из Скотсборо.
Америка когда мне было семь мать с собою меня брала
на заседания коммунистической ячейки там
в обмен на пятицентовый билетик получали
мы целую горсть бобов и там говорили
что думали все были такие милые и сочувствовали
рабочим такая искренность во всем вы
представить себе не можете до чего хороша была

эта партия в 1835 году Скотт Ниринг[143] еще был
знатным почтенным старцем Мама Блур меня
растрогала до слез я однажды видел самого
Израэля Амтера. Все они вероятно были
шпионами.
Америка тебе вовсе не нужна война.
Америка это все они бяки русские.
Эти русские ух эти русские и эти китайцы. И эти
русские.
Россия жаждет скушать нас тепленькими. Россия мощна
и безумна.
Она хочет повышвыривать из гаражей наши автомобили.
Она только и мечтает поскорей заграбастать Чикаго.
Ей невтерпеж начать издавать красный «Ридерз
Дайджест». Она вот-вот перетащит в Сибирь наши
автозаводы. Ее чиновники уже орудуют на наших
бензоколонках.
Плохи дела. Ох плохи. Они заставляют индейцев
учиться читать. Им нужны огромные черные негры.
Бр-р-р. Они заставляют нас работать
по шестнадцать часов в сутки. Спасите.
Америка это вполне серьезно.
Америка это после твоих телепрограмм.

Америка так ли это?
Лучше бы дали мне право на труд.
Да я не хочу ни в Армию идти ни крутить токарные
станки на аккуратненьких фабриках я близорук
и к тому же еще психопат.
Америка отдаюсь делай со мной что хочешь.

СУПЕРМАРКЕТ В КАЛИФОРНИИ
© Перевод А. Сергеев

Этим вечером, слоняясь по переулкам с больной головой
и застенчиво глядя на луну, как я думал о тебе, Уолт
Уитмен!
Голодный, усталый, я шел покупать себе образы
и забрел под неоновый свод супермаркета и вспомнил
перечисленье предметов в своих стихах.
Что за персики! Что за полутона! Покупатели вечером
целыми семьями! Проходы набиты мужьями! Жены
у гор авокадо, дети среди помидоров! — и ты, Гарсия
Лорка, что ты делал среди арбузов?

Я видел, как ты, Уолт Уитмен, бездетный старый
ниспровергатель, трогал мясо на холодильнике
и глазел на мальчишек из бакалейного.
Я слышал, как ты задавал вопросы: кто убил поросят?
Сколько стоят бананы? Ты ли это, мой ангел?
Я ходил за тобой по блестящим аллеям консервных
банок, и за мною ходил магазинный сыщик.

Мы бродили с тобой, одинокие, мысленно пробуя
артишоки, наслаждаясь всеми мороженными
деликатесами, и всегда избегали кассиршу.

Куда мы идем, Уолт Уитмен? Двери закроются через час.
Куда сегодня ведет твоя борода?
(Я беру твою книгу и мечтаю о нашей одиссее
по супермаркету и чувствую — все это вздор.)
Так что — мы будем бродить всю ночь по пустынным
улицам? Деревья бросают тени на тени, в домах
гаснет свет, мы одни.
Что же, будем идти домой мимо спящих синих
автомобилей, мечтая об утраченной Америке любви?
О дорогой отец, старый седобородый одинокий учитель
мужества, какая была у тебя Америка, когда Харон
перевез тебя на дымящийся берег и ты стоял
и смотрел, как теряется лодка в черных струях Леты?

СУТРА[144] ПОДСОЛНУХА
© Перевод А. Сергеев

Я бродил по берегу грязной консервной свалки, и уселся
в огромной тени паровоза «Сазерн Пасифик»,
и глядел на закат над коробками вверх по горам,
и плакал.
Джек Керуак сидел рядом со мной на ржавой изогнутой
балке, друг, и мы, серые и печальные, одинаково
размышляли о собственных душах в окружении
узловатых железных корней машин.
Покрытая нефтью река отражала багровое небо, солнце
садилось на последние пики над Фриско, в этих
водах ни рыбы, в горах — ни отшельника, только мы,
красноглазые и сутулые, словно старые нищие у реки,
сидели, усталые, со своими мыслями.
— Посмотри на Подсолнух, — сказал мне Джек, — на фоне
заката стояла бесцветная мертвая тень, большая, как
человек, возвышаясь из кучи старинных опилок —
— я приподнялся, зачарованный — это был мой

первый
подсолнух, память о Блейке — мои прозрения —
Гарлем
и Пекла Ист-Ривер, и по мосту лязг сандвичей
Джоза Гризи, тупики детских колясок, черные
стертые шины, забытые, без рисунка, стихи
на речном берегу, горшки и кондомы, ножи — все
стальные, но не нержавеющие, — и лишь эта липкая
грязь и бритвенно острые артифакты[145] отходят
в прошлое —
серый Подсолнух на фоне заката, потрескавшийся,
унылый и пыльный, и в глазах его копоть и смог
и дым допотопных локомотивов —
Венчик с поблекшими лепестками, погнутыми
и щербатыми, как изуродованная корона, большое
лицо, кое-где повыпали семечки, скоро он станет
беззубым ртом горячего неба, и солнца лучи погаснут
в его волосах, как засохшая паутина,
листья торчат из стебля, как руки, жесты из корпя
в опилках, осыпавшаяся известка с ветвей, мертвая
муха в ухе,
несвятая побитая вещь, мой подсолнух, моя

душа, как
тогда я любил тебя!
Эта грязь была не людской грязью, но грязью смерти
и человеческих паровозов,
вся пелена пыли на грязной коже железной дороги, этот
смог на щеке, это веко черной нужды, эта покрытая
сажей рука или фаллос или протуберанец
искусственной — хуже, чем грязь, — промышленной —
современной — всей этой цивилизации, запятнавшей
твою сумасшедшую золотую корону, —
и эти туманные мысли о смерти, и пыльные безлюбые
глаза и концы, и увядшие корни внизу, в домашней
куче песка и опилок, резиновые доллары, шкура
машины, потроха чахоточного автомобиля, пустые
консервные банки со ржавыми языками набок, — что
еще мне сказать? — импотентский остаток сигары,
влагалища тачек, молочные груди автомобиля,
потертая задница кресла и сфинктер динамо — все
это
спрелось и мумифицировалось вкруг твоих корней —

и ты стоишь предо мною в закате, и сколько величья
в твоих очертаньях!
О совершенная красота подсолнуха! Совершенное
счастье бытия подсолнуха! Ласковый глаз природы,
нацеленный на хиповатое ребрышко месяца, проснулся
живой, возбужденно впивая в закатной тени золотой
ветерок ежемесячного восхода!
Сколько мух жужжало вокруг тебя, не замечая твоей
грязи, когда ты проклинал небеса железной дороги
и свою цветочную душу?
Бедный мертвый цветок! Когда позабыл ты, что ты
цветок? Когда ты, взглянув на себя, решил, что ты
бессильный и грязный старый локомотив, призрак
локомотива, привиденье и тень некогда всемогущего
дикого американского паровоза?
Ты никогда не был паровозом, Подсолнух, ты был
Подсолнухом!
А ты, Паровоз, ты и есть паровоз, не забудь же!
И, взяв скелет подсолнуха, я водрузил его рядом с собою,
как скипетр,
и проповедь произнес для своей души, и для Джека, и для
всех, кто желал бы слушать:

— Мы не грязная наша кожа, мы не наши страшные,
пыльные, безобразные паровозы, все мы душою
прекрасные золотые подсолнухи, мы одарены
семенами, и наши голые волосатые золотые тела при
закате превращаются в сумасшедшие черные тени
подсолнухов, за которыми пристально и вдохновенно
наблюдают наши глаза в тени безумного кладбища
паровозов над грязной рекой при свете заката
над Фриско.

МОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ Я
© Перевод А. Сергеев

Порой, когда глаза мои краснеют,
я забираюсь на крышу небоскреба Эр-Си-Эй
и смотрю на мой мир, Манхаттан —
мои домá, улицы-очевидцы моих похождений,
мансарды, диваны, квартиры без горячей воды
— там, на Пятой авеню, ее я тоже имею в виду,
с муравьями автомобилей, желтыми такси,
пешеходами, величиной с шерстинку, —
панорама мостов, восход над механикой Бруклина,
закат над Нью-Джерси, где я родился,
и Патерсоном, где я играл с муравьями, —
мои недавние любвишки на 15-й улице,
мои любови на Нижнем Ист-Сайде,
мои некогда громкие похождения на Бронксе,

вдали —
тропинки пересекаются на невидимых улицах,
моя жизнь подытоживается, мои отлучки
и восторги в Гарлеме —
— солнце светит на все, чем я завладел
одним взглядом отсюда до горизонта,
до последней моей бесконечности —
там, где вода океана.

Грустный,
вхожу я в лифт,
и спускаюсь в раздумии,
и бреду тротуаром, вглядываясь во все людские
машинные стекла и лица,
ищу того, кто может любить,
и останавливаюсь, ошеломленный,
перед витриной с автомобилями,
стою, уйдя в себя, созерцаю,
а сзади меня
по Пятой авеню движутся автомобили,
ожидая мгновенья, когда…

Пора домой, приготовить ужин, послушать по радио
романтические известия о войне.

…все движение остановится.
Я иду по безвременью, испытывая тоску жизни,
нежность сочится сквозь здания,
мои пальцы ощупывают лицо реальности,
по моему собственному лицу, отраженному
в уличном зеркале, текут слезы
— сумерки —
мне не хочется
ни конфет, ни духовного общения
под японскими абажурами —

Смятенный обступившими его картинами,
Человек пробирается по улице
мимо коробок, газет,
галстуков, дивных костюмов —

навстречу желанью.
Мужчины, женщины текут по тротуарам,
тикают красные огоньки, время торопится,
машины торопятся —
и все эти пересекающиеся стриты
и авеню,
гудящие, бесконечные,
ведут сквозь спазмы заторов,
крики и скрежет машин
мучительным путем
за город, к кладбищу,
к тишине
на смертном одре или на горной вершине,
которую я однажды увидел,
которой я не достиг
и не достигну в будущем,
когда исчезнет весь тот Манхаттан, который я только
что
видел.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КАЛЬКУТТЕ
© Перевод Р. Дубровкин

До рассвета еще далеко. Тиканье старых часов,
половина третьего. Под потолком
стрекочут сверчки. Дверь на улицу заперта —
сонные тела, усы, обнаженная плоть,
но никакого желания. Вялые москиты
напоминают о зудящих укусах,
медленно вращается вентилятор,
случайная автомашина с ревом проносится по асфальту,
где-то фыркает бык: во всем тревожное ожидание.
Время остановилось в этих четырех пожелтевших стенах,
пустоту наполняют лишь гудки паровозов
и лай собак, подхваченный в соседнем квартале.
На полке томики Пушкина, Шекспира, Блейка —
непрочитанные. Муза Поэзии,
что толку призывать тебя в безмолвие этих коек,
под глянцевитый овал надтреснутого зеркала! —
Великолепная ночь для тех, кто жаждет исчезнуть —
на каких-нибудь восемь часов — в сумрачном провале сна
и проснуться среди липких ладоней,
с горьким вкусом во рту и тяжестью в груди,
истосковавшейся по сигарете. —
Что делать с этими руками, с большими пальцами ног,
с глазными яблоками в этой полуголодной,

разгоряченной конками Калькутте, в этой Вечности,
у которой от старости давно сгнили все зубы? —
Рильке мог по крайней мере мечтать о любви —
о привычном холодке в груди, дрожащих коленях.
Мечтать об этом? О бездонном звездном небе.
Если мозг тупеет, жизнь отвечает нам
убийственным свинцовым дыханием, но сейчас
гигантские обломки зданий и миров
крушат преграды Слова и навечно погребают меня
под тяжелыми водами священного Ганга.
Бежать отсюда, но как? — только через гибельное
марево Бангкока или Нью-Йорка.
С кожи хватит того, что она кожа, —
разве этого мало? — но от визжащей боли в боку
ей становится тошно от себя самой,
и замысловатый мираж улетучивается,
покончив с этим давно опостылевшим миром. —
Оставь бессмертие и страдания кому-нибудь другому. —
Только бы не застрять в этой дыре на краю вселенной,
вкалывая в руку морфий и убивая плоть.

ЛОРЕНС ФЕРЛИНГЕТТИ

«Мир превосходное место...»
© Перевод В. Минушин

Мир превосходное место
чтобы родиться в нем
если вы не против чтобы счастье
было безоблачным не всегда
если вы не против чтобы он обернулся адом
иногда
именно когда все прекрасно
ведь даже в раю
не поют
все время

Мир превосходное место
чтобы родиться в нем
если вы не против чтобы люди умирали
все время
или только голодали
какое-то время
ведь это не так ужасно
раз это не вы

О мир превосходное место
чтобы родиться в нем
если вы не очень против
пары пустых голов
над вами
или бомбы в лицо
когда вы
любуетесь небесами
или такого убожества
как наше хваленое общество
что корчится

от своих людей знаменитых
и своих людей забытых
и священников
и прочих охранников
и от всяческих сегрегаций
и расследований конгресса
и от запоров иных
что мы бедные
получаем в наследство

Да мир наилучшее место
для многих вещей
и чтобы смеяться
и чтобы любить
и чтобы грустить
и петь печальные песни и вдохновляться
и прогуливаться
глядя вокруг
и нюхать цветы
и на статуи пялиться
и даже думать
и людей целовать и
делать детей и мужем помыкать
и шляпами махать и
танцевать
и плавать в реках
на пикниках
в разгаре лета
и просто вообще
«жить»
Да
но тогда в самом разгаре
появляется улыбающийся
гробовщик

«У Гойи на офортах гениальных род людской...»
© Перевод В. Минушин

У Гойи на офортах гениальных род людской
мы
видим как бы
в тот момент когда
он был впервые назван
«многострадальным
человечеством»
Люди на каждом листе
корчатся в ярости
отчаянья
Стеная
теснятся с младенцами окруженные
копьями
под
цементным небом
в абстрактном пейзаже среди расколотых бурей

деревьев
падающих статуй перепончатых крыльев клювов
торчащих виселиц
трупов и хищных петухов
и всех возможных воющих чудовищ
рожденных
«трагическим сознаньем»
Они до того реальны
как если бы вправду существовали
И они существуют

Изменился один пейзаж

Все так же тянутся они по дорогам
затравленные легионерами
коварными ветряками и сумасшедшими

кочетами

Это те самые люди
только еще дальше от дома
на просторных автострадах
бетонного континента
окаймленных вкрадчивой рекламой
иллюстрирующей идиотские иллюзии счастья
На этой картине меньше двуколок
но больше калек
в ярких машинах
у них странные номерные знаки
и моторы
что пожирают Америку

«Рискуя впасть в абсурд...»
© Перевод А. Сергеев

Рискуя впасть в абсурд
или погибнуть
во время представления
над головами
своей аудитории
Поэт словно акробат
взбирается по рифме на канат
собственного
изобретения.
И на лучах исходящих из глаз
над морем лиц он
балансируя идет
переставляя закат и восход
ловкость рук
ловкость ног
в своем искусстве он высок
и не может ошибиться
приняв одно
за другое.
Ибо он совершеннейший реалист
и волей-неволей должен видеть
туго натянутую правду
перед каждым шагом или строфой
в своем предполагаемом движении
к новым и новым высотам
где стоит Красота и ждет
серьезная перед порывом
отрицающим
смерть.
А он
чарли-чаплинский маленький человек

может поймать или не поймать
ее бессмертное обаяние
распластавшее крылья
в пустынном небе существования.

«По рощам где реки бегут…»
© Перевод В. Минушин

По рощам где реки бегут
среди волнистых холмов
по лугам нашего детства
где сливаются в памяти стога и радуги
хоть «лугами» нам были улицы
снова я вижу встают мириады рассветов
когда от всего на земле
падает тень в вечность
и день сверкая
будто ранним утром
тенями резкими рисует мне
тот рай
где я узнать не мог
не мог себе представить
небритое сейчас
где хриплые грачи
над сучьями сухими поднялись
насмешливо крича
и вопрошая
все сущее

«В лавчонке дешевых сластей около Эл...»
© Перевод В. Минушин

В лавчонке дешевых сластей около Эл
я впервые
влюбился
в нереальное
Пылали карамели в полусвете
сентябрьского быстрого вечера
Кот на прилавке вышагивал важно
среди лакричных палочек
и ореховых трубочек
и резинки жевательной

За окнами слетали листья умирая

Солнце уже унес ветер

Девочка вбежала
Дождь с ее волос бежал
В той тесноте она дышала жадно

За окнами слетали листья
причитая
Так рано! рано!

СИЛЬВИЯ ПЛАТ

ВЕСТНИКИ
© Перевод А. Сергеев

Мир улитки на блюдце листа?
Чужой мир. Отвергни его.

Уксус в закупоренной бутылке?
Отвергни. Он не настоящий.

Золотое колечко с солнечным бликом?
Ложь. Ложь и горе.

Мороз на листе, белоснежная
Плавильня потрескивает, болтает

Сама с собой на каждой черной
Альпийской вершине.

Замешательство в зеркалах,
Море разбило свое серое

Зеркало —
Это любовь, любовь, мое время года.

ТЮЛЬПАНЫ
© Перевод А. Сергеев

Тюльпаны легко раздражаются, здесь же зима.
Посмотри, как все тихо, бело, заснеженно.
Я обучаюсь спокойствию, мирно лежу —
Так свет лежит на стенах, руках, простынях.
Я никто, и безумие мне незнакомо.
Я сдала свое имя и платье сиделкам,
Биографию анестезисту и тело хирургам.

Моя голова сидит между двух подушек,
Как глаз между белых вечно раскрытых век.
Глупый зрачок вбирает в себя все подряд.
Сестры в белых наколках хлопочут, хлопочут,
Как чайки над морем, меня не тревожа,
Что-то вертят в руках, одна как другая,
Все одинаковы, так что нельзя сосчитать.

Мое тело для них — что камешек, и они
Нежно оглаживают его, словно волны.
В блестящих иглах они приносят мне сон.
Я потеряла себя, и меня тяготят —
Кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж,
Муж и ребенок, глядящие с фотографии;
Их улыбки цепляют меня, как крючки.

Вещи, набравшиеся за мои тридцать лет,
Упрямо приходят по моему адресу.
А от меня отслоили милые ассоциации.
Испуганная, на каталке с зеленым пластиком,
Я смотрела, как мой сервиз, одежда и книги
Исчезали из виду. Вода захлестнула меня.

Теперь я монахиня, чистая, как дитя.

Я не просила цветов, мне хочется одного —
Без мыслей лежать, запрокинув руки.
Так привольно, вам не понять, как привольно.
Покой мой так безграничен, что трудно вынести, —
Легкость, табличка с именем, безделушки,
К такому покою приходят покойники, навсегда
Принимая его губами, словно причастие.

От чрезмерного пыла тюльпанов рябит в глазах.
Я услыхала и сквозь оберточную бумагу
Их дыханье, настойчивое, как у младенца.
Их краснота громко тревожит мне рану.
Сами вот-вот уплывут, а меня они топят —
Я цепенею от их нежданных призывов и яркости.
Десять свинцовых грузил вокруг моей шеи.

За мной не бывало слежки. Теперь же тюльпаны
Не сводят глаз с меня и с окна за спиной,
Где ежедневно свет нарастает и тает.
И я, невесомая, словно бумажный призрак,
Никну меж взглядами солнца и красных цветов.
Я безлика, мне хочется провалиться сквозь землю.
Пылающие тюльпаны съедают мой кислород.

До их появленья дышалось достаточно просто —
Вдох и выдох, один за другим, без задержки,
И вдруг тюльпаны, как грохот, заполнили все.
Дыханье мое налетает на них, завихряясь,
Как воды реки на заржавленную машину.
Они привлекают внимание и отнимают силы,
Скопившиеся на счастливом безвольном

раздолье.

Стены, кажется, тоже приходят в волнение.
Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери,
Они раскрываются, словно львиные пасти;
И сердце в груди раскрывается и сжимается,
Тоже сосуд, полный красных цветов.
Вода в стакане на вкус соленая, теплая,
Она из морей, далеких, как выздоровление.

РОЙ
© Перевод А. Сергеев

Кто-то зачем-то стреляет в городе —
Бух! бух! на воскресной улице.
Кровь, может, льется из ревности,
Ревность рождает черные розы.
В кого там стреляют?

Слушай, Наполеон, это на тебя, обнажив
Ножи, идет Ватерлоо, Ватерлоо, примеряя
Горб Эльбы на твоей жирной спине.
Это снег, сверкая тысячей лезвий,
Говорит тебе: Тс!

Тс! Ты играешь шахматными
Фигурками из слоновой кости.
Это грязь вопиет, по которой
Шагают французские сапоги.
Русские бело-золотые купола плавятся

В горниле твоей алчности. Облака, облака.
Это пчелиный рой
Гнездится высоко на черной сосне.
Его надо сбить пулями. Бух! бух!
Он наивно верит, что выстрелы — гром.

Он думает, будто это глас Божий
Осуждает когти, клювы, и зубы,
И ухмылку желтой дворняги,
Несущей кость из слоновой кости,
Как все, все, все.

До пчел высоко — целых семьдесят футов!

Россия, Польша, Германия.
Холмы в дымке, красноватая равнина
Медной монетой тонет в реке,
Которую переходит армия.

Черный колючий летучий еж
Пчелиного роя мечтает об улье,
Об остановке, куда прибывают
Верные станциям поезда.
Мужчина с ружьем в серых руках.

Казалось, походу не будет конца.
Бух! бух! пчелы падают,
Расчлененные, на кусты.
Такова участь Великой Армии.
Наполеон, ты видишь красный лоскут?

Это последний символ победы.
Пленный рой в соломенной шляпе.
Эльба, Эльба, волдырь на море!
Белые статуи маршалов и генералов,
Словно воры, крадутся в ниши.

Как это все поучительно!
Немые сплоченные люди шагают
По французскому флагу в свою гробницу,
В дворец из слоновой кости,
В дупло на развилке сосны.

Мужчина с серыми руками улыбается
Деловитой улыбкой занятого человека.
Руки его — не руки —
Асбестовые клешни. Бух! бух!
«Они меня чуть не заели насмерть».

Жала у пчел как швейные иглы!

В непокорном черном сознании пчел,
Должно быть, есть понятие о чести.
Наполеон, как всегда, доволен.
О Европа! О тяжкая ноша меда!

ПАПОЧКА
© Перевод И. Копостинская

Ты, на беду, всем на беду,
Не объявишься больше, черный сапог.
Тридцать лет прожила я, в тебя обутая,
Жалкая, белая, будто нога,
Почти не дыша, не решаясь вздохнуть.

Папочка, мне предстояло тебя убить.
Но я не успела — ты умер.
Мраморно-тяжеловесный, обожествленный сундук.
Жуткая статуя — с пальцем огромным и хмурым,
Как печать Сан-Франциско,

А голова в своенравной Атлантике,
В волнах прекрасного Носета
С переливами нежно-зеленого в голубизну.
Я бога молила тебя воскресить в надежде на чудо.
Ach, du...[146]

По-немецки, в польском городе,
Стертом с лица земли
Железной пятою войны, войны, войны...
Городов с подобным названьем погибло немало.
Мой друг поляк говорит,

Что таких была дюжина, может быть, две.
И потому достоверно сказать не могу,
Где ты ступил, где души губил.
Заговорить же об этом с тобой было трудно.
Язык застревал в гортани.

Он застревал в плену из терновой проволоки. —
Ich, ich, ich, ich[147].
Слова… Я с трудом выдыхала их.
В каждом немце, казалось, тебя я найду.
Речь их казалась постыдно-бездушной.

Машиной, машиной — в аду
Аушвица, Дахау, Белсена…
Он оскорблял и меня, как евреев,
И я начала говорить, как еврейка.
Я ведь вполне могла оказаться еврейкой.

Снега Тироля, прозрачное венское пиво
Не столь уж чисты воистину.
И я с моими цыганскими предками, странным счастьем моим
И крапленой судьбой — картежной крапленой игрой.
Я в чем-то за еврейку сойду.

Страх перед тобой у меня на роду. —
Перед твоим военно-воздушным Luftwaffe[148], надутый индюк.
С аккуратно подбритыми усиками,
Яркой голубизной арийского взгляда, —
Человек-танк, человек-танк на полном ходу. О, ты…

Ты не бог — ты всего лишь свастика!
Небу не просочиться сквозь ее черноту…
Каждая женщина обожает фашиста
Вместе с его сапогом в лицо — ублюдка,
С сердцем ублюдка в одном ряду.

Ты стоишь у черной классной доски, папочка,
На фото, которое я берегу.
И на сапог — подбородок с глубокой ямочкой на виду…
К черту про это… Все ни к чему…
Нет, к чему… Про тебя, про черного человека. —

Ты разбил пополам мое сердце — сердечко злое.
Мне было десять, когда ты умер.
В двадцать я пыталась покончить с собой,
Чтобы вернуться, вернуться к тебе.
Думала, пусть хоть кости рядом покой найдут.

И все-таки выходили меня —
Подправили там и тут.
И я поняла, что теперь-то я выход найду. —
До манекена, модели тебя сведу —
Человека в черном со взглядом творца «Mein Kampf»[149].

С его пристрастием к дыбе, орудиям пыток.
Ты понял, к чему я веду?..
Итак, папочка, дело к утру.
Телефон, тоже черный, отключен на корню,
И голоса не проскользнут по шнуру.

Теперь я убила, если сумела, не одного — сразу двух:
Вампира, что назвался тобой,
Он пил мою кровь раньше и в этом году. —
Семь лет, если хочешь знать.
Папочка, теперь ты можешь к себе вернуться.

Раздутое черное сердце твое пригвоздили колом.

Ты был деревенским не по нутру.
Теперь они топчут твой прах и танцуют на нем.
Тебя давно раскусили в миру.
Папочка, папа, ты выродок, пусть я умру.

ЛИХОРАДКА ПРИ 103°
© Перевод И. Копостинская

Чиста? — Словом как выразить ощущенье?
Языки преисподней
Пресыщенно — тупы, тупы, как триязыкий

Тупой, ожиревший Цербер,
Что хрипит у ворот. Ему не хватает уменья
Вылизать дочиста

Дрожь сухожилий, грех, прегрешенья…
Плач сухостойного дерева,
Застоявшийся запах свечи,

Свечного нагара, тленья!
Мой любимый, любимый, волны дыма клубятся,
Обвивают мне шею, словно шарф Айседоры[150], мне страшно…

Край летящего шарфа зацепит, затянет круженье колес…
Дымно-желтые волны угара,
Загадочные, без конца и без края,

Обволакивают все пространство земного шара,
Душат слабых и престарелых,
Несмелых

И ее — дитя колыбельного сумрака оранжереи —
Зловещую орхидею,
Что развесила в воздухе сад,

Дьявольский леопард!
Радиация испепелила тебя добела,
А через час погубила,

Отравила объятья прелюбодеев
Пеплом, дождем Хиросимы — преступленьем.
Грех, прегрешенья.

Милый, всю ночь
Меня лихорадит. — Бросает то в жар, то в холод.
Простыни — невыносимы, как поцелуй прокаженного.

Три дня, три ночи —
Бульон и лимонный морс.
Волны, вешние волны чисты до отчаяния.

Я слишком чиста для тебя или кого-то еще.
Плоть твоя причиняет страданье.
Так, должно быть, наш мир причиняет страданье богу.

Я словно фонарь. Голова — светла, как луна
Из японской бумаги — моей позолоченной кожи,
До бесконечности тонкой и драгоценной до бесконечности.

Разве мой жар не потрясает тебя? А мой свет?
И вся я огромной камелией
То полыхаю, то меркну во тьме… Вспышки, затменья…

Мне кажется — я поднимаюсь…
Кругом раскаленные вспышки металла, литья. И я, милый, и я

Поднимаюсь в неведомый край,

Чиста, будто девственница, —
Ацетиленовая в окружении
Роз, поцелуев

И херувимов —
Словом, всего, для чего существует цветенье розовых красок,
Но без тебя, без него…

Без него… Да, без него…
(И, словно нижние юбки затасканной шлюхи, все личины слетают с меня) —
По мере движения в Рай.

РОБЕРТ ДАНКЕН
© Перевод А. Кистяковский

АТЛАНТИДА

Она затмевает свой серебрящийся след
тенью небытия.
Зыбкий мерцающий шрам на морской груди
рождает призраки мыслей. Стремясь к земле,
они бесконечно трепещут над темной рябью глубин.

События, впечатанные в янтарь времен,
обвенчали окаменевший тлен
с надеждой на извечную нетленность жизни.

Прошлое становится будущим,
пройдя через великие бедствия,
свершения, обращенные в прах, и рычанье потопов,
смывающих временные вехи.

НОЧЬ

Луна вплетает тающий блеск
в зверью побежку фар,
в раскаленный оскал огней.

Призрачные нити неона и немые прозрачные тени
сплетаются сети дельцов и магов торговли;
затаившись в безлюдье улиц, они до пришествия утра
собирают в свои ячеи ночную тоскливую темень,
дрожа, оплетают город,
ловят и гасят лучики звезд, ждут…
Акулье скуластое рыло
одиночества черной вселенной
сотрясает островки света,
лежащие вокруг фонарей, —
и на мгновение страх
оплетает сердца скитальцев,
бредущих вдоль похотных улиц
в надежде избавить Страсть от вериг неверия.

Маяки полицейских машин полыхают в душах людей
ореолом священного ужаса. Каждой эпохе
довлеет древнейший промысл. Город рычит:
он зверь. Но его рычание вскипает изначальной стихией —
в черных глубинах ночи таится Левиафан.

Тающее лунное зарево сливается с музыкой

душ, —
может быть, в этом слиянии зажжется хотя бы на миг
торжественная заря
древнейшей первородной гармонии?..

ПИЩА ДЛЯ ПЛАМЕНИ, ПИЩА ДЛЯ ПОМЫСЛОВ

Поленья —

— пылкая юность, опаленная вьюжной стужей, —
усните в моем стихе.
Запомнится ли ваше зеленое зарево,
ваше янтарное сердце?

Яркие язычки покоренных слов слизывают тьму бытия.

В облаках мы угадываем любые обличья — они
расплываются,
воздушные замки — они сгорают дотла
в огненном разливе зари;
в яростной радости вешних разливов провидим любые
облики или прочитываем на песке
руны пены.

Вот чего я хотел бы добиться в своем предсмертном

стихе —
разбить оковы условностей и вернуться к открытой форме.
Леонардо прослеживал строгие лики в пятнах грязи на
стенках, —
так пусть же получат свободу любые

земные призраки.

В тот день ты внесла в нашу комнату несколько новых
поленьев —
завтрашнее тепло; оно отвлекло меня… нет,
это был гул огня в очаге,
стрельчатое неистовство искр, озаривших сухие дрова.

Я опять возвращаюсь к огню:
там рдеют багряные замки, разливается багровое

зарево,
может быть, это струится животворная кровь земли? —

«Посмотри, там в огне саламандра».

— танцуют легкие феи, цветет золотистая тьма,
завораживает, колдует.

Это было очень давно.
Нет, их там вовсе не было,
тех, кого я увидел, —

может быть, я заглянул
в огненный горн мечты,
может быть, только в мечте жили феи и рушились
замки?

Так недавно кончилось детство, а мы так легко отказались
от того, чем мечтали стать, —

Каждое твое прикосновение рождает первозданную

жажду.

— нежданный, неизведанный жар
разгорается на грани сознания.

АВГУСТОВСКОЕ СОЛНЦЕ

Божество моего беззаботного сердца, ты властвуешь всем
на сверкающем этом пути.
Но и твой безжалостный жар, опаливший поля,
отступает бессильно
перед сенью ветвей, матерински простерших листву
над своими плодами.
Я пою о таинственных силах земли, дожидаясь
милосердия вечерней зари.

ПЕСНЯ ПОГРАНИЧНОГО СТРАЖНИКА

Поверяясь зверем в себе и вверяясь велениям войн,
человек, отринув сомненья, навек отречется от веры.
У границ рассудка окрепнет
ограненное звонким безумием воинство слов.

Пограничные стражники бросят свои посты,
прельстившись сияньем стиха —
вожделеющим зверем.

— Сновидения, — скажет дотоле неведомый страж, —
сновиденья, мечты никогда
не сулили миру беды.

— Утром, по первой страже, я настраиваю гитару;
я пою задремавшему зверю
и явленье поэмы, как верность,
поверяю веленьями войн.

Но отринувший веру знает:
зверь никогда не дремлет,
не ведает сновидений,
не спит и не видит снов, —
вожделеющий зверь поэзии
завораживает беспечную стражу,
и нежданно обнажены
границы мировой империи.

(Впрочем, воинство не нуждается в помощи.)

— Однажды, когда я спал, —
говорит неведомый страж, —
человек отринул одежды, словно отверг сомненья;
одинокий, жаждущий зверь,
он ждал явления песни, повинуясь явлениям войн.
И вот я пел ему песню, которую он жаждал услышать —
я, прославленный песенник, повсеместно известный поэт.

— Избранник, избранник, избранник, избранник, — я

пел, —
уверуй, уверуй, уверуй, уверуй, уверуй.
Воинство слов собралось по велению войн,
вечных и светлых, как осиянное небо;
в них, словно в сладостной песне, тоска по любимой —
и вожделение зверя.

— Уверуй, уверуй, уверуй, избранник, — я пел.

Я стражник, ведомый напевом гитары, я
единственный ведомый миру — отныне и вечно — страж
страстей, вожделений любви, обнаженных границ
империи. Я и гитара.

Я пою: уверуй, избранник, —
я, Поэт на Посту.

У обнаженных границ, ограненных сверканием утра,
по велению войн собираются орды слов.

ПУТЬ НАД БЕЗДНОЙ

Потерянные, мы вышли на лодках в открытое море, в ночь,
и капканом бескрайнего страха смыкается вода за кормой.
Лодки затеряны порознь, и теперь мы одни наконец
под безжизненным пологом неба в оспинах желтоватых звезд.

Подожди, любовь моя, не спеши грести, позабудь
нашу любовь, что как нож меж нами в ночи
чертит границу — ее же нельзя перейти
или избыть на зыбком пути к мечте, —
и взрезает ночное молчанье. Соленый дождь в наших ртах;
черная рана смыкается сзади нас.

Позабудь сожженные зори, пылкие обещания, смерть,
пустынность бесплодных садов и бесплодье пустынь, и наш путь
на запад, куда мы пришли с тобою, сгорев.

Ты уходишь, любовь моя, но любовь твоя помнится мне
отзвуком колокольного зова и солью слез на лице —
шрамами вчерашних потерь, — и теперь наконец
ты легко ускользаешь в сожженный, разрушенный мир.

Груды цемента и пепла. Тускнеет свет,
меркнет над прахом развалин, как дряхлый, бледный закат,
и я остаюсь один в безбрежной ночи.

ПЕРСЕФОНА[151]

Нас постигла великая травма —
неисцелима наша потеря.

Память:
далекая слякотная зима,
колесами и копытами раздавленная трава,
бурая, с проплешинами, земля...
Молва —
шепчутся женщины у древних колодцев,
плачутся листья, шепчутся старики,
ища плавник средь свалок на берегу,
чтоб разжечь огонь в остуженных очагах, —
об ее похищении.
Холодная кровь
становится в остуженных артериях льдом.

Шепотный плач и плачущий шепот
стелется надо льдом, над бездною вод,
кружится в багровых воронках от бомб,
стонет над стылыми руинами городов
и замирает — как эфир — в наших легких.

Под сенью дуба — прозрачные тени.
Тень за тенью в тенетах грусти.
Страсть этой грусти густо стекает
в тучный от зимнего насилия перегной...

Корчась в перегное, наши корни сосут

жизнь из насмерть раздавленных листьев,
из тлена плотно укорененных трупов.

Обрызганный семенем лысый Онан[152]
ковылял средь нас иль неистовых женщин,
канувших с яростным Бахусом в вечность,
а потом спокойствие, сумрак под сенью,
листья, осыпанные светом, иль флейта
возвестили нам краткую передышку, и мы
рвемся зеленью из темных ветвей
под светлую музыку флейты, в снах.

Тело мое трепетало под солнцем,
корни впивались во тьму, а руки
были осыпаны светом и тенью,
зеленью листьев тянулись к солнцу…

Но потерян покой и потеряна Персефона.
В наших сновидениях зарождается тишина
последних, мертво упокоенных снов.

Мы знаем зимнее насилие в знаменьях —
осколки скал, потрясение травмы, —
лишь в них мы помним ее похищенье;
под сенью — тени; за тенью — тень;
белоокостенелые щепочки плавника;
влажные от ужаса листья; бессонница,
полная ожидания.
Едва исцелившись,
мы уже дожидаемся нового нападения.

ДЖЕЙМС РАЙТ
© Перевод П. Грушко

ПОТЕРЯВ СЫНОВЕЙ, Я СПОТЫКАЮСЬ НА ОБЛОМКАХ ЛУНЫ, РОЖДЕСТВО, 1960

С наступлением темноты
На границе с Южной Дакотой луна
Выходит на охоту,
Поливает пламенем дали,
Режет алмазом лощины.

За деревом
Она опускается на развалины
Белого города —
Мороз...

Те, что здесь жили,
Куда скрылись?
Спрятались под сводами убежищ?
Под своей обугленной кожей?

С меня хватит.
А вот — продолжаю
Жить, один, совсем одни.
Прохожу мимо разрушенных силосных
башен,
Заросших могил индейцев чиппева
и
норвежцев.

В эту холодную зиму
Луна обжигает мои ладони
Безжалостным пламенем
Драгоценных камней.

Мертвые драгоценности в мертвых руках.
Луна тускнеет, а я затерян
В прекрасных заиндевелых руинах
Америки.

ШАХТЕРЫ

Полицейские тащат тела
Шахтеров по черной воде
Предместья.

Ниже немногие уцелевшие
Ползут впотьмах, пока их не задушат
Руки воды.

Где-то
Под рябью и дремлющими сурками
Сильный парень
Стучит в двери могилы, молит:
Скорее бы!

Женщины облепили
Лестницы,
Ведущие к штреку, чернеют
На ветхих балках, подпирающих
Ржавые цистерны.

В полночь
Я слышу, как по стальным рельсам
Катятся вагонетки,
Сталкиваются под землей.

БЛАЖЕНСТВО

Чуть в стороне от шоссе на Ро́честер, штат Миннесота,
Сумерки мягко опускаются на траву,
И темные глаза двух индейских лошадок
Наливаются добротой.
Они вышли из ивняка, рады-радехоньки,
Приветствуют моего друга и меня.

Мы перебираемся через проволочную ограду пастбища,
Где они весь день щипали траву, одни.
Упруго рыхлят землю копытом, ликуют,
Ведь мы пришли к ним.
Сдержанно выгибают шеи, словно мокрые лебеди.
Они любят друг друга.
Нет одиночества, равного их одиночеству.
Дома они щиплют в темноте молодые побеги.
Мне хотелось бы обнять ту, которая постройней,
Она подошла и обнюхала мою руку.
Она черная и белая,
Ее челка упрямо спадает на лоб.
Ветерок зовет погладить ее длинное ухо,
Нежное на ощупь, как запястье девушки.
И я знаю —
Покинь я свое тело,
Душа бы моя расцвела.

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

МЕРРИТ-АЛЛЕЯ
© Перевод А. Сергеев

Словно
вечно они гонятся, те, которых
мы гоним —
Под тусклым небом, где,
когда зажглись огни, звезда
пронзила туман, теперь
равномерное
непрерывное
в шесть наших рядов
движение, как во сне...

А люди — мы сами!
разумные, из нутра
машин появляемся
лишь у заправочных станций,
неуверенно
рассматривая друг друга,
торопливо пьем кофе
у автоматов и спешим
назад к машинам,
исчезаем
в них навсегда
ради движения —

Тут и там дома́ за пределами
замкнутого пути, деревья, деревья, кусты
мимо них, мимо нас
автомобили
перед нами
обгоняют, подгоняют сзади
и

слева летят навстречу
слишком блестящие
неумолимо скользят
в шесть рядов
на юг и на север, мчатся,
невнятно бурча...

ЧАС НОЧИ: МЕКСИКА
© Перевод А. Сергеев

Кухонный дворик в снегу
лунного света. Снежная
тишина, отдых,
снежная неподвижность.
Козлы для пилки дров,
корыто для стирки белья —
снежной голубизны. Веревка
прогнулась под грузом снега!
Луна заставила смолкнуть
сверчков, лягушки
затаили дыханье.
Летняя ночь, летняя ночь стоит
на одной ноге, как цапля
на снежном болоте, глядя
на заснеженную луну.

НЕОТВЯЗНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
© Перевод Д. Веденяпин

Нам придется вернуться туда,
в черный город, засыпанный пеплом,
где, как спички, сгорели года, —

как преступников тянет туда,
где они совершали злодейства.
Но иные мы знали года:

и пылал в синем воздухе прах,
над простором, нам ставшим приютом,
в вышине исчезающий прах.

Там из вихря рождались цветы —
воплощенья мучительной страсти,
жаркий шепот, объятья, цветы.

Но уже не вернуться туда,
где мы жили так страстно и вольно,
где сгорал в жарком золоте солнца
черный пепел оставленных улиц.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ
© Перевод Д. Веденяпин

Когда гаснут витрины, сиреневый вечер
полнит воздух искрящимся светом,
в ирисовой дымке мерцают
слюдяные зерна, соль асфальта.
Когда все торопятся с работы, на снегу
бесчисленные следы сплетаются в причудливые

узоры;
вдоль домов воздушными шарами проплывают
людские головы;
прохожие напоминают привидения.
Когда меркнет небо и вспыхивают огни,
по заснеженной улице красивой походкой
идут две женщины.
«Знаешь, что я люблю больше всего на свете? —
говорит одна из них. — Жить! И пусть когда-нибудь
я стану старой, больной…
Буду еле волочить ноги,
я все равно…» Ее голос стихает.
В суматохе асфальтовой реки
под шелест колес и гул моторов
кружатся сотни машин.
Темные полоски неба
исчезают за поворотами улиц;

небо, небо, мелькание жизни. Время замерло в черном пространстве на окраине февраля.

ПРОЩАЯСЬ НАВСЕГДА
© Перевод Д. Веденяпин

Он сказал, погляди, точно камни,
за кормой нашей катятся ва́лы.
А я видела — белые скалы,
наклонившись над самой водою,
провожали нас долгим поклоном
и в рассветной дали исчезали.

СЕДОЙ ТУМАН
© Перевод Д. Веденяпин

В таинственных провалах и ущельях
в долинах между скал
седой туман
подернутый
лиловыми тенями
мираж озер

и в безднах и глубинах
наших душ
молчание
меж
ночью и зарею
обман и вещество.

Но тот обман
к нам приходящий вновь и вновь
с рассветными лучами,
молчание
парящее
в душе

не то же ль
вещество?
седой
подернутый
лиловыми тенями туман мираж
непризрачных озер.

РОМАН
© Перевод В. Тихомиров

Ветер, ветер. Книга в работе
преобразуется, обрывается на полуслове, и страницы,
белые и пожелтевшие,
рассыпаются, собираются снова
в другом порядке. Только один обрывок
ускользнул в щель под дверью,
и двое, втиснутых
в недописанные жизни, мужчина с женщиной,
корчатся от боли, и мяучит
их кот свои котовьи тайны,
кружась в чудовищном кольце подчистки.
Они живут (когда живут), страшась

пожара, слепоты, удушья
под грибовидной тучей в год таракана,
они хотят (как мы), чтобы вечно
было сегодня, хотят, чтобы страх
был вычеркнут жирным черным
фломастером-чудодеем на всех страницах,

чтобы ворохи страха
были смяты и сожжены —
        он станет добрым удобрением,
        когда из печки выгребут пепел,
        и горшки с цветами поставят
        повыше на весеннем солнце.

Между тем, страница за страницей,
двое покупают вещи, притворяются, будто
живут полной жизнью, ссорятся, не

разговаривают,
мечтают о путешествии, обживаются в доме, вселяя
отчаяние друг в друга,
а потом, в самое время,

спасают друг друга слезами,
раскаянием и лаской —
чудодейственные лекарства!
И все же у них бывают
(разве у нас не так же?)
счастливые дни, когда

они замирают, распластавшись, и сновиденье
обрывается на измятой гримасе,
преобразившись.
И разорванное срастается.
И словесная жизнь уходит
вспять — в жизнь, вспять — в бога.

ДЫХАНЬЕ
© Перевод А. Сергеев

Терпенье
без края.
Деревья стоят
по колени в тумане.
Туман всползает
на холм.
Белая
паутина, трава,
помятая там,
где олень искал
яблоки.
В лесу
от ручья до вершины
холма над туманом
не слышно ни птицы.
Так без края,
что это счастье —
дыханье такое тихое,
что не слышно.

ПОПЕЧЕНЬЕ О ДУШАХ
© Перевод А. Сергеев

Пастырь
горя и грез

старательно
гонит стадо

к иному полю.
Он уже слышал,

что колокол бил,
но овцы голодны,

им нужна
трава сегодня

и каждый день.
Прекрасны его

терпенье, его
длинная тень,

шелестящий плеск,
с которым стадо

бредет в долине.

ПОДСЛУШАНО
© Перевод А. Сергеев

Глубокий голос
дерева на ветру,
сегодня западный ветер.
Что это, горный клен
возле самого дома?
Или, может быть, это балка
и заговорил наш дом?
Это был стон,
                но не горя —
вернее, невольно вырвался
звук почти нестерпимой
радости из огромной
ветви или там балки,
которая ни на миг
даже не подозревает,
что заговорила.

ВЕТХИЙ АДАМ
© Перевод А. Сергеев

Фото чужого детства: сад
в другой стране, мир, которого
он не знал и не мог бы представить.

И все же старик, изменивший памяти,
уткнулся в картинку: — Чýдные были
денечки —
ушли — ушли навсегда! — Он рад,

что может на миг проявить
недорастраченное беспокойство,
поплыть по сладким волнам утраты.

Он спрашивает,
какой день недели, который час,
задает бессмысленные вопросы.

Он теряет дорогу на улицах,
на которых ищет
поворотный момент, утраченный путь, —

он к нему не стремился, он жил
не живя и от этого медленно
умирает.

Сын его говорит:
— Человек, который всю жизнь
не сделал верного шага в жизни. —

Человек, который считал,
что доллар сладок, и из экономии

пользовался сабвеем — но так и

не вкусил вожделенной сладости.
Он смутно любил сыновей,
не любопытствуя, кто они,

эти люди, его сыновья, —
он любил их подобьем любви,
ибо любовь жаждет знать любимого

и самый свет погружается с нею
в темные подземелья чувств…
Человек, который без разуменья

тонет в мельчайших подробностях,
вновь и вновь вопрошает оплаченный счет:
— Когда я был здесь в последний раз? —

спрашивает, о чем спрашивать поздно:
— Где моя жизнь? Где моя жизнь?
Что я сделал с моей жизнью?

ДЖЕЙМС ДИККИ

РАЙ ЗВЕРЕЙ
© Перевод Е. Евтушенко

Это рай зверей. Глаза их кротки.
Если звери жить в лесу привыкли,
здесь им — лес.
Если жили в прериях — трава
стелется под ними, как когда-то.

Не имея душ, попали звери
в рай, совсем того не сознавая...
Их инстинкты все-таки здесь живы
и куда-то снова вдаль зовут,
несмотря на кротость глаз звериных.

Им под стать природа расцветает.
Ублажая их, из кожи лезет
вся природа, им воссоздавая
все, к чему привыкли в жизни звери:
лес густой,
зеленые поляны.

Кое для кого из них и рай
быть не может местом, где нет крови.
Кто-то и в раю все тот же хищник,
гордо повышая совершенство
собственных когтей или зубов.
Когти, зубы — стали смертоносней.
Могут здесь подкрадываться звери
незаметней, чем живыми крались.

Их прыжки теперь на спины жертв
занимают не мгновенья — годы,
потому что их прельщает сладость

долгого скользящего полета
на лоснящиеся спины жертв.
Те же, кто здесь жертвы, знают все.
Но у них есть собственная радость
все-таки бродить в раю зверей,

точно под такими же ветвями,
под какими их убийцы бродят,
и без боли завершать свой путь,
страха не испытывая вовсе.

В центре мироздания они,
внюхиваясь в сладкий запах смерти,
ей навстречу радостно бредут.
Прыгают на них. Их рвут на части.
А они встают и вновь идут.

ПИСЬМО
© Перевод Е. Евтушенко

Всматриваясь в ночь из мглы беззвездной
города слепого, жадно глядя
на туманный контур маяка,

бесконечно долго ожидая
тяжкими глазами, чтоб над пирсом
родилась та вспышка, что похожа

на безбольный, но смертельный взрыв,
с неба снизошедший, словно кара,
и опустошающий весь берег;

взрыв, похожий пусть на бесполезный —
все-таки величественный взмах
света абсолютного, — увидишь

стайки разноцветные рыбешек
там, внизу, под каменным окном,
на котором зыблются неверно

голубые отсветы огня.
Высвечено будет до детали
что-то инкрустацией ажурной

на песчаном взвихрившемся фоне
светом взбаламученного дна.
Ты увидишь самой главной искрой

зренья, интуиции и страсти —
вспышка побежит от глаза к глазу.
Следующий сноп такого света

ничего подобного не даст.
Но слова внезапно замерцают
в глубине пустой немого мрака,

искрой побегут они живою
к образу от образа, светясь.
Словно на слюде сверканье солнца,

ты увидишь письма к той, любимой,
после — письма к мертвому отцу,
письма к неродившемуся сыну,

к женщине, женой другого ставшей,
после — письма к самому себе:
Письма всем на свете не рожденным,

письма мертвым, кто потом воскрес.
Письма всем, кто был рожден, кто молод.
Письма всем, кто так устали ждать
этих писем… Под громадой черной
времени, скрывающего то, что
все-таки должно блеснуть когда-то

теплым неслучайным огоньком,
между преходящим и бессмертным,
между темнотою и надеждой

ну хотя бы на случайность вспышки;
спать не может ночью наша память,
во вселенной искорку ловя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АМЕРИКУ
© Перевод Е. Евтушенко

Мы спустились в первую ночь возвращенья, хватаясь за скользкие поручни, в подземный этаж. Целых сорок других этажей нас давили. Мы еле пробились в бар и принялись бешено пить со всеми, даже с теми, кто пил, перелистывая в этот бар принесенную ими отдельную Библию, будто бы были они очарованы вправду

замусоленной

пальцами притчей о блудном сыне. Ассирийские армии и клинки колесниц, словно окна Америки, яро сверкая, так и били в глаза, как триумф торжествующих врагов. Холодильника дверь то и дело, стуча, открывалась с «миллионом долларов в кубиках льда».

Звон от мертвой воды раздавался в бокалах, пока мы, толкаясь, сражались с коммивояжерами за прозрачные глыбки, которые нам помогали вполне ощутить завершенность напитков в высоких бокалах.

Перед сном я, шатаясь, поплелся под душ. Мы засунули все полотенца из ванной в наши пыльные чемоданы, пытаясь бороться с нашим оплаченным счастьем даже этим оружием. А после мы спали. Проснулся я рано, ощутив, что страдаю, хотя и не знал — почему. Ни дыханье мое, ни дыханье комнат воздух не колебало.

Я потом холодным покрылся в сплошной неживой духоте. Голова одурела от сна при такой вакханалии тысяч огней, проникавших сквозь шторы и бивших в глаза.

Я поднялся, неся в себе тяжесть похмелья, я нашел в темноте остроносые туфли из Рима и двинулся вдаль коридором, повинуясь тем стрелкам, на коих стояло «Бассейн». Я проскакивал в лифте с щитком красноглазым Вавилон этажей, полных шлюх и коммивояжеров.

И я вышел на крышу. В бассейне вода мелкой дрожью дрожала, потому что внизу, в номерах, до сих пор занимались любовью. Все же воздух здесь был. Из спасательной службы создание хрупкое с ноготками своими возилось. Заря осветила ее странноватую правую ногу, пересыпанную золотистыми блестками шрамов. Прищурился я, наблюдая сквозь арку изгиба ноги бесноватый задымленный город и рассветное солнце над ним. Не спеша рассказала та девушка мне, что, столкнувшись друг с другом, такси — сразу пять — ее сбили два года назад в Бенсонхерсте и она потеряла коленную чашечку — к счастью, не жизнь.

Солнце грозно встряхнуло отель, будто шейкер, и девушка прыгнула в хрупко-зеленую воду, а мне все казалось, что я отсыпаюсь еще десятью этажами бассейна и девушки ниже. Ну и девушка перевернулась легко в своем водном балете и такой же упрямой, прекрасной и цельной была, словно солнце, трясущее этот отель. Искалечена всеми смертельными скоростями моей родины, девушка все же плыла, и готов я обнять был ее в этой нежной зеленой воде, чуть дрожащей от страсти коммивояжеров. С этой девушкой оба мы были бессмертны на высоте сорока этажей, и я мог бы с ней вместе взлететь из бассейна, всей кожею чувствуя воздух, словно воду, пульсирующую от

любви. Мы летели бы с ней над разорванным в клочья пространством, и над клочьями ранней зари, и над булькающими голубями, над домами, стреляющими друг в друга холостыми зарядами вспышек рекламных.
Мы летели бы с ней над пакгаузами, над заливом и над тем кораблем, что привез меня в эту страну, а теперь отдыхает, белея внизу на приколе.
О, вздымай нас, вода зеленая города, когда мы поднимаем вверх дном эту гавань, изменяя лениво весь план сумасшедшего города, будто все эти улицы — пух или просто на землю осевшая царственно сажа…
Мы, летели бы с ней — я держал бы ее, как держу свою голову, задыхаясь от света, глаза защищая от чуткого солнца пьянчуг, пробужденных внезапно.
Мы летели бы с ней, и я был бы так счастлив тогда убаюкать ее над автобусами и кораблями в зыбком воздухе, странно похожем на водный балет.
Мы летели бы с ней в невозможно прекрасном объятии невозможности!
Женщина, существованье, идея, плясунья из храма — та упрямая девушка из Бенсонхерста с коленом, которое сделано заново прямо из солнца, мне вернувшая вновь удивленье тому, что могу удивляться!
О худенький символ, который могу я обнять, наконец-то прижать и с которым могу я взлететь.
О нечто на Родине, то, что нам не дает быть чужими друг другу, когда мы друг с другом, и даже тогда, когда мы друг от друга совсем

далеко, но хотим возвратиться.

ВОДИТЕЛЬ
© Перевод А. Кистяковский

Конец войне. Я вышел на свет
Из темной палатки моей и побрел
Туда, где остров меж белых камней
Сливается с морем. Сверкающий свет
Слепил мой ум, как наставший мир,
В котором я брел к зеленой воде,
А потом запел и поплыл.

Обломки на дне. Здесь дрался десант,
Погибший в бою за остров. Я плыл
На пенно-прозрачном гребне волны,
Как семечко ясеня на ветру, и вниз,
К дну устремленная тень моих ног
Неожиданно указала мне место, где я
Чуть не укоренился телом навек,
Чтобы расцвести душой в небесах.

Рыжий, изъеденный ржавчиной вездеход
Виделся мне, как сквозь полог слез
Радости или тоски, но он
Был погружен в нерушимый покой
За гранью хрупких человеческих чувств.
Нырнув, я подплыл к нему и скользнул
Туда, где умер водитель у рычагов.

Затаив дыханье, я немо сидел,
Медленно привыкая в призрачной глубине
К слепяще яркому виденью мертвецов,
Глядящих дырами выжженных глаз
На свой застывший в безмолвии мир,
А поверху трепетала зыбкая пелена,

Еле различимо разделявшая жизнь

И смерть. Живой, но неслышимый самолет,
Летя, не смог мне сюда прорычать,
Почему я остался жив и сижу,
Судорожно вцепившись в ржавые рычаги
Застывшего навсегда вездехода, — ведь он
Разбит о белый коралловый риф
Волной последней атаки войны.

— Я просто дух, — попытался я
Сказать, но, услышав лишь бульканье пузырей,
Прозрел извечную правду: чтоб стать
Духом, надобно утратить навек
Земную речь, осмысленный взгляд
И воздух в гулких, как живые колокола,
Легких, надобно улететь наконец

(Хотя, возможно, ты уже опоздал)
Туда, где кто-то другой до тебя
Так и не смог свободно вздохнуть —
Улететь в неведомое, испокон веков
Доступное взгляду и слепящее разум,
Солнечно распростертое ад сумрачным океаном
Вечно неизменное небо.

ОГНИСТОЕ ПРАЗДНЕСТВО
© Перевод А. Кистяковский

Множилось круженье колес. Факир,
Дыша огнем вдоль аллеи, сжигал
Платье женщины, обещавшей стриптиз
Медленным подобием танца. С земли
По звонким рельсам на ходулях опор
Струился к небу вагончатый змей
В чешуе цветных фонарей, а внизу

Юркие машинки, угловато кружа,
Искрили прутьями электрических штанг
Серую контактную сетку над головой
Тех, кто пытался прямить их бег.
Я плыл сквозь круговерть рук и лиц,
Мимо столов, яривших азарт
Яркими кругами рулеток, и вдруг

Увидел родителей впереди… Отец
Опирался на старую тростниковую трость,
А мама куталась в меховой жакет,
Ветхий, выцветший… Да ведь я-то знал,
Твердо верил, что родители спят
За многие мили отсюда, в глуши,
Уютно праведным и спокойным сном

Старости, я и предположить-то не мог.
Что встречу их здесь, — особенно здесь! —
И буду с немым изумленьем смотреть
На их круженье меж этих колес, —
Отец, неспешно шагая вперед,
Бережно поддерживал маму, а у нее
Виднелся плюшевый медвежонок в руке —

Самый расхожий аттракционный приз…
Вот они засмеялись; а вот подошли
К огромному ажурному колесу; и вот
Их уже вознесло в кабинке под небеса,
Они качаются надо мной, и отец
Обводит старой, изгрызенной псом
Тростью цветастое мельтешенье толпы

На широкой центральной аллее… Потом
Кабинка, кружась, поехала вниз —
Ночь запрокинулась, раздробилась в огнях, —
Они приблизились ко мне и опять,
Сверкнув улыбками, уплыли ввысь,
Движенье ускорилось… Я упорно следил
За их круговым вознесеньем, пока

Мне не заволокло слезами глаза
От блеска слившихся в круг огоньков,
И тут, зажмурившись, я впервые обрел
Пониманье всесильно взрывного огня —
Дара вечного единенья людей,
В краткой вспышке двух жарких искр
Зажегших третью, мою, хотя

Никто в то время вовсе не помышлял
О будущей жизни моей… Но я
Сумел увидеть в огненном колесе,
Как возносилась, веселясь, над землей
Старость, сумел увериться навсегда
В том, что я любящий, смертный, живой,
Верный, преданный родителям сын.

КОММЕНТАРИИ

Анна Дадли Брэдстрит (1612–1682) попала в Америку восемнадцатилетней женой новоназначенного губернатора Массачусетса С. Брэдстрита. Большие религиозные поэмы, составившие основу сборника «Десятая Муза, только что явившаяся в Америке» (1650), давно забыты, однако сохранили интерес и поэтическое обаяние медитации, любовные стихи, зарисовки быта и нравов, объединенные в книге «Несколько стихотворений», которая была отпечатана в Бостоне в 1678 году. Здесь же был помещен цикл «Созерцания», состоявший из 33 взаимосвязанных стихотворений, написанных так называемой «королевской строфой» и насыщенных мыслями о величии природы, бренности земного бытия и суетности людских помыслов. Многие стихи Брэдстрит были опубликованы лишь в изданиях XIX–XX веков по рукописи, сохранившейся в семейном архиве.

Сведения о ранних годах жизни **Эдварда Тэйлора** (ок.1644–1729) скудны и разноречивы. Известно лишь, что он родился в Лестершире и, видимо, учился в Кембридже, но завершил образование уже за океаном, в Гарварде. Получив приход в Уэстфилде (Массачусетс), он с 1671 года до самой своей смерти жил в этом городке на дальней окраине тогдашней цивилизованной Америки. Первое издание его стихов, хранившихся с 1883 года в библиотеке Йельского университета, появилось лишь в 1939 году. Глубина и напряженность духовных конфликтов, выраженных поэтом, делают творчество Тэйлора крупнейшим художественным явлением литературы колониальной эпохи.

Тимоти Дуайт (1752–1817) вместе с Дж. Трамбуллом и Дж. Барлоу принадлежал к литературной группе, названной «Хартфордскими остроумцами» (по имени городка Хартфорд в Коннектикуте, где все трое жили в 80-е годы). С юности он мечтал создать «первую эпическую поэму Америки», выбрав образцами «Потерянный Рай» Мильтона и «Приключения Телемака», эпическую поэму французского писателя Фенелона (XVII в.). Участник Войны за независимость, Дуайт для прославления юной американской Свободы использовал в своих поэмах библейские сюжеты. Наивный энтузиазм, безмерная вера в исключительную будущность Америки, сказавшиеся в поэзии Дуайта, передают настроения американцев его эпохи, чьи пылкие надежды вскоре были опровергнуты реальностью развивающегося буржуазного общества. Сам Дуайт к старости отличался весьма консервативными взглядами.

Окончивший Йельский колледж в 1770 году **Джон Трамбулл** (1750–1831) еще на студенческой скамье сочинял стихи, высмеивающие рутинную систему преподавания и религиозную ортодоксию, чьей цитаделью была его alma mater. В посвященной этой же теме стихотворной сатире «Развитие тупости» (1772–1773) Трамбулл блеснул юмором и свободомыслием. События 1776 года и Война за независимость обогатили поэзию Трамбулла политическими мотивами, хотя его позиция осталась достаточно умеренной. В «Макфингале» (1782), отчасти представляющем собой и пародию на «Песни Оссиана» шотландского поэта XVIII века Макферсона, Трамбулл создал живые сатирические картины Америки революционной поры. После появления этой поэмы, в течение полувека остававшейся в США самым популярным произведением

отечественной поэзии, Трамбулл отошел от литературной деятельности.

Джоэл Барлоу (1754–1812) в годы Войны за независимость был, как и его однокашник по Йелю Дуайт, полковым священником. В 1787 году напечатал свое главное произведение — поэму «Видение Колумба». Основанная на фактах биографии великого мореплавателя, она в то же время насыщена отголосками событий и идей 1776 года. Через двадцать лет поэма была переделана и появилась под заглавием «Колумбиада». В этом варианте ясно проявились деистские философские концепции Барлоу, испытавшего сильное воздействие крупнейшего идеолога американской революции Пенна, а также французских просветителей Гольбаха и Кондорсе. С 1788 года Барлоу жил в Европе, представляя интересы заокеанской фирмы, торговавшей земельными участками. Он горячо приветствовал революцию 1789 года во Франции, разделяя идеи якобинцев, и за заслуги перед республикой был удостоен звания ее почетного гражданина. К этому времени относятся лучшие стихи поэта. Назначенный в 1811 году американским послом в Париже, Барлоу по делам службы приезжал на прием к Наполеону, с остатками армии отступавшего после русского похода, и умер в Польше.

Филис Уитли (1753–1784) выросла в Сенегале, ребенком была продана в семью бостонского портного и милостью хозяев получила образование, что было большой редкостью для темнокожих невольников. Оценив поэтическое дарование Уитли, хозяева отпустили ее на волю и даже купили билет на корабль в Англию. В 1773 году в Лондоне вышел ее сборник «Стихотворений религиозного и морального

содержания». Уитли всей душой сочувствовала освободительной борьбе американских колоний, посвятив восторженные строки Вашингтону. Негритянская тематика мало отразилась в творчестве этого первого негритянского поэта, но судьба Уитли во многом предвещает судьбы других литераторов черной Америки: она умерла совсем молодой, успев узнать нищету и довольствуясь местом служанки во второразрядной гостинице.

Филип Френо (1752–1832) деятельно участвовал в революции 1776 года и как один из самых радикальных памфлетистов, и как рядовой армии повстанцев, и как капитан торгового судна, доставлявшего им оружие из Вест-Индии. Захваченный в плен, он описал перенесенные им страдания в стихотворении «Британская плавучая тюрьма» (1781), полном яростных обличений английской тирании. Событиям Войны за независимость посвящено несколько поэтических эпитафий Френо, принадлежащих к числу лучших его стихотворений. Еще в 1772 году вместе с будущим романистом Хью Генри Брекенриджем Френо написал поэму «Растущая слава Америки», которая красноречиво свидетельствует и о вольнолюбивых настроениях, и об исторических иллюзиях двух начинавших литераторов. Иллюзии Френо стали развеиваться уже в первые послевоенные десятилетия. Посвятив себя по преимуществу журналистике, Френо непоколебимо защищал чистоту демократических идеалов и не прилаживался к переменившейся общественной атмосфере. Это привело его к глубокому конфликту с эпохой, и в результате интриг своих противников Френо пришлось оставить поприще активной журнальной деятельности. Как поэт он пережил новый взлет в 90-е годы под влиянием революции во Франции. Однако наибольшую ценность в

его наследии сохранили стихотворения лирического и пейзажного характера, а также «Власть фантазии» (1770) и «Дом ночи» (1775), отчасти предвосхищающие поэтические мотивы романтиков.

Уильям Каллен Брайант (1794–1878) вырос в небольшом городе Каммингтон (Массачусетс) в семье врача, уже с четырех лет заставлявшего его читать Библию, а затем и античных авторов. Однако подлинной духовной школой оказались для него стихи английских романтиков, в особенности Байрона. В 1811 году он написал стихотворение «Танатопсис» (в переводе с греческого — «Картина смерти»), публикация которого шесть лет спустя положила начало романтизму в поэзии США. Брайант издавал с 1829 года газету «Ивнинг пост», стоявшую за отмену рабовладения, поддерживавшую Линкольна и сочувственно освещавшую европейские революции 1830 и 1848 годов. Впрочем, в поэзии Брайанта политические страсти его эпохи почти не отразились. Он был поэтом природы, причудливо сочетавшим в себе талант тонкого лирика, убежденность приверженца разного рода позитивистских доктрин прогресса и в то же время настроений, подчас отдающих мистицизмом. Лучшие стихотворения Брайанта относятся к ранней поре его творчества (сборник «Фонтан», 1842, и др.).

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882), лидер трансцендентализма, автор многочисленных философских эссе и сборника биографий «Представители человечества» (1852), не считал стихи своим главным призванием. Дом в Конкорде (Массачусетс), где он жил с 1834 года, сделался своего рода Меккой для тогдашних молодых интеллектуалов. Их пленяло своеобразие идей выдающегося мыслителя, демократичность философии и этики Эмерсона —

страстного противника рабовладения и не менее горячего приверженца культурной независимости Америки. В стихотворениях Эмерсона отразились его взгляды на природу как символ духовной жизни, этическое кредо «доверия к себе» и другие важнейшие положения трансцендентализма. Вместе с тем Эмерсон-поэт отзывался и на актуальные политические события эпохи, неизменно проявляя стойкость прогрессивных убеждений. Лучшие его стихи остаются одной из вершин американской философской поэзии.

Генри Дэвид Торо (1817–1862), ученик и последователь Эмерсона, в своем радикальном демократизме заметно превзошедший учителя, вошел в историю литературы книгой лирическо-философской прозы «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), а также страстной антирабовладельческой публицистикой. Поэзия была увлечением его юности, впоследствии он возвращался к стихам лишь от случая к случаю, воздерживаясь от публикаций. В качестве приложения к посмертно вышедшей дневниковой книге «Неделя на Конкорде и Мерримаке» (1868) были напечатаны почти все его лучшие стихотворения, поразившие читателей свежестью восприятия природы, необычностью ассоциаций и философской емкостью мысли. Торо заметно отступал от традиционной поэтики, смело прозаизируя стих и в этом отношении как бы предвосхищая искания поэзии XX века. Поиски гармонии между идеальным и действительным, остававшиеся его главной темой, будут продолжены такими наследниками Торо-поэта, как Эмили Дикинсон и Роберт Фрост.

Джонс Вери (1813–1880) — еще один участник кружка Эмерсона, за свои взгляды изгнанный из Гарвардского университета и даже объявленный

помешанным, с помощью своего наставника опубликовал в 1839 году сборник трансценденталистских по духу эссе и стихов — по большей части сонетов. Философские штудии Вери завершились тем, что он впал в мистицизм, порвав все связи с Конкордом и прожив долгую и бесцветную жизнь в Салеме — городе, в колониальные времена прославившемся «охотой за ведьмами». Позднее творчество Вери носит подражательный характер. Однако лучшие его сонеты и по сей день остаются примером высокого мастерства.

Эдгар Аллан По (1809–1849) рос в Виргинии пасынком очень богатого южного джентльмена Джона Аллана, в чьем доме будущий поэт рано узнал кичливость и претенциозность, отличавшие плантаторов-рабовладельцев, как и чувство своей отверженности от этой среды с ее глубоко въевшимися кастовыми понятиями и предрассудками. Обстоятельства не позволили По безраздельно отдаться художественному творчеству, о чем он не переставал мечтать. Его силы были растрачены в битве один на один с американскими филистерами, травившими По на протяжении десятилетий и пытавшимися оболгать поэта даже после его ранней кончины. Тем не менее По успел сделать много — и как новеллист, и как поэт, опубликовавший четыре книги стихов, и как теоретик поэзии. Стихотворения По не имели успеха у современников. Их «открыл» через полтора десятилетия после смерти автора Шарль Бодлер. Наследие По оказало очень существенное влияние на европейский и русский символизм. В Америке оно по-настоящему было оценено лишь в XX столетии.

Герман Мелвилл (1819–1891), творец «Моби Дика», крупнейший прозаик американского романтизма,

обратился к поэзии лишь в последний период своего творчества — после Гражданской войны. Мелвиллу принадлежат сборники «Картины войны» (1866), «Джон Марр и другие моряки» (1873), а также две эпические поэмы: «Кларель» и «Тимолеон». Ни одна из этих книг не привлекла к себе внимания: Мелвилл в ту пору был забыт даже как прозаик, а его поэзия выглядела архаичной и по тематике, и по стиху и ритмике, несущих на себе следы восторженного чтения Шекспира. Только в 30-е годы нашего века появились переиздания стихотворений Мелвилла, отличающихся привычной читателям «Моби Дика» глубиной этических коллизий и сложностью метафор, а также достоверностью изображения корабельных будней в морских балладах, составивших костяк сборника «Джон Марр», и сцен осады Ричмонда в «Картинах войны». Последний сборник по своему значению в поэзии периода Гражданской войны не уступает «Барабанному бою» Уитмена.

Генри Уодсворт Лонгфелло (1807–1882) и в Америке, и далеко за ее пределами был известен гораздо больше, чем любой его литературный современник. Уже при жизни его объявили национальным американским художником, о нем с похвалой отзывались виднейшие поэты Европы, а для всевозможных почетных дипломов не хватало места на стенах гарвардского кабинета, где мирно текла жизнь почтенного профессора и знаменитого литератора. В частности, Лонгфелло был избран и иностранным членом Петербургской академии наук (1872), а его стихи появлялись в русских журналах еще в 60-е годы прошлого века. Исключительную роль в русской судьбе Лонгфелло сыграл перевод «Песни о Гайавате», сделанный И. А. Буниным (1896). Уроженец Портленда (Мэн), сын состоятельных родителей, Лонгфелло

получил прекрасное образование, углубленное несколькими продолжительными поездками в Европу. С первой же своей книги он зарекомендовал себя поэтом-эрудитом, мастером формы и приверженцем романтических художественных условностей, каким оставался до конца. Приняв необычный для Лонгфелло радикальный характер в период апогея антирабовладельческого движения, которому он сочувствовал, его взгляды в дальнейшем не шли дальше умеренного либерализма. В поэзии он был достаточно консервативен, строго следуя жанровым канонам романтической поэмы («Эванджелина», 1847; «Сватовство Майлса Стэндиша», 1858) и повести в стихах («Рассказы придорожной гостиницы», 1863) и широко используя в таких произведениях сюжеты, образы, мотивы европейских мастеров от средневековья до современности. Для лирики Лонгфелло характерны отточенность мастерства и сдержанность эмоций. В стихах последних лет преобладают мрачные интонации: после гибели жены, сгоревшей в результате несчастного случая, жизнь для Лонгфелло словно остановилась. Тяжело переживая эту трагедию и остро чувствуя несоответствие американской жизни после 1865 года высоким романтическим мечтам его юности, поэт почти отходит от оригинального творчества, посвятив себя переводу, среди которых выделяется перевод «Божественной комедии» Данте.

Джон Гринлиф Уиттьер (1807–1892), как и По, десятилетиями работал в газетах и считал журналистику своим главным делом. В движении против рабства он принимал самое непосредственное участие, и многие его политические стихи были типичными образчиками литературы на злобу дня, однако далеко переросли ее рамки, оставшись

заметным памятником демократической американской поэзии прошлого века. Квакерское воспитание, полученное Уиттьером в его фермерской семье, оставило в творчестве поэта столь же явственные следы, как деятельность одного из учредителей «Американского антирабовладельческого общества» и редактора его газеты «Пенсильвания фримэн». Рабство для Уиттьера прежде всего несовместимо с христианской этикой, и голос проповедника-пуританина слышен всего отчетливее в его книге «Голоса свободы» (1846), как, впрочем, и в «Песнях труда» (1850), где поэт обратился к жизни рабочих низов, тогда еще очень мало интересовавшей американскую литературу. Оба эти сборника сыграли большую роль, обогатив передовые традиции, зародившиеся еще в поэтическом фольклоре Америки. Любимым поэтом Уиттьера был Роберт Бернс, чье влияние особенно усилилось в поздний период, потеснив увлечение Байроном, пережитое на заре творческой биографии. Дарованию Уиттьера особенно органично отвечала поэтика баллады, а также жанровой поэмы.

Оливер Уэнделл Холмс (1809–1894), врач и натуралист, долгие годы проработавший в университетских клиниках, мало походил на Холмса-поэта, одного из страстных ревнителей литературной «изысканности», приходивших в ужас от всего «вульгарного» и «неприличного», что несло с собою правдивое изображение жизни. Он трезво оценивал свои творческие возможности, как-то заметив, что «не столько пишет стихи, сколько готовый материал, из которого потом создадут поэзию». Эта автохарактеристика точна по отношению к большинству книг Холмса, в особенности поздних, где властвуют штампы «чистого искусства» и лишь изредка

мелькнет живой образ или нешаблонная строка. Лучшие произведения поэта созданы до Гражданской войны.

Джеймс Рассел Лоуэлл (1819–1891) в юности занимал гораздо более четкие демократические позиции, чем близкий ему с молодых лет Холмс. Свойственный романтикам интерес к духовным, этическим и художественным представлениям народных масс особенно отличал Лоуэлла. В первой серии «Записок Биглоу» (1848), написанных в форме писем сметливого, хотя и едва грамотного фермера своему высокопросвещенному соседу — священнику, он прибег к тонкой имитации фольклорных мотивов и особенностей просторечия, чтобы таким способом передать здравые суждения рядовых американцев о коррупции, социальной несправедливости и политическом авантюризме, определивших жизнь страны. Продолжение «Записок Биглоу» (1867), сохраняя стилистические особенности первой серии, в других отношениях заметно ей уступало — притупилась критическая острота, а с нею исчезло и неподдельное своеобразие произведений Лоуэлла. Тяготение к чрезмерно литературным образам, книжной лексике и условно понятой изысканности поэтического словаря приглушило в позднем творчестве Лоуэлла те новаторские тенденции, которые начинали пробиваться в его произведениях 40-х годов, включая и пародийную «Басню для критиков» (1848), созданную под воздействием байроновских «Английских бардов и шотландских обозревателей».

Уолт Уитмен (1819–1892) на протяжении всего своего творческого пути, охватывающего около сорока лет, создавал, в сущности, одну огромную книгу — «Листья травы». Изданная в 1855 году, она помимо обширного авторского предисловия включала лишь 12

поэм (правда, среди них и такие первостепенно важные, как «Песня о себе» и «Песня большой дороги»). Выходившая при жизни Уитмена в дополненных вариантах еще шесть раз, книга постепенно приобрела тот вид, в котором ее знает современный читатель, и ту масштабность, которая позволяет назвать «Листья травы» поэтическим эпосом Америки XIX века. Уитмен начинал как журналист, редактор и издатель, отстаивая интересы рядовых тружеников и не раз вступая в острые конфликты с выразителями буржуазных взглядов, — так, в 1847 году он был вынужден оставить пост редактора демократической нью-йоркской газеты «Дэйли игл». Публицистическое начало сохранилось во многих произведениях Уитмена-поэта, а вдохновлявшая его мечта о подлинной демократии с годам переросла в стройную систему общественных взглядов, которые объективно близки к социалистическим идеалам. Период высшего творческого подъема Уитмена совпал с годами Гражданской войны, когда поэт был санитаром в госпиталях Вашингтона. Сборник «Барабанный бой» (1865), затем включавшийся в расширенные издания «Листьев травы», доносит и жестокую правду о войне, и непоколебимую веру Уитмена в духовные силы народа. Оптимистический пафос стихов этой книги и суровая правдивость содержащихся в ней картин глубоко раскрыли сущность художественных устремлений Уитмена. В приложении к сборнику была напечатана элегия «Когда во дворе перед домом...», посвященная, как и стихотворение «О Капитан, мой Капитан!», памяти президента Линкольна, убитого 15 апреля 1865 года в театре наемником разбитых конфедератов актером Дж. Бутом. Оба эти произведения являются поэтическими вершинами Уитмена, его клятвой верности делу Демократии. Эту верность Уитмен сохранил до конца жизни. Усиливающееся отвращение к буржуазному стяжательству, сделавшемуся нормой

бытия в Америке «позолоченного века», и горечь личных утрат не ослабили жизнелюбивых мотивов его позднего творчества, не разрушили высокой убежденности Уитмена в безмерных созидательных возможностях человека и человечества. Его наследие имело важнейшее значение для реалистической поэзии XX века и для передовых, демократических традиций художественной культуры США.

Эмили Дикинсон (1830–1886) не дождалась выхода своей первой книги, увидевшей свет в 1890 году. Бостонский литератор Т.-У. Хигинсон, который подготовил это издание, был ее единственным прижизненным читателем. Более двадцати лет он получал из Амхерста, где Дикинсон почти безвыездно прожила до самой смерти, конверты со стихами, своей нетрадиционностью и смелостью мысли обычно пугавшими его настолько, что о печатании не могло быть и речи. Впрочем, и сама Дикинсон считала, что «публикация постыдна», — превращение литературы в коммерцию она почувствовала и в своем уединении. Поэзия была для нее душевной необходимостью и не могла стать ничем иным. После ее смерти были найдены рукописи более 1800 стихотворений, трудно поддающихся датировке; научное издание в трех томах появилось только в 1955 году. Биографы Дикинсон отмечают несколько событий, оставивших глубокий отпечаток в ее творчестве, и особенно — знакомство в 1854 году со священником Ч. Уодсвортом, к которому, как предполагается, обращена вся ее любовная лирика. Уодсворт вскоре уехал с семьей в один из новых западных штатов, и с этого времени началось «белое затворничество» Дикинсон, избегавшей каких бы то ни было встреч, в любое время года облаченной в белоснежное платье и целиком посвятившей себя, помимо домашних забот, стихам, тщательно

скрываемым даже от близких. Философское и этическое содержание ее поэзии невозможно понять вне специфически пуританских духовных традиций, усвоенных Дикинсон с детства, и вне того не менее сильного воздействия, которое на нее оказали романтические истолкования природы и человека, прежде всего — идеи Эмерсона. Наряду с Уитменом Дикинсон явилась прямым предшественником поэтического поколения, заявившего о себе в 10-е годы XX века.

Жоакин Миллер (1841?—1913), привлек к себе внимание экзотичностью материала своих ранних стихотворений. Поэт не без гордости писал о том, что «родился в крытой повозке где-то на границе между Индианой и Огайо». Далеко не самостоятельное по характеру художественного мышления, полное отголосков, легко опознаваемых каждым читателем английской романтической поэзии, оно любопытно непосредственными зарисовками быта первых поселенцев на Дальнем Западе. Перекликающиеся с новеллами Брета Гарта, стихи Миллера пользовались при его жизни большой популярностью.

Сидни Ланир (1842–1881) воевал на стороне южан и откликнулся на их поражение романом «Тигровые лилии» (1867), изображавшим конфедератов рыцарями без страха и упрека. Стихи он писал еще до войны, платя щедрую дань Китсу и Теннисону. Творческую самостоятельность Ланир обрел в цикле «Дни стервятников» (1868), где показана истинная трагедия Юга, подвергшегося нашествию «саквояжников», как называли спекулянтов и мародеров, прибывших с обозами армии победителей. Напуганный разоблачительным пафосом собственных стихов, Ланир решился опубликовать лишь два из шести

стихотворений этого цикла, остальные были напечатаны посмертно. Тяжелое ранение и развившийся туберкулез оборвали путь Ланира, когда он только вступал в лучшую пору своего творчества, изведав первый большой успех, принесенный стихотворением «Болота Глинна» — посвященным родной ему Джорджии.

Эдвин Маркем (1852–1927) тоже вышел из среды последних пионеров, работал на фермах и ранчо Калифорнии, не получил систематического образования, но компенсировал этот пробел жадным чтением. Он принес в поэзию жизненный опыт человека труда, и при всех своих художественных огрехах его лучшие стихи были литературным событием. Прежде всего это относится к «Человеку с мотыгой» (1899), стихотворению, навеянному известным полотном Жана Милле (1814–1875), изображающим французского крестьянина, задавленного тяжелым трудом и нуждой; Маркем видел картину на выставке в Чикаго. Жоакин Миллер писал, что «раздался боевой клич, который не умолкнет на протяжении ближайшего тысячелетия». Через два года появилось стихотворение Маркема «Линкольн», перекликающееся со знаменитым стихотворением Уитмена «О Капитан, мой Капитан!». Маркему прочили большое будущее, но ожидания не оправдались: последующие его сборники заполнены лирическими стихотворениями, не превосходящими средний уровень поэзии «сумеречного промежутка».

Громкой известностью, полученной им почти одновременно с Маркемом, **Уильям Воан Моуди** (1869–1910) был обязан нескольким политическим стихотворениям, выразившим протест против экспансионистской политики США на Кубе и на Филиппинах. Эти стихотворения — едва ли не

единственный поэтический отклик на испано-американскую войну 1898 года, ознаменовавшую начало эпохи империализма. Не понимая истинной сущности происходивших событий, Моуди, однако, уловил их общий смысл, резко осудив великодержавный разбой и выразив тревогу за судьбы американской демократии. Архаичность художественного языка Моуди и сильный моралистический пафос не помешали этим его произведениям стать одним из немногих заметных явлений в поэзии США на рубеже веков.

Стивен Крейн (1871–1900) остался в истории литературы прежде всего как автор романов и сборников новелл, представляющих собой высшие художественные достижения американского натурализма. Опубликованные им две книги стихов — «Черные всадники» (1895) и «Война добрая» (1899) — прошли почти незамеченными, хотя они выделяются на тусклом фоне поэзии США того периода. Отказавшись от рифмы, как и от расхожих форм сонета и баллады, Крейн писал стихи, во многом близкие поэтике верлибра, и в духе импрессионизма стремился с наивозможной точностью запечатлеть прихотливую гамму настроений, душевных порывов, «мимолетностей». Его поэтическое творчество носит по преимуществу экспериментальный характер, являясь важным звеном в процессе развития поэзии США от Уитмена к «расцвету» 10-х годов нашего столетия.

Пол Лоренс Данбар (1872–1906) был выходцем из рабочей негритянской семьи и уже десяти лет от роду служил лифтером в отеле. Упорно пробивая себе дорогу в литературу, он сумел привлечь к своим стихам внимание влиятельнейшего романиста и критика Хоуэллса. В благожелательном предисловии к его первому сборнику «Лирика низменных будней» (1896)

Хоуэллс назвал автора «первым литератором чисто африканской крови и чисто американского воспитания, научившимся художественно осмыслять негритянскую жизнь и находить для нее лирическое выражение». Тональность стихов Данбара, как и его рассказов, — грустный юмор, несколько приглушающий драматизм расовых отношений, но вместе с тем органично доносящий специфические черты мироощущения черных американцев. Музыкальность его строф привлекала многих композиторов, а стихотворение «Кругом личины» приобрело в XX веке значение одного из манифестов негритянской художественной культуры.

Эдвин Арлингтон Робинсон (1860–1935) тоже должен быть отнесен к числу предшественников поколения 10-х годов, хотя его сборник «Человек на фоне неба» (1916) был одной из самых характерных и значительных поэтических книг своего времени. Повышенный интерес к поэзии, которым отмечены 10-е годы, помог осознать истинное значение Робинсона, объективно выявившееся гораздо раньше, когда были опубликованы «Дети ночи» (1897) и «Капитан Крейг» (1902). Детство Робинсона прошло в захолустных городках Новой Англии, и провинциальная жизнь с ее однообразием, убожеством, скрытым драматизмом и богатством человеческих типов стала его главной темой. В его стихотворениях ясно различимы устремления к реализму, хотя поэтика Робинсона, сложившаяся под влиянием Вордсворта и отчасти Киплинга, в целом, осталась романтической. Ранние книги Робинсона не имели успеха, он долгое время бедствовал, служил контролером на нью-йоркской подземке и лишь стараниями тогдашнего президента США Т. Рузвельта, обожавшего роль мецената, получил необременительную и прибыльную должность в таможне, а с 1910 года смог полностью посвятить себя

творчеству. В 20-е годы им был написан цикл поэм на сюжет легенд о короле Артуре — они занимают основное место в посмертно изданном полном собрании (1937), по в историю поэзии Робинсон все-таки вошел прежде всего стихами о Тильбюри-тауне, созданном его воображением провинциальном городе, который воплотил в себе знаменательные черты американской действительности на рубеже веков.

Роберт Фрост (1874–1963) наиболее близок Робинсону среди поэтов, начинавших в 10-е годы, — и как стойкий приверженец метрического стиха, и как еще один певец Новой Англии, с которой связана вся его долгая жизнь. Из-за нехватки средств он, подобно Робинсону, вынужден был на третьем курсе оставить Гарвардский университет. Дед по отцу помог в 1899 году приобрести скромную ферму в Нью-Гэмпшире, где будущий поэт, чередуя труды на пашне с преподаванием в близлежащей школе, создал большинство стихотворений своей первой книги, названной — по строке Лонгфелло — «Воля мальчика» (1913). Книга была дописана в Англии, куда Фрост уехал с семьей в 1911 году, вскоре сблизившись с поэтическим кружком «георгианцев», тоже вдохновлявшихся красотой сельских ландшафтов и традициями романтических поэтов природы. В США он вернулся в 1915 году уже знаменитым: второй сборник — «К северу от Бостона» (1914) — по праву считается художественной вершиной всей эпохи «поэтического ренессанса». Это было бесспорное торжество реализма, определившего новаторство Фроста при всей подчеркнутой традиционности его эстетических средств. В «Нью-Гэмпшире» (1923), «Ручье, текущем к Западу» (1928) и других книгах Фроста, вплоть до последней — «На вырубке» (1962), — создан реалистически многогранный и философски глубокий

образ эпохи, воспринятой через ее преломления в повседневной жизни народа. Фрост уже в 30-е годы считался живым классиком и переводился на десятки языков. В 1962 году он совершил поездку в СССР, где его тепло приветствовала литературная общественность и тысячи читателей.

Карл Сэндберг (1878–1967), другой крупнейший американский поэт XX века, происходил из семьи шведских рабочих-иммигрантов, едва объяснявшихся по-английски. Он не закончил колледжа, отдавшись газетной работе в изданиях прогрессивной ориентации, а с 1907 года стал агитатором в Социалистической партии и участвовал в кампании за избрание Юджина Дебса президентом страны. Для Сэндберга это не было преходящим увлечением — он неизменно занимал передовую общественную позицию. В 20-е годы он сыграл видную роль в борьбе за освобождение Сакко и Ванцетти, в 30-е — создал книгу «Народ — да» (1936), проникнутую верой в социализм и в великое будущее народа. Восторженный почитатель Уитмена, он с первых же своих книг заявил о себе как о мастере свободного стиха и искателе новых художественных форм, отвечающих драматизму и динамике времени. Его влекло к эпичности и масштабной символике, органично соединяющейся с элементами поэтической публицистики и документальной точностью подробностей, почерпнутых из будничной жизни. Несколько десятилетий труда он отдал шеститомной биографии Линкольна (1939), считающейся образцовой. Им написан также многоплановый исторический роман «Скала воспоминаний» (1948), он был неустанным собирателем и неподражаемым исполнителем народных несен. Поэт огромного творческого диапазона, Сэндберг сыграл выдающуюся роль в

развитии реалистического направления американской поэзии нашего века.

Эдгар Ли Мастерс (1868–1950), чикагский стряпчий, смело выступавший в защиту бесправных жителей пролетарских окраин, много лет писал и печатал ничем не примечательные стихи, пока в 1913 году под сильным впечатлением от «Греческой антологии» Дж.-У. Маккейла (собрание стихотворных эпитафий и эпиграмм античных поэтов) не задумал свою «Антологию Спун-Ривер» — книгу, которая принесла ему громкую славу. В первом издании (1915) она содержала 254 эпитафии жителям маленького города на Среднем Западе и вступительное стихотворение «Холм», которое проясняет замысел поэта. В 1924 году появился «Новый Спун-Ривер», дополнив созданную Мастерсом глубоко реалистическую картину жизни американской провинции на протяжении примерно полувека — от Гражданской до первой мировой войны. Перекликаясь друг с другом, образуя десятки законченных новелл и обрисовывая судьбы множества людей, большей частью растративших отпущенный им земной срок в погоне за ложными, своекорыстными целями или в ничтожных обывательских заботах, эпитафии Мастерса, написанные свободным уитменовским стихом, в совокупности образуют своего рода поэтический роман, который отмечен подлинным историзмом и неисчерпаемым богатством характеров. Мастерс умер всеми забытым, и лишь в 60-е годы появились переиздания «Спун-Ривер», хотя по сей день в США не написано даже биографического очерка об этом видном поэте.

Никлас Вэчел Линдсей (1879–1931) вырос в Спрингфилде, расположенном неподалеку от

Льюистауна — иллинойсского городка, где прошла юность его друга и будущего биографа Мастерса. Чикаго, где Линдсей жил с 1897 года, в судьбе их обоих сыграл решающую роль: здесь издавался журнал «Поэтри», с чьих страниц оба шагнули к массовому читателю, здесь в 10-е годы была столица и американской индустрии, и в какой-то мере — американской культуры. Родители Линдсея были сектантами-кампбеллитами, и от них поэт еще в юности перенял мечту о грядущем золотом веке человечества, который наступит вслед за близким вторым пришествием. Эту мечту укрепило раннее увлечение Линдсея идеями популизма — широкого фермерского движения в защиту демократии и против всевластия монополий. Наивные утопические взгляды Линдсея широко отразились во многих его произведениях, свидетельствуя как о демократизме его настроений, так и об исторических иллюзиях той среды, из которой он вышел. Как поэта его во многом сформировала «дорога» — подобно Джеку Лондону, он долгие годы бродяжничал, кормясь случайным заработком, вслушиваясь в ритмику и лексику повседневной речи, впитывая мелодию и образы песен, в том числе негритянских. И эта лексика, и эти мелодии вошли потом в его поэзию, соединившись с проповедническим пафосом, с приемами, заимствованными у кинематографа, которым Линдсей страстно увлекался, и с ритмами джазовой музыки, легко угадываемыми во многих стихотворениях, а в «Конго» даже обозначенных непосредственно. Успех первых книг Линдсея был ошеломляющим, его публичные выступления собирали тысячные толпы. Однако слава сыграла с ним скверную шутку: торопясь пожать ее плоды, Линдсей писал слишком много и небрежно, бесконечно повторяясь и эксплуатируя свои находки так беспощадно, что они стали восприниматься как новые штампы. Начался

творческий кризис, усугубленный душевным заболеванием и приведший к самоубийству.

Хильда Дулитл (1886–1961) подписывала свои стихи аббревиатурой Х. Д., хорошо знакомой читателям 10-х годов, когда были опубликованы ее лучшие стихотворения. Иногда в журнальных подборках вслед за подписью следовало пояснение: «поэт-имажист». Самый значительный представитель этой недолговечной экспериментальной школы, Дулитл в своих стилизациях порою добивалась неподдельной утонченности образов, простоты и лаконичности поэтического языка. Дулитл жила в Европе, постепенно порвав все связи с родиной.

Эзра Паунд (1885–1972), уехав в Европу в 1907 году, посетил США лишь тридцать лет спустя, а затем был доставлен за океан уже как подсудимый по обвинению в государственной измене, предъявленному за его выступления по радио Рима в годы второй мировой войны. Его ждал смертный приговор, от которого спасла медицинская экспертиза, признавшая Паунда душевнобольным. В 1958 году ходатайство об освобождении из лечебницы, подписанное и многими деятелями итальянской культуры, участвовавшими в Сопротивлении, увенчалось успехом. Паунд вернулся в Италию, где жил с 1929 года, признал банкротство своих идей и вновь принялся за гигантскую поэму «Cantos», мыслившуюся как современная «Божественная комедия» и оставшуюся незавершенной. Значение в истории литературы сохранило его творчество раннего периода, при всех своих противоречиях отмеченное последовательной антибуржуазностью, созвучное настроениям писателей «потерянного поколения» и наметившее пути обновления художественного инструментария, важные

для поэзии США в целом. Паунду как влиятельнейшему в ту пору критику и редактору немалым обязаны Дулитл, Элиот, Фрост, а также Хемингуэй, Джойс, Олдингтон и некоторые другие крупные писатели. Сам он тоже перенимал некоторые темы и черты стиля, обозначившиеся в их творчестве: так, по авторской характеристике, поэма «Хью Селвин Моберли» представляет собой «попытку джойсовского по духу романа в сжатой форме».

Томас Стернс Элиот (1888–1965) начинал под сильным влиянием Паунда, который и отредактировал его самое известное произведение — поэму «Бесплодная земля» (1922), сократив ее почти вдвое. В Гарварде Элиот был однокашником Джона Рида, смолоду в какой-то мере разделял его революционные настроения, хотя пути этих выпускников 1906 года затем оказались диаметрально противоположными. Отвращение к окружающему миру буржуазной пошлости, постоянно дающее о себе знать в ранних стихах Элиота, после первой мировой войны перерастает в чувство катастрофы и опустошенности, которым полнятся его поэмы 20-х годов. С 1917 года Элиот служил клерком лондонского банка, а еще через десять лет принял британское подданство и объявил, что его кредо — это роялизм, англокатолицизм и классицизм. Однако и поздние произведения Элиота, в особенности «Четыре квартета» (1943), по своему содержанию выходят за рамки его крайне консервативной общественной программы. Отмеченное в 1948 году Нобелевской премией, его поэтическое творчество остается одним из значительных явлений англоязычной литературы XX века, как глубоко ни затронуто оно болезненными чертами, связанными с духовным кризисом буржуазного общества.

Уильям Карлос Уильямс (1883–1963) на протяжении всего своего творческого пути оставался принципиальным противником Элиота, его литературным антагонистом. Уильямс не принимал стиховой изощренности и обилия литературных, исторических, мифологических реминисценций, как не принимал и экспатриантства Элиота и друга своей юности Паунда. Сам он родился и умер в Резерфорде неподалеку от Нью-Йорка, почти шестьдесят лет проработав здесь врачом. По его представлениям, поэзия должна прежде всего донести своеобразие страны и народа, откликаясь на самые существенные конфликты времени и стремясь передать его меняющийся облик. Начиная с книги «Весна и все остальное» (1923), в его творчестве все отчетливее выступает близость к Уитмену, который, по мысли Уильямса, всего глубже выразил сущность американского опыта. Поэма «Патерсон» (1946–1958) мыслилась как современные «Листья травы» и была подготовлена многочисленными сборниками 20–30-х годов, в которых Уильямс активно осваивал прозаичный материал повседневности, совершенствуя свое искусство современного верлибра, высоко оцененное многими послевоенными поэтами. Сложная художественная эволюция Уильямса в итоге привела к реализму. Сын англичанина, переехавшего за океан незадолго до его рождения, и пуэрториканки, так и не научившейся свободно говорить по-английски, он необычайно тонко улавливал специфически американские черты психологии и поэтические возможности, таящиеся в повседневной речи, способствуя существенному обогащению национально характерных особенностей поэзии США.

Джо Хилл (1879–1915) — псевдоним Джозефа Хиллстрема, рабочего-шведа, одного из активных

борцов пролетарской организации «Индустриальные Рабочие Мира». На собственном опыте узнал тяжкую судьбу обездоленного и выразил чаяния народа в своих песнях, приобретших огромную популярность. В них нередко встречаются сюжеты и метафоры, обладающие большой фольклорной историей, и вместе с тем они «газетны» в лучшем смысле слова — их сатирический прицел точен, язык прост и выразителен, а содержание неизменно отмечено острой злободневностью. Участник ряда крупных забастовок, любимец рабочей Америки, Джо Хилл пал жертвой полицейского террора: по ложному обвинению в убийстве он был казнен, несмотря на волну протестов. Похороны Джо Хилла в Чикаго превратились в мощную демонстрацию.

Джон Рид (1885–1919) писал стихи еще в студенческие годы. Написанная им незадолго до смерти поэма «Америка, 1918» — одно из самых выдающихся произведений революционной литературы США. Биография Рида последовательно вела его к знаменитой книге «Десять дней, которые потрясли мир» и к коммунистическим убеждениям. Блистательный публицист, убежденный революционер и поборник социалистического гуманизма, Джон Рид навсегда остался жить в памяти рабочего класса и передовой интеллигенции США.

Ральф Чаплин (1887–1961) — примкнул к «Индустриальным Рабочим Мира» в 1913 году. Он был художником по рекламе, и на страницах газеты ИРМ «Солидэрити» не раз появлялись его сатирические рисунки с авторскими подписями. Песня Чаплина «Солидарность навсегда» стала боевым гимном американского пролетариата. Его стихи собраны в двух книгах: «Когда распускаются листья» (1917), «Решетки и тени» (1919). Автобиография Чаплина «Уоббли»

(прозвище членов ИРМ) — незаменимый документ по истории рабочего движения в США.

Артуро Джованнити (1882–1959) — приобрел широкую известность как один из лидеров знаменитой стачки в Лоренсе (1910). Бывший шахтер, он стал профессиональным революционером, руководителем союза социалистов итальянского происхождения, видным деятелем ИРМ. Схваченный во время рабочих волнений в Салеме (1913), Джованнити восемь месяцев провел за решеткой, ожидая суда, и в камере написал «Шаги» — поэму, которую критика того времени сравнивала с «Балладой Редингской тюрьмы» Уайльда. В 20-е и 30-е годы Джованнити все так же активно участвовал в стачечной борьбе.

Эдвард Эстлин Каммингс (1894–1963), окончив Гарвард, отправился в 1916 году санитаром «Красного Креста» на фронт во Францию, чтобы «спасать культуру» от «варваров-гуннов». Арестованный военной полицией по нелепому подозрению в шпионаже, он более полугода ждал суда в лагере для пленных, описав этот свой опыт в романе «Огромная камера» (1922) — одной из ярких антивоенных книг 20-х годов. Тематику и тональность его поэзии определили отвращение к американской повседневности и обанкротившемуся обществу, построенному на насилии, своекорыстии и обмане. Каммингс обладал талантом живописца, чувствующимся и в его стихах. С юности увлекшись Пикассо, он отдал дань поэтике авангардистских школ, в особенности кубизма и футуризма, который был ему близок попытками найти художественный язык, отвечающий «взрывчатости», динамичности эпохи, и своим антибуржуазным пафосом. Эксперименты Каммингса преследуют цель разрушить стереотипы мещанского мышления путем

разлома обиходных слов-понятий, лишившихся содержания и смысла. Нередко эти опыты носят экстремистский характер. Однако в целом творчество Каммингса достоверно передает духовную атмосферу на Западе 20-х годов и родственно мотивам литературы «потерянного поколения».

Эдна Сент-Винсент Миллэй (1892–1950) писала стихи с пяти лет и уже в студенческие годы пользовалась известностью в литературных кругах. Глубоко традиционная по изобразительным средствам и стиху, ее лирика выразила, однако, настроения, хорошо знакомые по романам Фицджеральда, Хемингуэя и других писателей «потерянного поколения». Миллэй была одним из лучших мастеров сонета в истории американской поэзии. Ее тематика, как правило, ограничивается интимными переживаниями и условными лирическими «сюжетами». Лишь в годы второй мировой войны в творчестве Миллэй обозначились более широкие горизонты: ей, в частности, принадлежит антифашистская поэма «Убийство Лидице» (1942). Долгие годы Миллэй была тесно связана с руководимой Юджином О’Нилом группой «Провинстаун плейерс», для которой она написала несколько пьес.

Марианна Мур (1887–1972) определила свой стиль как «поэтический буквализм», противопоставляя собственное понимание поэзии идеям приверженцев верлибра и последователей Уитмена, которых она упрекала в разрушении стиховой формы. С первых же произведений Мур, опубликованных в «Поэтри» в 1915 году, чувствуется несколько лабораторный характер ее творчества. Работая во влиятельном журнале «Дайел», Мур в 20-е и 30-е годы с его страниц пропагандировала концепции, близкие эстетике Т.-С. Элиота. В лучших

своих стихах Мур достигает философской обобщенности.

Уоллес Стивенс (1879–1955) исходил в своем творчестве из убеждения, высказанного им в одном эссе 1947 года: «Все великие стихи о рае и аде уже написаны, осталось написать великие стихи о земле». Поэзию он считал тем духовным хлебом, которым в наш век уже не может служить религия. Поэт, по его мысли, должен был развить в себе талант воображения, не порывающего с реальностью, но и не скованного ею, и сложные взаимоотношения между творческой фантазией и будничностью, которую она вечно стремится, но не может преодолеть, стали главной поэтической темой Стивенса уже в 20-е годы, когда появляются его первые книги. Биографы Стивенса сталкиваются с серьезными трудностями: его жизнь не ознаменована какими-то яркими событиями, с 1916 года и до последних дней он был банковским служащим в Хартфорде и постоянно жаловался друзьям на однообразное течение своих будней, окрашиваемых только творчеством и собиранием записей классической музыки. В 30-е годы Стивенс примыкал к «объективизму» — школе, поставившей своей целью свести к минимуму эмоциональное начало и связанные с ним образные средства поэзии, добившись взамен предельной точности изображения предметов и явлений. Однако крупному таланту Стивенса было тесно в рамках такого рода экспериментов. Произведения последнего периода его творчества характерны богатством метафор, отточенностью формы, тонкой иронией и сложностью философской проблематики — чертами, определившими значение Стивенса в американской поэзии XX века.

Джон Кроу Рэнсом (1888–1974) вырос в Тенесси, долгие десятилетия преподавал в различных университетах на Юге США и с 1937 по 1959 год возглавлял журнал «Кеньон ревью», вокруг которого группировались писатели-южане. Участник первой мировой войны, он в своих ранних стихотворениях выразил трагизм судьбы поколения, прошедшего через ее окопы. Однако важнейшее значение в его творчестве приобрели другие мотивы — они связаны с размышлениями над исторической судьбой южных штатов и комплексом идей, известных под названием «южного мифа», который широко отразился в произведениях Фолкнера, Уоррена и других писателей. Рэнсом вместе с Уорреном и Тейтом участвовал в журнале «Фьюджитив» («Беглец») и входил в группу «Аграриев». В 1930 году появился манифест этой группы — сборник эссе «Выбираю свою позицию», где обосновывалась идея исключительности Юга, будто бы представляющего собой скорее европейский, чем американский тип общества и поэтому способного избежать крайностей капиталистического «прогресса». Объективно все три поэта в своем творчестве показали несостоятельность этой декларации перед лицом реальных общественных противоречий Юга. В США Рэнсом пользовался большим влиянием и как критик, близкий к Т.-С. Элиоту.

Аллен Тейт (1899–1979) в своем творчестве выразил типично южное умонастроение (см. выше) наиболее последовательно. Однако, по собственному его признанию, все стихи этого поэта «говорят о страдании от неверия» — и в провозглашенный со страниц «Фьюджитив» идеал, и в будущее Юга. Элегия не случайно стала излюбленным жанром Тейта, в чьих стихотворениях контрапунктом соединены ностальгия по неосуществимой общественной гармонии и страх

перед духовным омертвением, различимым в окружающей жизни, как и в сознании самого поэта. Ученик Рэнсома и однокашник Уоррена, Тейт волею обстоятельств оказался на годы оторванным от Юга, тем не менее оставшись южанином из южан во всей американской литературе XX века.

Роберт Пенн Уоррен (р. 1905) как поэт завоевал известность задолго до «Всей королевской рати», принесшей ему в 1946 году признание как романисту (в раннем варианте это была драма в стихах, законченная еще в 1938 г.). Напряженность этических коллизий и актуальность социальной проблематики, знакомые читателям романов Уоррена, отличают и его стихи, впервые изданные отдельным сборником в 1936 году. «Южный миф» существенно затронул поэзию молодого Уоррена, однако был им в целом отвергнут еще в 30-е годы. Крупный литературовед и знаток истории англоязычной поэзии, Уоррен любит сложные и редкие стиховые формы, восходящие к шекспировской эпохе, но вместе с тем он мастерски владеет современным верлибром. Его стихотворениям присуща повествовательность, а нередко — сюжетность и драматургические приемы. В последние годы он выступает почти исключительно как поэт.

Робинсон Джефферс (1887–1962) воспитывался в атмосфере поклонения античности — его отец был профессором древних языков в Питтсбурге. Получив образование в немецких и швейцарских частных школах, а затем в Калифорнийском университете, он намеревался посвятить себя медицине, но интерес к поэзии оказался сильнее. В 1914 году Джефферс поселился в Кармеле — пустынном уголке на тихоокеанском побережье, полностью отдавшись переводам из Еврипида и оригинальному творчеству. В

Кармеле прошла вся его жизнь отшельника и романтика, упорно противостоявшего настроениям безнадежности, столь сильным в литературе межвоенных десятилетий, и стремившегося вернуть в поэзию «содержательность и разумность, чувство реальности — физической и психологической» — как он определил свое кредо в предисловии к итоговой книге 1959 года. Лирика Джефферса приобрела признание и популярность только к концу жизни поэта.

Харт Крейн (1899–1933) был не менее убежденным поклонником и последователем Уитмена, чем Сэндберг или Мастерс, хотя и испытал в ранний период творчества сильное влияние французских символистов, особенно Рембо. Урбанистическое видение и образность, навеянная картинами Нью-Йорка, определяют своеобразие всего, что он успел создать за десять с небольшим лет творчества. Сын предпринимателя, разорившегося, когда будущий поэт был еще школьником, Крейн не мог и мечтать об университетском дипломе. Его мать мыла полы в доходных домах, где они жили, сам он сменил много случайных профессий. Это дало ему прекрасное знание жизни городских низов, привив и тот эстетический демократизм, который побуждал Крейна, как в свое время Уитмена, черпать темы и поэтические мотивы из действительности во всем ее прозаизме. Его поэма «Мост» (1930) близка чикагским стихам Сэндберга конкретностью изображения, не препятствующей масштабности символов-обобщений. Определяя свою творческую программу, Крейн писал, что стремится раскрыть в стихах «логику метафор», далеко не совпадающую с «логикой рационального мышления». Современники находили его стихи то слишком заземленными, то слишком прихотливыми по характеру развития поэтической мысли. Даже «Мост» имел лишь

очень скромный успех. Тяжело переживая свои литературные и житейские невзгоды, Крейн покончил с собой, бросившись с палубы парохода по пути из Мексики в Нью-Йорк.

Клод Маккей (1890–1948), выходец с Ямайки, поселился в Гарлеме в 1914 году, печатая в негритянских журналах стихи, получившие известность десятилетием позже, и зарабатывая на жизнь ночной работой швейцара в дансингах и официанта в ресторанах. Его лучший сборник «Гарлемские тени» (1922) вобрал в себя впечатления этого периода, поразив читателей 20-х годов достоверностью и яркостью образов, свежими интонациями, почерпнутыми из негритянского фольклора. Маккей сотрудничал в передовых журналах «Мэссиз» и «Либерейтор», представлял Американскую рабочую партию в III Интернационале. В 1922 году посетил Москву. Тяжелый духовный кризис, пережитый им в 40-е годы, не поколебал, однако, его верности идеалам равноправия и свободы для черной Америки.

Каунти Каллен (1903–1946) почти всю жизнь был школьным учителем в «цветных» кварталах Нью-Йорка. Его судьба сложилась — для чернокожего — сравнительно благополучно, однако это не приглушило горечи и гнева его антирасистских стихотворений и социального протеста, выраженного в них. Считавший культуру черных американцев и их жизнь неотъемлемой частью американской жизни и культуры, Каллен уже в 20-е годы противостоял зародившимся тенденциям отделять негритянскую проблему от общественных противоречий Америки в целом. В его поэзии заметно влияние таких современников, как Фрост и Миллэй.

Джин Тумер (1894–1967) при жизни создал лишь одно значительное произведение — сборник рассказов и стихов «Тростник» (1923). Хотя в его жилах, помимо негритянской, текла также французская и валлийская кровь, для расистского общества остававшийся чернокожим Тумер с гордостью принял этот удел. Столкновение духовных традиций черной и белой Америки как психологический конфликт и как социальный феномен — главная тема его книги, имевшей шумный успех. В последующих произведениях — пьесах, стихах, романах — Тумера повлекло к мистицизму, предопределившему его художественные неудачи.

Стерлинг Браун (р. 1902) дебютировал в конце 20-х годов, однако известность приобрел уже в «красное десятилетие», когда вышел его лучший сборник «Южная дорога» (1932). Творчество Брауна этого периода близко к традициям революционной поэзии. Он составил антологию «Негритянский караван» (1943), незаменимое пособие по изучению истории культуры черных американцев. После второй мировой войны Браун, в основном, посвятил себя преподаванию в негритянских колледжах.

Крупнейший негритянский поэт Америки, **Ленгстон Хьюз** (1902–1967) напечатал первые свои стихи в 1921 году. Оставив Колумбийский университет, Хьюз плавал на торговом судне, был коридорным в парижской гостинице, помощником повара в ресторане на Монмартре, посыльным в вашингтонском отеле. В 1926 году вышел его первый сборник «Усталые блюзы», в 1929 — первый роман «Смех сквозь слезы». До конца жизни Хьюз писал и стихи и прозу, но известен более как поэт. В 30-е годы Хьюз активно сотрудничал в пролетарском журнале «Нью мэссиз». Личность Хьюза

отличали неизменная прогрессивность взглядов и вера в революцию, без которой невозможно подлинное освобождение негритянского народа США. Традиция, которой следовал Хьюз, восходит к Уитмену. Не менее важную роль сыграл в его творчестве поэтический и музыкальный негритянский фольклор. Творчество Хьюза — это целая глава в истории гражданского и духовного самосознания черной Америки.

Женевьева Таггард (1894–1948) свои первые стихи напечатала еще студенткой, но творческое лицо обрела, лишь пройдя школу классовой борьбы. В 20-е и 30-е годы она регулярно выступала на страницах социалистических журналов, собрав стихи из этих подборок в книге «Майские дни» (1925). Ряд ее стихотворений посвящен СССР. Ей принадлежит также биография Эмили Дикинсон.

Кеннет Пэтчен (р. 1911), сын сталелитейщика, работал на заводах штата Огайо, пока болезнь спинного мозга не приковала его к постели. В 30-е годы был одним из самых одаренных пролетарских поэтов, мастеров сатирического и гротескного стиха. Творчество Пэтчена после второй мировой войны носит, в основном, вторичный характер.

Майкл Голд (1894–1967) с двенадцати лет стал рабочим, в юности был близок к ИРМ и вступил в Коммунистическую партию США. Как редактор «Мэссиз», а затем «Нью мэссиз» он многое сделал для объединения передовых сил американской литературы, принимал участие в харьковской конференции революционных писателей мира (1929) и в Конгрессе защиты культуры в Париже (1935). О своем детстве среди нищих нью-йоркских иммигрантов Голд рассказал в автобиографическом романе «Еврейская беднота»

(1930). В книге «120 миллионов» (1929) наряду с рассказами опубликовано несколько стихотворений Голда, оставивших след в истории революционной поэзии США.

Кеннет Фиринг (1902–1961) печатался в пролетарской периодике 30-х годов, выделяясь среди поэтов того времени своеобразным песенным ритмом и пристрастием к фольклорной образности, сочетающейся с характерными чертами урбанистического мироощущения. «Красное десятилетие» осталось лучшей порой его творчества. Впоследствии Фиринг стал заурядным романистом, работавшим преимущественно в детективном жанре.

Арчибальд Маклиш (р. 1892), как и Каммингс, отправился добровольцем на первую мировую войну и вынес из этого опыта горечь разочарования, знакомую всему «потерянному поколению». Должность стряпчего в Бостоне, полученная им по возвращении с фронта, не оставляла достаточного времени для творчества, и в 1923 году Маклиш переехал на берега Сены, пополнив парижскую колонию писателей-американцев. В то время он был близок к поэзии авангардистской ориентации. Перелом наступил в 30-е годы, когда в книгах Маклиша властно заявила о себе злободневная проблематика, а с нею пришла и гражданственность. Маклиш становится страстным антифашистом: в радиопьесе «Падение города» (1937), в стихах сборника «Земля свободных» (1938), в многочисленных публичных выступлениях, напоминавших об опасности, которая нависла над миром. В годы войны он занимал важные посты в правительстве Ф.-Д. Рузвельта. Его позднее творчество отмечено тяготением к философской проблематике и простоте изобразительных средств.

Карл Рэкози (1902–1977) родился и вырос в Берлине, в венгерской иммигрантской семье, после первой мировой войны перебравшейся за океан. Он очень быстро освоился в новой среде, свежим глазом подмечая многие характерные конфликты и особенности американской жизни. В 30-е годы примыкал к «объективизму» вместе с У. Стивенсом и несколькими другими поэтами. Затем в его творчестве наступил перерыв почти в три десятилетия. Сборники, вышедшие в конце 60-х годов, показали, что его творческое своеобразие не стерлось с ходом времени.

Конрад Эйкен (1889–1973), однокашник и друг Элиота, в поэзии нередко оказывался его противником, не соглашаясь с идеей «деперсонализации» стихотворения, будто бы менее всего призванного передавать мысли и переживания автора. Наиболее значительная часть обширного наследия Эйкена — лирика, которая, по его убеждению, всегда должна быть «естественной и органичной». Пережитая в детстве семейная драма (в припадке ревности отец Эйкена застрелил жену и застрелился сам) наложила отпечаток на всю последующую жизнь поэта и на его творчество, лишенное, однако, модернистской заданной безысходности и согретое подлинной любовью к миру, как он ни трагичен.

Делмор Шварц (1913–1966) принадлежал к самым талантливым дебютантам 30-х годов, выразив дух этого десятилетия в своей первой, и лучшей, книге «С мечты начинается ответственность» (1938). Атмосфера «холодной войны» и маккартистских чисток тяжело сказалась на его творческом развитии: после войны Шварц все дальше отходил от актуальных нравственных коллизий эпохи, в его поэзии усиливались

мотивы отчаяния, всевластия и непостижимости зла, непреодолимого отчуждения между людьми. Постепенно нарастало неверие и в собственные поэтические возможности, Шварц печатался все реже, в 1963 году замолчал совсем, далеко не до конца раскрыв свой талант.

Уистан Хью Оден (1907–1973) принял американское подданство в 1946 году, до этого прожив в США семь лет. Его первый сборник, вышедший в 1928 году, побудил многих критиков назвать Одена наиболее многообещающим из начинающих английских поэтов. В Оксфорде, где он учился, и затем в Лондоне вокруг Одена группировались молодые писатели, подобно ему, охваченные настроениями социального недовольства и искавшие истинную гуманность вне сферы бытия буржуазных слоев общества. Оден той поры впрямую связывал поэзию и политику: об этом свидетельствует, в частности, его поездка в воюющую Испанию и стихи, резко осудившие франкистов. Трагический исход испанских событий был воспринят Оденом как непоправимая катастрофа. Он отошел от политических тем, стал заметно консервативнее и во взглядах и в творчестве, хотя у него хватило достоинства не отрекаться от былых «заблуждений». Вторую мировую войну он встретил трагическим стихотворением «1 сентября 1939 года». В послевоенном творчестве Оден тяготел к традиционным лирическим «сюжетам» и к философской поэзии в духе Гете, любовь к которому он пронес через всю жизнь.

Стивен Винсент Бене (1898–1943) — пришел в поэзию совсем молодым: когда появился его первый сборник, автору было всего 17 лет. Впрочем, известность заставила себя ждать еще долго. Лишь эпическая поэма «Тело Джона Брауна» (1928),

напомнившая о замечательных страницах истории американского народа, сделала имя Бене знаменитым. Уитменианец, как и многие поэты его поколения, Бене видел в «Листьях травы» не только пример подлинной творческой свободы, но прежде всего — урок подлинного демократизма. Его собственная позиция была последовательно антифашистской и прогрессивной. В годы войны Бене создал одно из своих лучших стихотворений — «России», которое узнали из радиопередачи, транслировавшейся по всей стране, миллионы американцев.

Карл Шапиро (р. 1913) находился на тихоокеанском театре военных действий, когда в 1942 году вышла первая его серьезная книга — «Лицо, место, вещь». В Америку, провоевав до самого конца, он вернулся широко известным поэтом и смог переиздать даже свои ранние стихи, не встречавшие энтузиазма у критиков в 30-е годы, когда, разочаровавшись в учебной программе, Шапиро ушел из Виргинского университета и вынужден был браться за любую работу. Поколение солдат второй мировой войны обрело в нем одного из своих лучших поэтов, а поэтическое поколение, выросшее под крылом Элиота, — одного из принципиальных антагонистов. Шапиро не признавал переусложненности и зашифрованности, требуя от поэзии прямого контакта с действительностью. Пулицеровская премия 1945 года создала ему достаточно весомую литературную репутацию и позволила в 1950 году занять пост редактора «Поэтри», а вскоре и профессорскую кафедру, что не изменило его антиэлитарных эстетических воззрений. В 1963 году Шапиро опубликовал книгу сатирических стихотворений в прозе «Буржуазный поэт», где с грустной и едкой иронией писал о противоположности истинного искусства моральному климату,

преобладающему в культурной и общественной жизни США.

Рэндалл Джарелл (1914–1965) служил добровольцем в боевой авиации и выразил пережитое за военные годы в сборниках «Дружок, дружок» (1945) и «Потери» (1948) — наиболее сильных поэтических книгах о войне, созданных в США. В университете он учился у Рэнсома, однако остался равнодушным к «южному мифу» и как поэт почерпнул для себя гораздо больше из раннего знакомства с Голливудом, где работали его дед и прабабка. Восприятие жизни как кинематографической ленты, где высокое и низкое сменяют друг друга без видимой логической связи, определило своеобразные черты его поэзии — порой почти документально точной в каждой подробности, порой вызывающе гротескной. Как и Шапиро, он избегал холодного умствования, дорожа непосредственностью лирического переживания и честного свидетельства о мире. Работая медленно и ответственно, он успел выпустить лишь шесть сборников. Седьмой вышел посмертно: Джарелл погиб в автомобильной аварии.

Джон Берримен (1914–1972) дебютировал в предвоенной антологии «Пять молодых американских поэтов» (1940) и — единственный из ее участников — оправдал ожидания составителей этой книги. С его именем связывается возникшее в 50-е годы направление, которое получило название «исповедальной поэзии». Творчество Берримена нескрываемо автобиографично, и его книги можно читать как дневник американского интеллигента, трудно пережившего годы «холодной войны», но сумевшего сохранить принципы гуманистической этики и настоящей духовной культуры. Отчуждение,

становящееся повседневным законом в человеческих отношениях и общественной жизни страны, было главной темой Берримена и придало трагическое звучание его лирике и философским стихам. Особенно глубоко эта проблематика отразилась в «Песнях-фантазиях» (1969), представляющих собой цикл из 385 стихотворений, связанных и единством формы (восемнадцатистрочный ритмизованный верлибр), и единством лирического героя, которым оказывается писатель Генри, своего рода ироничный автопортрет Берримена, покончившего с собой вскоре после громкого успеха его лучшего произведения.

Кеннет Рексрот (р. 1905) учился живописи, потом увлекся джазом и открыл в Чикаго кафе «Зеленая маска», где с оркестром выступали известные поэты, в том числе Хьюз. До того как были напечатаны его первые стихи, Рексрот успел побывать сельскохозяйственным рабочим, контролером на фабрике, санитаром в лечебнице для душевнобольных. С 1927 года он живет в Сан-Франциско, и красочной калифорнийской природой, как и суровыми пустынями Дальнего Запада, навеяны образы многих его стихов. В 30-е годы Рексрот поддерживал стачечную борьбу и писал в рабочих газетах, в 50-е — организовал маленькую независимую радиостанцию, для которой сочинял передачи о научной фантастике, «единственном жанре, где еще сохранились остатки свободомыслия». Увлечение древней поэзией Японии и Китая, которую он переводит, сказалось и на стихах самого Рексрота, написанных за последние два десятилетия.

Стэнли Кьюниц (р. 1905), подобно Джареллу, ушел добровольцем на фронт, но военные стихотворения не заняли в его творчестве существенного места. В 50-е

годы он разделял эстетические установки «исповедальной поэзии». В отличие от других поэтов, примыкавших к этому направлению, Кьюниц редко пользовался верлибром, предпочитая старые формы, и особенно — требующие виртуозности формы английской поэзии XVII в. Медитативная лирика всегда была основным поэтическим жанром Кьюница, дорожащего выношенностью мысли и сложностью метафоры. Кьюниц известен и как переводчик русской и советской поэзии.

Роберт Лоуэлл (1917–1977), правнук Джеймса Рассела Лоуэлла, ученик Рэнсома и Уоррена, словно бы самим своим происхождением и воспитанием был предназначен для писательской деятельности. Читателей первых его книг — «Земля несоответствий» (1944), «Замок лорда Уири» (1946) — не удивляла ни поэтическая культура автора, для дебютанта необычно высокая, ни обилие сложных философских метафор, религиозных символов, близких и далеких литературных отголосков. Трагическое мироощущение, чувствовавшееся в этих книгах, непосредственно связано с атмосферой войны и преследовавшим Лоуэлла чувством личной ответственности всех и каждого за Освенцим, за Ковентри, за Хиросиму. Травмированность насилием и злом определяет круг тем Лоуэлла и доминирующее в его книгах настроение вплоть до «Этюдов из жизни» (1959), наметивших новые творческие горизонты. Лоуэлл впервые обратился в этом сборнике к текущему, к конкретным социальным коллизиям Америки, медленно пробуждавшейся от духовной спячки времен маккартизма. В 60-е годы он стал одним из наиболее последовательных противников войны во Вьетнаме, в его стихах зазвучали ноты протеста и высокой гражданственности. Лидер «исповедального» направления, он теперь требовал от

поэзии не ограничиваться «горизонтом одного», а всматриваться в движущуюся историю и вершить над нею суд с позиций воинствующего гуманизма. Эта задача всего последовательнее решена в последних книгах самого Лоуэлла («История», 1973; «День за днем», 1977), ознаменовавших собой новый подъем реализма в современной поэзии США.

Теодор Ретке (1908–1963) был выходцем из семьи немецких иммигрантов, обосновавшихся в Мичигане на рубеже веков. Его дед и отец занимались садоводством, и впоследствии поэт признавался, что для него «оранжерея — это непосредственное олицетворение жизни, рождающее чрево, земной рай». Образы цветения, умирания и возрождения жизни занимают главное место в его лирике природы, начиная с первой книги «Открытый дом» (1941). Символика Ретке менее всего носит умозрительный характер, а смелость его воображения побуждала критиков назвать этого поэта наследником По. Он был одной из самых крупных индивидуальностей «исповедальной» поэзии, чьи принципы раскрыты в лучшей книге Ретке «Слова, брошенные на ветер» (1959).

Элизабет Бишоп (1911–1979) успела сделать немного, но ее творчество по праву считается одним из значительных явлений в новейшей поэзии США. Характерной чертой ее поэзии было тонкое постижение изменчивой красоты окружающего мира и органичность метафор, всегда прочно связанных с реальными обстоятельствами жизни. Бишоп много лет прожила в Бразилии, и в ее стихах нередки образы, навеянные щедрой южноамериканской природой.

Гвендолин Брукс (р. 1917) родилась в Канзасе, но росла в Чикаго, в одном из самых многонаселенных

негритянских гетто, когда-то описанном Ричардом Райтом в «Сыне Америки». Образ Бронзевилла, созданный в книгах Брукс, близко напоминает чикагский Саут-сайд, а читателям американской поэзии он напомнит и Спун-Ривер Мастерса. Характерные особенности негритянской поэзии — музыкальность, обилие диалектизмов и т. п, — в творчестве Брукс соединяются со строгой формальной организацией стихотворений, свидетельствующей о высоком мастерстве.

Роберт Хейден (1913–1979) оказался первым чернокожим, удостоенным профессорской кафедры в южном университете, — по иронии судьбы это был университет в Нэшвилле, который служил цитаделью «Аграриев», проповедовавших расовую сегрегацию. В творчестве Хейдена глубоко и своеобразно отразился процесс роста гражданского самосознания черной Америки. Решительно отвергнув левацкие крайности, сопутствовавшие этому процессу, Хейден передал в своих стихах подлинный драматизм борьбы за равноправие и выразил твердую веру в конечное торжество социальной справедливости и гуманизма.

Уолтер Лоуэнфелс (1897–1976) в 20-е и начале 30-х годов жил в Париже, разделяя комплекс настроений, отличавших писателей и героев «потерянного поколения». Вернувшись в США, он испытал сильное воздействие общественной атмосферы «красного десятилетия» и навсегда сохранил верность идеалам той эпохи. Сотрудник коммунистической газеты «Дейли уоркер», убежденный социалист и борец за мир, Лоуэнфелс не раз подвергался преследованиям реакции, но даже приговор за «подрывную деятельность», вынесенный ему в 1952 году, его не сломил. С его именем тесно связана «поэзия протеста»

60-х годов, вызванная к жизни движением против войны во Вьетнаме. Лоуэнфелс подготовил несколько антологий демократической и гражданственной поэзии США. Пафос его творчества выражен в заглавии последней книги поэта «Революция — это гуманность» (1975).

Томас Макграт (р. 1916) еще в юности связал свою жизнь с рабочим движением. Сценарист документального кино, корреспондент мелких калифорнийских газет, он выпустил первую книгу стихов в 1940 году, сразу же заставив говорить о себе как о поэте социального видения. «Красные тридцатые» и для него, как для Лоуэнфелса, стали подлинной школой гражданственности. В годы маккартистских чисток Макграт одним из немногих американских писателей открыто выразил протест против насилия над демократией и свободой убеждений, опубликовав в 1953 году книгу «Свидетель времени». Он участвовал в антивоенном движении 60-х годов.

Ричард Уилбер (р. 1921), участник второй мировой войны, которая, по позднейшему признанию, «впервые побудила отнестись к поэзии всерьез», начинал как характерный представитель «исповедального» направления, близкий Лоуэллу раннего периода. Программный для Уилбера сборник «Земное» (1956) обозначил в его творчестве тот «прорыв к действительности», который выпало осуществить послевоенному поколению американских поэтов. Один из самых тонких лириков в современной поэзии США, Уилбер не обходит стороной и темы, обладающие непосредственным социальным значением, как и философскую проблематику, с годами занимающую все более заметное место в его творчестве. Обманчивая простота его стихотворений на самом деле

представляет собой результат необыкновенно тщательной и длительной работы над формой, синтезирующей традиции метрической поэзии и верлибра. Каждый новый сборник Уилбера становится событием в американской поэзии.

Аллен Гинсберг (р. 1926), крупнейший из поэтов-битников, приобрел шумную известность после публикации в 1955 году поэмы «Вопль», содержащей резкие обличения капиталистического Молоха и преступного конформизма «молчаливого большинства» во время маккартистских бесчинств. Ученик Рексрота и Уильямса, Гинсберг — наиболее одаренный из поэтов-уитменианцев, дебютировавших после войны. Вместе с тем его творчество подвержено модернистским влияниям, а взгляды Гинсберга отличаются налетом анархического бунтарства и нигилизма по отношению к культурным ценностям Запада, которым он противопоставляет единственно подлинную, на его взгляд, культуру, связанную с буддистской религиозной философией и мистикой. Глубокие противоречия Гинсберга отразились в стихах, остающихся тем не менее одним из самых значительных явлений послевоенной американской поэзии.

Лоренс Ферлингетти (р. 1919), сын итальянца и португалки, американец в первом поколении, наряду с Гинсбергом сыграл в 50-е годы заметную роль в том оживлении демократических традиций литературы США, которое наметилось у поэтов-битников. Ферлингетти пришел в поэзию человеком зрелым и многое пережившим: в годы войны он был связным между американским командованием и группами бойцов Сопротивления во Франции и Норвегии, не раз подвергался смертельной опасности. Его отвращение к маккартизму — глубокое и искреннее — выразилось в

лучшей книге поэта — «Кони-Айленд моей души» (1958). Владелец небольшого издательства в Сан-Франциско, он регулярно публиковал сборники молодых поэтов, тяготеющих к экспериментаторству. В собственном его творчестве с 60-х годов началась полоса формальных исканий, сковывающих развитие бесспорного дарования Ферлингетти.

Сильвия Плат (1932–1963) — дочь энтомолога-австрийца, с 20-х годов жившего в США и отнюдь не заслуживающего той уничижительной характеристики, которая дана ему в знаменитом антифашистском стихотворении «Папочка», возлагающем вину за гитлеризм на все поколение отцов. Лирика Плат по выраженным в ней настроениям гнева, горечи, страха перед жизнью, ненависти ко всем формам духовного гнета близка поэзии битников. Плат успела напечатать только одну книгу стихов. Вторая — и лучшая — появилась через месяц после ее самоубийства.

Роберт Данкен (р. 1919) в 50-е годы вместе с Ч. Олсоном, Р. Крили и Д. Левертов входил в группу поэтов, по названию колледжа, где все они преподавали, окрещенную «Черной горой». Последователи Уильямса, эти поэты, однако, перенимали у него только формальные находки, разработав собственную теорию «проецирующего стиха», который должен представлять собой верлибр, организованный как «колонна слов», произносимых на едином дыхании, определяющем протяженность строки. В конце 50-х годов Данкен преодолел искус лабораторного новаторства, обратившись к изображению бездуховности и жестокости «потребительского общества», а затем и к гражданской тематике, связанной с борьбой за прекращение войны во Вьетнаме.

Джеймс Райт (1927–1979) не раз признавал сильнее влияние Робинсона и Фроста, особенно — на свое творчество 50-х годов. В дальнейшем его стихией стала гротескная сатирическая поэзия, насыщенная отголосками серьезных и ничтожных конфликтов «потребительской цивилизации» и высмеивающая ее фетиши. Райт переводил стихи Пабло Неруды, немало переняв из его поэтического опыта.

Дениза Левертов (р. 1923) переехала в США из Англии в 1947 году, выйдя замуж за писателя М. Гудмена, с которым познакомилась в госпитале, где она работала медсестрой в годы войны. Страстная поклонница Уильямса, Левертов лишь ненадолго увлеклась теориями «Черной горы», уже в середине 50-х годов зарекомендовав себя поэтом серьезной общественной проблематики и нескрываемого гражданского пафоса. С первых же месяцев войны во Вьетнаме она стала ее резким противником, участвуя в антологиях «поэзии протеста» и читая стихи на многочисленных антивоенных митингах. По приглашению правительства ДРВ она посетила в 1974 году Ханой, выразив в стихотворениях, навеянных этой поездкой, горячее сочувствие борьбе вьетнамского народа. Левертов принимает участие в движении писателей за мир и разрядку. Последние годы ознаменованы в ее творчестве углублением лиризма и классической ясностью формы.

Джеймс Дикки (р. 1923), военный летчик в годы войны, совершивший свыше ста боевых вылетов, свою первую книгу «Как камень» опубликовал лишь в 1957 году. Участвуя в движении против войны во Вьетнаме, он, как многие другие поэты, обратился тогда к злободневной социальной тематике, которой остался

верен и во всех последующих книгах. Отличающий Дикки своеобразный стиль, в котором сочетается фактографизм и свобода воображения, и насыщенность его стихотворений серьезными этическими коллизиями современности выделили творчество этого мастера на фоне новейшей американской поэзии.

А. Зверев

---

notes

Примечания

1

К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 128.

2

Там же, т. 15, с. 334.

3

Перевод М. Зенкевича.

4

Ангел — старинная монета.

5

Habeas Corpus — принятый в 1679 г. закон о неприкосновенности личности, предписывающий, что арест должен быть в установленный срок санкционирован судом как законный акт.

6

В обличье бедного *(лат.).*

7

Немецкий мастер Реджимант сделал стальную муху, способную пролететь несколько метров.

8

Португальский архитектор Джоао Турриано (1610–1679), монах-бенедиктинец, украшал фронтоны своих храмов резными изображениями птиц.

9

Марк Скалиота, работавший по заказам двора Елизаветы Тюдор, создал замок, запиравшийся, когда блоха тянула невидимую нитку, прикрепленную с задней стороны.

10

Не приготовил *(лат.).*

11

Вышедшие *(*искаж. *лат.).*

12

Ленивые (искаж. *лат.).*

13

Допускаю тебя к степени *(лат.).*

14

Геликониды — так в античной мифологии иногда называются музы, обитавшие, по представлениям греков, на горе Геликон.

15

Титон, — сын троянского царя Лаомедонта, возлюбленный Эос, испросившей для него у Зевса бессмертие. Однако Эос не просила о вечной юности, и Титон стал дряхлым неумирающим стариком.

16

Чаннинг Уильям Эллери (1780–1842) — американский проповедник и эссеист, выступал против всевластия золота, боролся с пуританскими запретами в области культуры и художественного творчества.

17

Имеется в виду аннексия Техаса и Калифорнии — мексиканских территорий, отошедших к США после грабительской войны 1848–1849 гг.

18

Подразумевается подавление русским царизмом польского освободительного движения.

19

Лови день *(лат.).*

20

Никогда *(англ.).*

21

Джон Браун — один из самых мужественных противников рабства, в 1857 г. поднявший с отрядом своих сторонников восстание в Харперс-ферри и казненный после того, как оно было жестоко подавлено.

22

Филип Шеридан — генерал войск Севера (1831–1888), отличился в заключительные месяцы войны, принудив армию южан к капитуляции в Северной Виргинии.

23

На реке *Чикамагуа* (приток Тенесси) 19–20 сентября 1863 г. произошло одно из наиболее кровопролитных сражений Гражданской войны.

24

По библейской легенде, Иаков боролся с богом, не одолевшим его, но повредившим ему бедро, и был вознагражден благословением и властью «одолевать человеков» (Бытие, 32, 24–31).

25

Все выше *(лат.).*

26

Патмос — по преданию, на этом острове у берегов Малой Азии Иоанн Богослов написал свое «Откровение».

27

Середина пути *(ит.).*

Mezzo Cammin — перифраз начальной строки «Божественной комедии» Данте.

28

К этой строфе есть авторское примечание, поясняющее, что описывается «бой в гавани Портленда между кораблями „Инициатива“ и „Боксер“. В этом сражении оба капитана были убиты. Они похоронены рядом на кладбище Маунт джой».

29

Эндимион — имеется в виду герой одноименной поэмы Джона Китса (1795–1821), в которой Древняя Греция изображается как золотой век человечества.

30

Икабод — персонаж библейской «Книги Царств». Этим именем отступника Уиттьер называет Дэниэла Уэбстера (1782–1852) — прогрессивного общественного деятеля, сенатора, выступившего 7 марта 1850 г. с речью в сенате, которого сочли отступлением от принципов аболиционизма. Эта речь помешала Уэбстеру баллотироваться в президенты США.

31

Мириам — в Библии — сестра Моисея и Аарона.

32

Вала — прорицательница в скандинавской мифологии.

33

Красные мундиры носили английские солдаты во время Войны за независимость.

34

Кошут Лайош (1802–1894) — лидер венгерского освободительного движения во время революции 1848–1849 гг.

35

Пойдем! *(фр.)*

36

Тир — город в древней Финикии. Тирийский пурпур — красная краска типа кармина.

37

Шантеклер (фр.) — петух.

38

Согласно евангельской легенде, Никодим, один из иудейских фарисеев, усомнившихся в словах Христа, спросил: «Как может человек родиться вновь, будучи стар?»

39

Эрос-господин *(древнегреч.).*

40

Йеху — монстры из «Путешествий Гулливера» Дж. Свифта.

41

Леопольд — бельгийский король, правитель Конго.

42

Перифраз реплики Гамлета: «Подгнило что-то в датском королевстве».

43

Портрет женщины *(фр.).*

44

Жара зовет в тень. — *Немезиан,* эк. IV *(лат.).*

Эпиграф взят из четвертой эклоги латинского поэта III в. Немезиана.

45

Э. П. Ода на выбор надгробия самому себе *(фр.).*

46

Ибо мы знаем все, что в Трое *(древнегреч.).*

47

Год тридцатый его жизни *(старофр.).*

48

Чудовище *Калибан* и воплощение добра *Ариэль* — персонажи «Бури» Шекспира.

49

Прекрасное *(древнегреч.).*

50

Писистрат (ум. 527 г. до н. э.) — афинский тиран.

51

Какого мужа, какого героя, какого бога... *(древнегреч.).*

Цитата из второй олимпийской оды Пиндара.

52

За дом *(лат.).*

53

За родину; сладко; и почет[но] *(лат.).*

54

Иссиня-зеленые глаза *(фр.).*

55

Уильям Юарт *Гладстон* (1809–1898) — британский премьер-министр в 80–90-е гг.

56

Джон *Рескин* (1819–1900) — крупный английский эстетик XIX в.

57

Роберт *Бьюкенен* (1841–1901) — критик, основной противник «прерафаэлитов».

58

Эдвард *Берн-Джонс* (1833–1898) — художник, участник «прерафаэлитского братства», которому позировала Э. Сидэл, возлюбленная и натурщица главы прерафаэлитов Данте Габриэля Россетти (1828–1882), описанная в этой главе поэмы.

59

Намек на стихотворение Россетти «Дженни», где речь идет о судьбе проститутки.

60

Сиена сотворила меня, уничтожила меня Маремма *(ит.).*

61

«Клуб рифмачей» — поэтический кружок, возникший в Лондоне в 1891 г.; в него входили Эрнест *Даусон* (1867–1900) и *Лионель Джонсон* (1867–1907), в действительности умерший от разрыва сердца на улице.

62

Кардинал Джон *Ньюмен* (1801–1900) — лидер так называемого оксфордского течения в англиканстве, умер католиком.

63

Священник Стюарт *Хедлам* (1847–1924) и издатель Селвин *Имедж* (1849–1930) были близки к «Клубу рифмачей».

64

Милетских привычек *(фр.).*

Намек на «Милетские рассказы» Аристида из Милета (II в. до н. э.), считавшиеся не вполне пристойными.

65

Илинг — аристократический квартал Лондона.

66

«Дафна, чей стан корою покрыт...» — неточная цитата из Овидия («Метаморфозы», книга VII, I, ст. 786).

67

Сэмюэл Джонсон (1709–1784), английский поэт и эссеист.

68

Посылка *(фр.).*

69

А то еще видел я Кумскую Сивиллу в бутылке. Дети ее спрашивали: «Сивилла, чего ты хочешь?» — а она в ответ: «Хочу умереть» *(лат.).*

Эпиграф взят из «Сатирикона» Петрония (гл. 48). Аполлон даровал Сивилле вечную жизнь, отказав в вечной юности, и ее тело ссохлось настолько, что умещалось в бутылке.

70

Мастеру выше, чем я *(ит.).*

71

Я вовсе не русская, родом из Литвы, чистая немка *(нем.).*

72

...ни сверчок утешенья. — «Екклезиаст», 12, 5 (примеч. Т.-С. Элиота).

73

Свежий ветер летит к родине, где ты сейчас, моя ирландская дева? *(нем.).*

Стихи из оперы Вагнера «Тристан и Изольда», 1, 5–8 (примеч. Т.-С. Элиота).

74

Уныло и пустынно море *(нем.).*
Там же, III, 2, 4 (примеч. Т.-С. Элиота).

75

Карты колоды Таро. Далее в поэме появляются образы, соотносимые с фигурами карт этой колоды: финикийский моряк, Белладонна, м-р Евгенидис (одноглазый купец), повешенный («кто-то третий» в гл. V) и др.

76

Пародийный намек на названную так же картину Леонардо да Винчи, изображающую Деву Марию.

77

Данте, «Ад», III, 55–57 (примеч. Т.-С. Элиота).

78

...краткие редкие — то же, IV, 25–27 (примеч. Т.-С. Элиота).

79

…при Милах — то есть в битве между войсками Рима и Карфагена во время 1-й Пунической войны, соотнесенной с первой мировой.

80

Лицемерный читатель, мой брат, мой двойник *(фр).*

Последняя строка вступительного стихотворения к «Цветам зла» Ш. Бодлера.

81

…Лоснившемся на мраморе — Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт 2, сц. 2 (примеч. Т.-С. Элиота).

82

Филомела — Овидий, «Метаморфозы», книга VI (примеч. Т.-С. Элиота).

83

Доброй ночи, леди... — слова Офелии из «Гамлета».

84

«Огненная проповедь» — аллюзия на проповедь Будды, заклинающего учеников воспитать в себе отвращение к испепеляющему пламени физической страсти.

85

И о эти голоса детей, под куполом поющих! *(фр).*

Заключительная строка сонета П. Верлена «Парсифаль».

86

Тиресий — прорицатель, персонаж «Одиссеи», «Метаморфоз» и других античных произведений. Согласно легенде, был на семь лет превращен в женщину, ослеплен и — в возмещение — наделен даром прорицания. По свидетельству Элиота, «сущность поэмы — то, что видит Тиресий».

87

Тиресий предсказал падение двух фиванских царей: Эдипа и Креона. Одиссей вызвал Тиресия из подземного царства и получил от него наставление возвращаться на Итаку.

88

«Музыка подкралась по воде». — Шекспир, «Буря», акт V (примеч. Т.-С. Элиота).

89

Гимавант — священная гора в Гималаях.

90

И скрылся там, где скверну жжет пучина *(ит.).*

Данте, «Чистилище», XXXVI, 148 (примеч. Т.-С. Элиота).

91

Когда же я стану как ласточка *(лат.).*

Из заключительной строфы анонимной латинской поэмы II или III в. «Канун Венериного дня».

92

Аквитанский принц у разрушенной башни *(фр).* — строка из сонета французского поэта Жерара де Нерваля «Рыцарь, лишенный наследства» — сонет, где автор отождествляет себя с изгнанным принцем, потомком трубадуров.

93

Датта, Даядхвам, Дамъята (санскр.) — дай, сочувствуй, владей.

94

Шанти шанти шанти (мир, который превыше всякого ума) (санскр.) — рефрен «Упанишад» (примеч. Т.-С. Элиота).

95

Скэб — штрейкбрехер.

96

Эс-Пи лайн — сокращенное название Южно-Тихоокеанской дороги.

97

Пивные *(нем.).*

98

Пташка умерла *(лат.)* — строка из стихотворения Катулла (III).

99

Воспоминание *(исп.).*

100

Алиса — героиня сказок Льюиса Кэррола, в стихах Тейта изображена самодовольной старухой, чья жизнь свидетельствует о пустоте и бессмыслице повседневного бытия.

101

Привет *(ит.).*

102

Нестор — в «Илиаде» старейший и мудрейший из греков, собравшихся под стенами Трои.

103

Сэм *Хаустон* (1793–1863) — американский политический деятель, в 1836 г. ставший президентом Техаса перед его присоединением к США.

104

В *Скотсборо* (Алабама) восемь негритянских юношей, клеветнически обвиненных в насилии над белой женщиной, были осуждены на смертную казнь. Этот процесс вызвал резкие протесты передовых кругов США.

105

«Дух Сент-Луиса» — название самолета, на котором Чарльз Линдберг совершил в мае 1927 г. перелет Нью-Йорк — Париж.

106

Рампарт-стрит — улица в цветном квартале Нового Орлеана.

107

В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать... *(исп.).*

108

«Черная Мария» — так в США называют фургоны для перевозки арестантов.

109

Роланд Хейс — известный негритянский певец.

110

Мистер Глуп — герой, точнее, антигерой одноименной песни Джо Хилла.

111

«Перекати-поле» — еще одна цитата из Хилла.

112

Один Большой Союз — ИРМ.

113

«Биг Билл» — партийная кличка генерального секретаря ИРМ Уильяма Хейвуда.

114

Хобо (амер.) — бродяга.

115

Ричард *Форд* и Герман *Сур* — активисты ИРМ, приговоренные к пожизненному заключению за организацию стачки в Калифорнии в 1914 г.

116

«Третья степень» — так в США называется допрос с применением пыток.

117

DAR — «Дочери американской революции» — реакционная женская организация, существующая с 1890 г.

118

Дэниел *Гуггенхейм* (1856–1930) — крупный промышленник, учредивший фонд своего имени для поощрения молодых писателей и художников.

119

Герберт *Гувер* (1874–1964) — президент США в 1929–1933 г.

120

Уилл *Хейз* (1879–1954) — видный чиновник в кабинете Гувера, миллионер, разбогатевший на производстве голливудских фильмов.

121

Аль Капоне — знаменитый чикагский гангстер 20–30-х гг.

122

Искусство поэзии *(лат.).*

123

Исаак Уолтон (1593–1683) — английский писатель, автор знаменитой книги об искусстве рыболовства.

124

Мартин Ван Бюрен — президент США в 1837–1841 гг., безуспешно боровшийся за переизбрание на второй срок.

125

Но *(нем.).*

126

Генри Адамс (1838–1918) — историк и писатель, чья автобиография считается одним из лучших образцов этого жанра в литературе США.

127

Леопольд III взошел на бельгийский престол в 1934 г.; им была подписана капитуляция через несколько дней после нападения фашистской Германии на Бельгию.

128

Улица Фортюне *(фр.).*

129

Улица Бальзака *(фр.).*

130

Баховское общество *(нем.).*

131

«Джунгли» (1906) — роман Эптона Синклера, изображающий жестокую судьбу литовца, рабочего чикагских боен.

132

«Великолепные изыскания» (1915) — малоизвестный роман Г. Уэллса, доказывающий необходимость социальных реформ.

133

Дитя родилось *(лат.).*

134

Уильям Джеймс (1842–1910) — крупнейший американский философ, лидер прагматизма.

135

Адмирал Ониси выдвинул и осуществил план подготовки «живых торпед» — летчиков-самоубийц. После разгрома Японии покончил с собой, сделав харакири.

136

Ксанф — в «Илиаде» троянский воин, убитый Диомедом.

137

Четвертое июля — национальный праздник США, День независимости. 4 июля 1862 г. Льюис Кэррол рассказал Алисе свою первую сказку о Стране чудес. 4 июля 1863 г. командующему северян Гранту сдалась крепость конфедератов Виксберг — капитуляция была подписана у кривого дуба, спиленного и разломанного на щепы, которые победители взяли с собой в качестве сувениров.

Последующие семь стихотворений Ричарда Уилбера взяты из сборника «Ясновидящий» («The Mind — Reader»). Translated by permission of Harcourt Brace Jovanovich Inc. © 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, by Richard Wilbur.

138

На *Коттедж-стрит* в 1953 г. Уилбер познакомился с Сильвией Плат.

139

Джон Чепмен (Джонни Яблочное Семечко) — герой американского фольклора, пионер, разбивавший яблоневые сады на пустошах Среднего Запада.

140

«Америка» — В выступлениях перед студентами Гинсберг пояснял, что стихотворение посвящено его матери, коммунистке Наоми Гинсберг, преследовавшейся в годы маккартизма.

141

Уильям *Берроуз* (р. 1914) — американский писатель-авангардист, привлеченный к суду за злоупотребление наркотиками и в 1950 г. эмигрировавший из США в Танжер.

142

Том Муни (1882–1942) — профсоюзный организатор, приговоренный к смерти по бездоказательному обвинению в том, что он бросил бомбу в полицейского во время забастовки на Тихоокеанском побережье.

143

Скотт Наринг — экономист, в 20-е гг. был членом Коммунистической партии США. Элла Рив *Блур, Израэль, Амтер* — деятели коммунистической партии, в 30-е гг. возглавлявшие ее нью-йоркскую организацию.

144

Сутра (санскр.) — поучение или сборник поучений.

145

Артифакт — созданное руками человека (в отличие от созданного природой).

146

Ах, ты *(нем.).*

147

Я *(нем.).*

148

Авиация, военно-воздушные силы *(нем.).*

149

«Моя борьба» *(нем.).*

150

Шарф Айседоры — имеется в виду нелепая трагическая гибель американской танцовщицы Айседоры Дункан, задушенной собственным шарфом, попавшим в колесо машины, на которой она ехала.

151

Персефона — владычица преисподней и богиня земного плодородия в греческой мифологии.

152

Онан — персонаж Библии, отказавшийся иметь детей от жены брата своего, предпочитая отдать семя земле.